ПОЭТЫ
1820-1830-х
ГОДОВ

2

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

ПОЭТЫ 1820-1830-х ГОДОВ

Советский
писатель

СП

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ПОЭТЫ
1820-1830-х ГОДОВ

ТОМ ВТОРОЙ

Биографические справки,
составление, подготовка текста
и примечания
В. С. Киселева-Сергенина

Общая редакция
Л. Я. Гинзбург

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1972

$\frac{7-4-2}{317-72}$

С. Е. РАИЧ

Семен Егорович Раич родился в 1792 году в селе Рай-Высокое Кромского уезда Орловской губернии. Отец будущего поэта — местный священник Е. Н. Амфитеатров, обремененный многочисленным семейством, — с трудом сводил концы с концами. Десяти лет, подобно старшему брату (впоследствии митрополит киевский Филарет), Раич был помещен в духовную семинарию — сначала в Севске, а потом в Орле. По обычаю, принятому в семинариях, он избрал себе новую фамилию, под которой и получил известность в литературе.

Приближался срок выпуска, но Раич не хотел и слышать об ожидавшем его ремесле «служителя божия». Единственным шансом для отказа от духовного звания была его прирожденная болезненность. Пройдя медицинское освидетельствование, он получил желанную свободу и вскоре уехал в Рузу, где устроился канцеляристом в земский суд.

В 1810 году Раич в Москве. Во время войны 1812 года, после неудачной попытки вступить в ополчение, он выехал из города вместе с Н. И. Шереметьевой, при детях которой состоял домашним учителем. Вернувшись в освобожденную столицу, Раич был приглашен наставником к Ф. И. Тютчеву и в течение семи лет (с перерывом) жил в доме Тютчевых.

Частная педагогическая практика давала Раичу возможность прокормиться, а главное — посещать университетские лекции. В 1815—1818 годах он в качестве «вольного слушателя» прошел полный курс университетского образования по этико-политическому отделению.

Страсть к стихотворству пробудилась у него еще в семинарии, где неплохо было поставлено преподавание латинского языка и римских авторов. В дальнейшем Раич самостоятельно пополнял свои по-

знания в этой области и, не довольствуясь ими, погрузился в изучение итальянского языка и литературы. В 1822 году он дополнительно окончил словесное отделение Московского университета и в октябре того же года успешно защитил диссертацию на звание магистра — «Рассуждение о дидактической поэзии». Оно появилось в печати в 1821 году в качестве предисловия к переводу поэмы Вергилия «Георгики» (гекзаметры латинского оригинала Раич передавал рифменным пятистопным ямбом).

Перевод вызвал интерес среди московских литераторов и доставил Раичу лестное внимание маститого поэта И. И. Дмитриева.

Тезис о полезном назначении поэзии, прозвучавший в «Рассуждении...», определенно перекликался с декабристским пониманием воспитательной роли «изящной словесности», провозглашенным в уставе Союза благоденствия. Однако позицию Раича отличало признание равноправия «полезного и приятного» в поэзии. По его мнению, поэт, если он хочет направлять умы сограждан к благой цели, тем вернее ее достигнет, чем сильнее будет увлекать их пленительными картинами, богатством фантазии, живостью красок. Отсюда следовало, что откровенная дидактика и поучительный тон в истинной поэзии нетерпимы. Сходные мысли в 1820 году развивал в «Речи о нравственной цели поэзии» М. Дмитриев. Подобная точка зрения была близка и Ознобишину (наброски неопубликованной статьи о поэзии). Все трое вскоре оказались в одном литературном кружке.

В 1823 году, рассказывал Раич, «под моим председательством составилось маленькое, скромное литературное общество... Члены этого общества были: М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, М. П. Погодин, В. П. Титов, С. П. Шевырев, Д. П. Ознобишин, А. М. Кубарев, князь В. Ф. Одоевский, А. С. Норов, Ф. И. Тютчев, А. Н. Муравьев, С. Д. Полторацкий, В. И. Оболенский, М. А. Максимович, Г. Шаховской, Н. В. Путята и некоторые другие: одни из членов постоянно, другие временно посещали общество, собиравшееся у меня вечером по четвергам. Здесь читались и обсуждались по законам эстетики, которая была в ходу, сочинения членов и переводы с греческого, латинского, персидского, арабского, английского, итальянского, немецкого и редко французского языка». [1]

Чуть позже — в том же 1823 году — один из членов этого кружка, В. Ф. Одоевский, организовал другое, более узкое и тайно собиравшееся Общество любомудрия, сосредоточившееся на изучении романтической философии и эстетики. Что касается раичевского кружка,

---

[1] «Автобиография С. Е. Раича». Публикация Б. Модзалевского. — «Русский библиофил», 1913, № 8, с. 28.

то здесь, по свидетельству А. И. Кошелева, «философия, история и другие науки только украдкой, от времени до времени осмеливались подавать свой голос».[1]

Кружок прекратил свое существование в конце лета 1825 года ввиду отъезда Раича на Украину, где он прожил до августа 1826 года. Тем временем следственная комиссия по делу декабристов раскопала данные о принадлежности Раича к «злоумышленному обществу» — Союзу благоденствия. К счастью, гроза миновала его, как и других членов этой организации, не проявивших заметной политической активности после ее распада в 1821 году.[2]

К 1823—1830-м годам относится большинство лирических стихотворений Раича. Он не придавал им сколько-нибудь существенного значения, хотя время от времени все же печатал их, например в изданном им совместно с Ознобишиным альманахе «Северная лира» (1827), в котором участвовали и другие члены кружка (Ф. И. Тютчев, А. Н. Муравьев, С. П. Шевырев, В. Ф. Одоевский). В этих «безделках» преобладали анакреонтические мотивы. В них, как и в стихах Ознобишина, различим слабый отзвук просветительского идеала «естественного человека» — человека, освободившегося от религиозно-аскетической морали и заявившего о своем праве на земное счастье. По-видимому, культ естественных чувств у Раича имел внутреннюю связь с идеологией руссоизма, следы которой прослеживаются на всех этапах его литературного пути, начиная с перевода «Георгик» — одного из самых известных в мировой литературе произведений, раскрывающих поэзию деревенского труда. В условиях русской жизни 20-х годов оно звучало не иначе, как апофеоз патриархальности.

Где-то подспудно в сознании Раича таилась вражда к аристократической верхушке — «искусственному» светскому обществу, которая только однажды, насколько нам известно, нашла выход в его поэзии. Это «Жалобы Сальватора Розы» — стихотворение, осуждающее надменность и бездушие вельмож с позиций бедного, простого, но чувствительного и одаренного человека. Демократический по своим истокам руссоизм поэта выражал, однако, неверие в благие перспективы цивилизации и могущество разума.

---

[1] А. И. Кошелев, Записки (1812—1883), Берлин, 1884, с. 11—12.

[2] В 1819 или 1820 г. Раич участвовал в «Обществе любителей громкого смеха» (см. справку о М. А. Дмитриеве). В числе его участников были будущие декабристы: Ф. П. Шаховской, М. А. Фонвизин и Александр Муравьев — брат Андрея Муравьева, воспитанника Раича. Кто-то из них, надо полагать, и вовлек его в Союз благоденствия.

Со временем социальный пессимизм еще глубже проник в сознание Раича, порождая аскетические и христианско-идеалистические настроения, контрастировавшие с неизменно ясным, предметно-чувственным воображением поэта. В области художественного стиля это вызывало двойную ориентацию — на живописную пластику образного языка Батюшкова и на музыкальность балладного стиха Жуковского. Наглядное тому подтверждение — перевод «Освобожденного Иерусалима» Тассо, за который Раич взялся не ранее 1823 года.

В том же году первый отрывок из поэмы в сопровождении декларации переводчика («О переводе эпических поэм Южной Европы и в особенности италианских») появился в печати. Раич отказался от эквивалентной передачи итальянской октавы (эту задачу поставил спустя несколько лет Шевырев), заменив ее двенадцатистишными строфами с последовательным чередованием четырехстопных и трехстопных ямбических строк. Поскольку ритмика этих стихов выдержала блестящее испытание в поэзии Жуковского, где она как бы сроднилась с фантастическим, средневековым колоритом его баллад («Громобой», «Вадим», «Ленора» и другие), Раич решился перенести ее в свой перевод рыцарского эпоса Тассо.

Когда перевод поэмы стал известен вполне, его монотонный ритм, примененный в столь обширном произведении, вызвал наибольшее число нареканий в журнальных отзывах (в частности и Шевырева). Раича обвиняли также в пристрастии к сладкозвучию, к изысканной красивости, в неоправданных отступлениях от оригинала.

Не признав своего поражения, Раич с 1831 года приступает к переводу «Неистового Орланда» Ариосто. Перевод первых пятнадцати песен (из сорока шести итальянского оригинала), выполненный по метрической схеме «Освобожденного Иерусалима» и напечатанный тремя выпусками в 1831, 1833 и 1837 годах, встретил столь же холодный прием. Не найдя издателей, Раич принужден был забросить свой труд, доведя его до двадцать седьмой песни.

С 1827 по 1831 год Раич преподает словесность в Университетском благородном пансионе (здесь среди его учеников был Лермонтов). В дальнейшем он служит в Александровском институте и других учебных заведениях Москвы, не расставаясь с поприщем педагога до конца жизни. Доходы его, впрочем, были так незначительны, что их не хватало на содержание семьи. «Не много нужно было ему, — вспоминал М. А. Дмитриев, — при его умеренных желаниях, хотя он жил и не без нужды. Единственное излишество, которое он себе позволил в своем приюте, — это установленная на окне Эолова

арфа, к унылым звукам которой любил он прислушиваться, когда в отворенное окно играл на ней ветер».[1]

О литературной ориентации Раича конца 20-х годов можно судить по материалам его журнала «Галатея», который он издавал в 1828—1830 годах.[2] Восторженное отношение к Жуковскому, апологетические оценки поэзии Веневитинова и Подолинского, активная пропаганда на страницах журнала поэзии Тютчева, Полежаева, Ф. Глинки, Шевырева, Ознобишина, внимание к молодым поэтам Д. Ю. Струйскому (Трилунному), В. И. Соколовскому и Л. А. Якубовичу — все это довольно определенно выявляет романтические симпатии издателя «Галатеи». В суждениях же его о Пушкине прослеживается та самая полемическая тенденция, которой отдали дань писатели и критики романтического направления. Оперируя критерием «массивности» мысли и чувства, Раич утверждал, что «содержание почти во всех произведениях г. Пушкина не богато».[3] Позднее, как бы продолжая Шевырева (его критику «изящного материализма» в поэзии), Раич с неодобрением писал, что «Пушкин — поэт по преимуществу пластический, поэтому он редко отрешается от материального».[4]

Нараставшее с годами у Раича сопротивление «языческому» духу в поэзии, как видно, стало для него волнующей творческой проблемой, за которой он усматривал серьезный нравственный смысл. В этом отношении любопытна его оригинальная поэма «Арета», в которую он стремился вместить свою духовную биографию — историю превращения эпикурейца в аскета. Это обширное стихотворное повествование с авантюрным сюжетом, рассказывающее о странствиях римлянина Ареты — героя, покинувшего отечество и обратившегося из язычника в благочестивого христианина. Тема императорского Рима, как и преследования христиан, в поэме Раича соотнесена была с русской жизнью 1820—1830-х годов. Подобными же аналогиями широко пользовались поэты-декабристы. Кстати, один из эпизодов «Ареты» — не что иное как зашифрованный рассказ автора о его собственной причастности к декабристским кругам и о драматической судьбе декабристов.

---

[1] М. Дмитриев, Воспоминание о Семене Егоровиче Раиче. — «Московские ведомости», 1855, 24 ноября, с. 577 («Литературный отдел»).

[2] В 1839 г. Раич возобновил «Галатею», но вскоре вынужден был отказаться от ее издания.

[3] «Галатея», 1830, № 14, с. 124—126.

[4] «Галатея», 1839, № 23, с. 417.

Однако социальная проблематика в поэме подчинена нравственной. Речь идет о духовном упадке русского общества. В контексте поэмы язычество, эпикуреизм — это синонимы бездушия, расчетливости, эгоистической жажды наслаждения и роскоши. Этому процессу «овеществления» человека (отразившему черты буржуазного сознания) Раич противопоставляет нормы христианина: любовь к ближним, скромность, кротость и самозабвение.

В своей поэме итогов, начатой, по-видимому, в 30-е годы, Раич сделал очередной и очень запоздалый шаг в сторону сближения с романтическим миросозерцанием. Следуя за Жуковским, он уносится мечтой в потусторонний мир; вслед за любомудрами он излагает популярные в 20-х годах идеи натурфилософии Шеллинга. Но в то же время он остается учеником Батюшкова: сумрак мистического мировоззрения не затмил его ясного художественного мышления. В христианстве Раич подчеркивает его земную миссию — осветить дорогу к обетованной стране, то есть вернуть людей к природе и простоте патриархального уклада

Работа над «Аретой» растянулась не менее чем на десятилетие, а в печати поэма появилась совсем поздно — в 1849 году. Ее философия, наивные аллегории и чудеса, ее идиллическая окраска, наконец устаревшая фактура стиха — все это в конце 40-х годов производило впечатление явного анахронизма и было безоговорочно осуждено критикой «Современника» и «Отечественных записок».

В 50-е годы Раич напечатал несколько посредственных стихотворений в журнале Погодина «Москвитянин». Очевидно, тогда же была написана им поэма религиозного содержания «Райская птичка», оставшаяся в рукописи. Умер Раич 23 октября 1855 года.

1. ВЕЧЕР В ОДЕССЕ

На море легкий лег туман,
Повеяло прохладой с брега —
Очарованье южных стран,
И дышит сладострастно нега.

Подумаешь: там каждый раз,
Как Геспер в небе засияет,

Киприда из шелковых влас
Жемчужну пену выжимает,

И, улыбаяся, она
Любовью огненною пышет,
И вся окрестная страна
Божественною негой дышит.

1823
Одесса

2. ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЬ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Здесь, в кругу незримых граций,
Под наклонами акаций,
Здесь чарующим вином
Грусть разлуки мы запьем!

На земле щедротой неба
Три блаженства нам дано:
Песни — дар бесценный Феба,
Прелесть-девы и вино...

Что в награде нам другой?..
Будем петь, пока поется,
Будем пить, пока нам пьется,
И любить — пока в нас бьется
Сердце жизни молодой.

Други! Кубки налиты,
И шампанское, играя,
Гонит пену выше края...
Погребем в них суеты...

У весны на новосельи,
В несмущаемом весельи,
Сладко кубки осушать,
Сладко дружбою дышать.

Кто б кружок друзей согласный
Песнью цитры сладкогласной
В мир волшебный перенес?

Кто бы звонкими струнами
Пробудил эфир над нами
И растрогал нас до слез?

Песни — радость наших дней, —
Вам сей кубок, аониды!
В кубках, други, нам ясней
Видны будущего виды...

Мы не пьем, как предки пили.
Дар Ленея — дар святой;
Мы его не посрамили,
Мы не ходим в ряд с толпой.

Кубки праздные стоят,
Мысли носятся далёко...
Вы в грядущем видов ряд
С целью видите высокой.

Пробудитесь от мечты!
Кубки снова налиты,
И шампанское, играя,
Гонит пену выше края.
Так играет наша кровь,
Как зажжет ее любовь...

В дань любви сей кубок пенный!
В память милых приведем!
Кто, любовью упоенный,
Не был на́ небе седьмом?

Вакху в честь сей кубок, други!
С ним пленительны досуги, —
Он забвенье в сердце льет
И печали и забот.

Трем блаженствам мы отпили,
Про четвертое забыли, —
Кубок в кубок стукнем враз,
Дружбе в дань, в заветный час.

У весны на новосельи,
В несмущаемом весельи,
Сладко кубки осушать,
Сладко дружбою дышать.

⟨1825⟩

3. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ [1]

Ветр осенний набежал
   На Херсонски степи
И с родной межи сорвал
   Перекати-поле.

Мчится ветер по степям
   И на легких крыльях
Мчит чрез межи по полям
   Перекати-поле.

Минул полдень, и уже
   Солнце погасало;
Ветр оставил на меже
   Перекати-поле.

И, объято тишиной
   Наступившей ночи,
Думу думает с собой
   Перекати-поле:

«Тяжело быть сиротой!
   Горько жить в чужбине!
Ах, что станется с тобой,
   Перекати-поле?»

---

[1] В Херсонских и других степях южной России есть трава statice maritima L. Тамошние жители называют ее «перекати-поле» — вероятно, потому, что, оторванная в осень ветром от корня своего, она катится по полям, пока не встретит препятствия или не набежит на огонек, раскладываемый кочующими чабанами.

Вот проснулся ветерок
После полуночи,
Глядь — и видит огонек
Перекати-поле.

«Дунь и прямо к огоньку
Принеси сиротку!» —
Говорила ветерку
Перекати-поле.

«Сдунь меня с межи чужой!
Брат твой — ветер буйный —
Разлучил с родной межой
Перекати-поле!

Что же мыкать мне тоску
Вчуже, без приюту?
Мчи скорее к огоньку
Перекати-поле!»

Вспорхнул легкий ветерок,
Пролетел полстепи
И примчал пред огонек
Перекати-поле...

И пригрел уж огонек
Трепетну сиротку,
И слился в один поток
С перекати-полем.

В бесприютной стороне,
Без отрады сердцу,
Долго ль мыкаться и мне
Перекати-полем?

⟨*1825*⟩

4. ДРУЗЬЯМ

Не дивитеся, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался.

Вы во всей еще весне,
Я почти
На пути
К темной Орковой стране
С ношей старческою.

Вам чрез горы, через лес
И пышней
И милей
Светит солнышко с небес
В утро радостное.

Вам у жизни пировать,
Для меня
Свету дня
Скоро вовсе не сиять
Жизнью сладостною.

Не дивитесь же, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался.

Я чрез жизненну волну
В челноке
Налегке
Одинок плыву в страну
Неразгаданную.

Я к брегам бросаю взор —
Что мне в них,
Каждый миг

От меня, как на позор,
В мгле скрывающихся?

Что мне в них? Я молод был,
Но цветов
С тех брегов
Не срывал, венков не вил
В скучной молодости...

Я плыву и наплыву
Через мглу
На скалу
И сложу мою главу
Неоплаканную.

И кому над сиротой
Слезы лить
И грустить?
Кто на прах холодный мой
Взглянет жалостливо?

Не дивитеся, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался!

⟨1826⟩

5. К ЛИДЕ

Подражание К. Галлу

Лида, веселье очей распаленных,
Зависть и чудо красот несравненных,
Лида, ты лилий восточных белей,
Розы румяней, ясмина нежней, —
Млеть пред тобою — двух жизней мне мало...
Дева восторгов, сними покрывало,
Дай насмотреться на злато кудрей,
Дай мне насытить несытость очей
Шеи и плеч снеговой белизною;

Дай надивиться бровей красотою,
Дай полелеяться взорам моим
Отцветом роз на ланитах живым.
Нежася взором на взоре прелестном,
Я утонул бы в восторге небесном,
С длинных ресниц не спустил бы очей:
Лида, сними покрывало скорей!

Скромный хранитель красот, покрывало,
Нехотя кудри оставя, упало,
Млею, пылаю, дивлюсь красотам...
Лида, скорее устами к устам!
Жалок и миг, пролетевший напрасно;
Дай поцелуй голубицы мне страстной...
Сладок мне твой поцелуй огневой:
Лида, он слился с моею душой.

Полно же, полно, о дева любови!
Дай усмириться волнению крови, —
Твой поцелуй, как дыханье богов,
В сердце вливает чистейшую кровь...
Дымка слетела, и груди перловы
Вскрылись, и вскрыли элизий мне новый.
Сладко... дыхание нарда и роз
В воздухе тонком от них разлилось.
Тихий их трепет, роскошные волны
Жизнью несметной небесною полны.
Лида, о Лида, набрось поскорей
Дымку на перлы живые грудей:
В них неземное биенье, движенье,
С них, утомленный, я пью истощенье.
Лида, накинь покрывало на грудь,
Дай мне от роскоши нег отдохнуть.

⟨*1826*⟩

6. СОЛОВЬЮ

Распевай, распевай, соловей,
Под наклонами сирени!
В час досуга, с ложа лени,
Сладко к песне роскошной твоей
Мне прислушиваться.

Распевай, распевай, соловей!
Ты судьбой своей доволен,
Ты и весел, ты и волен,
И гармония песни твоей
Льется радостно.

Распевай, распевай, соловей,
Под наклонами сирени!
Пробуди меня от лени
И любовь к песнопенью навей
На разнеженного.

Вдалеке от друзей и от ней,
От Алины вечно милой,
Не до песней мне уж было...
Пробуди же меня, соловей,
От бездейственности!

Распевай, распевай, соловей,
Под наклонами сирени!
И восторги песнопений
Перелей в меня трелью твоей
Рассыпающейся.

(1826)

7. (ОТ ПЕРЕВОДЧИКА «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»)

Пересадивши в край родной
С Феррарского Парнаса
Цветок Италии златой,
Цветок прелестный Тасса,
Лелеял я как мог, как знал,
Рукою не наемной,

И ни награды, ни похвал
Не ждал за труд мой скромный;
А выжду, может быть — упрек
От недруга и друга:
«В холодном Севере поблек
Цветок прелестный Юга!»

⟨1827⟩

8. ПЕСНЬ МИРЗЫ

(Из повести «Смерть Евы» графини Д. Салюццо-Роэро)

Ветер мая, воздыхая
В купах роз и лилей,
И крылами и устами
Тихоструйнее вей!
Тише порхай меж цветов!
Я пою мою любовь.

Месяц томный, ночи скромной
И сопутник и друг,
Светом чистым, серебристым
Осыпающий луг,
Улыбайся с облаков!
Я пою мою любовь.

Ток прозрачный, через злачны
Красны долы катясь,
Легкий ропот, сладкий шепот
В тихий полночи час
Разливай меж берегов!
Я пою мою любовь.

Пойте, птицы, до денницы,
До рассветных лучей,
Пойте слаще в темной чаще
Под наклоном ветвей.
Слей свой голос, соловей,
С песнею любви моей!

⟨1827⟩

9. ПЕСНЬ СОЛОВЬЯ

Ароматным утром мая,
О подруге воздыхая,
О любимице своей,
Пел над розой соловей.

Дни крылаты! погодите,
Не спешите, не летите
Оперенною стрелой, —
Лейтесь медленной струей.

Мило в дни златые мая,
Песни неги напевая,
Мне над розою сидеть,
На прелестную глядеть,

Сладко чувства нежить утром:
Росы блещут перламутром,
Светит пурпуром восток,
Ароматен ветерок.

Минет утро, день настанет —
Ярче солнце к нам проглянет,
И жемчу́ги светлых рос
Улетят с прелестных роз.

День умрет, другой родится,
И прелестный май умчится,
И сияние красот,
И отрады унесет.

Мне сгрустнется, на досуге
Не спою моей подруге —
Розе нежной, молодой —
Песни радости живой.

Дни крылаты! погодите,
Не спешите, не летите
Оперенною стрелой, —
Лейтесь медленной струей.

Не умолишь их мольбою:
Непреклонные стрелою
Оперенною летят,
И за ними рой отрад.

Юность резвая, живая!
Насладися утром мая!
Утро жизни отцветет,
И на сердце грусть падет.

В светлом пиршестве пируя,
Веселись, пока, кукуя,
Птица грусти средь лесов
Не сочтет тебе годов.

⟨1827⟩

10. ПЕСНЬ НА ПИРУШКЕ ДРУЗЕЙ

Лей нам, чашник, лей вино
В чашу дружбы круговую,
Лучший дар небес, оно
Красит жизнь для нас земную.

В сердце юноши живом
Пламень страсти умеряет;
В сердце старца ледяном
Пламень страсти зажигает.

Искры светлого вина —
Искры солнца огневого;
Чаша — майская луна,
Прелесть неба голубого.

Дай же солнечным лучам
С лунным светом сочетаться!
Дни летят, — недолго нам
Красным маем любоваться.

Розы грустны, — минет день,
И красавицы увянут...

Соку гроздий нам напёнь —
Розы с наших лиц проглянут.

Соловей в последний раз
Песнь поет своей подруге. . .
Нам его заменит глас
Чаши звон в веселом круге.

Пусть несется день за днем,
Пусть готовит рок угрозы.
В день печали — за вином
Ветр обвеет наши слезы.

Лей же, чашник, лей вино
В чашу дружбы круговую,
Лучший дар небес, оно
Красит жизнь для нас земную.

⟨1828⟩

11. ВЕЧЕР

Роскошно солнце заходило,
Пылал огнем лазурный свод. . .
Помедли, ясное светило!
Помедли! . . Но оно сокрыло
Лице свое в зерцале вод.

Люблю в час вечера весною
Смотреть на синеву небес,
Когда всё смолкнет над рекою,
Лишь слышен соловей порою
И дышит ароматом лес.

Но грусть мне сердце вдруг стесняет,
Когда исчезнет свет от глаз:
Как будто дружба изменяет,
Как будто радость отлетает,
Как будто в мире всё на час!

⟨1829⟩

12. ЖАЛОБЫ САЛЬВАТОРА РОЗЫ [1]

Что за жизнь? Ни на миг я не знаю покою
И не ведаю, где приклонить мне главу.
Знать, забыла судьба, что я в мире живу
И что плотью, как все, облечен я земною.
Я родился на свет, чтоб терзаться, страдать,
И трудиться весь век, и награды не ждать
За труды и за скорбь от людей и от неба,
И по дням проводить... без насущного хлеба.

Я к небу воззову — оно
Меня не слышит, к зову глухо;
Взор к солнцу — солнце мне темно;
К земле — земля грозит засу́хой...
Я жить хочу с людьми в ладу,
Смотрю — они мне ковы ставят;
Трудясь, я честно жизнь веду —
Они меня чернят, бесславят.

Везде наперекор мне рок,
Везде меня встречает горе:
Спускаю ли я свой челнок
На море — и бушует море;
Спешу ли в Индию — и там
В стране, металлами богатой,
Трудясь, блуждая по горам,
Я нахожу... свинец — не злато.

Являюсь ли я иногда,
Сжав сердце, к гордому вельможе,
И — об руку со мной беда:
Я за порог лишь — и в прихожей
Швейцар, молчание храня
И всех встречая по одежде,
Укажет пальцем на меня,
И — смерть зачавшейся надежде.

Вхожу к вельможе я тупой,
С холодностью души и чувства;

---

[1] Сальватор Роза — италиянский живописец и поэт, живший в XVII веке по Р. Х.

В кругу друзей-невежд со мной
Заговорит он про искусства —
Уйду: он судит обо мне
Не по уму, а по одежде,
С своим швейцаром наравне...
Ценить искусства — не невежде!..

Я и во сне и наяву
Воздушные чертоги строю.
Я, замечтавшися, творю
Великолепные чертоги.
Мечты пройдут, и я смотрю
Сквозь слез на мой приют убогий.

Другим не счесть богатств своих,
К ним нýжда заглянуть не смеет,
Весь век слепое счастье их
На лоне роскоши лелеет.
Другим богатств своих не счесть,
А мне — отверженцу судьбины —
Назначено брань с нýждой весть
И... в богадельне ждать кончины...

И я... я живописец!.. Да!
На всё смеющиеся краски
Я навожу, и никогда
От счастия не вижу ласки...
Будь живописец, будь поэт, —
Что пользы? В век наш развращенный
Счастлив лишь тот, в ком смысла нет,
В ком огнь не теплится священный.

Что за жизнь? Ни на миг я не знаю покою
И не ведаю, где приклонить мне главу.
Знать, забыла судьба, что я в мире живу
И что плотью, как все, облечен я земною.
Я родился на свет, чтоб терзаться, страдать,
И трудиться весь век, и награды не ждать
За труды и за скорбь от людей и от неба,
И по дням проводить... без насущного хлеба.

⟨*1831*⟩

13. ЗАВИСТЬ

«Что в лесу наедине,
Что, кукушка, ты кукуешь?
Ты, конечно, *о весне*
Удалившейся тоскуешь?»

«О весне тоскую? Нет!
Не люблю весны я вашей:
Только летом мил мне свет,
Лето знойное мне краше».

«Но весною всё цветет,
Воздух сладок, небо чисто,
Нежно соловей поет
Под черемухой душистой».

«Он поет, но что́ поет?
Негу страсти и беспечность,
Солнца красного восход
И блаженства скоротечность».

«Что же петь певцу весны
У весны на новоселье?
Он под кровом тишины
Счастлив и поет веселье».

«Это больно для меня:
Он счастлив, а я тоскую;
Он поет с рассветом дня,
Я с рассветом дня — кукую!»

⟨*1838*⟩

14. ЖАВОРОНОК

Светит солнце, воздух тонок,
Разыгралася весна,
Вьется в небе жаворо́нок —
Грудь восторгами полна!

Житель мира — мира чуждый,
Затерявшийся вдали, —
Он забыл, ему нет нужды,
Что творится на земли.

Он как будто и не знает,
Что не век цвести весне,
И беспечно распевает
В поднебесной стороне...

Нет весны, не стало лета...
Что ж? Из грустной стороны
Он в другие страны света
Полетел искать весны.

И опять под твердью чистой,
На свободе, без забот,
Жаворонок голосистый
Песни радости поет.

Не поэта ль дух высокий,
Разорвавший с миром связь,
В край небес спешит далекий,
В жаворонке возродясь?

Жаворонок беззаботный,
Как поэт, всегда поет
И с земли, как дух бесплотный,
К небу правит свой полет.

⟨*1838*⟩

15—17. ⟨ИЗ ПОЭМЫ «АРЕТА»⟩

1

Бородино! Бородино!
На битве исполинов новой
Ты славою озарено,
Как древле поле Куликово.

Вопрос решая роковой —
Кому пред кем склониться выей,
Кому над кем взнестись главой, —
Там билась Азия с Россией.

И роковой вопрос решен:
Россия в битве устояла,
И заплескал восторгом Дон,
Над ним свобода засияла.

Здесь — на полях Бородина —
С Россией билася Европа,
И честь России спасена
В волнах кровавого потопа.

И здесь, как там, решен вопрос
Со всем величием ответа:
Россия стала как колосс
Между двумя частями света.

Ей роком отдан перевес,
И вознеслась она высоко;
За ней, пред нею лавров лес
Возрос, раскинулся широко.

⟨1839⟩

2

Природа по себе мертва.
Вне сферы высшего влиянья
Безжизненны ее созданья:
Она — зерцало божества,
Скрижаль для букв Его завета;
Ни самобытного в ней света,
Ни самобытной жизни нет.
Она заемлет жизнь и свет
У сфер, не зримых бренным оком.
Воображение — дитя,
Но если, крыла распустя,
В своем парении высоком
Оно проникнет в глубь небес

И там — в святилище чудес —
У самого истока жизни,
За гранью мертвенной отчизны,
Упившись жизнию, творит
По дивным образцам небесным,
Всегда высоким и прелестным,
И даст своим созданьям вид
Полуземной, полунебесный,
И душу свыше призовет
И эту душу перельет
В свой образец полутелесный,
Полудуховный, — он пройдет
Из века в век, из рода в род,
На мир печальный навевая
Таинственную радость рая.

3

Село, село! о, как ты много
Душе тоскливой говоришь,
Душе, волнуемой тревогой!
О, как мила твоя мне тишь!..
Я помню молодые лета,
Когда душа была согрета
Благоволением святым,
Когда бывал я полон им...
Я помню золотые годы,
10 Когда в объятиях природы,
Свободный от мирских сует,
Я издали смотрел на свет
И отвергал его зазывы.
Тогда поэзии порывы
Теснилися в душе моей,
Я весь был в ней, я жил для ней...

Я помню золотые годы,
Когда с беспечностью свободы,
В разливе полном бытия,
20 Мечтой переносился я
В края Италии заветной,
И дни мелькали незаметно!

Тогда я счастьем был богат, —
Его Вергилий и Торкват
Мне напевали, навевали...
Но эти годы миновали,
И что от них осталось мне?
Воспоминания одне!
И вот теперь у них на тризне —
30 Ненужный гражданин отчизне —
С охолодевшею мечтой
Сижу безродным сиротой!..

Бывал внимаем я друзьями —
Их нет, остался лишь один,
Поэзии любимый сын;
И тот за дальними горами,
И тот на родине, в тиши,
Порывы пламенной души —
Свои прелестные созданья, —
40 Как сладкие воспоминанья,
Не для других, а для себя
Хранит и, может быть, скорбя,
Как мумию, облаговонит
Украдкой их и — похоронит...
Зачем их свету знать в наш век
Расчетливый, своекорыстный,
Когда сроднился человек
С стихией ада ненавистной
И пущено всё в рост и торг:
50 Высокие порывы чувства,
Безмездный неба дар — искусства,
И скорби сердца и восторг?

Еще я сердцем чту поэта:
Любовь к добру от юных лет —
Его обет пред светом света.
Забуду ли тебя, поэт
И жрец Фемиды неизменный?
Высокое — твой перл бесценный,
. . . .
60 Но в сердце, как на дне морей,
Его ты прячешь от людей...

И вы, родные и по крови
И по возвышенности чувств,
Не разлюбившие искусств
Наперекор мирских условий,
Но, как в былые времена
Благоговейные их жрицы,
И вы уснули, и цевницы
Дремотой нежит тишина.
70 Как много дум наводит грустных
Сей сон поэтов гробовой!
Полузабытые молвой,
Они живут в преданьях устных
У современников своих,
Охолодевших к песням их!

И вы, владеющие кистью
На обаяние очей,
Вы, радость светлая друзей,
Привязанных к вам не корыстью,
80 Но чистой страстью ко всему,
Что благородно и высоко,
Что сладко сердцу и уму
И что уносит нас далёко,
Далёко в области идей,
Не многим ведомые ныне, —
И вы живете, как в святыне,
В сердечной памяти моей.

И ты, идиллия живая
Не идиллического края,
90 Любовью дышащий святой
К поэзии, — и ты мне свой.

Конец 1830-х — первая половина 1840-х годов

М. А. ДМИТРИЕВ

Михаил Александрович Дмитриев принадлежал к одному из самых древних в России дворянских родов.[1] Он родился 23 мая 1796 года в поместье деда — селе Богородском Сызранского уезда Симбирской губернии. Отец его, А. И. Дмитриев, старший брат прославленного поэта И. И. Дмитриева (1760—1837), человек не чуждый литературе, сотрудничавший в изданиях Карамзина, состоял на военной службе в чине полковника. Он умер, когда сыну его исполнилось два года. После смерти матери (в 1806 году) заботу о воспитании подростка взяли на себя дед, бабушка и тетка.

С 1806 года М. Дмитриев в Москве. Ровно год проучился он в «высшем классе» Университетского благородного пансиона, а в 1812 году был принят в студенты Московского университета и одновременно приступил к службе в архиве иностранной коллегии. Из-за войны с Францией занятия в университете фактически начались с сентября 1813 года. М. Дмитриев прилежно посещает лекции А. Ф. Мерзлякова и М. Т. Каченовского, штудирует эстетику, совершенствуется во французском и овладевает немецким и латинским языками. Художественные вкусы М. Дмитриева больше всего характеризует его увлечение Державиным, Жуковским, а также довольно популярными в те годы французскими поэтами: Делилем, Флорианом, Парни. Большое значение в своем литературном образовании сам М. Дмитриев придавал знакомству с немецкой поэзией (Клопшток, Виланд, Шиллер), в то время мало известной в России.

[1] В неопубликованных автобиографических «Записках» (ГИМ) М. Дмитриев указывал, что он происходит от Рюрика в «28-м колене», а от Мономаха — в 21-м. Там же находится стихотворение «Мономахи» (см. его на с. 63), посвященное родословной поэта. В дальнейшем сведения, почерпнутые из этой рукописи, и цитаты из нее приводятся без ссылок. Продолжением «Записок» служат неопубликованные «Главы из воспоминаний моей жизни», 1864—1866 гг. (ГБЛ).

В январе 1814 года на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете был оглашен отрывок из поэмы Делиля «Сельский житель» в переводе М. Дмитриева. В следующем году он печатает в журнале «Российский музеум» (№ 12, подпись: «М. Д.») перевод басни Флориана «Новый календарь».

В 1815 году переехавший в Москву Иван Иванович Дмитриев поселил племянника в своем доме, ставшем для него своеобразной литературной академией. Через дядю М. Дмитриев познакомился с рядом видных писателей — Жуковским, Вяземским, Д. Давыдовым, А. С. Шаховским, А. Е. Измайловым, В. Л. Пушкиным и другими. С захватывающим интересом он следит за боями «Арзамаса» с «Беседой». В подражание «Арзамасу» М. Дмитриев и несколько его друзей по университету (Раич, М. А. Волков, А. Д. Курбатов и другие) в конце 20-х годов учредили «Общество любителей громкого смеха».[1] Здесь читались пародии на сочинения литературных староверов, шутливые стихи, высмеивающие нелепые педантские замашки некоторых профессоров.

Попытка будущих декабристов Ф. А. Шаховского, М. А. Фонвизина и А. А. Муравьева превратить это безвредное общество в тайную политическую организацию окончилась неудачей: участники его оказались неподготовленными к такой цели, и в 1820 году оно прекратило свое существование.

В 1817 году М. Дмитриев, только что окончивший университет, был направлен в канцелярию управляющего коллегией иностранных дел графа К. В. Нессельроде, но через год возвращается в архив этой же коллегии и служит здесь до мая 1825 года.

В 1823—1824 годах М. Дмитриев посещает кружок Раича, поддерживая особенно тесные отношения как с самим Раичем, так и с членами этого кружка — М. П. Погодиным и А. И. Писаревым. В 1823 году Рылеев и А. Бестужев направляют ему письмо с приглашением сотрудничать в их альманахе. В результате два стихотворения М. Дмитриева («Лес» и «Сын бедный природы. . .») появляются в «Полярной звезде на 1824 год». В декабре 1824 года по рекомендации Рылеева М. Дмитриев был принят в петербургское Вольное общество любителей российской словесности. Однако известность ему доставили не стихи, а его полемические выступления 1824—1825 годов.

---

[1] Об этом обществе см.: А. Г. Грум-Гржимайло, В. В. Сорокин, «Общество любителей громкого смеха». — Сб. «Декабристы в Москве», М., 1963.

В 1824 году М. Дмитриев обрушился в «Вестнике Европы» на предисловие П. А. Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану», посвященное пропаганде романтизма. Модное в то время слово «романтизм» в контексте этой статьи означало идейную и творческую свободу писателя и шире — национальную самобытность. О романтизме же как специфическом явлении искусства Вяземский ничего определенного не сказал. [1]

М. Дмитриев с его трезвым и систематизированным умом тотчас нащупал уязвимость суждений Вяземского о романтизме — их слабую прикрепленность к литературным фактам, что и продемонстрировал в своей статье. Полемика приняла ожесточенный характер и перешла за пределы журнальной трибуны. Противники осыпали друг друга оскорбительными эпиграммами. Наконец Вяземский, которому эта перепалка надоела, «возил показывать эпиграммы М. Дмитриева дяде его Ив⟨ану⟩ Ив⟨анови⟩чу, а свои от него скрывал, и дядя ужасно рассердился на племянника, так что даже перестал принимать его», [2] — рассказывал М. Н. Лонгинов. Сообщение это довольно правдоподобно, если учесть, что холодность и отчуждение, еще раньше вкравшиеся в отношения между родственниками, вынудили М. Дмитриева оставить дом дядюшки. «В свойстве и средствах добра, — вспоминал М. Дмитриев, — мы никогда с ним не сходились: я имел всегда в виду самого человека и свойства его потребностей, а для него добро и счастие заключались в людском почете и в приличных декорациях, которыми должно обставить сцену жизни».

В следующем 1825 году М. Дмитриев зажег пламя шумной полемической войны, поводом к которой послужили публикация отрывка из «Горя от ума» и восторженный отзыв о нем Н. А. Полевого. М. Дмитриев решительно осудил план комедии и характер главного героя. Приговор этот был отменен всей последующей жизнью пьесы Грибоедова. Однако дмитриевская статья, о которой принято говорить пренебрежительно — только как о факте литературного рутинерства, заслуживает более серьезного отношения: это было продуманное и не лишенное аргументации мнение.

«М. Дмитриев, — писал А. И. Кошелев, — был самый обильный

---

[1] В том, что сущность романтизма ему неясна, сам Вяземский чуть позднее признался в письме к Жуковскому от 13 декабря 1824 г. (см.: «Русский архив», 1900, № 2, с. 193).

[2] «Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века», т. 1, М.—Л., 1931, с. 185.

и известный в свое время классик, последний и самый твердый устой упадавшего классицизма».[1] На самом деле «классицизм» М. Дмитриева заключался в традиционализме и нормативности его мышления, весьма, впрочем, далеких от литературной косности. М. Дмитриев был способен оценить Жуковского и Пушкина, Гете и Шиллера, а позднее Гейне. Он изучал Шеллинга и Окена и умел многое почерпнуть из их сочинений для себя. Что касается Дмитриева-поэта, то он не питал архаических симпатий и во многих случаях отступал от традиционных форм. Когда в 1830 году стихотворения М. Дмитриева вышли отдельным изданием, давний его антагонист Н. А. Полевой вынужден был признать, что в некоторых стихотворениях заметен переход к «полуромантизму». Переход этот в меньшей степени отразился на «механизме стиха», фактура которого, как справедливо отметил Полевой, возвращала читателя к недавно пройденному этапу русской поэзии: «Форма, лад стихов у него старые — *карамзинские*, если угодно. Шероховато, но вылощено, отзывается тяжелым трудом, но гладко, принужденно, но стройно».[2]

Как поэт М. Дмитриев никогда не пользовался успехом у современников. По-видимому, больший интерес возбуждали ходившие в рукописи его сатиры — «талантливые пародии», по отзыву Гоголя, «где желчь Ювенала соединяется с каким-то особенным славянским добродушием».[3] Сам М. Дмитриев не обольщался насчет своих способностей и как-то признался, что у него «нет сильного воображения, той творческой фантазии, которая составляет сущность поэзии».[4] Тем не менее он имел слабость не только написать, но и напечатать массу плохих стихов, в которых потонули и бесспорно удачные вещи — оригинальные по мысли или энергии выражения. Недоброжелатели поэта язвительно острили на его счет. Вяземский окрестил его «Лжедмитриевым» — как недостойного преемника дяди, а С. А.

---

[1] ⟨Н. Колюпанов⟩, Биография А. И. Кошелева, т. 1, М., 1889, с. 32.

[2] Н. А. Полевой, Очерки русской литературы, ч. 1, СПб., 1839, с. 444.

[3] Н. В. Гоголь, В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность. — Полн. собр. соч., т. 8, Л., 1952, с. 396. Известные нам «пародии» М. Дмитриева — «Новая Светлана» (сатира на Н. А. Полевого. — «Русский архив», 1885, № 4, с. 649—659), «Двенадцать сонных статей» (сатира на М. Т. Каченовского) и «Петербургская Людмила» (сатира на А. А. Краевского и Белинского), обе опубликованные В. Н. Орловым в сб. «Эпиграмма и сатира», с. 293—308 и 326—340, — не вполне согласуются с отзывом Гоголя.

[4] «Замечания и анекдоты», рукопись 1858 г., тетрадь 1 (ЦГАЛИ).

Соболевский в издевательской эпиграмме-эпитафии заклеймил стихами:

Был камер-юнкер при дворе
И камердинер на Парнасе.[1]

Репутация бездарного и кичливого стихотворца была окончательно закреплена за ним Белинским. В основном такой она сохранилась до наших дней.

В 1842 году М. Дмитриев напечатал резкое стихотворение «Безымянному критику», написанное в ответ на статью Белинского «Русская литература в 1841 году», где о Ломоносове, Державине и Карамзине говорилось как о безнадежно устаревших писателях. М. Дмитриев усмотрел в этом злонамеренную попытку очернить дворянскую культуру, посеять вражду между старым и новым поколением. В стихотворении он прямо обвинил Белинского в антипатриотизме. Этот неблаговидный поступок (адресат стихотворения был достаточно прозрачным) дал критику право печатно обвинить М. Дмитриева в сочинении рифмованного доноса.

В борьбе со сторонниками европеизации русской жизни М. Дмитриев примкнул к кругу «Москвитянина», ставшего трибуной славянофилов как официального, так и оппозиционного направления. С момента возникновения этого органа в 1841 году и до его прекращения в 1855 году М. Дмитриев был ревностным вкладчиком журнала, снабжая его стихами и прозой (статьями и рецензиями).

Будучи в стане славянофилов, М. Дмитриев не разделял фанатической увлеченности вождей этой «партии» и, как всегда, отличался независимостью взглядов. Так, например, он написал ответ на нашумевшее стихотворение К. С. Аксакова «Петру». Оспаривая утверждение его автора о том, что реформы Петра I нарушили самобытное развитие страны, привили чуждые народу формы европейского быта и образованности, М. Дмитриев всю вину за антинародную, антинациональную политику русского правительства возлагал на преемников царя-преобразователя, которые «отреклися от добра» и «прикрылися лукаво великим именем Петра».

В поэзии М. Дмитриева тех лет близость к славянофилам более всего сказалась в идеализации патриархальных нравов. Антитеза поэтической старины и корыстной, эгоистической современности определяет пафос многих его стихотворений (например, весь обширный

---

[1] Звание камер-юнкера выхлопотал для племянника И. И. Дмитриев. Однако к придворной жизни М. Дмитриев никакого отношения не имел.

цикл «Московских элегий», изданный отдельно в 1858 году). М. Дмитриев скептически взирал на борьбу левых сил страны за свободу личности и демократизацию общественных отношений в России. Он предсказывал, что это неизбежно приведет к распаду кровных, семейственных, а, стало быть, и прочих человеческих связей, что означало для него закат личности. Теме увядания и духовного оскудения эмансипированного поколения посвящено стихотворение М. Дмитриева «Жаль мне вас, младые девы...», перекликающееся со скептическими прогнозами «Последнего поэта» Баратынского.

Бытующее и поныне представление о М. Дмитриеве как идеологе крайней реакции и певце самодержавия нуждается в уточнении. В действительности следует говорить о консерватизме его взглядов, причем консерватизме оппозиционного свойства. Свидетельство тому — поздние подцензурные стихотворения М. Дмитриева вроде «Подводного города», «Как пернатые рассвета...», нелегального «Ответа Аксакову». Столь же показательны и суждения поэта о русском правительстве, которые мы находим в его конспиративных заметках. «Везде правительство, — сказано в одной из них, — установлено для народа, а у нас весь народ живет для правительства. Это такое уродство, какого не представляет история... Одно правительство имеет слово, одна казна владыка, одна казна вольна придумать себе, что к лучшему, и совершать беспрепятственно, хотя бы в ущерб интересам и частным и народным». За «казну», продолжает он, понимая под этим словом самодержавно-бюрократический штат империи, «стоит власть и сила; за частного человека никто... Казна не признает никакой истины: для нее истина только то, что ей самой полезно и выгодно. И потому истина в России не существует». [1]

Любопытно, что строки эти писал человек, многие годы занимавший видное положение в «казне», носивший звание камергера. Начав со скромной должности надворного судьи в 1826 году, М. Дмитриев в 1839 году дослужился до обер-прокурора московского отделения Сената. Но чиновничья карьера не принесла М. Дмитриеву морального удовлетворения. Еще в 1830 году желание более осмысленной жизни побудило его вступить в масонское общество. Казенная служба, писал он позднее, «делает человека пустым дельцом, ничтожным формалистом, равнодушным интриганом и эгоистом», тогда как «отечество требует живых людей, а не бюрократов». [2]

С 1843 года М. Дмитриев заведовал делами общего собрания московских департаментов Сената. В марте 1847 года он был уво-

---

[1] «Замечания и анекдоты». Рукопись 1859 г., тетрадь 2 (ЦГАЛИ).
[2] «Главы из воспоминаний моей жизни» (ГБЛ).

лен по распоряжению министра юстиции графа В. Н. Панина, раздраженного строптивостью своего подчиненного. Потеряв службу, поэт уединяется в своем Богородском, время от времени наведываясь в Москву.

С конца 40-х годов писательская плодовитость М. Дмитриева нарастает. Он пишет много новых стихотворений, много переводит (особенно из Горация), публикует монографию о поэте карамзинской эпохи И. М. Долгорукове (отдельное издание в 1863 году), книгу «Мелочи из запаса моей памяти» (1854). За год до смерти поэта, скончавшегося 5 сентября 1866 года, из печати вышло двухтомное собрание его стихотворений.

18. ПРЕДЧУВСТВИЯ ЛЮБВИ

Et, rêvant mon sort mystérieux...
Dès mes plus jeunes ans, je te vis dans mes cieux.

Hugo[1]

Напрасно я мечтал о почестях и славе
И хладный труд ума предпочитал забаве;
Напрасно в тишине, предавшись легким снам,
Неверно пробегал рукою по струнам,
Или, бежав от вас, мои поля родные,
Пылал желанием узнать страны чужие, —
Всё тщетно! Ты, любовь, звала меня к себе!
И с тайной радостью покорствуя судьбе,
Отринув навсегда тщеславия порывы,
На розы я сменял и лавры и оливы!
Я знал: жизнь наша сон! Да будет же она
Фантазий, тишины, забвения полна.
Душа, спокойное вкусив отдохновенье,
Приятней, думал я, найдет и пробужденье!
Я верил счастию! И кто вотще внимал
Тому, что тайный глас природы предрекал?

---

[1] И, размышляя о моей таинственной судьбе... с самых юных моих лет, я видел тебя в своих небесах. *Гюго* (франц.). — *Ред.*

От самых нежных лет и тихий свет востока,
И воды звонкие дубравного потока,
И шепот в вышине трепещущих ветвей,
И бледный свет луны из облачных зыбей —
Во мне задумчивость роскошную питали
И негу и любовь в грудь отрока вливали!..
О юности друзья! Я слышал ваш укор,
Когда рассеянный, задумчивый мой взор
Недвижим был среди забав и ликованья!
Не знаю сам, куда влекли меня мечтанья,
Но звона ваших чаш вокруг не слышал я,
Но песнь веселости была не для меня!
Повсюду предо мной был идеал прелестный,
Знакомый лишь душе и сердцу лишь известный.
Об нем я в тишине безмолвно тосковал,
Когда луч утренний долины озлащал,
О нем в час вечера, о нем в ночи глубокой
Нередко, сна лишен, мечтал я одинокой!
В нем юный музы друг любил воображать
Улыбку кротости — небесного печать,
Спокойствие лица — души изображенье,
Любви чувствительность и дружбы снисхожденье,
Беспечность детскую с веселостью живой,
Взор целомудрия, столь ясный и простой,
Блаженства ангелов душе моей свидетель,
Пред коим и порок признал бы добродетель!
Сбылось! И счастлив тот, кто сердца в простоте
Вверял желания всевидящей мечте,
Спокоен, как дитя, на лоне у свободы!
Всё изменяет нам, но не дары природы!
Видал ли кто весну без Флориных даров,
Без тени летний зной и осень без плодов?
Так сердцу чистому вселенныя с начала
Любовь весною лет еще не изменяла!
И кто виновен в том, когда ряд лучших дней
Провел над златом ты или в алчбе честей,
От коих горький плод раскаянье готовит?..
Цвет счастья... дар тому, кто счастия не ловит

1822

19. РАВНОДУШИЕ

Кто властен удержать младой души движенья,
Когда любовь к земле и к жизни в ней горит?
И кто потухший огнь ей снова возвратит,
Когда угаснул он от раннего мученья?..
О равнодушие! Сколь часто я взывал
К тебе, волнуемый моей кипящей кровью,
Как бы предчувствуя, что счастливой любовью
Коварный рок меня на гибель прямо мчал!
Без тучи грянуло несчастье над главою!
Шум стих, я поднял взор — и ты... уже со мною!
Но ты не тот беспечный бог,
Спокойный, радостный, ступающий на розы,
С которым жизни путь столь ровен и отлог:
Ты отнял всё, отнявши слезы!
Отдай мне их, отдай назад!
Пусть вновь их пламень жжет мне грудь хотя однажды,
Пусть сердце вновь томит неутолимость жажды, —
Несносен для души бесчувственности хлад!

1823

20. ВЕСНА

Светлее солнца луч играет над прудом,
Луг зеленеющий смеется,
Кругами ласточка летает над гнездом,
Воркует горлица и жаворонок вьется!..
Всё... счастье и любовь!
Лишь мне нет счастья и любви!
Я молод, но весна моей не греет крови:
Моя весна не придет вновь!
Не для меня красы природы,
И свежий аромат цветов,
И вдохновение свободы,
И вдохновение стихов!..
Мне боле нравится густая тень лесов,
Кремнистые стези, пещеры дикой своды,
Осенней ночи мрак, стихий нестройный бой, —
Лишь в них я внемлю глас понятный и живой!

Не мне в их мятеже почувствовать смятенье:
Любви, младой любви моей
Я видел с жизнию последнее боренье,
Я видел, как тускнел свет милых мне очей,
И научился видеть тленье!
С тех пор не трепещу следов уничтоженья,
Дивлюсь желаниям людей,
Надежды их не понимаю,
Не радуюсь весне в холодности своей
И не жалея провожаю!..

1823

21. К НЕПРАВЕДНЫМ СУДИЯМ

Аще воистинну убо правду глаголете,
правая судите сынове человечестии.

Пс ⟨алом⟩ 57

Всегда ли правду вы творите,
О судии земных сынов?
Всегда ль виновного вините?
Всегда ли слабому покров?

О нет! Вы сердцем беззаконны,
И злодеянье на весах;
Вы с детства были вероломны
И ложь сплетали на устах!

Как змия яд, ваш яд опасен!
Как аспид, глухи вы! Над ним
Труд заклинателя напрасен:
Закроет слух — и невредим!

Пошли ж, о боже, день невзгоды
И тигров челюсти разбей!
И да иссякнут, яко воды
Под истощенною землей!

Да их губительные стрелы,
Как преломленные, падут,
И, как зародыш недозрелый,
Да в свете тьму они найдут!

Да праведник возвеселится,
Омывши ноги в их крови;
Да мщенью всякий изумится
И скажет: «Бог — судья земли!»

1823

22. ПЕСНЯ

Сын бедный природы
Так песню певал:
«В давнишние годы
Я счастие знал!

В давнишние годы
Был мир веселей,
И солнце и воды
Блистали светлей!

В то время и младость
Резвее была,
И долее радость
Нам кудри вила,

И лес был тенистей
Стыдливой чете,
И розы душистей,
И люди не те!

Тогда к хороводу
Сбирались скорей
И пели свободу
Средь диких полей.

В то время с весною
Любовь нас ждала...
В то время... со мною
Подруга жила!»

1824

23. ⟨ЭПИГРАММА НА П. А. ВЯЗЕМСКОГО⟩

Князь Вяземский жало
На «Вестник» острил,
Но критикой вялой
Ему ж услужил.
Нестоек он в слове!
Я знал наперед:
Бодливой корове
Бог рог не дает!

1824

24. ⟨ЭПИГРАММА НА П. А. ВЯЗЕМСКОГО И А. С. ГРИБОЕДОВА⟩

Вот *брату* и *сестре* законный аттестат:
Их проза тяжела, их остроты́ не остры;
А вот и авторам: им Аполлон не *брат*,
И музы им не *сестры*.

1824

25. ⟨ЭПИГРАММА НА А. С. ГРИБОЕДОВА⟩

Хотя из гордости брось перья,
Чтоб не сказали наконец,
Что Мефистофелес-хитрец
У Вяземского в подмастерьи.

1824

26. ⟨ЭПИГРАММА НА В. Ф. ОДОЕВСКОГО⟩

В нем страстная к учению охота;
От схоластических избавившись ходуль,
Он в Шеллинге открыл, что бог есть нуль,
А Грибоедов что-то.

1825

27. ДВЕ ФЕИ

Sie geben, ach! nicht immer Glut
  Der Wahrheit helle Strahlen.
Wohl denen, die des Wissens Gut
  Nicht mit dem Herzen zahlen!

Schiller [1]

Поэт

Ты ль, Фея? Ты опять со мною!
Но тот ли твой печальный взгляд?
Сурова ты! Почто объят
Твой взор таинственною мглою?
Отколе ты пришла ко мне?
В какой ты побыла стране,
Что возвратилась столь печальной?
Таков ли мир твой идеальный!

Фея

Я видела страну Судьбы!
Я устояла средь борьбы,
Но на челе моем примета
Осталась — чуждого мне света!
И не стереть ее с чела!
И я не та уж, что была!
Я в бездну прошлого взглянула,
Прозрела в будущее я
И в книге Вечности дерзнула
Прочесть страницы бытия!
Я не могу уже с тобою
Петь ни беспечность, ни любовь:
Они не возвратятся вновь!
Вот мой привет — встречай тоскою!

Поэт

Печален он, привет твой мне!
Что ж ты узнала в той стране?

---

[1] Светлые лучи истины! Увы! они не всегда дают пламя. Блаженны те, кто за благо познания не расплачиваются сердцем. *Шиллер* (немецк.). — *Ред.*

Фея

Я зрела: есть над миром Воля
И управляет всем она!
И каждому своя есть доля,
И доля всем земным одна!
Вы ропщете несправедливо
На неравéнство благ и бед:
Ни бед, ни благ на свете нет!
Равны несчастный и счастливый!
Одна в вселенной сумма сил,
В их равновесьи — совершенство!
Колеблют их лишь для равенства:
Ты пал, но их восстановил!

Другая Фея

Постой, Дух адский, Дух смущенья!
Друг прежний мой! Ты мне внемли!
Я принесла из той земли
Тебе другие откровенья!
«В вселенной сумма сил одна,
В их равновесьи — совершенство!»
Узнай же, что тебе дана
Способность их хранить равéнство!
Себя возвысив самого,
Ты их приводишь в возвышенье;
Ты падаешь — твое паденье
Не восстановит ничего.
Напротив! Общее равéнство,
Закон могущий бытия,
Часть общих сил влиет в тебя,
Чтоб не разрушить совершенство!

Первая

Проникла я мглу вечной ночи,
Судьбу я встретила за ней:
Там яркий свет блеснул мне в очи, —
Тебе он был бы тьмы темней!
Я мнила ваши там печали
И ваши радости найти,
И утешенье принести
Тебе из тáинственной дали!

Их нет! Нашла я в тех странах:
Там весят вечные законы,
А ваши цепи и короны
Кладут в придачу на весах!

Вторая

«Нет благ и бед? Между собой
Равны несчастный и счастливый?
Между восторгом и тоской
Различья нет?» — Несправедливо!
Их нет в стране, где искони
Всё в чистом Свете совокупно,
Вам то блаженство недоступно:
Вам здесь существенность — они!
Они, как общей жизни силы,
Здесь движут Вечности закон,
Но это таинство могилы:
На что вам знать, как движим он?

Первая

Там ваши истины ничтожны!
Добро — почти всегда мечта!
И даже ваша красота —
Один какой-то отблеск ложный!
Кто мог бы вкупе их обнять,
Без времени, без протяженья,
Тот мог один бы, чужд сомненья,
Их вдруг постичь, а не познать!
Но, божества сосуд скудельный,
Не снес бы знанья он и пал,
А смертным мысли беспредельной
Словами б всё не передал!

Вторая

Не признавай то за ничтожность,
Чего ты чувствовал возможность
С тех пор, как чувствовал себя!
Ты вспомни прелесть бытия!
Как сладко сердце трепетало,
Когда *добра* оно желало!
Как был ты счастлив *красотой*!

Что ты любил в ней? — Совершенство!
Не ты ли чувствовал блаженство,
Приемля *истину* с тоской!
Что облегчает жизнь вам? — Радость!
Что очищает жизнь? — Печаль!
Предай им без условий младость
И не читай Судьбы скрижаль!

Первая

Блажен, кто вовсе чужд сомненья!
Но кто пытался познавать,
Тому отраду трудно дать:
Не принесла я утешенья!
Но в той таинственной стране,
Я помню, говорили мне,
Что можно *в истине* суровой
Отраду вам найти себе, —
И непонятное мне слово
Я принесла одно тебе!
Не хочешь? Пусть себя тревожишь,
Но ты не лучший путь избрал:
Что ты проник и что познал,
Ты позабыть уже не можешь!

Вторая

Исчезни, адский Дух смущенья!
Почто рождаешь хлад сомненья
В груди, где пламень обитал?
Он той ли истины желал?
И тот ли ты закон открыла,
Который мог бы он обнять,
В котором — временного сила,
На коем — вечного печать!
Не мог обнять он бренным взором,
Что ты взялась ему открыть!
Чего ты хочешь? Чтоб винить
Он Небо стал своим укором?
Исчезни ты! А ты внемли!
Есть истина и для земли!
Она не та, но те ж законы
Вам отражаются и в ней,

По коим над главой твоей
Миров вратятся миллионы!
Они не пали, и тебя
Закон поддержит бытия!
Что сам ты в сем кольце вселенной,
Какое ты в цепи звено,
Закрыто будь тебе оно —
Но ни одно в ней не забвенно!
Твой круг Природой очерчен, —
Ты действуй в нем: обширен он!

И я внимал. И вдруг мгла ночи
На миг мои покрыла очи.
И в вихре Феи с двух сторон
Слетелись, сшиблись, слышен стон!
Вдруг тихо — ясен свод небесный,
Обеих нет — и неизвестно,
Кто победил, кто побежден!
Во мне осталось лишь волненье,
Или как то недоуменье,
В котором помнишь чудный сон!
Я мог привесть в успокоенье
И душу, бывшую в сомненье,
И сердце, полное тревог,
Но что узнал, забыть не мог!

1828

28. ТАЙНА ЭПИГРАММЫ

Вы, профаны, нам дивитесь,
Говорите: «Как остро!»
Но одумайтесь, всмотритесь,
Вы увидите: перо,
Не спросясь совсем рассудка,
Разместило так слова,
Что вот этак — вышла шутка,
А вот так — и мысль едва!
Что подняло смех ваш шумный,
Ключ к тому искусством дан, —

Часто вместо мысли умной
Тут оптический обман!

⟨*1832*⟩

29. ЭПИТАФИЯ КОМУ УГОДНО

Из ничего кой-как пробился
И в жизни значил кое-что!
И, быв кой-чем, он возвратился
По смерти в прежнее ничто!

⟨*1832*⟩

30. ЛЕТО В СТОЛИЦЕ

Всё камни! .. камни стен и камни мостовых!
В домах защиты нет от духоты и жара!
Деревья чахлые бульвара
Стоят, как вечный фрунт! Под мертвой пылью их
Не видно зелени, нет свежести — и это,
Столица бедная, ты называешь лето!

О! сдвинул бы на миг один
Громады зданий сих, спирающие взоры,
И, мира вольный гражданин,
Открыл бы родины моей поля и горы,
Гремучие ключи, тенистые леса,
И ночь, столь свежую, как спустится роса
И напитает воздух чистый
Своею влагою живительной, душистой.
О лето! то ли ты, как в юности моей!
Грянь снова надо мной тогдашнею грозою,
Прекрасною на воле, средь полей!
Пролей дождь шумный полосою
И яркой, полною дугою
Ты, радуга, склонись над радостным селом!
Пускай овраг гремит и катится ручьем,
А завтра, солнце лишь пригрело,
Всё снова ожило и всё зазеленело!

Здесь солнце — духота! Прольет ли дождь
порой —
Он смоет с крышек пыль и мутными ручьями
Бежит в канавах мостовой;
Туман висит над головой,
И грязь, и слякоть под ногами.
Всё шумно и мертво! И самый божий гром
Неслышно прогремит, где всё гремит кругом,
Где всё сливается в беспрерывном шуме —
И экипажей стук, и продающих крик!..
Здесь людям некогда живой предаться думе,
И забываем здесь природы мы язык!
Так жалкий юноша, которого чужая,
Наемничья, хотя искусная рука
Под небом чуждого воспитывала края,
Не понимает, Русь святая,
Родной земли твоей родного языка!

22 апреля 1832
Москва

31. ЖАЛЬ МНЕ ВАС

O my brethern! I have told
Most bitter truth, but without bitterness.

Coleridge [1]

1

Жаль мне вас, младые девы,
Что родились вы в наш век,
Как молчат любви напевы
И туманен человек!

Ваши матери весною
Дней безоблачных своих

[1] О мои братья! Я сказал самую горькую правду, но без горечи. *Кольридж* (англ.). — *Ред.*

Для любви цвели красою
И для песен золотых!

Вы цветете — без привета:
Скука — пляски вашей след,
На любовь вам нет ответа,
На красу вам песен нет!

Как богиням, в ваши годы
Им курили фимиам;
Кто поэт, кто жрец природы
Вас введет с собою в храм?

Ваши прелести земные
Для земных блистают глаз —
Наши души ледяные
Не пылают уж для вас!

2

Жаль мне, юноши, что младость
Ваших дней не весела,
Что раздумье гонит радость
Рано с вашего чела!

Не слыхать нам песни вашей,
Смех не шумен, шутка спит,
И за дружескою чашей
Откровенность не сидит!

Горды вы своею скукой!..
Целя мудрыми прослыть,
Жизни заняты наукой,
Забываете вы жить!

Не касался с наслажденьем
Ваших уст еще порок,
А мутите уж сомненьем
Чистой жизни вы поток!

Жаль мне слышать ваши споры
О науке новых лет:

Где за истину раздоры —
Знак, что истины там нет!

3

Жаль мне, старцы, утружденных
Жизни тягостным путем
Видеть вас полузабвенных
В поколенье молодом!

Вы, как племени былого
Обелиск из дальных стран,
Для живых людей — без слова
Вещей мудрости орган!

Ваши подвиги забыты!
В укоризну нам они!
Новизной лишь знамениты
Ум с заслугой в наши дни!

Молча ваших дней преданья
Вам приходится беречь,
И, свалившись без вниманья,
Дать простор — и в землю лечь!

4

Грустно, дети, и печально
Видеть быстрый ваш расцвет!
Мир пустеет идеальный,
Тесен, темен жизни след!

Век быстрее прежних мчится!
Он хлопочет, он спешит,
Недосуг добру учиться:
Веры нет, а ум кичит!

Дни работы — и погашен
В храме сердца фимиам!
Добывая злата, брашен,
Человек не входит в храм!

То, земной поденщик нужды,
Движет тяжесть он громад
И, богатства духа чуждый,
Хочет чревом быть богат;

То, гордясь созданья силой,
Мнит творца усвоить честь:
С места сдвинул он, что было, —
Не на месте то, что есть!

Расшатались мудрых мненья!
Бог и польза — на весах:
Нет для духа убежденья
И неверен каждый шаг!

Человечество не здраво!
В ваши зрелые года
Как узнать, что будет право
И что истина тогда!

5

Жаль тебя мне, век усталый,
Ранний старец без седин,
Мыслью буйный, в чувствах вялый,
Об отцах забывший сын!

Ни восторга наслажденья,
Ни молитвенной слезы!
Только алчность насыщенья!
Только ропот в день грозы!

Что ж за дух тебя волнует?
Что за скорбь и теснота?
Что за ветр в умах бушует?
Что в душе за темнота?

Чем ты, гордый, недоволен,
О делах своих крича?..
Ты души недугом болен
И не ищешь душ врача!

Бог в твореньи не прославлен,
Тварь сама себе закон,
Человек себе оставлен —
Оттого и смутен он!

6

Мысль одна меня тревожит!
От нее-то стынет кровь.
В беззакониях, быть может,
Не иссякла ль в нас любовь?

Нет любви — не веет радость
Освежающим крылом,
И тогда — уныла младость,
Старость — косна языком!

Нет любви — животворящий
Исчезает в людях дух,
И сомненья дух блудящий
Ходит в людях, нем и глух!

И среди сердец пустыни,
Где любви распалась связь,
Дух стяжанья, дух гордыни
Заработает, кичась!

Разрабатывает пышно
Счастье мир, как фабрикант,
Но уж песен дев не слышно,
Мудрый — кроет свой талант!

Оттого-то жаль мне, девы,
Что родились вы в наш век,
Что молчат любви напевы
И туманен человек!

1841
Москва

32. ПОТОК

Всё земное увлекает
Быстрый времени поток,
Всё плывет и проплывает —
Лира, скипетр и венок!
И плывут по нем обломки
И богов и алтарей,
И за предками потомки
Проплывут потоком дней.

И плывут, незнанья полны,
И откуда и куда!
За волнами и́дут волны,
Мимо и́дут берега!
Взор их тешит изменение,
Зыбь укачивает их,
За явлением явленье,
Радость, горесть — всё на миг!

Лишь мудрец неколебимо
На брегу один сидит,
Видит всё, что мчится мимо,
Помнит, мыслит и молчит!
Знает он один, отколе,
Знает он один, куда!
Чужд он их веселой воле,
Мудрость тоже им чужда!

Вдруг он слышит лиры звуки!
По волнам плывет певец!
И простер к нему он руки,
И взывает, как отец:
«Выдь, мой сын! Оставь их племя!
Пусть их мчатся по волнам!
И пойдем мы, сбросив бремя,
К тихим Вечности брегам!»

20 сентября 1843
Москва

33. СЕВЕР

Север грозный, Север бранный!
Север наш родной!
Шлемом льдов своих венчанный
Исполин седой!

У твоих детей, могучий,
Молот члены сбил
И, как сталь, мороз трескучий
Грудь их закалил!

Широко лежат их степи,
Бурны их моря,
Стерегут границ их цепи
Два богатыря:

Лед на полюсах туманных
И мороз лихой!
Этот бьет гостей незваных,
Тот стоит горой!

Корабли подплыть не смеют
Полгода к брегам,
Войска вражьи коченеют —
Пир одним волкам!

Редко веслами мы волны
Пеним наших рек,
На конях отваги полный
Наш на них набег!

Не шумят они под нами,
Но порой трещат,
Искры снежные клубами
Вместо брызг летят.

Ненадолго в шелк цветистый
Рядятся луга,
Стелят яркий, стелят чистый
Свой ковер снега!

И скидает изумрудный
Лес с себя убор,
И алмазной гранью чудной
Ослепляет взор!

Чудно светлы наши ночи!
Ярко с высоты
Смотрят звезд прекрасных очи
В зёркальные льды!

И шумит у нас кипучий
По степям буран,
И взметает снега тучи
К небу великан!

Ни во что железной груди
Бой степей царя!..
Но есть край — другие люди,
Теплые моря!

Земли их — как сад цветущий,
Вечно зелен лес,
Волны рек всегда бегущи,
Яхонт — свод небес!

Выше облак путь нагорный
Всходит по скалам;
В море путь всегда просторный
Быстрым кораблям!

Сок от гроздий благовонный
Каплют там леса!
К слабым людям благосклонны
Были небеса!..

Но пришли оттоль народы
Запада с детьми,
Сшиблись мы за честь свободы —
Те легли костьми!

30 марта 1844
Москва

34. ОРЕЛ

Ширококрылый и могучий
Орел в поднебесьи летел,
Летел — под ним сбирались тучи,
Сердилось море, вал гремел!

Он око вверх — там солнце рдеет!
Он око вниз — там туч гряда!
Крыло лишь паруса белеет,
Как путь забывшая звезда!

И быстро вдаль он кинул взоры,
И вот, сквозь занавесы мглы,
Как с места сдвинутые горы,
Встают валы, идут валы!

И бьется чайкой над волнами
Корабль, ныряя между вод,
И ловит ветер парусами,
А ветер злой — вертит и рвет!

То вскинет вал, то хлябь глотает!
И вот, забитый волн бичом,
Припал — и ветра не хватает
Летун разодранным крылом!

Вдруг морю туча прогремела:
«Вставай! Бушуй! Иди на брань!»
И бездна туче проревела:
«Встаю! Иду! Сильнее грянь!»

И всё слилось! И море встало!
И грозно встречные пошли!
И море неба тяжко пало
На море, вставшее с земли!

А он, царь воздуха могучий,
Взлетал, не видимый земле,
И там, где плыть не смеют тучи,
Он плыл, простря свои крыле!

И думал он: «Как жалки люди!
Взлететь бы только до небес!»
Прорезал воздух силой груди,
Взмахнул крылами и исчез!

15 августа 1844
Зыково

35. ЯЗЫК ПОЭЗИИ

Странная мысль мне пришла! Первобытный язык человека
Не был ли мерный язык, обретенный поэтами снова?
Как он естествен и жив! Он не то, что ленивая проза!
Все в нем слова — как лады; речь — как полная звуков октава!
В прозе — оратая труд, а в поэзии — сила атлета!

Страшно становится мне, как подумаю: сколько несчастных,
Тонкого слуха и ясных очей лишены, неспособны
Веянья жизни принять, животворных сил духа изведать!
Грубая речь для потребности дня лишь — их слух отверзает;
Грубый житейский лишь быт — устремляет их жадные очи!

Низко упал тот народ, где поэтам высоким не внемлют!
Ниже еще, где они не являются более миру!
Там, где в народе немом замолчало высокое слово,
Там невозможны высокий полет, ни великая жертва!
В зареве нашей Москвы пел во стане певец вдохновенный!

30 ноября 1845

36. ОТВЕТ АКСАКОВУ НА СТИХОТВОРЕНИЕ «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

Священной памяти владыки
Да не касается укор!
С своей отчизны снял Великий
Застоя вечного позор.

Но, осветя ее наукой,
Ее он жизни не давил:
Ему князь Яков Долгорукой
Без страха правду говорил.

Пусть, ненавидя зло былое,
Себе избрал он путь иной,
Но, отвергая отжилое,
Стране своей он был родной.

Но в разрушеньи созидая,
Он вел нас к благу одному,
И завещал он, умирая,
Свой подвиг дому своему.

Его ль вина, что завещанье
Не в силу мудрого сынам
И тяжела, как наказанье,
Их власть покорным племенам;

Что, своротя с дороги правой
И отрекаясь от добра,
Они прикрылися лукаво
Великим именем Петра.

И стал им чужд народ им данный,
Они ему закрыли слух,
Ни русский в них, ни чужестранный,
Ни новый, ни старинный дух.

О нет! упадшая глубоко,
Родная наша сторона
Дух раболепного Востока
Безмолвно зреть осуждена.

Но пусть дней наших Валтасары
Кончают грешный пир, пока
Слова, исполненные кары,
Напишет грозная рука.

1845 (?)

37. ПОДВОДНЫЙ ГОРОД

Идиллия

Море ропщет, море стонет!
Чуть поднимется волна,
Чуть пологий берег тронет, —
С стоном прочь бежит она!

Море плачет; брег песчаный
Одинок, печален, дик;
Небо тускло; сквозь туманы
Всходит бледен солнца лик.

Молча на воду спускает
Лодку ветхую рыбак,
Мальчик сети расстилает,
Глядя молча в дальный мрак!

И задумался он, глядя,
И взяла его тоска:
«Что так море стонет, дядя?» —
Он спросил у рыбака.

«Видишь шпиль? Как нас в погодку
Закачало с год тому,
Помнишь ты, как нашу лодку
Привязали мы к нему?..

Тут был город всем привольный
И над всеми господин,
Нынче шпиль от колокольни
Виден из моря один.

Город, слышно, был богатый
И нарядный, как жених;
Да себе копил он злато,
А с сумой пускал других!

Богатырь его построил;
Топь костьми он забутил,
Только с богом как ни спорил,
Бог его перемудрил!

В наше море в стары годы,
Говорят, текла река,
И сперла гранитом воды
Богатырская рука!

Но подула буря с моря,
И назад пошла их рать,
Волн морских не переспоря,
Человеку вымещать!

Всё за то, что прочих братий
Брат богатый позабыл,
Ни молитв их, ни проклятий
Он не слушал, ел да пил, —

Оттого порою стонет
Моря темная волна;
Чуть пологий берег тронет —
С стоном прочь бежит она!»

Мальчик слушал, робко глядя,
Страшно делалось ему:
«А какое ж имя, дядя,
Было городу тому?»

«Имя было? Да чужое,
Позабытое давно,
Оттого что не родное —
И не памятно оно».

11 апреля 1847
Москва

38. КАК ПЕРНАТЫЕ РАССВЕТА...

Как пернатые рассвета
Ждут, чтоб песни начинать,
Так и ты в руках поэта,
Лира — песен благодать!
Ты безмолвствуешь, доколе
Мрак и холод на земле,

Любишь песни ты на воле,
В свете солнца, не во мгле!

«Что вы песен не поете?» —
Вопрошает Вавилон.
«Как нам петь? Вы нас гнетете,
Ваша воля — нам закон!
Где у нас скрижаль Сиона,
Богом писанный глагол?
Песен нет, где нет закона,
Где единый произвол!»

1848
Москва

39

Сад снегом занесло: метелица и вьюга!
И это всякий день! Нет мыслящего друга.
Кому мне передать со скукою борьбу?
Ветр воет и свистит в каминную трубу!
Читаю и пишу всё утро до обеда,
Но с книгами, с пером — безмолвная беседа!
Мне нужен разговор — его-то здесь и нет!
В двенадцати верстах от нас живет сосед,
Забытый человек которого-то века.
Поехал посмотреть живого человека —
К нему проезду нет! Снег пó грудь лошадям,
В ухабах — пропадешь: как по морским волнам
Кидает каждый миг ныряющие сани!
«Пошел назад!» А там, подалее к Сызрани,
Где верст пятнадцать степь в длину и ширину,
Обоз и спутники в ночь вьюжную одну
Дорогу, как в степях Сахары, потеряли,
Увязли и в снегу рассвета ожидали!
Той ночью волк поел у мельницы гусей,
А нынче на мосту перепугал людей!
Вот наши новости! О людях уж ни слова!
Подкатится к крыльцу вдруг тройка станового...
«О! чтоб его совсем!» — «Поставьте самовар,
Да рому!» — Вот чем здесь поддерживают жар

И тела и души! О родина святая!
Чье сердце не дрожит, тебя благословляя!

9 февраля 1849
С⟨ело⟩ Б⟨огородское⟩

40. МОНОМАХИ

Мой предок — муж небезызвестный,
Единоборец Мономах —
Завет сынам оставил честный:
Жить правдой, помня божий страх.

Его потомок в службу немцев
Хоть и бежал от злой Литвы,
Не ужился у иноземцев
И отдался в покров Москвы.

С тех пор мы немцев невзлюбили,
С тех пор взлюбили мы Москву,
Святую Русь и правду чтили,
Стояли царства за главу!

Мой пращур в бунт второй стрелецкий,
Когда Петр маленький ушел,
Свой полк с отвагой молодецкой
Под стены Троицы привел.

Зато землей и деревнями
Нас Петр великий подарил,
Но между новыми князьями
Титу́л наш старый позабыл!

Но дух отважный Мономаха
С княжою шапкой не пропал:
За правду мы стоим без страха,
И каждый предка оправдал.

Мой дед — сызранский городничий,
Прямой Катон в глуши своей —

Был чужд и славы, и отличий,
Но правдой был — гроза судей!

Отец мой — он в руках со шпагой,
Собрав отважнейших в рядах,
Зажженный мост прошел с отвагой
Противу шведов на штыках!

Мой дядя — верный страж закона,
Прямой министр, прямой поэт —
Высок и прям стоял у трона,
Шел смело в царский кабинет!

А я, безвестный стихотворец,
Не князь, а просто дворянин,
В Сенате был единоборец —
За правду шел на всех один!

23 августа 1849

41. ⟨ЭПИГРАММА НА И. С. АКСАКОВА⟩

Какое счастье Ване —
Женат на царской няне!
Притом какая честь —
Ему и Тютчев тесть.
Сказать пришлося к слову —
Родня он и Сушкову.
Какую дребедень
Теперь запорет «День».

1866

Д. П. ОЗНОБИШИН

Дмитрий Петрович Ознобишин родился в 1804 году в наследственном поместье отца — селе Троицком Карсунского уезда Симбирской губернии. Владелец его был отпрыском старинной дворянской фамилии, известной с XIV века. В бытность свою в Астрахани, где П. Н. Ознобишин служил директором банка, он женился на дочери богатого грека И. А. Варваци, оказавшего важные услуги русскому флоту в Чесменском сражении и осыпанного милостями Екатерины II.

Еще в детском возрасте Дмитрий Ознобишин лишился обоих родителей. Престарелый дед взял осиротевшего внука в Петербург, но передоверил его воспитание своему родственнику А. В. Казадаеву.

В 1819 году Ознобишина увезли в Москву и поместили в Университетский благородный пансион. Так же, как это было с С. П. Шевыревым, В. Ф. Одоевским, В. П. Титовым и другими питомцами пансиона, его литературная биография началась в стенах этого учебного заведения, где авторитет «изящной словесности» был исключительно велик.

В 1820 году в пансионском альманахе «Каллиопа» шестнадцатилетний Ознобишин поместил перевод французского стихотворения «Трубадур», а в следующем году в «Вестнике Европы» (№ 4) появилось и его оригинальное стихотворение «Старец». В апреле 1823 года он закончил пансион, а в августе 1824 года занял должность цензора французских повременных изданий в московском почтамте.

В ранних стихотворениях, опубликованных в 1820—1822 годах, Ознобишин выступает как откровенный подражатель Жуковского («Т⟨итов⟩у», «Молитва мореплавателей», «Ручей»). Однако очень скоро в развитии молодого поэта совершается заметный поворот. Основную часть того, что он печатает в 1825—1828 годах, составили

переводы. Впрочем, эти чужие стихи в несравненно большей степени соответствовали характеру его дарования, нежели самые ранние оригинальные опыты. Вслед за Батюшковым и молодым Пушкиным он осваивает стиль изящной эротической лирики, учится у известных французских мастеров этого жанра, в особенности у Парни, переводит стихи из древнегреческой антологии. Эпикурейские мотивы сближают все эти стихотворения с лирикой Раича.

К кружку Раича Ознобишин присоединился уже в 1823 году, приняв на себя обязанности секретаря.[1] В 1827 году оба поэта, как бы в провозглашение своего творческого союза и некоторой автономии по отношению к кругу «Московского вестника», где соединились любомудры, издают альманах «Северная лира», наполнив его преимущественно собственными произведениями и переводами.

В статье «Отрывок из сочинения об искусствах», отразившей, надо полагать, и мнения других членов раичевского кружка, Ознобишин приводит поэтические тексты своих друзей и, между прочим, сочувственно цитирует строки еще не бывшего в печати стихотворения Тютчева: «Нет веры к вымыслам чудесным, Рассудок всё опустошил. . .».[2] Засилье интеллекта, аналитического мышления, по мнению Ознобишина, — болезнь современного ему поколения, способная убить в человеке радость бытия, самый инстинкт жизни. Этой теме он посвятил стихотворение «Тайна пророка», напечатанное в 1828 году. В поэзии самого Ознобишина элементы «рефлексии», анализа присутствуют в минимальной дозе. Тяготение к наивности, простоте художественного созерцания, быть может, наиболее заметная черта его дарования. Этим в значительной мере объясняется его увлечение поэзией «младенчествующих» народов, пленительной свежестью и неподдельной искренностью их образного языка. Кроме древнегреческой антологии — несколько переводов из нее он в 1830 году напечатал в виде связного цикла под названием «Гинекион» — большое место в творчестве Ознобишина заняли экскурсы в поэзию и поэтический мир народов Востока. В этих увлечениях его горячо поддерживал Раич, доказывавший необходимость «перенести к нам поэзию Востока» и тем довершить *«опоэзение* нашего языка».[3]

---

[1] Данные об этом — в неопубликованном письме Ознобишина к В. Ф. Одоевскому, приблизительно датируемом 1823—1825 гг. (ПД).

[2] «Северная лира на 1827 год», М., 1827, с. 358.

[3] Письмо к Ознобишину от 20 ноября 1825 г. — М. Васильев, Из переписки литераторов 20—30-х годов XIX века («Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском гос. университете им. В. И. Ульянова-Ленина», т. 34, вып. 3—4, Казань, 1929, с. 175).

В середине 20-х годов Ознобишин приступает к систематическому изучению восточных языков (персидского, арабского, санскрита). В 1826 году в «Сыне отечества» появляются статьи: «О духе поэзии восточных народов» и «Изображение санскритской литературы» — свидетельство основательной эрудиции Ознобишина в области современной ориенталистики.[1] Тогда же он начинает публиковать свои переводы (прозы и стихов) персидских и арабских классиков. В это же время Ознобишин перевел с санскрита эпизод из поэмы Вяазы «Брама-пурана», который предназначался для рылеевского альманаха «Звездочка», не вышедшего в свет.[2]

Восточный колорит и специфическая образность оригиналов в переводах Ознобишина, как правило очень вольных, слабо ощутимы. Более густо ориентальные краски нанесены в ряде оригинальных стихотворений поэта конца 20-х и в 30-е годы («Гангес», «Мохаммет», «Продавец невольниц», «Селам, или Язык цветов», «Вазантазена» и других). Из огромного и богатого мира восточной поэзии Ознобишин почерпнул немногое — главным образом то, что напоминало традиционную анакреонтику и идиллические описания природы.

Конец 20-х годов выводит Ознобишина на более плодотворный путь развития. Поэт достигает значительного разнообразия мотивов, локальных красок — как в переводах, так и в оригинальных стихах. Помимо восточных и античных поэтов, Ознобишин переводит Байрона и Т. Мура,[3] Гюго и Беранже, шведских поэтов, пишет стихи, навеянные Библией, скандинавской мифологией, итальянской поэзией, отечественным фольклором. Он предлагает интересные ритмические эксперименты («Водяной», «Фолетто»[4]). Но самое главное, из-под пера его выходят оригинальные стихи, отразившие конфликты и про-

---

[1] Свои труды по восточным литературам и переводы с восточных языков Ознобишин подписывал псевдонимом «Делибюрадер». Это была неточная русская транскрипция двух персидских слов, означающих «сердце брата».

[2] См.: «Русская старина», 1883, № 7, с. 62—64 (в этом номере полностью воспроизведен текст «Звездочки»). Рукопись перевода — в ПД. Тот же отрывок под названием «Пустынник Канду» был анонимно напечатан в альманахе «Подснежник» (СПб., 1830, с. 117—120).

[3] Выполненный Ознобишиным перевод четвертой части поэмы Т. Мура «Лалла Рук» под заглавием «Свет гарема» остался в рукописи (ПД).

[4] Пропуски метрических ударений и внеметрические акценты создают во многих стихах «Фолетто» уникальные для того времени ритмические формы. В результате некоторые строки превратились в дольники, а некоторые близки к верлибру.

тиворечия жизни, стихи, рассказывающие о размолвках и разлуках, о печали одинокого человека, наконец, стихи, рисующие картины тревожной и бурной природы. Идиллическая однотонная гармония в лирике Ознобишина явно перерастала в гармонию контрастов. Показательным в этом отношении было широкое вторжение в творчество поэта темы смерти. Мир его поэзии — мир природы и «естественного человека» — тем самым более полно раскрывал свою идею: жизнь была показана теперь как органический процесс цветения, увядания и уничтожения. Прямо или косвенно с этой темой связаны многие, в том числе лучшие его стихотворения 30-х годов, такие, как «Стень», «Аттила», «Фивский царь», «Битва в дубраве».

В 30-е годы творчество Ознобишина по-прежнему осталось отъединенным от социальных проблем современности. Впрочем, изоляция эта отнюдь не смыкалась с романтическим отчуждением от действительности, порождавшим разочарование и настроение безысходности. Напротив, пафос лирики Ознобишина — в утверждении положительных начал жизни, очищенных однако от наслоений цивилизации. Как ни условен и ни тесен мир такой поэзии, нельзя не отдать должное его цельности, покоящейся на удивительно теплом и ровном отношении к человеку. Оно исключало какое бы то ни было стремление развенчать его, даже там, где, казалось бы, осуждение со стороны автора неизбежно (ср. «Аттилу» и «Битву в дубраве»). Такого рода гуманизм предполагал и определенный творческий принцип: человек в стихах поэта — более объект неизменно сочувственного созерцания, нежели выражающий себя субъект. Не случайно лирическое «я» — весьма редкий «персонаж» его стихов.

Ознобишин вел довольно непоседливый образ жизни. Уже в октябре 1828 года он берет увольнение от службы, обосновывается в своем Троицком, но часто и подолгу отлучается из него, наезжая в Симбирск, Казань, Чебоксары, Смоленск, Москву, Петербург, Кавказские минеральные воды. Человек материально независимый, он исколесил также многие иноземные края. Странствующий поэт и полиглот — таким запечатлен облик Ознобишина в дружеском послании к нему Н. М. Языкова (1834). Кроме трех восточных языков, он знал древнегреческий, латинский, немецкий, французский, итальянский, испанский, шведский. В какой-то мере владел он и языками народностей Поволжья — по некоторым данным, татарским, чувашским и мордовским.

Стоит отметить, что Ознобишин был усердным помощником П. В. Киреевского в собирании памятников русского народного творчества. Его ценная коллекция, опубликованная целиком лишь в не-

давнее время,[1] свидетельствует о плодотворности его работы в качестве фольклориста.

Служебную и общественную биографию поэта более позднего времени характеризуют следующие факты: с июня 1833 года он состоял почетным попечителем Карсунского уездного училища, а с апреля 1838-го по апрель 1841-го и с мая 1844-го по июнь 1847-го — почетным попечителем Симбирской гимназии. В пореформенное время Ознобишин заявляет о себе как типичный деятель либерального толка. Он интересуется земскими делами губернии, состоит членом Симбирского губернского статистического комитета (с 1864 года) и членом «особого присутствия» по крестьянским делам, членом «училищного совета» и т. д. Одновременно он публикует статьи по вопросам землепользования, кустарной промышленности, краеведения, этнографии, народного образования, выступает с сочувственным отзывом о стихах А. К. Толстого и т. д.

С конца 20-х и до середины 40-х годов имя Ознобишина часто мелькало на страницах русской периодики (особенно в «Московском вестнике», «Галатее», «Телескопе», «Молве», «Московском наблюдателе», «Отечественных записках», «Москвитянине») и многочисленных альманахах. Журналы охотно печатали его стихи, привлекавшие задушевностью, мелодичностью, а порой и артистизмом исполнения. Чуждый авторского самолюбия, Ознобишин ни разу не решился собрать лучшие образцы своей лирики и издать их отдельным сборником. Судить о его творческом облике было затруднительно, и Ознобишин так и остался поэтом без определенной репутации.

В 50—70-е годы Ознобишин по-прежнему довольно много переводил — теперь уже только западноевропейских поэтов (Гейне, И. Тегнера, Лонгфелло, Бульвера-Литтона и других). В списке его переводов появляются пьесы (Кальдерона, И. Лука, Скриба, Мальвиля и других). Между тем литературный путь его как оригинального поэта в сущности завершился в середине 40-х годов. Немногие поздние стихотворения, опубликованные в 50—70-е годы — среди них были и совсем неудавшиеся Ознобишину стихи на злобу дня, — ничем не обогатили его творчество. Умер поэт 2 августа 1877 года в Кисловодске.

---

[1] См.: «Песни, собранные писателями. Д. П. Ознобишин» (Публикация С. И. Минц). — «Литературное наследство», № 79, М., 1968.

42. ЕЛЕОНОРЕ

(Из Парни)

О милый друг, ты наконец узнала
Привет любви, прелестный и немой,
Его боялась ты и пламенно желала,
Им наслаждаясь, трепетала, —
Скажи, что страшного влечет он за собой?
Приятное в душе воспоминанье,
Минутный вздох и новое желанье,
И новость страсти молодой!
Уже свой роза блеск сливает
С твоею бледностью лилейною ланит,
В очах пленительных суровость исчезает
И нега томная горит...
Смелее дышит грудь под легкой пеленою,
Накрытой матери рукой,
Любовь придет своей чредою
И лаской резвой и живою
Расстроит вновь убор вечернею порой!
Тебе улыбка изменила,
Прошла беспечность прежних дней,
И томность нежная их место заступила;
Но ты прелестней и милей!
Ты пылкую любовь и тайной неги сладость
Узнала пламенной душой
И резвую сдружила младость
С своей задумчивой мечтой.

1821

43. ВЕНОК

Тебе венок сей из лилей,
Блестящих снежной белизною,
Киприда, приношу с усердною мольбою:
Тронь сердце Делии моей.
Увы! жестокая любовью презирает
И даже те цветы с досадой обрывает,
Которые один, в безмолвии ночей,
Я тайно рассыпал вблизи ее дверей.

⟨1822⟩

44. МИГ ВОСТОРГА

Когда в пленительном забвеньи,
В час неги пылкой и немой,
В минутном сердца упоеньи
Внезапно взор встречаю твой,
Когда на грудь мою склоняешь
Чело, цветущее красой,
Когда в восторге обнимаешь...
Тогда язык немеет мой.
Без чувств, без силы, без движенья,
В восторге пылком наслажденья,
Я забываю мир земной,
Я нектар пью, срываю розы,
И не страшат меня угрозы
Судьбы и парки роковой.

⟨1822⟩

45. ОДА ГАФИЦА

Из книги «Даль» его дивана

Без красавицы младой,
Без кипящего стакана,
Прелесть розы огневой,
Блеск сребристого фонтана —
Не отрадны для души!

Без напева соловья
Скучны роз душистых ветки,
Шепот сладостный ручья
И ясминные беседки —
Не отрадны для души!

Юной пальмы гордый вид,
Кипариса волнованья
Без тюльпановых ланит,
Где играет огнь желанья, —
Не отрадны для души!

Прелесть девы молодой,
Гибким станом взор чаруя,

Чьи уста как сон златой,
Но уста без поцелуя —
Не отрадны для души!

Купы розовых кустов —
Куща неги легкокрылой,
Чаша полная пиров
Вдалеке от сердца милой —
Не отрадны для души!

Что б поэт ни создал нам,
Что бы кисть ни начертала,
Если жизнь не дышит там,
Милый образ идеала —
Не отрадно для души!

Гафиз! Жребий брошен твой,
Как на шумный праздник света
Пред веселою толпой
Вверх бросается монета —
Не отрадна для души!

⟨1826⟩

46. К N.

Страдалец произвольной муки,
Не сводишь ты с нее очей,
Как Тантал, жадно ловишь звуки
Ее младенческих речей.
Но тщетны все твои терзанья:
Язык любви ей незнаком,
Ей не понятны ни страданья,
Ни бледность на лице твоем.
Когда в волненьи страсти буйной
Ты с жаром руку жмешь у ней,
Ее пугает взгляд безумный,
Внезапный блеск твоих очей.
Холодная к твоей печали,
Ее душа тиха, ясна,
Как волн в недвижимом кристалле
С небес глядящая луна.

13 августа 1826
Москва

47. К N. N.

Зачем на краткое мгновенье
В сей жизни нас судьба свела,
Когда иное назначенье,
Нам розный путь она дала?

Твой робкий взгляд, живые речи —
Всё, всё я, милый друг, понял.
Я запылал от первой встречи
И тайны сердца разгадал.

В другой стране — вдали я буду,
Меня легко забудешь ты!
Но я — я сохраню повсюду
Твои небесные черты.

Так грубый мрамор сохраняет
Черты волшебного резца,
И вдохновенная сияет
В нем мысль художника-творца.

30 ноября 1827
Москва

48. ТАЙНА ПРОРОКА

Возьмите, возьмите предведенья дар
И дивную тайну возьмите!
Смирите души истребительный жар,
Волнение дум утолите!
О, дайте мне каплю забвенья одну,
Чтоб мог я предаться отрадному сну.

Я видел, я знаю — зачем не забыл!
Мои сокрушаются силы,
В грядущем ужасном я мыслью парил,
Я тайну исторг из могилы.
Я тайну проникнул веков в глубине,
И радость с тех пор недоступна ко мне!

Сказать ли? но мир так спокоен и тих,
Всё небо так чисто и ясно,

И солнце стремится, как юный жених,
В объятья природы прекрасной,
И люди привыкли так весело жить,
Зачем же мне тайной в них радость губить?

Погибни ж, зловещая, в мраке души!
О, дайте мне прежние годы,
Когда я, стад пастырь, в безвестной тиши
Светил созерцал хороводы
И, юный свидетель высоких чудес,
Был светел душою, как звезды небес!

⟨1828⟩

49. УПРЕК

Арабский мауль

Как свеж огонь твоих ланит!
В прозрачной чаше так, играя,
Вино душистое кипит;
Агат в очах твоих горит,
Любовь в сердцах воспламеняя;
Пред нежной шеи белизной
Ничтожен перлов блеск живой;
Но с этой красотой чудесной
Тебе рассудок дан в удел, —
Ужель столь строгой, друг прелестный,
Ко мне он быть тебе велел?

Январь 1828

50. ПОДРАЖАТЕЛИ

Из лука пущенна стрела
Пронзила своды эмпирея
И, самолюбьем пламенея,
Упреком встретила орла:

«Смотри, как я взвилась высоко,
Быстрей тебя я вверх лечу
И выше, только захочу,
Так что с земли не взвидит око!»
— «Как мне судьба твоя жалка! —
Сказал орел. — Чужие крылья,
Чужая мчит тебя рука
Под светозарны облака,
А вниз влечет свое бессилье».

Февраль 1828

51. ВОДЯНОЙ ДУХ

Не ходи к потоку —
Он шумит, бежит,
Там неподалеку
Водяной сторожит.
Он на дне золотом
Неприметен днем.

Солнце лишь к закату —
Он встает из реки,
Тяжелую пяту
Кладет на пески
И, луной озарен,
Погружается в сон.

До утра косматый
Там спокойно спит,
Рой духов крылатый
Вкруг него сторожит,
Чтоб случайно волна
Не встревожила сна.

Июль 1828

52—57. ⟨*ИЗ ЦИКЛА «ГИНЕКИОН»*⟩

Se non fosse amore, sarrebbe la vita nostra come
il cielo senza stelle e sole.

M. Bandello [1]

Perduto è tutto il tempo,
Che in amar non si spende!

«Aminta». Atto prima, sc. pr. [2]

1

КСАНФА

Росой оливы благовонной,
Филена, свещник напои!
Он наших тайн посредник скромный,
Он тихо светит для любви.
Но выдь и двери за собою
Захлопни твердою рукою.
Живых свидетелей Эрот
В лукавой робости стыдится!
О Ксанфа! Ложе нас зовет,
С курильниц тонкий пар клубится,
Скорей в объятия ко мне!
А ты, жена, открой зеницы,
Всю прелесть Пафоса царицы
Узнаешь, милая, вполне!

2

НИКАРЕТА

Ты бережешь любви цветок прелестный,
Скажи, к чему полезен он?
Все в ад сойдем, в юдоли тесной
Всех примет хладный Ахерон.

---

[1] Если б не было любви, наша жизнь была бы подобна небу без звезд и солнца. *М. Банделло* (итал.). — *Ред.*

[2] Все то время потеряно, которое не истрачено в любви. *«Аминта» Акт первый, сцена первая* (итал.). — *Ред.*

Там нет Киприды наслаждений,
Как в здешнем мире, чуждом тьмы, —
Носиться будем в виде тени,
Костьми и пеплом станем мы.

3

ХАРИТА

Уж солнце шестьдесят кругов
Свершило над главой Хариты,
Но глянец черных волосов,
Плеча, тюникою не скрыты,
И перси, тверды как лигдин,
Еще красуются живые,
И очи томно-голубые,
Чело и щеки без морщин,
Дыханье по́лно аромата,
Звук усладительный речей, —
Всё чудно, всё прелестно в ней
В годину позднего заката!..
Вы, новых жадные побед,
Поклонники безумной страсти,
Сюда! Ее предайтесь власти,
Забыв десятки лишних лет.

4

ЛИСИДИКА

Еще твое не наступило лето
И не видать полуопадших роз;
Незрелый грозд, на солнце не согретый,
Не точит кровь своих душистых слез!
Но примешь ты все прелести Хариты,
О Лисидика. За тобой
Эроты с луком и стрелой
Несутся резвою толпой,
И тлеет огнь, под пеплом скрытый.

Скорей укроемся от гибельных очей,
Пока еще стрела дрожит над тетивою!
Пожар, пророчу вам, от искры вспыхнет сей
Сильней, чем некогда опепеливший Трою.

5

ДИОКЛЕЯ

Я худощавою пленился Диоклеей.
Когда б ее увидел ты,
Сравнил бы с юною, бесплотной Дионеей:
В ней всё божественно — и взоры, и черты.
На перси тонкие прелестной упадая,
Вкруг сладострастной обовьюсь
И, в наслажденьях утопая,
Душой своей легко с ее душой сольюсь.

6

АНТИГОНА

Нет, нет! тот не был воспален
Высокой, истинною страстью,
Кто, резвою красавицей пленен,
Невольно взором увлечен
Он был к живому сладострастью.
Лишь тот один постиг любовь вполне,
Кто красоты не разбирает,
Пред безобразною в немом восторге тает
И, исступленный, весь в огне,
Молчит — и слезы проливает.
Безумной мыслию кипит его душа!
Он, чуждый сна, винит мрак ночи
И, трепетный, едва дыша,
С трудом усталые приподымает очи.

Вот образ истинный Эротова жреца!
Вот жертва лучшая Киприде:
Пленяет всех краса лица, —
Влюбленный пламенно не думает о виде!

1828

58. РЕВНИВЫЙ ДЕМОН

Когда над озером, играя,
Луч яркий угасает дня
И волн равнина голубая
Сверкает в пурпуре огня,
Тогда, печальный, молчаливый,
Незримый, но всегда с тобой,
Я устремлю мой взгляд ревнивый,
Прелестный друг, на образ твой.

О, если я замечу, страстный,
Что взор твой к юноше летит,
Взгляну — блеск молнии ужасный
Счастливца бледность озарит.
Его обымет страх невольный,
И, очи робко опустя,
Ты угадаешь гнев безмолвный,
Земли прелестное дитя!

Когда ж над сонною землею
Ночь звездный полог разовьет,
Я, не замеченный тобою,
Как аромат над лоном вод,
Скользну поверх твоей ложницы,
Приму знакомые черты
И на усталые зеницы
Навею дивные мечты.

Все мысли, скрытые волненья,
Всё, всё постигну я вполне,
Ты сердца выскажешь движенья,
Полузабывшись в сладком сне.
Но берегись хотя случайно
Чужое имя произнесть,
Не искушай нескромной тайной...
Мне тайны той не перенесть!

Исчезнут легкие виденья
И сон пленительный стократ:
Могучий гений разрушенья,

Я на тебя уставлю взгляд
Не с жаждой страстного лобзанья,
Не с пылким трепета лица,
Нет, буду я считать терзанья,
Твои терзанья без конца.

Моя любовь — как вихрь громовый,
Как огнь небес она чиста!
И месть моя! .. но ей оковы
Твои прелестные уста!
Твоя улыбка — мне веленье,
Взгляни! .. и раздраженный бог
Падет к ногам в слезах, в смущенье,
Что он на миг забыться мог.

Июль 1829

59. ⟨ИЗ КНИГИ «СЕЛАМ, ИЛИ ЯЗЫК ЦВЕТОВ»⟩

Теперь красавицы девицы,
Которых скука в старину
Хранила под замком светлицы
Как заповедную казну,
Живут с мадамой в полной воле.
Им чужд язык для них родной,
Зато их не пугает боле
Скупой Кащей иль Домовой;
Злой дух, как прежде, не уносит
Тайком за тридевять земель,
И добрый молодец не просит,
Чтоб посадили за постель, [1]
Где он под шапкой-невидимкой,
Бывало, жив не жив сидит
И в страхе, с робкою ужимкой,
На духа черного глядит.
Нет! ныне Русью уж не пахнет,
И даже изредка во сне
Девица невзначай не ахнет,
Припомянув о старине!

---

[1] Смотри русские сказки.

Поклонницы блестящей моды!
Вас рано увлекает свет!
Забыты игры, хороводы,
Родимых песней гибнет след!
В них прежней прелести вам нет,
Рассказы нянь вас не пленяют
Простосердечною мечтой,
И томны очи не сияют
Бывалой, тихою слезой.
Зато как часто свет лукавый
Вас изменяет — и в тиши
Готовит медленно отравы
Для слишком вверчивой души!

⟨1830⟩

60. ПРОСТИ

Не возбуждай моей тоски,
На миг затихшего страданья
Пожатьем трепетным руки,
Печальным словом расставанья.

Бесценный друг, забудь, забудь,
Что завтра нам проститься должно!
Сегодня счастливою будь
И будь веселой, если можно.

О, будь по-прежнему резва,
Как в дни обманчивого счастья,
Когда в устах твоих слова
Звучали негой сладострастья.

Взгляни! с высот небес луна
Так ясно светит, дышат розы...
Но ты безмолвна, ты бледна,
И сквозь улыбку блещут слезы.

Чуть слышно сжатие руки,
Без чувства хладное лобзанье!

Не пробуждай моей тоски
Печальным словом расставанья!

О, дай на милые черты
Вглядеться мне в суровой доле;
«Люблю тебя» промолви ты,
Когда сказать не можешь боле.

Сей звук грусть сердца усладит,
Напомнит мне в чужбине дальной
И бледность томную ланит
И взгляд задумчиво-печальный.

Март 1830

61. ДУМА

Если грудь твоя взволнуется
В шуме светской суеты,
И душа разочаруется,
И вздохнешь невольно ты;

Если очи, очи ясные
Вдруг наполнятся слезой,
Если, слыша клятвы страстные,
Ты поникнешь головой,

И безмолвное внимание
Будет юноше в ответ,
За восторг, за упование
Если презришь ты обет...

Не прельщусь я думой сладкою!
Равнодушен и уныл,
Не скажу себе украдкою:
«Той слезы виной я был».

Снова радости заветные
Не блеснут в груди моей:
Я слыхал слова приветные,
Мне знаком обман очей.

Апрель 1830

62. ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Носик, вздернутый немножко,
Кудрей шелк, огонь очей,
Гибкий стан и что за ножка!
Звук застенчивых речей,
Взгляд, манящий к сладострастью,
Прелесть, слов для коей нет, —
Всё в ней мило; но, к несчастью,
Ей пятнадцать только лет!
Ей пятнадцать только лет!

Мне и скучно здесь и душно!
Вечный стук и вечный шум;
Как гранит, здесь всё бездушно,
Жизнь без чувств, любовь без дум.
Но о ней я всё мечтаю,
Вижу: в ней чего-то нет,
И, печальный, повторяю:
«Ей пятнадцать только лет!
Ей пятнадцать только лет!»

Август 1830
Санкт-Петербург

63. ПРОДАВЕЦ НЕВОЛЬНИЦ

La taille leste bien tournée!
Elle a, ma foi, de très beaux yeux;
Le bras, la main, le pied au mieux.

Seid. «Gulnare», sc. IV[1]

«Войди в шатер мой, чужестранец,
На африканку посмотри!
Глаза как смоль у ней, румянец —
Агата розового глянец!
Свежее утренней зари!

---

[1] Изящный, стройный стан! Клянусь, у нее прекраснейшие глаза! Рука, кисть, нога — все совершенно. *Сеид. «Гюльнара», сцена IV* (франц.). — *Ред.*

Шелк черных кудрей пышно вьется,
Уста как дышащий коралл,
И перлов ряд, лишь улыбнется,
Каких в Цейлане не найдется,
Каких нигде ты не видал!

Во всем базаре Истамбула
Невольницы подобной нет!
На шумных торжищах Моссула,
В долинах счастливых Кабула
Не цвел такой роскошный цвет.
Она стройнее пальмы гибкой,
Она акации нежней,
Как ласточка над влагой зыбкой,
Резвей тибетской серны, шибко
Бегущей по пескам степей!

Она с брегов зеленых Нила:
Пред ней поблекли б розы там,
Когда бы взгляд свой уронила
Или нечаянно склонила
Лице прелестное к волнам.
А как поет, а как играет
На лютне — слух обворожит!..
Когда ж в калхалы ударяет,
Тимпан кружит и вверх бросает, —
Как пери в воздухе летит.

Она... но ты проходишь мимо,
Но ты не слушаешь меня!
Она, как скиния Солима,
Как талисман, досель хранима,
Чиста, как луч рассветный дня.
Любовью сердце в ней не билось;
Пятнадцать лет ей без денниц;
Недавно грудь лишь округлилась...
Ни раз слеза не серебрилась
На ткани шелковых ресниц.

Ни раз... Но ждут уста лобзаний,
Уже задумчивей, томна...

В ночь слышен шепот воздыханий
И звук прерывистых рыданий,
И вся во сне горит она! ..
Купи ее! .. Какой любовью
Она все дни твои займет,
Когда приникнет к изголовью
И ночью под персидской мовью
Тебя в восторге обоймет!

Как будет ждать в любви урока,
Чтоб поцелуй уста зажгли! ..
Прекрасны гурии пророка —
Свежа, пылка и черноока
Младая гурия земли!
Купи ее: ты б с златом кисы,
Когда б взглянул, тотчас бы дал!»
— «Я не купец из Икониссы!»
— «Кто ты?» — «Я почитатель Иссы!»
— «Собака! что же ты молчал?»

Октябрь 1830

64. СТЕНЬ

...je ne vois pas pourquoi la nature a placé ces sujets du monde invisible, d'une façon si hostile vis-à-vis de nous, que nous ne puissions ressentir leur approche sans une terreur extrême.

Hoffman[1]

Я спал! Полночный сон глубок! ..
Таинственный вошел без шума...
Ко мне на грудь как льдина лег,
И сердце обложила дума.

Невольный вкрался в душу страх;
Мой вопль погиб во тьме без звука...

---

[1] ...я не знаю, почему природа противопоставила нам эти явления невидимого мира столь враждебным образом, что мы не можем почувствовать их приближения без крайнего страха. *Гофман* (франц.). — *Ред.*

И на трепещущих губах
Ужасная застыла мука.

Он яд в уста мои точил...
Я чувствовал, как гасли силы,
Как кровь сосал он, как давил
И веял холодом могилы.

Недвижный телом, я дрожал,
Глаза раскрыть напрасно силясь...
Студеный пот во мне бежал,
И жилы все как струны бились.

Когда ж он молньей в мысль проник...
Всхолмились волосы на темя...
И этот миг, страданий миг,
Тысячелетий обнял бремя.

И я был жив, и жить я мог...
Без чувств... скорбя душой, взмолился;
В отчаяньи воскликнул: «Бог!
Даруй мне смерть!»... и пробудился!

Ноябрь 1830

65. ВОСПОМИНАНИЕ

Нева, свод лип, беседка, розы,
Луна, поющий соловей,
Моленья робкие и слезы,
И бледность в памяти моей...

Другие дни, мечты другие!
Но часто думаю о ней,
Про очи темно-голубые,
Как небо северных ночей.

Теперь, быть может, в думе сладкой
Вздыхает милая в тиши,
Быть может, слезы льет украдкой
При светлой памяти души?

Иль слезы время осушило,
Иль клятв минувших след погиб?
И сердце женское забыло
Неву, беседку, своды лип?

1830

66. ПЛОВЕЦ

В час тихий светлого заката,
На синеве зеркальных вод,
Корабль, облитый морем злата,
В дыханьи ветра жизни ждет.

Его не радует денница,
Заря, смененная зарей:
Ему грустна его темница,
Свод неба душен голубой.

Всё тихо, пусто и уныло...
Лишь ветерок, едва слетя,
Шепнет во флаг, как над могилой,
Легко баюкая дитя.

Порою чайка зыбко реет
Крылом усталым над кормой
Или, как снег, у волн белеет,
Печальный крик роняя свой.

Но ветр дохнул — и, жизнью полный,
Мгновенно парус округлен,
Корабль очнулся, вспенил волны,
Отвеял с крыл могучих сон.

Летит... Как лебедь встрепенулся,
Летит пернатый, — и кругом
Вал синий с плеском развернулся,
Кипя, клокоча серебром.

Минувшее забыто горе,
Пловец блаженствует, как Крез;

Под ним лазурь — бунтует море,
Над ним горит лазурь небес!

В твои холодные объятья,
Стихия влажная, спешу!
Глас бурь твоих люблю внимать я,
Свободней грудью в них дышу.

Очам не льстят земные розы:
Они для сердца не цвели!
Пошли ж скорей мне ввстречу грозы,
Умчи далече от земли!

1830

67. ВАЗАНТАЗЕНА

«Остановись, Вазантазена,
На миг помедли, жрица нег!»
Бежит, испугом окрыленна,
Неуследим прелестной бег.
Чуть гнется рис под легкой ножкой,
Она, как ветр, скользит на нем,
И над жемчужною сережкой
Ланиты вспыхнули огнем.

«Остановись! .. Пусть воздух чистый
Твое дыханье освежит!
Опасен луг еще росистый,
И змей в траве!» Она бежит,
Бежит, дрожа, как ветвь банана,
Как лань, встревоженна ловцом.
«Помедли, роза Индостана!
Взгляни: туман еще кругом!»

Напрасно... Пурпур ткани тонкой
Взвевает легкий ветерок,
Звенит вкруг стана пояс звонкой,
Звучат калхалы резвых ног;
Сверкают камни дорогие
В ее власах, и свежий зной

Волнует перси молодые,
Златою сжатые корой.

Приветно пальмы Бенареса
Главой зеленою шумят.
Ужели в мрак священный леса
Укрыться дать ей в сень прохлад?..
Нет, вслед за ней быстрее птицы!
Пью аромат ее кудрей...
И робкий крик стыдливой жрицы
Покрыл в дубраве соловей.

1832

68. ФИВСКИЙ ЦАРЬ

1

Лишь день я на престоле Фивы,
Но Ель-Молук зовет меня
В приют свой тесный, молчаливый.

Там чудная, вещают, скрыта
Обитель от сиянья дня;
Там саркофаг иссечен из гранита,

И барельеф пред главными вратами
Искусно вылит золотой,
Где солнце, боги, царь с подъятыми руками...

Там Озирис в ероглифах вещает,
И с ястребиной головой
Бог Фре владычества ряд длинный обещает...

2

Лишь день я на престоле Фивы...
Зачем же нá сердце мне горесть наводить?
Вокруг меня сонм радостей игривый...

Вокруг меня еще все жизнью полны,
И сам я, царь, лишь начинаю жить...
Вокруг меня моих народов волны!..

О, что в бессмертии мне дальном,
В твоих таинственных заветах, Озирис?
В твоем величьи погребальном?

Что свет златых лампад пред яркою денницей!
Над кем, о Фре, твои гадания сбылись
За тою грустною, гранитною гробницей?

Часы прикованы в обители печали,
А здесь они так весело бегут!
Здесь нет богов, но жизнь нам боги ж дали!..

Лети же, яркая, без грусти, без тревоги!
Еще успеем мы к Атму предстать на суд,
Где жребий прорекут не смертные, а боги;

Где после кратких дней ждет долгая отплата;
Есть казнь — обещаны Элизия поля,
Где всё печальное утратим без возврата.

Жрецов предания всегда красноречивы!..
Там нет тебя, о Нил, о Фивская земля!
И первый день еще я на престоле Фивы!

1832

69. СЕВЕРНЫЙ ПЕВЕЦ

(С. П. Ш⟨евыреву⟩)

Где был наш северный певец?
Он был в Италии прекрасной;
Зрел Альпов ледяной венец
И свод небес, как яхонт, ясный;
Средь померанцевых садов
Блуждал, исполнен сладкой неги;
Пил нектар пурпурных гроздов
И — вспоминал родные снеги!

Что делал северный певец?
Искал он в Риме Рим великий...
И встал пред ним гробов жилец
В лице отживших царств владыки,
Исчез язык, упала длань,
В ярме державшая полмира,
Но мир искусству платит дань
У ног разбитого кумира.

Что слышал северный певец?
Не древний клич воинской славы;
Ему на взмории гребец
Пел Тасса звонкие октавы.
В луне, по изумрудам струй,
В гондоле быстро он катился —
И в нем, как свежий поцелуй,
Октавы русской звук родился.

Что видел северный певец?
Он зрел антики Вилла-Новы,
Ваянья дивные, резец
И мрамор дышащий Кановы;
Под смелым куполом Петра
Не раз он духом окрилялся
И в Ватикане до утра
Пред Рафаэлем забывался.

Где ж ныне северный певец?
Теперь он снова между нами,
И на главе его венец
Украшен южными цветами.
Он наш, он смело превозмог
Красавиц Тибра взгляд огнистый
И для друзей, для муз сберег
Души и сердца пламень чистый.

1833

70. АТТИЛА

Был ночью вырыт ров глубокий,
В него тяжелый гроб упал;
Не вскинут холм над ним высокой,
И след могилы одинокой
Прилежно заступ заровнял.

И тризны не было урочной!
По мертвом липец не ходил;
Не заклан с сбруею восточной
Любимый конь; лишь ветр полночный
Один в широком поле выл.

Два раза, месяца в сияньи,
Сверкнул карающий кинжал;
Раздались вопли: кто-то пал!
И призрак в пышном одеяньи
В туманах ночи пробежал.

Чей гроб? Кто мести совершитель?
Сей тайны некому постичь.
Наутро в стане плач и клич:
«Угас народов истребитель,
Аттила грозный, божий бич!»

Кинжал не выдал, ночь смолчала,
Где втайне гроб тройной зарыт;
И тот спокойно, тихо спит,
Чья жизнь, как буря, бушевала,
Над кем проклятие гремит.

1833

71. САЛЬВАТОР РОЗА

И пастырь зрел не раз резвивое дитя
В пещерах Баии, холмов на злачном скате,
В развалинах божниц, где солнца луч, блестя,
Дрожит поверх столбов, зарытых в винограде.
Там, в зыбком пурпуре и гроздий, и цветов,
Усталый, отдыхал возлюбленник богов.

Но чаще средь полей бесплодных Сольфатара,
Под лавром высохшим приюта он искал,
И в полдень, утомясь от солнечного жара,
На лаву хладную главу свою склонял:
Струились локоны с ланит, светлей денницы,
И дивный сон сходил на длинные ресницы.

1833

72. Н. М. ЯЗЫКОВУ

В былые дни, поклонник Феба,
Я пламенно молил у неба,
Чтобы в моей груди младой
Не угасал огнь думы сладкой,
Чтоб муза рифмою живой
Шептала мне свой стих украдкой;
Тогда в рассвете бытия
Мечтой вся жизнь цвела моя.

Блаженны были те мгновенья,
Мир светских снов и упоенья
Нежданных и завидных встреч!
Всё, всё прошло волною шумной —
И сердца пыл, увы, безумный,
И вдохновительная речь,
И то, чем дух ласкался юный,
Чем жили, трепетались струны!..

Теперь, как странник, на дорогу
Глядя́, твержу я: «Слава богу!
Мой дальний путь пройден, за мной...»
Но дум исчезнул рой крылатый,
Холодный опыт, мой вожатый,
Меня уводит в мир иной,
Там, циркуль взяв для измеренья,
Стопою ценит вдохновенья!..

Но ты, Языков, пробудил
Тот огнь, что я в груди таил;
На вызов твой красноречивый,

Поэт, кому в святой тиши
Знакомы радости души,
Восторгов дивные порывы, —
На вызов твой я ожил вновь
Петь юность, дружбу и любовь.

Прими ж, певец мой благодатный,
Стих дружбы нелицеприятный!
Да посетит твой мирный кров
Здоровье — спутник вдохновенья!
Дай вновь нам слышать песнопенья,
Восторг, разгул и шум пиров,
И кверху поднятые чаши,
Вино — былые годы наши!

Ноябрь 1834

73. АНТИАСТРОНОМ

Пусть астрономы говорят —
Морочить им не стыдно! —
Что солнцев тысячи горят, —
Нам всё одно лишь видно;
Что сонмы звездны в высоте,
Сгорев, потухнут разом,
Что все мы заперты в звезде,
Вокруг облитой газом.

Ведь им рассказывать простор!
Кто смерит неба стенки?
По мне, всё это — тонкий вздор,
Как пар кометы Энки.
От нас до тверди далеко,
Мы звезд видали ль диски?
Хоть заберемся высоко,
Всё будем к ним не близки.

Земное, право, ближе к нам,
И тут подчас проруха:
Фалеса, говорят, из ям
Таскала вверх старуха.

А всё от звезд... И что за цель
Глазеть на огневые?
Они за тридевять земель
Пусть будут хоть тройные.

Когда бы нам творец судил,
Окончив дней теченье,
Быть вновь жильцами тех светил —
Всё было б впрок ученье.
Но жажда истомит в Луне,
Юпитер долго в стуже,
На Солнце весь сгоришь в огне,
В других планетах — хуже.

Лишь дух слетит, как блеск из глаз,
К возжегшему денницу,
Земля уложит остов наш
В безмолвную ложницу,
И кости будут чернозем:
Там силой благодатной,
Быть может, процветет на нем
Цвет дивно ароматный.

Но в цвете том не быть душе, —
Хоть море выдь из брега,
Хоть ветерок поверх дыши
Лучей весенних негой,
Хоть светлым жемчугом роса
Осыпься в венчик зыбкий, —
Он запах выльет в небеса
Без скорби, без улыбки.

Друзья! пока играет кровь,
Рассудок светел думой,
И в сердце ластится любовь,
Оставим бред угрюмый.
Пусть спорит астроном до слез:
«Родятся гроздья паром!»
Мы выжмем гроздья зыбких лоз,
Ему ж все лозы — даром.

1834

74. ОКА

Стонет, воет и клокочет
Шумноволная Ока!
Знать, под льдом проснувшись, хочет
Поглядеть на облака,

Развернуться на свободе,
Солнце в лоно заманить
И на ясной на погоде
Струи светлые развить.

Чу! как шумно, грозно бьется!
Но могучей лед трещит,
Сребропенный вдаль несется,
Как в боях разбитый щит.

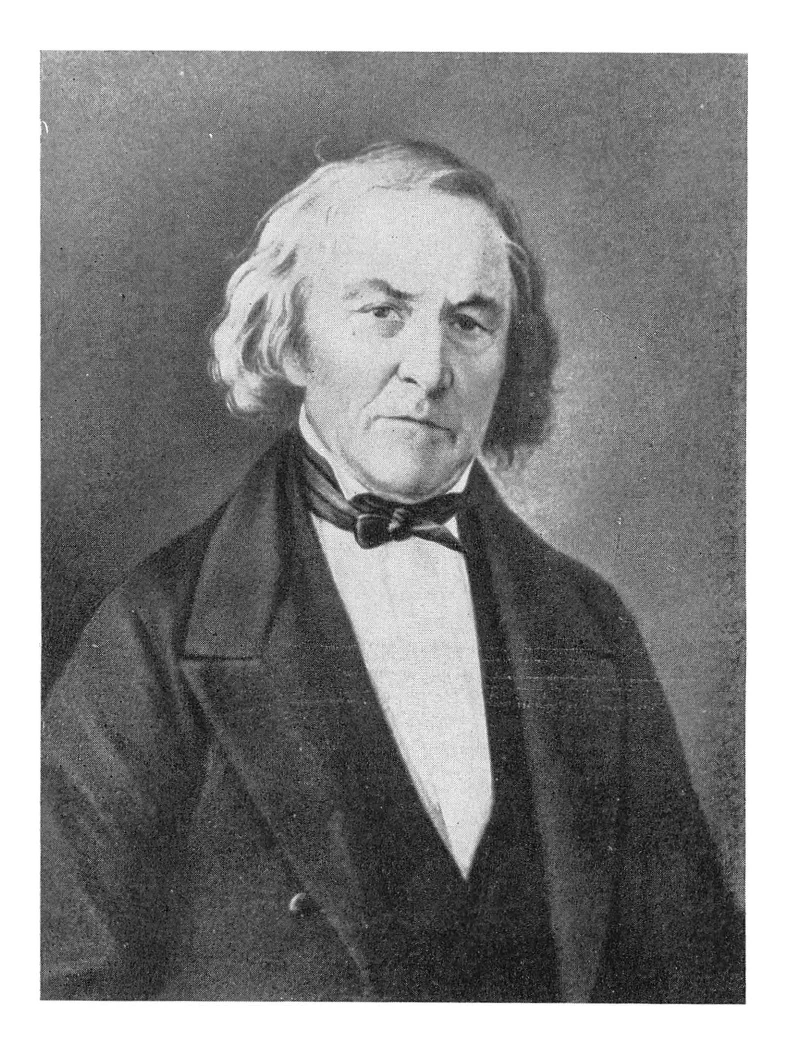
Брег дрожит, испуга полный!..
Но, светла и широка,
Горделиво плещет волны
Полногрудая Ока.

В солнце струи золотые,
Словно локоны, блестят,
Словно очи голубые,
Небом полные, горят.

И роскошна как денница,
И белее серебра...
Не вверяйся! Чаровница —
Волги юная сестра!

Пылко свежими устами
Зацелует, обольнет,
Хохоча, зальет волнами
И в пучину унесет.

Вопль и крик твой — всё напрасно.
Дай красавице Оке,
Дай возлечь ей, сладострастной,
На зыбучем на песке,



С. Е. Раич



М. А. Дмитриев

И тогда отважно, смело,
Как орел, любуйся ей!
Развевай свой парус белый!
Шли станицы кораблей!

Будет вся тебе покорна,
Как голу́бица кротка,
И заснет, шепча у челна,
Тихоструйная Ока.

Апрель 1835
Муром

75. ЧУДНАЯ БАНДУРА

Гуляет по Дону казак молодой;
Льет слезы девица над быстрой рекой.

«О чем ты льешь слезы из карих очей?
О добром коне ли, о сбруе ль моей?

О том ли грустишь ты, что, крепко любя,
Я, милая сердцу, просватал тебя?»

«Не жаль мне ни сбруи, не жаль мне коня!
С тобой обручили охотой меня!»

«Родной ли, отца ли, сестер тебе жаль?
Иль милого брата? Пугает ли даль?»

«С отцом и родимой мне век не пробыть;
С тобой и далече мне весело жить!

Грущу я, что скоро мой локон златой
Дон быстрый покроет холодной волной.

Когда я ребенком беспечным была,
Смеясь, мою руку цыганка взяла.

И, пристально глядя, тряся головой,
Сказала: утонешь в день свадебный свой!»

«Не верь ей, друг милый, я выстрою мост,
Чугунный и длинный, хоть в тысячу верст;

Поедешь к венцу ты — я конников дам:
Вперед будет двадцать и сто по бокам».

Вот двинулся поезд. Все конники в ряд.
Чугунные плиты гудят и звенят;

Но конь под невестой, споткнувшись, упал,
И Дон ее принял в клубящийся вал...

«Скорее бандуру звончатую мне!
Размыкаю горе на быстрой волне!»

Лад первый он тихо и робко берет...
Хохочет русалка сквозь пенистых вод.

Но в струны смелее ударил он раз...
Вдруг брызнули слезы русалки из глаз,

И молит: «Златым не касайся струнам,
Невесту младую назад я отдам.

Хотели казачку назвать мы сестрой
За карие очи, за локон златой».

Апрель 1835

76. БИТВА В ДУБРАВЕ

Du stig nu så vackert till sadel och häst,
Lät inte gullsporrarne klinga.

«Ung Hillerström» [1]

«В седло! На коня! Не бренчи, не звени
Своей раззолоченной шпорой!

[1] Ты так красиво вскочил в седло на коня, что даже не зазвенели златые шпоры. *«Молодой Хиллерстрём»* (шведск.). — *Ред.*

Подпруга надежна, не лопнут ремни;
Чрез мост устремися в бег скорый!»

Конь взвился под смелым. Вот в роще уж он,
С седла слез при блеске денницы.
Его наезжают от разных сторон
Семь братьев любимой девицы.

«Здорово, приятель! Отколе теперь?
Где был ты сегодня так рано?»
— «На ловлю поутру взманил меня зверь:
По следу я ехал поляной».

«А где же борзая? Что ж нет соколов?
Или не потешило поле?»
— «Товарищу отдал я утренний лов,
А сокол летает по воле».

С коней все. Кроваво на солнце горят
Мечи в позлащенной оправе.
Удар за ударом... и мертвы лежат
Все семеро братьев в дубраве.

На сивого снова взлетел он коня,
К любезной путь смело направил:
«Ждала ль ты так скоро, друг милый, меня?
Тебя я в кручине оставил.

Тяжелую новость я должен сказать!
Не плачь, не предайся печали!
Семи твоих братьев тебе не видать:
В дубраве, в бою они пали!»

«О, пусть моих братьев мне ввек не видать,
Когда они в битве все пали!
Ты всех мне заменишь! И слез проливать
С тобой я не стану в печали!»

Апрель 1835

77. РЫБАКИ

Я видел рыбарей, как в летний день они,
Утеса мшистого укрывшися в тени,
По речке весело раскидывали сети,
То были рыбари — неопытные дети.
Старейший отрок был цветущий и живой,
Наметку наводил дрожащею рукой
И, медленно влача по влаге изумрудной,
На золотой песок тянул с добычей скудной.
О, сколько радости и смеха без конца,
Когда случалось им плотву или гольца
Наметкой вынести на брег песчано-зыбкой!
Как забавлялися сереброчешуйной рыбкой,
Когда она в сетях, скользя из детских рук,
Живыми брызгами их покрывала вдруг.

О дети милые, еще вам чуждо горе!
Года придут чредой, и на безбрежном море,
Которое теперь призывно плещет вам,
Помчится ваша мысль заботно по волнам;
Но сердце затаит, как чистую молитву,
Забавы детские, беспечную ловитву.

Май 1835

78. ВЕСЕННЯЯ ГРУСТЬ

Зима бежит. Не слышен вьюги вой,
Метель не вьется по дороге,
И шумно панцирь ледяной
Дробит Ока, волнуяся в тревоге.

В ущельях гор серебряным ковром
Лежат нетронутые снеги,
И коршун в небе голубом
Кругоплывет — предвестник теплой неги.

Между дерев безлиственно-нагих
Младая верба — вся в уборе —

Весну встречает, как жених,
Улыбкой светлою во взоре.

Еще два дня... Проснется жизнь везде,
На божий свет былинка взглянет,
И ласточка в родном гнезде
И щебетать, и виться станет.

Всех радует привет весны!..
Лишь я, печальный и угрюмый,
Былые вспоминаю сны,
Мои несбывшиеся думы.

Но что другим в тоске моей?
Кому понять чужие слезы!
Спеши ж, весна! Пой в роще, соловей!
Цветите, пламенные розы!

1835

79. ПЯТИГОРСК

Пустынный край! Здесь Дивного рука
Переворот таинственный свершала:
Грядами гор взнеслась за облака
И на Эльбрус порфирой света пала.

Здесь каждый шаг — живые письмена,
Всё говорит о том, что прежде было.
И воздух жжет, и пар клубит волна,
И в недрах гор кипит огней горнило...

1839

80. ГОНДОЛЬЁР

(Венецианская баркарола)

«Посади меня с собой,
Гондольёр мой молодой, —
Близко до Риальто.

Дам тебе за труд я твой
Этот перстень золотой,
Перстень с бриллиантом».

«Дорог перстень, госпожа!
Не ищу я барыша,
Мне не надо злата.
Беден я, но в цвете сил;
Златом труд я не ценил:
Есть другая плата!»

«Что ж тебе? Скажи скорей...
Ночь становится бледней,
Близок день к рассвету.
До Риальто довези, —
Всё, что хочешь, попроси,
Хоть мантилью эту».

«Что в мантилье дорогой!
Шелк с жемчужной бахромой
Пышен для наряда!
Беден я, но в цвете сил;
Плащ мой прост, но мне он мил, —
Перлов мне не надо!»

«Что ж тебе? Скажи скорей...
Море о́т часу синей,
Утро недалёко.
Мне в Риальто надо плыть,
Мне в Риальто надо быть
До лучей востока!»

Тих и робок слов был звук,
Нежен блеск прелестных рук,
Ножка — загляденье!
Очи в маске — ярче звезд...
«Поцелуй за переезд
Мне в вознагражденье!..»

Ночь. Гондол в заливе нет,
Месяц льет уж тусклый свет,
Гондольёр прекрасен...

Муж — ревнивец; дорог час, —
Стерегут ее сто глаз;
Утра блеск опасен.

Руку молча подает,
Гондольёр ее берет,
Посадил с собою.
Быстр весла был гордый взмах,
И гондола на волнах
Понеслась стрелою.

Далеко от берегов
Снят красавицей покров,
На лице нет маски.
В кудрях шепчет ветерок,
Гондольёр лежит у ног,
Ждет заветной ласки.

И в смущеньи и бледна,
Пала к юноше она:
Смолк стыдливый ропот;
Томен блеск ее очей,
Дышит в музыке речей
Сладострастный шепот.

Как ее он целовал!
Клятвам милой он вверял
Перл слезы бесценной,
Мир блаженства впереди!..
Он, счастливец, на груди
Дремлет упоенный...

Над Риальто блещет день;
Во дворец скользнула тень,
Что ж гондола стала?
Где же юный гондольёр?
Иль обратный путь не скор?..
Весть о нем пропала.

Говорили: пред зарей
Кто-то сонный в тьме ночной
В волнах хладных бился,

И на взморье шумный вал
Труп унес — и в нем кинжал,
Весь в крови, дымился.

Декабрь 1840

81. ДВЕ МОГИЛЫ

Две могилы одиноко
Встали царства на краях:
Два певца — две жертвы ⟨ро⟩ка!
Пал один в горах Востока,
Пал другой в родных полях.
Светлой мысли исполины!
Гор заоблачных вершины
Вновь обрадует весна,
Вновь в дыханьи теплом юга
Далеко умчится с вьюгой
Снеговая пелена.
Но весны благоуханье,
Солнца блеск и вод журчанье
Не пробудит их от сна!
Вкруг могил их тишина.

Полн тревоги, чувств, сомнений
Был один — властитель дум;
Он в порыве вдохновений
Дивной силой песнопений
Волновал невольно ум.
Лишь рукой ударил в струны,
Русь откликнулася им,
И во гроб сошел он юный,
Как певец непобедим.
Сколько славы схоронил он!
Сколько ждать он мог венков!
И Россию как любил он!
Как громил клеветников!

Был другой, — лет юных в цвете
Музой дивною водим;
И, мечтая о поэте,
Мы задумывались им.

Струны звонкие дышали,
Чудной музыкой полны,
И во звуки воплощали
Вдохновительные сны.
То у Каспия седого
Он подсматривал дары,
Пел опричника младого,
Мцыри, пальмы и шатры,
То над юной колыбелью
Над младенцем он стоял,
Иль, могучий, к новоселью
Чуждый край на суд сзывал,
Иль, оставя песнь и битвы,
Сердца теплые молитвы
Пред Скорбящей проливал.

Спят в могилах ранних оба!
Суд потомки изрекли:
Музы братством их свели.
Русский! проходя близ гроба,
Кинь с молитвой горсть земли!

Ноябрь 1841

82. 21 ИЮНЯ

Дрожит, дымится пароход,
Знак подан в дальний путь!
Кипит сребром равнина вод,
Кипит тоскою грудь!

О чем грущу невольно я?
Ужель пугает даль?
Отчизна милая моя,
Тебя покинуть жаль!

Гляжу, как тонет берег твой
В лазуревых волнах,
Гляжу, поникши головой,
С слезами на очах...

Зачем, ребенок милый мой,
Так жмешься ты ко мне?
Иль сердце просится домой —
К родимой стороне?

Но там никто тебя не ждет
Из дальнего пути,
Никто, рыдая, не прижмет
К трепещущей груди!

Была б она! .. Она б ждала! ..
Родной давно уж нет! ..
В могилу хладную легла,
Легла во цвете лет!

Нет, крепче жмись к моей груди, —
Родная в ней живет!
Прости, о родина, прости!
Лети, мой пароход!

Неси меня скорее вдаль
Чужбины к берегам!
Мою глубокую печаль
Сложу, быть может, там!

1847

А. Н. МУРАВЬЕВ

Андрей Николаевич Муравьев был четвертым сыном генерал-майора Н. Н. Муравьева. Он родился 30 апреля 1806 года в Москве. В 1809 году семья лишилась матери, и ребенок был вверен попечению петербургских родственников. Девятилетним мальчиком он вернулся домой в Москву, где его отец возглавлял «школу колонновожатых», готовившую штабных офицеров. «В четырнадцать лет, — вспоминал Андрей Муравьев, — я имел наставником доброго и почтенного Раича... Он совершенно образовал меня и кончил мое домашнее воспитание. Он вселил в меня всю склонность к литературе». [1]

В 1823 году, когда общекультурное образование юноши было признано достаточным, он был зачислен юнкером в егерский полк, а спустя полгода переведен в драгунский полк и произведен в чин прапорщика.

1823—1826 годы по долгу службы Муравьев проводит на Украине (в Тульчине, под Киевом, в Одессе), в Молдавии. Пребывание в Крыму в августе 1825 года, рассказывал он, «совершенно развило мою страсть к поэзии, которую с тех пор избрал своею целью». [2]

В этой поездке Муравьеву посчастливилось познакомиться с Грибоедовым и беседовать с ним на литературные темы.

Выхлопотав продолжительный отпуск, Муравьев осенью 1826 года появляется в Москве. Зимой 1826—1827 года он часто посещает салон Зинаиды Волконской, где встречается с Пушкиным, Вяземским, Баратынским и многими другими как известными, так и начинающими поэтами и литераторами. В 1827 году в альманахе Раича и Ознобишина «Северная лира» появилось несколько стихотворений Муравьева. В рецензии на эту книгу П. А. Вяземский отметил де-

---

[1] А. Н. Муравьев, Мои воспоминания. — «Русское обозрение», 1895, № 5, с. 58.
[2] Там же, с. 61.

бют молодого поэта, «в первый раз хвляющегося на сцене», чьи стихи «исполнены надежд, из коих некоторые уже сбылись». [1]

Почти теми же словами выразил свое приветствие Муравьеву и Пушкин в неопубликованной рецензии на «Северную лиру», предназначавшейся для «Московского вестника».

Судя по воспоминаниям самого Муравьева, Пушкин «заставлял» его читать стихи, и «ему были приятны некоторые строфы из моего описания Бакчисарая, оттого что сам воспел этот чудный фонтан. . .» [2]

В 1827 году Муравьев издал сборник своих стихотворений под заглавием «Таврида». Первым откликнулся на него «Московский телеграф», поместивший обстоятельную рецензию Е. А. Баратынского. «„Таврида" писана небрежно, но не вяло, — говорилось там. — Неточные ее описания иногда ярки, и необработанные стихи иногда дышат каким-то беспокойством, похожим на вдохновение». Но «богатому жаром и красками» Муравьеву, резюмировал Баратынский, «недостает обдуманности и слога, следственно — очень многого. . . Что касается до слога, надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего ж писать?». [3]

Выбором такой темы, как Таврида, Муравьев невольно вступил в творческое состязание с Пушкиным. «Я не только не старался ловить его мысли, но даже во всем избегал подражать ему», [4] — уверял Муравьев, оспаривая мнение Баратынского, будто его крымские стихотворения не что иное, как «риторическое распространение» двух известных стихов из «Бахчисарайского фонтана».

В самом деле, Муравьеву нельзя отказать в оригинальности его крымских стихов, хотя и довольно странной оригинальности. Если в «Бахчисарайском фонтане» и своей лирике Пушкин показал Тавриду в ее объективно-исторических связях с мусульманским Востоком и эллинизмом, то Муравьев преломил свои впечатления от этой страны сквозь призму. . . Оссиана, в котором нашел родственную поэтическую стихию — целый художественный мир с его северным туманным колоритом и подчеркнуто безыскусственным суровым лириз-

---

[1] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 2, СПб., 1879, с. 28.

[2] А. Н. Муравьев, Знакомство с русскими поэтами, Киев, 1871, с. 11. По-видимому, некоторый интерес Пушкина к Муравьеву объяснялся тем, что он не считал его своим эпигоном.

[3] Е. А. Боратынский, Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма, М., 1951, с. 422, 425.

[4] Письмо к В. А. Муханову от 18 марта 1827 г. — «Щукинский сборник», вып. 5, М., 1901, с. 252.

мом. Не аттическое ясное небо, не роскошь восточной неги, а сумерки и луна — едва ли не самые устойчивые признаки крымских ландшафтов Муравьева. Сам он не скрывал того, что замысел этого цикла стихотворений непосредственно восходит к Оссиану. «Никто не действовал столь сильно на мое воображение, как мрачный певец Шотландии», — писал он. И далее: «Однажды я нечаянно перевел две песни Оссиана четырехстопными ямбами, — я прежде никогда не писал рифмами, и это побудило меня продолжать. Таким образом, я постепенно описал всю *Тавриду*».[1]

Двусмысленный отзыв Баратынского Муравьев расценил как «жестокий удар при самом начале литературного поприща».[2] Но твердая вера в свое призвание пока не оставляет его.

Унаследовав от Раича интерес к итальянской средневековой поэзии, Муравьев в 1826—1827 годах погружается в творчество Данте и Тассо, изучая их произведения на языке оригинала.

В холодности публики и неприязни родственников к своим литературным занятиям он готов увидеть что-то похожее на «гонение», которому подвергались в свое время Данте и Тассо. Под влиянием этих настроений он задумывает трагедию «Жизнь Тассо, или Судьба поэта», но из-под пера его выходит всего лишь небольшая, навеянная теми же мыслями драматическая сцена «Смерть Данта».

В течение 1826—1829 годов десятки замыслов — один другого грандиозней — наперебой возникали в голове Муравьева. Так, например, он решился «окончить» творения Мильтона («Потерянный рай») и Клопштока («Мессиада») столь же монументальной поэмой «Потоп» — на известный библейский сюжет. Весной 1827 года, знакомя В. А. Муханова с содержанием второй песни «Потопа» (первая была закончена годом ранее), Муравьев сообщал, что она отличается «характерами зверскими, дикими» и что «ужас есть главная страсть сей песни».[3]

Подавляя личную обиду на Пушкина, жестоко осмеявшего его в своей эпиграмме,[4] Муравьев в письме к Погодину от 27 ноября 1827 года с восторгом отзывается об отрывке из пушкинского «Вадима».[5] Поэма на сюжет древнерусской исторической легенды не

---

[1] А. Н. Муравьев, Мои воспоминания, с. 61 и 63.

[2] А. Н. Муравьев, Знакомство с русскими поэтами, с. 14.

[3] Письмо от 10 апреля 1827 г. — «Щукинский сборник», вып. 5, с. 254.

[4] Об этом эпизоде см. примеч. к № 92 («Надпись на статуе Аполлона»).

[5] «Пушкин по документам архива М. П. Погодина». — «Литературное наследство», № 16-18, М., 1934, с. 696.

случайно взволновала его, ибо эпоха раннего средневековья — «века рыцарства» с их кровавыми распрями, жестокостью и христианским подвижничеством — представлялась ему самым поэтическим периодом в истории России. Он записывает названия будущих трагедий: «Святополк», «Василько», «Андрей Боголюбский», «Сеча на Калке», «Марфа Посадница», «Федор Рязанский», «если он не кончен бессмертным и несчастным Грибоедовым: он мне рассказал его план в Крыму»,[1] — добавляет Муравьев, говоря о последнем замысле. Примечательно, что его драматические сочинения, так же как и лирические стихотворения, тяготели к циклизации. Из всего этого громадного цикла, для которого уже было придумано название — «Россия», закончены были только три пьесы: «Михаил Тверской» и «Георгий Московский», составившие вместе драматическую дилогию «Князья Тверские в Златой Орде» (1828—1829),[2] а также написанная еще в 1826 году в Тульчине драма «Падение Перуна» (или «Владимир»).

В 1827 году Муравьев усердно трудился над трагедией «Битва при Тивериаде», посвященной теме падения Иерусалима и изгнания крестоносцев из Палестины.

Как утверждал много лет спустя А. В. Никитенко, достоинство трагедии Муравьева в том, что она раскрыла «роковую ошибку основателей Иерусалимского королевства, состоящую в перенесении в Палестину господствовавшего в Европе феодального порядка вещей... С ним возникли в стране и постоянно свирепствовали раздоры и взаимная вражда баронов и князей, погубившие наконец, несмотря на рыцарские доблести и мужество их, дело, стоившее толиких жертв».[3]

Та же мысль о необходимости неограниченного единовластия как условия национального благоденствия и мощи присутствует и в трагедиях Муравьева на темы отечественной истории. Здесь, как и в своих итальянских экскурсах, связанных с темой драматической судьбы гения, Муравьев предвосхищал Кукольника.

«Беспокойство, похожее на вдохновение» — это возбужденное состояние духа, в котором он находился, — скорее шло от лихорадочной жажды самоутверждения и чересчур пылкого влечения к

---

[1] А. Н. Муравьев, Мои воспоминания, с. 74.

[2] В печати известны лишь отрывки из нее: «Современник», 1836, т. 6, с. 376—399 и «Московский наблюдатель», 1835, июнь, кн. 2, с. 565—569.

[3] А. В. Никитенко, Обозрение деятельности второго отделения императорской Академии наук за 1874 год. — «Журнал министерства народного просвещения», 1875, ч. 178, с. 98.

необычному и яркому жизненному пути, нежели от чистой любви к поэзии. Любопытно, что «Битва при Тивериаде» явилась своего рода заявкой на последующую, если и не яркую, то во всяком случае необычную, роль Муравьева в русском обществе.

В декабре 1829 года Муравьев отправляется в длительное путешествие к «святым местам» — в Палестину и Египет. Паломничество это сразу же получило шумный общественный резонанс, — вероятно, оно могло быть истолковано как символический жест, намекавший на религиозную миссию России на Ближнем Востоке.

Еще во время русско-турецкой войны Муравьев в качестве дипломатического чиновника (в 1827 году он распростился с военным мундиром) находился при штабе командующего европейским фронтом И. И. Дибича. По случаю победы и захвата вершины Эмине-даг (на Балканах) он написал стихи, в которых умело польстил фельдмаршалу.[1] По просьбе автора Дибич снесся с царем и выхлопотал Муравьеву разрешение и средства на поездку.

Вернувшись из полугодового странствия уже известным человеком, он поселился в Петербурге и здесь в 1832 году выпустил написанную им книгу «Путешествие ко святым местам в 1830 году», имевшую значительный успех. В том же году на сцене Александринского театра «с царской роскошью», по выражению обозревателя «Северной пчелы» (20 октября), была поставлена «Битва при Тивериаде». Пышное оформление спектакля не спасло пьесы от провала. «Она более драматическая поэма, нежели трагедия»,[2] — писал Муравьев Жуковскому, объясняя ее неуспех на сцене. Несмотря на поощрения Жуковского и Пушкина,[3] Муравьев, сполна вкусивший горечь поражения и вызванных им насмешек, вовсе отказывается от поэтического поприща.

С этого времени его литературные занятия получают совершенно другую направленность — церковно-религиозную. Муравьев становится религиозным публицистом, историком православной церкви. Он сближается с иерархами русской церкви, особенно с московским

[1] Стихотворение «Эмине-даг» было анонимно напечатано в «Северной пчеле» (1829, 6 августа).

[2] Письмо от 5 марта 1833 г. (ПД).

[3] В письме к И. И. Козлову от 27 февраля 1833 г. Жуковский просил передать Муравьеву свое увещание: «Требую от Муравьева, чтоб он не обращал внимания на неудачу... он поэт в благородном смысле сего слова и писать должен» (В. А. Жуковский, Собр. соч. в четырех томах, т. 4, М.—Л., 1960, с. 600). Отрывки из пятого акта «Тивериады» были напечатаны Пушкиным в его «Современнике» (1836, т. 2, с. 141—179). По его же совету извлечение из драмы Муравьев снабдил предисловием, разъясняющим ее замысел.

митрополитом Филаретом, служит в Святейшем синоде — за «обер-прокурорским столом» (1833—1842), в азиатском департаменте (1831—1832, 1842—1866), уверенно повышаясь в чинах.

С начала 30-х годов резко обрисовались наиболее неприятные черты в характере Муравьева: безмерное тщеславие, властность, педантизм, искательство.

Выставляя себя строгим поборником православия, Муравьев отличался также и в роли блюстителя церковного благочестия. «Я не раз имел случай видеть, — рассказывал современник, — какой страх он наводил на священнослужителей, провинившихся в каком-нибудь отступлении от порядка службы. Они знали, что все замеченное им будет неминуемо доведено до сведения их начальства и что оно не останется без возмездия».[1] О недоброй славе Муравьева в широких кругах общества выразительно говорят его прозвища: фискал, ханжа, святоша, Андрей Незваный, светский архиерей.

Едкая характеристика Муравьева содержится в дневниках А. В. Никитенко и Ф. В. Чижова[2] и в блестящем очерке Н. С. Лескова «Синодальные персоны».[3] В письме к В. П. Боткину от 13 июня 1840 года Белинский с удовлетворением сообщает строки стихотворного памфлета на Муравьева, сочиненного Л. А. Якубовичем.[4]

Предавшись «духовному направлению», Муравьев отнюдь не чуждался рассеянной, мирской жизни. В великосветских гостиных он обыкновенно появлялся в черном жилете, с четками на левой руке, изумляя собравшихся своим колоссальным ростом.

В 1866 году, выйдя в отставку, Муравьев окончательно поселился в Киеве. Здесь он прожил до самой смерти (18 августа 1874 года).

83. ТАВРИДА

Земли улыбка, радость неба,
Рай Черноморских берегов,
Где луч благотворящий Феба

---

[1] Барон Б. А. Фитингоф-Шель, Мировые знаменитости. Из воспоминаний, СПб., 1899, с. 52.

[2] См.: А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, т. 1, М., 1955, с. 161, 165 и Ф. В. Чижов, Дневник за 1835 г., запись от 5 апреля (ГБЛ).

[3] «Исторический вестник», 1881, № 11, с. 385—408.

[4] См.: В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 11, М., 1956, с. 530—531.

Льет изобилие плодов,
Где вместе с розою весенней
Румянец осени горит,
Тебе — край светлых впечатлений,
Таврида, — песнь моя гремит!

Природа на твои долины
Обильных не щадит даров,
Ты выплываешь из пучины
Под покрывалом облаков,
Как в полдень нимфа молодая
Выходит из седых валов,
Рукой стыдливой облекая
Красу в завистливый покров.

Кто впечатление живое
В горящих выразит речах,
Когда в нас чувство неземное
Горит, как солнце в небесах,
Когда невольно все желанья
Слились в один немой восторг
И самые воспоминанья
Сей миг из сердца нам исторг!

Ах! чувства сладкого отраду
Я сердцем пламенным вкушал,
Когда в тени олив прохладу
Под небом крымским я впивал,
Когда я черпал жизни сладость
В гармонии небес, земли
И очарованному радость
Природы прелести несли!

Передо мной шумели волны
И заливали небосклон.
И я, отрадной думы полный,
Следил неизмеримость волн —
Они сливались с небесами.
Так наша жизнь бежит от нас
И упивается годами,
Доколе с небом не слилась!

1825 или 1826

84. ЯЛТА

Из-за утесов Аю-Дага,
Бледнея, восстает луна,
Как легкий челн, носимый влагой,
Плывет по воздуху она
И, углубляясь в мрак востока,
Унылый проясняет лик,
Доколь над бездною широкой
Столб серебристый не возник.

Всё тихо! Звуков нет в эфире,
И на земле движенья нет.
Казалось, в усыпленном мире
Исчез последний жизни след!
Но сладкой тишины мгновенье
Такую негу льет в сердца,
Такие чувства упоенья,
Каких не выразят уста!

Так, если арфы вдохновенной
Последний, мощный, дивный звук
Умолк и голос отдаленный
Звук повторил и вновь потух, —
Рука заснула над струнами,
И тихо всё! Но песнь живет,
Лелея сладкими мечтами,
И эхо — новых звуков ждет!

И никогда в часы смятений,
Когда в груди страстей война
И бунт неистовых волнений, —
Так безмятежно не полна
Душа высокая, младая,
Как в тихий ночи час, когда,
Как чаша полная до края,
Она полна собой... Тогда,

Тогда высокою мечтою
Еще восторг, еще один
Вдохни — и смертной пеленою
Полет воздушный нестесним!

Она разорвала оковы,
Ее жилище — в небесах,
И, смерти памятник суровый,
Остался бездыханный прах!

Покрылся мрачной синевою
Необозримый свод небес;
На нем несметною толпою
Светила ночи — сонм чудес —
Горят, как в первый день созданья,
Всем блеском юного лица.
Они горят огнем желанья
И, мнится, мания творца

Еще однажды ожидают,
Чтобы с гармонией вступить
В полночный путь! Их отражают
Кристаллы вод, но возмутить
Небес торжественной картины,
Играя, не дерзнет волна,
И неподвижные пучины
Лежат одной громадой сна!

Над молчаливыми брегами
Роскошно восстают холмы
Аутки, полные дарами
Румяной осени, весны.
На скате легких возвышений
Отдельно хижины стоят,
И, свежие раскинув сени,
Над ними дерева висят!

Но неприметно исчезает
Холмов отлогий, легкий скат,
У их подошвы развивает
Долина Ялты новый сад.
Эдема свежая картина,
И той же прелестью полна, —
Сия волшебная долина
Лучом луны озарена.

Вокруг нее — ночные горы
Стоят завистливой стеной,
Невольно возвращая взоры
На дно долины золотой.
Она глубоко в отдаленьи
Втеснилась в сердце мрачных гор, —
Как первой страсти впечатленье,
Как первый совести укор!

И моря светлые пучины,
Касаясь низких берегов,
Как продолжение долины,
Бегут до дальних облаков.
Молчанье волн, утесы, горы
И свод полунощных небес
Пленяют, восхищают взоры
Гармонией своих чудес!

1825 или 1826

85. РУСАЛКИ

Волнуется Днепр, боевая река,
  Во мраке глухой полуночи;
Уж выставил месяц из тучи рога
  И неба зарделися очи.
Широкие, йдут волна за волной
  И с шумом о берег бьются,
Но в хладном руслé, под ревущей водой,
  И хохот и смех раздаются.
Русалки играют во мраке ночей,
  Неопытных юношей манят.

Как проглядывают ясные
Звезды в синих небесах —
Друг за другом девы красные
Выплывают на волнах.
Полным цветом нежной младости
Привлекателен их хор,
Обещает много радости
Негою томящий взор.

Бегите, о юноши, томных очей, —
Мечтами коварные манят!

Черны косы, рассыпаяся,
С обнаженных плеч бегут,
По волнам перегибаяся,
Вслед за девами плывут.
Грудь высокая колышется
Сладострастно между вод, —
Перед ней волна утишится
И задумчиво пройдет.
Над водами руки белые
Подымаются, падут, —
То стыдливые, несмелые
Девы медленно плывут,
То в восторге юной радости
Будят песнями брега
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога,
На пучине серебристые,
Или плеском быстрых рук
Брызжут радуги огнистые,
Резвятся в волнах — и вдруг
Утопают, погружаются
В свой невидимый чертог,
И видения теряются,
Как луны воздушный рог.
Не верьте, о юноши, мраку ночей, —
Мечтами коварные манят!

1825 или 1826

86. ГАЛЛ

Breaker of echoing shields.[1]

⟨Галл⟩

Щитов отзывных сокрушитель,
Чью тень туманы погребли!

---

[1] Сокрушитель щитов гремящих (англ.). — *Ред.*

Во мраке туч твоя обитель, —
Оттоль, Колгаха царь, внемли!

Шумит река, — полет орлиный
Удары волн не привлекли;
Ты ветром увлечен пустыни —
Постой, Струмона царь, внемли!

Живешь ли в веяньи дубравы
Или рвешь терния с земли?
Оставь и листья ей, и травы,
И мне, о Клоры вождь, внемли!

Иль в бурю с шумом гонишь волны,
Чтоб скал основы потрясли?
В борьбе стихий, их гневом полный,
Родитель Галла, мне внемли!

Морн

Кто будит старца в беглой туче,
Где с облаками жизнь слилась?
Как плеск волны о брег сыпучий,
О Галл, раздался мне твой глас!

Галл

О Морн! Я окружен врагами, —
Их корабли идут с валов.
Дай меч Струмона, — он над нами
Блеснет, как луч меж облаков!

Морн

Вот меч отзывного Струмона!
Когда ты в бранях, сын, пылал,
С туманного смотрел я трона;
Как метеор — рази, о Галл!

1825 или 1826

87. АРФА

На арфу опершись рукою,
Я отголоску струн внимал
И, отягченною главою
Склонясь, — в виденьях засыпал.
Передо мной мелькали тени
Моих утраченных друзей,
И в сонм знакомых привидений
Все близкие души моей,
Казалось, медленно летели
С прощаньем горьким на устах,
И на меня они смотрели...
Проник невольный сердце страх,
Слеза на арфу покатилась,
Как капля звонкого дождя,
И по струне она спустилась,
Звук заунывный пробудя.
Проснулся я — сны изменили!
Но голос вещий струн узнал!
Вы все, которые любили,
Скажите: что ж он предвещал?

1825 или 1826

88. СТИХИИ

I had a dream, that was not all a dream.
Byron [1]

Я с духом беседовал диких пустынь, —
Пред юношей с мрачного трона
Клубящимся вихрем восстал исполин,
Земли расступилося лоно!
Он эхом раздался, он ветром завыл, —
И юношу тучею праха покрыл.

Я с духом беседовал бурных валов, —
Завыли широкие волны,

[1] Я видел сон, который вовсе не был сном. *Байрон* (англ.). — *Ред.*

Он с пиршества шел поглощенных судов,
Утопших отчаяньем полный!
И много о тайнах бездонных ревел,
И юноша пеной его поседел!

Я с духом беседовал горних зыбей,
С лазурным владыкой эфира, —
И он, улыбаясь, во звуке речей
Открыл мне все прелести мира,
Меня облаками, смеясь, одевал,
И юноша свежесть эфира вдыхал!

Я с духом беседовал вечных огней, —
Гул дального грома раздался!
Не мог усидеть он на туче своей,
Палящий, клубами свивался,
И с треском следил свой убийственный путь,
И юноше бросил он молнию в грудь.

Я духом напитан ревущих стихий,
Они и с младенцем играли —
Вокруг колыбели моей возлегли
И бурной рукою качали.
Я помню их дикую песнь надо мной —
Но как передам ее звук громовой?

1825 или 1826

89. ПРОМЕТЕЙ

E caddi come corpo morte cade.
Dante[1]

По высям Кавказа скитается Дух —
Суровый его повелитель,
Он царства свершает холодного круг,
Снегов покидая обитель,
В порфире метелей, в венце ледяном,
И бури сзывает могучим жезлом!

[1] И я рухнул как мертвое тело. *Данте* (итал.). — *Ред.*

Давно уж, в златые младенчества дни,
    Когда над цветущим созданьем
Носилися жизни приметы одни
    И смерть не была ожиданьем, —
На трон одинокий ступенями скал
Он шел и с улыбкой на землю взирал!

Внезапно исторгся орел из-под ног, —
    На кости стопа наступила.
Он стал, и без ужаса видеть не мог,
    Что птица впервые открыла:
Пред ним распростерся на диких скалах
Великого остов, иссохший в цепях!

Широкие кости окованных рук
    Свободно в железах ходили,
От ног раздавался пронзительный стук, —
    Их ветры о камень разили;
Но череп остаток власов развевал
И, страшно кивая, зубами стучал!

Трепещущий Дух над костями стоит,
    Впервые о смерти мечтает...
На светлый свой призрак уныло глядит
    И с остовом грозным сличает.
Одни у них члены и те же черты, —
И смертию — Духа смутились мечты!

Он легкой рукою тяжелую кость
    С трудом со скалы подымает,
Но с радостью видит, как тяжкая кость
    Опять на скалу упадает...
А он, подымаясь, летает в зыбях!
«Бессмертен!» — и тщетный рассеялся страх!

Но Дух своенравный пылает стыдом,
    Он мстит за минуту боязни,
И остов свергает могучим жезлом
    Со скал — к довершению казни!
С вершины Кавказа, во звуке цепей,
Упал, рассыпаясь костьми, Прометей!

1825 или 1826

90. ПЕВЕЦ И ОЛЬГА

К. З. А. В⟨олконск⟩ой

Певец

Великая тень, для чего ты мелькаешь
В таинственной мгле безмятежных ночей?
Мечтой о минувшем зачем нарушаешь
Отрадные сны утомленных очей?
Не звуков ли арфы опять ожидаешь,
Могучего отзыва славы твоей?
Иль в песнях вещать ты к потомству желаешь?
Вещай — и певцу вдохновенье пролей!

Ольга

Не к тебе я лечу нарушать твои сны!
Не певца я ищу, но могучей жены!
В ней варяжская кровь моих светлых князей,
Ольга спящая вновь пробудилася в ней!
Ее стан величав — как сосна на холме,
Под которым Синав позабыл о земле!
Кудри спят на плечах снеговой белизны,
Цвет лазурный в очах — Белозерской волны.
И блистают лучом вдохновенья глаза —
Не столь ярким огнем я Коростень сожгла!
Но душа велика — как пустыни обзор,
И как дно глубока моих Чудских озер!
Она Ольгу одна постигает вполне
И, воспрянув от сна, воспоет обо мне!

1826

91. ХОРЫ ПЕРУНУ

Жрец, юноши и девы

Хор юношей

Владыка сидит на престоле громов,
В руке его вихрь одичалый.
Он молнию бросил в пучины валов,
И море ударило в скалы,

И волн его песнь от начала веков
Великому — не умолкала.

Хор дев

Вокруг громовержца глубокая ночь,
Светил угашенных могила.
Луна — небосклона вечерняя дочь —
Чело облаками затмила,
И рушатся звезды сквозь черную ночь,
Когда бытие им постыло.

Хор юношей

Владыка нисходит на землю в громах,
И дрогнуло сердце природы:
Завыли пещеры в бездонных горах,
Эфира обрушились своды,
Вселенную обвил клубящийся прах,
И ужасом смолкли народы!

Жрец

Хор юношей и дев! Владыка бурный мира
Не хочет защитить священного кумира, —
Ему падением грозит надменный князь!
С мольбами к небесам ваш вознесите глас.

Хор дев

Перуну отрадно теченье Днепра
И Киева древние стены!
В реке отражался лик бурный царя,
Громами помечены стены;
Перун не разлюбит теченья Днепра,
Забудет ли Киева стены!

Жрец

Увы, настанет день — и близок день жестокой! —
Когда заглохнет холм над бездною широкой
И зарастет к нему давно пробитый след;
Но прежде я склонюсь под игом тяжких лет.

Хор юношей

Кто дерзкий коснется преступной рукой
Владыки, карателя мира?

Как бурные тучи багровой грядой
На край возлегают эфира,
Мы ляжем костями, могильной стеной
К подножью кумира!

Жрец

Широкого Днепра заплесневеют волны,
Их вещий стихнет вой... Благоговенья полный,
Придет ли славянин мольбою встретить день —
Промчится в ужасе за ним Перуна тень!

Хор дев

К кому обратимся с горячей слезой,
Бездомные матери, жены?
Мы ветры насытим ничтожной мольбой,
Развеются тщетные стоны,
Когда он заснет над угасшей грозой
И вихри сорвут его с трона!

Жрец

Падет великий град, и запустеют стены,
Их населят толпы полночных привидений,
Умолкнет навсегда народов мощный глас, —
И смертный казнь сию один навлек на нас!

Хор юношей

Проснись, громовержец! В хранилище туч
Есть стрелы на казнь преступленья!
Змеею пусти свой убийственный луч
И смертных смири дерзновенья!
В громаде ль огнями упитанных туч
Одной не найдешь для отмщенья?

Жрец

Хор юношей и дев! Моленье прекратите,
Отчаянье толпы народной укротите!
К нам милостив Перун: он вашим внял мольбам,
Спасение пошлет отчаянным сынам!

Оба хора

Содвинь твои тучи в один океан,
Клокочущий, бурный, гремящий,

Сбери с твоих бурь молньеносную дань
И в свиток вплети их палящий!
И ветрам в добычу отдай океан
И мир, пред погибелью спящий!

1826

92. ⟨НАДПИСЬ НА СТАТУЕ АПОЛЛОНА⟩

О Аполлон! Поклонник твой
Хотел померяться с тобой,
Но оступился и упал.
Ты горделивца наказал:
Хотел пожертвовать рукой,
Чтобы остался он с ногой.

Зима 1827

93. ⟨ПЕСНЬ ДЕРВИША

ИЗ ДРАМЫ «БИТВА ПРИ ТИВЕРИАДЕ, ИЛИ ПАДЕНИЕ КРЕСТОНОСЦЕВ В ПАЛЕСТИНЕ»⟩

Аллах дает нам ночь и день,
Чтоб прославлять его делами;
Светило дня — его лишь тень —
Виновных обличит лучами.
Аллах керим! Аллах керим!

Пред ним стоит Пророк в мольбах,
И гром, готовый к пораженью,
Он удержал в его руках, —
Не искушай его терпенье!
Аллах керим! Аллах керим!

Здесь время на земле дано
Для покаянья человеку.
Страшитесь, улетит оно,
Спешите с милостыней в Мекку!
Аллах керим! Аллах керим!

Лик обрати свой к Каабе,[1]
Молись и будь готов! Кто знает,
Что тайный рок судил тебе?
Счастлив, кто смело рок встречает!
Аллах керим! Аллах керим!

Спасенным — рай, погибшим — ад!
Сыны земные, трепещите, —
Там все деянья обличат;
Грехи раскаяньем сотрите!
Аллах керим! Аллах керим!

1827

94. СМЕРТЬ ДАНТА

(Дант, изгнанный из отечества, скитаясь по всей Италии, нашел себе наконец последнее убежище во владениях герцога Равенны, которого дочь, прелестную Франческу, убитую ревнивым мужем, столь трогательно описал в V песни своего «Ада». Многие стихи, вложенные здесь в уста Данта, почерпнуты из его великолепной поэмы, в которой отражается весь характер певца, закаленный ужасами средних веков, но вместе с тем растворенный нежностию самых утонченных чувств.)

Действие в Равенне, в чертогах владетеля Гвида да Полента.
Дант (умирающий на ложе), Полента.

Дант

Певца-изгнанника последний покровитель,
Полента! я иду в ту мирную обитель,
Которую давно от бурь себе желал:
Для гостя твоего последний час настал!
Ты Данта не отверг, ты старцу в утешенье
Скитавшемуся был... Прими ж благодаренье:
Да наградит тебя небесный наш отец!

Полента

Нет, нет! твоих друзей, божественный певец,
Еще не оставляй! Тебе венки лавровы
Италия плетет, сограждане готовы
Тебя со славою принять в родимый град...

---

[1] Святилище Мекки.

Д а н т

Уж поздно! Мертвого они не воскресят!
Приподыми меня, Полента, дай мне руку:
Хочу я воздухом мою развеять муку...
Веди ослабшего... Я сяду близь окна, —
Дорога из него к Флоренции видна...
Вот так, благодарю.

(Садится.)

П о л е н т а

О чем мечтаешь ты?

Д а н т

Вы изменили мне, любимые мечты!
Когда я пел, землей и небом вдохновенный,
Высокий гимн Творцу был голосом вселенной,
К жестокой родине любовью я горел,
И в славе я искал изгнанию предел,
Мечтал поэмою открыть стезю к отчизне
И упокоить там остаток бурной жизни!
Тогда б в тот светлый храм, где смертный грех омыл
Водой крещения, я в торжестве вступил
И над купелью бы принял венок мой... Где я?
Ах, я в Равенне!..

П о л е н т а

Дант! или во мне злодея
Ты здесь нашел?

Д а н т

Прости, мой благородный друг!
Ах! речь невольную и горе, и недуг
Из сердца выжали! Нет, нет, мои страданья
Ты облегчил; но, друг, не знаешь ты изгнанья,
И на престоле ты его не испытал.
Я ж, по Италии скитаяся, узнал,
Как солон хлеб чужой и как крута дорога
На чуждое крыльцо. Полента! много, много
Я странником терпел: на старца не сердись.

Полента

Друзьями вечно быть взаимно мы клялись.

Дант

Так! ты один мой друг! Флоренция! с тобою
Я узы все расторг. Ты адскою враждою,
Непримиримая, всю жизнь меня гнала
И в ранний, чуждый гроб бескровного свела.
Ты мне не родина! Не признаю тебя!
Не твой певец, не сын! Здесь в землю лягу я!
Не погребешь меня! Я мертвою рукою
Твой камень гробовой с моей могилы срою!
Полента, поклянись не выдавать мой прах!

Полента

Не выдам, Дант.

Дант

Клянись!

Полента

Или в моих словах
Ты сомневаешься?

Дант

Клянись!

Полента

Клянусь святыней!

Дант

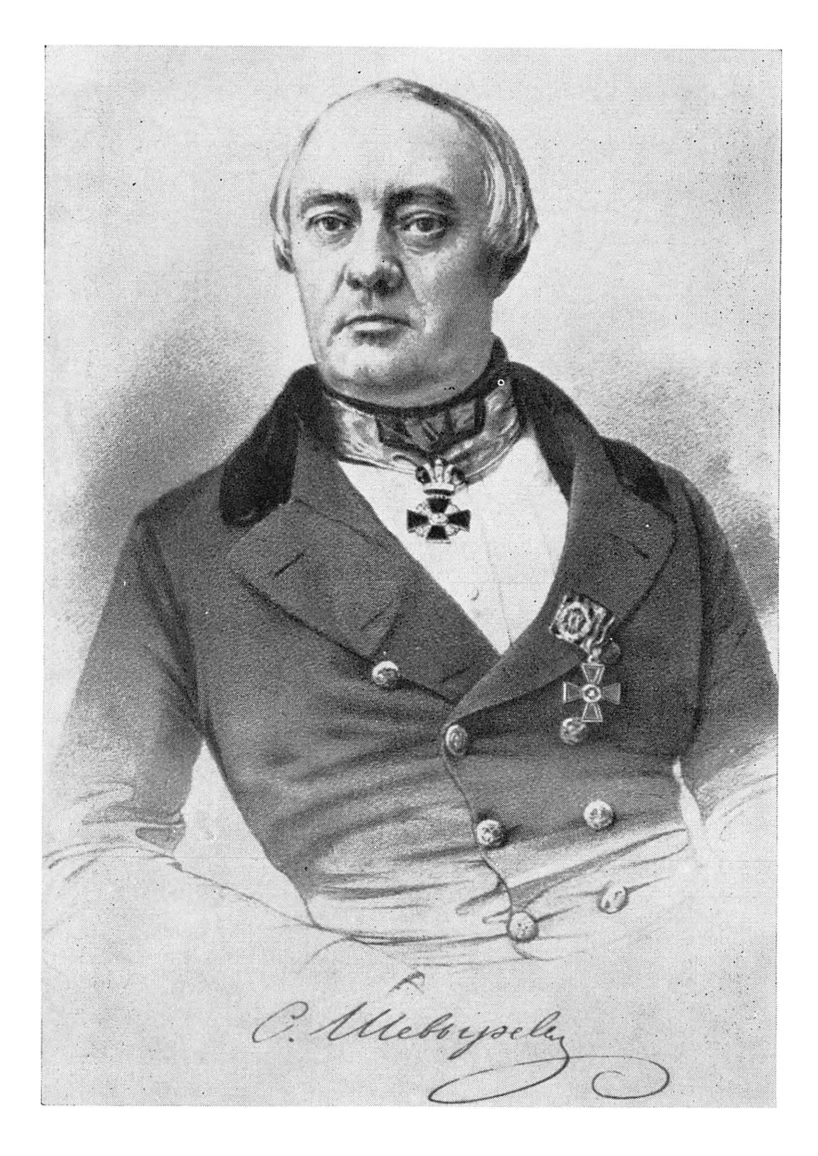
Но клятва на тебе не на одном: на сыне,
На внуке, правнуках, на роде всем лежит,
И горе племени, когда ей изменит!
Клянись за весь твой род!

Полента

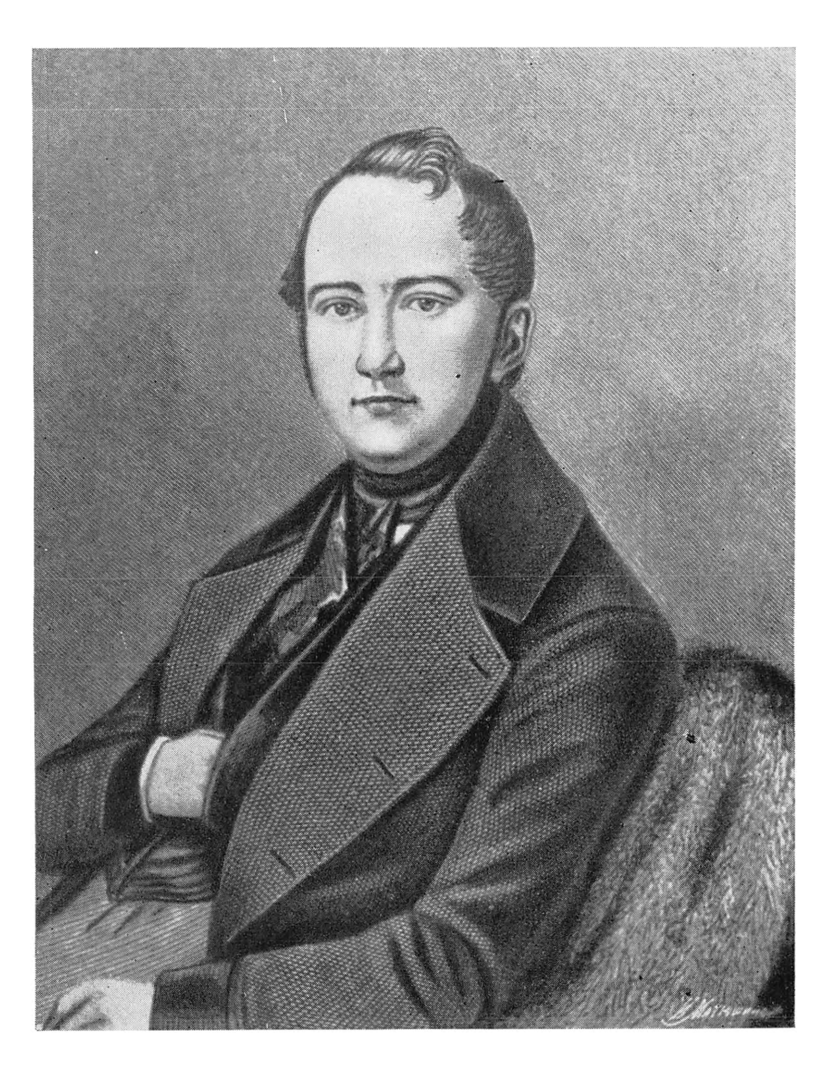
Клянусь всесильным богом!

Дант

Теперь спокоен я. Полента, об убогом
Ты в счастьи не забыл, всё дал ему, что мог, —



С. П. Шевырев



А. И. Подолинский

Прими же от певца, от странника в залог
Признательности всё, что с жизнью оставляю:
Мои творения. Тебе их завещаю!
Сей свиток сохрани, — он с Дантом не умрет,
И скоро вся к тебе Италия придет,
Как к свежему ключу, здесь черпать вдохновенья,
И будут ей мои оракулом виденья!

Полента

О Дант, бессмертный Дант! ах, ежели знаком
Тебе молений глас и если этот дом
Приютом был тебе, забвением страданий,
Не отвергай, молю, отцовских заклинаний:
Ты сам отец, о Дант!

Дант

Что хочешь? Говори!

Полента

Еще ты жив, и вот твой свиток... Ах, сотри
Любовь, судьбу и смерть, воспетые тобою,
Франчески, дочери!

Дант

Безумный!

Полента

(бросается к ногам его)

Пред тобою
Здесь повергаюсь я, певец, как пред судом
Всего потомства. Дант! ах, сжалься над отцом,
Несчастной дочери не разглашай позора,
Из ада выведи, оставь без приговора!
Она мне стоила столь многих горьких слез!
Когда б ты знал ее...

Дант

Полента! много слез
Я сам пролил в часы подземного свиданья;
Как трупы падают, упал я от рыданья,
Увидя тень ее. Тебе прощаю я

Безумную мольбу: Франческа дочь твоя!
Восстань; иль ты мечтал, я мог без вдохновений
Духовный мир воспеть и видеть без видений?
Пройти сквозь ад и рай, живым в толпе теней,
И мертвый, хладный мир создать в душе моей?..
Полента, я не бог! Взгляни: я умираю,
Как смертный! Хладный труп — вот всё, что
оставляю;
Но некогда сей труп был духом оживлен
Божественным, был им в святилище введен,
И не мои слова в устах моих гремели.
Когда б не истину они запечатлели,
Тогда б страшился жизнь меж теми потерять,
Которые сей век минувшим будут звать.

Полента

Безмолвствую, о Дант! В слезах благоговею.

Дант

Но время... Смерть в очах: я гасну и хладею.
Дай руку мне, сожми; прости, не забывай...
Бог, искупитель мой! прими меня в твой рай...

(Умирает.)

1827

С. П. ШЕВЫРЕВ

В литературной деятельности Шевырева различаются два неравных по значению и протяженности периода. Первый охватывает 20-е годы и самое начало 30-х, второй — все остальные годы его жизни, то есть целых три десятилетия. Этот последний период, когда Шевырев проявил себя как писатель воинствующе официозного направления, заслонил в памяти современников облик молодого Шевырева — даровитого и оригинального лирика, превосходно эрудированного критика, к литературным выступлениям которого с интересом присматривались такие люди, как П. А. Вяземский, Жуковский, наконец Пушкин и Гоголь. Тщательное изучение раннего этапа литературной деятельности Шевырева[1] доказало необходимость восполнить историю нашей поэзии 20-х годов рядом забытых, но весьма существенных фактов.

Степан Петрович Шевырев родился 18 октября 1806 года в Саратове, где его отец долгое время исполнял обязанности дворянского губернского предводителя. Там же прошли в основном и детские годы Шевырева. В 1818 году, получив основательное домашнее образование, он был помещен в Московский университетский Благородный пансион.

Уже с 1820 года начались регулярные выступления Шевырева в печати — сначала на страницах пансионских изданий (именно здесь в сборнике «Каллиопа» появилось первое из опубликованных его стихотворений — «К друзьям»), затем в московских журналах и альманахах. С 1822 года Шевырев почти еженедельно посещает кружок

---

[1] Заслуга открытия Шевырева-поэта принадлежит М. Аронсону, издавшему в 1939 г. в Б. с. «Б-ки поэта» том стихотворных произведений Шевырева, сопровожденный обстоятельной статьей и комментарием.

Раича. Окончив пансион в сентябре 1822 года, Шевырев в декабре 1823 года устраивается в московский архив коллегии иностранных дел. Служба в архиве сблизила несколько молодых людей, вскоре составивших так называемое Общество любомудрия. «Немецкая философия, особенно Шеллингова, сочинения немецких эстетиков и критиков, произведения немецкой словесности принадлежали к числу любимых его занятий», — рассказывал о себе впоследствии Шевырев в автобиографии.[1] Теми же философскими и литературными интересами жили и другие любомудры — прежде всего Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский, А. С. Хомяков, братья П. В. и И. В. Киреевские, Н. А. Мельгунов, Н. М. Рожалин, В. П. Титов и другие.

После известия о декабрьском восстании келейные заседания кружка были прекращены. Однако почти все его участники поддерживали тесные отношения, а главное — соединяли свои усилия в общих литературных предприятиях. Важнейшим из них был журнал «Московский вестник». В заведование Шевырева вскоре поступил критический отдел журнала. Богатая теоретическая оснащенность и завидная осведомленность в секретах художественного мастерства способствовали известности молодого критика.

В 1827 году Шевырев напечатал свой перевод «междудействия» из второй части «Фауста» Гете и одновременно разбор этой символической сцены. Через проживавшего в Москве немца Н. Борхарда статья была отослана в Веймар к Гете, который в мае 1828 года отозвался на нее любезным письмом с изъявлением похвалы русскому критику за его проницательный анализ.

Как поэт Шевырев стал выдвигаться еще раньше. В январе 1826 года Баратынский в письме к Пушкину рекомендует его вниманию шевыревскую оду «Я есмь», удивляясь даровитости и юности автора. В том же 1826 году состоялось знакомство Шевырева с Пушкиным, закрепившееся затем их частыми встречами в Москве и общим литературным делом — сотрудничеством в «Московском вестнике».

Поприще критика нисколько не мешало Шевыреву отдаваться поэзии. Напротив, с 1827 года его поэтическое дарование заметно выросло. Редкий номер «Московского вестника» выходил без стихов Шевырева, как оригинальных, так и переводных — в основном из Шиллера. В 1826 году Шевырев взялся за перевод его драматической трилогии «Валленштейн». Первая ее часть — «Лагерь Валленштейна», — по уверению переводчика, была прочитана в присутствии Пушкина и возбудила его интерес. Ввиду цензурных затруднений

---

[1] «Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета», ч. 2, М., 1855, с. 605.

Шевырев смог опубликовать лишь два отрывка из этой пьесы[1] и несколько извлечений из других частей трилогии.

Приверженность к Шиллеру, в частности начатый, но прекращенный (по тем же, надо полагать, цензурным причинам) перевод «Вильгельма Телля», свидетельствует о том, что Шевырев был в какой-то мере увлечен вольнолюбивым пафосом творчества немецкого поэта. Шевыреву приписывался девиз, провозглашенный им в 1827 году на вечере, данном московскими литераторами в честь опального Мицкевича: «Самодержавья скиптр железный перекуем в кинжал свободы!»[2] За метафорической остротой этих слов скрывался, впрочем, весьма умеренный политический смысл. Свободолюбие Шевырева, как и других «архивных юношей», было далеко от активного общественного протеста.

В начале 1829 года княгиня З. А. Волконская, знавшая Шевырева как посетителя своего салона, предложила ему взять на себя образование ее сына Александра, с которым она уезжала в Италию. Человек небогатый и зависимый от казенной службы, Шевырев принял это предложение. В мае того же 1829 года он уже был в Италии. Пополняя запас своих познаний, Шевырев в течение почти трехлетнего пребывания в Риме работал как одержимый — читал на языке оригинала Гомера, Данте, Тассо, Ариосто, Шекспира, Байрона, Кальдерона, Сервантеса, штудировал исторические и политические сочинения европейских авторов, изучал живопись, ваяние и архитектуру, сочинял трагедию «Ромул» (из пяти предполагавшихся актов было написано два). Новые стихотворения он отсылал в Москву, своему приятелю М. П. Погодину, который направлял их в печать.

Творчество поэтов-любомудров — Веневитинова, Шевырева и Хомякова — объединяет принципиально важный для всех них программный образ вдохновенного поэта, жреца искусства. В стихах Шевырева этот образ двоится: речь в них идет не просто о поэте, но поэте-мыслителе, а иногда вообще о мудреце, уверенно читающем сокровенную книгу бытия. Своеобразие Шевырева заключалось также в том, что роль поэта почти целиком поглощала героя его лирики. Самозабвенная преданность своему призванию, чистота души, полнейшее бескорыстие и отказ от всех личных интересов, вплоть до почестей и славы (см. «Сила духа», «Журналист и злой дух», «Ночь»), превращают этого героя в некое неземное существо.

Тема очищения души и отрешенности от мира, которой посвящено несколько стихотворений 1825—1829 годов, находит художе-

---

[1] Полный ее перевод под названием «Валленштейнов лагерь» Шевырев напечатал отдельным изданием в 1858 г.

[2] «Русский архив», 1908, № 1, с. 65.

ственно убедительное решение в трех шевыревских гимнах ночи («Как ночь прекрасна и чиста...», «Немая ночь, прими меня...», «Стансы»). Ночь — это и есть призрачный, идеальный мир. В эти часы смолкает шум «ветреных людей», ночная мгла скрывает от глаз все телесные очертания мира. Освобожденная от чувственных впечатлений дня, душа поэта открывает в себе родник «светлых дум», которые будут присвоены «самолюбивым днем».

Стремлением оторваться от действительности проникнута и вся лирика Шевырева. Она не могла стать ни «отзывной песнью» жизни, к чему призывал Веневитинов, ни исповедью души — по той причине, что интимные чувства и переживания также нуждались в притоке свежих впечатлений извне, которые встречали в поэзии Шевырева плотный заслон.

Легко заметить, что многие его стихотворения навеяны впечатлениями, идущими от искусства. При посещении Петербурга (зимой 1829 года) Шевырев пленяется Медным всадником, и у него возникает замысел «Петрограда». Он смотрит выступления цыган, присутствует на музыкальном вечере на вилле З. Волконской в Риме, любуется «Преображением» Рафаэля в Ватиканском дворце, посещает древний храм Пестума, читает Данте — и в результате из-под пера его выходят «Цыганская пляска», «Русский соловей в Риме», «Преображение», «Храм Пестума», «Чтение Данте». Мотивы многих стихотворений навеяны самой поэзией, причем речь в них идет исключительно о ее формах, о технологии, даже о рифмах. Во всех этих стихотворениях искусство как бы подменяет жизнь, а с точки зрения их автора оно есть высшее ее выражение, ибо в искусстве человеческий дух обнаруживает свое бессмертие, торжествует победу над тленным прахом. «Идеальная» поэзия Шевырева строит свой невиданный в русской литературе лирический мир творчества. Это мир искусства и чистой (абстрактной) мысли.

Искусство и мысль выступают прежде всего как две центральные темы в творчестве Шевырева. Мысль для него — нечто необъятно великое, содержащее в себе ключи ко всем тайнам мироздания. Она — то общее, что объединяет всех людей, все отрасли духовной деятельности и религию. В стихотворениях 1822—1827 годов мысль (она же мудрость, разум), нередко олицетворяемая в образе бога, предмет поклонения и воспевания. Она дает власть человеку над грозными стихиями природы («Петроград»), она то зерно, из которого вырастает «дерево» истории («Мысль»).

Трагедия «Ромул» — единственное произведение, где Шевырев непосредственно обращается к изображению реально действующих людей. Но угол его зрения все тот же: он выделяет искусственную

сторону жизни. «Ромул» — пьеса о формировании государственной системы, о происхождении закона и механизме человеческих отношений.

Мысль Шевырева властно подчиняет себе всего человека. Когда же она становится правилом общественного поведения, ее владычество приобретает бессердечный, даже зловещий характер. Не по ошибке и не из-за вражды с Ремом, а в силу фанатической преданности закону Ромул, словно бесчувственная машина, с точностью исполняет предписание этого закона — закалывает собственного брата. Эта жестокость, идущая от формально-абстрактного применения закона ко всем случаям жизни, полностью оправдывается в пьесе.

Поэты-любомудры стремились осуществить в своем творчестве союз поэзии и философии. Это, по их мнению, была первоочередная проблема всей современной русской поэзии. Сильнее всего поток отвлеченного мышления захлестнул сознание Шевырева. Сам он гордился тем, что приоритет введения мысли в отечественную поэзию принадлежит ему. Однако от подобного «введения» снизились познавательные способности поэзии.

Размышление, анализ, сложное сплетение смыслов в лирике Шевырева представлены скудно. Аналитичность его мышления весьма ограничена — отчасти ввиду потери конкретного объекта для анализа, отчасти по другой причине: шевыревская мысль — главным образом инструмент согласия, построения, обобщения. Она постоянно разрешает противоречия, приводя их к общему знаменателю. Обычно рефлексия Шевырева сводится к сопоставлению каких-то двух объектов, предметов, мнений. Отсюда типичная для него диалогическая композиция стихотворений. В них всегда два персонажа, два голоса (см. «Журналист и злой дух», «Два духа», «К непригожей матери», «Тибр», «Петроград»). Спор, сопоставление у Шевырева обязательно имеет положительный итог: превосходство, правота одной из сторон всегда ясны и заранее предрешены, ибо противоречивой истины Шевырев не допускает. Раздвоение ее равносильно для него концу света — такую картину он мог представить только в сновидении (см. «Сон»). При всем том поэт отнюдь не склонен был затушевывать или смягчать напряженность противоречий. Он даже специально подчеркивал их остроту. На уровне стиля — в сочетании описательных подробностей — эта установка получала куда более последовательное выражение: полярные явления, силы и качества бытия обретали здесь свое равноправие. Резкая контрастность планов, соединение несоединимых свойств, изобилие оксюморонов — важнейшие черты художественной манеры Шевырева, которые он сознательно противопостав-

лял плавным, «изнеженным» формам классицистического искусства, по его мнению, порожденным идиллической невозмутимостью духа (см. «Партизанке классицизма»).

Сопоставление — основной, наиболее общий принцип поэтического мышления Шевырева — следует рассматривать и как универсальный для всей его лирики художественный прием — прием сравнения. В стихотворениях Шевырева сравниваются разные точки зрения — оптимистическая и скептическая («Два духа»), народы («К непригожей матери», «Тибр»), глаза разгневанной женщины с глазами хищных зверей («Очи»), стихи Данте с волнами моря («Чтение Данте»), прошлое с настоящим («В альбом») и т. д. Когда Шевырев послал Дельвигу для «Литературной газеты» стихотворение «Критику», предлагая ему право выбрать название, то Дельвиг не нашел более подходящего слова, чем «Сравнение». Этому приему в лирике Шевырева предоставлены поистине неограниченные возможности. Об исключительной роли сравнения говорит и то, что оно нередко является композиционным стержнем всего стихотворения (так построены «В альбом В. С. Топорниной» и «Таинство дружбы»). Стихам Шевырева нельзя отказать в своеобразной картинности, точнее — умозрительной картинности. Этим живописным методом Шевырев был во многом обязан Ломоносову — факт, оставшийся не замеченным даже теми современниками, кто помышлял о воскрешении ломоносовских традиций и хорошо знал шевыревские стихи (например, Раич). Между тем в них встречаются прямые заимствования из произведений Ломоносова, не говоря уже о том, что целая полоса в творческом развитии Шевырева (1820—1827) была ознаменована увлечением одой («Гимн солнцу», «Сила песнопения», «Сила духа», «Мудрость» и другие). Но и тогда, когда он отошел от оды, она все время подспудно присутствовала в его сознании — то в виде стилистической тенденции, то в виде отдельных компонентов.

В лирике Шевырева обычно поддерживается сверхвысокий лирический настрой, подчас отдающий «надутостью», как выразился Н. В. Станкевич, к мнению которого присоединился Белинский. В стихах Шевырева очень много бурной патетики и темперамента. Их отличают волевые интонации, «громкость», упругость, пульсирующие ритмы. Со временем эти черты своей лирики Шевырев с присущим ему самомнением стал осознавать как наиболее чистое выражение национального духа и национальной стихии языка.

Тот факт, что варварские народы овладели таким цивилизованным государством, как Древний Рим, навел Шевырева на мысль об исключительной миссии России в мировой истории. Великое преимущество России перед другими странами Европы в том, что это моло-

дая, полуварварская, полуазиатская страна, не истощившая своих сил в создании искусственной цивилизации. Она последней пришла к западному просвещению, и в этом залог ее жизненности и блестящего будущего. Россия, как думал Шевырев, даст Европе свои законы, спасет ее от разложения и увенчает процесс исторического развития. Обуреваемый патриотическим энтузиазмом, а точнее говоря — славянофильским национализмом, Шевырев в 1831 году пишет «Послание А. С. Пушкину» и одновременно переводит седьмую песнь «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо. И послание и перевод должны были подготовить затевавшийся им переворот в стихотворном языке. Внешне более чем почтительное, послание фактически содержало скрытый упрек Пушкину. Не замечая великих достижений поэзии 20-х годов, Шевырев обвинял ее в искусственности, укоренившейся, как он полагал, под вредоносным влиянием французской словесности. Под искусственностью подразумевались «гладкость» (изящество воплощения) и «монотония» (ритмическая упорядоченность). Такие формы принуждают якобы к беспорывности и ведут к изнеженности языка, тогда как поэзия России должна отразить всю мощь ее богатырского духа. Чтобы дать ей такую силу, надо вернуться к Ломоносову и Державину. Такова программа Шевырева. В своих собственных стихах он культивировал жесткость и грубость, более того — решился на ломку современной системы стихосложения, механически перенеся в нее итальянскую. Перевод седьмой песни «Освобожденного Иерусалима» был отослан в Москву в сопровождении педантически аргументированного «Рассуждения о возможности ввести италианскую октаву в русское стихосложение». «Просодическая реформа», как позднее назвал ее Белинский в своем уничтожающем отзыве о ней, не имела никакого успеха. Она лишь отразила назревавшие изменения в жизни русского стиха. Все те вольности, которые предлагал Шевырев в пределах октавы — ритмические перебои, свободное сочетание мужских, женских и дактилических рифм (кроме элизий — слияния двух гласных в дифтонг на стыке двух слов), — уже использовались поэтами, в частности поэтами раичевского кружка (Тютчевым, Ознобишиным и самим Раичем).

В Италии нашли свое завершение и либеральные настроения Шевырева, одно время, впрочем, получившие более определенное отражение в его поэзии («Форум», «Тибр», «Ода Горация последняя»). Второй акт «Ромула» оканчивался монологом Фаустула, который наставлял молодого царя править в согласии с мнением избранного совета — «мира». Как видно из переписки с Погодиным, Шевырев счел уместным применить этот термин к российскому Сенату,

который ни с какой точки зрения не мог считаться представительным органом власти. От этого грошового либерализма рукой было подать до полного примирения с самодержавием, что Шевырев и сделал, устрашенный Июльской революцией во Франции и польским восстанием.

По приезде в Москву (в середине 1832 года) Шевырев вскоре занимает место адъюнкта на кафедре словесности в Московском университете. За два следующих года он написал монографический труд «Дант и его век», а с января 1834 года приступил к чтению лекций по всеобщей истории литературы. На обширном материале этих лекций Шевырев построил книгу — «Историю поэзии», первый том которой вышел в 1835 году и вызвал одобрение Пушкина, набросавшего черновик рецензии на нее.

В течение 1834—1835 учебного года Шевыревым был прочитан курс по истории отечественной литературы. В январе 1837 года он защитил докторскую диссертацию на тему «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (издана в 1836 году). Широко применяя в этих и последующих трудах метод сравнительно-исторического изучения литературы, Шевырев выступил в них как один из зачинателей академического литературоведения.

В 1835—1836 годах Шевырев возглавлял критический отдел нового журнала «Московский наблюдатель», но действовал на этом посту без прежнего успеха. Антиреалистические и антидемократические тенденции литературных взглядов Шевырева вызвали отпор со стороны Белинского (в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“»).

В 1838 году, взяв продолжительный отпуск, Шевырев выехал из России. Он снова побывал в Италии, где сблизился с Гоголем, а затем посетил Францию, Англию и Германию.

Некоторые стихотворения, написанные Шевыревым в это время после большого перерыва (1832—1837) и несколько позднее — в начале 40-х годов, почти не уступают прежним, относящимся к лучшей поре его поэтического творчества (к 1825—1831 годам). В частности за границей он принимается за стихотворный перевод дантовского «Ада», две песни которого (вторая и четвертая) были опубликованы в 1843 году. На четвертой песни, видимо, прервался и этот труд. После 1843 года поэзия Шевырева превращается в заурядное ремесленническое стихотворство. Почти все написанное с этого времени — отклики на внутриполитические и международные события, юбилейные и застольные стихи.

В 1840 году Шевырев вернулся к исполнению своих обязанностей ординарного профессора на кафедре словесности в Москов-

ском университете. В следующем году он снова включается в активную журнальную деятельность, систематически печатаясь в «Москвитянине». Первый номер этого журнала открывался его программной статьей «Взгляд русского на современное образование Европы». Выступив с беззастенчивой апологией самодержавия, православия и народности, Шевырев призывал русских порвать идейные связи с Западом, так как весь воздух европейской жизни якобы отравлен корыстолюбием, «развратом личной свободы» и атеизмом.

Славянофильство Шевырева полностью укладывалось в рамки официальной пропаганды. Вряд ли случайно истинные славянофилы недолюбливали своего не в меру благонамеренного «союзника». По той же причине он не пользовался популярностью и среди студенческой молодежи. Сокрушительный удар по его авторитету нанес в 1842 году Белинский в памфлете «Педант». Шевырев вел ожесточенную борьбу с реализмом в литературе. Он делал злобные выпады против Белинского, Герцена и писателей натуральной школы.

Между тем ученая карьера Шевырева складывалась весьма удачно: ему присваивались чины, награды, почетные звания и должности. Но судьба вдруг зло посмеялась над его «преданностью престолу и отечеству». В январе 1857 года на заседании совета «Московского художественного общества» Шевырев стал оспаривать резкие высказывания графа В. А. Бобринского о злоупотреблениях и безобразиях, царящих в стране. Спор перешел в личные оскорбления, а затем в драку. Вследствие этого скандала Шевыреву велено было уйти в отставку и покинуть Москву. Он написал плохое стихотворение «Русское имя», где выставлял себя поборником истинного патриотизма, и прошение на «высочайшее имя». Результатом последнего была отмена предстоящей ссылки в Ярославль.

В 1858 году Шевырев издал третью, а через год четвертую часть своей «Истории русской словесности» (две первые вышли еще в 1846 году). В 1860 году он уехал в Италию. Умер Шевырев в Париже, 8 мая 1864 года, на 58-м году жизни.

95. СИЛА ДУХА

Мечта исчезла — дух уныл,
Блуждаю мыслию неясной,
Свет дивный взоры ослепил:

Я, мнится, видел мир прекрасный.
Душой я к небу возлетел,
Я близок был к высокой цели, —
Тот мир не юности удел,
И силы скоро ослабели.
Едва луч чистый, неземной
В душе свободной отразился,
Я пал во прах — и снова тьмой
Дух проясневший омрачился.
Вы зрели ль, как младый орел,
Младые силы испытуя,
Парит сквозь огнь громо́вых стрел,
Над тучей грозно торжествуя:
Под ним шумят и дождь и гром,
Летит отважный с новой силой;
Но солнце взоры ослепило...
Содрогся в ужасе немом,
В нем пламень доблестный хладеет,
Чуть движет трепетным крылом,
Падет — лишь миг — и прах на нем
Оков враждебных тяжелеет.
Я пал, к родной стремясь мете, —
Минутный вечного свидетель,
Зрел Истину и Добродетель
В согласной неба Красоте.
Я пал; но огнь в душе таится,
Не замер в ней свободы глас:
Кто видел свет единый раз,
Престанет ли к нему стремиться?
Бежит души моей покой,
Меня сгубили сердца страсти;
Но силы духа! вы со мной —
Еще в моей паренье власти.
Рассейтесь, мрачные мечты,
Светлей, мой дух, в жилище праха,
Крепись — и воспари без страха
Ко храму вечной Красоты.

⟨*1825*⟩

96. ВОДЕВИЛЬ И ЕЛЕГИЯ

Разговор

Водевиль

Кто эта странница печальная? Откуда?
Зачем вся в трауре? К чему туманит флер
Ее задумчивый, от слез потухший взор?
Но плакать так при всех не стыдно ли? Отсюда
Мне кажется мила... Поближе подойду —
Не ошибиться бы! В России на беду
Я без парижского лорнета
Смотреть уж не могу на круг большого света.
Посмотрим же: ай, ай! какой же я дурак!
Как может Водевиль так в лицах ошибаться!
Да рожи эдакой нельзя не испугаться;
Но, ах! — не в первый раз попался я впросак.
Какая бледность и убранство,
Гримасы скучные, притворное жеманство!
И плачет нехотя. — На сцену б годилáсь...
Лицо знакомое — мне кажется, в Париже
Встречался с нею я; но подойдем к ней ближе
И посмеемся для проказ.
Дерзну ль спросить, сударыня, я вас,
О чем вы плачете? Дерзну ли я в несчастье
Принять, прелестная, живейшее участье
И вас утешить?

Елегия

Ах!
Я плачу, потому что слезы мне веселье.

Водевиль

(про себя)

Вот редкость!.. Плачет от безделья!

(Ей)

По ком вы в трауре?

Елегия

По милых, по мечтах,
По светлом призраке давно протекшей славы,
По юности и по любви!
Слеза горячая и вздох — мои забавы;
В унылой горести текут все дни мои.

Я поутру всегда влюбляюсь
И плачу с радости, пою про негу, лень;
Но в полдень я любви лишаюсь,
И снова мрачен день.
Чего желаю,
Сама не знаю,
О чем-то тайном я грущу,
Чего-то милого, небесного ищу;
В восторге я себя не понимаю
И с грустною душой в туманну даль лечу.
А вечером над хладною могилой
Стенаю я в стихах по милом иль по милой;
Но завтра снова влюблена,
А к вечеру опять грустна,
Морфея храм — мое жилище,
А мой Парнас — кладби́ще!

Водевиль

(про себя)

Ах, как она смешна!

(Ей)

Скажите, неужели
Все вас в страданьи забывают?

Елегия

Меня? .. меня не любят — обожают:
Поэты сотнями за мною вслед рыдают,
А девушки кричат невинно: «C'est joli!» [1]
Во многих я страна́х живала,
Цвела во Франции, в Германии певала.
Но признаюсь, нигде я не видала
Честей таких.
Хоть, правда, севера ль морозы,
Иль ласки частые поэтов записных
На девственных щеках мои сгубили розы;
Я, правда, иногда бледна,
Румянец не всегда с невинностью живою
Играет на лице; с умом я не дружна,
И болью головной бываю я больна;
Зато, когда рыдают все со мною,
Зато как весело мне плакать от души!

---

[1] Прелесть! (франц.). — *Ред.*

Поэта ли создать? Скажу ему: «Пиши!»
Стихами в честь мою в журналах все страницы
Наполнены — меня уважил русский вкус,
И в здешнем царстве муз
Я титлом почтена царицы.

Водевиль

(с усмешкой)

Дерзну ль узнать, кто ж вы?

Елегия

Увы!
Один ты не узнал Елегии печальной,
Ужель не отгадал мой голос погребальный?..
Ах, бедненький! нет, ты поэтом не рожден.

Водевиль

Как! вы Елегия! Я, право, изумлен!
Поэты вашею прельстились красотою,
В наш просвещенный век вам вслед бегут толпою,
И вам, сударыня, соперник Водевиль?

Елегия

Соперник Водевиль? Повеса тот французский,
Который остротой в глаза пускает пыль,
Быть русским думает, кафтан надевши русский,
Поэтам, комикам всем головы кружит
И ныне завладел пустынной русской сценой,
От чьих невежеств и обид
Рыдают Талия с бедняжкой Мельпоменой!
И он соперник мне... парижский этот шут!
Покамест всех прельстил он не своим нарядом;
Но блеск его пройдет чрез несколько минут —
И он останется с накладом.
О! слава эта ли моя?
Ты знаешь ли его?

Водевиль

Я знаю, как себя.
Достоинство и честь завистников не чужды;
Но Водевилю нет в том нужды.
О! сколько раз театр стонал
От тех торжественных похвал,

Которыми его согласно величали;
Признайтесь, сколько раз
Поэтов за него на сцену вызывали!
Не для его ль затейливых проказ
Артистов целый хор трудится, сочиняет?
Как он всегда остро, как мило говорит!
Петь вздумалось — поет, то мимикой играет,
То каламбуром рассмешит,
И как всё кстати — и куплеты,
И превращенья, и балеты —
Чего в нем не найдешь! Нет нежных лишних чувств,
Зато уж льются епиграммы!
Не он ли выбрал всё изящное из драмы?
О! Водевиль в наш век есть Гений всех искусств.
Под властию его все сказки, анекдоты,
Сюжетов тысячи, лишь стало бы охоты
Да времени писать.
Как мастер имена и платья он менять!
Что день, то уж другой на сцене!
И где ж тягаться с ним слезливой Мельпомене?
А вы, сударыня, как часто по сту раз
(Скажу я правду, извините!)
Под тем же именем одно и то ж твердите,
И если б мог кто для проказ
Творенья ваши напоказ
Извлечь из областей забвения туманных,
Ну, вышло б томов пять Елегий безымянных!
Но наконец скажу я вам,
Что ваш соперник я...

Елегия

Как! вы, сударь?.. Простите...
Об вас судила я по слухам... извините.

Водевиль

К чему учтивости? Я также слышал сам
Об вас, сударыня, что плачете притворно,
Что ваши рифмы — бред бессмысленный
и вздорный.
И — что греха таить? — я слышал много раз,
Что будто на лице, сударыня, у вас
Блистает накладной румянец...

Елегия

Забылись вы, сударь... Я слышала сама,
Что вы для легкого французского ума
Приманчивы, а здесь на сцене — самозванец;
Что вы и дышите парижской остротой,
И весь ваш ум, признайтесь, выписной.
Слыхала я, суда́рь, как вас переряжают
Плохие комики, с каким трудом ломают
Нерусский ваш язык, и что едва ль кому
Труд долгий удался; что будто потому
Над вами более смеются,
Что ваши остроты́ у нас не удаются.
К пустым стишкам слух русский не привык;
Не ваше ль обличал, признайтесь, самозванство
То исковерканный язык,
То ваше странное убранство?
Бывало всё бы так, да нет, чужой парик,
А уж бессмыслицы, что слово — то...

Водевиль

Пустое!
Ну вам ли упрекать в бессмыслице меня!
В журналах вы, уж верно, вдвое
О ней заботились, чем я.
Но если вы пошли на ссоры,
То верьте — с завтрашнего дня
На сцену выведу все ваши бредни, вздоры —
И вам достанется!..

Елегия

Я тотчас соберу
Совет моих друзей-поэтов,
Повею ветерком знакомых им приветов
И вас в Елегии заране уморю.
Смерть под моей рукой — и в области Плутона
Я важную играю роль.

Водевиль

(про себя)

У женщин на вранье, к несчастью, нет закона!
Захочет — уморит.

(Ей)

А головная боль?

А ваше в слабостях невинное признанье?
Какое скажете на это оправданье?
Все выведу грехи! — на сцене всё видней.
Вольно же ссориться...

Елегия

Но я не начинала.
Вы, сударь, смелостью своей
Меня встревожили — и я сердиться стала,
Но, право, в первой раз... Я так добра, тиха...

(Про себя)

Уж этот мне остряк! Ни одного греха
Не скрылось от него — ах! как бы помириться!

Водевиль

А! струсили — вот то-то горячиться!
Но я не мстителен. Оставим лучше спор;
Я вам представлю договор,
А вы извольте согласиться.

Елегия

Извольте говорить.

Водевиль

Где скрыться от молвы?
Кто эту дерзкую в болтаньи остановит?
И сколько ни кричи, всё Критика злословит.

Елегия

Увы!
Всё правда! Как же быть?

Водевиль

Хотите ль, воружимся
Противу Логики, задавим здравый вкус,
Зажмем рот Критике, с Грамматикой сразимся —
И будет крепок наш союз.
Да что? — моя пустая шутка
Сильнее во сто раз холодного рассудка,
А ваша нежная слеза
Так ослепит глупцам глаза,

Что над Елегией они про вкус забудут.
Под вашим ведомством да будут
Все роды разные стихов!
Морите, плачьте и рыдайте,
Вздыхайте, пойте и стенайте,
Стихами нежными журналы наводняйте, —
Пусть мыслей нет, да больше звучных слов;
Хвалить меня не забывайте;
Да чур мне не мешать! Из всех моих жрецов
Я общества составлю,
Сдружу их с вашими — и всех
Друг друга их хвалить заставлю.
Но чтобы полон был успех,
Мы сыщем и Батте, он сочинит систему,
Изгонит из нее трагедию, поему,
Искусной новизной в глаза он бросит пыль,
С системой новой согласятся,
И в здешнем царстве муз, поверьте, воцарятся
Елегия и Водевиль.

Елегия

Прекрасно! По рукам. Смешите, как хотите,
А вы, Грамматика и Логика, простите,
Простите, ум и здравый вкус,
Вам память вечная у муз:
Вы перед нами замолчите.
Вот и надгробная; но мне уже пора:
Один питомец мой вчера
Всё посылал ко мне моленья:
Бедняжка просит вдохновенья
Воспеть собачки смерть — скончалась эта тварь,
Уж немила ему денница!..
Итак — прости, мой закулисный царь!

Водевиль

До завтрашнего дня, журнальная царица.
И мне пора: я сам
Спешу на сцену — нынче там
Уснули зрители в гостях у Мельпомены,
Пора их разбудить — долой ее со сцены!

⟨1825⟩

97. БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ

(Из Шиллера)

По морю вселенной направил я бег:
Там якорь мнил бросить, где видится брег
Пучины созданья,
Где жизни дыханья
Не слышно, где смолкла стихийная брань,
Где богом творенью поставлена грань.

Я видел, как юные звезды встают,
Путем вековечным по тверди текут,
Как дружно летели
К божественной цели...
Я дале — и взор оглянулся окрест,
И видел пространство, но не было звезд.

И ветра быстрее, быстрее лучей
Я в бездну ничтожества мчался бодрей.
И небо за мною
Оделося мглою...
Как волны потока, так сонмы планет
За странником мира кипели вослед.

И путник со мной повстречался тогда,
И вот вопрошает: «Товарищ, куда?»
— «К пределам вселенной
Мой путь неизменный:
Туда, где умолкла стихийная брань,
От века созданьям поставлена грань!»

«Кинь якорь! Пределов им нет пред тобой».
— «Их нет и за мною! Путь кончен и твой!»
Свивай же ветрило,
О дух мой унылый,
И далее, смелый, лететь не дерзай,
И здесь же с отчаянья якорь бросай.

1825

98–99. ⟨ИЗ В. Г. ВАККЕНРОДЕРА⟩

1

О Цецилия святая!
Одинокий, изнывая,
Плачу горькою слезой.
Зри — от мира удаленный
И коленопреклоненный,
Я молюся пред тобой.

Звук от струн твоих чудесный
Окрыляет в мир небесный,
Отрывает от земли;
Успокой смятенье крови,
Звуком песен и любови
Жажду сердца утоли.

Силу дай руке бессильной
Вызвать смело звук обильный
И восторгом оживи,
Чтоб смягчали струн отзывы
Сердца гордые порывы
Сладкой грустию любви.

Окрылен тобой, воспряну
И под сводом храма гряну
В честь тебе, тобой избран,
Гимн, молитвой вдохновенный:
Да ликует сонм смиренный
Умиленных христиан!

С оживленными струнами
Дай мне силу над сердцами,
С тайны душ покров сорви —
Чтоб я мог всевластным духом
Целый мир наполнить звуком
Вдохновенья и любви.

1825

2

О, не знаю, что меня стесняет,
Что мой дух и давит и терзает,
Словно я от казни иль от грома
Рвусь, бегу из отческого дома?
Чем виновен, чем пред богом грешен
И за что страдаю безутешен?

Божий сын! ужель твоя отрада
Не смирит бунтующего ада,
Не пошлет святого откровенья
Разогнать души моей сомненья,
Не внушит безумцу мысли здравой
И стези мне не укажет правой?

О, спаси меня, любовь и сила!
Иль вели земле, чтоб поглотила,
А не то я — жертва чуждой власти:
Увлекут меня слепые страсти,
И, твоей лишенный благодати,
Убегу из отческих объятий.

1825—1826

100. ВЕЧЕР

(Из Шиллера)

Скройся, бог света! Нивы желают
Влаги прохладной; смертный уныл,
Медленно идут томные кони:
Скройся, бог света, в струях!

Зри, кто из моря в волны кристальны
С милой улыбкой друга манит!
Быстро помчались грозные кони
В царство богини морей!

К персям прекрасной Феб наклонился;
Правит браздами юный Амур,
Богу послушны гордые кони,
Плещутся резво в струях.

С звездного неба легкой стопою
Ночь прилетела, с нею любовь.
Феб почивает в неге роскошной,
Спите в объятьях любви!

(1826)

101. ДВЕ ЧАШИ

Две чаши, други, нам дано;
Из них-то жизни гений
Нам льет кипящее вино
Скорбей и наслаждений.
Но из одной мне пить, друзья,
Ни разу не случалось,
И в каждом чувстве бытия
С весельем грусть сливалась.

Подаст ли рок сосуд забот —
Слетает вмиг украдкой
Надежда и в него вольет
Вино отрады сладкой.
Упился ль счастьем в жизни я
И душу переполнил —
Но ах! миг райский бытия
О вечном ей напомнил.

И в мой сосуд отраву льет
Томящее желанье,
И пламень жажды душу жжет,
И ожило страданье.
Горит душа, огнем полна,
Бессмертной в мире тесно,
И стонет сирая она
По родине небесной.

1826

102. ЗВУКИ

(К N. N.)

Три языка всевышний нам послал,
Чтоб выражать души святые чувства.
Как счастлив тот, кто от него приял
И душу ангела и дар искусства.

Один язык *цветами* говорит:
Он прелести весны живописует,
Лазурь небес, красу земных харит, —
Он взорам мил, он взоры очарует.

Он оттенит все милые черты,
Напомнит вам предмет, душой любимый,
Но умолчит про сердца красоты,
Не выскажет души невыразимой.

Другой язык *словами* говорит,
Простую речь в гармонию сливает
И сладостной мелодией звучит,
И скрытое в душе изображает.

Он мне знаком: на нем я лепетал,
Беседовал в дни юные с мечтами;
Но много чувств я в сердце испытал,
И их не мог изобразить словами.

Но есть язык прекраснее того:
Он вам знаком, о нем себя спросите,
Не знаю — где слыхали вы его,
Но вы на нем так сладко говорите.

Кто научил вас трогать им до слез?
Кто шепчет вам те сладостные *звуки*,
В которых вы и радости небес,
И скорбь души — земные сердца муки, —

Всё скажете, и всё душа поймет,
И каждый звук в ней чувством отзовется:

Вас слушая, печаль слезу отрет,
А радость вдвое улыбнется.

Родились вы под сча́стливой звездой:
Вам послан дар прекрасного искусства,
И с ясною, чувствительной душой
Вам дан язык для выраженья чувства.

Середина 1820-х годов

103. СОН

Мне бог послал чудесный сон:
Преобразилася природа,
Гляжу — с заката и с восхода
В единый миг на небосклон
Два солнца всходят лучезарных
В порфирах огненно-янтарных,
И над воскреснувшей землей
Чета светил по небокругу
Течет во сретенье друг другу.
Всё дышит жизнию двойной:
Два солнца отражают воды,
Два сердца бьют в груди природы —
И кровь ключом двойным течет
По жилам божия творенья,
И мир удвоенный живет —
В едином миге два мгновенья.

И с сердцем грудь полуразбитым
Дышала вдвое у меня,
И *двум* очам полузакрытым
Тяжел был свет *двойного* дня.
Мой дух предчувствие томило:
Ударит полдень роковой,
Найдет светило на светило,
И сокрушительной грозой
Небесны огласятся своды,
И море смерти и огня
Польется в жилы всей природы;
Не станет мира и меня...

И на последний мира стон
Последним вздохом я отвечу.
Вот вижу роковую встречу,
Полудня слышу вещий звон.
Как будто молний миллионы
Мне опаляют ясный взор,
Как будто рвутся цепи гор,
Как будто твари слышны стоны...
От треска рухнувших небес
Мой слух содрогся и исчез.
Я бездыханный пал на землю;
Прошла гроза — очнулся — внемлю:
Звучит гармония небес,
Как будто надо мной незримы
Егову славят серафимы.
Я пробуждался ото сна —
И тихо открывались очи,
Как звезды в мраке бурной ночи, —
Взглянул горé: прошла война,
В долинах неба осиянных
Не видел я двух солнцев бранных —
И вылетел из сердца страх!
Прозрел я смелыми очами —
И видел: светлыми семьями
Сияли звезды в небесах.

Февраль 1827

104. ЖУРНАЛИСТ И ЗЛОЙ ДУХ

Журналист

(Один перед камином, с пуком черновых тетрадей)

Свершился год: хвала, терпенье!
Вкушай плоды своих трудов,
А ты, поверенный грехов,
Камин, прими на всесожженье
Остатки черные листов.
Сожги мои грехи навеки,
С ненужным пеплом их развей,

И да сожгут их человеки
В незлобной памяти своей
Огнем спасительным забвенья!
Я не прошу от них хваленья:
Да взором истины прочтут
Мой труд, для истины подъятый,
Хоть не блестящий, не богатый,
Но чистый и смиренный труд.
На пользу брошенное семя,
Быть может (сладкая мечта!),
Плоды воздаст в благое время:
Нет, слава, ты не суета!
Души в чистейшие мгновенья
Твоим призваньям верю я,
Как верит в рай душа моя!
Что от нее, то выше тленья.
Бессмертны разума труды:
Листы мгновенные истлеют,
Но впечатления созреют
И принесут свои плоды.
Я честолюбьем ненавистным
В душе спокойной не тесним;
Но верю сердцем бескорыстным,
Что слава человеков...

Мефистофель
(являясь в камине из среды пламени)
Дым!

Журналист

Кто ты, чудовище? иль демон искушенья?
Зачем пришел смущать в моей тиши
Благословенные мгновенья
В мечтах забывшейся души?

Мефистофель

Не знаешь ты меня? Еще ты не был читан,
Твой первенец-листок дрожал в твоих руках,
Как у тебя я был невидим⟨ым⟩ в гостях,
Ты был уж мной и узнан и испытан.
Как весело бывало мне
Дразнить твои невинные мечтанья!

Бывало, затрещу в огне,
И слышатся тебе толпы рукоплесканья!
Бывало, чудеса в камине видишь ты:
Сокровища, клады монеты яркой, —
Как вдруг тебе я кучей угля жаркой
Кидал в лицо и разрушал мечты.

Журналист

Но кто же ты, незваный посетитель,
Мечтаний грешных тайный зритель?
Твое лицо как будто я встречал,
Твой голос мне знаком...

Мефистофель

Да, в зале света шумной
Не мудрено, что ты меня видал.
Мой голос знаешь ты? Да ты его слыхал!
И ты любил язык змеи разумной,
Которым я тебе шептал,
Лаская слух мечты неугомонной,
О почестях молвы незаслуженной,
В волшебном зеркале очам твоим,
Под очарованным туманом,
Тебя рисуя великаном,
А всё вокруг тебя и жалким и смешным.
С кого не брал я раболепной дани?
Кто от долгов передо мною чист?
В моей руке источники стяжаний:
Я первый здесь капиталист,
Я мощный дух — властитель века!

Журналист

Ты Мефистофель?

Мефистофель

Отгадал.
Давно уж я уверил человека,
Что эгоизм есть первый капитал.
Его ломбард — в моей душе бездонной.
Счастлив, кто от меня судьбою благосклонной
Им изобильно наделен!

Проценты я беру — известно,
Но ведь зато берет и он.
Как человек, ты задолжал мне честно
И видишь сам, что в этом нет вреда;
Но как писатель...

Журналист

Никогда.

Мефистофель

Послушайся, кинь гордость педантизма
И вместе с прочими будь мой должник.

Журналист

Свободный мой и праведный язык
Не подчиню уставам эгоизма.
Какою силой ты проник
И в область знания, о демон искушенья,
И девственный наш ум коварно соблазнил,
И чистый воздух просвещенья
Своим дыханьем отравил?

Мефистофель

Ведь вы, писатели, народ нетвердый,
И кто из вашей братьи гордой
Под власть мою не попадет?
Я всех вербую в эгоисты,
А предпочтительно печатный ваш народ,
О господа честные журналисты!
Вам без меня не угодить на всех
И не вкусить из полной славы чаши,
Я лучше вас постиг все тайны ваши,
И лишь со мной вы веруйте в успех.
Когда приходит к вам недуг писанья
И критики заносчивая блажь —
Отравой сладкою зловредного дыханья
Я наполняю воздух ваш.
Чернила растворив насмешкой ядовитой,
Я эгоизм души несытой
Удачной остротой лукаво щекочу
И дремлющим умом играю, как хочу.

Потом как раз втесняюсь в ваше тело
И, совести смирив укор,
За приговором приговор
Подписываю смело.
Представлю слабому писателя уму,
Что в мире знания всё ведомо ему;
В пылу задорного маранья
С пера срываю обещанья,
И тут на помощь прибегут
Коварные воспоминанья
Обид, постигнувших его давнишний труд!
Разгневанный враждою личной,
Он волю даст насмешке злоязычной;
Врагам его готовлю я позор,
Их сажей перед ним мараю
И едкой остротой изукрашаю
Неправый мести приговор.
Так с помощью меня успех себе он прочит;
Благодаря внушениям моим,
Народ гоняется за ним,
Читает, слушает, хохочет...
Ты хочешь ли успеха? Подпиши:
Вот договор.

Журналист

Не искушай напрасно
Моей немстительной души,
Твоим внушеньям непричастной!
Я по следам коварным не пойду.
Беги отсель.

Мефистофель

Да ты в бреду:
Ведь угли пред тобой, не злато,
Не плеск молвы ты слышишь в треске дров!

Журналист

В тебе мне нужды нет: я чужд врагов.
Мой враг есть ложь: что сказано, то свято!
Долой вражда! долой корысть!

Мефистофель

Ага! ты начал расточать угрозы
Своим клиентам, я велю тебя изгрызть
Зубами алчными бранчивой прозы!
Вооружу лукавой остротой
Твоих соперников-собратий;
Не избежишь моих карающих проклятий,
И вместе с громкою толпой
Я оглашу тебя позорным смехом!
Чем будешь отвечать мне?

Журналист

Эхом!
Прощай.

Мефистофель исчезает.

О мудрый ангел слова,
Меня ты правдой осени
И лжи нечистой духа злого
От мыслей чистых отжени.
Да в пользу верную отчизне
Свершу я истины завет,
И к заслуженной укоризне
Меня да не присудит свет!
Да злую месть обиды личной
Умом спокойным отгоню
И к сердцу доступ возбраню
Ее насмешке двуязычной!
Да будет каждый миг оно
С отчетом пред тебя готово,
Да будет в нем вкоренено,
Что миру сказанное слово
В скрижали неба внесено!

1827

105. РУССКАЯ РАЗБОЙНИЧЬЯ ПЕСНЯ

«Атаман честно́й,
Мой отец родной,
Ты потешь меня:
Расскажи точь-в-точь,
Как венчался ты — в ночь
Иль средь белого дня?»
— «Темна, грозна была ночь,
Грозней твоего отца,
Как красавицу дочь
10 Я увез у купца.
Не в божьем дому
Мы венчалися:
Во сыром бору
Сочеталися.
Не на теплом пуху,
Не в браном пологу
Целовались мы:
В пещере лесной,
На земле сырой
20 Обнимались мы.
На свадебном пиру
У нас во бору
Не свечи сияли —
Молнии пылали;
Ни народ не пел,
Ни музыки не играли, —
Град шумел,
Небеса трещали.
Как та ночь, тот бор,
30 Темна душа твоя;
Как та молния,
Твой меч остер;
Кровь в тебе пылка,
Как лобзанье мое;
Крепка твоя рука,
Как объятье мое;
Недаром на врага
Ты грозен, грозен:
Ты, буйна голова,
40 Под грозой рожден».

— «Атаман честно́й,
Мой отец родной,
Ты мне всё рассказал,
А того не сказал,
Чем меня спеленал,
Как меня воздоил,
Как меня воспитал
И чему научил?»
— «Спеленал я тебя,
50 Как велела судьба:
Шел нищий убог
(Да воздаст ему бог!),
Я одёжу сорвал
Да тебя спеленал.
Ты веревкой повит,
На которой жид
В ту самую вёсну
Мной повешен на сосну,
Мать тебя воздоила
60 В младые лета́:
Не млеко в уста —
Кровь живую точила.
По холодным ночам
Рыданьем согревала,
По ранним утрам
Слезами умывала.
Как я волка догнал
Да шубу с него снял,
Да тебя ей одел
70 И младенца пригрел.
Колыбель твоя
На сосне была,
Где повесил я
Скупого жида.
Качали тебя
Ветры буйные,
А баюкали
Громы шумные.
Как ты вырос в бору,
80 Я учил тебя добру:
Зверем жить под землей,
Рыбой плыть под водой,

Птицей в воздухе летать.
На коне в огонь скакать».
— «Атаман честно́й,
Мой отец родной,
Ты мне всё рассказал,
А того не сказал:
На ком я женюсь?
90 С кем обручусь?»
— «Ах, дитя мое родное!
Чует ретивое:
Воспитал я твою младость
Не на брачную радость.
Мне сказала ворожейка,
Лихая злодейка:
Что тебе венчаться
С матерью твоей,
Что тебе ласкаться
100 У песчаных грудей.
Матерью люди
Землю зовут;
Земляные груди
Тебя прижмут.
Головкой холостою
Ты на них уснешь,
Мать-землю рукою,
Как невесту, обоймешь,
И навеки вас
110 Закроют от нас
Простыней не шелко́вой,
А тяжелой дубовой».

1827

106. ЦЫГАНСКАЯ ПЛЯСКА

Видал ли ты, как пляшет египтянка?
Как вихрь, она столбом взвивает прах,
Бежит, поет, как дикая вакханка,
Ее власы — как змеи на плечах...

Как песня вольности, она прекрасна,
Как песнь любви, она души полна,
Как поцелуй горячий — сладострастна,
Как буйный хмель — неистова она.

Она летит, как полный звук цевницы,
Она дрожит, как звонкая струна,
И пышет взор, как жаркий луч денницы,
И дышит грудь, как бурная волна.

(1828)

107. ЦЫГАНКА

«Как ты, египтянка, прекрасна!
Как полон чувства голос твой!
Признайся: страсти роковой
Служила ты, была несчастна?
Зачем на черные глаза
Нашла блестящая слеза?
Недаром смуглые ланиты
Больною бледностью покрыты».

«В печальных песнях, в грустном взоре
Прочел ты прежде мой ответ:
Зачем тебе чужое горе, —
Иль своего на сердце нет?
Моя тоска живет со мною,
Я ей ни с кем делиться не могла:
Она сроднилася с душою,
Она лишь мне одной мила».

«Пусть с равнодушными сердцами
Ты не делилася слезами;
Но кто с тобою слезы льет,
Кто тронут был твоею песней,
Кому сама ты песен всех прелестней,
Цыганка, тот тебя поймет».

«Когда судьбы нещадная рука
Отнимет у жены супруга,

То неизменная тоска
Заменит ей утраченного друга.

Есть прихоти у пламенной любви,
Несчастье так же прихотливо, —
Не трогай же страдания мои,
Я их люблю, я к ним ревнива».

⟨*1828*⟩

108. МЫСЛЬ

Падет в наш ум чуть видное зерно
И зреет в нем, питаясь жизни соком;
Но час придет — и вырастет оно
В создании иль подвиге высоком
И разовьет красу своих рамен,
Как пышный кедр на высотах Ливана:
Не подточить его червям времен,
Не смыть корней волнами океана;
Не потрясти и бурям вековым
Его главы, увенчанной звездами,
И не стереть потоком дождевым
Его коры, исписанной летами.
Под ним идут неслышною стопой
Полки веков — и падают державы,
И племена сменяются чредой
В тени его благословенной славы.
И трупы царств под ним лежат без сил,
И новые растут для новых целей,
И миллион оплаканных могил,
И миллион веселых колыбелей.
Под ним и тот уже давно истлел,
Во чьей главе зерно то сокрывалось,
Отколь тот кедр родился и созрел,
Под тенью чьей потомство воспиталось.

Май 1828

109. НОЧЬ

Как ночь прекрасна и чиста,
Как чувства тихи, светлы, ясны!
Их не коснется суета,
Ни пламень неги сладострастный!

Они свободны, как эфир;
Они, как эти звезды, стройны;
Как в лоне бога спящий мир,
И величавы и спокойны.

Единый хор их слышу я,
Когда всё спит в странах окрестных!
Полна, полна душа моя
Каких-то звуков неизвестных.

И всё, что ясно зрится в день,
Что может выразиться словом,
Слилося в сумрачную тень,
Облечено мечты покровом.

Неясно созерцает взор,
Но всё душою дозреваешь:
Так часто сердцем понимаешь
Любви безмолвный разговор.

1828

110. МУДРОСТЬ

О мудрость, матерь чад небесных!
Тобой измлада вскормлен я:
Ты мне из уст твоих чудесных
Давала пищу бытия.
На персях девственных главою
Я под хранительной рукою
Невинен, чист и тих лежал:
Твоими тешимый речами,
Младенца чистыми устами
Твое млеко я принимал,

И в пламени восторгов сильных
Я в мед словес в речах обильных
Его чудесно претворял.
Под песни твоего ученья
Я сном глубоким засыпал
И мира дивные виденья
Недвижным оком созерцал.
Под солнцем истины незнойным
Полетом ровным и спокойным
По стройной пропасти светил
Мой дух восторженный парил,
И возносился он далёко,
И насыщал и слух и око.
Шумели воды, вихрь и лес,
Перуны падали с небес,
И волновались океаны,
И разверзалися волканы,
Казнила мир палач-война,
Упрямо резались народы
За призрак счастья и свободы...
И как потопная волна,
Лилась река их теплой крови.
Но в каждом стоне бытия
Духовным слухом слышал я
Великолепный гимн любови
Во славу бога и отца,
И прерывалося стенанье,
И всесотворшего творца
Хвалило всякое дыханье.
И выше, выше я парил,
За грани вечные светил,
В чертог духов и божьей славы,
И слышал их, и видел трон,
Где восседит незримый он,
И сотряслись мои составы,
И зазвучали как тимпан:
Мне долу вторил океан,
Горе́ мне вторили перуны,
Мои все жилы были струны,
Я сам — хваления орга́н.

1828

111. В АЛЬБОМ
В. С. Т⟨ОПОРНИН⟩ОЙ

Служитель муз и ваш покорный,
Я тем ваш пол не оскорблю,
Коль сердце девушки сравню
С ее таинственной уборной.
Всё в ней блистает чистотой,
И вкус и беспорядок дружны;
Всегда заботливой рукой
Сметают пыль и сор ненужный, —
Так выметаете и вы
Из кабинета чувств душевных
Пыль впечатлений ежедневных
И мусор ветреной молвы,
Храня лишь в нем, что сердцу мило,
Что вас пленяло и любило.
Не отвергайте моего
Моления суровым взором:
Ах! и меня с ненужным сором
Не выметайте из него.

Позвольте ж волю дать сравненью:
В уборной вашей мудрено ль
Разговориться вдохновенью?
Дерзнув вступить в нее, легко ль
Ее оставить равнодушно?
Прошу внимать великодушно.

Там у прозрачного окна,
Где горняя лазурь видна,
Где с вашей светлой белизною
Вседневно спорит солнца свет,
Украшен чистою резьбою,
Стоит ваш скромный туалет,
Советник верный, неопасный.
Вы каждый день, глядяся в нем,
Одушевляете лицом
Его хрусталь небесно-ясный;
Открыто предстоя очам,
Как ваша девственная совесть,
Передает он верно вам
Лица и чувств живую повесть.

В семейной счастливой тиши
Храните зеркало души,
Чтоб думы облачной печали
Его хрусталь не помрачали.

Как своенравна, нескромна
Мечта свободного поэта!
Дерзает вольная она
Проникнуть в тайны туалета;
Дерзает вслух пересчитать
Все мысли, чувства, вспоминанья,
Но не дерзнет именовать
Их тайного знаменованья.
С душою искренней при вас
Открою памяти запас.
Я вижу: взор ваш очарован,
Он весь к минувшему прикован:
Здесь кольца яркие кругом;
Там дружбы искренней посланья;
Там медальон, портрет, альбом,
Где вписаны любви желанья;
Там перстень чистый, золотой,
Где спорят с изумрудом розы;
Жемчуг, блистающий, как слезы
В очах у девы молодой
(Своим любимым ожерельем
Давно вы избрали его);
Там, между многим рукодельем,
Подруг дареное шитво,
А там блистает сокровенный,
Не зрим никем, алмаз бесценный.
Любовь! Младой души алмаз!
Да будет тот достоин вас,
Кто примет дар неоцененный,
Кому сужден любви привет!
Да соблюдет алмаз огнистый
И да украсит гранью чистой
Его природный чистый свет!

Души в заветном туалете
Ужель не будет места мне?

Ужель, хотя в случайном сне,
Не вспомните вы о поэте?
Нет, для него между кольцом,
Меж солитером, жемчугом
Едва заметную вложите
Душе на память бирюзу,
Хоть редко на нее взгляните
И сувениру подарите
Одну жемчужину-слезу.

15 января 1829

112. ПАРТИЗАНКЕ КЛАССИЦИЗМА

Расцветши пламенной душой
В холодных недрах стен гранитных,
Не любит мирный гений твой
Моих стихов кровопролитных.
Тебя еще пугает кровь,
Тебя еще пугают раны,
Пока волшебные обманы
Таят от глаз твоих любовь.
Зарей классического мира
Горит твой ясный небосклон;
Крылами мрачного Шекспира
Еще он не был отягчен.
Блуждаешь ты под тенью света,
И тучи шумною грозой,
Как тени Банко и Гамлета,
Не проносились над тобой.
У охраненной колыбели,
Где древних песен тихий звон
Лелеет твой беспечный сон,
Громовой песни не пропели,
Не нарушали ею сна
Судьбы таинственные жрицы;
Еще незнанья пелена
Хранит спокойные зеницы.
В садах Омира бродишь ты
И безопасно, и небрежно,
Своей рукой срывая нежно
Благоуханные цветы;

И кровью царственной облитый
Шекспира грозного кинжал
В цветах змеею ядовитой
Перед тобою не сверкал.
Под тяжким бременем кручины,
С своей аттической долины
От света, горя, суеты
Во мрак готического храма,
В мир таинства и фимиама
Еще не убегала ты,
Не знала мук ревнивой мести,
Неправых жребия угроз,
Не отирала горьких слез
Святой страницей благовестий.
Вся жизнь твоя — волшебный рай;
Останься так, живи ты доле
В своей классической неволе,
Под небом Аттики гуляй
И цвет небес ее эфирных
В своих очах лазурных, мирных
Ты долго, долго отражай.
Под охранительной любовью
Да не сразит тебя беда:
Да не полюбишь никогда
Моих стихов, облитых кровью.

25 февраля 1829

113. ⟨ДВА ДУХА⟩

Дух смерти

Везде, где ни промчался я,
Оскудевает жизни сила;
Ветшает давняя земля,
Веков несытая могила, —
И смерть столезвейной косой
Ее не утоляет глада,
И заражающего смрада
Она полна, как труп гнилой!

Дух жизни

Везде, где ни промчался я,
Кипели жизни хороводы;
Из персей пламенной природы
Млеко струилось бытия.
Младенцев свежих миллионы
Ее лелеяла рука,
И от живящего млека
Носился воздух благовонный.

Дух смерти

С Востока я: там мор и глад
О смерти гордо соревнуют;
Над прахом тлеющих громад
И враны даже не пируют.

Дух жизни

Я с Запада: там врач попрал
Болезни неисцельной жало, —
Из миллиона смерти жал
Еще единого не стало.

Дух смерти

С полудня я: там два бича
Живое истребляют племя,
Война и деспот в два меча
Торопят медленное время.

Дух жизни

Я с полночи: там светлый пир!
Живет и блещет цвет народа!
Там сочетались сильный Мир
И многоплодная Свобода.

Дух смерти

Я нисходил во глубь земли,
В ее богатую державу,
Где поколенья погребли
Свои сокровища и славу.
Равно гниют — рабы, князья,
И скудный саван, и порфира,

И снедью глупого червя
Богоизбранный гений мира.

Дух жизни

Зри колыбелей миллион:
В них зародился гений новый;
Дитя веков, созреет он —
И сокрушит твои оковы.
Благословен его восход:
Из океана поколений
По небу века он пройдет,
Как солнце ясное, без тени.

Дух смерти

Ты видишь миллион могил:
В них век его истлеет мертвый;
Одну из них закон судил
И для твоей высокой жертвы.

Дух жизни

Я вижу, вижу, но над ней
Стонает миллион живущих!..
Он из-под тысячи смертей
Воскреснет в племенах грядущих,
И оградят его века,
Стеной обстанут поколенья:
Сквозь них с косою истребленья
Не досягнет твоя рука.

22 апреля 1829
Берлин

114. НОЧЬ

Немая ночь! прими меня,
Укрой испуганную думу;
Боюсь рассеянного дня,
Его бессмысленного шуму.
Там дремлют праздные умы,
Лепечут ветреные люди,
И свет их пуст, как пусты груди.
Бегу его в твои потьмы,

Где смело думы пробегают,
Не сторожит их чуждый зрак,
Где искры мыслей освещают
Кипящий призраками мрак.

Как всё в тебе согласно, стройно!
Как ты вели́ка и спокойна!
И скольких тайн твоя полна
Пророческая тишина!
Какие думы и порывы
Ты в недрах зачала святых,
И сколько подвигов твоих
Присвоил день самолюбивый!
Как часто в тьме твоей сверкал
Смертельной искрою кинжал
И освещал перун свободы
Спокойно-темные народы!
О ночь! на глас любви моей
Слети в тумане покрывала;
Под чистой ризою твоей
Не скрою теплого кинжала.
Не в соучастницы греха,
Не на кровавое свиданье
Мольбой смиренного стиха
Зовет тебя мое желанье:
Я чист — и, чистая, ко мне
Простри прохладные объятья
И нарисуй в волшебном сне,
Где други сердца, мысли братья!
И коль утраты суждены,
Не откажи ты мне в участьи
И звуком порванной струны
Не вдруг пророчь мне о несчастьи.
В душе потонет тяжкий стон,
Твоей тиши я не нарушу;
Любовник ждет — сведите сон
И всех друзей в родную душу.

20 июня 1829
Рим

115. К НЕПРИГОЖЕЙ МАТЕРИ

Пусть говорят, что ты дурна,
Охрип от стужи звучный голос,
Как лист сосновый, жесток волос
И грудь тесна и холодна;
И серы очи, стан нестроен,
Пестра одежда, груб язык,
Твоих соперниц недостоин
Обезображенный твой лик.
Но без восторженной улыбки
Я на тебя могу ль взирать?
Как ты умела побеждать
Судьбы неправые ошибки!
Каких ты чад произвела!
Какое племя дщерей славных,
Прекрасных, милых, тихонравных,
Ты свету гордо отдала!
Уж не на них ли расточила
Дары богатой красоты?
И в них искусством изменила
Свои порочные черты?
Суровость в пламенную важность,
И хлад в спокойствие чела,
И дерзость в гордую отважность,
В великость духа перешла.
Не ты ли силою чудесной
Одушевила в них потом
Чело возвышенным умом,
И грудь гармонией небесной,
И очи серые огнем?
Не ты ль, по древнему владенью,
Водила их в свои леса,
При шуме их учила пенью,
У вод — как строить голоса
И нежной ласкою приветов
Одушевлять мечту поэтов?

Пускай твердят тебе в укор
Про жгущий, сладострастный взор
Красавицы давно известной,
Полуизмученно-прелестной,

Любимой солнцем и землей,
Сожженной от его дыханья,
От ядовитого лобзанья,
Полуослабшей и худой.
И я прославленную видел,
Хотел и думал обожать;
Но верь, моя дурная мать,
Тебя изменой не обидел.
Она явилась предо мной
В венке из мирт и винограда,
Водила жаркою рукой
Меня по сеням вертограда.
И кипарис и апельсин
В ее власах благоухали;
Венки цветов на злак долин
Одежды легкие стрясали;
Во взорах тлелся черный зной,
Печать любови огневой;
На смуглом образе томленье,
Какой-то грусти впечатленье
Изображалось предо мной.
Желая знать печали бремя,
Спросил нетерпеливо я:
«Да где ж твое живое племя,
Твоя великая семья?»
Она поникла и молчала,
И слезы сыпались ручьем,
И что же?.. трепетным перстом
Она на гробы указала.
И я бродил с ней по гробам,
И в недра нисходил земные,
И слезы приносил живые
Ее утраченным сынам.
Она с рыданьем однозвучным
Сказала: «Здесь моя семья,
А там — одна скитаюсь я
С моим любовником докучным!»
Когда же знойные глаза,
В припадке суетной печали,
Тягчила полная слеза —
Твои же дщери утешали
Чужую мать и сироту

И ей утешно воспевали
Ее живую красоту.

Светлей твои сверкают взоры,
Они надеждою блестят,
Они, как в небе метеоры,
Обетованием горят.
Их беспокойное сиянье
Пророчит тлеющий в тиши
Огонь невспыхнувшей души
И несвершенное желанье.
Ужель в тебе не красота
Твоя загадочная младость,
Неистощенные лета
И жизни девственная радость?..
Пусть ты дурна, пускай мечту
В тебе бессмысленно ласкаю, —
Но ты мне мать: я обожаю
Твою дурную красоту.

16 июля 1829
Искио

116. ПЕТРОГРАД

Море спорило с Петром:
«Не построишь Петрограда:
Покачу я шведский гром,
Кораблей крылатых стадо.
Хлынет вспять моя Нева,
Ополченная водами:
За отъятые права
Отомщу ее волнами.

Что тебе мои поля,
Вечно полные волнений?
Велика твоя земля,
Не озреть твоих владений!»
Глухо Петр внимал речам;
Море злилось и шумело,
По синеющим устам
Пена белая кипела.

Речь Петра гремит в ответ:
«Сдайся, дерзостное море!
Нет, — так пусть узнает свет,
Кто из нас могучей в споре!
Станет град же, наречен
По строителе высоком;
Для моей России он
Просвещенья будет оком.

По хребтам твоих же вод,
Благодарна, изумленна,
Плод наук мне принесет
В пользу чад моих вселенна,
И с твоих же берегов
Да узрят народы славу
Руси бодрственных сынов
И окрепшую державу».

Рек могучий — и речам
Море вторило сурово,
Пена билась по устам,
Но сбылось Петрово слово.
Чу! .. в Рифей стучит булат!
Истекают реки злата,
И родится чудо-град
Из неплодных топей блата.

Тяжкой движется стопой
Исполин — гранит упорный
И приемлет вид живой,
Млату бодрому покорный.
И в основу зыбких блат
Улеглися миллионы, —
Всходят храмы из громад,
И чертоги, и колонны.

Шпиц, прорезав недра туч,
С башни вспыхнул величавый,
Как ниспадший солнца луч
Или луч Петровой славы.
Что чернеет лоно вод?
Что шумят валы морские?

То дары Петру несет
Побежденная стихия.

Прилетели корабли,
Вышли чуждые народы
И России принесли
Дань наук и плод свободы.
Отряхнув она с очей
Мрак невежественной ночи,
К свету утренних лучей
Отверзает бодры очи.

Помнит древнюю вражду,
Помнит мстительное море
И, да мщенья примет мзду,
Шлет на град потоп и горе.
Ополчается Нева,
Но от твердого гранита,
Не отъяв свои права,
Удаляется сердита.

На отломок диких гор
На коне взлетел строитель;
На добычу острый взор
Устремляет победитель;
Зоркий страж своих работ
Взором сдерживает море
И насмешливо зовет:
«Кто ж из нас могучей в споре?»

9 августа 1829
Искио

117. ОЧИ

Видал ли очи львицы гладной,
Когда идет она на брань
Или с весельем коготь хладный
Вонзает в трепетную лань?
Ты зрел гиену с лютым зевом,
Когда грызет она затвор?

Как раскален упорным гневом
Ее окровавленный взор!
Тебе случалось в мраке ночи,
Во весь опор пустив коня,
Внезапно волчьи встретить очи,
Как два недвижные огня?
Ты помнишь, как твой замер голос,
Как потухал в крови огонь,
Как подымался дыбом волос
И подымался дыбом конь?
Те очи — страшные явленья!
Я знаю очи тех страшней:
Не позабыть душе моей
Их рокового впечатленья!
Из всех огней и всех отрав
Огня тех взоров не составишь
И лишь безумно обесславишь
Наук всеведущий устав.
От них всё чувство каменеет;
Их огнь и жжет и холодит;
При мысли сердце вновь горит
И стих робея леденеет.
Моли всех ангелов вселенной,
Чтоб в жизни не встречать своей
Неправой местью раздраженной
Коварной женщины очей.

Ноябрь 1829
Рим

118. ЖЕНЩИНЕ

Ты асмодей иль божество!
Не раздражай души поэта!
Как безотвязная комета,
Так впечатление его:
Оно пройдет и возвратится,
Кинжалом огненным блеснет,
В палящих искрах раздробится,
Тебя осыплет и сожжет.

Ноябрь 1829

119. ТЯЖЕЛЫЙ ПОЭТ

Как гусь, подбитый на лету,
Влачится стих его без крылий;
По напряженному лицу
Текут следы его усилий.
Вот после муки голова
Стихами тяжко разродилась —
В них рифма рифме удивилась
И шумно стреснулись слова.

Не в светлых снах воображенья
Его поэзия живет;
Не в них он ловит те виденья,
Что в звуках нам передает;
Но в душной кузнице терпенья,
Стихом, как молотом, стуча,
Кует он с дюжего плеча
Свои чугунные творенья.

Ноябрь 1829

120. ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Звуком ангельского хора
Полны были небеса;
В светлой скинии Фавора
Совершались чудеса.
Средь эфирного чертога,
В блеске славы и лучей,
Созерцали образ бога
Илия и Моисей.

В то мгновенье над Фавором
Серафим, покинув лик,
Вожделенья полным взором
К диву горнему приник.
Братья пели; но, счастливый,
Он их звукам не внимал
И украдкой, молчаливый,
Тайну бога созерцал.

И в небесное селенье
Возвратился серафим,
Лучезарное виденье
Неразлучно было с ним.
И полетом неприметным
Век за веком пролетел,
Лишь о нем в эфире светлом
Братьям внемлющим он пел.

Раз затерянные звуки
Долетели до земли:
Сколько слез, молитв и муки
Звуки те произвели!
Не одна душа, желаньем
Истомясь узреть Фавор,
С несвершенным упованьем
Отлетела в божий хор.

К тем молениям создатель
Слух любови преклонил:
Божьей тайны созерцатель
К нам на землю послан был.
Ангел смелый в наказанье
С жизнью принял горе слез;
Но свое воспоминанье
Он в усладу взял с небес.

Духом божьим вышний гений
Осенился с первых лет,
И утраченных видений
Рано в нем проснулся свет.
Слезы лья по небе ясном,
Сквозь их радужный кристалл
Он в величии прекрасном
Чистых братьев созерцал.

И любил, осиротелый,
Думой в небо залетать,
И замыслил кистью смелой
К прочной ткани приковать
Возвращенные виденья,
Часто облаком живым

В миг великого прозренья
Пролетавшие пред ним.

Вспоминал, как в мир призванный
Он на лоне свежих крил,
Гость небес богоизбранный,
За создателем парил;
Как с крылатым роем братий
В день творенья нес дары;
Как из божеских объятий
Всюду сыпались миры.

Он означил, как стопами
Бог раздвинул свет и тьму;
Как повесил над звездами
В небе солнце и луну;
Как по остову планеты
Океан перстом провел;
Как из недр ее без сметы
Сонм творений произвел.

Раз, томясь своей утратой,
Наяву он видел сон:
Вдруг молитвою крылатой
В небо был перенесен;
Слышал ангелов напевы,
Сонмы их изобразил,
И в среде их образ девы
Кистью быстрой уловил.

Но любимое виденье,
Что утратил серафим,
В недоступном отдаленье
Всё туманилось пред ним.
Тщетно не смыкались вежды
И пылал молитвой взор:
Погасал уж луч надежды,
Не сходил к нему Фавор.

Что земные краски тленья,
Солнца пышные лучи?
Пред лучом преображенья —

Как пред солнцем блеск свечи!
К смерти шествовал унылый,
Не сверша души завет,
И в расселинах могилы
Что ж он видит? — божий свет!..

Луч сверкнул... и воспылала
Кисть божественным огнем;
Море яркого кристалла
Пролилось над полотном...
И уж бога лик открытый
Он очами ясно зрел;
Но видением несытый,
Бросил кисть... и улетел!

Там его виденье вечно,
Там без горя и без слез
Созерцает он беспечно
Диво тайное небес.
У Фавора величавый
Стражем стал — и на крылах
Свет божественныя славы
Блещет в радужных лучах.

3 декабря 1829
Рим

121. ТИБР

Варвар севера надменный
Землю Рима хладно мнет
И с угрозой дерзновенной
Тибру древнему поет:

«Тибр! ты ль это? чем же славен?
Что добра в твоих волнах?
Что так шумен, своенравен
Расплескался в берегах?

Тесен, мутен! .. незавидно
Прокатил тебя твой рок!
Солнцу красному обидно
Поглядеться в твой поток.

Не гордись! Когда б ты — горе! —
Нашу Волгу увидал,
От стыда, от страха б в море
Струи грязные умчал.

Как парчою голубою
Разостлалась по степям!
Как привольно в ней собою
Любоваться небесам!

Как младой народ — могуча,
Как Россия — широка,
Как язык ее — гремуча,
Льется дивная река!

Далеко валы глубоки
Для побед отважных шлет
И послушные потоки
В царство влажное берет.

Посмотрел бы ты, как вскинет
Со хребта упорный лед
И суда свои подвинет
Да на Каспия пойдет!

О, когда бы доплеснула
До тебя ее волна,
Словно каплю бы сглонула
И в свой Каспий унесла!»

Тибр в ответ: «Ужели, дикой,
Мой тебе не внятен вой?
Пред тобою Тибр великой
Плещет вольною волной.

Славен я между реками
Не простором берегов,
Не богатыми водами,
Не корыстию судов, —

Славен тем я, Тибр свободный,
Что моих отважных вод
Цепью тяжкой и холодной
Не ковал могучий лед!

Славен тем, непобежденный,
Что об мой несдержный вал
Конь подковою презренной
В гордом беге не стучал.

Пусть же реки на просторе
Спят под цепью ледяной,
Я ж бегу, свободный, в море
Неумолчною волной».

Декабрь 1829
Рим

122. К РИМУ

По лествице торжественной веков
Ты в славе шел, о древний град свободы!
Ты путь свершил при звоне тех оков,
Которыми опутывал народы.
Всё вслед тебе, покорное, текло,
И тучами ты скрыл во мгле эфирной
Перунами сверкавшее чело,
Венчанное короною всемирной.

Но ринулись посланницы снегов,
Кипящие метели поколений, —
И пал гигант, по лествице ж веков,
Биясь об их отзывные ступени;
Рассыпалась, слетев с главы твоей,
На мелкие венцы корона власти. . .

Так новый рой плодится малых змей
От аспида, разбитого на части.

Но путь торжеств еще не истреблен,
Проложенный гигантскими пятами;
И Колосей, и мрачный Пантеон,
И храм Петра стоят перед веками.
В дар вечности обрек твои труды
С тобой времен условившийся гений,
Как шествия великого следы,
Не стертые потопом изменений.

Декабрь 1829

123. К РИМУ

Когда в тебе, веками полный Рим,
По стогнам гром небесный пробегает
И дерзостно раскатом роковым
В твои дворцы и храмы ударяет,
Тогда я мню, что это ты гремишь,
Во гневе прах столетий отрясаешь,
И сгибами виссона шевелишь,
И громом тем Сатурна устрашаешь.

Декабрь 1829

124. ХРАМ ПЕСТУМА [1]

«Храм пустынный, храм великой!
Кто назло лихой судьбы
Здесь, в степи больной и дикой,
Взгромоздил твои столбы?»

---

[1] Храм Пестумский стоит среди степи болотной, где кроме буйволов, людей желтых, страдающих от водяной, тарантолов, скорпионов и изредка наезжающих путешественников, нет никого; он в одном месте разбит громом.

«Древле, древле, как изгнали
Вы отселе божество,
Вихри времени умчали
Имя звучное его.

Всё вокруг меня могила;
Память стен моих ветха,
И она не сохранила
В славу зодчему стиха».

«Кто ж, скажи, о храм чудесный,
Гладно камень твой точил?
Или влагою небесной
Гневный бог тебя губил?»

«На меня ходило море,
Подо мной тряслась земля,
Все стихии были в споре:
Кто скорей сотрет меня?

Степь и ныне дышит ядом,
Точат гады плоть мою,
Но назло чуме и гадам
Невредимый — я стою».

«Но скажи, страдалец правый,
О добыча праздных лет!
На колонне величавой
Что за раны черный след?»

«Этой раной Зевс ревнивый
Мстил за мой бессмертный век
И десной молньеточивой
Стены праздные рассек.

Здесь — лобзание перуна!
Странник, преклонись челом.
Бил меня и жезл Нептуна,
Бил меня и Зевсов гром!»

Декабрь 1829

125. В АЛЬБОМ...

Бывало, скиф, наш предок круглолицый,
Склонив к рукам закованным главу,
Смиренно шел за римской колесницей,
Служа рабом чужому торжеству.
А ныне скиф гордится, созерцая,
Как дочери его родной земли,
Красою чувств возвышенных сияя,
На торжество в Рим древний притекли,
Как их душа в развалинах пылает,
Как римлянин, наш данник в свой черед,
Их кроткий плен с покорностью несет
И языком Петрарки напевает.

1829

126. СТАНСЫ

Когда безмолвствуешь, природа,
И дремлет шумный твой язык,
Тогда душе моей свобода,
Я слышу в ней призывный клик.

Живее сердца наслажденья,
И мысль возвышенна, светла:
Как будто в мир преображенья
Душа из тела перешла.

Ее обнял восторг спокойный —
И песни вольные живей
Текут рекою звучной, стройной
В святом безмолвии ночей.

Когда же мрачного покрова
Ты сбросишь девственную тень,
И загремит живое слово,
И яркий загорится день —

Тогда заботы докучают,
И гонит труд души покой,

И песни сердца умолкают,
Когда я слышу голос твой.

⟨1830⟩

127. СТАНСЫ

Стен городских затворник своенравный,
Сорвав в лесу весенний первый цвет,
Из-под небес, из родины дубравной,
Несет его в свой душный кабинет.
Рад человек прекрасного бессилью!
Что в нем тебе? Зачем его сорвал?
Чтоб цвет живой, затертый едкой пылью,
Довременно и без плода извял.

Так жизни цвет педант ученый косит,
И, жаждою безумной увлечен,
Он в мертвое ученье переносит
Весь быт живой народов и времен.
В его устах все звуки замирают,
От праотцев гласящие живым,
И в письменах бесплодно дотлевают
Под пылью букв и Греция и Рим.

Нет, не таков любитель светлой Флоры!
От давних жатв он копит семена;
Дохнет весна — и разбежались взоры:
Живым ковром долина устлана.
Равно поэт в себе спасает время,
Погибшее напрасно для земли,
И праздный век, увянувшее племя
Пред ним опять волшебно расцвели.

10 февраля 1830
Рим

128. ПОСЛАНИЕ К А. С. ПУШКИНУ

Из гроба древности тебе привет,
Тебе сей глас, глас неокреплый, юный;

Тебе звучат, наш камертон-поэт,
На лад твоих настроенные струны.
Простишь меня великодушно в том,
Когда твой слух взыскательный и нежный
Я оскорблю неслаженным стихом
Иль рифмою нестройной и мятежной;
Но, может быть, порадуешь себя
10 В моем стихе своим же ты успехом,
Что в древний Рим отозвалась твоя
Гармония, хотя и слабым эхом.

Из Рима мой к тебе несется стих,
Весь трепетный, но полный чувством тайным,
Пророчеством, невнятным для других,
Но для тебя не темным, не случайным.
Здесь, как в гробу, грядущее видней;
Здесь и слепец дерзает быть пророком;
Здесь мысль, полна предания, смелей
20 Потьмы веков пронзает орлим оком;
Здесь Дантов стих всю землю исходил
От дна земли до горнего эфира;
Здесь Анжело, зря день последний мира,
Пророчественной кистью гробы вскрыл.
Здесь, расшатавшись от изнеможенья,
В развалины распался древний мир,
И на обломках начат новый пир,
Блистательный, во здравье просвещенья,
Куда чредой все племена земли,
30 Избранники, сосуды принесли;
Куда и мы приходим, с честью равной,
Последние, как древле Рим пришел,
Да скажем в пре решительный глагол,
Да поднесем и свой сосуд заздравный!
Здесь двух миров и гроб и колыбель,
Здесь нового святое зарожденье;
Предчувствием объемлю я отсель
Великое отчизны назначенье!

Когда, крылат мечтою дивной сей,
40 Мой быстрый дух родную Русь объемлет
И ей отсель прилежным слухом внемлет,
Он слышит там: со плесками морей,

Внутри ее просторно заключенных,
И с воем рек, лесов благословенных
Гремит язык, созвучно вторя им,
От белых льдов до вод, биющих в Крым,
Из свежих уст могучего народа,
Весь звуками богатый, как природа;
Душа кипит! .. Когда же вспомяну,
55 Что сей язык на пиршестве готовом
Призван решить последним, полным словом
Священнейшую разума войну, —
Да мир смирит безумную тревогу,
Да царствует закон и правота, —
Какой тогда хвалой гремлю я богу,
Что сей язык вложил он мне в уста.

Но чьи из всех родимых звуков мне
Теснятся в грудь неотразимой силой?
Всё русское звучит в их глубине,
60 Надежды все и слава Руси милой,
Что с детских лет втвердилося в слова,
Что сердце жмет и будит вздох заочный, —
Твои, певец! избранник божества,
Любовию народа полномочный!
Ты русских дум на все лады орган!
Помазанный Державиным-предтечей,
Наш депутат на европейском вече,
Ты — колокол во славу россиян!

Кому ж, певец, коль не тебе, открою
70 Вопрос, в уме раздавшийся моем
И тщетно в нем гремящий без покою:
Что сделалось с российским языком,
Что он творит безумные проказы!
Тебе странна, быть может, речь моя;
Но краткие его развéрнем фазы —
И ты поймешь, к чему стремлюся я.
Сей богатырь, сей Муромец Илья,
Баюканный на льдах под вихрем мразным,
Во тьме веков сидевший сиднем праздным,
80 Стал на ноги уменьем рыбаря
И начал песнь от бога и царя.
Воскормленный средь северного хлада

Родной зимы и льдистых Альп певцом,
Окреп совсем и стал богатырем,
И с ним гремел под бурю водопада.
Но, отгремев, он плавно речь повел
И чистыми Карамзина устами
Нам исповедь народную прочел,
И речь неслась широкими волнами —
90 Что далее — то глубже и светлей;
Как в зеркале, вся Русь гляделась в ней;
И в океан лишь только превратилась,
Как Нил в песках, внезапная сокрылась,
Сокровища с собою унесла,
И тайного никто не сметил хода...
И что ж теперь? — вдруг лужею всплыла
В «Истории не русского народа».

Меж тем когда из уст Карамзина
Минувшее рекою очищённой
100 Текло в народ, священная война
Звала язык на подвиг современный.
С Жуковским он, на отческих стенах
Развив с Кремля воинственное знамя,
Вещал за Русь: пылали в тех речах
И дух Москвы, и жертвенное пламя!
Со славой он родную славу пел,
И мира звук в ответ мечу гремел.
Теперь кому ж, коль не тебе, по праву
Грядущую вручит он славу?

110 Что ж ныне стал наш мощный богатырь?
Он, галльскою диетою замучен,
Весь испитой, стал бледен, вял и скучен,
И прихотлив, как лакомый визирь
Иль сибарит, на ложе почивавший,
Недужные стенанья издававший,
Когда под ним сминался лепесток.
Так наш язык: от слова ль праздный слог
Чуть отогнешь, небережно ли вынешь,
Теснее ль в речь мысль новую водвинешь, —
120 Уж болен он, не вынесет, кряхтит,
И мысль на нем как груз какой лежит!

Лишь песенки ему да брани милы;
Лишь только б ум был тихо усыплен
Под рифменный, отборный пустозвон.
Что, если б встал Державин из могилы,
Какую б он наслал ему грозу!
На то ли он его взлелеял силы,
Чтоб превратить в ленивого мурзу?
Иль чтоб ругал заезжий иностранец,
130 Какой-нибудь писатель-самозванец,
Святую Русь российским языком
И нас бранил, и нашим же пером?

Недужного иные врачевали,
Но тайного состава не узнали;
Тянули из его расслабших недр
Зазубренный спондеем гекзаметр, [1]
Но он охрип. . .
И кто ж его оправит?
Кто от одра болящего восставит? . .
Тебе открыт природный в нем состав,
140 Тебе знаком и звук его и нрав,
Врачуй его: под хладным русским Фебом
Корми его почаще черным хлебом,
От суетных печалей отучи
И русскими в нем чувствами звучи.
Да призови в сотрудники поэта
На важные Иракловы дела,
Кого судьба, в знак доброго привета,
По языку недаром назвала;
Чтоб богатырь стряхнул свой сон глубокой,
150 Дал звук густой, и сильный, и широкой,
Чтоб славою отчизны прогудел,
Как колокол, из меди лит рифейской,
Чтоб перешел за свой родной предел
И понят был на вече европейском.

Июль 1830
Рим

---

[1] Это не может относиться ни к гекзаметрам Жуковского, ни Гнедича, потому что они не зазубрены спондеями. *Автор.*

129. ЧТЕНИЕ ДАНТА

Что в море купаться, то Данта читать:
Стихи его тверды и полны,
Как моря упругие волны!
Как сладко их смелым умом разбивать!
Как дивно над речью глубокой
Всплываешь ты мыслью высокой:
Что в море купаться, то Данта читать.

Лето 1830
Рим

130. ТРИ МОЛНИИ

(Из трагедии «Ромул»)

Три молнии громодержавный царь,
Отец богов, на казнь в деснице держит:
Он первою остерегает тварь
И сам ее по грозной воле вержет, —

Она легко слетает с облаков.
Вторая жжет и злой бедою блещет, —
И лишь совет двенадцати богов
Созвавши, он ее на землю мещет.

Но третьею карает, раздражен, —
И что сожжет, то к жизни не возводит:
Когда ж ее замыслит вергнуть он,
Сам в облако таинственно уходит,

Зовет к себе избраннейших богов,
Спокойно гнев их мудрости вверяет,
И, так решив, из темных облаков
На мир ее рушительно бросает.

Между августом и ноябрем 1830

131. ФОРУМ

Распаялись связи мира:
Вольный Форум пал во прах;
Тяжко возлегла порфира
На его святых костях.
Но истлел хитон почтенный,
И испуганным очам
Вскрылись веча там и там,
Порознь кинутые члены.

И стоят печально ныне
Кой-где сирые столпы;
По заброшенной пустыне
Псы гуляют да рабы.
Есть же Форума обломки:
Так прияли ж от отцов
Благороднейшую кровь
Угнетенные потомки!

1830

132. КРИТИКУ

Вменяешь в грех ты мне мой темный стих.
Прозрачных мне ненадобно твоих:
Ты нищего ручья видал ли жижу?
Видал насквозь, как я весь стих твой вижу.
Бывал ли ты хоть на реке Десне?
Открой же мне: что у нее на дне?

Вменяешь в грех ты мне нечистый стих,
Пречистых мне ненадобно твоих:
Вот чистая водица ключевая,
Вот Алеатико струя густая!
Что ж? — выбирай, возьми любой стакан:
Ты за́ воду... Зато не будешь пьян.

1830

133. ОДА ГОРАЦИЯ ПОСЛЕДНЯЯ

(IV К.. 16)

«Что грязен, Тибр? Струя желта, мутна!
Иль желчью ты встревожен беспокойной,
И чует то сердитая волна,
Что пьет ее римля́нин недостойный?

Иль от стыда ты бег торопишь свой?
Почто же ты не держишь злой стихии,
Не стелешься кристальною волной
И не глядишь на небо Авзони́и?»

«Мне недосуг: не спит моя волна, —
Я мою Рим, я града освятитель;
Я, нагрузив нечистым рамена,
Бегу в поля, усердный их поитель, —

И тороплюсь в безбрежный океан,
Что землю всю водами убеляет:
Приемлет он грехи моих римлян
И с волн моих нечистое смывает.

Но тщетно я, последний гражданин,
Свой правлю долг, в пример, без укоризны:
Себя несу на жертву я один
Целению и здравию отчизны».

1830

134. ⟨ ОТРЫВОК ИЗ СЕДЬМОЙ ПЕСНИ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА» ТОРКВАТО ТАССО ⟩

Ливень, ветер, гроза одним порывом
В очи франкам неистовые бьют:

Объятые нежданной бури дивом,
Стали войска — и дале не текут.
Немногие лишь, верные призывам
Своих вождей, от стягов не бегут.
Клоринда издали всё это зрела
И к ним с копьем вовремя подоспела.

Кричит своим: «Небо за нас сражается,
Товарищи! Рука его видна, —
И грозный гнев лиц наших не касается,
Десница мощная рубить вольна:
В чело врагам лишь буря ударяется,
И их душа уж страхом смятена,
Доспехи вихрь обил — и в очи дождь,
Вперед, друзья, вперед! Судьба нам вождь!»

Так воздвигает полчища — и, бремя
Напора адского плечьми приемля,
Натиснула на крестоносно племя,
Ударам праздным их почти не внемля.
Аргант ворочается в то же время
И губит их, победу зло отъемля,
И верных полк рассыпан по полям —
Дает хребет и бурям и мечам.

По раменам бежавшим ударялись
Бессмертных гнев и смертные мечи,
Ливень и кровь потоками смешались,
Бьют по полю багровые ключи.
Пирр и Родольф на поприще остались,
Где груды тел лежали горячи:
Того Черкасова рука пожала,
Над тем Клоринда пальму восприяла.

Таков был франков бег: их свежий след
Срацины и демоны не покидали.
Один против оружий, против бед,
Громов и вихрей зрелся без печали,
С спокойствием на лике вождь Годфред,
Стыдя своих, что робко так бежали,
И ставши пред окопами — за вал
Рассыпанный народ воспринимал.

Не вытерпев, он два раза с конем
На дерзкого Арганта покушался,
И столько ж раз сияющим мечом
В густейшие толпы врагов врубался;
Но утомлен, со прочими потом
Забрала перешел — и бой скончался.
Тогда срацины в город повернули,
И франки в стане с бегу отдохнули.

Но и там гроза в гонении жестоком
Побегом утомленных не щадит.
Огни затушены; вода потоком
Повсюду хлещет, ветер злой свистит,
Полотна рвет, столбы крушит наскоком,
Шатры свивая, по полю кружит:
Дождь с воплем, ветром, громом согласился,
И страшный мир гармонией оглушился.

1830
Рим

135. РУССКИМ ЛИТЕРАТОРАМ

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗДАТЬ РУССКИЙ РИФМАРЬ

Я вам снижу рифмарь, я сделаю услугу,
Я перекличу все созвучья языка,
Да все слова его откликнутся друг другу,
Да всякий звук найдет родного двойника!
На этом браке слов не пить вам, рифмоплеты!
Я славы разорю последний ваш запас:
Не будет новых рифм, не будет вам работы;
Стих мыслию сияй; померкни ж он у вас.
Я разрешу тогда, всегда ли будет *пламень*
В восторженных стихах у русских биться муз
О *камень* — рифмачам сей преткновенья камень,
И сих упрямых рифм расторгну ль я союз?
Но вам, слова без рифм, вам горе, эгоисты!
Ваш холостой народ, означивши клеймом,
Из царства музыки я изгоню пером;
Так будут изгнаны без чести журналисты,
Которым отзвука в российском сердце нет,

Которых злой язык российской правде вред,
Из царства мыслию зардевшегося слова,
Душою русскою звучащего, святого.

Февраль 1831

136. СОНЕТ

(Италианским размером)

Люблю, люблю, когда в тени густой
Чета младая предо мной мелькает
И руку верную с верной рукой,
Кольцо в кольцо, любовно соплетает.

Стремлюся к ним я сирою душой,
Но их душа чужое отвергает,
И взор, увла́женный горькой слезой,
Благословляя, в сень их провожает.

Стою один — и в сердце жмет тоска,
И по руке хлад пробегает скорый:
Чья обовьется вкруг нее рука?

Где опочиют ищущие взоры?
И долго ли мне жить без двойника,
Как винограду падать без опоры?

Апрель 1831

137. К Г⟨ОГОЛЮ⟩
ПРИ ПОДНЕСЕНИИ ЕМУ ОТ ДРУЗЕЙ НАРИСОВАННОЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ МАСКИ В РИМЕ, В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНЬЯ

Что ж дремлешь ты? Смотри, перед тобой
Лежит и ждет сценическая маска.
Ее покинул славный твой собрат,
Еще теперь игривым, вольным смехом
Волнующий Италию: возьми
Ее — вглядись в шутливую улыбку
И в честный вид — ее носил Гольдони.
Она идет к тебе: ее лица

Подвижными и беглыми чертами
Он смело выражал черты народа
Смешные, всюду подбирая их:
На улицах, на площадях, в кафе,
Где нараспашку виден итальянец,
Где мысль его свободна и резва, —
И через чистый смех в сердца граждан
Вливалось истины добро святое!
Ты на Руси уж начал тот же подвиг!
Скажи, поэт, когда, устав от дум
И полн заветных впечатлений Рима,
Ты вечером, в часы сочувствий темных,
Идешь домой, — не слышится ль тебе,
Не отдается ли в душе твоей
Далекий, резвый, сильный, добрый хохот
С брегов Невы, с брегов Москвы родимой?
То хохот твой — веселья чудный пир,
Которым ты Россию угощаешь,
Добро великое посеяв в ней,
Сам удалясь от названных гостей.
Что ж задремал? Смотри, перед тобой
Лежит и ждет сценическая маска...
Надень ее — и долго не снимай,
И новый пир, пир Талии, задай,
Чтобы на нем весь мир захохотал,
Чтобы порок от маски задрожал...
Но для друзей сними ее подчас,
И без нее ты будешь мил для нас.

Около 27 декабря 1838
Рим

138. МАДОННА

Мадонна грустная крестом сложила руки:
О чем же плакать ей, блаженной, в небесах?
О чем молиться ей — и к небу сердца звуки,
Вздыхая, воссылать в уныньи и слезах?

Недаром падает, свежа и благовонна,
На землю жесткую насущная роса:

То плачут каждый день, как грустная Мадонна,
О немощах земли святые небеса.

Недаром голуби в лазури неба вьются,
Недаром лилии белеют по полям
И мысли чистые от избранных несутся
Сквозь тьму нечистых дел к прекрасным небесам.

Когда б безгрешное о грешном не молилось,
Когда бы праведник за гордых не страдал,
Давно бы уж земля под нами расступилась,
Давно бы мрачный ад всё светлое пожрал.

Вздыхай же и молись, и не скудей слезами,
Источник радости, вселюбящая мать!
Да льются теплые живящими реками
И в мире темном зла не будут иссыхать!

В сердцах пресыщенных, на алчном жизни пире,
В сердцах, обманутых надеждою земной,
Чем будет жить любовь в сем отлюбившем
мире? —
Твоей молитвою, вздыханьем и слезой.

Август 1840
Рим

139. НА СМЕРТЬ ЛЕРМОНТОВА

Не призывай небесных вдохновений
На высь чела, венчанного звездой;
Не заводи высоких песнопений,
О юноша, пред суетной толпой.
Коль грудь твою огонь небес объемлет
И гением чело твое светло, —
Ты берегись: безумный рок не дремлет
И шлет свинец на светлое чело.

О, горький век! Мы, видно, заслужили,
И по грехам нам, видно, суждено,
Чтоб мы теперь так рано хоронили
Всё, что для дум прекрасных рождено.
Наш хладный век прекрасного не любит,

Ненужного корыстному уму,
Бессмысленно и самохвально губит
Его сосуд — и всё равно ему:

Что чудный день померкнул на рассвете,
Что смят грозой роскошный мотылек,
Увяла роза в пламенном расцвете,
Застыл в горах зачавшийся поток;
Иль что орла стрелой пронзили люди,
Когда младой к светилу дня летел;
Иль что поэт, зажавши рану груди,
Бледнея пал — и песни не допел.

1841

140. К ИТАЛИИ

И для тебя настал свободы миг,
Раба своих тиранов и чужих!
И ты, цепей почувствовав обиду,
Зовешь на них народ и Немезиду!
О, кто тебе, красавица, из нас
Не скажет вслух: бог помочь! в добрый час!
Пошли тебе господь свой дар — свободу —
И за твою счастливую природу,
И за твои лазурны небеса,
За песен дар, за звонки голоса,
За чудеса небесных вдохновений,
Что навевал тебе искусства гений,
За жертвы все, за пролитую кровь,
За красоту, за веру, за любовь,
За славное от бога назначенье
Два раза дать народам просвещенье,
За то, что некогда в семье твоей
И пел твой Дант, и мыслил Галилей,
За то, что ты через века страданий
Спасла ковчег народных упований.

26 апреля 1859

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

Александр Фомич Вельтман родился в Петербурге 8 июля 1800 года в семье обрусевшего шведа — беспоместного дворянина, несколько раз менявшего род службы (квартальный комиссар, казначей винного завода, смотритель долговой тюрьмы) и, видимо, так и не добившегося материального достатка.

Детство Вельтмана в основном прошло в Москве, куда его родители переехали в 1803 году. В восьмилетнем возрасте он был помещен в школу пастора Гейдена, а в 1811 году учится в Университетском благородном пансионе, занятия в котором прервались в 1812 году. Продолжать обучение Вельтману пришлось в частном пансионе братьев И. П. и А. П. Терликовых (один год), потом в училище колонновожатых Н. Н. Муравьева (еще один год). Блестящие способности к языкам, литературе и математике позволили Вельтману окончить училище с самой лестной аттестацией. Необычно выглядел дебют будущего писателя в печати: в 1817 году в Москве вышла книжка «Начальное основание арифметики, сочиненное колонновожатым Александром Вельтманом».

Около пятнадцати лет Вельтман по долгу службы проводит в Бессарабии. Как офицер генерального штаба он занимался составлением топографических карт, в связи с чем много разъезжал по этим краям. В бытность свою в Кишиневе Вельтман вращался в избранном кругу местного общества; здесь в 1823 или 1824 году завязалось его знакомство с ссыльным Пушкиным. Вельтман сумел расположить к себе великого поэта и однажды прочел ему отрывки из своей стихотворной сказки «Янко чабан».

Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов Вельтман был прикомандирован к главной квартире, исполняя обязанности старшего адъютанта и начальника «исторического отделения» Второй армии.

В 1831 году в печати появилась его поэма «Беглец», отрывок из которой еще в 1825 году поместил на своих страницах «Сын отечества» (№ 18). В том же 1831 году вышла другая поэма Вельтмана — «Муромские леса», так же, как и «Беглец», холодно принятая критикой. Иной эффект произвела почти одновременно изданная повесть «Странник». Сочинение это удивило многих причудливой фантазией и озорной иронией автора, скачкообразной манерой повествования, многочисленными переходами от прозы к стихам и от стихов к прозе. [1]

Покинув в 1831 году военную службу в чине подполковника, Вельтман обосновывается в Москве и всецело посвящает себя литературе. Известность его упрочилась после того, как в 1833 году он издал роман «Кощей Бессмертный» — произведение, прихотливо соединившее в себе черты былины, волшебной сказки и исторического романа. Вслед за тем Вельтман напечатал еще ряд романов и повестей: «3448 год. Рукопись М. Задеки» (1833), «Лунатик» (1834), «Святославич, вражий питомец» (1835), «Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский» (1836), «Виргиния, или Поездка в Россию» (1837), «Сердце и думка» (1838) — повесть, вызвавшую восторженный отзыв молодого Достоевского, «Генерал Каломерос» (1840). В 1837 году писатель издал свой перевод «Слова о полку Игореве» (под названием «Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгородского»).

В 1842 году Вельтману очень повезло — он был назначен помощником директора Оружейной палаты, а с 1852 года — директором. Необременительная и хорошо оплачиваемая должность позволила ему с прежним рвением отдаваться любимому делу.

В 1845 году выходит из печати роман «Новый Емеля, или Превращение». С 1846 года начинается публикация самого большого и самого интересного романа писателя — точнее говоря цикла романов: «Саломея», «Чудодей», «Воспитанница Сара», «Счастье-несчастье», более известных под общим заглавием «Приключения, почерпнутые из моря житейского». В эти годы своего творчества Вельтман, как и раньше, отдает дань поэзии. Он печатает свою переделку шекспировского «Сна в летнюю ночь» (под заглавием «Волшебная ночь» в аль-

---

[1] Пушкин был обеспокоен «неблагосклонным и несправедливым» отзывом о «Страннике» О. М. Сомова в «Литературной газете» (1831, 26 мая). «Чтобы не подумал он, — предупреждал Пушкин П. В. Нащокина, — что я тут как-нибудь вмешался. Дело в том, что и я виноват: поленился исполнить обещанное. Не написал сам разбора» (письмо от 1 июня 1831 г.).

манахе «Литературный вечер», 1844), стихотворные сказки «Троян и Ангелица» (1846), «Златой и Бела» (альманах «На новый год», 1850) и пьесы в стихах «Ратибор Холмоградский» (1841) и «Колумб» («Русский вестник», 1842, № 5—6).

В 40-е годы и позднее Вельтман испытал тяготение к славянофильству. Но тенденциозность писателя была почти вовсе лишена политического отпечатка. У Вельтмана она проявлялась главным образом в увлечении славянским миром и славянской историей. Из-за необычайной подвижности художественного воображения он был органически не способен удержаться на какой бы то ни было определенной общественной позиции. О достоинствах и недостатках дарования Вельтмана (оригинальность фантазии и неумение сосредоточиться на одной, главной мысли) неоднократно высказывался Белинский. В 40-е годы, в отличие от 30-х, он больше подчеркивал именно последние.

Бурный процесс социологизации русской литературы и успех писателей натуральной школы подорвали престиж Вельтмана как оригинального мастера художественной прозы. С конца 40-х годов он стал быстро терять читателя, а 50-е годы вынудили его пополнить ряды «устарелых» и забытых авторов. Публикация в 1862—1863 годах двух последних романов из цикла «Приключения, почерпнутые из моря житейского» еще раз подтвердила полную несозвучность творчества Вельтмана запросам новой эпохи. В 50-е и 60-е годы — почти до самой смерти 11 января 1870 года — он выступал в печати преимущественно как этнограф и археолог.

Впрочем, не было, наверное, такой отрасли знаний, к которой Вельтман не приложил бы своей руки. Еще в 1836 году он начал без всякого плана издавать нечто вроде занимательной энциклопедии под названием «Картины света». Тут были, к примеру, такие статьи, написанные самим же издателем: «Китайская музыка», «Паровые кареты», «Гомеопатия», «Лаплас», «Бастилия», «Женские бани», «Остров Таити», «Самум», «Тюленья ловля», «Классицизм и романтизм», «Шляпы» и т. д. О разнообразии интересов Вельтмана свидетельствует обширная статья 1849 года «Метеорология в приложении ее к ботанике, земледелию, лесоводству, зоологии, публичным работам, гигиене и медицине».

Поверхностный дилетантизм и наивные, фантастические гипотезы сближают «ученые» труды писателя с его художественной прозой. Дух специализации, разделения труда был глубоко враждебен Вельтману, и вся его писательская деятельность воплощала в себе протест против отраслевых и жанровых перегородок в художественном творчестве и науке. Социальные истоки этого раскованного сознания в

литературе о Вельтмане связывались с настроениями промежуточной по своему общественному положению полудворянской, полуразночинной интеллигенции, которая питала «отвращение к закоснелой неподвижности, оцепенелому консерватизму сословного быта» и жаждала «перемен и исключительной, необычной судьбы». [1]

Талантливый и наблюдательный бытоописатель, он видел в человеческой истории одно «море житейское» с его бесчисленными превратностями и вечно подвижными берегами. В произведениях Вельтмана исторические эпохи, словно волны, набегают друг на друга, сталкиваются и смешиваются жанры, жизненные пути героев пересекаются и обыкновенно тут же расходятся, слишком легко и слишком часто меняются их общественные роли. Под стать этой зыбкости бытия и герои Вельтмана — люди с неустойчивым положением, любители приключений, странники, беглецы, разбойники, авантюристы и т. п.

Творческий облик Вельтмана-поэта зримо обозначился в одном из самых ранних его произведений, содержание которого известно в автопересказе. По свидетельству писателя, «Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описания моего Янка, великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что вскоре не стало места в хате отцу и матери, и младенец, проломив ручонкой стену, вылупился из хаты как из яйца». [2]

Уже в замысле этой «поэмы-буффы» открывается внутренний пафос всего творчества Вельтмана, всех его стихов и всей прозы, — пафос ломки границ, разрушения преград. Об этом говорят прежде всего стихотворные декларации писателя, утверждающие безграничную свободу фантазии и беспредельность мира поэта («Пегас», начало «Эскандера»). Столь же характерны запечатленные в ряде стихотворений картины переходных, кризисных эпох, когда перекраивались границы держав («Александр Великий») и рушился старый строй представлений о жизни — происходила смена религиозных верований («Зороастр», «Мухаммед») и т. д. Но особенно примечательна поэма «Эскандер», которую Белинский назвал «одним из драгоценнейших алмазов нашей литературы». [3] Покоритель народов, самодержавный властелин земли, который близок к тому, чтобы престу-

---

[1] В. Ф. Переверзев, У истоков русского реального романа, М., 1937, с. 111.

[2] Л. Майков, Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным. — Л. Майков, Историко-литературные очерки, СПб., 1895, с. 125.

[3] В. Г. Белинский, Литературные мечтания. — Полн. собр. соч., т. 1, М., 1953, с. 95. Хвалебный отзыв об «Эскандере» поместил «Телескоп» (1832, № 6, с. 245).

пить черту, отделяющую смертных от небожителей, то есть «свергнуть богов, обладающих миром», — таков Александр Македонский в изображении Вельтмана. Не менее любопытен «Эскандер» и как художественный эксперимент, как промежуточная, гибридная форма произведения, объединившая признаки стиха и прозы.

Возникновение ее обусловлено принципиальной незамкнутостью поэзии и прозы в творчестве Вельтмана. По своему складу некоторые его стихотворные сочинения (например, сказки) тяготеют к прозе; наряду с тем у него есть беллетристические произведения («Кощей Бессмертный», «3448 год», «Лунатик» и др.), выполненные в традициях так называемой «поэтической прозы». Благодаря этой незамкнутости появляется и особый, смешанный род литературного повествования, образцом которого является «Странник». Взаимодействие поэзии и прозы идет здесь по многим каналам, в частности и по линии их столкновения как двух разнородных эстетических сфер. Иной раз появление стихов в прозаическом тексте знаменует стремительный уход из бесцветной и тусклой обыденности; в других случаях обращение к стиховой речи позволяет резко оттенить мелочную, будничную сторону бытия. Наконец, прозаическое, то есть трезвое и слегка циничное отношение к возвышенным поэтическим образам, у Вельтмана часто выполняет деструктивное задание и уводит читателя в область пародии. Разрушительная ирония, лукавство, ухмылка запрятаны во многих стиховых фрагментах «Странника». Острие авторского юмора направлено против всяческих канонов, излюбленных технических приемов, заданных элементов архитектоники, обязательных «поэтизмов» и шаблонных образов.

Ввиду слабой разграниченности поэзии и прозы Вельтмана экспонирование его стихотворного наследия затруднено. Тем не менее очевидно, что наследие это оригинально и представляет собой заметный эпизод в истории нашей поэзии.

141. ДРЕВНЯЯ ЗМЕЯ

Не привлекаю девы я,
Бежит меня любовь земная:
Уж для нее страшна змея
Везде — не только среди рая.

Висит на древе вялый плод,
Змея кругом обвилась, праздна,

И дева юная нейдет
Внимать речь сладкую соблазна.

⟨1827⟩

142. АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ

Белеют высоты зубчатого *Арбела*,
Не снеги ли легли по темени горы?
Иль туча грозных налетела
И македонские воздвигнулись шатры?

Он впереди, тот юноша прекрасный,
Герой, и царь, и друг богов,
Пред коим все — как сонм рабов,
Кому земля — удел подвластный.

Бегут от Гемоса к Дунаю племена,
За ними следом свищут стрелы,
И быстро движется вперед щитов стена,
Железная граница царства Пеллы.

«Волнуйся ласково, Дунай! и ороси
Священною водой мою дружину;
В пустыни Гетские меня перенеси,
И берега твои своим я скиптром сдвину!»

⟨1827⟩

143—152. ⟨*ИЗ ПОВЕСТИ „СТРАННИК“*⟩

1

В крылатом легком экипаже,
Читатель, полетим, мой друг!
Ты житель севера, куда же?
На запад, на восток, на юг?
Туда, где были иль где будем?

В обитель чудных, райских мест,
В мир просвещенный, к диким людям
Иль к жителям далеких звезд

И дальше — за предел вселенной,
Где жизнь, существенность и свет
Смиренно сходятся на нет?

2

Лежать, ждать сна и не засыпать — это ужасно! Быстро пронеслась она по воображению! .. кажется, прикоснулась ко всему существу моему! .. обожгла меня! ах, призрак, призрак! —

Очаровательна, румяна,
Игривой живости полна,
В прозрачной ткани из тумана
Пленила чувства мне она!
Не сплю я... Вся душа в томленье!
Я жду ее... я весь горю! ..
Ревнивцы, бросьте подозренье,
Я жду румяную зарю!

3

Видите ли... О неосторожность! .. Какое ужасное наводнение в Испании и Франции! .. Вот что значит ставить стакан с водою на карту! .. Но думал ли я когда-нибудь, что столкну его локтем с Пиринейских гор?

Таким же образом, может быть, — сказал я с глубочайшим вздохом, подобным моему уважению к халдейским преданиям, — таким же образом опрокинулся сосуд гнева Кронова и пролилось Океан-море на землю!

Текут лета младенчества природы,
Уже раздор кипит в начальных племенах;
Но взволновалися, как море, неба своды,
Земля и племена в бушующих волнах!

О солнце! ты тогда на ужас не светило,
Отбросило блистательность лучей!
Как туча черная, печаль тебя затмила,
Печаль о гибели природы и людей!

Но тихнет глас громовый Элаима!
И снова сыплются лучи на бездну вод;

Уж над поверхностью глава Каркуры зрима,
И в пристань первую земли ковчег плывет!

4—5

Незаметным образом приблизились мы к тому месту, на котором, по преданиям и *по карте древней истории Бессарабии*, лежит г. Тирас; время стерло его с лица земли, и трудно отыскать его могилу; может быть, с. Паланка есть то место, где жила нескромная переселенка с острова *Мило*; она прекрасна и жива, как воображение пламенного, влюбленного Анакреона; власы ее как блестящий поток струящейся лавы; легкие сандалии и тонкое, прозрачное как облако покрывало составляют всю ее одежду.

Читатель, взор твой вероломен!
Но бог с тобой, смотри, смотри,
Ты видишь всё! Но будь же скромен
И никому не говори!
Гречанка юная не знает,
Зачем ты смотришь на нее,
Она от взоров не скрывает
Богатство дивное свое!
Но ты не в силах взор насытить,
Смутил тебя нечистый дух!
Злодей! ты ждал, чтоб день потух,
Ты хочешь всё у ней похитить!

6

Бурю на море мне никогда не случалось видеть: должна быть ужасна! Я читал путешествие капитана Кука, но бурю в чистом поле мне случалось видеть. Вот как описывает ее бурный поэт:

Поднявшись с цепи гор огромной,
Накинув мрачный саван свой,
Старуха буря в туче темной
На мир сбирается войной,
Стихии ссорит и бунтует!

Ее союзник ураган,
Жестокий сорванец-буян,
Свистит и что есть мочи дует!
Что встретит, где ни пролетит,
Всё ломит, рвет, крутит, вертит,
Мутит, ерошит и волнует.
С полей, с равнин, с лесов и гор,
Взвивая пыль, песок и сор,
По поднебесью тучей носит,
И солнца ясные глаза,
И золотые волоса
Он дрянью пудрит и заносит!

И вот, нахлупя капишон,
Седую бровь как лес нахмуря,
Несется черной ведьмой буря!
За ней, пред ней, со всех сторон
Крутятся тучки, Аквилон,
Собравши ветров хор с полно́чи,
Ревет в честь бури что есть мочи.
Стучит, гремит, грохочет гром;
Как льстец, змеею молнья вьется!
В земле от страху сердце бьется!
Но слабым ли моим пером...
И т. д.

Тучи прежде времени угасили день; я не виноват, внимательные, добрые мои читатели!

7

Окончив драку, шум и споры,
Все тучи в западные горы
Ушли. Природа в тишине.
Уж на восточной стороне
Румянец заиграл Авроры;
И Феб, оставя сладкий сон,
Зевнул, супруге скорчил маску,
Надел плащ огненный, взял связку
Лучей, сел в пышный фаэтон
И на лазурный небосклон
Пустился шагом. Пусть он едет...

Однако, я думаю, как скучно ему ездить всякий день по одной и той же дороге. Вообразите, что эта история продолжается с лишком 7 тысяч лет, не говоря о безначальности и бесконечности.

8

ЭСКАНДЕР

Дитя мое, мысль моя! кто тебя создал? не я ли? но часто ты мне непослушна, и дерзость твою я могу наказать лишь своею печалью!

Пределом сковать можно воздух, и воды, и свет; но тебя ни границы, ни цепи свободы лишить не возмогут, и тяжесть не сдавит!

Тебе так доступны пространство, и место, и время... Как часто желаю я сбросить всю тяжесть земную, чтоб вольно лететь за тобою, от мира до мира, от бездны до неба, от века до века, от смерти безмолвной до сладостной жизни, от слез до восторгов любви бесконечной!

С гранитной душою родился Эскандер; но чей он потомок — преданья не молвят.

Они его встретили юношей гордым, готовым и мыслить высоко и чувствовать сильно.

Приемыш Филиппа не видел отца своего в числе смертных; он в людях рабов своих видел;

Но гордое сердце родную любовь знать хотело — и избрал отцом он владельца Олимпа!

Седая скала над пучиной склонилась, как старец над гробом. На ней восседает Эскандер.

На запад высокие тянутся горы, как путь, восходящий на небо.

И море шумит: Эритрейские волны рядами несутся, и снова всю землю хотят покорить Океану;

Но скалы гранитною грудью набеги валов отражают.

Задумчив, глядит он на даль и на море; как будто впервые он видит и прелесть и мрачность природы...

Но в тех ли очах любопытство, для коих нет дивного в мире, которым давно всё знакомо?

«Чего я желаю? — сказал он. — Кого же ищу я на суше и море?

Аммона я видел... В устах чудотворного Нила мой памятник вечный... Мой след не засыпать пескам аравийским... Священные Гангеса волны дружину мою напоили!..

Пределы ли мира мне нужны? Себя ли хочу я поставить повсюду пределом?..

Иран и Индийские царства моею окованы волей; четыре пространные моря в границах победы и власти!

Я гордость сломил возносившихся слишком высоко, эфиром дышать не способных.

Цари предо мной — как пред небом титаны!

Ищу ль я покоя? — покой мне несносен: он тяжесть, гнетущая к недру земному!

Богатства я презрел; блестящие камни и злато — не солнце, не звезды!

Солнце и звезды я сóрвал бы с неба, чтоб видеть их тайны и светлое море, откуда лучи истекают!

Я понял и пищу страстей, и жаждущих чувств упоенье;

Я видел, как явное горе завидует скрытой печали,

И презрел я смертных!

В шатре раздаются звуки песни.

Веселые песни невольниц мне вечно, как вопли, несносны!

Кто пел бы приятно и с чувством для чуждых восторгов над гробом своих удовольствий?

Что радость без цели высокой? — мгновенье безумства.

Но радость великих — улыбка природы в минуту восстанья из бездны хаоса!

Любовь... привязанность к праху... чувство, достойное слабых творений!

Можно простить самовластью природы, рабом быть желаний, внушаемых ею;

Но сбывчивость их у людей ли купить за постыдные чувства?»

В шатре раздаются слова:

Отец мой, твой голос взывающий внемлю!
Для слуха он страшное слово твердит!
Но скоро слезой окроплю я ту землю,
В которой твой прах неспокойно лежит!

Эскандер

(после долгого молчания)

Печальные звуки! они раздирают мне душу! Но Зенда прекрасна! За Зенду мне Бел не простил бы, если б жрецы были в силах и в мрамор холодный внушить свою злобу и зависть!

Их первосвященник погиб под мечом правосудным, и дух возмутителя казни земной был достоин!

Снова к стенам Вавилона! Желание девы исполнить?

Сокровища Индии ей предлагал — отказалась, и просит одно: *Вавилона!*

Она говорит, в сновиденьях является ей тень отца и зовет на могилу — преступную душу невинной слезой искупить. . .

Можно не верить, но кто же молился столь пламенно небу, как пламенно дева меня умоляла? . .

Когда бы в молитве ее не заметил я страсти, не видел желанья любовь утаить к Александру;

Тогда не пустое желанье, но я и врожденное чувство в себе заглушил бы!

И солнце проникнуть не может таинственной дебри Зульмата;

Но в мрачном лесу сокрывается светлый источник, которого волны всем жизнь обновляют.

И в Зенде есть светлое сердце — источник блаженства!

(Уходит в шатер.)

**Стан Александра на берегах Тигра.
Вдали Вавилон.**

Дева, в белом одеянии и покрывале, выходит из шатра на холм.
В отдалении следуют за ней черные девы.

Дева

Эскандер! земли тебе мало! Взберись же к престолам воздушным и свергни богов, обладающих миром!

Взберись по могиле народов, тобой пораженных, на небо!

В ней кости отца моего! не они ль тебе будут ступенью? Нет, гордый властитель!

О, если б ты был и добрее и ближе душой своей к Зенде...

О, если б ты не был преступник для девы, тебя полюбившей...

Тогда бы, Эскандер, ты был мне дороже владычества воли над всею вселенной,

Дороже и цели мечтаний твоих закоснелых, наследник Олимпа!

Теперь... драгоценна мне нить твоей жизни, но так, как для Парки жестокой!..

В объятьях моих ты узнаешь блаженство; но... с этим блаженством сольется конец твой!..

И я не останусь в том мире, где борются страшные чувства и где достиженье их к цели есть гибель!

(Поет)

Достаньте мне испить воды из Аб-Хэида,
Она мои все силы обновит!
Отцом оставлена в наследство мне обида,
Но клятва душу тяготит!
Эскандер! кто тебе от девы оборона?
Эскандер! полетим скорее в Вавилон!

•

Там упаду в твои объятья без защиты,
Там чувства мне восторгами волнуй!
И усладит вдвойне мне душу ядовитый
Любви и мщенья поцелуй!

Черные девы становятся в кружок и поют.

Дева! смотри: над челом гор высоких
Звезды Таи и Азада взошли!
Спой посетителям дев одиноких,
Спой им молитву из чуждой земли!

Ветры утихли, и воды уснули.
Лебеди! дайте нам крылья свои!
Как бы мы скоро и дружно вспорхнули,
Как бы мы быстро летели в Таи!

Юноши! где же вы? В храм Хаабаха
В жертву снесите отсюда тельца!
Юноши! хладно в вас сердце от страха,
Легче похитить вам дочь у отца!

Загородные чертоги Вавилона близ храма Сераписа.

Эскандер в исступлении чувств; Зенда стоит подле него; на очах девы слезы.

Эскандер

Еще обойми меня, Зенда! Еще я горю! На сердце растают гранитные льдины Кавказа, дыханье растопит железо и камни!

Мучительны, Зенда!.. нет! сладки томленья любви!

Юпитер, отец мой, завидуй! В объятиях Леды божественный лебедь, завидуй!..

О Зенда! в груди твоей солнце! желаний огонь... в объятьях твоих... я пламенем за́лил!

И облит я им, как дворец Истакара: трудом и веками его созидали, а сильный в мгновенье разрушил!

Волнуется кровь!.. Так Понт бушевал... и взбрасывал волны, чтоб сдвинуть Лектонию в бездну... и сдвинул!

Мне душно под небом!.. и небо стесняет дыханье; его бы я сбросил с себя, чтобы вольно вздохнуть в беспредельном пространстве!..

Зенда бросается в его объятия, но, мгновенно вырвавшись, скрывается за столбами чертогов.

Пусти меня, Зенда! Дай меч мой! Я цепи разрушу, которыми ты приковала к земле Александра!

Дай меч мой!.. но где же ты, дева? Иль призрак ты, пламень Юпитера, с неба на казнь мне упавший?

Отец! ты трепещешь, чтоб я не похитил и волю твою и державу над миром!

Своими громами меня поразил ты!.. и молньи твои вкруг меня обвилися как змеи!..

Ты сбросил меня... в страшный Тартар!

Юпитер!.. и ты знаешь зависть... к счастливцу!..

Бессмертный!.. но вечность не благо!..

(Умирает.)

9

Кто слово Ветхого завета
Над мрачной бездной произнес
И искрой собственного света
Безбрежный озарил Хаос?
Не ты ли, Солнце? Что ж сгорело?
На запад светлый взор поник?
Где храм величественный Бела?
Где твой хранимый Вестой лик?
О, не гордись своею силой!
Всё славит ясный твой восход,
Доколь и над твоей могилой
Другое Солнце не взойдет!

10

С неизъяснимою досадой
В палатке я своей сидел;
Всё было занято осадой,
И я был занят кучей дел.

Передо мной, как ряд курганов,
Стопы бумаг, маршрутов тьма;
Вот век! В нем жить нельзя без планов,
Без чертежей и без письма!
Вот век! Старик скупой, угрюмый,
Окованный какой-то думой!
Как не припомнить давних дней,
Когда возил в походах Дарий
Постели вместо канцелярий,
А женщин вместо писарей.
То было время! Не по плану,
А просто шли искать побед;
При войске был всегда поэт,
Подобный барду Оссиану,
На поле славы дуб горел,
А он героев пел да пел!

⟨1828—1832⟩

153. НЕВИННАЯ ЛЮБОВЬ

Лети в объятия, моя младая Геба,
Я сладостно вопьюсь в твои уста, —
Как свет, как мысль о наслажденьях неба,
Моя любовь к тебе невинна и чиста!

Я чужд желаниям коварным и безбожным,
И не услышу я из уст твоих укор:
Ты веришь мне, и звукам ли ничтожным
То высказать тебе, что выражает взор?

В очах любовь и сладостная томность!
Как налилась огнем и взволновалась грудь!
Оставь меня! .. Я не нарушу скромность,
Но не мешай же мне к устам твоим прильнуть!

Тебя томит какая-то усталость.
Склонись... и нежностью тебя я усыплю.
Оставь... не запрещай простительную шалость!
Как я боязнь твою напрасную люблю!

Как ты мила! Как сладко сердцу биться!
Меня палит губительный огонь!
Не обнимай! оставь меня! не тронь! ..
Я друг твой, но могу забыться! ..

Она была на всё готова,
Ее я душу обольстил,
А муж меня, как домовова,
Невольно трусил и любил.

Конец 1820-х годов (?)

154. МУХАММЕД

Нисшел пророк, посланник новый неба, —
Боготворит его Аравии народ;
Эмина [1] видит в нем свой первый плод

---

[1] Эмина — мать Мухаммеда.

И ветвь цветущую потомства Муталеба.[1]
Но он плодом земным себя не признает,

Он говорит: «Есть бог, сыны Востока!
Для верных он меня на землю ниспослал,
Кто против бога и пророка?
На небе гром, а здесь! . .» — он умолчал,
Но ярко меч в руке пророческой сверкал.

«Восток! Тебе на лоне Абраэма
Отверсты горние, сапфирные врата,
И вечный цвет любви под пальмами Эдема
Готовит сладкие объятья и уста!»

Кто не поверит истинам Курана,
Огонь и меч ему вослед.
Арабов, посреди воинственного стана,
Закону праведному учит Мухаммед.

⟨*1829*⟩

155. ЗОРОАСТР

Почто над хóлмами Адербиджана[2]
Светило дня так пламенно горит?
Не сильный ли противник Аримана
Благовестителем из Урмии[3] летит?

Так, это он! Тревога воскипела,
И в Бактре[4] Маг! Огнь вспыхнул до небес:
Повержен в прах кумир блестящий Бела[5]
И великан златый Сандес.[6]

Ты, сладостная, где? Где твой кумир, Аная,[7]
К которому любви поклонники текли

---

[1] Муталеб — дед его.
[2] Область, где родился Зороастр.
[3] *Урмия* — город, в коем он родился.
[4] *Бактра* — первый город, где Зороастр основал свой закон.
[5] *Бел* — главный идол у древних персиян, то же, что Юпитер у греков.
[6] *Сандес* — персов Геркулес.
[7] *Аная* — то же, что у греков Венера.

И, жертвы тучные в объятиях сжимая,
Нетерпеливо в храм к закланию несли?

Где рощи пальмовой услужливые сени,
Навесы темные, цветущие древа?
Там таинства свершались наслаждений
И слышались любви волшебные слова!

Взрастает кипарис;[1] под мирной тенью древа
Лик солнца пламенно горит;
С священного огня блюстительница дева
Не сводит кроткий взор, задумчиво стоит.

26 ноября 1829
Яссы

156. ПЕГАС

А. С. Пушкину

Phébus ne craint pour ses ouvrages
Que la chûte de l'univers.

Lamotte («Ode sur Pòesie») [2]

По беспредельности парит крылатый конь,
Ничто стремлением не правит;
Всеосвещающий в очах горит огонь,
Ничто смириться не заставит!
Под ним клубятся облака,
Под ним безбрежная река,
Бегут под ним предметы всей природы,
И слились в радугу цветы, и тень, и свет,
И день, и ночь, и вечер, и рассвет,
Прошедшие и будущие годы!

---

[1] Зороастр при основании первого храма Солнцу насадил при преддверии его кипарис.

[2] Феб не боится за судьбу своих творений пока существует вселенная. *Ламот («Ода к поэзии»)* (франц.). — *Ред.*

Счастлив, кому волшебник-гений дал
Очаровательную силу!
Он возлетит на нем к прекрасному светилу,
Где пламенник души бог песней возжигал!

⟨*1831*⟩

157. ⟨ПЕСНЯ РАЗБОЙНИКОВ ИЗ ПОВЕСТИ «МУРОМСКИЕ ЛЕСА»⟩

Что отуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что ты задумалась, девушка красная,
Очи блеснули слезой?

Жаль мне покинуть тебя, черноокую!
Певень ударил крылом,
Крикнул! .. Уж полночь! .. Дай чару глубокую,
Вспень поскорее вином!

Время! .. Веди мне коня ты любимова,
Крепче держи под уздцы!
Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы!

Есть для тебя у них кофточка шитая,
Шубка на лисьем меху!
Будешь ходить ты вся златом облитая,
Спать на лебяжьем пуху!

Много за душу свою одинокую,
Много нарядов куплю!
Я ль виноват, что тебя, черноокую,
Больше, чем душу, люблю!

⟨*1831*⟩

158. ⟨ПЕСНЯ ДЕВУШЕК
ИЗ ПОВЕСТИ „КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ“⟩

Загрустила зоря, зоря-зоренька;
Зоря ясная опечалилася:
«Ой вы, звездушки, вы, голубушки,
Вы, подруженьки мои милые!
Не горите, светы мои, радостно!
Улетел мой сокол ясно солнышко,
Ходит по́ небу — небу синему,
Сыплет по́ миру. . . лучи све́тлые;
Позабыло меня мое солнышко
И покинуло меня красное!
Скоро ль, солнышко, ты воротишься?
С зарей-зоренькой ты обо́ймешься?
Не воротишься — обольюсь слезой,
Не воро́тишься, то потухну я,
Кинусь с горя-тоски в море синее!»

⟨*1832*⟩

159. ПЕРВОРОДНАЯ НЕВЕСТА

Грядой идут, сменяются века,
А ты одно в создании природы,
О солнце! Чья всесильная рука
Повесила тебя на голубые своды?
Он, вечный, Он, источник дней,
Предшественник великого начала:
Его-то воля увенчала
Тебя величием негаснущих лучей!
Как было радостно природы пробужденье
От безначального, таинственного сна,
Когда твое златое восхожденье
Из бездны хаоса подняло времена!
И в утро первое, стыдливостью сгорая,
От ложа брачного приподнялась заря, —
И перлы слез ее упали среди рая
На первого земли и сына и царя.
Восстал он, — взор его был солнцем очарован,
С ним огнь души почувствовал родство,

И вечно взор его к тебе бы был прикован...
Но есть в раю земном светлее существо:
Она — венец создания природы!
О, чье подобие и чьи на ней черты?
Где провела она младенческие годы?
Кто возлелеял в ней влиянье красоты?

Но... в тот же миг, когда любовь рождалась,
Любовь — союз времен и бытия,
Уже под ней, скрываясь, извивалась
Грехопадения змея!

⟨1839⟩

160—161. ⟨ИЗ ПОВЕСТИ «ПРИЕЗЖИЙ ИЗ УЕЗДА, ИЛИ СУМАТОХА В СТОЛИЦЕ»⟩

1

...Молодой человек начал декламировать следующие стихи:

На холме, миртами венчанном,
Где льется шумный водопад,
На ложе роз благоуханном,
Среди приюта Ореад,
Склонился юноша прекрасный
С подругой нежной, пылкой, страстной.
Их чувства вспыхнули, горят,
Душа в блаженстве неги тает!..
И поцелуями порой
Он страстный шепот прерывает
И душу девы молодой,
Как дивный нектар, испивает!

— Ах, как хороши! Чудо! Я не знаю в этом роде ничего лучше!..

И поцелуями порой...
Он страстный шепот прерывает...

— Несравненно! Как вы назвали фамилию поэта?
— Ордынин.
— Сделайте одолжение, познакомьте меня с ним. Я вне себя...

2

. . .Поэт, возгорженный хвалой, потер лоб, смело окинул всех вопросительным взором и произнес, возвысив голос: «Кто он? . .» Все вздрогнули от неожиданности подобного вопроса.

Кто он? Гигант и Атлас новый,
На рамена поднявший свет
И бросивший его в оковы
Могучей дланию побед?

Поэт приостановился, как будто ожидая ответа, — все молчали.

Кто он? Как конь неистов, тучей
Над миром мчится, громом ржет,
Пыль из ноздрей как вихрь летучий,
Из уст клубами пена бьет,
От взоров молнии снопами,
Бежит — и царства бьет стопами!
Кто он?

— Браво, браво! Это Барбье! . . тс!
— Выше!
— «Над миром мчится, громом ржет!» Каково?
— Тс!

Кто он? Под огненным венцом,
Стопы на грудь поставил мира?
Пылает, искрится на нем
Из молний тканная порфира.
Вокруг него рабы рабов
Стоят не живы и не мертвы;
Взор грозный движет тьмы полков,
Десница исчисляет жертвы?
Кто он?

Кто он? Тот вождь непобедимый,
Внимавший хор земных похвал,
Сорвавший с глав их диадимы? . .
Кто он? . . Не спрашивайте! . . Пал,
Пал гений, славою ведомый,

И смолкли грозы, стихли громы!
Весь мир облекся тишиной...
И род Адама отдыхает...
И снова плавною струей
Река событий протекает.

— Incomparable![1] Чудно!

Поэт торжествовал, осыпаемый восклицаниями удивления и похвал.

(1841)

162. РУСАЛКИ

(Картина)

Ночь. Месяц отражается в Днепре. Над рекой мрачное ущелье. Русалки выносят из воды девушку-утопленницу, разоблачают ее и расчесывают ей косу.

Вод лазоревых жилица,
Пробудись, краса моя,
Наша новая сестрица,
Наша светлая струя!

К жизни чувствами воскресни,
Плавай с нами и резвись,
Пой пленительные песни,
В пену белую рядись!

Наслаждайся негой праздной, —
Омут краше всех хором:
Обнесен стеной алмазной
И унизан жемчугом.

Всех, кто жизни шлет проклятья,
Пылко, страстно полюби,
Замани в свои объятья
И в пучине утопи!

(1849)

---

[1] Несравненно! (франц.). — *Ред.*

ТРИЛУННЫЙ

(Д. Ю. Струйский)

Дмитрий Струйский доводился двоюродным братом поэту А. И. Полежаеву. Они оба были «незаконными» детьми помещиков Леонтия и Юрия Струйских, прижитыми ими вне брака от дворовых девушек.

Дмитрий Струйский родился 6 сентября 1806 года в селе Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии. В отличие от Полежаева, он сызмальства находился при отце и получил подобающее барскому дитяти воспитание. В 1818 году Ю. Н. Струйский узаконил свой брак с матерью Дмитрия, после чего пятнадцатилетний юноша поступил в Московский университет уже в качестве полноправного дворянина. За три года он прошел курс наук, преподаваемых на нравственно-политическом отделении, а затем определился на службу в архив иностранной коллегии, ставший в то время пристанищем для любомудров. Струйский не нашел случая сойтись с ними, в частности с Веневитиновым, о чем впоследствии очень сожалел.[1]

В 1827 году он первый раз выступил в печати с поэмой «Аннибал на развалинах Карфагена», вызвавшей неодобрительные отклики в журналах. П. А. Вяземский в своей рецензии («Московский телеграф», 1827, № 10), похвалив «несколько хороших и сильных отдельных стихов», «некоторый жар в выражении»,[2] отметил несообразность, положенную в основу произведения: на развалинах Карфагена скитался не Ганнибал, а Марий.

Фактом первостепенной важности в литературной биографии молодого Струйского была его увлеченность творчеством и личностью Байрона, с произведениями которого он знакомился в английских оригиналах. В 1829 году молодой поэт публикует в «Галатее» за

---

[1] См. рецензию Струйского на посмертное издание «Сочинений» Веневитинова. — «Литературная газета», 1831, 16 апреля, с. 177.

[2] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 2, СПб., 1879, с. 57.

подписью «Трилунный», отныне ставшей его постоянным литературным псевдонимом,[1] перевод отрывка из байроновского «Гяура». Вслед за тем в том же журнале появляется поэма Струйского «Осада Миссолонги», носившая подзаголовок: «Подражание байроновой поэме „Осада Коринфа“». В 1830 году — очевидно, уже после своего переезда в Петербург — Трилунный печатает в «Литературной газете» перевод отрывка из «Чайльд-Гарольда», а в 1832 году два фрагмента из поэмы «Байронова урна», посвященной Байрону — глашатаю прав человека, борцу за свободу Греции. «Телескоп» известил о подписке на это произведение, но оно не вышло в свет, может быть из-за цензурных затруднений.[2]

Байронизм Трилунного не был дешевым фразерством, как это нередко случалось в его время. Он несомненно вытекал из отношений поэта к современному обществу. Судя по всему, они были отчужденные, неприязненные, вносившие дисгармонию в его собственное сознание. «Я нахожу в своем сердце неисчерпаемый источник печали»,[3] — писал Трилунный. Мрачный взгляд на жизнь, усвоенный им, был не позой, а подлинным выражением его личности.

В своих стихах Трилунный не ограничивается абстрактными вещаниями о несовершенстве человеческой жизни. В них нередко встречаются колкие выпады с довольно конкретным социальным адресом. Сатира эта чаще всего импульсивна, а порой и легковесна, но игнорировать ее значение — особенно в эпоху спада гражданской активности, какой были 30-е годы, — неверно. В ряде стихотворений Трилунный ополчается против господствующего в обществе преклонения перед материальной силой, богатством, против обладателей этой силы — высокопоставленных бюрократов, вельмож, против паразитического существования светской молодежи. Привлекательной особенностью Трилунного-поэта был и его отчетливо выраженный демократизм — искреннее сочувствие многотрудной доле «поселян», городской бедноте, социально униженным и неполноправным людям (поэма «Картина», «Шарманка», «Кормилица», «Две встречи» и другие). В этом отношении его творчество представляет весьма любопытную параллель поэзии Полежаева, с которой он перекликался и мотивами, и образами, и даже ритмикой своих стихов.

---

[1] Происхождение этого псевдонима объясняется тем, что на щите герба дворянского рода Струйских были изображены три луны и три полумесяца.

[2] К этой догадке приводят многочисленные отточия — надо полагать, следы цензурных купюр, встречающиеся уже в первой главе поэмы («Телескоп», 1832, № 7, с. 454—467).

[3] «Выдержки из записной книжки». — «Северные цветы на 1831 год», СПб., 1830, с. 262.

Весной 1830 года из печати вышла книга под заглавием: «Стихотворения Трилунного. Альманах на 1830 год». В нее вошли отрывки из поэмы «Картина», лирические стихотворения и статья «О музыке и поэзии». Слово «альманах» в заглавии авторского сборника звучало необычно, но оно соотносилось с характером поэтического творчества Трилунного, мозаичного и фрагментарного по самой своей сути. Показательна в этом отношении поэма «Картина».

В известных нам отрывках из «Картины» — тех, которые вошли в «Альманах», и тех, которые появились в журналах, — трудно уловить какое-либо подобие сюжета или плана. Как видно, замысел поэмы сводился к созданию «картины» всего духовного мира автора, отождествляемой с «картиной» мироздания. Работа над произведением привела к созданию ряда разрозненных эскизов. В обычных для Трилунного неладах с композицией, из-за которых этот, как и некоторые другие его замыслы, остались нереализованными, сказался не только недостаток дарования. Свойственное поэту стремление к универсальному охвату бытия, не поставленное в определенные жанровые и тематические границы, само по себе вызывало деструктивную тенденцию в его творчестве. На периферии романтической поэзии 30-х годов это было весьма распространенным явлением.

Трилунный пытался выразить свой внутренний мир и в других видах творчества. Он то принимался за беллетристику (роман и повесть), то за пьесы, то за журнальные статьи. Не менее страстным увлечением Трилунного была музыка, которой он заплатил дань в качестве музыканта, композитора и музыкального критика. В середине 30-х годов поэт со свойственным ему пылом заинтересовался живописью. Подвизался он также на поприще художественной критики.

В 1833 или 1834 году Трилунный берет отставку (с 1831 года он числился младшим помощником столоначальника в III отделении департамента министерства юстиции) и отправляется в двухгодичное странствие по Западной Европе (Италии, Швейцарии, Франции, Германии). Во Флоренции он неожиданно столкнулся с Вяземским, который впоследствии вспоминал: «Струйский был небогатый чиновник: поэтическое влечение уносило его в далекие края... Он кое-как бережливостью своею сколотил из скудного жалованья небольшую сумму и отправился... *путешествовать* в буквальном смысле этого глагола, — и едва ли не обходил он пешком всю Европу». [1]

Опьяненный заграничными впечатлениями, Трилунный по воз-

---

[1] П. А. Вяземский, цит. изд., с. 58.

вращении на родину с головой окунается в литературу, музыкальную жизнь, театр, живопись. В печати появляются его путевые записки, новые стихотворения, повести («Преобразование» и «Атаман Косолап»), обзоры музыкальных спектаклей, картинных галерей, вернисажей, статьи о современной музыке. В 1837 году выходят «Мелодии» — небольшой альбом, заключающий в себе шесть романсов и песен. Трилунный был автором музыкальных текстов, стихотворные, кроме двух (Пушкина и Вяземского), принадлежали также ему.

Трилунного, как сообщает Е. Бобров, превосходно осведомленный в семейной хронике Струйских, влекло к богеме.[1] Любопытные подробности о нем передает В. Бурнашов. По его словам, Трилунный «отличался какими-то странными манерами, благодаря которым его легко можно было принять за сумасшедшего или, по крайней мере, за исступленного, за меланхолика, вообще за человека вне нормы. Движения его были часто излишне порывисты, он являл примеры странной рассеянности в туалете своем... Вообще он казался молодым стариком».[2]

В сезон 1840—1841 годов была поставлена одноактная опера Струйского «Параша сибирячка» (на сюжет одноименной мелодрамы Н. А. Полевого), равнодушно принятая публикой. Ф. А. Кони, лично знавший и автора оперы, и его брата Полежаева, был единственным, кто откликнулся сочувственной рецензией на эту постановку.[3]

Взвешенную характеристику музыкального дарования Струйского дал встречавшийся с ним в начале 40-х годов композитор Ю. К. Арнольд. С полным правом она может быть распространена и на его поэтическое творчество. По словам Арнольда, Струйскому не хватало «фундаментального, систематического критериума... Вследствие того в сочинениях его выказывалось смешение разнородных стилей, подражание манере известных образцов... а в тех местах, где ему хотелось быть самостоятельным, вышеупомянутое отсутствие критериума, не дав ему находить соответствуемую форму для зародившейся невзначай, иногда даже действительно грандиозной идеи, приводило его всегда лишь к несообразным с самим ис-

---

[1] Е. Бобров, Семейная хроника рода Струйских в связи с биографией А. И. Полежаева. — «Русская старина», 1903, № 8, с. 272.

[2] Петербургский старожил (В. Бурнашов), Мое знакомство с Воейковым в 1830 году. — «Русский вестник», 1871, № 10, с. 628.

[3] «Литературная газета», 1841, 9 января, с. 13—16.

кусством причудливостям».[1] В подтверждение своего мнения Ю. К. Арнольд указывал в особенности на неоконченную музыкальную драму Струйского «Колизей». «Мозг его, — продолжает Арнольд, — не в силах был вынести этот напор огромной массы не приведенных в должный порядок разнородных идей и фантазий, в которых часто являлась грандиозность воззрений, перемешанная с мелочностью. . .»[2]

Струйский, по свидетельству того же мемуариста, к концу 40-х годов «впал в помешательство, для лечения от которого он был отвезен своим братом ⟨Сергеем⟩ в Париж, в дом умалишенных, где и умер. . .»[3] По некоторым данным, это случилось в 1856 году.

163. ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «КАРТИНА»

Оно чужую грудь зажжет,
В нее как искра упадет,
А в ней пробудится пожаром.

Веневитинов.

Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывет у них мечтателем опасным.

Грибоедов.

Поэт

Пусть будет тот космополитом,
Кто в сердце, холодом убитом,
Как в тесном гробе, схоронил
Всё, что он знал и не любил.
Но я моей отчизне милой
Останусь верен до могилы.
Где б ни был я, в святую Русь
Из-за пределов дальных света
Быстрей орла перенесусь
Душою пламенной поэта! . .
Но я в отечестве моем
Люблю не пышные столицы,

---

[1] Юрий Арнольд, Воспоминания, вып. 2. М., 1892, с. 181.
[2] Там же, с. 181.
[3] Там же. В «Записках» А. О. Смирновой упоминается, что Струйский кончил свои дни «в меланхолии» в «сумасшедшем доме» в Оверне (Франция) («Русский архив», 1895, т. 2, с. 192).

Но в поле с жатвой золотом
Крестьян убогие светлицы.
Мне душно в вихре городском!
Несносен мне сей хаос модный,
Где всё идет на перелом
Уму и простоте природной;
Где вечный шум, где всё кипит,
Где часто ночь как день горит
От фонарей и дымных плошек
И где нарядный сонм богинь
Всех манит нагло из окошек
С любовью горькой как полынь.
Здесь всё на откупе, и даже
Любовь, святейшее из чувств,
В числе пронырливых искусств
У ведьм позорных на продаже!
Я ненавижу города,
Они — училище разврата.
Здесь без упреков, без стыда
Брат нагло обдирает брата,
Отцы чуждаются детей,
Супруги — жен, друзья — друзей.
Влачась за шумной сей толпою,
На всё с презреньем я гляжу
И сиротой один брожу
С разочарованной душою!
Смотря на буйный сей Содом,
Я мыслю с горькою улыбкой:
Какой жестокою ошибкой
Заброшен я в сей желтый дом? . .
Пускай винят мое злословье,
Пускай врагов я накуплю,
Но я как язву не терплю
Вас, Митрофанушки, срамящие сословье! [1]
Презренных баловней толпы,

---

[1] Здесь разумеются под Митрофанушками те недоросли, которые, по милости своих предков пользуясь всеми правами своего звания, не хотят служить своему отечеству. Не исключаю из сего числа и тех стариков, которые во всю свою жизнь не сказали и трех слов по-русски. Благодаря попечению правительства у нас выводятся подобные граждане. Пора бы, кажется, нам знать, что для величия России недостает ей одного только благородного самолюбия.

Гнилые общества столпы!
И ненавижу вас недаром...
Как искра, пагубным пожаром
Грозите вы Руси святой;
Избави нас скорее, боже,
От этой праздной молодежи,
Летящей вслед за новизной!
Что может быть ее беспутней?
Нам пользы нет от этих трутней!
Нет, не заменит нам граждан
Отродье глупых обезьян!
Полуфранцузы, [1] пустомели
Без размышленья и без цели
По праву лестному бояр
Наследственный снедают дар
Своей признательной отчизны,
Но даже искры к ней любви
Не тлеет в хладной их крови!
Живут тяжелыми трудами
Полезных обществу людей,
Считая их за дикарей.
Душой, ужимками, словами
Они святую Русь срамят.
И что ж? Они же, обезьяны,
С улыбкой пошлой и жеманной
Отчизну в варварстве винят!
Без дальних справок, невпопад,
Назло врожденному рассудку,
Как куклы движутся, пищат,
И пляшут под чужую дудку! [2]

Шут

Тс! тише, друг! Зачем, куда
Тебя влечет твоя проказница-звезда?

---

[1] Здесь можно бы упомянуть и о тех полугерманцах, которые в каждой литературной безделушке видят отражение целого века и пишут так глубокомысленно, что даже сами себя не понимают... Но... чтоб гусей не раздразнить.

[2] Может быть, галломаны скажут: «Пора перестать проповедовать руссицизм! Крылов и Грибоедов напрасно истощали свои усилия!» Согласен с вами, но каждый писатель, от первого до последнего, должен вам твердить одно и то же, покуда вы не поймете, о чем вам говорят.

Не лучше ль, укротя сатиры жало злое,
Оставить праздность их в покое,
Рассудком обуздать безумный сердца жар?

Поэт

Не с тем ли вверил бог певцам небесный дар,
Чтоб лирой стройной, громкозвучной
Порок бесстыжий обличать?
Мне ль, раболепствуя пред знатными, молчать
И лестью подлости докучной
У них выманивать назло моей звезды
Награду низкую — за низкие труды?
Нет, нет! Я избрал путь: до рокового гроба
Не изменю душе моей;
За подвиг в мире сем награда будет ей
Развратных сограждан гонение и злоба;
И я, влеком моей могучею звездой,
Гордиться буду их — не дружбой, но враждой.
Я темную стезю, судьбою в здешнем мире
Начертанную мне, без ропота пройду
И звуки сильные во вдохновенной лире
В защиту истины со временем найду.
Пусть скажут: что дано ему от колыбели,
Он, по возможности своей,
Употребил к добру для благородной цели.
Не быв великим из людей,
Он дань не собрал изумленья,
Но, небесам не изменя,
Святыню чувства сохраня,
Огонь небесный вдохновенья
К добру стремленьем заменил
И здесь не лишним гостем был!

Шут

Да, неприятны нам, о друг, такие гости!
Не избежать тебе от клеветы и злости,
Чтоб не сказал тебе гостеприимный мир:
«Поэт, незваный ты пришел ко мне на пир».
Ты любишь старину, невежда?
Не встанут предки из гробов!
Напрасно льстит тебе надежда:
Мой друг, — ты любишь мертвецов!
Тот, кто шумящею пучиной

С своей отчизной разделен,
Среди изгнанья льстится он
Хотя той мыслию единой,
Что день наступит роковой
И он домчится к ней стрелой,
И с незабытыми друзьями
Вновь запирует. «Вот они!
Вот измененные годами
Полузнакомые черты! —
При виде их вскричал бы ты. —
Они прекраснее, моложе
Когда-то были, как и я,
Но сердце в них... оно всё то же!
Они — они мои друзья!»

. . . .

. . . .

Но что теперь? Ты окружен
Везде родными существами,
Хотя сей лес тебе знаком
И с этой степью и горами
Ты сердцем дружен; всё кругом
Здесь дышит сладостным родством,
Всё веет грустным вспоминаньем!
Здесь и бесчувственный предмет
Каким-то взглядом и шептаньем,
Иль отголоском детских лет,
Каким-то пагубным искусством,
Какой-то дружбой и враждой
Стесняет грудь то сладким чувством,
То непонятною тоской!
Но предрассудков вечный данник,
В одних преданьях видишь ты
Отчизны милые черты!
И в ней живешь, как бедный странник!
Не хлябью бурною морей
И не безвременным изгнаньем —
Ты разделен с родной землей
Суровым русским воспитаньем.
Твои не сбудутся мечты,
Святую Русь не узришь ты!
Познай хоть опытом печальным,
Как трудно весь оспорить мир.

Поэт

Итак, я в мире идеальном
Забуду всё; святой кумир,
Пред коим я, как жрец безумный,
Стоял колена преклоня,
Я сокрушу. Сей хаос шумный
Родным не будет для меня!
Вы, башни гордого Кремля,
Главы соборов золотые,
Святыни сердца вековые,
Гробов красноречивый ряд,
Где кости наших дедов спят...
Москва преданьями богата,
В ней гений древности живет,
В ней и Батыя виден след,
В ней Грановитая палата,
Священной утварью она
Для славы родины полна.
Врагов отбитые знамена,
И даже взрыв Кремлевских стен,
Как памятник Наполеона,
Для славы русской сохранен!
В ней и Владимира корона,
И латы тяжкие Петра,
И память правды и добра,
Столбец полночного Солона —
Всё там пленяет гордый ум,
Всё погружает в сладость дум,
Всё душу русского возносит,
Всё в век минувший переносит!
Остаток древности святой,
Ты сохранен для укоризны!
Сроднись же ты с моей душой
Взамен утраченной отчизны!
Воспоминанье, как во сне,
Перенесет меня отныне
К любезной русской старине,
К моей отчизне и святыне!
Я не привыкну к новизне,
Но современный век забуду,

Среди развалин стану жить
И русским в *Петербурге*[1] буду.

⟨1830⟩

164. СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

Дом министра Чванкина; Дежурный сидит на софе.

Дежурный

Все говорят, что время быстро...
Но не в дежурной у министра.

---

[1] Москва старее Петербурга, так мудрено ли, что она богатее его древними памятниками? Зато Петербург ее великолепнее... Но жаль, что он украшен в иностранном вкусе; в нем почти ничего нет народного, столь трогательного для сердца того, кто любит свое отечество. Однажды, гуляя в Летнем саду, бросил я мельком взгляд на ряды белых статуй, освещенные лунным светом... И что же? Неизъяснимое чувство пробудилось в душе моей... Чем долее смотрел я на неподвижные, бездушные фигуры, тем чувство мое более и более возрастало; много раз прежде я смотрел на них равнодушно; но в сие мгновение, верно, душа моя была приготовлена к чему-то сверхъестественному... Воображение увлекло меня, и я, неприметно отделяясь от земли, погрузился в тот идеальный мир, с которым многие души холодных людей не имеют никакого сообщения... Наконец воображение мое переступило все границы существенности, и я увидел... чудо, до сих пор для меня не постижимое!.. Все статуи в одно мгновение одушевились — и с громким воплем окружили меня... их восклицания будут вечно врезаны в моей памяти! «Зачем вы нас сюда поставили? Что есть родного между нами? Разве нет у вас своих великих людей?.. Но без них могла ли бы Россия существовать столько веков? — Для чего же вы забыли их?.. Отнесите же нас на родину!» «Нас в Грецию!» — кричат Аполлон и Диана. «А нас в Рим! — восклицают другие. — Нам душно здесь! Сие небо, сия земля нам совершенно чужды! Здесь проходящие на нас или совсем не смотрят, или равнодушно рассматривают наши физические недостатки; но если б мы были на своей родине, там каждый гражданин видел бы в нас священное изображение своих предков! Пылкие юноши простирались бы в прах пред бездушным нашим мрамором! Может быть, в счастливое мгновение нам удалось бы могуществом воспоминания вдохнуть в сердце гражданина всю пламенную любовь к отечеству тех героев, в честь которых мы воздвигнуты».

Так упрекали меня со всех сторон возмутившиеся статуи... Я был смущен как виновный ребенок пред лицом своего грозного учителя... Я искал ответа, искал долго... но не мог найти его! И — до какой степени я был унижен! Тогда как и сии бездушные существа приняли на себя образ живых людей, я, изумленный, пристыженный, стоял посреди их — недвижим и хладен — как статуя!

В огромной комнате один сиди весь день
Как пень;
Зевота, скука, лень,
И посетителей докучная учтивость,
И экспедиторов приказная кичливость
Несносней мне, чем рвотный порошок.
Здесь маятник часов на миг не умолкает,
Меня он будто упрекает, —
И я плачу оброк!
И я, с душой, не чуждой вдохновенья,
С душой, в которой есть хоть искра божества,
Дань приношу богам мирского поклоненья?
Но чья в передней там мелькает голова?
Седая, яко сноп под зимнею порошей!
Кряхтит мой старичок... знать, под тяжелой ношей?
Да он провинциял! Трусливая нога
Его чуть-чуть ступает по паркету!

Баклушин

(подходя к Дежурному)

Баклушин, ваш покорнейший слуга.

(Понюхав табаку)

Довольно мыкался по белому я свету,
Но, еже ей, чудес подобных не видал!
Швейцар — весь в золоте — с меня шинель снимал,
Курьер со шпагою мне двери отворял,
Скажите мне, сударь, не в рай ли я попал?

Дежурный

(тихо)

А может быть, и в ад. Но мой провинциял
Сам в скором времени узнает,
Где он. До той поры пусть хвалит нас.

Баклушин

(подходя к стенным часам)

Двенадцатый уж час?
Ну, время нас не поджидает!
Так и летит на почтовых стрелой.
Давно ль мы пили чай — и уж пора обедать!

Дежурный

Что вам угодно здесь?

Баклушин

Да вот пришел проведать,
Как поживает Ваня мой,
Старинный друг!

Дежурный

Ваш друг?

Баклушин

Лет двадцать не видались;
Да, кажется, с тех пор как в Питере расстались?
Легко сказать! Я сед, да думаю, и он
Уж без зубов? Ох, старости закон!
Его лишь тот минует,
Кто прежде времени под бурею страстей
Свое здоровье распирует,
Чтоб раньше накормить прожорный рой червей.
Конечно, нет без исключенья правил,
И без вины иной умрет,
И без заслуг другой живет;
Смиренье нам в удел благой творец оставил,
За ним ничье добро не пропадет.

Дежурный

(Болтливый филосо́ф! Оригинал забавный.)

Баклушин

Скажите мне: мой друг здесь поживает славно?
Какой прекрасный, теплый дом,
Все комнаты блистают серебром
И златом.
Да он и в юности был хватом!
Уж нечего сказать, Ванюша был задор!
Соко́л и не велик, да ноготок востер.
А без когтей в сем мире очень плохо.

Дежурный

(Не видывал нигде такого скомороха.)
Да вы зачем сюда пожаловали к нам?
Конечно, просьба есть?

Баклушин

Избави боже!
Моим ли глупым сединам
Вприсядку кланяться вельможе?
Поклоны эти нас едва ль ведут к добру!
Я лучше с голоду умру!

Дежурный

Смотрю на вас в каком-то изумленье:
Когда вы можете без нас существовать,
Зачем же вы (позвольте мне узнать)
Пожаловали к нам? Конечно, есть прошенье?

Баклушин

Ей-богу, нет! Я, проживя весь век,
Так счастлив был, что не просил ни разу.

Дежурный

Вы первый в мире человек.

Баклушин

Неужто, господа, неможно не пролазу
Зайти к министру в дом
Со старым, дедовским родством
Иль бескорыстной дружбой?
Ведь я не занят службой,
Я не ищу чинов, аренд,
Блестящих звезд, широких лент,
Ни даже ключика златого камергера,
И прочего всего.

Дежурный

Я вижу старовера,
И руку пó локоть на отсеченье дам,
Что это праотец Адам,

И праотец, плодом от рокового древа
Не соблазненный.
Вы женаты-с?

Баклушин

Нет,
Что за вопрос?

Дежурный

Так вот в чем весь секрет:
Его не соблазнила Эвва,
Так мудрено ль, что он
Умен?

Баклушин

Прошу вас доложить.

Дежурный

Позвольте вам заметить:
Как вам не совестно себе противоречить?
Не вы ли сами мне изволили сказать,
Что не просили вы...

Баклушин

Могу вам доказать...

Дежурный

Да нет и двух минут, а вы ко мне с прошеньем,
Чтоб я об вас министру доложил!

Баклушин

Что ж делать, коль швейцар дорогу заслонил!
Когда считают здесь великим дерзновеньем
Войти и закричать: «Здорово, милый друг!»
Пословица гласит недаром:
С волками должно выть по-волчьи. К знатным барам
Не вдруг вбежишь.

(Подходит к дверям кабинета.)

Дежурный

Министру недосуг.

Баклушин

Досуг иль недосуг, без проповеди длинной
Скажите лишь ему, что друг его старинный,
Баклушин, отставной губернский секретарь...

Дежурный

(Не политическая тварь!)

Баклушин

Баклушин, отставной губернский секретарь,
Его сиятельство желает видеть.
Визита этого не мог бы он предвидеть,
К нему хотелось мне нечаянно вбежать,
По-прежнему его обнять
И от души расцеловать.
Но... должно светскому уставу покориться,
И на Дежурного мне не за что сердиться.
Извольте ж доложить — как водится у вас,
Ведь светских модников никак не переучишь,
Задаром лишь себя замучишь.

Дежурный

Теперь нельзя.

Баклушин

Неужто мне твердить сто раз,
Что мы друзья, всегда друзьями были
И будем ими до конца?
Что вместе мы служили,
Что зрите вы во мне не пошлого льстеца,
Не плута, подлеца,
Который, чтоб втереться
К вельможе в пышный кабинет,
Готов ужом и жабою вертеться,
От дружбы, от родства, от бога отпереться, —
Не только налощить коленями паркет
Приемной комнаты, но даже и передней!

Дежурный

Охотно верю вам, но...

Баклушин

Что же, сударь, «но»?
Не лучше ль «ну», чем «но»? Без новомодных бредней!
Он занят или нет, мне, право, всё равно:
Во мне кипит воспоминанье,
И сердце бьется в ожиданье!
Позвольте мне на Ванечку взглянуть,
Хоть в щелку двери, как-нибудь!
Вы слишком молоды, так вам и непонятно,
Как друга старого приятно
К груди своей прижать!

Дежурный

Долг службы мне велит вам в этом отказать!
Министр делами очень занят.

Баклушин

Черт побери дела! Их можно отложить!
Извольте смело доложить:
Я вам порукою, что он ворчать не станет, —
Он дружбу старую вспомянет,
Хоть он теперь и князь, и генерал,
Но я его в ребячестве знавал
И в козны с ним не раз, не два играл,
Но десять лет, а может быть, и боле.
Близ Бирюча, в чувашском поле,
Бывало, мне уздечку в зубы даст
И вскрикнет: «Ну, пошел, мой добрый мерин!»
И я лечу по кочкам и буграм, —
Жар юности и без того чрезмерен,
А он стегал меня, проказник, по пятам,
Так поневоле скачешь!
Бывало, в жмурки мы играли сколько раз!
Лишь только голову под пуховик запрячешь,
Он так резнет жгутом, что искрится из глаз!
Эх, молодость! как ты проходишь быстротечно!
Как ты всегда мила для нас!
И неужель теперь мой Ваня, друг сердечный,
Друг задушевный мой, товарища забыл?

Дежурный

Ваш друг — министр.

Баклушин

Мой друг хоть чертом будет,
Но всё Баклушина Андрюшу не забудет!
Я за него душой и телом поручусь!
Извольте доложить — или я в дверь вломлюсь!!

Дежурный

Хоть провинюсь перед законом службы,
Но доложу, чтоб видеть силу дружбы.

(Идучи к кабинету)

Неужли искра чувств не оживет
В его душе, холодной словно лед,
И в старом друге он теперь увидит шу́та?

(Входит.)

Баклушин

Какая сладкая и грустная минута!
Как! двадцать лет прошло, и бог привел опять
Мне Ванечку в чинах и счастьи увидать!
Как он вскричит: «Баклушин, друг мой милый!»
Да, Ванечка! Баклушин пред тобой
Как лист перед травой!

(Садясь на стул)

При мысли сей мои слабеют силы!
А сердце так и рвется из груди!..
Ну, друг мой Ванечка, скорее выходи!

Дежурный

Министр вам приказал сказать: теперь не время,
Пакетов у него не читанных беремя,
И сверх того, весь в лентах и крестах,
Трактует с ним седой мудрец Пирушкин
О государственных делах.

Баклушин

Как с облаков упал! Стал темен свет в глазах!..
Сказали ль вы ему, что я — Андрей Баклушин,
Его старинный друг...

Дежурный

Сказал, сударь, сказал.

Баклушин

И что в ответ?

Дежурный

«Чтоб черт его побрал!
Скажи, что недосуг; ведь я тебе сказал,
Чтоб эту сволочь ты ко мне не принимал!»

Баклушин

Вот дружеский прием!

Дежурный

Какое ж в этом чудо?
Вы дожили, сударь, хотя и до седин,
Но модный свет узнали очень худо.
Смотря на ваш восторг, я тронулся и сам,
И хоть сначала вам не верил —
Не первый предо мной проситель лицемерил,
В столицах я привык к слезам,
Считаю их водою. . . —
Но ваш почтенный добрый вид
Невольно каждому доверенность внушит.
Я доложил об вас — и снова убедился,
Что дружбе и любви в столицах места нет,
Что счастлив только тот, кто от чумы укрылся,
Кого не развратил еще развратный свет!
Родство и дружба здесь — одних поэтов бредни;
Одни лишь связи нужны нам;
Друзья здесь делятся невольно пополам.
Утешьтесь! Сей урок послужит в пользу вам;
Не первый вы и не последний.
Зато и мы, сударь, наказаны судьбой:
Растерзаны страстьми, алчбою и гордыней,
Мы бродим с хладною, бесчувственной душой,
И сей прекрасный мир нам кажется пустыней!
Беги, природы сын, за тридевять земель
От умных подлецов и глупых пустомель!

⟨1830⟩

165. ХАМСТВО

К богатству странное влеченье у людей.
Хоть бедный бедному дружнее помогает,
Но, несмотря на то, спесивых богачей
Бедняк поклонами вприсядку потешает:
То в их передней посидит,
То в их гостиной постоит,
И часто из того проползает два года,
Чтоб, вздернув нос пред ним, презренный сибарит
Спросил: «Что, братец, какова погода?»
— «Прекрасная-с», — а сам чуть на ногах стоит.
И так текут в столицах наши годы!
Вертится между тем фортуны колесо,
И все бежат, кряхтят, не ведая свободы...
Брани людей, Вольтер! .. Плачь, добрый мой Руссо!

⟨*1830*⟩

166. МЕЛКОШЕРСТНЫЕ МЫШИ

Далёко от Руси есть где-то государство,
И в нем, как говорят,
Седая шерсть мышей вошла как антияд
В универсальное лекарство.
И бысть седым мышам ужасный перевод,
Пока не смастерил один ученый Кот
Проект, чтоб отвратить несчастие такое.
Как новый Демосфен, он убедил судей,
Что долг велит им стричь мышей.
«Конечно, иногда, — примолвил так злодей, —
Не худо окорнать их длинный хвост и уши,
Но не губить отнюдь невинные их души».
Проект рассмотрен был тремя из мудрецов,
И Кот с тех пор прослыл первейшим из дельцов.

У нас в Европе точно то же:
Всё ладно, хорошо, всегда такая тишь.
Когда ж приказная мелкочиновна мышь
Под лапу попадет вельможей,
Они ее прегладко обстригут
И приговор вот так произнесут:

«Вменив ей в казнь арест и не лишая места,
Подвесть ее под пункт благого манифеста».
Мышь снова шерстью обрастет
И снова в пасть к ним попадет.

(1830)

167. ПРЕДРАССУДКИ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Прошло пять тысяч лет,
А мумия лежит в могиле как живая;
Но вдруг к отшельнице проник тлетворный свет,
И от нее лишь пыль осталась вековая.

(1830)

168. ШАРМАНКА

Идет тиролец молодой,
Несет шарманку за спиной,
За ним ребят докучный строй
Бежит по невской мостовой.
Идет тиролец, взор угрюмый
К земле потуплен, цвет ланит
Всем любопытным говорит,
Что с ранних лет и грусть и думы,
Как черви, точат жизнь его.
«Куда заброшен я судьбою?
В кругу семейства моего
Я б не был грустным сиротою!
Какой могучий рок увлек
Меня на север в даль и снег?
Прости, отчизны край любимый,
Прости! Я разлучен навек
С тобой судьбой неумолимой.
Среди родных, знакомых гор
Не удалось мне жить!.. Мой взор
Не встретит их уж до могилы!
Мне суждено в стране чужой
Бродить, пока позволят силы,

С шарманкой жалкой за спиной.
Так что ж? Талантом неизвестен,
Живу хоть с горем пополам,
Но хлеб я добываю сам.
Я неумен, но не бесчестен!..
Вот дом, где низкий сибарит
Зевает днем, а ночь не спит;
Именье прожил глупо, блудно,
Добра не сделав никому.
Чем лучше он? За что ж ему
И без шарманки жить не трудно?
Дай мне ответ, моя судьба,
За что неравенство такое?
Для нас ты существо глухое,
Его ж услышана мольба!
Какой чудесною приманкой
Тебя задобрил сибарит?
К нему как дождь сребро летит,
А я всю жизнь — почти несыт!
А я, когда мороз трещит,
Брожу с кормилицей-шарманкой,
И плясовая песнь ея
Горька как перец для меня!»

(1830)

169. МОЯ МОЛИТВА

Пошли мне, милосердый боже,
Всегда насущного кусок,
Чтоб я дышать в сем мире мог
Без покровительства вельможи.

(1830)

170. СОН

Я видел дивный сон:
Кровавой тучею оделся небосклон,
Светил его померкло вдруг сиянье,

И чье-то грозное отгрянуло воззванье.
Ему со трепетом внемля,
Разверзлись воды и земля,
И белыми как снег полками
Исходят из земной утробы и морей
Сухие остовы людей,
И, ставши в строй, молчат, дрожат, стучат зубами.
Вдруг небо вспыхнуло, из тучи грянул гром,
Рассыпались они — и пыль взвилась столбом...
Уселась пыль, и близ кургана смерть стояла,
И гимны ангелов надгробны раздались,
И смерть, на косу опершись,
Внимая им, — на небеса взирала!

⟨1830⟩

171. СУДЬБА ГЕНИЯ

Не улыбнется мир угрюмый
И жизнь — как тяжкое ярмо
Тому, на чьем челе клеймо
Нарезано глубокой думы.
Сей сын небес, сей друг людей
Для многих в мире непонятен:
Его преследует злодей,
И дураку он неприятен.

⟨1830⟩

172. ПИР ДРУЗЕЙ

Друзья

Поет соловей веселую песню
Весной близ гнезда любимой подруги.
Юноша! Юность воспой удалую
Веселым напевом, достойным ее.

Друг

Есть в жизни миг — летит он быстрою стрелою,
Не успеваем мы и насладиться им:

Он промелькнет — и нам оставит за собою
Одну лишь грусть!.. Сей миг ничем не возвратим!

Друзья

Но за чашей круговой
Так ли должно петь с друзьями?
Если так — то, друг, не пой:
Легче плакать нам с тобой,
Чем тебе смеяться с нами!

⟨1830⟩

173. СЛЕЗЫ

Слепец! Ужасна ночь твоя.
Твой мир так тесен и печален!
Воспоминанье, как змия,
Гнездится средь живых развалин;
Оно о солнце говорит,
Но страшной тьмы не озарит!
Судьба исполнена угрозы,
Ты всё утратил, что любил,
Весь мир прекрасный схоронил...
Тебе одни остались слезы!
Молись, чтоб враг твой не унес
И даже сих последних слез!
Храни их в сердце, как святыню:
Без них — чудовищ адский строй
Придет беседовать с тобой
И населит твою пустыню!

⟨1830⟩

174. МОРЕ

(Подражание Байрону)

Волнуйся, синий океан!
Тебе удел завидный дан!
Напрасно в пустыне твоей
Блуждают стаи кораблей:

Их легкий след на миг один
Браздит чело твоих равнин!
Напрасно с гордою душой
Адамов сын — сей бич земной —
Поработил твой мирный брег:
Тебе не страшен человек!
Не смеет дерзкой он стопой
Попрать кристалл твой голубой!
Над миром властвовать любя,
Он не присвоит у тебя
Твоих мятежных, гордых волн:
Тебе корабль — как легкий челн!
Неодолимый исполин!
Когда всё бренно на земле,
С веками споришь ты один,
И на седом твоем челе
Сатурн не наклеймил морщин!
Скажи: где Греция и Рим?
Не ты ли плеском волн глухим
Их потешал в былые дни?
Всё тот же ты, но где ж они?
Уж ты давно оплакал их
Надгробным гимном волн седых!
Неизменяем и могуч,
Ты отражаешь в глубине
То черный лик громовых туч,
То солнце в светлой вышине!
Эмблема вечной красоты,
Как в первый день явился ты
В порфире влажной голубой —
Таков и ныне образ твой!
Он тих, он светел и глубок...
Но и тебя постигнет рок:
Схоронишь ты знакомый мир
И будешь снова мрачен, сир,
Как был в хаосе одинок...
И от святых небес далек,
Безбрежный, в бездне пустоты
О берегах застонешь ты!

(1831)

175. НЕВЕ

Оживлена весенними лучами,
Ты зимнюю кольчугу сорвала
И в океан свободными волнами
Ледя́ные трофеи понесла.

Так в быстрый миг святого вдохновенья
Моя душа, отринув светский быт,
Из душных бездн печального сомненья
В нетленный мир бессмертия парит!

⟨*1831*⟩

176. ВОДОПАД

Громада волн летучая, живая,
С каким-то рьяным торжеством
С недвижных скал в пучину ниспадая,
Ты разлилась кипучим серебром!
Вокруг тебя безмолвен лес сосновый,
И степь песчаная молчит.
Один твой гул торжественно громовый
Как царь в сей пу́стыне царит.
Вот гимн! Я здесь недаром очарован,
Здесь целый мир священных дум.
Мой взор к горам клубящимся прикован,
Я разгадал их наглый шум...
Им негде погулять в порфире серебристой,
Они задушены темницею кремнистой,
Но близок тяжкий взрыв... уж лицемерный вал
Подрыл свою тюрьму, лобзая ноги скал.

⟨*1832*⟩

177. САМОУБИЙЦА

Он смертью смерть предупредил,
Земля добычу приютила,
Но не в семье родных могил
Его чернеется могила.

Я видел бледный труп в углу,
Оцепенела длань с кинжалом,
И кровь багровым покрывалом
Запечатлелась на полу.
Самоубийцы лик кровавый,
Как божий гнев, был страшен мне, —
Так воин, сдавшийся без славы,
Презрен в родимой стороне.
Не отпевали труп опальный,
Но робко в полночь унесли,
И с укоризной крест печальный
Стоит над пасынком земли.

(1837)

178. ДЕМОН

Во тьме, в которой нет рассвета,
Как беззаконная комета
Блуждает он, мрачнее тьмы.
Неложный призрак он поэта!
Ему подвластные умы
Воздвигли в честь его кумиры,
И у него есть в мире храм,
Толпы жрецов, рабы и лиры,
И гнусной лести фимиам.
Но не забыл он, неутешный,
Сиянье дивное небес,
И проклинает мир кромешный
И миг, как блеск его исчез!
И он, как червь, вселенну точит,
Зовет предвечного на брань,
И смехом яростным хохочет,
Когда, подъяв с громами длань,
На царство грешное обрушит,
Источник правды в нем иссушит
И вдруг безжалостной стопой
Его сотрет с коры земной!
О враг добра непримиримый,
Ужасен ты, неуловимый!
Везде нам виден образ твой;

Ты прозван случаем, ⟨судьбой⟩,
И под покровом хитрой маски
Святые истины веков
Ты обращал в пустые сказки.
Среди таинственных гробов
Блестит во мгле твой факел ложный;
К нему спеша, мудрец безбожный
Влечет погибельной звездой
Толпу несчастных за собой...
Но и твое ужасно горе!
Нет радуги в ночи твоей,
Она как в льдяных латах море
Иль гроб без солнечных лучей!
Душой опальной, безнадежной
На муку вечности безбрежной
Ты вечно предан. Демон, плачь!
Кто Херувим был лучезарный,
Тот стал мучитель и палач!
Твоей душе неблагодарной
Нигде, ни в чем отрады нет;
Ты ненавидишь божий свет,
Его разрушить ты желал бы!
Вторично бога ты предал бы!
Но есть предел в твоих громах —
Ты сеешь смерть в своих гробах,
Но жизнь пробьется из могилы;
И смотришь ты, злодей унылый,
На вековечный божий цвет:
И для тебя *надежды* нет!

⟨*1837*⟩

179

Когда цветут младые розы,
Когда росы перловой слезы
Дрожат на юной мураве
И солнце в мирном торжестве
В порфире сребряной тумана
Царит над бездной океана,
Тогда я мыслю, милый друг:

Под шепот кроткого зефира
Ты сладко спишь в ночлеге мира.
Но в темный день осенних вьюг,
Когда мертвеет лик лазури,
Когда в степях, когда в степях
Как волки рыщут бури
И снег бездушной белизной
Твой холм оденет гробовой —
Я за тебя безумно стражду,
Весенних дней как блага жажду
И плачу, глядя на сугроб:
Мне мнится — душен мерзлый гроб!

⟨*1837*⟩

180. ДВА ВЕКА

Внук

Слышишь, дед? .. громов раскаты,
И зарница в облаках!

Дед

Нет, то блещут медны латы,
Мчится конный полк в горах.
Видишь?

Внук

Вижу. Месяц бледный
Над пучиною плывет.

Дед

Это щит Полкана медный, —
Богатырь на бой идет.
Слышишь, как дрожит пустыня?

Внук

Видно, вихорь недалек.

Дед

Нет, гуляет Коробыня,
Сея коробом песок.

Внук

Вот и гром!

Дед

Не гром — Дубыня,
Как медведь, ломает лес.
Слышишь свист?

Внук

Знать, буря рыщет,
Гонит тучи вдоль небес.

Дед

Соловей-Разбойник свищет...
Видишь цепь седых холмов?

Внук

Вижу: стая облаков,
Нагулявшися по воле,
Над крутой скалой висит.

Дед

Маловерный! это спит
Змей-Горыныч в чистом поле...

⟨1838⟩

181. ДВЕ ВСТРЕЧИ

Когда над Невским длинный ряд карет
Протяжно следует за пышной колесницей,
Где виден гроб под пурпурной парчой;
Чиновники там чинно в вицмундирах
Несут земные звезды на подушках,
А слуги в стороне, с улыбкой беззаботной,
В огромных шляпах, с факелом в руках,
Гроб барина невольно провожают,
И певчих хор печально и протяжно
Прекрасную молитву возглашает, —
Я мимо прохожу и равнодушный взгляд
На мертвеца роскошного бросаю.

Но если я встречаю мертвеца,
Простертого без гроба, на носилках,
Чья грудь, подъятая последним воплем жизни,
Рисуется под саваном убогим
И в холод, в слякость сироты пешком
Последнюю свою надежду провожают, —
Снимаю шляпу я и с горькой их мольбой
За упокой души неведомого брата
Молитву бедную мою,
Как верный брат, соединяю;
Бессмертья в небесах усопшему желаю
И сиротам его *приюта на земле.*

⟨1845⟩

182. ПРОЩАНИЕ ДАНТЕ С ФЛОРЕНЦИЕЙ

«Прощу того, кто для корысти низкой
Подстережет меня в мой злобный рок,
Кто нагло спросит: «Жизнь иль кошелек!» —
И тайный нож приставит к груди близкой.
Но обществу, которое в пирах
Беспечно жизнь презренную проводит,
Где всё изящное низринуто во прах,
Где скука с пресыщеньем бродит,
Я не прощу, что пеплом гробовым
Оно посыпало над алтарем святым;
И не прощу, что холодом смертельным
Оно мой дух в пространстве беспредельном
Низвергло, как в тиранскую тюрьму, —
Мое проклятие ему».

⟨1845⟩

183. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАМЕТКА

Со смертью незапной твоей
Надолго умолкли на Севере песни!
Без эха русская дремлет пустыня...
Ни женская прелесть, ни предков сказанья,

Ни дружеский кубок, ни подвиг героя
Не вызовут вещую лиру твою!
Далёко от дивно прекрасной столицы,
Воспетой тобою, почил ты один
В пустынной могиле; и сельской травою
Без дружеской тризны зарос твой курган.
Похищен народный боян!
Оборваны русские струны!

(1845)

Л. А. ЯКУБОВИЧ

Сын мелкопоместного дворянина Лукьян Андреевич Якубович родился в 1805 году. Отец его в молодости своей был причастен к литературе. Имя его встречается в журналах конца 1790-х — начала 1800-х годов, а в 1804 году под его редакцией из печати вышел знаменитый сборник Кирши Данилова «Древние русские стихотворения». Впоследствии, занимаясь литературой только урывками, А. Ф. Якубович вел образ жизни скромного провинциального чиновника, а еще позже — домовитого помещика (ему принадлежало небольшое имение Сосновка в Калужской губернии).

Иначе складывалась судьба его сына. После окончания в декабре 1826 года Благородного пансиона при Московском университете Лукьян Якубович остался не у дел, так как к казенной службе, по всей видимости, не имел никаких способностей.

В 1828 году стихотворения Якубовича появляются на страницах московского журнала «Атеней» М. Г. Павлова, а в следующем году — в «Галатее» Раича. До 1831 года поэт жил в Москве, а затем перебрался в Петербург, город с более развитой прессой, где он надеялся добиться успеха в литературе.

Должно быть, по рекомендации своего дяди М. Л. Яковлева, лицейского товарища Пушкина и Дельвига, Якубович был привлечен к сотрудничеству в «Литературной газете».

Он благоговел перед Пушкиным, о чем говорят следующие строки его письма к П. И. Вонлярлярской от 22 января 1831 года: «Я познакомился с... Пушкиным, который на днях женится. Напрасно говорят, что в нем не видно поэта, — решительно скажу вам: весь гений, все пламя жреца муз горит в его прекрасных глазах. Я читал «Годунова» раз 30 сряду, — превосходно. Я без ума восхищен им — вот поэзия, вот жизнь, вот сила!» [1]

---

[1] ПД.

С прекращением «Литературной газеты» Якубович чаще всего печатается в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"» А. Ф. Воейкова, а позднее в журналах: «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Сын отечества» и, наконец, в «Отечественных записках».

15 января 1837 года М. Л. Яковлев напомнил Пушкину о своем племяннике, предлагая его в помощники по изданию «Современника».[1] Но ровно через две недели Пушкин умер. Якубович был потрясен этим и долго не мог прийти в себя.

По свидетельству И. И. Панаева, Якубович гордился тем, что Пушкин «выпрашивал у него стихов для своих изданий».[2] В 1836 году в пушкинском «Современнике», действительно, появилось три стихотворения Якубовича. Возможно, два стихотворения его в «Северных цветах на 1832 год», изданных в память покойного Дельвига, были также отобраны Пушкиным.

От литературы Якубович никаких доходов не имел и, по сведениям того же Панаева, «кое-как поддерживал свое существование уроками русского языка».[3] «Он жил в крайней бедности, — рассказывает близко знавший поэта И. П. Сахаров, — все его состояние состояло из шинели, сюртука и нескольких книг. Тысячи рублей, присылаемых ему отцом, было недостаточно. Маленькая комната на чердаке, в Семеновском плацу, зиму и лето нетопленная, была его приютом для ночлега».[4]

Но ни бедность, ни пренебрежительное отношение маститых журналистов и критиков (Н. А. Полевого, Н. И. Надеждина, О. И. Сенковского) не охлаждали любви Якубовича к поэтическому творчеству. По уверению Сахарова, он «ни о чем не думал; философ в душе, беззаботный в жизни, друг поэзии, он жил вне всякой сферы».[5] Добродушный, общительный Якубович был знаком чуть ли не со всем литературным миром обеих столиц. Но самой большой его привязанностью был Полежаев, с которым он подружился, надо полагать, в середине 20-х годов.[6] Подневольная солдатчина Полежае-

---

[1] См.: Пушкин, Полн. собр. соч., т. 16, М., 1949, с. 217.

[2] И. И. Панаев, Литературные воспоминания, М., 1950, с. 39.

[3] Там же, с. 66. Очень непродолжительное время, а именно в 1833 г., Якубович состоял на службе (сведения об этом в неопубликованном письме к П. И. Вонлярлярской от 1 декабря 1833 г. — ПД), но, видимо, скоро потерял ее.

[4] И. П. Сахаров, Записки. — «Русский архив», 1873, № 6, с. 954.

[5] Там же.

[6] Подтверждением тому служит полежаевский перевод стихотворения Ламартина «Восторг», выполненный не ранее 1826 г. и посвященный Якубовичу.

на вскоре их разлучила, но позднее они, видимо, встречались в Москве и обменивались письмами.[1]

Полежаев и Якубович имели общих приятелей — поэтов Соколовского и Ф. А. Кони. Все они принадлежали к демократическому флангу русской поэзии, но сплоченной литературной группы не составили. Судьба благоприятствовала из них только одному Федору Кони. Участь других была печальной: сломленные тяжкими условиями жизни, они умерли один за другим почти одновременно — в 1838—1839 годах.

Недоедание, трущобный быт, суровый петербургский климат, беспечное отношение к себе — все это в конце концов надломило здоровье Якубовича. Тяжелобольной, он летом 1839 года выехал из столицы домой — в Калужскую губернию. Здесь, под родительским кровом, прошли последние дни его жизни, оборвавшейся осенью того же года.

Якубович, вспоминал Панаев, пользовался «между журналистами и издателями альманахов значительною известностью. Без его стишков не обходился почему-то ни один журнал, ни один альманах».[2] Однако спрос на стихи Якубовича подчас поддерживался одним чисто внешним обстоятельством: по роду своего дарования он умел писать только очень короткие стихотворения — как правило, в 8—16, редко 20—30 строк. Такие тексты были удобны для заполнения лакун в типографском наборе журналов и, как ехидно выразился Н. И. Надеждин, шли «на затычку».

Литературная репутация поэта не поднялась и после того, как в 1837 году из печати вышел единственный сборник его стихотворений. Он был встречен внешне одобрительным, а по существу издевательским отзывом О. И. Сенковского в «Библиотеке для чтения» (1837, № 7). Не поправила положения доброжелательная, но слабо аргументированная рецензия «Северной пчелы» (29 и 30 апреля), написанная, видимо, кем-то из друзей Якубовича,[3] а также рецензия неизвестного автора в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (8 мая).

Уже при беглом взгляде на стихи Якубовича обнаруживается, насколько велико было его сочувствие романтическим представлениям о человеке, природе и искусстве. Он и был их типичным популя-

---

[1] См. публикацию Т. Г. Динесман двух писем Полежаева к Якубовичу от февраля и 8 октября 1836 г. — «Литературное наследство», № 60, М., 1956, с. 608—614.

[2] И. И. Панаев, Литературные воспоминания, с. 65.

[3] Подпись под рецензией: «Т.». Возможно, ее автором был Н. Ф. Туровский.

ризатором в поэзии, чуть более талантливым в сравнении с десятками других современных ему стихотворцев, вроде Н. Колачевского, М. Меркли, И. Гогниева, В. Карлгофа, Ф. Менцова, Н. Вуича, Е. Шаховой. Якубовичу не было дано сделать то, что порой получалось у поэтов его же масштаба: запечатлеть некую психологическую тонкость, оригинальный поворот мысли, набрести на яркий художественный эффект. На фоне бурного развития романтического лиризма, плодившего многословные и громоздкие формы (Соколовский, Кукольник, Тимофеев, Бернет), стихи Якубовича отличались сосредоточенностью и простотой художественного мышления, лаконизмом стиховой речи.

В творчестве поэта различается всего несколько устойчивых видов стихотворений. Чаще всего это короткая диалогическая сценка («Заветные слова», «Старый русский замок», «Служивый», «Урал и Кавказ», «Дуб в Петергофе» и т. п.), иногда несущая простонародный отпечаток, в частности украинский. Романтические умонастроения куда более зримо проступают в стихотворениях другого типа, представляющих собой метафорическую иллюстрацию отвлеченной мысли («Водопад», «Пожар», «Волнение», «Две скалы» и проч.).

Лирическим миниатюрам Якубовича свойственна малохарактерная для романтической поэзии того времени значительная насыщенность античными мифологическими реминисценциями. По-видимому, творческие устремления поэта были в известной мере ориентированы на традиции антологической лирики, вернее на ее русифицированные образцы. Собственные его опыты в чисто антологическом роде немногочисленны и бесцветны. Но лучшие из оригинальных стихотворений Якубовича примечательны как попытки романтической модернизации этого типа лирики, отличающиеся сжатостью, простотой и четкостью композиционного рисунка.

184. ПОЭТУ

Младенец слабыми руками
Змию коварства задушил.
Ты, новых дней Алкид, меж нами
На зависть гордо наступил.
Тебе ничтожны лепетанья
И толки злобной клеветы,

Хвала друзей и восклицанья
Самолюбивой красоты.
Ты выше лести своенравной
И полной зависти хулы:
Орган небес, пророк избранный,
Тебе ли нужны похвалы?
Судья правдивый есть потомство,
Оно хвалы не продает,
Оно не знает вероломства:
Твой труд оценит и поймет.
Всегда правдив, всегда спокоен,
Храня к прекрасному обет,
Неколебим и непреклонен —
Таков в душе своей поэт!

1829

185. ЗИМА

Смотрю на снежные пустыни:
Лежит как в саване земля;
То смерти вид, симво́л святыни,
Симво́л другого бытия.

Не всё с собой возьмет могила,
Не всё зима мертвит в полях:
Проснется жизненная сила,
Проснутся мертвые в гробах.

1830

186. СТАРОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Не вспоминай другие леты,
Они прошли — не воротить!
Твоя печаль, твои приметы
Не могут горю пособить.
Не помни зла, не помни горя,
И в настоящем много бед,
Терпи у жизненного моря:

За тучей вёдро будет вслед.
Мой друг, поверь мне: мир прекрасен,
Исполнен блага божий свет!
Твой запад так же будет ясен,
Как дня прекрасного рассвет.
Взгляни: над трепетной землею
Давно ль с небес перун гремел
И земледелец с бороною
На нивы выехать не смел.
Прошла гроза; как прежде в поле
Оратай весело поет,
И в луговом опять раздоле
Тюльпан с лилеею цветет.

1830

187. ТРИ ВЕКА

Преданье есть: в минувши веки,
Там, при слияньи дивных рек,
Сошли на землю человеки...
И был тогда прекрасный век!
Как царь земли был здесь свободен,
И телом бодр, и чист умом,
И сердцем добр и благороден,
С открытым взором и челом!

Был век другой: умов волненье,
В сердцах страстей мятежный жар,
Вражда, корысть и исступленье
Раздули гибельный пожар.
Здесь человек утратил волю,
Одряхл и телом и умом —
И шел по жизненному полю,
Поникнув взором и челом!

Но в третий век прошла невзгода,
Затихла буря, свет проник,
И процвела опять природа,
И лучший мир опять возник.

И в этот век земную долю
Холодный опыт нам открыл,
И гордый ум, и сердца волю
Законам вечным подчинил!

1831

188. ИРАН

Ликуй, Иран! Твоя краса
Как отблеск радуги огнистый!
Земля цветет — и небеса,
Как взоры гурий, вечно чисты!

Так возлюбил тебя Аллах,
Иран, жемчужина Востока,
И око мира, падишах,
Сей лев Ислама, меч пророка!

Твой воздух амброй растворен,
Им дышит лавр и мирт с алоем;
Здесь в розу соловей влюблен,
Поэт любви томится зноем.

1831

189. ВОЛНЕНИЕ

Взглянь на небо: словно тени
    В нем мелькают облака!
Взглянь на землю: поколений
    Мчится бурная река!

Что ж земля и небо полны
    Треволнений бытия?
То вселенной жизни волны,
    Вечный маятник ея!

И в душе стихии те же:
В ней вселенная сполна,
И, как рыбка бьется в мреже,
В мире мучится она.

1832

190. ТОВАРИЩУ-ПОЭТУ

Для поэтических мечтаний,
Для дум возвышенных твоих
Не нужен гром рукоплесканий:
Поэты счастливы без них.

В себе одном прозрев мир целый,
Певца Британии любя,
Как он могучий, юный, смелый,
Ты нам высказывал себя.

Стихи твои, как бурны тучи,
На человека мещут гром:
Они — то отгул злополучий,
То жизни быстрый перелом.

Товарищ! Жду иных я звуков:
В часы вакхических отрад
Пускай в семействе наших внуков
Об нашей удали твердят;

Узнают пусть, как деды жили
На бреге царственной Невы,
Любили, пили и шалили,
Но не теряли головы.

1832

191. ЗАВЕТНЫЕ СЛОВА

Над Дунаем над рекою,
В бусурманской стороне,
Умирая после боя,
Воин молвил слово мне:

«Отнеси, брат, в край любимый,
После дружних похорон,
Челобитьице — родимой,
И родимому — поклон! . .»

«А жене?» — «Своя ей воля
Стать вдругорядь под венец:
Видно, брат, моя недоля,
И жене не муж мертвец!

Весть снеси вдове такую:
Что женат я на другой,
Что с другою век векую
Я под крышей вековой,

Что за нею на погосте
Взял я каменный накат,
Пуля — сватала, а гости
Были пушки да булат!»

1832

192. СЛУЖИВЫЙ

От садов и мирных пашен
На кровавые поля,
Под зубцы турецких башен
Перенесся мыслью я, —
В оно время, под Очаков,
Под убийственный огонь:
«Старый хрыч, ты был инаков,
Уходился словно конь!

Где ж твой пыл? В былые годы
Знал ли усталь, старина?»
— «Уходили, брат, походы,
Вражья пуля да жена!..»

1832

193. ДЕВА И ПОЭТ

Прекрасна де́вица, когда ее ланиты
От уст сжигающих еще сохранены,
И очи влажностью туманной не облиты,
И девственны еще и кротки юной сны,
И чисты помыслы, желания хариты,
Как чисты небеса в час утренний весны,
Красавица тогда подобна розе нежной:
И небо, и земля — всё ей покров надежный.

Удел прекрасен твой, любимец муз; счастливый,
Когда ты чужд корысти и похвал,
Не кроешь слез под маскою шутливой,
И богу одному колена преклонял.
Чувствительный, возвышенный, правдивый,
Сберег тайник души, как чистый идеал.
Поэт, как сходен ты с невинной красотою:
Ты долу нас роднишь с небесной высотою.

1832

194. БОЯЗНЬ

Чуть веет ветерок с востока ароматный, —
Легко мне... сладко мне... О, жизни сон приятный,
Продлись, продлись и сердцем дай пожить,
И хладному уму дай чувств не пережить!

Боюсь не бурных дней, боюсь я дней холодных;
И старость и болезнь не устрашат меня:
Боюсь утра́ты чувств и дум моих свободных,
И вживе умереть страшусь навеки я!

1833

195. МОЛНИЯ

Зачем с небесной высоты,
Из горнего жилья,
На лоне бури мчишься ты,
Громóвая струя...
По небу реешь и браздишь
Сгущенны облака,
И, долу падая, разишь
Жилище бедняка?
Зачем, пронзая душу мне,
Ее терзаешь ты,
Подобно Зевсовой стреле,
Поэзия мечты...
Не озаряешь жизни путь, —
Как молния летишь,
Сверкаешь, падаешь на грудь
И сердце пепелишь?

1833

196. ВОДОПАД

Вон там, где вечно по уступам
Гремит и блещет водопад
И где подобно мерзлым трупам
Граниты синие стоят, —
Оцепенев, окрестность дремлет.
Лишь зверь, припавши на скале,
Паденью вод нагорных внемлет,
Глядясь в их зыбком хрустале.

Как водопад, кипит и рвется
Могучий мыслию поэт:
Толпа на звук не отзовется,
На чувство чувств у черни нет.
Лишь друг природы просвещенный
Среди лесов своих, в глуши,
Вполне оценит труд священный,
Огонь божественный души.

1833

197. НАДПИСИ

Ты понял ли глагол бытописаний?
На камнях, на древах ты надписи видал, —
Их понял ли? То след былых страданий,
К бессмертию стремясь, их брат твой начертал.

Страшась ничтожества, у гроба, раб желаний,
Он в мертвых буквах сих часть жизни оставлял,
Он жизнь хотел продлить хоть в отзыве преданий,
Чтоб в памяти людей хоть звук не умирал.

Земному дань платя, бессмертием томимый,
Поэт, склоня чело, умолит пиэрид,
Чтобы живая мысль и стих его любимый

Перéжили его, как мрамор и гранит,
Как жизни перл, в сердцах людей хранимый, —
Да вечно дышит он и души шевелит.

1834

198. СТАРЫЙ РУССКИЙ ЗАМОК

Где волной сребряно-шумной
Бьет Нарова о гранит,
Тщетно в ярости безумной
За волной волну клубит, —

На горе есть замок древний.
Меч и времени рука,
Истребив окрест деревни,
Пощадили старика.

Старец, что ты мрачен ныне?
Вкруг тебя кипит народ,
И, как прежде, по ложбине
Речка светлая течет.

Иль грустишь ты, замок старый,
О минувших временах?

Иль еще звучат удары
Шведских ядер на стенах?

«Я гляжу печальным оком
На изнеженный народ.
Я в раздумии глубоком:
Их мой взор не узнает!

Не совсем зажили раны,
Хоть отжил я грозный век:
Ночью в них гнездятся враны,
Днем обходит человек.

Я завидую Нарове,
Хоть она меня старей:
Каждый год ей по обнове
Шлет Нептун, отец морей.

И старушкою забыто,
Что унес минувший год;
Всё нечистое — ей смыто,
Всё поит она народ.

Я же, хилый, время трачу,
Жизнь полезную сгубя,
Но на жребий мой не плачу:
Гибну, родину любя».

1834

199. СКАЛЫ

На высоте угрюмых скал,
В объятьях матери-природы,
Я жизнь возобновил, я радости сыскал,
Я позабыл утраченные годы!

Здесь всё свежо: и персть, и тварь, и я!
И жизнь, как девственник, полна любовной силы;
Эмблема вечности, здесь ползает змия,
Как мысль, приволен здесь орел ширококрылый!

1835

200. СЕСТРЕ

(При посылке портрета л⟨орда⟩ Байрона)

Чудесной силой песнопенья
Умеет Байрон чаровать
И вопль души, и чувств волненья
Своим струнам передавать.
Внимай ему тоской убитый,
Кто в жизнь надежду погубил,
Кто на поблекшие ланиты
Кровавых слез поток пролил;
Внимай ему без сожаленья,
Без слез, без скорби, без страстей,
Ищи в нем слов для выраженья
Ужасных мук души своей...
Но ты, как пери молодая,
Гляди на чудный лик певца,
Его судьбу воспоминая,
Жалей в нем мужа и отца.

1835

201. Н. М. ЯЗЫКОВУ

Торжественный, роскошный и могучий,
Твой стих летит из сердца глубины;
Как шум дубров и Волги вал гремучий,
Твои мечты и живы и полны, —
Они полны божественных созвучий,
Как ропот арф и гимн морской волны!

Отчизну ли поешь и гордо и правдиво,
Гроба Ливонии, героев племена,
Красавиц иль вино — пленительно и живо
Рокочет и звучит и прыгает струна...
И сердце нежится по воле, прихотливо,
И словно нектаром душа упоена.

1836

202. КАВКАЗ

Приют недоступный могучих орлов,
Державных и грозных гранитных хребтов, —
Всемирная крепость надоблачных гор
Дивит и чарует наездника взор.
Где громы грохочут, шумит водопад
И молния реет в ущельях громад, —
Душе моей любо: ей впору чертог —
Престол где громовый воздвиг себе бог!
Там мысли привольно по небу летать,
Весь ужас, всю прелесть грозы созерцать!
Туда бы, покинув заботливый мир,
Желал я умчаться, как птица в эфир.

1836

203. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Вы слыхали ль в отдалении
Звуки песни родной?
Что мечталось вам при пении
Соловья в глуши лесной?

Много чувств, воспоминания
В звуках тех сохранено!
Много искр любви, страдания
В песни той утаено!

Раб минутного желания
И поэт, как соловей,
Он поет вам без сознания,
Без расчетливых затей.

Льется ль струйкой серебристою,
Водопадом ли гремит,
Или молнией огнистою
В небе сумрачном горит;

Иль летит орлом над тучею,
Вьется ль резвым мотыльком, —

Силой тайной и могучею
Всё куда-то он влеком.

Безотчетный, бессознательный,
Самому себе тиран,
Так, певец — орга́н страдательный,
Бога вышнего орган!

1836

204. ВДОХНОВЕНИЕ

Когда восторг меня обнимет,
Я сознаю тогда себя,
И ток блаженства в душу хлынет, —
Вдвойне живу и вижу я!

Мне мир земной и чужд и тесен:
Провидит мир душа иной,
Мир безграничный звучных песен
И неземных видений рой.

Не так ли, кинув мир телесный,
В святом восторге бытия,
В громах, в огне, полунебесный
Вознесся к богу Илия?

1836

205. РОК

Выплывая из-за тучи,
Зевса гневного посол
Вержет гром и огнь летучий
На скалы, на лес дремучий,
На веселый град и дол.

О, молись, молись Зевесу,
Чтоб тебя не покарал,
И на тайный путь к Айдесу

Смерти мрачную завесу
Для тебя не приподнял!

Иль умолкни — что молитва?
Здесь всему назначен срок,
Вечна смерти здесь ловитва,
И напрасна с нею битва —
Ею правит грозный рок!

1836

206. СЕВЕРЯНИН НА ЮГЕ

Поля роскошные вокруг меня лежат,
И в синих небесах играет луч денницы,
Спокойствием цветут и дышат вечно лицы,
Прохладной негою ручьи к себе манят;

И струны юношей о славе мне звучат,
Здесь пляшут и поют веселые девицы,
Здесь вьется виноград и рдеют шелковицы,
Душистые цветы льют сладкий аромат.

В краю безоблачном брожу один, унылый.
Земля цветет, — она здесь жизнью дышит той,
Что мне была всегда любимою мечтой,

Во сне и наяву влекла волшебной силой...
И вот теперь и я в желанной стороне, —
По бурям севера что ж грустно стало мне?

1836

207. НОЧЬ

Есть час таинственный духовных наслаждений —
То ночи час... когда весь мир уснет,
Когда, окружена толпой земных видений,
Луна по небесам лазоревым пойдет.

Духи светлые совьются
Вкруг луны златым кольцом,
И лучи с небес польются,
Блеща ярким багрецом.

И в этот час
Летят на нас
С лучом луны
Мечты и сны.

О, кто воздвиг чудесный этот храм?
Тьмы ламп горят, и дубы-исполины
Подперли купол тот, и гордо к небесам
Ушли с земли их темные вершины!
Вот ночь! Вот пир! В объятиях природы
Душа полна любви, и неги, и свободы.

И мечтания слетают
Незаметно с вышины,
И видения мелькают,
Чуть луной озарены.

Кто скажет нам,
Что к небесам —
Не это путь?..
Внезапно в грудь
Мечта слетит
И озарит
Видений рой;
Они толпой
Перед тобой
С небес летят
И за собой —
Туда манят!

Смотри: восток пылает от огня —
То дню предшествует румяная заря;
Мечты и сны мгновенно улетают,
Виденья бледные в огне небес сгорают!
Воздушною стезей идти утомлена,
С звездами кроется медлительно луна
Небес лазоревых в таинственные сени,
И настают часы житейских треволнений!

1836

208. МУДРЕЦУ

Добыча тленья и червей,
О чем еще, мудрец, мечтаешь,
Когда в безмолвии ночей,
Не замыкая сном очей,
Ты книгу знания читаешь?

Что в ней прочел ты? Что узнал?
Всё та же истина от века,
Иной нам мир не открывал:
Жил человек, любил, страдал,
И нет уж боле человека!..

Один живущему закон:
Пеленки саваном сменяют!
И правду рек царь Соломон:
«Всё суета сует и сон!»
О чем же мудрецы мечтают?

⟨1838⟩

209. ГЕНИЙ

На небе пасмурном за тучей мчатся тучи,
Порою каплет дождь, порою вихрь летучий,
Деревья расшатав, взрывает и крутит;
Испуганный орел подъемлется, летит,
Летит под небеса всё далее — и к туче
Приблизился, прошиб — и грудию, могучий,
Прорезал воздуха холодные струи —
И ввысь ушел, далече от земли.

Среди земных сует и бедствий и волнений
Внезапная тоска тебя тревожит, гений;
Но, жизненный ярем по терниям влача,
Душа твоя сильна, свежа и горяча,
И есть тебе приют от жизни сей презренной:
Туда уходишь ты, младой и вдохновенный,
Земных страстей с тебя спадает чешуя —
И мчишься в небо ты, небесное дитя.

⟨1838⟩

210. ОТВЕТ

Н. Ф. Т — му

Ты прав, товарищ, шумно, шумно
Неслася молодость моя;
Не раз вспомянешь, как безумно
Вдвоем пивали — ты да я!

Я живо помню: ночь и вьюга,
Стаканы пунша на столе,
И две подруги, и два друга —
Беспечны, счастливы вполне.

Поем и пьем, а острых шуток
Кипит и сыплется картечь;
Поем и пьем, — и двое суток
Звучит стекло и льется речь.

Чрез много лет мы вспомним это,
Но вряд тогда мне молвишь ты:
«Я узнаю в тебе поэта, —
Всё те же шашни и мечты».

А. И. ПОДОЛИНСКИЙ

Среди поэтов 20—30-х годов прошлого века, представленных в этом издании, Андрей Иванович Подолинский, пожалуй, один из наиболее значительных и даровитых. Родился он в Киеве 1 июля 1806 года. Первоначальное образование получил в одном из лучших местных пансионов. В 1821 году отец Подолинского, небогатый киевский помещик и чиновник, устраивает его в Петербургский университетский благородный пансион. В июне 1824 года, успешно окончив курс обучения, восемнадцатилетний юноша сразу же определился на место секретаря при директоре петербургского почтового департамента.

Еще будучи воспитанником университетского пансиона, Подолинский написал «две-три повести в стихах и несколько мелких стихотворений», но, как признавался он потом, «я умел сознавать их незрелость и не только не осмеливался мечтать о печати, но даже старался скрывать их от большинства товарищей». [1]

Только в 1827 году Подолинский отважился представить на суд публики свою поэму «Див и Пери». Свободно льющийся мелодический стих, удачные описания экзотических стран Востока с их пустынями, оазисами, развалинами древних храмов — все это способствовало успеху поэмы и возбудило интерес к ее автору.

Издатель «Московского телеграфа» Н. А. Полевой писал в своем журнале: «Г-н Подолинский начал смелым подвигом и показывает нам в поэме своей дарование могущественное». [2] К мнению Н. А. Полевого присоединился Е. А. Баратынский. [3]

---

[1] А. И. Подолинский, Автобиография. — «Русская старина», 1885, № 1, с. 74.

[2] «Московский телеграф», 1827, № 21, с. 83.

[3] См. его письмо к Полевому от 25 ноября 1827 г. — Е. А. Боратынский, Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма, М., 1951, с. 488.

В своих воспоминаниях Подолинский рассказывал, что его литературный дебют был замечен Пушкиным, который «имел любезность насказать мне много лестного».[1]

Успех открыл перед молодым поэтом двери салонов и журнальных редакций, а главное — доставил ему знакомство с А. А. Дельвигом, дом которого регулярно посещали сотрудники издававшихся им альманахов, а с 1830 года — «Литературной газеты». Подолинский стал частым гостем на его вечерах, где он имел возможность не только видеть Пушкина и Мицкевича, но и «несколько ближе с ними сойтись».[2]

По складу своего дарования Подолинский очень напоминал Жуковского. Уже в замысле и материале своей первой поэмы он встретился с его «восточной» поэмой «Пери и Ангел» (1821), в свою очередь восходившей к поэме Томаса Мура «Лалла-Рук» (точнее — ко второй ее части, «Рай и Пери»). Это подало повод к упрекам в подражательности. «Пери — то же, что Пери Томаса Мура»,[3] — писал И. С. Мальцев, а С. П. Шевырев, не вовсе отрицавший достоинства поэмы, утверждал, что в ее содержании «нет ничего оригинального».[4]

Ту же идею искупления греха и возвращения к праведной жизни, лежащую в основании поэм Жуковского — Мура, развивал и Подолинский, но, как отметил тот же Н. А. Полевой, развивал «новым образом», показывая «оригинальность своего воображения».[5] Для кающейся Пери Жуковского двери рая открываются лишь после длительных ее испытаний в добродетели, описание которых занимает большую часть произведения. Однако тема религиозного подвижничества совсем почти не отразилась в поэме Подолинского, где очень важна фигура Дива и весь эпизод с пленением и освобождением Пери.

Примечательно, что желание освободиться от греха вспыхивает в Пери лишь после того, как она оказалась насильно вверженной в обитель зла. Пери склоняет Дива к раскаянию перед «зиждителем миров», соблазняя его рассказом о блаженстве эдемских чертогов, куда, как она уверяет, бог рано или поздно допустит их. Эта изменчивость — ни один из персонажей не обнаруживает стойкости ни

---

[1] А. И. Подолинский, Воспоминания. По поводу статьи г. В. Б. «Мое знакомство с Воейковым в 1830 году». — «Русский архив», 1872, вып. 3—4, стлб. 863.

[2] Там же, стлб. 860.

[3] «Московский вестник», 1827, № 15, с. 278.

[4] «Московский вестник», 1828, № 1, с. 74.

[5] «Московский телеграф», 1827, № 21, с. 84.

в добре ни в зле — весьма заметно ослабляла морально-проповеднический пафос темы покаяния.

Почти одновременно с «Дивом и Пери» Подолинский пишет повесть «Змей» (1827), носившую подзаголовок «Киевская быль». Она с очевидностью свидетельствует о намерении Подолинского с самого начала своего литературного поприща отмежеваться от школы Жуковского. Надо полагать, свое сродство с ним он сам ощущал как недостаток самостоятельности. Уже начальные строки повести отзывались полемикой с «творцом мечтательной „Светланы"», «Громобоя» и других «звучных баллад», полемикой довольно миролюбивой, но тем не менее показательной. Подолинский отказывается следовать за Жуковским — выставлять «напоказ бесов и ведьм и привидений», вести «всю эту сволочь на Парнас». Этот полемический зачин задавал тон всей повести, писанной частично стихами, частично прозой. Сверхъестественные, таинственные приключения, которые в ней происходят, в итоге оказываются проделками одного из героев, искушенного не в магии, а в чудесах пиротехники.

«Киевская быль» осталась незаконченной и неопубликованной.[1] Более решительную попытку оторваться от школы Жуковского Подолинский предпринял вскоре после того, как он примкнул к кружку Дельвига. Контакт с этой литературной средой не прошел бесследно для поэта. Отказавшись от фантастических сюжетов и образов, он переходит к изображению живых людей, стремится показать героя-современника в его отношениях к другим людям. Словом, он решился осуществить то, что еще в 1824 году сделал другой талантливый представитель школы Жуковского, И. И. Козлов, в своей поэме «Чернец». Однако в опытах этого рода — поэмах «Борский» (1829) и «Нищий» (1830) — Подолинский потерпел полный крах.

Оба произведения, в особенности «Борский», были чрезвычайно уязвимы с точки зрения здравого смысла. Так, герой первой поэмы убивает собственную супругу и вскоре открывает, что покойница была сомнамбулой, чем и вызывались ее подозрительные ночные отлучки. Целый град самых бесцеремонных насмешек посыпался на

---

[1] «Змей» впервые появился в печати вскоре после смерти поэта («Русская старина», 1886, № 7). А. В. Цимбалистов, киевский знакомый Подолинского, вспоминал, что он читал эту повесть в 1827 г. в редакции, отличающейся от текста «Русской старины» и с пропуском целого отрывка (ПД, неопубликованная заметка Цимбалистова о Подолинском от 21 июля 1886 г.). 8 апреля 1840 г. Подолинский писал М. А. Максимовичу: «„Змей" не кончен и никогда не будет окончен, — это грех моей юности, который лучше оставить на половине» (Рукописный отдел Научной библиотеки АН УССР).

Подолинского. «Зарезать добрую жену — ни за что ни про что! — потешался Н. И. Надеждин. — Воля ваша, гг. романтики, а жаль, что не существует поэтической *уголовной* палаты!..»[1] Внезапный взрыв гнева, убийство и вслед за тем жестокие терзания совести — эту сюжетную схему «Борского» Подолинский повторил и в «Нищем», действие которого переносит читателя в Италию конца XVIII — начала XIX века. Безымянный герой произведения, как рассказывает поэма, застает свою возлюбленную наедине с неизвестным и, не долго думая, тут же сбрасывает соперника в пропасть. В мертвеце он, к своему ужасу, узнает брата.

Если в «Борском» таинственный колорит и мотив роковой обреченности предсказывали катастрофическую развязку, то события, о которых повествуется в «Нищем», происходят без всякого участия потусторонних сил. Но, как это ни парадоксально, чем больше Подолинский заботился о правдоподобии, тем больше натянутого и неестественного выступало в поведении его героя.

Подолинский был поэтом внутреннего чувства. Его камерному дарованию более всего соответствовал стиль поэзии Жуковского, передававшей смутные волнения души в картинах природы, фантастических и экзотических образах. Однако соревнование с таким гигантом, как Жуковский, было очень неблагодарной задачей. Этим отчасти объясняются настойчивые попытки Подолинского выйти за пределы родственной ему поэтической традиции. Но при этом ему не хватало, как проницательно заметил в 1834 году Белинский, ясного сознания своих возможностей, вследствие чего он «шел не по своей дороге».[2]

Между тем тяга Подолинского к изображению реальных человеческих отношений была далеко не случайной. Всегдашняя плененность чувством вызывала у поэта тревогу: она таила в себе опасность отключения разума, эмоциональных срывов, буйных вспышек. Эту тревогу задолго до Подолинского передал в своей поэзии Жуковский. Однако неуравновешенность внутреннего мира у Подолинского сказывалась куда более ощутимо. Угроза потери самоконтроля, дикой аффектации, уже непосредственно переходящей в действие, соответственно возрастала. Отсюда боязнь потерять нравственные устои, страх безумия. Отсюда же и настойчивое стремление передать бурное движение чувств в поведении человека. Стремление это не могло иметь успеха, потому что герои его поэм («Борского» и «Ни-

---

[1] «Вестник Европы», 1829, № 6, с. 151.

[2] В. Г. Белинский. Литературные мечтания. — Полн. собр. соч., т. 1, М., 1953, с. 75.

щего») были только олицетворенными чувствами, показанными в их устремлении к аффекту, чувствами, действующими без участия разума, а вовсе не живыми людьми с их неизмеримо более сложной логикой поведения. Иллюзия же реальности, которую хотел создать в этих поэмах Подолинский, разрушала цельность их читательского восприятия: удачным описательным эпизодам в обеих поэмах[1] противостояла полная несостоятельность фабульной части.

Неожиданно для Подолинского не кто иной, как Дельвиг, чьи собрания он преспокойно продолжал посещать, напечатал в «Литературной газете» убийственный отзыв о его последней поэме. Подолинский впоследствии объяснял появление этого отзыва братской заботой Дельвига о славе Пушкина. Объяснение это упрощает ситуацию, но не лишено резона. Дело в том, что как раз в это время целых три журнала — «Московский телеграф» Н. Полевого, «Галатея» С. Раича и «Сын отечества» Ф. Булгарина — вступили в открытую войну с «Литературной газетой». Не скупясь на похвалы Подолинскому, эти органы не слишком охотно вспоминали о заслугах Пушкина. Особенно отличилась «Галатея», чей совет «учиться поэтическому языку у г. Подолинского»[2] Дельвиг воспринял как попытку принизить значение Пушкина. На самом деле, утверждает Дельвиг, Подолинский — всего лишь неудачный подражатель двух-трех «любимых наших поэтов», в особенности Пушкина. В доказательство он ссылается на тот эпизод поэмы «Нищий», где ее герой сталкивает соперника со скалы, «т. е., — замечает Дельвиг, — исполняет на деле ревнивое мечтание Алеко, прекрасно высказанное Пушкиным».[3]

Нет сомнения, что масла в огонь подлила и восторженная статейка Булгарина по поводу предстоящего выхода из печати поэмы «Нищий». «Друзья мне подгадили и мос⟨ковские⟩ журн⟨алы⟩»,[4] — сетовал Подолинский уже в глубокой старости, возвращаясь к этому инциденту.

Глубоко уязвленный выступлением Дельвига, Подолинский тотчас порвал с ним отношения. Круг «Литературной газеты» в сущ-

---

[1] Одно из подобных мест в «Борском» было процитировано Белинским, отметившим, что изображенная в поэме картина вечера «вышла прямо из души» поэта (статья «Стихотворения Владимира Бенедиктова», — Полн. собр. соч., т. 1, с. 368).

[2] Рецензия С. Е. Раича на поэму «Борский». — «Галатея», 1829, № 10, с. 217.

[3] «Литературная газета», 1830, 1 апреля, с. 153.

[4] Письмо к М. И. Семевскому от 2 марта 1885 г. (ПД). Возможно, последнее недописанное слово следует читать: «журналисты» (т. е. Н. А. Полевой и С. Е. Раич).

ности никогда не был для него родственной средой. Романтизм, особенно в его крайних проявлениях, встречал здесь довольно прохладное отношение. И, по-видимому, те лестные слова, которые Подолинский слышал из уст Пушкина, означали не более чем обычный комплимент. Истинное же мнение поэта видно из его письма к П. А. Плетневу от апреля 1831 года. Говоря о том, что в стихах М. Д. Деларю нет «ни капли творчества, а много искусства», Пушкин добавляет: «Это второй том Подолинского».

Начало следующего периода литературной биографии Подолинского совпало с его отъездом в 1831 году из Петербурга. Он поселяется в Одессе, где занимает место помощника начальника VII почтового округа (Новороссийского края). Из Одессы Подолинский посылает в Петербург свои новые произведения, бо́льшую часть которых помещает в «Библиотеке для чтения». Одесский период творчества ознаменовался постепенным возвращением поэта на прежнюю дорогу. Именно на путях школы Жуковского Подолинский создал произведение, являющееся вершиной его литературной деятельности, — поэму «Смерть Пери». Напечатанная в 1837 году, она вызвала одобрительные толки в печати,[1] но не стала значительным литературным событием — скорее всего потому, что эффект новизны был ослаблен наличием другого произведения Подолинского в том же роде «восточной» мифологической поэмы. Между тем и по мысли и по исполнению «Смерть Пери» несомненно превосходила «Дива и Пери».

События, о которых рассказывает поэма, совершаются в двух мирах — небесном, где обитает Пери, и земном мире с его знойными страстями, страданиями и лишениями. Ангельский лик мифической героини ассоциируется с девственной чистотой возвышенной души. Земная любовь к человеку, по мысли поэта, несовместима с состоянием блаженной мечтательности — она требует отдачи всех чувств, в том числе и таких, которые отнимают покой и радость, приносят муки и унижения.

Герой поэмы при виде умирающей возлюбленной в отчаянии готов послать «упреки небесам», то есть бросить вызов самому творцу мироздания. Желая предотвратить грех и утешить несчастного, Пери вселяется в тело уже покойной девы, тем самым изменяя своей небесной природе и нарушая заповедь бога, запретившего небожителям

---

[1] Рецензии Ф. Кони («Северная пчела», 1837, 6 июля, с. 589—592), Сенковского («Библиотека для чтения», 1837, № 5, с. 41) и анонимный отзыв в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"» (1838, 2 апреля, с. 270—276).

вмешиваться в заботы тленных обитателей земли. Милосердие облекшейся в плоть Пери переходит в страсть. Следом за ней является ревность, которая побуждает Пери к жестокому признанию: спасенный ею юноша узнает правду об участи своей настоящей подруги и, устрашенный исступлением ее двойника, умирает.

Познание земной жизни завершается для Пери пробуждением в ней низменного инстинкта — зверской алчности. Она почти завидует орлам-стервятникам, растерзавшим труп ее любимого. Натерпевшаяся разных бед Пери в конце концов была прощена богом, даровавшим ей смерть и тем освободившим ее от оков земного праха. По смыслу этого финала истинная возвышенность и желанное спокойствие духа достается ценой сердечной бури. Как и прежде, Подолинский развернул перед читателем этой поэмы историю падения любящего, невинного и нерассуждающего сердца, но теперь эта история получила достаточно убедительную художественную трактовку. Не покушаясь на обрисовку характеров — такая задача была чужда данному типу романтической поэмы, — Подолинский соткал сложную картину образов, передающую взаимодействие и превратность чувств, — картину, которой нельзя отказать в содержательности и известной психологической тонкости.

Учителем Подолинского в изображении противоречивости чувств был, конечно, Жуковский. В произведениях Жуковского оно всегда освещалась светом нравственной философии, чем обусловливалась четкая дифференциация праведных и грешных чувств. Не порывая с этой философией до конца, Подолинский подошел вплотную к ниспровержению ее догматического содержания. Об этом, между прочим, свидетельствовало выдвижение на первый план проблемы праведного греха. Это был показательный симптом времени.

Диалектика превращения добра и зла в 30-е годы становится одной из ключевых проблем поэзии Лермонтова. Нечто подобное являет и произведение Подолинского. Кстати говоря, символические образы поэмы с ее контрастами земли и неба, духа и плоти, вечного и тленного — все это также напоминает Лермонтова, в частности его раннюю поэму «Ангел смерти» (1832).

Из произведений Подолинского одесского периода достойны внимания «Отчужденный», «Переезд через Яйлу» и «Дума». В последнем отчетливо прозвучали мотивы сомнения и убийственного разочарования.

«Переезд через Яйлу», носящий подзаголовок «Памяти А. С. Пушкина», дает наглядное представление о характерном для Подолинского методе романтического абстрагирования. Любопытно, что из опыта личного общения с Пушкиным он здесь решительно ничем

не воспользовался. Стихотворение переносит читателя в горы Тавриды, то есть опять в атмосферу «восточной» экзотики. Образ Пушкина внезапно оживает посреди девственной природы, в дымке легенды.

Выход в 1837 году двухтомного собрания стихотворений и поэм Подолинского поднял его литературный престиж прежде всего как лирика. В печати высказывались даже мнения о том, что «мелкие его стихотворения могут считаться перлами нашей поэзии», а «стих его может смело стать подле стихов Пушкина и Жуковского».[1] Тогда же Ф. А. Кони объявил Подолинского первым наследником Пушкина «по звучности и стройности стиха и по богатству воображения».[2]

Конец 30-х — начало 40-х годов ознаменовались для поэта еще рядом удачных стихотворений, после чего в его работе наступает заметный спад. Оставаясь романтиком чистой воды, он не смог проникнуться новыми интересами, которые внесли в литературу 40-е годы. Исчерпав в значительной мере свои творческие ресурсы, Подолинский прекратил печататься.

В конце 50-х годов, дослужившись до действительного статского советника, он ушел в отставку и поселился в своем наследственном имении Ярославка (Киевской губернии), где окунулся в хозяйственные и семейные заботы.

В 1860 году, в канун крестьянской реформы, в разгар ожесточенной идейной борьбы, расколовшей общество на враждующие партии, поэт неожиданно выступил с двухтомным изданием своих сочинений. Символические декорации, условные художественные образы, которые культивировал романтизм 20—30-х годов и которые в изобилии представлены в произведениях Подолинского, были оценены демократической критикой как никчемный и вредный анахронизм. Наиболее беспощадным был отзыв Добролюбова.

Говоря о Подолинском, он имел в виду не только его, но и тех поэтов, творчество которых было отрешено от жгучих вопросов современности. Подобные художественные явления были ему глубоко враждебны, даже если они принадлежали совсем другой литературной эпохе. Увесистые тома стихов Подолинского можно было понять как попытку вернуться в литературу. Все это и предопределило разгромный характер добролюбовской рецензии.

---

[1] Анонимная рецензия на «Повести и мелкие стихотворения» А. Подолинского. — «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», 1838, 2 апреля, с. 274.

[2] Рецензия на «Смерть Пери». — «Северная пчела», 1837, 6 июля, с. 592.

Подолинский не устраивал критика ни своим миросозерцанием, ни своей художественной манерой. Находя во всех его произведениях «воображение и чувство, направленные совершенно фантастически и оторванные от всякой почвы»,[1] Добролюбов рассыпает по статье иронические замечания о склонности Подолинского к «мирной идиллии», к «умилению, восторгу и всем симпатическим чувствам».[2]

Исходный пункт рецензии Добролюбова, скрепляющий почти всю цепь ее рассуждений, — это утверждение, что Подолинский — подражатель Байрона.

Доказывая ничтожность дарования Подолинского, Добролюбов по сути дела измеряет его творческие возможности талантом и миросозерцанием Байрона. Но, оперируя таким высоким критерием, Добролюбов мог бы перечеркнуть не только поэзию Подолинского, но едва ли не весь русский романтизм 20—30-х годов. Само же утверждение о том, будто Подолинский только и делал, что влекся по следам Байрона, лишено было всяких доводов. Но если снимается тезис о Подолинском как ревностном подражателе Байрона, то рушится почти вся аргументация статьи. Байрон остается Байроном, а Подолинский небольшим, очень неровным, но все же привлекательным и талантливым поэтом, характерным отголоском своего времени. Таким образом, статья Добролюбова интересна прежде всего как документ литературно-общественной борьбы конца 50-х — начала 60-х годов, автор которого, однако, совсем не входит в сферу творчества Подолинского как явления абсолютно чуждого ему.

Обескураженный уничтожающими оценками критики, Подолинский опять надолго замолкает. Правда, с поэзией он распроститься не мог, но почти все написанное им в 60—70-е годы осталось в рукописи. Среди произведений того времени совсем нет поэм. В большинстве своем это небольшие стихотворения; несколько из них написано на злобу дня. Подолинский отзывается на события, происходившие в политическом мире России и Западной Европы, в частности пишет сатиру «Багряновидная заря», и, как и прежде, вступает в область, недоступную его дарованию. И лишь изредка былой лирический настрой придавал его поздним стихам неподдельную свежесть и взволнованность чувства. Наглядным подтверждением сказанному может служить стихотворение «Под необъятным сводом

---

[1] Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в девяти томах, т. 6, М., 1963, с. 184.

[2] Там же, с. 183, 180.

неба...» (1879). Это была, видимо, последняя творческая удача престарелого поэта.

В 1885 году Подолинским, как живым экспонатом давно минувшей эпохи, заинтересовался журнал «Русская старина». Здесь по просьбе редакции была напечатана автобиография поэта и целое собрание его неопубликованных стихотворений, большей частью написанных в старости. Личные огорчения (Подолинский пережил помешательство сына и его смерть), а также рост пессимистических настроений в русском обществе конца 70-х — начала 80-х годов сгустили скорбные звуки его поэзии. Умер Подолинский восьмидесятилетним стариком 4 января 1886 года в Киеве.

211. ЖРЕБИЙ

К чему печальное сомненье?
Загадка жизни решена...
Мне указало провиденье,
Какая участь мне дана!
Любви, и славы, и свободы
Люблю таинственный призыв,
И для меня язык природы
Обилен и красноречив!..
Ему внимая, сердце бьется
Всей жизнью юною своей,
И тихо из души моей
Сама собою песня льется.
Предав судьбе мой светлый век,
Я об одном молю у рока,
Чтоб умереть не мог до срока
Во мне поэт и человек!

⟨1827⟩

212. ПРЕДВЕЩАНИЕ

Кто бросился в Волхов с крутых берегов?
В реке заклубилася пена,
В реке зазвенело... Не звон ли оков?
Наверное, беглый из плена!

Нет, беглый не будет с мечом и в броне,
У пленника сбруи не стало!
То кто-то из наших плывет на коне...
Зачем же надвинул забрало?

Он крепок, он молод, он волны сечет
С прямой богатырской отвагой,
И конь его сильный отважно плывет
И брызжет кипящею влагой.

Уж поздно — и туча легла как свинец,
По Волхову ветер гуляет,
Откликнулся ворон, — торопися, пловец,
Недоброе ворон вещает!

Вот конь погрузился, тяжеле плывет, —
Но берег другой недалёко,
Храпит и дрожит он, и разом из вод
На берег взлетает высокой...

Вздыхая вольнее, он буйно заржал,
Взмахнул он косматою гривой
И бодрый, как прежде, по кочкам помчал
Седока удалого ретиво.

К недальному бору подъехал ездок,
Окрест и темно всё и глухо,
Порою болотный блеснет огонек,
Ничто не доходит до слуха.

Чем дале, всё гуще и сумрачней бор,
Нависнули сосны да ели,
Как видно, не сек их бесщадный топор
И люди их тронуть не смели.

Конь тяжко ступает, нет более сил,
Дрожат, подгибаясь, колена;
Вот стал он упрямо, и каплет с удил
И кровь и багровая пена...

На землю ступил поневоле седок,
Коня он ведет за собою,
Но путь ему труден — всё пни и песок,
Да иглы хрустят под ногою.

Вдруг ветер ударил, и облаком дым
И свет разливаются всюду,
Послышался голос: «Куда ты, Вадим?
К добру ты пришел или к худу?»

«Иду я совета искать у волхва, —
Пришелец ответствует смело. —
Проник он все тайны, вещает молва,
Так сам угадает, в чем дело».

Сказал он, и ветер затихнул, и вмиг
Рассеялось облако дыма,
И тихо подходит столетний старик
И взором пытает Вадима...

Расцвечена чудно одежда на нем,
Брада серебрится, как иней,
Чело ж осеняет летучим венцом
Огонек то румяный, то синий.

«Вадим! ты узнаешь, всеведущ ли я
И тщетно ль мне верят народы,
Покорен мне воздух, покорна земля,
Проник и в огонь я и в воды.

Что прежде сбылося, что будет вперед,
Всё знаю в пустыне безлюдной,
О чем ты замыслил и что тебя ждет,
Проведать, увидишь, нетрудно».

И шепчет гадатель, и, круг очертя,
Медвежьей махнул рукавицей,
И птицы отвсюду, шумя и свистя,
Слетаются бурной станицей.

«Теперь всё готово, — промолвил старик, —
Всю правду нам выскажут птицы,
Тебе же понятен их будет язык,
Пока не шагнешь за границы».

И витязь вступает в таинственный круг,
Ему как бы стало страшнее,
Он ждет предвещанья, волнуется дух,
И сердце забилось сильнее.

Сокол

Коршун хищный! плавным кругом
Так высоко не летай,
Дай нам встретиться друг с другом,
Сил со мною попытай!
На тебя, ширококрылый,
Я ударю всею силой,
И по ветру я вокруг
Размечу твой серый пух;
А не то, во мраке ночи,
Если сном смежишь ты очи,
Неожиданный паду,
Где б ты ни был, я найду!

Сова

Нет! и в сумраке ночей
Ты под властию моей,
Сокол, ночью всюду я
За тобой, как тень твоя;
Ты от взора моего
Не укроешь ничего;
Ночью всё подвластно мне, —
Будь твой недруг хоть во сне,
Пробужу я вмиг его
До прихода твоего...

Ворон

Чья мне слышится кровь?
Где-то двое врагов!
А! коршун и сокол сшибаются вдруг,
По воздуху вьется разбросанный пух...

Жарок бой в вышине,
Кто ж достанется мне?
Вот ударил один, вот ударил другой,
Взвивается коршун, и кончен их бой, —
Сокол, сокол, твою
Кровь я досыта пью!

Умолкнули птицы — исчезнул старик,
Вполне совершилось гаданье,
Но витязь безмолвен, челом он поник,
Не в радость ему предсказанье!

Вот утро блеснуло, конь весело ржет,
Но витязь не внемлет и шуму,
Вадиму печален и солнца восход —
Он крепкую думает думу...

⟨1828⟩

213. ПОРТРЕТ

Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: гурия пророка
С небес на землю сведена!
Коса и кудри темно-русы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей,
И тихий звук ее речей
Рождает негу и желанья
В груди тоскующей моей.

1828

214. К ***

Везде преследовать готова
Мечта ревнивая тебя,
И, будто праздника святого,
С тобою встречи жажду я.
Но сердцу в тягость встреча эта,
Как зной томительного лета!
На очи мне палящий взгляд
Наводишь ты без состраданья,
И при тебе одни желанья
В груди трепещущей кипят!
Так ночью летнею младенца,
Земли роскошной поселенца,
Звезда манит издалека,
Но он к ней тянется напрасно, —
Звезды блестящей и прекрасной
Не досягнет его рука!..

1828 или 1829

215. ОТВЕТ

Не говори: завиден дар
И вдохновение поэта, —
Не вечен в нем священный жар,
Им грудь не часто разогрета!
Как много дней цветущих он
В бесплодных замыслах утратит,
И редко вдохновенный сон
Его создания освятит.
В мир необъятный, в мир иной
Перелетя воображеньем,
На мир существенный с презреньем
Глядит как житель неземной.
И часто грудь его страдает:
Не зная радостей земных,
Он их надменно отвергает,
А заменить не может их.

⟨1829⟩

216. ПРИРОДА

Цветет она розой, летит мотыльком,
В дубровах, в долинах поет соловьем,
Могучей пятою колеблет гранит
И брызгами в пропасть с утеса летит.
Из снов развивает блестящую цепь,
Дыханьем волнует песчаную степь,
Сливает свой голос с напевом духов
И радугой блещет в дыму облаков.
Над бездной воздушной чертог создает,
И мысль человека и сердце зовет,
Но видима всюду, но всюду слышна,
Лишь изредка манит и кличет она:
Кто ж близко подходит, познаньем томим,
Волшебница бездну разверзнет под ним!

⟨1829⟩

217. БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Узник ждет конца неволи,
Ждет малиновка весны,
Я не жду ни лучшей доли,
Ни весенней тишины.

Путь свершаю понемногу
По дороге бытия,
День прошел — и слава богу,
Если слез не пролил я,

Если долгое забвенье
Глухо на душу падет,
Если в темном отдаленьи
Тень минувшего блеснет.

Но когда во мраке ночи
Слышу страстный разговор
И любовью полны очи
Встретит мой потухший взор —

Сердцу грустно, сердцу больно,
Камнем на́ сердце тоска —
И к очам тогда невольно
Подымается рука...

Пусть же так, как волны в Лете,
Охладеет в сердце кровь,
Чтоб забыл я, что на свете
Есть и дружба и любовь!

⟨1830⟩

218. К «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» Б⟨АРОНА⟩ Д⟨ЕЛЬВИГА⟩

Не для большого ты числа,
А ради дружбы выходила;
Где колыбель твоя была,
    Там и могила!

1830

219. СОНЕТ

(Ю. И. Познанскому на перевод сонета Мицкевича «Do Laury» [1]*)*

Любовь он пел, печалью вдохновенный,
И чуждых слов не понял я вполне,
И только был напев одноплеменный,
Как томный взор, как вздох, понятен мне.

Но ты постиг душою умиленной,
Что звуков тех таилось в глубине,
И скорбь души, страданьем утомленной,
Отозвалась и на твоей струне.

---

[1] «К Лауре» (польск.). — *Ред.*

И я внемлю понятному мне звуку,
Как бы внимал страдальцу самому,
И я б хотел с участьем брата руку

При встрече с ним хоть раз пожать ему, —
Мне тот не чужд, кто знал любовь и муку
И кто их пел по сердцу моему.

⟨1831⟩

220. СОНЕТ

Не потому томительным виденьем
Во снах твоих блуждает образ мой,
Что, может быть, с тоскою и волненьем
Ты обо мне подумаешь порой,

Но оттого, что часто с напряженьем,
В ночи без сна, к тебе стремлюсь мечтой,
И увлечен я весь воображеньем
И с сном твоим сливаюся душой.

Прости меня! Невольной, неизбежной,
Я предаюсь мечте моей вполне,
Я бы хотел, чтоб призрак мой мятежный

Не говорил о милой старине, —
Но ты простишь: не ты ль сама так нежно
Об этих снах рассказывала мне!..

⟨1831⟩

221. ОТЧУЖДЕННЫЙ

1

Как дневной смолкает шум,
Как лазурный свод темнеет,
Над землей незримо веет
Тихой жизнью ангел дум!..

В эту сладостную пору,
Как в священной тишине,
Предстает природа взору,
Безмятежная во сне,
Страсти буйное безумье
10 Далеко бежит души,
И таинственно раздумье
Сходит нá сердце в тиши!
В это чудное мгновенье
Есть неясная печаль,
Есть неясное стремленье, —
Будто сердце рвется вдаль,
Будто хочет породниться
В целом мире с чем-нибудь,
И вдвойне больная грудь
20 Одиночеством томится.

2

Одинокий гость земли
Зрит ли звездочки вдали,
Как они меж облаками
Блещут яркими четами,
Иль, задумчив, смотрит он,
Как, всходя на небосклон,
И любви и неги полный,
Лобызает месяц волны
Иль следит за ветерком,
30 Как он вьется над цветком,
Как в таинственном лобзанье
Пьет душистое дыханье...
Жизнь их сладостная в нем
Не горит живым огнем!
Он, душою отчужденный,
Их союза не поймет:
Для души уединенной
Мир прекрасный не живет.

3

Но когда, благословенны
40 Вседержавною рукой,

Две души союз священный
Заключат между собой,
Как огонь любви согреет
Их волшебной теплотой,
Откровение повеет
Вмиг над любящей четой, —
Тайны те, что схоронила
Грудь природы глубоко,
Вдохновительная сила
50 Разрешает ей легко.
В лоно пламенных объятий
Двух любовников как братий
Мир приемлет, — и тогда
С ними жизнь его слита:
Звезд и месяца сиянье,
Шум дерев и говор вод,
И цветов благоуханье —
Всё им голос подает,
Всё в них жизнь переливает,
60 Как с природой их одно
Навсегда соединяет
Неразрывное звено.

4

Под навесом зыбкой сени,
Где цветущие сирени
Наклонились головой
Над дерновою скамьей,
Слышен голос:
«Что, мой милый,
Смотришь в очи мне уныло?
Что мне руку пожал ты?»

Он

70 Друг мой, грустные мечты
Взволновали вдруг мне душу.

Она

Что ж? Скажи!

Он

Зачем нарушу
Грустной мыслию моей
Сладкий сон души твоей?..

Она

Ты печален: почему же
Мне печальною не быть?
Радость я делю: кому же
И печаль с тобой делить?

Он

Так взгляни ж на это море,
80 Как роскошно на просторе
Блещет тканью золотой,
Озаренное луной!
Что же, если б перл вселенной,
Неожиданно, мгновенно,
Месяц на небе потух
И упал на волны вдруг
Мрак несходный и угрюмый?

Она

Отчего же этой думой
Ты глубоко поражен?..

Он

90 Ею был перенесен
Я к другой мечте мятежной.
Я тебя, мой ангел нежный,
С этим месяцем сравнил;
Что б мне мир прекрасный был,
Если б снова я душою
В нем остался сиротою,
Если б (страшная мечта!)
Эти очи и уста...

Она

Что ж печалиться, мой милый?
100 *Жизнь верна и за могилой.*

Не равно ли, здесь иль там?
Лишь бы жить не розно нам!

О н

Верю, верю упованью!
Но за гроб одним путем,
К замогильному свиданью,
Всё ж не вместе мы пойдем.
Молод я, во цвете силы:
Мне далёко до могилы!
Ты же жизнию — цветок,
110 Юных дней твоих поток
Унесет одно страданье,
Как уносит ветерок
Жизнь цветка — благоуханье.
О, коль это испытанье
Суждено мне в цвете лет,
Я, клянусь, тебе вослед
Землю грустную оставлю,
И, свободною душой,
Где б ты ни была, направлю
120 Мой полет я за тобой!

Он замолк; она молчала,
Но к груди его припала
Чернокудрой головой,
И, храня следы печали,
Очи тихие сияли
Умиленною слезой.

5

Есть предчувствие — я верю,
Невозвратную потерю
В нас душа предузнает:
130 Вот сирень еще цветет
Над скамьей уединенной, —
Что ж тропою потаенной
В час, как ночи тень падет,
К ней никто уже нейдет? . .

Не придет опять младая
Нам знакомая чета!

В злом недуге угасая,
Вот на ложе смерти та,
Чьи давно ль во мраке ночи
140 Пламенели негой очи,
А теперь при блеске дня
Будто звезды без огня.
Вот и он, друг сердца милый,
Неподвижный и унылый,
На коленях у одра.
Он следит, как жизнь в ней вянет,
Но не верит, что настанет
Сердцу страшная пора!

Не спасла любовь и вера,
150 Мук земных свершилась мера, —
Сна могильного крыло
Осеняет ей чело.
И на долгую разлуку
Холодеющую руку
Другу подала она:
Жизни дрогнула струна, —
И душа, подобно звуку,
На невидимых крылах,
Утонула в небесах.

160 Есть пределы упованьям!
Вот с отчаянным рыданьем
Он упал у хладных ног,
Вдруг у ног пахнул одеждой
Перелетный ветерок.
Вспыхнул юноша надеждой:
К ней! .. зовет... Обман жесток!
Безответен зов бесплодный.
Неподвижен труп холодный,
Очи, перси и уста —
170 Всё замолкло навсегда.

И безумно страшным взором
Обратился он с укором

К отдаленным небесам,
Но светло всё было там,
Синева небес сияла,
Божьих ангелов семья
Хором в рай сопровождала
Душу чистую ея...

6

Выпал жребий неизбежный!
180 И любовник молодой
Клятвы страшной, клятвы нежной
Сохранил обет святой.
Мир безлюдный, мир печальный
Для него пустыней стал;
Там, в лазури, ясной, дальной,
Мир иной страдальца звал.

И пришел он вновь под сени,
Где душистые сирени
Наклонились головой
190 Над дерновою скамьей.
Но уж сердце в нем хладело:
Клятву он свершил свою, —
И бесчувственное тело
Тихо пало на скамью.

7

Как из храма пар душистый,
Как молитвы голос чистый,
Окрыленна и вольна,
Новой жизнию полна,
Сумрак ночи рассекая,
200 Понеслась душа младая, —
И пред нею всё ярчей
Звезды вдоль небес блистали
На невидимых крылах
И к желанной цели ей
Ясно путь обозначали...
И прекрасная заря,
Блеском розовым горя,
Вдалеке пред ней сияла, —

Будто солнцев легион,
Слитый вместе, озаряла
210 Отдаленный небосклон.
«Вижу, вижу край желанный,
Край любви обетованный,
И заране узнаю:
Там найду любовь мою!»
Вдруг невидимая сила
Крыл полет остановила.
И оттуда, где светло
Небо розами цвело,
Что-то тихо отделилось
220 Искрой ярко-золотой
И над тенью молодой
Светлым облаком спустилось.

8

Разошелся дым златой,
И сквозь пар душистый дыма
Блещет образ серафима
Златокудрый и младой.
«Тень преступная, куда ты?
Рая в светлые палаты
Не достигнешь ты к вратам,
230 Ты не бога любишь там,
Но любовь свою земную
Переносишь в жизнь иную, —
И на казнь обречена
Эта тяжкая вина!
Между небом и землею
Осужден ты жить душою;
Ты с земли отторг себя, —
Рай чуждается тебя!»

9

Отчужденною душою,
240 В целом мире сирота,
Между небом и землею
Он живет. Идут лета, —
И не раз ему, случалось,

В хоре ангелов сдавалось,
Милый голос слышал он...
О, как сильно этот звон
И мучительным желаньем,
И тоской, и упованьем
Душу бедную смущал!
250 Крылы вновь он развивал,
Но невидимые силы
Останавливали крылы
И на грустный край земли,
Беспощадные, влекли.

⟨1836⟩

222. ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ

Невидимкою слетая
В заполунощной тиши,
Чаровница молодая,
Не тревожь моей души;
Пощади меня, сильфида,
Я страшусь любви твоей,
Отомщает эвменида
Каждый звук твоих речей!

Нет! волшебница не внемлет —
Приближается она...
Грудь, я чувствую, объемлет
Животворная весна,
Аромат во мраке вьется,
Арфа в воздухе звучит,
Звон роскошно в душу льется,
Будто ангел говорит!

«Снова ль резвою игрою
Хочешь сердце обмануть,
Обольстить меня мечтою,
Упованием блеснуть?
Нет! молю, в залог свиданья

Вырви слезы из груди,
И хоть жизнь воспоминанья
Прежде сердцу возврати!»

Ты... Но жертвенник разбитый
Кто опять восстановил?
Огнь угасший, огнь забытый
Мимолетом оживил?..
В ризе пара голубого
Предстоящий мир бежит,
И доступным раем снова
Мир минувшего открыт!

Те цветы, что рано свяли,
Что бессильною росой
Тщетно слезы окропляли,
Оживают предо мной;
Снова пышны, снова блещут,
Вновь музыка-аромат,
Звуки в лоне их трепещут,
В звуках образы кипят.

Кто вы, райские виденья,
Девы чистой красоты?
Не из царства ль вдохновенья
Воплощенные мечты?
То сквозь сумрак арфы ваши
Блещут солнечным лучом,
То рубиновые чаши
Звезд трепещущих огнем...

Долу, дивные, коснулись,
Блещут, вьются вкруг меня,
На призыв их встрепенулись
Перси, полные огня;
Под влияньем вдохновенным
Чаш, и звуков, и цветов
На треножнике священном
Вновь я жертвовать готов...

Но зачем огонь бледнеет,
Пар бежит от алтаря?
Не прохлада ль утра веет,
Не блеснула ль там заря?
Чьи пронзительные крики
Воздух воплем потрясли,
Что за пасмурные лики
Появилися вдали?

Сквозь последний сумрак ночи
Узнаю предтечей дня,
Их пронзительные очи
Леденят и жгут меня;
Гаснет пламень вдохновенья
Под размахом бурных крил,
И святые песнопенья
Дерзкий хохот заглушил!

Разом смолкнули напевы,
Стихнул пиршественный звон,
Прочь испуганные девы
Разлетаются, как сон;
Тщетно их молю и кличу —
Утопают в блеске дня,
И мучителям в добычу
Беззащитно предан я!

Сдвинут вихрем ядовитым,
С громом жертвенник мой пал,
Звон по арфам позабытым
Разногласный пробежал,
И, с предсмертным содроганьем,
Отлетает жизнь струны,
И язвительным дыханьем
Вновь цветы поражены.

И — двойник неумолимый —
Кто-то слух терзает мой
И насмешкой нестерпимой,

И бездушной клеветой;
То замру я, леденея,
То очувствуюсь в огне,
Будто коршун Прометея
Разрывает сердце мне!

⟨1836⟩

223. СМЕРТЬ ПЕРИ

1

Гневен, мрачен и могуч,
На крылах громовых туч,
Донебесным великаном
Над песчаным океаном,
Ураган во мгле ночной
Встал, — и Нил зовет на бой!

Под размахом вражьих крыл
Ото сна воспрянул Нил.
Злостью грудь его трепещет,
Рвется, пенится и блещет
Волн сердитых чешуей,
Как змея своей броней.

Сшиблись! Ужас и краса —
Эта битва! .. Небеса
И земля гремят и стонут,
То в пыли и мраке тонут,
То при молниях вокруг
Скачут брызги как жемчуг.

Рев и гул и вой окрест! ..
Как орел, вскружась до звезд
И бросаясь с небосклона,
Вихорь волны бьет с разгона
И в растерзанный поток
Сыплет громы и песок.

Всей громадой бурных вод
Бездна Нила восстает,

Будто пастью крокодила
Пыль и громы поглотила,
И над ними, как скалы,
Снова сдвинула валы.

Вдруг, собрав остаток сил,
Вихрь полстепи закружил —
И упал. Из крутояра
Волны силою удара
Вышиб прочь — и с двух сторон
Их, как рать, рассеял он.

Необуздан, в города,
В села, в рощи, на стада
Гонит бурные разливы,
Рвет деревья, топит нивы
И во глубь своих песков
С торжеством уходит вновь.

2

Лучом животворным зарю зажигая,
Дух света незримый парит над землей,
И, в пурпур прозрачный лазурь одевая,
Рубины и перлы он сыплет росой,
Облака из дыханья цветов образует,
В серебре их купает и как море волнует.

Одетая тучей, черна как в ночи,
Гроза убегает на скат небосклона;
Но, сыплясь с востока, во глубь ее лона,
Как стрелы, несметно вонзились лучи,
И будто бы кровью из ран облитая,
Падет, закрасневшись, громада седая.

И там, где дух бурь рассыпался огнем,
Где ангелы мрака в громах окликались,
Волна за волною лучи разыгрались,
Сверкая в пространстве небес голубом,
И вспыхнуло небо в разливах сиянья,
Светло и спокойно, как в утро созданья.

8

Взгляни ж на землю! Вот она —
Как из насильственных объятий
Освобожденная жена,
Борьбы и ужаса печати
Еще с прекрасного чела
Она изгладить не могла.
Коса и локоны развиты,
Глаза в слезах, уста раскрыты,
И тщетно силится вздохнуть
Ее истерзанная грудь.

Подобный вид земля явила
На берегах обширных Нила,
С волнами, вихрем и грозой
Изнеможенная борьбой.
Как будто ризою раздранной,
Она оделась в пар туманный,
Но всюду раны виден след,
Где ни пробьется утра свет:
Там волны бурного потока
Ей грудь изрезали глубоко,
Здесь гром рассек ее чело,
А тут власы ее кудрявы,
Ее зеленые дубравы,
Грозой всклочило и пожгло.
Напрасно в блеске грани чудной
На луг недавно изумрудный
Кристаллы сыплются росы:
Как будто лезвием косы,
Обезображенный набегом
И мутной влаги и песков,
Предстал он взору грустным брегом
Без аромата, без цветов.
Нигде, как прежде, не толпятся
На тучных пажитях стада,
И кущи сел и города
Окрест в развалинах дымятся.

. . . .

О, если б с ближней пирамиды
Взглянул в ту пору кто-нибудь,

Какой тоской окрестны виды
В нем возмутили б ум и грудь!
Разрушен бранью вековою,
Печален край, свидетель сеч;
Но здесь не брань, не огнь, не меч —
Здесь божий гнев прошел грозою!
Тот гнев-каратель, кто кругом
Равно цветы и пальмы косит
И без ошибки мстящий гром
На обреченного приносит
И в самом сумраке ночном.

4

Там, где лотоса цветами,
Разнесенными грозой,
Как блудящими звездами,
Нил усеян голубой,
Где то вскроется могила,
То гора встает из волн,
Без весла и без кормила
Ветер носит легкий челн.

В челне дева молодая
В пышной ризе и цветах,
Перевита дорогая
Цепь в густых ее кудрях;
Но с нарядом несогласна
Бледность смертная лица.
И поникнул лик прекрасной
К персям юноши пловца.

В их очах — туман испуга;
Но любовь еще сильна,
И не вырвет друг у друга
Их ни вихорь, ни волна.
Будто скованы их руки,
Мысль одна у них в груди:
Жизнь ли, смерть ли впереди,
Только б не было разлуки!

Вдруг огромный и крутой
Вал пловцам навстречу хлынул,
Челн, как пух, из бездны вскинул
На хребет высокий свой.
Он несет их, полных страха,
Между безднами кружит
И у берега с размаха
Ношу бросил на гранит.

5

Из родины чудес, где Инда льются воды,
Где густо разрослись священных рощей своды,
Где, жарко некогда кипевшее в огне,
Остыло золото в нагорной глубине,
И яхонт и алмаз наводят мысль, что боги
Развалинам свои там предали чертоги, —
Поднявшись от цветов на крыльях ветерка,
Чуть видны, плавали в лазури облака.

Как, в бархате ковров роскошно утопая,
Гарема пышного царица молодая,
Когда вокруг нее туманом голубым
С курильниц дорогих душистый вьется дым,
И пламенного сна, подобную виденью,
Ее прозрачною окидывает тенью, —
Так Пери, при луне, в безмолвии ночном,
Летящих облаков обвита серебром,
Беспечно вверившись воздушному их лону,
Несется, легкая, как звук по небосклону.

И виденье вслед виденью
Развиваются пред ней,
То окинутые тенью,
То в сиянии лучей:
Вон, как скатерти шелковы,
Видны темные дубровы
И озера в их глуши,
Будто сребряны ковши;
По краям холмов вершины
Озаренные стоят,

Словно духи-исполины
За трапезою сидят.

Вон степь — урагана широкое ложе,
Сама золотая при блеске лучей,
А скалы нагие пестреют на ней,
Как черные пятна по барсовой коже.
Потоки меж ними как змеи скользят
И в области смерти о жизни звучат;
И пальмы, внимая призванию их,
Сошлися толпою у струй голубых
И смотрят с курганов на волны песчаны,
Кивая косматой своей головой,
Как будто бы кличут к себе караваны,
Чтоб дать им защиту в полуденный зной.

Степи резким рубежом,
Горы сдвинулись кругом;
Их подошву омрачая,
Морем туча громовая
Вдоль гребнистого чела
Необъятная легла.
И как остров, возникая
Из среды туманной мглы,
Здесь торчит хребет скалы,
Дальше льдина вековая, —
И мелькают при луне
В чудных образах оне:
То хрустальный блещет терем,
То грозит седой колосс,
То под тенью страшным зверем
Поднял голову утес.

За ними — бездна голубая,
Подобна блеском небесам,
Трепещет в ней луна другая,
Другие звезды блещут там.
Но как огромными крылами
Над ними вея парусами,
За кораблем корабль бежит,
Разочаровывая вид, —

Меж двух небес, в пучине света,
Они на дышащем стекле
Скользят как тень, как у поэта
Земная дума на челе.

И вот исчезло всё: дубровы, степи, море,
И Пери носится высоко на просторе,
И гимн ночных светил ей слышен издали́.
Но грань положена меж неба и земли.
Немея, крылья там земные тяготеют,
И ангелы ее переступить не смеют,
С тех пор как прелести и ласки дев земных
Преступно увлекли прекраснейших из них,
Чтоб, свергнуты с небес, лишенные сиянья,
В тоске мучительной, в мольбах без углованья,
Несбыточных надежд влачили грустный век
И плакали о них, как плачет человек.

Но мысли, Эдема лучи золотые,
Бессмертьем зажегшие грудь,
Летят без преград за пределы земные,
В обратный на родину путь:
Их манит сиянье родного потока,
Им грустно в темнице светить одиноко, —
В источнике света хотят утонуть.
И пламенной мыслью приблизилась Пери
К заветным эдемским дверям,
Но страшно и мыслью проникнуть за двери:
Судья ей, преступнице, — там!
Ей чудятся хоры, небесные звуки;
Волнуется море сиянья кругом:
О, сколько отрады, и грусти, и муки!..
Улыбка блеснула — и слезы ручьем!
И пали на грудь ей их жаркие волны.
Из сердца уходит пленительный сон,
И, холодом вея, пустынный, безмолвный,
Опять ее обнял земной небосклон.

Свой блеск последний звезды мещут;
Но там, вдали, кипят и блещут
Живые волны янтаря.

И, бледным золотом сияя,
Полнеба тихо обнимая,
Как море, льется там заря.
И облака, что в ночь носились
Высоко с Пери молодой,
Светлея, долу опустились,
Как бы влекомые зарей;
Сперва над влагой золотистой
Катились пеной серебристой,
Потом, повиснув над землей,
В хрустальный замок превратились,
И вдруг в сияньи растопились
И пали радужной росой.

И, блестящие росою,
Над поверхностью земною,
Пери тихо развила
Светозарных два крыла.
Но какой земли равнина
Ей открылась с высоты?
Роз ли видны Низибина
Снежно-белые кусты?
Иль горят огнем рубина
Кашемирские цветы?
Не родных ли волн Гангеса
Слышен шум под сводом леса,
Или плещет Иордан,
И вдали, огромной тучей,
Кедров бор неся дремучий,
Подымается Ливан?

На цветы, леса и волны
Пери взор, вниманья полный,
Долго тщетно устремлен:
Их узнать не может он!
Вдруг на скате небосклона
Солнце вспыхнуло — и вот
На высокий лик Мемнона,
Как блестящая корона,
Первый луч его падет.
Грудь немая истукана
Теплотой оживлена,

Звуком громкого тимпана
Содрогнулася она.
Цепью дальних гор и долом
Прокатился чудный звон,
И царя степей глаголом
Край окрестный пробужден.
С вековых гробниц пустыни
Утра пар слетает синий,
Отблеск дня передает
Пирамиде пирамида,
И с вершины их падет
Яркий свет в лазурь Мерида,
Где, разлив дневных лучей
Возвещая громким криком,
В тростнике проснулась диком
Стая вольных лебедей;
Звучно их плеснули кры́ла,
С шумом стая поднялась
И к волнам раздольным Нила
Светлой нитью понеслась.

6

И Пери вслед за лебедями
Кружит над нильскими водами.
Но сжата грудь ее тоской!
Увы, печальнее кладбища
Луга, и нивы, и жилища,
Опустошенные грозой
И Нила бурною волной.
И прочь от грустного предела
Уже лететь она хотела.
Вдруг тихий плач сквозь говор вод
Остановил ее полет,
И Пери видит раздробленный
Об острый камень и песком
До половины занесенный
Челнок на береге крутом.

Вблизи, под кручью скал, на каменных ступенях,
И бледен и уныл, как призрак гробовой,
Склонился юноша: на трепетных коленях

Покоя голову подруги молодой
И очи устремя в ее недвижны очи,
Он тихо шепчет ей: «Звезда моя, взгляни!
Рассей холодный мрак моей сердечной ночи,
Из розы нежных уст любовию дохни!..
Скажи, что ты живешь!.. Я чувствую, я верю —
Две страстные души взаимную потерю
Заране узнают: в грозу, под громом вод,
Я б сердцем услыхал души твоей полет!»

Мольба напрасная! Покрыты
Могильной бледностью ланиты
Прекрасной девы; взор потух,
Словам любви не внемлет слух;
Ни разу грудь не встрепенется;
И только кровь из ран ея,
Где вгрызлись камней острия,
Полузапекшаяся льется!

И с громким воплем обхватил
Труп девы юноша несчастный,
Прижал к груди безумно-страстно,
Уста к устам ее склонил,
Как будто пламенным дыханьем,
Как будто огненным лобзаньем
В ее бесчувственную грудь
Хотел всю жизнь свою вдохнуть.
Надежда тщетная!.. Свалился
Тяжел остывший труп немой,
Лишь на плече остановился
Окостенелою рукой,
Да заструившись, как живая,
Коса рассыпалась густая,
Блестя при солнечных лучах,
Как ключ сверкающий в горах.

Ожесточенный, мрачный, злобный,
Стреле отравленной подобный,
Страдалец бросил к небу взор, —
Немой, но дерзостный укор!
Взглянул на труп — и, полный муки,

Еще к пылающим устам
Прижал уста, и грудь, и руки...
И пал без чувств к его ногам.

7

Состраданием и страхом
Пери вдруг поражена;
Близ страдальца пред Аллахом
Пала ниц в слезах она.
«О, пошли ему, — молила, —
Мира ангела, Алла!
Скорбь в нем веру погасила,
Разум страсть превозмогла!
Не даруй — да грешный ропот
Будет гибелью души!..»

Но тяжелый вздох и шепот
Ей послышались в тиши:
Пери к юноше припала, —
Грудь в ней робко трепетала.
Бедный жив!.. И страшно ей,
Чтобы ропотом бессильным
Он мученьям замогильным
Не обрек души своей,
Чтоб кончины ангел нежный,
Слыша вопль его мятежный,
Устрашен, не отлетел
И, о гибнущем тоскуя,
Мирового поцелуя
Дать устам его не смел!

И печальным размышленьем
Пери вновь увлечена.
Вдруг — как будто вдохновеньем
Оживилася она:
«Знаю, замысел мой грешен,
Но да будет грех свершен,
Если скорбный им утешен,
Падший небу возвращен!
Заповедано от века
Светлым Пери — человека

Не прельщать своей красой.
Но, как звук струны послушный,
Лик рассеявши воздушный,
Образ я приму земной;
И, оспорив у могилы,
Труп, еще страдальцу милый,
Оживлю моей душой;
И к нему подругой нежной,
Чтоб не гибнул безнадежный,
В час предстану роковой.
Как она, с тоской, с любовью,
Я приникну к изголовью,
Нежный взгляд ее возьму,
Звук речей ее приму,
Чтоб, словам моим внимая,
В нем невольно, умирая,
Примирилась с небом вновь
Благодарная любовь!»

8

Едва замолкнула — и Пери образ ясный,
Как в темном облаке свет радуги прекрасной,
Как легкая струя дыхания цветов,
Растаял в воздухе и скрылся в царстве снов.

Но девы молодой бесчувственное тело
Внезапно жизнию роскошной закипело,
В холодном мраморе поблекнувших ланит
Кровь снова пламенем и пурпуром горит.
Улыбкой томною уста ее зажглися,
Как утренний туман, ресницы поднялися,
Но в темное стекло погаснувших очей
Едва проникнул свет пронзительных лучей,
Вздохнула тяжко грудь, уста затрепетали,
Из них исторгся крик — звук боли и печали,
С каким, предчувствуя страданья впереди,
Душа приемлет жизнь в младенческой груди.

О Пери, Пери! Тщетно кры́ла
Ты вновь хотела б развернуть!
Уж человеческая грудь
Тебя мучительно стеснила!

В какую бездну темноты
Из моря блеска пала ты!
К лучам пылающим привычный,
В пространстве неба безграничный,
Внезапно твой потускнул взор,
Как бы подернутый туманом
Очей в вместилище стеклянном;
И неба ясного простор,
Где недоступные светила
Ты беспрепятственно следила,
Теперь как будто бы потух
И тесно сдвинулся вокруг;
И этот воздух благовонный,
Который всюду за тобой
Вился душистою струей,
Весной и блеском напоенный, —
И он вокруг тебя сгущен,
Твоим дыханьем заражен!

На раздолье, на просторе
Вольны волны льются в море, —
С ветром спорят быстротой,
С солнцем — блеска красотой;
Но из родины прозрачной
Заключенные в сосуд,
Волны тихи, волны мрачны,
Не блестят и не бегут.
Как живые волны моря,
Быстротой с лучами споря,
Мысли Пери от земли
Смело вдаль ее несли,
Вдруг, лишенны сил, смутились,
В мрак внезапный погрузились:
Узкий череп стиснул их
В костяных стенах своих.
И забот земных тревога
В них нестройно поднялась:
С мыслью, яркой искрой бога,
Жизнь телесная слилась!

И грустные на Пери бросил тени
Мир новых дум и чувств и впечатлений,

Все трудности земного бытия
Предстали вдруг понятиям ея —
Она несет в заимствованном теле
Страдания, ей чуждые доселе:
Ей темя жжет полудня острый луч,
От жажды грудь горящая томится
И кровь ее, как нефти жаркий ключ,
Огнем из ран пылающих струится.

Но и средь мук увлечена
Невольным чувством состраданья:
«О люди! бедные созданья! —
Уныло молвила она. —
Как много силы и терпенья,
Как много веры надо вам,
Чтоб в дни подобного мученья
За жизнь, в пылу ожесточенья,
Не слать упреков небесам!»
И взор ее, участья полный,
На юношу страдальца пал,
Который, бледный и безмолвный,
Еще у ног ее лежал...

И сердце, как арфа, чьи струны молчали,
Но вдруг под незримым перстом зазвучали,
Мелодией стройной ей подало весть,
Что в жребии смертных и радости есть.
И Пери прижала к груди своей руки,
Полна упоенья, не смея дышать,
И слушает жадно ей новые звуки,
Хоть тайны их чудной не может понять.
Но грудь ее темным зажглась упованьем,
Но жизнь человека, грозившая ей
За мукою мукой, сцепленьем скорбей,
Как будто блеснула волшебным сияньем,
И прелесть той жизни угадывал ум
В волненьи доселе неведомых дум.

Какой же тайной, дивной власти
Рассудок Пери предала?
Увы, она чужие страсти
В груди угаснувшей зажгла!

И за поступок свой преступный
Душой, им прежде недоступной,
Их в казнь от неба приняла!
И всё, что страстного таилось
При жизни девы молодой,
В ее останках оживилось,
Как яд одежды роковой,
Согретый персей теплотой!
И сердце вновь заговорило
Понятным трепетом своим,
И тот, кого оно любило,
Опять им пламенно любим!..

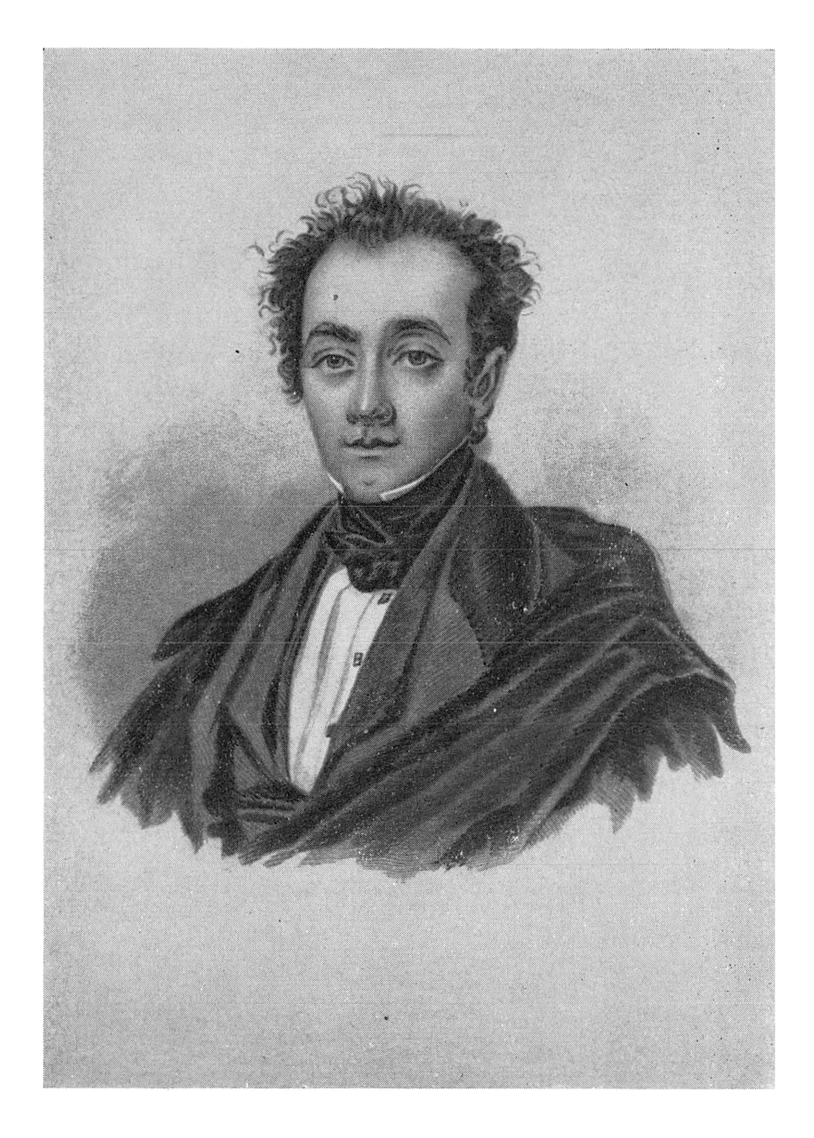
9

И Пери грудь волнуется мятежно;
И взор ее, задумчивый и нежный,
На юношу был долго устремлен.
Но жизнь в немых чертах его не блещет,
И мысль ее сомнением трепещет:
Не смертный ли запечатлел их сон?..
И чтоб решить печальное сомненье,
Груди его коснулася она,
И эта грудь как мрамор холодна!
Но слабое приметно в ней биенье,
Но сердце в ней, чуть слышное, звучит,
И тихий звук как пламя в душу льется,
И громко он на сердце отдается, —
И мир любви неведомой открыт!

И боль, и собственные муки
Забыв, на трепетные руки
Страдальца Пери приняла;
Над ним склонилась на колени,
Как ива плачущая сени,
Густые кудри развила,
Чтоб ране, вдоль чела открытой,
Была хоть слабою защитой
От зноя солнечных лучей
Живая прядь ее кудрей.
И за прерывистым дыханьем
Своим заботливым вниманьем



Н. В. Кукольник



А. Ф. Вельтман

Следит, недвижная, она,
Одною мыслию полна,
Чтоб жизни гаснущие силы
Опять в груди его зажечь,
Чтоб в цвете лик увидеть милый,
Чтоб слышать сладостную речь! ..

И грудь взыграла теплой кровью,
Как бы согретая любовью.
Вздохнул — и тихо наконец
Глаза открыл полумертвец,
И если б ангелы для Пери
Отверзли вдруг Эдема двери,
Всем блеском радужных лучей
Не отвлекли б ее очей.
Так в этот взор, едва блеснувший,
Взор Пери страстно погружен!
И негу пьет роскошно он,
В его сияньи утонувши, —
Как влагу сладкую росы,
В венок проникнув серебристый,
Из лона лилии душистой
Луч солнца в ранние часы!

А он? .. И радость и сомненье
В его болезненных чертах!
«Быть может, это сновиденье?» —
Рассудку шепчет тайный страх.
Но нет! .. он чувствует дыханье,
Чело палящее, и рук,
Его обнявших, трепетанье, —
И даже сердца близкий звук.

«Ты ль это? — воскликнул. — О, что ж со мной было?
Какой же мне страшный привиделся сон!
Скажи ж, что живешь ты! Скажи мне, друг милый,
Что рай мой мне снова в тебе возвращен!
Боюсь еще верить, не призрак ли вижу?
О, пусть же твой сладкий я голос услышу!»

Но Пери слов не слушает: она,
Лишь голоса гармонии внимая,
В его поток душой погружена.

И что звонки пленительные рая,
Что звучная эдемская волна,
И хор духов, и песни страстных гурий,
И гимн светил в надоблачной лазури,
И ангела поющая струна?
Их звуки в грудь не так роскошно льются,
И долго так в душе не остаются...

Ее молчаньем поражен,
Страдалец тихо приподнялся,
И молит робким взором он,
Чтоб милый голос отозвался.
Но Пери нежный стан дрожит,
Но кровь из ран ее бежит,
И он, собрав остаток силы,
Спешит помочь подруге милой:

«О, ради неба! Что с тобой?
Мои не слышишь ты моленья,
Бледна, безмолвна, без движенья,
И льется кровь из ран струей,
И эти раны зноем пышут,
Таясь в раскинутых кудрях;
Твои уста как пламя дышат,
Недуг горит в твоих очах!»

И рукой дрожащей плечи
Окровавленные он
Обнажил; но тихой речи
Звоном вдруг остановлен:
«О, забудь про эти муки!
Верь, и я забыла их;
Но заслушалась я в звуки,
В звуки грустных слов твоих:
Веял дивною мечтою
Голос твой душе моей,
И тонула я душою
В небесах твоих очей.
Милый! Что мои страданья!

Им не нужны врачеванья.
Но в моем волшебном сне

Дай забыться мне вполне!
Пусть блеснет твой взор мятежный
Светом тихого огня,
Пусть мне скажет голос нежный...
Милый! Любишь ли меня?..»

«Я люблю ли?.. Розы страстной
Так не любит соловей,
Ночь — звезды своей прекрасной,
Небо — радуги своей!
Как в волнах морских прохлада,
Огнь в рубине винограда,
Запах сладостный в цветах,
Звук пленительный в струнах,
Так любовь к тебе таится
Глубоко в груди моей;
И когда на утре дней
Грустный жребий мой свершится,
Сердце милый образ твой
В гроб возьмет еще с собой!»

И с упоеньем Пери внемлет
Волшебству полных страсти слов.
С таким волнением приемлет
Их только первая любовь.
Ей каждый звук лучом палящим
На сердце падает, и в нем
Душистым, пышным и блестящим
Он развивается цветком.
И свет, в груди ее разлитый,
Проникнул, розовый, в ланиты,
Блеснул улыбкой на устах
И неги пламенем в очах.

Она любовника, в забвеньи,
Руками страстно обвила,
И было чудно выраженье
Ее прекрасного чела:
Ее уста не говорили,
Но очи, полные огнем,
Еще волшебных слов молили
Красноречивым языком.

10

А бедный юноша печально
Терялся взором в степи дальной
И меж окрестных диких скал
Очами помощи искал.
Но всё кругом безмолвно было;
И чтобы сердце как-нибудь
Еще надеждой обмануть,
Склонился он к подруге милой,
Ее привлек к себе на грудь
И тихо молвил: «Как уныла
Страна, куда жестокий рок,
Мой пышный, нежный мой цветок,
Тебя занес, моя Леила!
Но пусть и самый солнца свет
В пустыне этой потемнеет,
Ты не увянешь, милый цвет,
Тебя любовь моя согреет!..»

Но что же Пери светлый лик
Потух внезапно и поник?
В ее очах печальной тенью
Какой-то мрачной мысли мгла,
Как туча по небу, прошла
И сердце предала волненью.

Увы! одно слово меж сладостных слов,
Как дух-возмутитель меж светлых духов,
Душе ее, тихим объятой забвеньем,
Внезапно предстало враждебным виденьем.
И вновь ей мечтами любви не уснуть!
Ей ревность тревогой наполнила грудь:
«Леила!» — бледнея, уста повторяют,
И слезы струятся, и очи пылают.

С неизъяснимою тоской
Живые признаки печали
Глаза любовника читали
В чертах подруги молодой.
Внезапных слез ее не может
Понять причины тайной он;

Но эта скорбь его тревожит,
Но он, участьем увлечен,
Любовью мыслит успокоить
Ее тоскующую грудь,
И ласки хочет он удвоить,
Чтоб негой сердце обмануть.
И, стан ее объемля стройный,
Чело к челу ее склонил, —
И долгий, сладостный и знойный
Их поцелуй соединил...
О, что же с Пери? Кровь пылает,
Все члены трепет проницает,
Смутились мысли... И она,
Безумной страстию полна,
«Прости, прости меня! — сказала. —
В твоих объятиях не та,
О ком душа твоя страдала.
Твоя любовь — одна мечта!
Леилы нет! Твоей потери
Уже ничем не возвратить.
Но я клянусь тебя любить, —
А я не смертная, — я Пери!..

Там, где Каф-гора встает
Из пучины бурных вод
И, покрытая снегами,
Бесконечными хребтами
Дважды вкруг земли идет,
Означая солнца ход;
Где льды, неприступной возникнув стеною,
Роскошные долы таят меж собою,
Там скрытый и мирный приют на земли,
Изгнанницы неба, мы, Пери, нашли.

Там природа — чудный сон;
Нам не светит небосклон,
Но окрестных скал вершины,
Изумруды и рубины,
Светом яркого огня
Пламень солнца заменя,
Нас радужным блеском что день осыпают;
Когда же вечерней порой потухают,

Свет лунный струится из лона цветов
И блещут лампады ночных мотыльков.

В наших рощах и садах
Дерева всегда в цветах;
И как ветер их колышет,
Каждый лист как будто дышит,
Гармонически звучит
И алмазами горит.
Под сению миртов, с поверхности чистой,
Озера нам веют прохладой душистой,
Из гротов кристальных источники бьют,
И стройные песни нам волны поют.

Без трудов и без забот,
Наших дней беспечен ход:
То веселыми толпами
Мы кружимся меж цветами,
То играем на волнах,
То купаемся в лучах;
Иль, тихо друг с другом меняясь мечтами,
Мечты развиваем прелестными снами,
Потом их разносим вечерней порой
И сыплем незримо над спящей землей.

Но, как вспыхнет темя гор,
Арф эдемских строим хор,
Чтоб на родину их звуки
Скорбь мучительной разлуки
К трону Аллы от земли,
Умиленные, несли.
И, тесно обвившись друг с другом руками,
Вослед этим звукам летим облаками,
С надеждой стремимся на радужный путь,
И сладостной думой волнуется грудь...

Но пускай еще для нас
Отдален прощенья час:
Что мне ныне прелесть рая!
Жизнь прекраснее земная,
Если пламенной душой
Ты поделишься со мной.

Как амвры дыханье, как звук поцелуя,
Тебя в наш цветущий приют унесу я,
И там, чтоб блаженство вполне довершить,
Подруг моих, милый, научим любить!»

11

Но юный друг ей молча внемлет,
И тайный страх его объемлет,
И взор недвижно устремлен,
И в этом взоре скорбь и мука.
Прервать молчанье хочет он,
Уста трепещут, — но без звука,
Как арфа, чьих согласных струн
Коснулся гибельный симум...
В рассказе Пери дивном, странном,
В ее признании нежданном
Невероятно всё ему,
Всё чуждо светлому уму.
И страшной мыслью он трепещет,
Что взор ее, который блещет
Каким-то светом неземным,
Горит безумием одним...

Но тайное Пери проникла волненье
И мыслит с улыбкой: «Разрушу сомненье!
Невольно поверит он чудным словам,
Как духом блестящим предстану очам, —
Его моих взоров осыплю звездами,
Как паром душистым повею кудрями,
Чтоб он, утопая со мной в небесах,
Забыл на земле им покинутый прах!»

Трудным вздохом подымая
Человеческую грудь,
Разом Пери молодая
Хочет крылья распахнуть;
Но напрасно рвутся крылья,
Слабы тщетные усилья, —
Грудь в объятиях своих
Силой жизни держит их.

Изумлением и страхом
Пери мысль поражена;
С оживленным ею прахом
Долго борется она:
Нет спасенья! Уступает
Воля силе роковой...
Уж она изнемогает
Утомленная борьбой;
Но, на грудь, под ризой белой,
Руки стиснувши крестом,
Ненавистное ей тело
Рвет в отчаяньи немом!

Увы, не мог перенести
Ее страданий друг Леилы!
От исступления спасти
Ее стремится он, но силы
Погасли вдруг; растравлена
И напряженьем и тоскою,
Раскрылась рана — и волною
Кровавой хлынула она.
Из уст исторгся звук дрожащий,
Но говорить уж он не мог:
Он только взор возвел молящий
И мертвый пал у милых ног.

Разом громкий вопль раздался, —
В сердце степи он проник;
Но никто не отозвался,
Кроме скал, на этот крик.
И в беспамятстве пустынным
Пери берегом бежит;
Скалы идут рядом длинным,
Нил у ног ее шумит.
Только нет в стране безлюдной
Человеческих следов;
По кремням и меж песков
Бег ее измучил трудный, —
И, склонившись на скалу,
Пери вновь недвижна стала.
Голова на грудь упала,
Бледность смерти по челу,

В мыслях мрак темнее ночи...
Сердце смолкнуло в ней вдруг,
И бессмысленные очи
Бродят медленно вокруг.

12

Погаснул день, ложится мгла ночная;
Прохладою на берег веет Нил.
Он, Пери грудь дыханьем освежая,
И чувства ей и память возвратил.
Она очнулася, обильно слезы льются;
И перси вновь на прах ей милый рвутся,
Но в темноте обратного пути
Среди песков сыпучих не найти.
И на скалу она, безмолвна, села,
Унылый взор на звезды возвела:
Молиться бы несчастная хотела,
Но слов она и мыслей не нашла.
Порой уста дрожащие шептали,
Но только смерть на помощь призывали.

Смерть не шла; но, прежде ей
Утешитель незнакомый,
В море призраков несомый,
Сон сомкнул ее очей
Утомленные ресницы,
Мысли вихрем закружил,
И страданию границы
Он забвеньем положил.

И Пери вдруг пленительные звуки
Услышала, она узнала их:
То голоса подруг ее младых.
«Ко мне! ко мне, прекрасные подруги!»

«Долго в темной вышине
Светлым облаком оне
И кружились и сияли,
Появлялись, исчезали,
И, как будто бы дождем
Вдруг рассыпавшись шумящим,

Роем, радужно блестящим,
Пали на землю кругом.
«Ты ли, милая? — сказали. —
Мы давно тебя искали,
Внемля жалобам твоим.
Из мучительной неволи
Мы одним мгновеньем боли
Вновь тебя освободим!»

С собой они из дальних стран земли
Душистые цветы и ветви принесли,
И между скал бесплодной степи вмиг
Из тех ветвей костер уже возник,
И слышен гимн; и, гимну их внимая,
Ободрена присутствием сестер,
Страдалица без страха молодая
И радостно восходит на костер.

Дым бежит в струях душистых,
В искрах ярко-золотистых
Пламень Пери обхватил.
Но не пламень это был, —
Это юноша ей милый,
Светозарный, златокрылый,
Нежным, розовым огнем
Вдруг возникнул над костром.
Он палящими устами
Грудь ее облобызал,
Обнял жаркими крылами,
Из костра ее умчал.
И огню лобзаний страстных
Пери смутно предалась,
Грудь в объятьях сладострастных
Закипела и зажглась;
И, казалось, умирала,
Трудным трепетом дыша,
Будто тело покидала
Отрешенная душа!

И там, где звезд роскошный пламень льется,
Как вихрь чета любовников несется.

Навстречу ей — вдруг призрак молодой,
Сияющий эдемской красотой.
Пери вновь затрепетала,
Крепче друга обняла,
Устрашенная узнала
Ту, чей образ приняла!
Но соперница младая
К ним приблизилась, сияя,
Друга тихо назвала, —
И, в одно мгновенье ока,
В небо темное, далеко,
За собою увлекла.

И Пери вслед за ним хотела,
Но ею принятого тела
Вдруг тяжесть чувствует она.
Его мучительным давленьем,
Его стремительным паденьем
Она с небес увлечена;
Из бездны в бездну упадает,
То вихри снежные встречает,
То гор пылающих ко дну
Летит с разгона в глубину, —
Летит...

13

И вдруг открыла очи.
С земли сбегали тени ночи,
Лучами утра озарен,
Сиял румяно небосклон.
«О, что со мной? Еще ль живу я!» —
Сказала бедная, тоскуя.
И долго мысль ее смутна,
И долго в ней недоуменье:
Во сне ль томится вновь она,
Иль уж не сон ее томленье?
Вперед без цели Пери шла;
Вдруг крик пронзительный орла
Среди безмолвия раздался:
Орел то в воздухе терялся,
То вновь на землю упадал,

И меж окрестными скалами,
Свистя огромными крылами,
Орлицу криком вызывал.

Пери вдруг остановилась.
Память быстро прояснилась:
Крик орла ей всё сказал.
Грудь в испуге задрожала:
Пери сердцем угадала,
На какой он пир скликал.
Этот страх дает ей силы,
За орлом следит она.
Вот упал ширококрылый, —
Но добыча спасена.
Он испуганный поднялся
Вверх на каменный уступ,
И не тронутый достался
Драгоценный Пери труп...

Едва дыша от утомленья,
На тело милое, бледна,
Без слез, без жалоб, без движенья
Склонилась медленно она.
Безмолвно очи устремила
В черты недвижного чела,
И сил остаток собрала,
И грудью грудь его закрыла.
Но всё, что есть тоски и мук,
Когда возврата нет потере,
Немым отчаянием вдруг
Стеснило сердце бедной Пери.

Часы текут незримыми волнами,
Уже зажжен полуднем небосклон,
Горят пески, и душно меж скалами,
И зноем труп внезапно поражен.
Дохнула смерть из язв его тлетворно, —
Вмиг ожили безмолвные скалы,
Гниющий труп почуяли орлы,
На высоте откликнулися горной, —
Из гнезд чета слетает за четой
И смелые ширяют над землей.

Противиться им Пери бы хотела,
Но уж дышать близ трупа не могла,
К другой скале невольно отошла
И с ужасом на страшный пир глядела.

Лучами острыми паля,
Зной жарче льется с яркой сени,
Как лава вспыхнула земля,
И скалы голые — без тени.
И обнял Пери этот зной
Своей удушливой волной.
Пылают бледные ланиты,
Иссохла грудь, полураскрыты,
Уста поблекшие горят.
Вблизи ей слышны волны Нила, —
Влечется к ним, — но гаснет сила,
И вдаль с отчаянием взгляд
Она горящий обратила...

И суждено испить до дна
Ей чашу, полную страданий!
Других, неведомых терзаний
Вдруг боли чувствует она:
Какой-то коршун лютый, гладный
Когтями внутренность ей рвет,
На миг забыться не дает,
Ее терзая беспощадно.
И, — страшно молвить, — может быть,
Блуждая жадными очами,
Пир отвратительный с орлами
Она хотела б разделить!..

14

И этот день, мучительный, печальный,
Угаснул наконец; по скату степи дальной
Сверкали искрами струистые пески,
Как волны золотом осыпанной реки.
Еще не зримая, по сводам неба ясным
Ночь тихая неслась вослед за днем прекрасным,
И вечер, поцелуй любви стыдливой их,
На землю пролился, блистателен и тих.

Но в тишине и скорбь и муки
Вдвойне страданием гнетут,
И боль тогда имеет звуки,
И язвы громко вопиют,
И этим воплям Пери внемлет,
И всё в природе чуждо ей.
Напрасно тихий свет лучей
Ее сиянием объемлет
И вечер негою своей:
Ее ничто не ободряет,
Она не мыслит, не желает, —
Так безнадежно предана
Своим страданиям она!..

И голова ее упала
Без сил на плечи; наконец
Потускли очи, как свинец,
И грудь приметно угасала.
Вдруг хор знакомых голосов
Ей слышен будто с облаков:

«Судья правосудный на троне сидит,
С любовью прощает, без гнева казнит!

Ты тяжкий грех пред богом совершила:
С земным в союз запретный ты взошла;
Земная жизнь ослушную казнила,
Чтоб муки ты земные поняла!

Но ты влеклась к проступку состраданьем,
И вздох любви на небе не забыт:
Искуплен грех любовью и страданьем,
А смерть — творца с созданием мирит!

Судья милосердый на троне сияет,
Казнит он без гнева, с любовью прощает!»

Хор замолк; и светлых крыл
Кто-то яркими лучами
Разом Пери обхватил,
Слил уста с ее устами,

И незримыми перстами
Сердце вдруг остановил.

Цепь земная разорвалась
Легче звука и мечты,
Пери вольная помчалась
В беспредельность высоты;
И навстречу ей, сияя,
Из отверстой двери рая,
В виде ярких облаков,
Вылетает сонм духов.
И он, недавно столько милый,
С своей подругой светлокрылой
Предстал, как прежде, перед ней,
Но в блеске славы и лучей...
Она летит к чете прекрасной,
Приемлет дружеский привет:
Уже в душе ее бесстрастной
Любви и ненависти нет!

И сбылося упованье!
Там, где жизнь и ликованье
Без границ и без конца,
Где возвышено созданье
Лицезрением творца,
Образ ангела прекрасный
Пери снова приняла,
Вновь, как в утро жизни ясной,
Розой райской расцвела,
И, как дней ее в начало,
Вновь ничто не возмущало
Мира сладкого души.
Только в утренней тиши,
Как с земли вставали звуки,
Билась грудь ее трудней:
Мнилось — прежние подруги
Откликались грустно к ней!

10 апреля 1834 — 21 марта 1836

Пери, по понятиям восточных, — существа превосходнее человека, но отличные от *Меляк,* ангелов, и от *Дивов,* или *Джиннов,* злых духов, с которыми они ведут беспрерывные войны. Они в повестях восточных — почти то же, что в западных волшебницы или феи. Обитательницы фантастической страны, именуемой *Перистаном,* или «Землей Пери», смежной с *Дивистаном,* «Землею Дивов» или злых духов, они никогда не делают зла, и далеко превосходят всех других духов своею красотою. «Перизаде́», то есть «урожденная Пери», или «Пери-пейгер», «Пери-лицая», суть выражения, обыкновенно употребляемые персидскими поэтами, когда они описывают красавицу (D'Herbelot).

5. *И ангелы ее переступить не смеют,*
С тех пор как прелести и ласки дев земных
Преступно увлекли прекраснейших из них...

По преданиям восточных, случилось, что, после того как люди размножились на земле, родилось у них множество дев пригожих и прелестных; и ангелы Аллаха, как скоро их увидели, влюбились в них, и были за то изгнаны из неба. Восточные думают, что от них-то происходит род Пери. *Ро́з ли видны Нисибина Снежно-белые кусты...* Нисбин — город в Персии, славится множеством садов, богатых белыми розами.

8. *Как яд одежды роковой, Согретый персей теплотой.* Читатели конечно, помнят баснословное сказание о смерти Геркулеса, причиной которой была одежда, напитанная ядовитою кровью Центавра.

9. *И что звонки пленительные рая...* В Коране сказано, что дерева садов *Дженнета* (рая) увешаны хрустальными колокольчиками, которых звуки сливаются в беспрерывную, усладительную мелодию.

10. *Там, где Каф-гора встает...* Каф-гора, по мнению последователей Корана, опоясывает весь земной шар. Чтобы обозначить все пространство земли и вод, они говорят «от Кафа и до Кафа», и на этом предположении утверждают, что солнце восходит и нисходит по его ледяным ступеням. Ибн-эль-Варди в своем «Хиридат-эль-Аджаиб», следуя примеру мифологов Востока, пишет, что эта гора основана на камне, называемом Сакрат; Коран упоминает об нем в главе «Локман»; а Локман утверждает, что, владея одною только песчинкою этого камня, можно творить чудеса. Этот камень — ось и опора земли — состоит из цельного изумруда; его отражение дает голубой цвет небу, и когда, по велению Аллахову, он двинет одной из жил, или ветвей своих, то поверхность земли, в месте, соответственном тронутой ветви, колеблется, трепещет и разверзается пропастию. На основании таких же баснословных преданий, в первой части «Тарих-Табари», писанного по-персидски, сказано, что Бог всемогущий, создав землю, обвил и укрепил ее поясом гор, которые называются у аравитян *Кафом.* Земля, без его пособия, находилась бы в беспрерывном колебании и не могла бы быть обитаемою. Хребет

Кафа есть кольцо земли изумрудного цвету; путь к нему прегражден со всех сторон областями непроницаемого мрака, и человек без помощи сверхъестественной достигнуть до него не может. Герои племени Адамова, покорив исполинов, заключили их в горах Кафских, где также Пери нашли себе убежище (D'Herbelot).

11. *Как арфа, чьих согласных струн Коснулся гибельный симум...* На Востоке утверждают, что когда знойное дуновение «ядовитого ветра», или самума, или, как обыкновенно пишут, симума, пробежит по струнам инструмента, то они остаются безмолвны. Это легко объясняется страшным жаром дуновений самума, от которого металл расширяется и вытягивается. Такое же действие производит палящий ветер хамсин, в Египте, и сирокко на берегах Средиземного моря.

И, — страшно молвить, — может быть,
Блуждая жадными очами,
Пир отвратительный с орлами
Она хотела б разделить!..

Эти четыре стиха произведут, может быть, неприятное впечатление на читателя; но мне казалось, что, исключив их, я не передал бы вполне основной мысли моей поэмы и тем нарушил бы целость всего стихотворения.

224

С поправкою своей мои стихи ты тиснул, —
Я басенкой за труд вознагражу тебя:
Рабочий вол коня случайно грязью вспрыснул;
Достоинство свое сознательно любя,
Не вспыхнул гневный конь порывом безрасчетным
И даже сталью ног волу не погрозил,
Но, чтоб не встретиться с запачканным животным,
С его дороги своротил.

1837

225. УРОК

Кто поверит — ты мечтатель!
Кто поверит — ты дитя!
Сердце женщины предатель,
Любит, губит нас шутя.
Не ищи же в ней участья,
Не моли ее любви, —

Нет, всей негой сладострастья
Ум цирцеи отрави,
Лейся лести тонким ядом,
Впейся в грудь змеиным взглядом,
Взором взор ее влеки,
И чаруя, и волнуя,
Знойной жаждой поцелуя
Мысль и кровь ее зажги.
Устоять она не может
В этой битве роковой,
И волшебный скипетр свой
Побежденная положит...

Но, счастливец, не спеши
Торопливо на признанье:
Нет, — сомненье, нет, — желанье
Прежде в грудь ей положи;
Устраши ее изменой,
Научи ее страдать
И внезапной переменой
Укажи Эдем опять;
Раздражительной беседой
То ласкай ее, то мучь!
Только трудною победой
В женском сердце ты могуч!
И прольет она в молчаньи
Слезы злости, может быть,
Но в тебе — свои страданья
Будет женщина любить!

1837

226. СТИХ

Не жажда имени, не гордое желанье
Привлечь к себе толпы невольное вниманье,
Не мысль надменная — за гробом, может быть,
В моих созданиях мой пепел пережить —
Тревогою меня томят и мучат знойной
И вырывают стих из груди беспокойной...

О нет! Он льется сам, он звук моей души,
От ней оторванный, но слышный мне в тиши.
Он в образ облечен, он стонет, он тоскует,
И грустью веет он, и жалобой волнует,
И будто просится в мою он снова грудь,
Чтоб навсегда потом в забвеньи утонуть.
Но как волне в исток, но как лучу к светилу —
Возврата нет ему в желанную могилу;
А я люблю его, а я бы не хотел,
Чтоб он исчез как дым, как призрак улетел, —
Пускай еще живет, ему приют найду я, —
Есть сердце, есть душа, которые люблю я,
Там будет принят он, там будет он любим,
Как память, как залог моей души храним;
Незримый, о себе напоминать он станет:
То ласковой ко мне улыбкой он проглянет,
То легким пробежит румянцем на щеках,
То вспыхнет негою в пленительных очах,
И, вздохом окрылен, трепещущий, стыдливый,
Сольется с шепотом любви моей счастливой
Или со временем, давно забытый мной,
Печальный, он блеснет понятною слезой...

1837

227. ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Столицы Невской посетитель,
Кто б ни был ты, — Петру поклон!
Сей Медный всадник — это он,
Ее державный прародитель!
Как мощны конь и человек!
То Петр творящей мыслью правит,
Летит, отважный, в новый век
И змея древних козней давит...
И здесь, руки простерший кисть,
Еще в металле жизнью дышит,
Из медных уст — Россия слышит —
Гремит: «Да будет свет!» — И бысть!

1839

228

Отгрянуло в безднах творящее слово,
Стихии, как волны, кипят,
Сошлись — разделились — и жизнию новой
В несчетных светилах горят...
Всё к цели стремится; один, в беспрерывном
Волненьи, без цели гоним,
Один, бесприютный, в создании дивном
Отпадший летит серафим.

Куда бы смущенным ни кинул он взором —
Повсюду пред ним чудеса:
Вот катятся звезды бесчисленным хором,
Осыпав кругом небеса,
Вот солнце стремится — он бросился мимо, —
Другое навстречу летит,
И сонм их блестящий ему нестерпимой
Создателя славой звучит.

К земле опустил он с отчаяньем взоры —
Весну торжествует земля:
Цветами пахнули долины и горы,
Цветами сверкнули поля!
И желчные слезы с ланит его бледных
В цветы, мимолетом, скользят —
Те слезы и ныне в цветах этих бедных
Отравой смертельной горят!

1840

229. ЗВЕЗДА

Когда по воле исполина
Текла несметная дружина,
Звезда побед ее вела,
И, мнилось, царствам в поруганье
Сосредоточила сиянье
Вокруг избранного чела.

Питомцы мира и покоя,
Народы робкие без боя
Безмолвно поклонялись ей;
Она ж, в своем полете скором,
Блестящим, дивным метеором
Неслась чем дале, тем быстрей.

И вот, явлением нежданным,
Под небом Севера туманным
Внезапно вспыхнула она,
Мгновенно очи ослепила
И страшным блеском пробудила
Холодный Север ото сна.

Крепка любовью и молитвой,
На смерть решительною битвой
Воздвиглась Русская земля —
И участь грозного свершилась:
Звезда победная затмилась
В кровавом зареве Кремля!

И что ж?.. Приемля дар свободы,
Еще со страхом ждут народы,
Откуда вновь она блеснет:
Не с берегов ли шумной Сены,
Иль на гранит Святой Елены
Опять к любимцу низойдет?

Не там!.. Любви народной сила
Ее полет остановила,
И на седине вековой
Она с Кремля блеснула взорам —
Но не мгновенным метеором,
А неподвижною звездой!

1840

230. ЭПИЛОГ

На эти беглые листы
Гляжу еще не без волненья:
Здесь первой юности мечты,
Здесь жизни трудные мгновенья...
Противоречий много в них,
Но жизнь полна противоречьем,
И с нею в лад послушный стих
Звучал моим чистосердечьем.

И не напрасно, может быть,
Те песни скорби отвечали;
Они мне сердце волновали,
И сердцу не дали остыть!
Среди живых оно живое,
Движеньем их увлечено,
И поколенье молодое
Тепло приветствует оно.

Теперь, в разгаре жизни новой,
Пусть новый деятель кипит,
Смелее мысль, вольнее слово —
Широкий путь ему открыт!
И жду я: в мысли вдохновенной
Творящий гений низойдет
И над Россией возрожденной
Далече крылья распахнет!

И ты, поэт, симво́л движенья,
Стремленья века упреди
И звучный праздник обновленья
Высокой песнью возвести!

1859

Под необъятным сводом неба
Один свирепствует закон:
Недостает тепла и хлеба,
Не умолкает плач и стон.

И алчно гибнущее племя
Ждет погрузиться в вечный сон,
А вслед ему выводит время
На жертву новый легион.

И так от века и до века!
А мы уверовать могли,
Что создана для человека
Вся прелесть жизни на земли!

. . . .

Но, раз прозрев, душа, как прежде,
Уже забыться не должна.
Скажи ж «прости!» мечтам, надежде
И оборвись, моя струна.

1879

К. А. БАХТУРИН

Константин Александрович Бахтурин родился в 1809 году. Его отец, петербургский чиновник, по отзыву современника, человек образованный и довольно культурный, по-видимому не был потомственным дворянином. [1]

М. И. Глинка, в молодости служивший в канцелярии департамента путей сообщения под начальством А. Н. Бахтурина, был частым гостем в его доме. В 1824 году начинающий композитор сочинил музыку на текст романса «Моя арфа» из поэмы В. Скотта «Матильда Рекби». Стихотворный перевод романса принадлежал юному Константину Бахтурину.

О том, где и как он воспитывался, сведений не сохранилось. Известно лишь, что, будучи еще совсем молодым человеком, Бахтурин облекся в военный мундир и свыше десятка лет прослужил в гусарах и уланах.

В октябре 1832 года он появляется в Москве и через посредство В. В. Пассека, с которым незадолго до того познакомился в Харькове, был представлен его друзьям по кружку (Герцену, Огареву, Н. М. Сатину и другим). Т. П. Кучина (кузина Герцена), вскоре ставшая женой Пассека, несколькими штрихами очерчивает наружность молодого уланского офицера — блондина, непоседливого, «чрезвычайно подвижного» гуляку. [2] Подробнее рассказывает о нем Сатин. Знаменательно, что в его мемуарном очерке речь идет о Бах-

---

[1] В. И. Панаев, Воспоминания. — «Вестник Европы», 1867, т. 3, № 9, с. 202—203. Дед Константина Бахтурина, по некоторым сведениям, был актером. В ГБЛ (архив Н. А. Маркевича) хранится рукопись пьесы Александра Бахтурина «Маскарад, или Тульский судья, или Как сом в вершу попал» (1792). Не исключено, что ее автор — отец поэта.

[2] Т. П. Пассек, Из дальних лет, т. 1, М., 1963, с. 432.

турине, Соколовском и Полежаеве, в облике которых было много общего.

Бесшабашность Бахтурина, страсть к кутежам и фанфаронство — все это явно диссонировало с серьезными умственными интересами, объединявшими членов кружка. При всем том ветреник Бахтурин был типичной фигурой среди определенной части молодого поколения, вступившего в зрелый возраст в середине 20-х годов. Интересную характеристику этой молодежи дал в 1834 году Белинский в связи с оценкой стихов Полежаева. Эта личность, по его словам, — «несчастная жертва духа того времени, когда талантливая молодежь на почтовых мчалась по дороге жизни, стремилась упиваться жизнью, а не изучать ее, смотрела на жизнь как на буйную оргию, а не как на тяжкий подвиг». [1]

Отношения Бахтурина с герценовским кружком прервались. В 1833 году он переводится в Петербург. В том же году в Москве вышла из печати его поэма «Вступление на престол князя Александра Тверского», принесшая автору некоторую известность. Спустя два или три года Бахтурин в чине поручика выходит в отставку «вследствие происшедшего с ним скандала», [2] как глухо сообщает К. Н. Макаров, основываясь на неизданной части записок своего отца, закадычного приятеля поэта. Не имея никаких средств к существованию, Бахтурин вынужден был кое-как перебиваться на скудные литературные заработки, полагаясь на случай, а нередко и доброхотство друзей. По заказам актеров он за пять-шесть лет написал для Александринского театра несколько драм: «Пятнадцать лет разлуки» (1835), «Козьма Рощин, рязанский разбойник» (1836) и сюжетно связанную с ней пьесу «Староста» (1836), затем «Красное покрывало» (1836), «Ибрагим и Роксана» (1837), «Замок Нейгаузен» (1838), «Батый в Рязани» (1839). [3] Наибольший успех из них выпал на долю «Козьмы Рощина».

Театр снова свел Бахтурина с Глинкой. Композитор написал музыкальный номер для его мелодрамы «Молдаванская цыганка, или Золото и кинжал» (1836), а в 1838 году Бахтурин принял какое-то участие в разработке либретто «Руслана и Людмилы».

Облик Бахтурина-драматурга довольно удачно обрисовал Булгарин. Этот автор, по его словам, «переливает в драматические

---

[1] В. Г. Белинский, Литературные мечтания. — Полн. собр. соч., т. 1, М., 1953, с. 78.

[2] К. Н. Макаров, Люди старого времени. Гл. III. Поэт Бахтурин. — «Исторический вестник», 1894, № 1, с. 175.

[3] В скобках указывается год постановки.

формы повести и эпизоды из романов или поэм русских писателей... Его нельзя назвать бездарным писателем, но в нем нет ни высоких мыслей, ни глубоких чувств, ни самородных идей, составляющих высокую драму. Это писатель мелких парижских театров. Но он пишет легким стихом и умеет придать своим драматическим пиесам сценическую жизнь и движение».[1]

Театр привлекал Бахтурина, конечно, не только возможностью заработка. Страсть к актерству насквозь пронизывала его натуру. По свидетельству мемуаристов, он любил разыгрывать важные роли, выдавал разные небылицы за случаи из собственной жизни. Так, например, он прицеплял к мундиру георгиевский крест, которым не награждался, рассказывал о сражениях, в которых не участвовал, и от души тешился этими ребяческими выходками. Вращался Бахтурин в среде не слишком культурной. Это были мелкие чиновники, офицеры, актеры. Из литераторов он, видимо, ближе всех был к Бенедиктову и П. П. Ершову. Иногда он появлялся и в компании Кукольника. Поэт Я. П. Полонский сообщает, что до 1836 года Бенедиктов, Ершов и Бахтурин составляли «дружеское трио» и «задумывали издать альманах, наполнить его своими произведениями, и под заглавием «Мы вам» выпустить в свет с виньеткой, изображающей несущуюся тройку с эпиграфом: „Вот мчится тройка, но какая? Вдоль по дороге, но какой?“»[2]

Забавный болтун, мистификатор, направо и налево сыпавший экспромтами, Бахтурин благодаря своему таланту застольного витии пользовался спросом во многих петербургских домах, где устраивались дружеские сходки и вечеринки. Особенный эффект имели летучие импровизации Бахтурина. «Какую тему ему ни задайте, он вдруг без малейшего надумывания продекламирует без остановки несколько десятков самых звучных, гладких, плавных стихов»,[3] — свидетельствовал Н. П. Макаров. В многочисленных экспромтах, эпиграммах и сатирических «перепевах» Бахтурин дал полный простор своему непритязательному юмору. Почти вся масса этих стихов до нас не дошла. Известны лишь сатира на О. И. Сенковского «Барон Брам-

---

[1] Ф. В. Булгарин, Панорамический взгляд. — «Репертуар русского театра», 1840, № 3, с. 20—21.

[2] «Биография В. Г. Бенедиктова, составленная Я. П. Полонским». — В. Г. Бенедиктов, Сочинения, т. 1, изд. 2, СПб., 1902, с. VII.

[3] Н. П. Макаров, Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь, ч. 1, СПб., 1881, с. 154—155.

беус» и часть шуточного стихотворения об актерах,[1] да несколько экспромтов, записанных Макаровым.

Другую грань поэтического творчества Бахтурина представляют стихотворные произведения, предназначавшиеся для печати. Многие из них были собраны поэтом и в 1837 году выпущены отдельной книжкой.[2] И в них порой слышатся отголоски богемной жизни, но говорится о ней в тонах глубокого сожаления и раскаяния. Преобладают же в сборнике элегические настроения. Оригинального в этих произведениях очень мало и все же глумливый отзыв о них О. И. Сенковского был несправедливым.

В составе сборника выделяется прежде всего довольно острое стихотворение «Рим», написанное, видимо, во второй половине 20-х годов, но опубликованное лишь в 1837 году. Как и в декабристской поэзии, картина упадка Древнего Рима, подпавшего под власть императоров и временщиков, вызывала чисто русские политические ассоциации. В поэме «Вступление на престол князя Александра Тверского» Бахтурин как бы продолжает думу Рылеева «Михаил Тверской», рассказывая о судьбе двух сыновей этого несчастного князя, павшего жертвой гнусных происков московского князя Георгия.

Поэма далека от исторического правдоподобия. Главное в ней — это современный подтекст: исторической теме национального освобождения придается современное звучание, то есть, грубо говоря, татарское иго приравнивается к произволу отечественных властей. Вместе с тем героический, наступательный пафос борьбы за правое дело в этом произведении отсутствует.

Перекликается с поэзией Рылеева (дума «Димитрий Самозванец») и такое стихотворение Бахтурина, как «Смерть Дмитрия Самозванца». В отличие от думы Рылеева, раскрывающей психологию преступной души, Бахтурин акцентирует внимание на другом. В лице Самозванца он показывает человека низкого происхождения — «расстригу» и проходимца, наделенного, однако, незаурядными душевными качествами. Окруженный восставшими москвичами, обреченный на неминуемую смерть, он выглядит не жалким и отвратительным, а по-царски величественным и гордым. Нота сочувствия к Самозванцу как незаконному властителю, отважному «похитителю

---

[1] См.: «Письма М. И. Глинки к К. А. Булгакову». — «Русский архив», 1869, вып. 2, с. 351.

[2] Сборник вызвал полуодобрительный отзыв Ф. А. Кони («Северная пчела», 1837, 31 июля) и разгромную рецензию О. И. Сенковского («Библиотека для чтения», 1837, № 9).

трона», очень характерна для Бахтурина. Еще более заметно его демократизм сказался в небольшой стихотворной сценке «Вельможа и простолюдин», посвященной одному из эпизодов Смутного времени. Вельможа — это Ляпунов, у которого на первом плане боярская спесь, а не гражданский долг перед родиной. Ему противостоит «нижегородский мещанин» Козьма Минин, подлинный патриот, рассуждающий трезво и мудро.

Впрочем, демократизм Бахтурина выглядел весьма расплывчатым. Это был демократизм, внушенный симпатией к низам, но достаточно лояльный по отношению к верхам. Показательно, что в своих пьесах поэт делал ставку на вкусы преимущественно мещанской публики Александринского театра. И та же приноровленность к невзыскательным запросам малокультурного читателя дает себя знать в песнях и сказках Бахтурина, написанных по образцу ершовского «Конька-Горбунка». В наиболее привлекательном виде демократические тенденции сказались в его одноактной пьесе «Санкт-петербургская мелочная лавка», изображающей простонародную среду.

Сатин справедливо писал о поэте: «Бахтурин, без сомнения, имел талант... но недостаток образования, пустая жизнь и нужда в деньгах погубили его. Стих его был гладок и звучен, фантазии у него было более, чем у Соколовского; но он не умел управлять ею». [1]

Неустроенность, беспорядочная жизнь, пьянство в конце концов совершенно расстроили здоровье поэта. Он умер 32-х лет от роду. Известие о его кончине, последовавшей 19 января 1841 года, напечатал журнал «Репертуар русского театра».

232

Я помню дни, — не зная славы,
Ни неги страсти роковой,
Когда младенчества забавы
Едва расстались со мной,

---

[1] Н. М. Сатин, Из литературных воспоминаний. — «Русские пропилеи», т. 1, М., 1915, с. 203.

Уж бог задумчивости сладкой
Меня в прогулках посещал,
И предо мной летал украдкой
Какой-то дивный идеал, —
К нему стремились все мечтанья,
Как другу я ему вверял
И сердца темные желанья,
И всё, чем жил и чем дышал.
Я верил с детской простотою,
Что мне неведомый сулил, —
И он с волшебною мечтою
Меня ребенком подружил! ..
Но вскоре в неге упоений
Утоп я пылкою душой;
Меня покинул добрый гений
В пороках жизни молодой!
От взоров скрылся мир воздушный
Моей причудливой мечты, —
И я стал зритель равнодушный
Даров ума и красоты! ..
Когда ж опять во мне проснутся
Порывы чистые весны?
Когда же чувства отзовутся
В заветных звуках старины?
Ужели буйные набеги
Минутных, бешеных страстей
Союз священный тихой неги
С душой расторгнули моей?
Но вы, минуты вдохновенья,
Вы мне оставили свой след:
Печаль и жажду песнопенья —
Плоды таинственных бесед!
И вот они, восторги песен,
Погибший шепот светлых дум;
Но их вместить — я сердцем тесен,
И свыкся с праздностью мой ум.
Ни прежних чувств, ни прежней силы
Уже в мечтах не нахожу
И, как на братские могилы,
На песни юности гляжу!

⟨1836⟩

233. РИМ

Рим, самовластный бич народов и царей!
Где слава прежняя твоих цветущих дней?
Где гордые сыны и Брута и Камилла?
Ответствуй, грозного могущества могила!
Почто граждáн твоих вольнолюбивый дух,
Столетья озарив, в столетиях потух?
Ужель завет судьбы рукою своенравной
Низверг сей кóлосс сил, свободный, но державный?
Нет, избранный народ, ты сам себя сразил:
Ты гибель с роскошью в отчизне водворил,
В сердцах изнеженных разлился яд разврата!..
Междоусобием и завистью Сената
Свобода скрылася, пренебрежен закон, —
И гордый человек шагнул за Рубикон,
Который средь шатров в безмолвном отдаленье
Давно Республики обдумывал паденье.
Уж хищник на чело корону возлагал, —
Но Брут был жив еще — и властолюбец пал.
Он пал — и Рим воскрес, и гордая свобода
Отозвалась в сердцах великого народа!..
Но быстро пролетел восторгов общий глас:
Потомок Ромула душою вновь угас!
Вот ставки бранные Антония, Лепида!
Уже смерть Цезаря друзьями позабыта;
Не Бруту пылкому они готовят месть, —
Нет, цель у них одна: отечество угнесть,
Под благородною мечтая скрыть личиной
Коварные сердца и бой несправедливый.

Уже Филиппополь сраженьем оглашен;
В нем Рим последнего римлянина лишен!
С тех пор иль золото, иль воинов пристрастье
Владели родиной...

⟨1836⟩

234. НАСИЛЬНЫЙ БРАК

Я видел страшный твой обряд,
Обряд насильственный венчальный,
Послушной жертвы взор печальный
С трудом, с трудом мой вынес взгляд!
В раздумьи, с мрачною душою
Я наблюдал ее черты:
Какой небесною тоскою
Сияла дева красоты!
С каким рассеяньем глядели
Глаза невесты на налой;
Блуждая тускло, вдруг горели
Слезами жаркими порой!..
Ее сопутник в жизни новой
Стоял с бесчувственным лицом,
Как бы скучая под венцом,
Как бы к венцу всегда готовый.
Бездушный взор его очей,
К подруге юной устремленный,
Был чужд и радости священной,
И тихой горести лучей.

Но вот окончено венчанье;
Едва холодное лобзанье
Супруг ей с гордостью дарит, —
Она трепещет! Снег ланит
Денницы пурпуром покрыло,
Как будто ужас наводило
Его лобзанье на нее!
Как будто сердце ей твердило:
«Погибло счастие твое!»
Насильно слов уста искали,
Грудь поднялась — и как ручей,
Из голубых ее очей,
Сверкая, слезы побежали!..
Я видел страшный твой обряд,
Обряд насильственный венчальный,
Послушной жертвы взор печальный
С трудом, с трудом мой вынес взгляд!

⟨1836⟩

235. ГЕНИЮ-ПОЭТУ

Горит, горит воображенье!
Небес я слышу тайный зов!
Мне подарил благословенье
Самодержавный сын богов!
Увитый лаврами, в сияньи
Веков нетленного венца,
Он обратил свое вниманье
На неизвестного певца!
Меня вознес он над толпою
Своей могучей похвалой, —
И мир поэзии святой
Ясней открылся предо мною!
Ясней ума и сердца сны
Лучом небес озарены!
Живых восторгов наслажденья
Властна ль лишить меня тюрьма,
Когда диктатор вдохновенья,
Диктатор чувства и ума,
Мои ласкает песнопенья?..

⟨1836⟩

236. ВЫСОКИЕ ГРУДИ И ЧЕРНЫЕ ОЧИ

Высокие груди и черные очи!
Вы долго, вы долго ласкали меня!
Вы были отрадой и в сумраке ночи,
И в блеске веселом счастливого дня!

Высокие груди и черные очи!
Кто вами владеет, кто вами живет,
Кто вас лобызает под сумраком ночи, —
Тот днем наслажденье в мечтаниях пьет!

Высокие груди и черные очи!
Когда вас забуду? Когда вы меня
Не будете мучить ни в сумраке ночи,
Ни в блеске докучном печального дня?

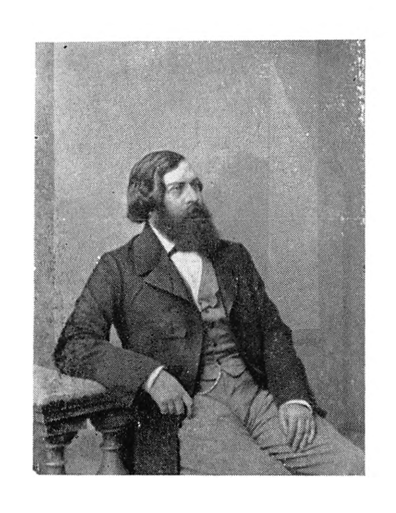
⟨1836⟩



К. П. Масальский



А. В. Тимофеев

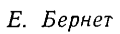


Н. М. Сатин



В. И. Соколовский





Е. Бернет



В. С. Печерин



А. Н. Муравьев

237. ЦЫГАНКЕ

Лобзай, лобзай меня, цыганка,
Буди восторг в груди моей, —
Пускай порочная приманка
Твоих объятий и речей
В меня вливает жар мгновенный!..
Мне нужен он! Пусть упоенный
Твоей продажной красотой —
Сдружу забвенье я с мечтой!..
Хотя бы ты, раба разврата,
Могла занять меня в глуши:
Страшусь я грозного возврата
Священной горести души!
Пускай, в твои вглядевшись очи,
Забуду я тот нежный взор,
Который днем и в мра́ке ночи
Глядит, как совести укор,
В мою измученную душу!..
Пускай с тобою я разрушу
Порывы чистые мои,
Следы томительной любви!..
Лобзай, лобзай меня, цыганка!
Буди восторг в груди моей!
Нужна мне жалкая приманка
Твоих объятий и речей.

⟨1836⟩

238. ⟨ХОР РАЗБОЙНИКОВ ИЗ ДРАМЫ «КОЗЬМА РОЩИН, РЯЗАНСКИЙ РАЗБОЙНИК»⟩

Не леса шумят, не погодушка
Разыгралася!
Нет, рязанская наша волюшка
Разгулялася!
Родились мы врозь, породнились вдруг,
Ночкой темною!
Съединил друзей закадышный друг
Свахой острою!
Мы реку пронырнем, сквозь огонь мы пройдем
Шайкой целою,

Что ножом не возьмем, то огнем доберем
Рукой смелою!
Не леса шумят, не погодушка
Разыгралася!
Нет, рязанская наша волюшка
Разгулялася!

⟨*1836*⟩

239. ⟨ ГИМН КАТРИЦЕ
ИЗ ДРАМЫ «МОЛДАВАНСКАЯ ЦЫГАНКА, ИЛИ ЗОЛОТО И КИНЖАЛ»⟩

Солнце в блеске выступает
На лазурные поля,
Небо радостью пылает,
Но печалится земля.
Луч блестит в волнах потока,
Сквозь деревья брызжет свет,
Солнце неба — на востоке,
Но земного солнца нет.

Взор туманится, не видит,
Что там на небе горит,
Луч златой доколь не выйдет
И земли не озарит.

Встань, прекрасная Катрица,
Встань, жемчужина любви!
Обрати к нам, как денница,
Очи томные свои.
Пусть роскошные мечтанья
В взоре плавают твоем
И, как в первый день созданья,
Радость царствует на нем!

Не таись, звезда востока,
Под ревнивой пеленой,
Светлооких дев Пророка
Пристыди своей красой!

⟨*1836*⟩

240

Однообразные досуги
Сменили бешенство страстей;
Без вдохновенья, без подруги
Проходит время юных дней.

Я свыкся с хладной тишиною,
Душа печальна и нема.
Живу в забвеньи сиротою,
Нет грез для сердца и ума.

Когда ж опять во мне проснется
Порыв любви, порыв весны?
Когда же чувство отзовется
На глас знакомой старины?

Мое молчит воображенье,
Как льдом покрытая река.
Приди, былое наслажденье,
Рассей младого старика.

Вторая половина 1830-х годов

241. БАРОН БРАМБЕУС

Баллада

До рассвета поднявшись, перо очинил
Нечестивый Брамбеус барон.
И чернил не щадил, *сих* и *оных* бранил
До полудня без отдыха он;
Улыбаясь, привстал и тетрадь отослал
В типографию к Працу барон.
В ней он Греча ругал, но под видом похвал,
Рассмотрев с *тех* и *этих* сторон.

Фантастический бес в кацавейке своей,
Потирая руками, гулял.
Слышен стук у дверей, и на зов «Ну, скорей!»
В кабинет Тимофеев вбежал.

«Подойди, мой урод, ты мой виршник плохой!
Ты три года мне друг и родня.
Будь мне предан душой, а не то — черт с тобой!
Пропадешь ты как пес без меня.

Я в отлучке был день. Кто у Смирдина был?
На меня не точили ль ножи?
И к кому он ходил, и хлеб-соль с кем водил?
Что заметил — мне всё расскажи».
— «Без тебя, мой барон! непогода была;
Целый день наш купец хлопотал —
И реформа пошла — Смирдина все дела
Полевой обрабатывать стал.

Тихомолком пробрался я к ним в кабинет
И вникал в их преступную речь.
Передать силы нет Полевого совет!..
Вдруг дверь настежь — и входит к ним Греч.
И, ему поклонившись почти до земли,
Наш Филиппыч осклабил уста...
Тут беседы пошли, и — поверишь — нашли,
Что твой ум и ученость — мечта!

Что ты Смирдина скоро в банкротство введешь,
Что его ты Султан Багадур,
Что ему ты всё врешь, празднословишь и лжешь,
Что богат он и глуп чересчур,
Что бесстыдным нахальством ты всех оттолкнул,
Что откармливал только себя,
Что ты *сих* обманул и что *оных* надул,
Что надежда плоха на тебя...

И спасенья у них умолял наш Смирдин.
Призадумался Греч с Полевым.
«Ты наш друг, ты наш сын», — возглашает один,
И другой повторяет за ним:
«Пусть от злости зачахнет ехидный барон,
Но ты честен, желаешь добра,
И теперь ты спасен, и не страшен нам он,
Обличить самозванца пора!»

Тут взялися за трости, за шляпы они
И домой поспешили бежать.
Вспомня старые дни, со мной стены одни
О суе́тности стали мечтать».
И Брамбеус барон, поражен, раздражен,
И кипел, и горел, и сверкал;
Как убитый был он, злобный вырвался стон:
«Он — клянусь сатаною! — пропал!..

Но обманут ли не был ты глупой мечтой,
Например, хоть мистерий твоих?
Ты невольно порой — ах, раздуй их горой! —
С панталыку сбиваешься в них».
— «Не мистерилось мне, не писал я пять дней,
И всё видел и слышал я сам,
Как он стал веселей, проводивши гостей,
Как он гнул непристойности нам.

Если ты не покажешь свой гнев, свою власть
Смирдину и клевретам его,
Я предвижу напасть: нам придется пропасть,
Нам не будут платить ничего.
Но бороться опасно — могуч Полевой,
И опасен бывает и Греч!
Не рискуй же собой, мой барон удалой!
Ведь тебя им, как плюнуть, — распечь!

Оба бойко владеют пером и умом,
Их привыкли давно уважать,
И живут хоть домком, да нажит он трудом,
А не так... но зачем пояснять!
Что сказал я, то знаю, — ты понял, барон?
Ведь слова непритворны мои.
Ты отвесь им поклон, так не выгонят вон,
А не то нас отлупят они».

«Ах ты, Миф Тимофеич! Из лыка ты сшит.
Ты мне смеешь советы давать!
Во мне ярость кипит: пусть Смирдин задрожит,
Я его поспешу покарать.

Кто Брамбеус — изменнику я покажу.
Будь свидетелем мести моей!
Я язык привяжу, дружка спать уложу.
В путь-дорогу сбирайся скорей!»

«Я не властен идти, я не должен идти,
Я не смею идти! — был ответ. —
Что шуметь без пути! Да и ты не кути!» —
И бежит без оглядки поэт.
Сел в коляску барон — кони борзые мчат
Из Почтамтской на Невский его.
Часу мщения рад... В беспорядке наряд,
И мутится в глазах у него.

Вот подходит к крыльцу, вот уж он на крыльце,
Вот в знакомый вбежал магазин,
Вытер пот на лице... Нет лица на купце:
Душу в пятки упрятал Смирдин.
«Я с тобою опять, друг почтеннейший мой!»
— «В добрый час, благородный барон!»
— «Ты в чести стал большой. Что, здоров Полевой?
Ну, скажи мне, что делает он?»

От вопроса Смирдин изменился лицом —
И ни слова. Ни слова и тот!
Что-то будет с купцом? Счет плохой с наглецом,
Он же кстати и счет подает.
Содрогнулся Смирдин, и в очах меркнет свет:
Счет ужасен! «Что будет со мной?
Дай один мне ответ: ты мне сбавишь иль нет?»
Но Брамбеус затряс головой.

«Беззаконную черти карают приязнь,
Нашей дружбе с тобою конец!
Ты изведал боязнь и ужасную казнь
Заслужил, вероломный купец!»
Он тяжелою шуйцей коснулся стола
И в минуту замок надломал,
Где наличность была — всё десница взяла,
А Смирдин «караул!» закричал...

И в столе пустота роковая видна,
Счет ужасный лежит там один...
Прост наш голубчик! В том только вина.
И закрылся с тех пор магазин.

Есть в больнице «Скорбящих» недавний жилец:
Он дичится, на свет не глядит;
С ним ужасен конец; страшен он, как мертвец,
Он без умолку всё говорит:
«Был богат, был богат, а теперь разорен!
На козла бы его да под кнут!
Не барон, не барон, не Брамбеус, а он —
Лишь мошенник, отъявленный плут!»

Есть на Невском проспекте огромнейший дом:
Громобоем хозяин живет.
Каждой ночью и днем зло пирует он в нем
И, вдобавок, журнал издает...
Сей счастливец богатый и пышный, — кто он?
Кто больницы «Скорбящих» жилец?
То поляк нечестивый — Брамбеус барон,
То Смирдин, наш известный купец!

1838 или 1839

242. ПЕСНЯ ЯМЩИКА

Аль опять
Не видать
Прежней красной доли?
Я душой
Сам не свой,
Сохну как в неволе.

А бывал
Я удал!
С ухарскою тройкой
Понесусь
И зальюсь
Песенкою бойкой!

Не кнутом,
Поведем
Только рукавицей —
И по пням,
По холмам
Мчат лошадки птицей!

Ни с слезой,
Ни с тоской
Молодец не знался, —
Попевал
Да гулял...
Вот — и догулялся!

Уж дугу
Не смогу
Перегнуть как надо;
Вожжи врозь,
Ну хоть брось!
Экая досада!

Ночью, днем
Об одном
Тяжко помышляю,
Всё по ней,
По моей
Лапушке страдаю!..

Аль опять
Не видать
Прежней красной доли?
Я душой
Сам не свой,
Сохну, как в неволе.

⟨1840⟩

243. ⟨АВТОЭПИГРАММА⟩

Бахтурин, переплыв чрез Ахерон
И выпрыгнув из лодки,
Тотчас же спросит: «Эй, Харон!
Где здесь трактир, чтоб выпить водки?»

244. ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ

Уж как пал на сине море,
Уж как пал седой туман;
Налегло на сердце горе,
Разлюбил меня цыган!

Но с рассветом солнце красно
Снова пó небу пойдет,
Снова море будет ясно,
Снова влагою блеснет!..

Для цыганки черноокой,
Видно, солнцу не всходить,
Изнывать в тоске жестокой
Да горючи слезы лить!

Ты куда, куда сокрылося,
Беззаботное житье?
Что так бурно закатилося,
Солнце красное мое?

Уж как пал туман на море,
Уж как пал седой туман;
Налегло на сердце горе,
Разлюбил меня цыган!

В. И. СОКОЛОВСКИЙ

Из промелькнувших в печати сведений[1] известно, что в 1808 году подполковник Игнатий Соколовский был назначен управляющим тельминскими фабриками на реке Тельме (в Иркутской губернии). В том же 1808 году и, видимо, в тех же краях родился его сын Владимир. В 1821 году он стал воспитанником Первого кадетского корпуса.

«За неспособностью по болезни к военной службе» Соколовский, как записано в его формуляре, был «выпущен из корпуса для определения к статским делам с награждением за успехи в науках чином 12-го класса».[2]

В 1826 году Соколовский возвращается из столицы в Сибирь и зачисляется в штат канцелярии Томского общего губернского управления, а в мае 1828 года переселяется в Красноярск к дяде, А. П. Степанову, губернатору Енисейской губернии, и поступает в канцелярию Енисейского губернского управления. Вскоре имя Соколовского впервые появляется в печати под стихотворением «Прощание» («Галатея», 1830, № 34).

В мае 1831 года молодой поэт берет увольнение и в феврале 1832 года появляется в Москве. К тому времени им, по всей видимости, уже была написана поэма «Мироздание», так как летом 1832 года она вышла отдельным изданием.

---

[1] А. Мартос, Письма о Восточной Сибири, М., 1827, с. 230.

[2] Формулярный список В. И. Соколовского. — Гос. архив Вологодской обл. Неизвестные факты биографии и творчества Соколовского извлечены из неопубликованных материалов, хранящихся в ЦГАОР (фонд III Отделения, первая экспедиция) и ЦГА г. Москвы (фонды канцелярий московского генерал-губернатора и московского обер-полицмейстера) и составляющих в сумме своей одно и то же следственное дело «О лицах, певших пасквильные стихи» (1834—1835). Почерпнутые из него сведения, как и данные формулярного списка, в дальнейшем приводятся без ссылок.

Автором «Мироздания» заинтересовались члены герценовского кружка. Сведя знакомство с Н. М. Сатиным, И. П. Оболенским, Н. И. Сазоновым, Огаревым и Герценом, он делится с ними своими литературными замыслами, читает отрывки из новой (видимо, не доведенной до конца) поэмы «Иван IV Васильевич».[1] Вскоре выяснилось, что серьезные умственные запросы, которыми жили участники кружка, слабо затронули Соколовского. Не могла не разочаровать их и его поэзия — прежде всего отсутствием философской проблематики и интеллектуальной пытливости. Как бы в подтверждение своей несерьезности Соколовский в 1833 году печатает «Рассказы сибиряка» — произведение с установкой на развлекательность и вполне безобидный юмор, написанное вперемежку прозой и стихами. Возможно, жанр и стиль этого произведения был отчасти подсказан «Странником» Вельтмана (1831).

Не имея никакого состояния, поэт вынужден был заняться литературной поденщиной. В 1833 году ему удалось получить у книготорговца заказ на роман. Он быстро разделался с ним и в следующем году издал под названием «Две и одна, или Любовь поэта». Произведение это, вызвавшее удивление Сатина своей бессодержательностью, красноречиво свидетельствовало о поражении Соколовского как беллетриста.

Надежда прокормиться на литературные заработки оказалась призрачной, и в марте 1834 года Соколовский отправился в Петербург. Там ему удалось устроиться в канцелярию военного генерал-губернатора П. К. Эссена на должность помощника секретаря. Это было в июне, а ровно через месяц в Москве произошли события, перевернувшие всю дальнейшую жизнь Соколовского.

По доносу провокаторов московская полиция арестовала группу молодых людей, подозреваемых в пении дерзких куплетов насчет «августейшей» фамилии и в вольнодумстве. Среди схваченных были приятели и знакомые поэта, в том числе Огарев, Герцен, Оболенский, Н. И. Уткин, Л. К. Ибаев и другие. Уже первые допросы показали, что «главный участник в сем деле оказывается титулярный советник Соколовский» — сочинитель «возмутительной» песни «Русский император. . .». 19 или 20 июля Соколовский был арестован и препровожден на следствие в Москву. Он, естественно, отрицал свое авторство, сознавшись лишь в распространении песни.

В течение девяти месяцев, пока тянулось дознание, поэт сидел в остроге. «С ним очень дурно обращались, а один из московских

---

[1] Две «свадебные песни» из нее были напечатаны в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"», 1837, 26 июня, с. 232.

полицмейстеров грозил ему часто истязаниями», — записал в своем дневнике со слов Соколовского А. В. Никитенко.[1] Вина Соколовского усугублялась также раскрытием его переписки с «государственным преступником» Н. Мозгалевским, замешанным в деле 14 декабря и сосланным в Сибирь.

Опасаясь дальнейшего распространения «пасквильных стихов» через процесс, на котором их оглашение было бы неизбежным, Николай I решил обойтись без суда. Он потребовал, чтобы главных виновников — Уткина, Соколовского, Ибаева — «оставить года на три в Шлиссельбурге и потом допустить к службе в отдаленных местах».[2]

В Шлиссельбургской крепости Соколовский содержался с апреля 1835 года до декабря 1836 года. По болезни он досрочно был выпущен на поруки родного брата Николая, который выхлопотал ему эту милость через великого князя Михаила Павловича. Некоторое время до отправления в ссылку Соколовскому дозволено было остаться в столице. Фигура репрессированного поэта, очередной жертвы правительственного произвола, привлекла к себе сочувственное внимание литературных кругов Петербурга. Соколовский на короткое время делается героем дня. Видимо, через Жуковского (или П. А. Плетнева) в шестом томе «Современника» — первом томе, вышедшем после смерти Пушкина, — были напечатаны отрывки из поэмы «Альма» (вполне она была закончена позднее — в марте 1838 года), текст которой местами перекликался с главами библейской «Книги Песни песней».

Тяжелая хроническая болезнь не избавила Соколовского от ссылки в холодную Вологду, куда, согласно предписанию, он прибыл в сентябре 1837 года. Тем временем в Петербурге вышла из печати «драматическая поэма» «Хеверь», вчерне написанная поэтом (еще до заключения в Шлиссельбурге) по мотивам библейской «Книги Эсфирь». Вопреки ожиданиям, «Хеверь» не имела никакого успеха и даже вызвала разочарование у тех, кто верил в талант ее автора.

В Вологде Соколовского подстерегали новые беды. Сначала безденежье — из-за бюрократической волокиты ему не выплачивали положенного жалованья (поэт числился на службе в редакции

---

[1] А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, т. I, М., 1955, с. 201.

[2] М. К. Лемке, Комментарий к «Былому и думам». — А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. 12, Пб., 1919, с. 358.

«Вологодских губернских ведомостей»), затем второе, еще более грозное обострение болезни.[1] Губила Соколовского и его «предосудительная наклонность» — запойное пьянство, с которым он несколько лет тщетно боролся.

Мучительные дни вологодской ссылки кое-как скрашивались поэтическим творчеством, встречами с местными литераторами (Н. Е. Вуичем, А. И. Иваницким, Н. И. Навашиным и др.), собиравшимися на квартире поэта. В Вологде Соколовский посещал гостеприимный дом помещика Д. М. Макшеева, дочь которого — юную поэтессу Варвару — он полюбил без всякой надежды на брак.

В результате прошений Соколовского в III Отделение об избавлении его от сурового северного климата, ему наконец разрешено было поселиться на Кавказе. Покинув Вологду в декабре 1838 года, он следующие три месяца проводит в Москве, неоднократно подвергаясь притеснениям местной полиции, а в апреле прибывает в Ставрополь. Но время для лечения было упущено — 17 сентября 1839 года поэт скончался, не успев напечатать целый ряд новых своих произведений, и в их числе поэмы «Новоизбрание», «Искупающий страдалец».

Человеческий облик Соколовского, о котором Герцен писал, что это был «милый гуляка, поэт в жизни», «веселый товарищ в веселые минуты, bon vivant, любивший покутить»,[2] на первый взгляд никак не вяжется с приверженностью к Библии. Она (в основном Ветхий завет) была главным источником, из которого Соколовский обильно черпал сюжеты, образы и краски для своих опытов «духовной» поэзии.

Как известно, Ветхий завет с его образом карающего бога использовался гражданской поэзией того времени в качестве авторитетнейшего нравственного кодекса при осуждении социального зла. Библия была также предметом и чисто познавательных и художественных интересов. В 1836 году, в статье «О духовной поэзии»,[3] скрытым образом направленной против Соколовского, Н. А. Полевой оправдывал лишь такое обращение к Библии, которое имело бы

---

[1] Подробные данные о жизни Соколовского в Вологде содержатся в его неопубликованных письмах к А. А. Краевскому (ГПБ).

[2] А. И. Герцен, Былое и думы. — Собр. соч. в тридцати томах, т. 8, М., 1956, с. 210. Bon vivant — добрый малый (франц.).

[3] «Библиотека для чтения», 1836, № 1, с. 96—107. Выступая против ложной «духовной» поэзии, Полевой обрушивается на Соколовского как на главного ее представителя; он приводит выдержки из «Мироздания», ни разу не упомянув ни названия, ни автора произведения.

своей целью проникновение в жизнь и миросозерцание древнего народа — творца библейских книг.

Поэзия Соколовского носит на себе следы этих традиций (например, в «Оде на разрушение Вавилона» слышится отзвук декабристской трактовки Библии, а в «Альме» значительную роль играют местные краски, этнографические подробности), но не сводится к ним.

Исключительное значение Библии в творчестве Соколовского во многом объясняется характером его дарования. Известно, что поэт был автором многочисленных стихотворных писем, посланий, экспромтов, непосредственно внушенных живыми впечатлениями окружающего его быта. Бедное от природы воображение Соколовского порабощалось этим потоком будничных впечатлений, которые без особой художественной обработки, без отстоя и обобщения сразу же передавались в стихах. Действительность, изображенная в них, почти всегда выглядела неопрятной, нелепой, в лучшем случае — комически несообразной. Несерьезность этого стихотворства постигал и сам Соколовский, который тем не менее был очень им увлечен. Здесь он давал выход своему неистощимому острословию, не щадившему официальных святынь, а порой переходившему в откровенное богохульство, [1] что, кстати сказать, колеблет версию об истинно религиозных стимулах [2] «духовной» поэзии Соколовского.

Положительное начало жизни открывалось ему не в близком ее наблюдении, а напротив — в очень сильном отвлечении. Но тем самым и без того небогатая фантазия поэта теряла свой строительный материал. Она явно нуждалась в поддержке. Без этого не мог состояться сам акт высокого поэтического творчества. Библия и была той канвой и тем условным поэтическим миром, при помощи которых Соколовский смог художественно оформить свой отвлеченный и безотчетный лиризм.

Внутренний пафос всех его библейских и вообще высоких произведений составляет неопределенный, но сильный порыв к какому-то огромному и прекрасному грядущему, к источнику всемирной благодати. Социально-утопический смысл этого порыва — в призыве к вселенской любви, в разрыве с корыстью, эгоистическими интересами и грубой чувственностью — «плотяностью». Для самого Ветхого

---

[1] См. примечание к песне «Русский император...», № 245.

[2] Версию эту выдвинули анонимный рецензент первого издания поэмы (видимо, Л. А. Якубович, справедливо отметивший непричастность Соколовского к «немецкой мечтательности») и Ф. А. Кони — в отзыве на второе издание поэмы 1837 г. (см. примеч. к «Мирозданию», № 249—251).

завета такое презрение к мирскому, телесному отнюдь не характерно. Подвергая Библию романтической идеализации, поэт допускал многочисленные, порой разительные отступления от текста священного писания, давая поводы для цензурных придирок, из-за которых не осуществилась публикация полного текста поэмы «Альма».

Лиризм Соколовского явно тяготел к жанру торжественной оды, к которому поэт неоднократно обращался. Но монументальность этого лиризма требовала еще более пространных, более емких форм для своего воплощения — таких, как поэма и драма. Любопытно, что «поэмы» и «драмы» Соколовского в значительной своей части написаны стихом, непосредственно продолжающим традицию декламационного стиха русской оды.[1] Впрочем, ораторская патетика поэта то смягчается задушевностью любовно-элегического стихотворения, то приближается к мажорному звучанию ритуальной хоровой песни. Известно, что М. И. Глинка собирался создать ораторию на слова Соколовского. Неосуществившийся замысел этот, бесспорно, был внушен не только соответствующей тематикой, но и самим звучанием поэтического голоса Соколовского.

Главное в произведениях поэта — не сюжет, не тема и не конкретная ситуация, а устойчивая эмоциональная атмосфера, — атмосфера священного экстаза, восторга и трепета перед очистительным таинством будущего. Этим, несмотря на тематическое различие, обусловлено поразительное однообразие всех крупных произведений Соколовского. Упор в них сделан на монологи, славословия, «хоры», на звучность и ораторскую пышность стиховой речи. Получалось своего рода поэтическое красноречие, богато орнаментированное метафорами, неологизмами, экзотически звучащими библейскими именами, географическими и культурно-историческими терминами. Это было утомительно многословное стихотворство, но тем не менее отмеченное такой индивидуальной манерой письма, которую невозможно спутать с творческим почерком другого поэта.[2]

---

[1] Об ориентации поэзии Соколовского на оду см.: Т. Хмельницкая, В. Соколовский. — Сб. «Русская поэзия XIX века», Л., 1929, с. 205—247.

[2] Из целого ряда индивидуальных примет поэтического стиля Соколовского особенно выделяется краткая форма будущего времени, образуемого посредством свободного присоединения приставки «за»: застрадают, занегодуют, зажелают, захрипнут, зачувствуют и т. п. Появление подобных неологизмов связано с гегемонией будущего времени в высокой поэзии Соколовского с ее пафосом безоглядного бегства от земли — от дурного настоящего и прошлого — в светлые дали грядущего.

245

Русский император
Богу дух вручил,
Ему оператор
Брюхо начинил.
Плачет государство,
Плачет весь народ —
Едет к нам на царство
Костюшка-урод.
Но царю вселенной,
Богу вышних сил,
Царь Благословенный
Грамотку вручил.
Манифест читая,
Сжалился творец —
Дал нам Николая,
Сукин сын, подлец.

1825

246. УТРО НА ЕНИСЕЕ

Кипучий, быстрый Енисей!
Неси меня своей волною;
Уж солнце всходит за горою,
Неси меня, неси скорей!

Как будто синий океан
Клубит под бурными ветрами,
Так над твоими островами
Клубится утренний туман.

Он подымался на утес,
Он заслонил его вершину,
Но ветер освежил долину
И в даль небес его унес!

Я видел: сквозь зеленый лес
Мелькали горы голубые,
И розы облаков младые,
И золотой пожар небес.

Гордись, река! Я трепетал
Перед надводными скалами;
Я жил тогда, когда мечтами
В стране возвышенной летал!

О Енисей! Увижу ль вновь
Твои пленительные волны,
И буду ли, восторга полный,
Тут петь творца, тебя, любовь?

Кипучий, быстрый Енисей!
Неси меня своей волною;
Уж солнце светит над горою
И цель близка... неси скорей!

26 июля 1828

247—248. ⟨ИЗ «РАССКАЗОВ СИБИРЯКА»⟩

1

Кто важно в свет вступил при шпаге,
Кто много нежностей читал,
Тот хочет вдруг, при первом шаге,
Сыскать для сердца *идеал*...
«Мне жизнь — печаль, мне свет — пустыня!
С кем поделюся я душой?» —
Твердит мечтатель пылкий мой,
И вот является богиня.
Уж разумеется, она,
По милости воображенья,
Тотчас же фениксом творенья
В посланьи к другу названа.
Тут на людей пойдут нападки,
И в духе рыцарских времен
Он бросить всем готов перчатки,
Зачем не бредят все, как он...
Какой он вздор в стихах турусит!
В них смесь всего и ничего:
Он понял всех, а уж его

Никто, наверно, не раскусит.
Все жалки, холодны как лед,
У всех наместо сердца — камень,
И только в нем небесный пламень
От скуки ангел стережет...
Потом, беснуясь страстью оба,
Ничтожный мир забыть хотят,
И наизусть из книг твердят:
«Любовь и за пределом гроба!..»
Потом, по правилам любви,
Несчастным предстоит разлука,
Вот тут-то плохо: в сердце мука
И холод гробовой в крови.
Он стал элегией ходячей,
Он чужд веселостей чужих,
И в этой горькой неудаче
Остался бедный *при своих*...
Вот вам симптомы и припадки
Сердечной, глупой лихорадки...
Хоть стыд сказать, а грех таить!
Былое дело: поневоле
И я дежурил в этой школе,
Чтобы других собой смешить;
Была проказа и со мною,
Но уж исчезнул вздорный сон,
Когда française [1] и котильон
Меня счастливили собою.
Я курс любви давно прошел,
Я отолстел, я обленился,
И мишурой не ослепился,
И на подъем я стал тяжел.
Теперь душа иного просит,
Я записался в старики,
И уж пожатие руки
Меня высоко не заносит,
И право, только для проказ
Влюблялся я двенадцать раз.

⟨1832⟩

---

[1] Французская; здесь — французская кадриль. — *Ред.*

2

Когда поэзии фиал
Мне подал гений вдохновенья
И я рассказывать вам стал
Про чудеса перерожденья,
Про ужас гибельной грозы, —
Я как-то встретил очи девы
И что ж?.. О выраженья!.. Где вы?..
Я видел там жемчуг слезы.
Как я доволен был собою!
Как был признателен к судьбе!
И, одураченный мечтою,
Вот я и думаю себе:
Ага! Что значит сила речи!..
А это... говорить ли вам?
А это нагорели свечи, —
Так стало тяжело глазам...
Пора и мне не быть повесой,
Подумал я, и снес удар:
Спокойно снял себе нагар
И снова занялся пиесой.
Читаю, кончил наконец,
Услышал вздох и жду ответа.
Но каково же для поэта?
Как я не умер, мой творец?
Как обмануться так позорно?..
Я весь в мечтаньях утонул,
А он, мой ангел, он — уснул!
Да, он уснул, прошу покорно!

Может быть, иной скажет, что в этом рассказе чрезвычайно мало ориентализма. Как быть! Я бы и готов продолжать, но сами посудите, можно ли потревожить прелестную Катеньку?.. Разойдемтесь-ка лучше, господа! Меня и самого что-то клонит ко сну...

— Послушай, Моисей! Погаси-ка свечку, да, пожалуйста, не стучи как лошадь: ты этак разбудишь мою Катеньку.

— Какую, сударь, Катеньку? Здесь, кажется, никого не видно.

— Глупец! Разве ты не слышал ее гармонического голоса?

— «Да голос ваш совсем не женский,
А он один и слышен был».
— «Ах, виноват! Я и забыл,
Что ты, брат, олух деревенский.

Где ж тебе увидеть этот священный призрак! Ступай и спи! .. Э... о... о... а... о... а... ах! Господи, прости мои согрешения! ..»

⟨1832⟩

249—251. ⟨ИЗ ПОЭМЫ «МИРОЗДАНИЕ»⟩

1

Из главы 1

«ДОВРЕМЕННОСТЬ»

В неизъяснимой той стране,
В разливе славы и сиянья,
Как бездна искр, блестят оне —
Творца духовные созданья.
Их жизнь в пространстве без времен —
Восторгов светлая дорога;
Для них — любить и славить бога —
Один завещанный закон.
Неизменяемая младость
Лелеет их своей рукой,
И льется в песнях их рекой
Любви, хвалы и рая сладость.
Они поют — и песня та
Очаровательна, свята;
Их звуки, слившись над струнами,
Как благовонный фимиам,
Клубятся к божиим стопам
Волшебно-ясными волнами.

Хор небесных сил

Светом счастия дыша,
Будто влагой золотою,
Наша чистая душа,
Как фиал, полна Тобою.

В нас красы Твои горят,
В нас любовь к Тебе сияет

И, как теплый аромат,
Упоеньем согревает.

В непостижной бездне сей
Из Тебя, как из светила,
Сеткой радужных лучей
Вдохновенье нас обвило.

Всё живет одним Тобой,
Ты один властей не знаешь
И в предвечности святой
Не живешь, а пребываешь.

Благодатно Твой *Глагол*
Всё пространство без предела,
Вея жизнию, прошел —
И пучина закипела!

Необъятною волной
Рай пленительно разлился
И, наполненный Тобой,
Осветлел и освятился.

И с державной высоты,
Со ступеней на ступени,
В блеске светлой красоты
Низошли святые тени.

С той поры *Любовь* Твоя
Нам как море наслажденья,
И в восторге бытия
Мы поем Тебе хваленья!

Вдруг Он державною рукой
Их осенил, благословляя,
И песнь хвалы в дали немой
Исчезла, тихо замолкая...
Высокой тайны полон был
Творец, сидящий на престоле,
И кротко *Мудрость* Он излил
С *Любовью* в сладостном *Глаголе:*

«О дети вечной Красоты!
Мои святые Дуновенья!
Для вас безмерность пустоты
Облек Я в роскошь наслажденья.
Здесь всё сливается в одно,
И без конца, и без предела;
Но есть пространство — там давно
В Моем созданьи жизнь кипела.
Здесь неизменность есть закон —
Там всё собою изменяло
Теченье бурное времен:
Там есть конец, где есть начало!
В неизмеримой бездне той
Бесчисленных столетий звенья
Над дивною громадой тленья
Текли завещанной чредой.
Своими мощными Словами
Из хладной тьмы небытия
Рождал и жизнь, и радость Я,
И наполнял ее мирами;
Но время быстрое неслось,
Мгновеньями века летели,
Свершая путь, миры дряхлели
И вновь сливалися в хаос.
И в каждом круге мирозданья
Детей послушных Я встречал
И в лоно благ их принимал
Из знойной степи испытанья;
Теперь опять *Любовь* Моя
Подвигнет царственное *Слово*,
И в той пучине мрака снова
Прекрасный мир устрою Я».

Хор небесных сил

Ты чудесно нам раскрыл
Всемогущество и славу,
И в восторге сонмы сил
Огласят Твою державу.

Арфы златом заблестят
И под нашими перстами

Затрепещут, зазвенят
Гармонически струнами.

Тот увидит мир святой,
Мир любви и упоенья,
Кто младенчески душой
Исполнял Твои веленья.

Бренный туск его очей
Просветлеет, просияет,
И красу Твоих лучей,
Торжествуя, он узнает.

Он создателя поймет,
Бытие переменяя,
И о счастьи запоет,
В нем навеки утопая.

Свят Господь! Егова свят!
Ты возвысил всё Собою,
И к Тебе, Творец, горят
Все любовию святою!

И вот торжественно жезлом
Провел Он, бездны раздирая,
И светлое сиянье рая
Разверзлось пред Его лицом...
Пучина страшная темнела;
Но в ней, под ризой вечной мглы,
Не море под грозой кипело,
Вздымая черные валы;
Там не туманы над водами
Вились безмерными клубами,
И не сгущенный, чадный дым
Стоял страшилищем седым;
Не вихри злобно там стонали;
Не духи, падшие в грехах,
В богохулительных словах
На неизбежный суд роптали;
Не беспредельное ничто

Там распростерлося уныло, —
Там света и миров могила,
Туда минувшее слито́!
Там смутно к непонятной цели
Стихий, ато́мов, сил, начал
Потоки бурные кипели;
Незримый пламень там пылал,
И в нем под ризою печали
Зачатки чудно созревали;
Не смерть носилась в бездне той,
В предвечной мгле захладевая,
Но лишь безжизненность немая
Под склепом тайны роковой;
В ней всё грядущее творенье
Из прежних остовов слилось:
Так, полн символа обновленья,
Клубился сумрачный хаос.

2

Из главы 7

«ДЕНЬ ШЕСТЫЙ»

Хор небесных сил

Славен, силен Саваоф!
Дивен Ты в красах созданья
И святой Любовью Слов,
И могуществом Дыханья!

Как таинственно Оно
Прах и Дух соединило
И в творение одно
Мир безмерный отразило!

Ты дохнул — и прах восстал,
И, наполненный Тобою,
Непонятно просиял
Он небесной красотою.

Ты в него чудесно влил
Дивный Дух — светильник знанья,
Чтоб постиг и оценил
Он твои благодеянья.

Три начала слиты в нем:
Жизни, чувств и размышленья,
И себя, своим Отцом,
Передаст он в поколенья.

Исполняя Твой закон,
Свет разрушится веками,
И последний вал времен
Расплеснется над гробами.

Тлен и прах хаос возьмет,
Но бессмертное Дыханье
Исполином перейдет
Чрез могилу мирозданья.

И сольется вновь тогда
Здесь Оно с Твоей красою,
Как с блестящею зарею
Утра светлая звезда!

8

Из эпилога

Однажды... страшно вспомянуть!
И давит грусть, и сердцу больно,
И жжет его тоска невольно,
И груди не дает вздохнуть...

Дышали свежестью поляны;
Светало; золотел восток;
Вот горный засиял поток;
Вот ветр заколыхал туманы;
Хвалебный гимн творцу служа,
Запели птицы в рощах рая,
То с негой звуки изливая,

То резвой трелью дребезжа.
Цветы, благоуханьем вея,
Раскрыли пышные красы —
И пали капли в них росы,
Их бархат радужный лелея.
Как тьма сомненья, ночи тень
Между ущельями редела,
Лазурь прозрачнее светлела,
И роковой зажегся день...

Прекрасным, золотистым шаром
Горело солнце в высотах
И, рассыпаяся в лучах,
Всю землю обливало жаром...
Как серна легкая скача,
Огнем невинности пылая,
Бежала Евва молодая
К волнам прохладного ключа.
Она уж там — и нега пены
С любовью ей лобзает члены,
Скользя по телу серебром;
То, обвиваяся вкруг шеи,
Ее грудей свежит лилеи,
То, в брызги светлые потом
Дробясь в прибрежные граниты,
К ней на чело и на ланиты
Алмазным падает венцом.
Вот из счастливого кристалла,
Где так роскошно утопала,
Обновлена, оживлена,
На мягкий луг идет она;
Вот ароматными устами
Обвеял ветр ее красы,
И светло-русые власы
Опять рассыпались кудрями;
Вот на цветистый холм взошла
С младенческим весельем Евва,
И вот стоит она у древа
Познания добра и зла...

О! где ты, красота Востока?
Куда завел тебя твой рок?

Где ты, невинности цветок,
Стоишь беспечно-одинока?
Не медли, Евва, и беги,
Спеши упасть на грудь супруга:
Там ты найдешь участье друга —
Здесь сторожат тебя враги.
Ты вспомни божии заветы,
Ты вспомни счастие любви —
И мук на сердце не зови,
И сохрани свои обеты,
Помысли о душе своей,
Помысли о небесном гневе!
Не в роковом ли этом древе
Судьба твоя, судьба людей?
Беги! и бойся новой встречи!..
Но мрамором стоит она,
Нема, безжизненна, бледна,
И внемлет шепот адской речи...

Дай неге счастия цвести!
Еще не скрыта к ней дорога,
Еще ты вымолишь у Бога
Тебя отечески спасти!..
Твое дыханье замирает,
Тревожно помыслы кипят,
И с дерева могильный яд
Тебя то жжет, то охлаждает;
Лазурь очей твоих тускла,
И неужель в пылу волненья
Не узнаешь ты приближенья
Твоей погибели и зла?
Взгляни: предтечею изгнанья,
Греха, и смерти, и страстей
К душе тоскующей твоей
Уже идет гроза страданья...
Еще видна за ней вдали
Надежда мира с небесами, —
Молись и горькими слезами
Облей в смиреньи прах земли.
С Эдемом вспомни ты разлуку,
Не подвергай себя стыду —

Но вот уже она к плоду
Безумно протянула руку...

Еще коварнее была,
Еще хитрее лесть и злоба, —
И плод, открывший двери гроба,
В забвеньи Евва сорвала...

Пожар в груди ее пылает,
Рука горит, рука в огне,
И Кто-то сладко в вышине
Ее к спасенью призывает;
Но глас небес невнятен ей,
Она душой уже упала
И неподвижно приковала
К плоду смущенный взгляд очей.
Ее так тяжко мучит совесть,
Но ей не страшен призрак зла,
Она уж к пропасти пришла...
Постой!.. узнай несчастья повесть.

Не в радость у груди твоей
Взлелеются тобою дети,
На них сама ты взбросишь сети
Тебе неведомых страстей.
Что день — то новая утрата;
Что день — то горесть и беда,
И в адской зависти тогда
Восстанет злобно брат на брата:
Он страшно руку занесет —
И череп друга брызнет кровью,
И сына кроткого с любовью
Твое объятье не сожмет.
Раскаянья и грусти слезы
Всё сердце у тебя прожгут,
И сны тирански привлекут
К тебе чудовищные грезы;
Невозвратимые, в былом
Навек минуты счастья канут;
Тебя мечты твои обманут;

Ты вся покроешься стыдом;
Ты сыновьям свои пороки
Привьешь, как смертоносный яд,
И над тобою прогремят
Потомства горькие упреки;
В трудах оно кровавый пот
На пищу скудную уронит
И, проклиная жизнь, застонет
От муки, скорби и забот;
Междоусобия и брани
Ужасный факел свой зажгут,
И жадно демоны пожнут
По всей земле разврата дани;
Закон природы упадет;
Возненавидит ближний друга,
И счастие людей замрет
Во тьме душевного недуга;
Неверья, буйства знамена
В толпе безумцев разовьются,
И чувств священных имена
Лишь на позор передадутся;
Глубоко землю раздерут
В своей алчбе безмерной люди,
В них месть и злость взволнует груди:
Они и цепь, и меч скуют
И, не боясь казни неба,
Заищут крови будто хлеба...

И будет всё — твоей виной,
Твоими смертными грехами;
Ты не спасешься ни слезами,
Ни мукой сердца, ни мольбой...
Постой!.. послушай глас знакомый:
Тебя давно супруг зовет...
Но ты вкусила страшный плод —
И грянули на небе громы!..

⟨*1832*⟩

252. (ИЗ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ «ХЕВЕРЬ»)
ОТРЫВОК ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ «ВЕТХОЕ И НОВОЕ»

ЯВЛЕНИЕ 7

Царские гости снова предаются веселости пирования... Мусикийцы начинают играть громкую торжественную песнь... Между тем Ахшверус посылает от времени до времени некоторым из своих царедворцев по одному или по два плода из тех, которые принесены рабами Хевери, а ее рабыни, получа приказание, рассыпают цветы на столах и кругом оных на помосте... С окончанием песни Ахшверус обращается к Хевери.

Ахшверус

Но передай вторую просьбу мне,
Чтоб мог бы я державною рукою
Все силы вдруг подвинуть с высоты,
Свершая то, чего желаешь ты...

Хеверь

Мой государь!.. Как я томлюсь тоскою
И как полна терзающих скорбей,
Что просьбою нежданною своей
Внезапно я веселье то разрушу,
Которое вокруг тебя, как храм,
Возносится прекрасно к высотам...

Ахшверус

Хеверь, Хеверь... Ты мне стеснила душу:
Ее живым страданьем обожгло...

Хеверь

А я должна усилить это зло!..
Я чувствую, как тягостно и больно,
Когда порой мы в искреннем своем
Презренное коварство узнаем,
Но я должна, властитель мой, невольно
К твоим очам приблизя яркий свет,
Представить вдруг всю бездну черных бед,
Которая изрыта пред тобою,
Как роют ров заклятому врагу,
Затем что я и мыслить не могу,

Чтоб ты, мой царь, возвышенный судьбою,
Ту рытвину искапывал бы сам,
На стыд себе, в насмешку небесам!..
Да, властелин!.. Ты обольщен коварством,
Которое в несытости своей
Готовится, как бурный вихрь степей,
Лететь стремглав над изумленным царством,
Губя людей ударами клинков...
И разве ты в душе своей таков?
И разве в той обители прекрасной
Не царствует желательный закон
Добра и благ?.. И разве, кроткий, он
Не блещет в ней звездою дивно-ясной?
Нет!.. Он горит! И самодержный ты,
Его лучей святые красоты
Запечатлев заветною печатью
На смелую, возвышенную грудь,
Избрал себе величественный путь,
Блистающий отрадной благодатью,
И, с оною сдружася, как родной,
Всех радостей ты ищешь в ней одной,
А злобные поклонники святыни
Хотят повить бесчестием, как тьмой,
И мне молчать? О нет, желанный мой!
Ты мне супруг, ты царь своей рабыни,
Ты всё мне здесь, и захочу ли я,
Чтоб жалкая, ничтожная змея
На твой венец излила яд позора
И страшный стыд разбойнических дел
На твой престол, и чтобы ты не смел
Ни на людей, ни к небу бросить взора,
И в багрянце торжественном своем
Всё жегся бы проклятьем, как огнем?..

Ахшверус

Но кто грозит подобными бедами?
Кто смел на власть бесславье вознести?..

Хеверь

Кто смел дерзнуть?
(Отдавая свиток, полученный ею от Асадая)
Вот, государь, прочти

И светлыми, глубокими водами
Стремительно и широко разлей
Всю силу ты державности своей,
Чтоб оные всклубившиеся воды,
Плескаяся по лону всей земли,
Отмыли зло и с быстротой спасли
Тебе, мой царь, подвластные народы
От ужасов, и пагубы, и бед:
Пусть видят все, пускай узнает свет,
Что ты, отцом над царствами владея,
Мучительством себя не засквернил...

Ахшверус

(окончив прочтение свитка, встает поспешно из-за стола в сильном гневе... Хеверь следует за ним. Царедворцы также встают и окружают царя)

Чудовище!.. А я его любил!
Но кто бы вник в коварного злодея?..
Поставленный десницею моей
На высоту богатства и честей,
Он был мне друг, и всё одним размахом
В неслыханной и дерзостной алчбе,
Он всё низверг, и всё на стыд себе
Развеял сам презренно-грязным прахом,
Из коего, ничтожный, он возник!..

(Громовым голосом)

Где Асадай?

ЯВЛЕНИЕ 8

Прежние и Дедан, а несколько спустя приходит и Асадай.

Дедан

(Обманутый гневным восклицанием царя, быстро подходит к нему, одушевляяся злобною радостью.)

Что сделал сей старик?..

Ахшверус

(заметя его ошибку, старается удержать свой гнев)

Что сделал он? Он мне взрастил супругу,
Он спас мне жизнь, он в пользах для меня

Был так горяч, что, этот пыл ценя,
Как мудрому и опытному другу
Охотливо я вверился ему,
И вдруг теперь...

Дедан

Ты видишь ту чуму,
Которая так хитро затаилась
Под внешнею лукавой пеленой...

Ахшверус

(продолжая удерживаться от излияния гнева)

Да, вижу я!.. Внезапно предо мной
Она теперь, как сгнивший труп, открылась,
Вся язвами источена вокруг,
И подлого бесстыдства смрадный дух,
Струясь из ран, как будто пар тлетворный
Из глубины раскопанных могил,
Так слышимо преступницу обвил!..
Да! Я узнал и омут злости черной,
И ад страстей, который так жесток,
И желчь души, и зверство, и порок,
И бешенство, и гнусную измену,
И это всё заразно-лютым злом
Затаено и смешано в одном...

В это время входит Асадай в богатых одеждах.

Дедан

(почти не скрывая своего злобного удовольствия)

Я рад, мой царь, что истинную цену
Назначил ты презренным тем рабам,
Которые, судя по их словам,
Как образцы; за то, судя по делу,
Исторгнуты и смяты быть должны,
Так все они убийственно вредны
И гибельны общественному телу!

Ахшверус

(все продолжая удерживать себя)

Ты рад, Дедан?.. Послушай же: вчера

Назначил ты возмездье для добра,
Назначь его сегодня для порока...

Дедан

Мой государь!.. Ты добр и благ во всем,
Но, если я родился бы царем,
Я б наказал преступника жестоко!..
Открыв ему и ясно показав,
Как низок он, и гнусен, и лукав,
Велел бы я неслыханным позором
Обременить его через рабов,
И силою владычественных слов
С проклятьями, и с бранью, и с укором
Отнять потом и почести, и сан,
И власть его, и славу...

Ахшверус

(прерывая его в нетерпении)

Так, Дедан!..

Дедан

И вслед за тем, когда, теряя силы,
Изныл бы он от горького стыда,
Я приказал властительно б тогда
Привесть его к закраине могилы,
И там, еще скорбями удруча,
Лицом к нему поставить палача,
Который бы оттачивал секиру,
Искусную в кровавом деле ран
И смертных язв...

Ахшверус

(едва удерживая себя)

Так... хорошо, Дедан!

Дедан

А там на смех и на потеху миру
При том конце земного рубежа,
Как пленника его разобнажа,
Велел бы я, чтоб шумными толпами
Сошлись его заклятые враги
И, выместя на злобном все долги,

Полмертвого под грозными бедами
Оставили и кинули на прах,
Чтобы палач докончил всё в размах!

Ахшверус

(к воинам, показывая на Дедана)

Свершите же всё это над злодеем!

Дедан

(вне себя от испуга)
Как? .. Надо мной? ..

Ахшверус

(разражаясь всею полнотою негодования)

Да, вероломный, да!
Не ты ль чума и сеятель вреда?
Не ты ли вполз мне в сердце хитрым змеем,
И, никаких не уважая прав,
Не сам ли ты и гнусен, и лукав? ..

(Обращая речь свою к стоящим вокруг чинам)

От всей души, как бы родного брата,
Закрытого злодея полюбя,
Я вдруг его возвысил до себя,
Обогатил, и что ж? .. Какая плата? ..

(Приостановясь)

Взойдя на трон, я дал себе обет
Беречь людей, покоить их от бед,
Считать детьми, и в благородстве воли
Всегдашний труд — вручить как жертву им,
Чтобы они под скипетром моим
И по речам не знали бы той доли,
Которая, насилием полна,
Порой гнетет и губит племена...
Я дал обет — и верен был обету:
Моя любовь и крепла, и цвела;
Мои труды, намеренья, дела —
Всё ясным днем открыто было свету,
И никогда за добрый мой народ
Меня никто ни в чем не упрекнет! ..

Да! .. Я могу и должен тем гордиться
Среди своих великолепных дней!

(Указывая на Хеверь)

Теперь найдя блаженство сердца в ней,
Я так желал на всех вполне излиться
Восторженным веселием своим,
И, весь дыша радушием благим,
Велел открыть печальные темницы
Сподряд во всех подвластных мне местах,
Чтоб вдруг везде на пламенных устах
С названием блистательной царицы,
Во славу ей и в утешенье нам,
Сливалась песнь священным вышинам!

(Гневно взглядывая на Дедана)

Я обо всех заботился душою,
Я, как отец, так пламенно хотел,
Чтоб каждый мог улучшить свой удел,
Чтоб всё росло, мужало, крепло мною —
От близких мне до грустной нищеты,
Я помнил всех, а ты, злодей, а ты! ..

(Передав приближенным поданный ему свиток, продолжает, обращаясь ко всем)

Вот, храбрые сподвижники и братья,
Как в дерзости неслыханных страстей
Он собирал над головой моей
Всю тяготу народного проклятья,
Чтобы меня убийственно загнесть!
Вот как, презря и стыд, и долг, и честь
И насмеясь над искренней любовью
Сопутника, и друга, и царя,
Хотел он лить кровавые моря
И вдруг потом забрызгать этой кровью
И мой престол, и светлый мой венец,
Чтоб каждый мог и смел бы, наконец,
Ругаяся в сердечном содроганьи
Над светлою владычной вышиной,
Клясти царей и укорять их мной,
И обо мне в неподкупно́м преданьи
Изобразить пугающую ложь:
«Он здесь держал взамену скиптра нож!»

И, прокрича, что будто вышней воле
Желательно кругом со всех сторон
Убрать костьми и трупами мой трон,
Прибавил бы, что на таком престоле
Я гибелью повился, как тесьмой!..

(Опять к Дедану)

О гнусный льстец!.. Где перстень, перстень мой?
(Взяв оный с негодованием из рук его)
Я снял с тебя все царские награды:
Ты не сатрап, ты подлый раб рабов,
Твой час пробил — и гроб тебе готов!

(К воинам)

Казнить его!..

Дедан

(бросаясь в ноги пред Ахшверусом)

Пощады мне!.. Пощады!..

Ахшверус

Тебя щадить?.. Не целый ли народ
Ко мне теперь о мщеньи вопиет?..
Тебя щадить?.. Какие ж преступленья
Под меч потом законно я предам
И где тогда страдальцам-беднякам
Искать себе защиты и спасенья,
Когда и я затешусь над людьми?..
Нет! Нет! На казнь!

Дедан

(лежа на помосте)

Властитель!.. Всё возьми,
Но дай мне жить, дай только жить Дедану,
Хоть где-нибудь, хоть как-нибудь, но жить...

Ахшверус

(отходя от него)

Нет! Сказано, чтоб злобного казнить,
И этих слов я изменять не стану,

И устою в той речи твердо я...

(Увидя, что Дедан подвигается к нему на коленях)

Прочь с глаз моих! .. Не ползай, как змея,
И воздуха не зачумляй собою!
В последний раз и прямо говорю:
Ты задолжал народу и царю,
И меч уже поднялся над тобою,
Чтоб кровью дать расчесться бы тебе...

Дедан почти без чувств распростирается на помосте.

Хеверь

Мой государь! .. Позволь своей рабе
Пересказать и третие прошенье:
Оно меня уносит в ясный рай,
В нем жизнь души...

Ахшверус

Хеверь, повелевай! ..

Хеверь

Будь милосерд! .. Даруй ему прощенье:
Пролей любовь из сердца своего! ..

Ахшверус

(в изумлении)

Простить врага?

Асадай

(не веря слуху своему и несколько раз указывая на Дедана)

Хеверь! .. Простить его,
Дерзнувшего на чад обетованья? ..
Его простить, который в забытьи
Взалкал на кровь предызбранной семьи? ..

Хеверь

Ее отвел от смертного страданья
Властительный и милосердый бог,
А бедный враг лежит у наших ног:
Он спутан весь своими же сетями,

Он вырыл ров — и стонет надо рвом,
Заплатим же за пагубу добром
И, возносясь над *ветхими* страстями,
Возьмемтеся за *новое* теперь:
Простим ему...

Асадай

Простить затем, Хеверь,
Чтобы, всегда погибельно крамоля,
На всех путях разбойничал бы он?

Ахшверус

К тому ж закон...

Хеверь

(прерывая его)

Но разве не закон
Твои слова и царственная воля?..

(Указывая на скиптр)

Держа в руках властительства залог,
Как государь, ты был к злодею строг,
Как человек, будь к человеку кроток:
Прости его, и заяснеешь ты
Познаньями надзвездной красоты!..

Ахшверус

Ты требуешь, и мой ответ короток:
Ревнуя знать науку светлых благ,
Я всё простил...

Между тем Дедан при начале последней речи Хевери начинает медленно вставать с помоста и потом дико озирается на все стороны...

Асадай

(внимательно рассмотрев Дедана)

Но не простил Иаг!..

(Показывая на бывшего верховного сатрапа)

Взгляните вы, взгляните в эти очи
И ясно там читайте суд небес!..

Дедан

(в безумии)

А где же страх?.. Тяжелый, он исчез,
Сокрылся он, как страшный призрак ночи,
И мне легко... Да! Мне легко теперь!..
Вот вижу я: открылась настежь дверь
Безмерного, чудовищного ада,
И пламенем незримого огня
Так хорошо пахнуло на меня!..

(Улыбаясь от удовольствия)

Встают, спешат подземной силы чада
Роскошничать злодейством над землей...
Вот потекли какою-то струей...
Вот хлынули шумящими водами...
Вот змеями вползают в глубь лесов...
Вот понеслись ужасной стаей сов,
И вместо крил завеяли бедами,
Летя вперед воздушною стезей,
И вот, как дым, разорванный грозой,
Без образов над миром разлетелись,
Потом слились, и вновь на пир страстей
Вошли в меня, и на душе моей
Так радостно все чувства затеплелись!..

(Новая улыбка)

Я вас, друзья, скликал к себе давно:
Теперь вы здесь, и чудно свершено
Наземное мое перерожденье,
И ваш приход страдальца воскресил!..
Да!.. Я в груди заслышал много сил,
И, чтоб свершать карательное мщенье,
Не нужны мне ни меч мой, ни кинжал:
Я умер уж, и духом злобы стал!..

(Бросает кинжал и меч.)

Растут... растут... растут мои объятья,
И вижу я, как две мои руки
Объемисты и страшно велики,
Ступайте же доверчиво, как братья,
Ступайте в них, мои враги, а я
Вас обниму и стисну, как змея!..

Я обовьюсь вокруг толпы, как пламя,
Убийцею подкрадуся во мгле
И, кровь людей запекши на земле,
Сберу ее и разовью как знамя,
Чтобы потом безмерный ряд гробов,
Где сбросаны тела моих врагов,
Приосенить им пышно и богато!..

(Приостановясь)

Но где Хеверь?.. Где знойная моя?..
Мне вспомнилось, что в поле бытия
Я так любил прекрасную когда-то,
Еще живя на жалком свете том;
И помню я погибель, и потом
Я помню взгляд глубокого участья...
Как поразил он душу мне тогда!..
Но жизнь прошла... Иди ж, Хеверь, сюда,
Иди скорей!.. Как демон сладострастья,
Тебя давно кипучий ждет Дедан!..
Мой дом — весь ад, мой одр — из язв и ран,
Мой сладкий хлеб — те горести мирские,
От коих там захватывает дух,
Мне яд — питье, мне мука — верный друг,
Мой воздух — месть, а песнь и мусикия —
И стон и плач обетованных чад!..
Ликуй же ты, в избытке сих отрад,
Ликуй теперь, красавица, со мною:
Мой пир готов, и страсть моя давно
Кипит, и бьет, и рвется, как вино!
Уже ко мне дружиною родною
На адский брак собралися полки
Восторженных виновников тоски,
И гибели, и бедствий, и проклятья,
И ужасов, и страхов, и смертей...
Да!.. Уж они со всех земных путей
Сошлись толпой в знакомые объятья,
Затем что мы дождались до поры,
Чтоб тешиться и пировать пиры!..

(Мечтая видеть перед собой призраки)

А вы, мои товарищи родные,
Спешите мне по-дружески помочь!..

Вот видите: кругом и мрак, и ночь,
И там идут развратники земные;
Так растворя объятия щедрей,
Возьмите всех и ввергните скорей
В горящие подземные вертепы,
Где смерти — жизнь, где жизни — ад, и в нем
Раскалены негаснущим огнем
И свод, и дно, и стены все, и скрепы!..
Да!.. Всю толпу противников моих
Возьмите вы, терзайте, мучьте их:
Пускай они, разъярены досадой,
Что некому помоги им подать,
Начнут страдать, а там еще страдать,
И все от вас, все будут вам отрадой;
Но Асадай пусть будет отдан мне,
Чтоб мог бы я в подземной стороне
Века веков бичами адской кары
За прежнее рассчитываться с ним...

(Как бы узнавая новое лицо)

И ты у нас, предатель мой, Рафим?
И на тебя посыплются удары
Моей руки, и страшные они,
Гремя, как гром, запышут, как огни,
И одождят собою отовсюду
Рушителя моих кровавых дел:
Ты в простоте безумной не хотел
Губить со мной проклятого Иуду,
Так сам теперь, уставя глупый взгляд
На небеса, ты пей расплаты яд!..
Что!.. Сладок он?.. Что?.. Много ли отрады
В добре для тех, на коих я восстал?..
Не умоляй!.. Я тверже крепких скал
И ни на миг не дам тебе пощады,
Преследуя за гранью гробовой!..

(Обращаясь снова к призракам)

Начнемте же раздольный праздник свой!..
Дружнее все!.. Пусть вопли и рыданья
Под нашею карающей рукой
Вскипят наверх шумящею рекой
Из родников печали и страданья,

Задавленных наземной тяготой,
И пусть никто от адской казни той
В страну живых не ускользнет украдкой,
Но стонет здесь, едва от мук дыша...
Вы начали?.. Пируй, пируй, душа!..
О! как легко, и весело, и сладко!..

(Беснуясь, хохочет и потом приходит в сильное изнеможение... Окружающие поддерживают его.)

Ахшверус

Злодей погиб, и как он жалок мне,
Взволнованный в душевной глубине
Мучительным и жгучим исступленьем,
Которым весь клятвопреступный он
В пример другим внезапно поражен!

(К ближним)

Призреть его!.. Уже над преступленьем
Суды небес так явно свершены,
И мы сберечь несчастного должны...

Несколько сатрапов и воинов выводят Дедана и потом возвращаются.

ЯВЛЕНИЕ 9 И ПОСЛЕДНЕЕ

Все действующие, кроме Дедана.

Ахшверус

Всю жизнь мою, до самой двери гроба,
Такого дня не позабуду я!..
Вы знаете, вы слышали, друзья,
Как близ меня крамольничала злоба,
Взамену всех властительских щедрот,
Как обречен для казни был народ
И как Дедан предательской рукою
Мне изрывал в свирепом забытьи
Колодцы бед и горестей ручьи,
Чтобы меня страданьем и тоскою
Залить кругом, как морем бурных вод,
И смуты срок уж наступал, — но вот
Моя Хеверь заступницей восстала,

И к нам в чертог нежданно притекла
С отрадой благ, и оный заступ зла,
Как тонкую тростинку, изломала:
Народ спасен, а мой венец на мне
По-прежнему сияет, как в огне...

Небольшая пауза.

До сей поры уверенный в Дедане,
Что он мне друг, я вслед за мыслью той,
Увлекшися душевной добротой,
И жил слепцом, и счастлив был в обмане;
Но тот обман легко бы сделать мог,
Что я, к стыду захваченный врасплох,
Своей рукой убийце помогая,
Внезапно б стал пугалищем людей.

(Обращаясь к Хевери)

И от всего защитою твоей
Избавлен я, сопутница благая...
Для общих польз опасностью презря,
Явилась ты на пиршество царя
И с кротостью открыла преступленье,
Спасая честь верховную мою,
И, сохранив народную семью,
Дала в любви святое наставленье,
Всё ты, Хеверь!..

Хеверь

Всё бог отцов моих!..
Он щит и меч для странников плотских,
Он бодрствует невидимо над нами
И, в царственном величии своем,
Ведет к себе таинственным путем,
И этот путь красуется огнями
Его любви и благодатных сил,
Чтоб каждый здесь то счастье предвкусил,
Которое за гробом нам готово!..
Премудр и тверд в намереньях своих,
Он бережет невинных и благих
И путает сетями дела злого
Детей беды и жалких гордецов:
Да, Ахшверус! Всё бог моих отцов!

Всё он один с небес определяет,
А я, смирясь пред вечною судьбой,
Иду вперед послушною рабой
И делаю, что небо мне внушает
И что велит божественный закон,
Который нам создатель наш Адон
Так видимо, так четко пред очами
Изобразил в созданьи, чтобы мы
Узнали ход из этой грустной тьмы...

Ахшверус
(прерывая Хеверь)

Всегда, Хеверь, подобными речами,
Без гордости и в духе простоты,
Дают ответ достойные, как ты...
Но от кого тот умысел кровавый
Узнала ты, и кто открыл тебе,
Как в яростной и бешеной алчбе
Всю красоту величественной славы
Хотел затмить ничтожный, злобный льстец?

Хеверь

Мой государь! .. Мне всё сказал отец...

Ахшверус
(к Асадаю)

О старец мой! .. Я вновь тебе обязан!
Недавний друг, ты много сделал мне:
Я помню всё; итак, теперь вдвойне
Твой царь с тобой признательностью связан.
Но верь моим властительным словам,
Что за тебя я многим вдруг воздам:
Запразднует разбросанное племя,
Возвысится униженный народ
И, получа свободы сладкий плод,
Он сбросит в прах томительное бремя
Былых скорбей и, обновясь на вид,
С веселием судьбу благословит! ..

(Отдавая ему свой перстень)

Возьми печать, и напиши повсюду,
Где только власть простерлася моя,

Что для тебя с довольством сердца я
Приветствую свободного Иуду.
Что с этих пор те вольные сыны
Избавлены от сборов для казны;
Что все свои обряды и законы
Им совершать дозволено везде
И что всегда — в страданьях и нужде —
Ко мне дойдут их жалобы и стоны,
И, как родных и кровных мне детей,
Я их спасу защитою своей...
А ты, старик, ты будь свидетель миру,
Что у меня за светлые дела
Моя рука наградами светла...

(Приказав знаком приближенным своим, чтобы они подали порфиру и венец, передает их Асадаю.)

Возьми, надень блестящую порфиру
И на чело ты возложи венец...

(Обращаясь ко всем)

Друзья мои! .. Он царский мой отец! ..[1]
Я с ним делю всю честь и славу трона,
Всю власть мою и все мои права:
Он надо всем начальник и глава,
И, равный мне, он выше стал закона...
Так, Асадай! .. Имея от богов
Избыток благ, я всё делить готов
С таким, как ты: и почесть, и державу,
И золото, и всё, что мне дано
В земной удел, затем что я давно
Вменил себе в заманчивую славу
И в лучший дар из всех моих даров:
Вознаграждать не звуком пышных слов,
Но прочною существенностью дела!

(К Рафиму)

А ты, Рафим! .. Безумца злая речь
Открыла мне, что ты помог сберечь
Моих детей и, восставая смело,

---

[1] Титло *царского отца* было в древней Персии самым высоким из всех отличий, до которых мог домогаться частный человек.

Пошел вперед к ниспроверженью зла,
И для тебя преградой не была
Враждебника блистательная сила,
Ты позабыл и страх, и злую месть,
Ты всё презрел, и помнил только честь,
Твоя душа высокого просила:
Она рвалась как на стезю побед,
И дал ты ей на деле свой ответ,
Ответ благой, возвышенный, прекрасный,
Который нам передает без слов,
Что ты на всё великое готов...
Не возражай, не говори напрасно!..
Ты светлою решимостью своей
Нам доказал, что и во цвете дней
Бываем мы для подвигов могучи
И если в нас под пылом знойных дел
Душа — тверда, взгляд — зорок, разум — смел,
Стремления к избранному — кипучи,
То можно нам по всякому пути
С величием и с честию пройти!..
Да! Довод дел есть довод безусловный,
И в этот миг, руководимый им,
Я за твое бесстрашие, Рафим,
Плачу свой долг: ты мой сатрап верховный!..

(Снова обращаясь ко всему собранию)

Теперь, друзья, одно осталось нам:
Возвысимся к властителям-богам
Чистейшею сердечною мольбою
И, в пламенном усердии щедры,
Им принесем и жертвы, и дары,
Затем что их верховною судьбою
Всеобщий враг внезапно сокрушен,
А там за пир!..

Асадай

Хеверы!.. Удел решен!..
Могучею десницей провиденья,
Незримо к нам простертой с вышины,
Мы избраны, подъяты, скреплены,
И всё сбылось: все дивные виденья,

И оный сон, которым наш Иаг
Мне предсказал о новом ливне благ! ..

(После небольшой паузы)

Ты сберегла ль в своем воспоминаньи
Ту страшную и чудную мечту,
Где всё слилось и в скорбь, и в тесноту
И бедственно томилося в страданьи?
Сей дикий вид — не внятный ли символ
Грозивших нам свирепо-бурных зол? ..
А зов на брань, а два крылатых змея,
Слетавшихся из тьмы небытия,
Не та ль борьба, какую вынес я
С крамолами враждебного злодея? ..
А тот живый и светлый тот ручей —
Не сладкие ль излития речей,
Которые из алых уст Хевери
О бедных нас к Предвечному текли
И скрылися в пленительной дали,
В небесные растворенные двери? ..
А звуки те, святые звуки те,
Которые, звеня на высоте,
Таинственно к невольникам страданья
Катилися из ясной стороны
И лили к ним отраду тишины
И теплоту святого ожиданья,
Те звуки, дочь, замена дивных слов,
Не божее ль прощение грехов? ..
А та заря, то утро огневое,
Которое, в красе своих одежд,
Взошло для нас, как пышный цвет надежд
На прочное величие земное...

Хеверь

(одушевленная пламенем высокого прозрения, быстро прерывает его)

Остановись, отец! .. Не говори
О блеске той божественной зари,
Которая, святыней загорая,
Испепелит плотяности права!
Ты ветх уже, а та заря нова:
В ней мир любви несозданного рая,

В ней свет и жизнь, и, кроткая, она
Вся счастия надзвездного полна,
И вся полна росы возобновленья,
И вся дрожит и сыплет к нам с высот
Лучи добра, и неги, и красот.
Ты зрел ее, но чудного виденья
Тебе вполне умом не разгадать...
Да!.. Божия святая благодать
Мне говорит наземными словами:
«Кто, внешностью запутан и объят,
Не устремлял родного чувства взгляд
В далекий край, разверстый перед вами,
В сияние безвечернего дня,
Тому душой не осязать меня,
И не постичь небесных откровений,
И светом их себя не разогреть!..»

Асадай

Что ж делать мне?

Хеверь

Одно — благоговеть!..

Асадай

Хеверь!.. Ты гость из ангельских селений,
И вижу я: тебе вполне знаком
Надзвездный дом, духовный божий дом.
Ты телом здесь, а там всегда душою;
А я, бедняк!.. Но для чего ж опять
Свою болезнь без пользы растравлять?
Нет!.. Этот день, прославленный тобою
И милостью божественною к нам,
Мы посвятим не вздохам и слезам,
Но чистому веселью о свободе,
В которую непостижимый Он
Украсил свой желательный Сион,
И в память всем в предызбранном народе
Мы в этот день на торжество благим
Огромный пир и праздник учредим:
Пускай везде о славе Пресвятого
Гремит хвала из рода в дальний род,
И веку век трубой передает,

Как сильный наш и крепкий Иегова
В минуты бед избранникам помог:
Да знают все, что за Иуду — бог!..

Х е в е р ь

Нет!.. Бог за всех!.. Он всех зовет на небо,
И тот блажен, тот истинно счастлив,
Кто с верою на мирный сей призыв
Спешит в алчбе божественного хлеба,
В желании небесного питья!..

(Берет за руки Ахшверуса и Асадая)

Пойдемте же, пойдемте, как друзья,
Как добрые и близкие родные,
На сладкий пир красот и чистоты,
Где вкруг столов живящей благоты
Кипят ключом отрады неземные
И разлиты восторги — как моря!..
Да!.. Поспешим на светлый пир царя
Стезею чувств и кроткого смиренья,
Чтоб, весело окончa здешний путь,
Нам у него в чертогах отдохнуть
И радостно при свете наслажденья
Субботствовать в объятиях любви...

(Становясь на колена)

А ты, творец, ты нас благослови!..

Ахшверус и Асадай в невольном благоговении поспешно кладут к ее ногам свои короны, так что они с короною Хевери составляют треугольник... Все вельможи и царедворцы, объятые тем же святым чувством, спешат снять тиары и шлемы, и потом преклоняются почтительно.

К о н е ц

1834—1836

253. К ДЕВЕ-ПОЭТУ

Я кличу клич: «Изящные счастливы!»
Итак, вперед, и, словно чародей,
Искусством ты чудесно завладей,
И рвись в лазурь и в божии разливы!

Ты знать должна, как славой сиротливы
Все рифмачи, потешники людей:
В их песнях нет ни чувства, ни идей,
Сих колосов богоколосной нивы!

Их каждый стих нарядно весь одет,
Но сущность в нем — как суетность мирская:
Всё тянет вниз, и вся пуста, как бред! ..

Так вверх и вдаль! .. А даль-то ведь какая!
Святый глагол, безбрежность рассекая,
Дарит ее! .. Смелей же вдаль, поэт! ..

1837 или 1838
Вологда

254. РАЗРУШЕНИЕ ВАВИЛОНА

Поэма

1

Голос свыше

Внимайте вы, персов и мидян князья!
Мой говор стремится, как вихорь порывный...

Воздвигните вместе, как древко копья,
Вы знамя скорей на горе на обрывной. [1]
Воздвигните так, чтоб отвсюду кругом
Все зрели то знамя вдали пред собою,
И голос к народам возвысьте потом,
И, всех зазывая, машите рукою,
И пусть во врата к вам все внидут они.
Сбирайте земных вы! .. Я в небе восстану!
Я сам поведу их! Я в ночи и в дни
Толпой освященных [2] начальствовать стану.

---

[1] Во время войны древние евреи ставили на возвышениях длинные шесты, чтобы подавать условные знаки.
[2] *Освященными* евреи называли всех готовых на какое-либо предприятие.

Сбирайте! .. Я ныне торжественным звоном
Сзываю в свой гнев, непреложный и правый,
Могучих и сильных в пылу боевом
И гордых моею верховною славой.

2

Наземный

(Всматриваясь в грядущее и таинственно видя свершение повеленного свыше, говорит, следя за событиями)

Вот голос многих на горах,
Как будто многие народы! ..
Там сонмы их наводят страх,
Там сонмы их кипят, как воды,
Там шум и глас до облаков
Собра́нных царств и языков.
Вот все стеклися! .. Всё готово!
Все дышат жаждою карать, —
И обозрел уже Йегова
Свою воинственную рать,
Ту рать для пагубы печальной;
Весь полный власти и чудес, —
Из стороны пришел он дальной
От основания небес.

(Взглядывая на военачальника и его воинство)

Да, наступает день посева,
Жестокой смуты и тревог! ..
Вот сам господь, вот крепкий бог,
А вот сосуды божья гнева:
Они сплотилися в стену —
И погубить им всю страну! ..

3

(К вавилонянам)

Рыдайте! Рыдайте! Наступит свершенье —
И ваши надежды исчезнут как тень:
Уж близок господнего мщения день,
От бога подвиглось уж к вам сокрушенье!

4

(К самому себе о будущих жертвах)

Да, им готовы гнев и муки!
На них сам бог идет с лозой,
И потому-то под грозой
У них у всех расслабнут руки
И, сжавшись, высохнут сердца,
Чтоб сокрушиться до конца.
Под крепкой силой божьей воли
Они вскричат, они падут,
И всех их примут и возьмут
Истомы, судорги и боли.
И застрадают в эти дни,
Как чадородшая, они,
И дико взглянут друг на друга —
И изумятся в оный миг,
Затем что будут лица их
Среди всеобщего испуга
Страшны, изменчивы и злы,
Как лица пламени средь мглы!..
И это время воздаянья
Наступит скоро, ибо вот —
Уже восстал, уже идет
День, полный весь негодованья
И грозный весь, как смерти сень,
Жестоко гневный божий день...
Уже идет он, чтоб смятенье
Кострами всюду разложить
И чтоб и взять и положить
Всю землю злобных в запустенье,
И, в ней себе открывши путь,
Всех грешных вдруг с нее спугнуть.
И ляжет мгла на том народе,
И в этой мгле забудет он
И звезд полки, и Орион,
И стускнет солнце там при всходе,
И скроет, горести полна,
Свое сияние луна...

5

Голос свыше

Я себя правосудьем прославлю:
Навещу я всю злобу плотских,
И для ужаса вдруг перед них
Все нечестия их я поставлю,
И потом, низвергая их в тьму,
Я гордыню неверных уйму,
И надменность питомцев разврата
Я смирю, и прерву я, как нить,
И дотоле их буду казнить,
Чтоб их муж был желаннее злата
И чтоб вдруг человек бы их стал
Дорожать, как офирский металл!..[1]

6

Я восколеблю небесами —
И двигнется земля с основ,
Когда я, творчий, Саваоф,
Занегодую над людями, —
И будет страшно для людей
В день гневной ярости моей!
Тогда, греха и смерти чада,
Вы побежите наконец,
Как стадо ланей иль овец,
В глуши испуганное стадо,
И много вам в дороге бед,
А вас сбирающего — нет!..
Тогда под гул глухого стона
Все чужеземные назад
К своим народам поспешат
Из гордых зданий Вавилона,
И все в боязни побегут
К своей земле, в родной приют.
А всех найденных в злобном граде
Враги убьют в урок векам,
И всем собранным вместе там

[1] Т. е. лучшее золото.

Нельзя и думать о пощаде:
Неумолимый вражий меч
Заставит их в могилы слечь...
Да, все погибнут под мечами!
Заплатят мне свои долги!
Но прежде лютые враги
Пред их смущенными очами
Возьмут детей их нарасхват
И всех о стены размозжат;
Потом разграбят достоянье,
И в дикой наглости потом
Покроют жен они стыдом,
И роковое посмеянье
Прольют над девами как яд,
И уж тогда мужей сразят!..

7

Воздаянья примчится пора,
Подоспеет со мною расплата, —
И подвигну я мидян к прибрежьям Евфрата,
И они не заищут сребра,
И они не потребуют злата, —
Нет, они для забавы сперва
Пустят стрелы к живущему в чреве,
И к младенцу стрелу, и стрелу к юной деве,
А потом и рожденных едва
Не помилуют в бешеном гневе...

8

Наземный

Как господь, казня злодеев,
Сжег Гоморру и Содом, —
Так покрытый весь стыдом
Вдруг исчезнет град халдеев —
Непреклонный Вавилон,
Ибо злой и гордый он
Славен был своей судьбою
Между царств и по странам,

И ассуровым сынам [1]
Шаткий ум надмил собою!..
Да, исчезнет скоро он,
И заблудшихся племен
Волны шумные, живые
Он из рода в дальний род
Вновь к себе не соберет,
И арабы кочевые
Вкруг разложенных костров
Не поставят там шатров...

9

Туда, усталый под трудами,
Не взыйдет пастырь в жар полдня,
Чтобы, главу под тень склоня,
Себя там с кроткими стадами
Покоем сладким ублажить.
Там только звери станут жить,
Да жабы заползут в строенья,
Да, как в чаще́ глухих лесов,
Завоют стаи мрачных сов,
Да на пиру у разрушенья,
Сошедшись крови поалкать,
Начнут мохнатые скакать.
И будут слышны без умолка
Средь опустевшего жилья
Порывный крик и гул вытья
В ответ вытью и крику волка,
И у чудовищей сквозь зев
Пойдет в чертогах рев на рев!..

10

Идет, идет погибельное время!
Оно идет со скоростью реки, —
И бедствий дни уже недалеки!..
Тогда господь Израилево бремя
Низвергнет в прах с его согбенных плеч,

[1] Т. е. ассирияне.

И станет он Иакова беречь,
И в милости помилует Иуду,
И изберет обетованных чад,
И к нам тогда другие поспешат,
И чуждые приложатся отвсюду,
И, как посев, размножится потом
Иакова благословенный дом...
Тогда благих поклонников святыни
Народы стран соседственных возьмут,
И в их страну торжественно введут,
И будут им и в слуги, и в рабыни.
И чада те внутри сионских стен
Пленят того, кто забирал их в плен
И кто свершал над ними истязанье,
Кто мучил их — тот покорится им...
И в оный день, когда творцом своим
Ты будешь здесь, о первенец избранья,
В живой пример и в образец другим,
Освобожден от страшных мук и боли,
От гнета нужд, от грусти быть рабом
И от тоски трудиться со стыдом,
Как в рабстве ты трудился против воли, —
В тот божий день, восстав из нищеты
На светлый верх родимого Сиона,
Начнешь на нем в избытке простоты
О дерзостном владыке Вавилона
Повествовать такую притчу ты:

II

«Как от нас истязатель исчез?
Как у нас прекратились налоги?
Это творчий земли и небес,
Судия правосудный и строгий, —
Это он на врага ту надвинул грозу,
Это он, слыша мучимых крики,
Сокрушил нечестивца лозу
И погибельный жезл у владыки!
А владыка тот жезл как орудье держал
И страшил им подвластные страны,
И во гневе своем племена поражал,

Нанося племенам неисцельные раны!
И он в ярости злой налегал на своих,
И страдали под злобным народы,
Потому что, изгнав их из лона свободы,
Он без милости гнал и преследовал их!

12

Зато теперь земля почила
И успокоилась она:
На ней и мир, и тишина,
Над ней судьба теперь пролила
Реку веселых, светлых дней,
И радость шумная на ней!..
Как глыба мрачного тумана,
Везде развеян прежний страх,
И даже в рощах и лесах
Друг другу ель и кедр Ливана,
Шумя листами, говорят:
«Уж он сомкнул несытый взгляд,
Уж опочил он сном могильным —
И уж ничей не взыйдет меч,
Чтобы с размаха нас подсечь
И сокрушить ударом сильным!..»

13

Да, погибнул отец возмутительных чад,
От которого сыпались муки и раны!
И приходом его возмутился весь ад,
И восстали для встречи его великаны;
Все наземные князи восстали пред ним,
И все князи народов поспешно восстали,
И, объятые все помышленьем одним,
На привет пришлеца отвечая, сказали:

14

«И ты упал на лоно тьмы!
И ты изранен, как и мы!
И ты подобен нам судьбою!..

Твоя гордыня, злобный град,
Слетела в прах, низверглась в ад;
Твой рухнул труп, и к нам с тобою
Запас червей заброшен в ров [1]
Как одр тебе и твой покров!..
Но как же с неба голубого,
Как с недостижной высоты,
О сын зари, низвергся ты?..
Не ты ль, весь яд из сердца злого
Сумевши выплескать до дна,
Язвил страданьем племена?
И как же свергся ты до праха,
И как ты рухнул до земли?..
Не ты ль, яснеяся вдали,
В своей душе твердил без страха:
Взойду на небо, выше я,
И мне престол рука моя
Поставит там, над морем света,
Над верхом звездной вышины,
И после с северной страны
Я сяду на гору завета, [2]
И, ставши выше облаков,
Я буду там как бог богов!..»

15

(Наземный, оставляя притчу, переходит в настоящее и говорит, обращаясь к Вавилону)

Так мыслишь ты, властитель сильный,
В чаду развратной суеты,
Но будешь в ад заброшен ты

---

[1] «Рвом» и «адом» называли евреи могилы, или родовые гробовища, которые уважались весьма свято. Это были пещеры, или комнаты под сводами; в их стенах, или, говоря по-еврейски, в «сторонах рва», делались ниши, куда вставлялись тела, заваливаемые потом плитами.

[2] Гора завета — Сион, на котором с северной стороны построен был храм. Сесть на Гору завета с северной стороны — значит попрать закон божий.

И ниспровергнут в ров могильный
К его изрытой стороне.
И в смертосенной тишине
Твое падение как диво
Пробудит всех, и все, толпой
Сбираясь шумно пред тобой,
Тебя, пришельца, суетливо
Начнут обглядывать кругом,
И скажут мысленно потом:
«Как, неужели перед нами
Тот самый муж богатый сил,
Который землю всю страшил,
И, грозно встав над племенами,
Всех царств довольство и покой
Потряс железною рукой,
И обратил в глухие степи
Весь мир войною и огнем,
И сокрушил все грады в нем,
И тем, кто был закован в цепи
И перед ним повергнут ниц, —
Тем не отверзнул он темниц?»

16

Так будут все под толщей гробных сводов
Про пришлеца вести с собою речь.
Но там тебе с отжившими не лечь!
Да, все князья и все цари народов,
Подвластных им, покоя и любя,
Со славою почили у себя,
И каждый лег в родное гробовище,
Чтоб в нем забыть минувшей жизни труд.
К тебе ж толпой враждебники придут
И в мрачное, подземное жилище
Ворвутся все, и, перервав твой сон,
Тебя возьмут и вдруг исторгнут вон,
Как смрадное и вредное растенье,
В могильном рве растущее на дне,
Как воинов, убитых на войне,
Нечистое от крови облаченье,
Тех воинов, которых уж тела

Согнили там, где вечный мрак и мгла!..
Да, как один из этих падших воев,
Не отдохнешь в могиле мирной ты,
Затем что здесь, исполненный тщеты,
Все области и землю всю расстроив,
Ты погублял в народах без числа, —
Так не пребыть тебе, исчадье зла!..

17

Голос свыше

(обращаясь к певцам, провидящим будущность Вавилона)

Приготовьте же вы предсказаньем своим,
Приготовьте детей у него к убиенью:
За грехи их отцов не блаженствовать им,
И за злость породивших не цвесть порожденью!
Не носить на себе им величья венца!
Их семьи упадут — и не встанут,
Да, не встанут они, расслабев до конца,
И больших городов созидать уж не станут,
И чрез то не наполнят земного лица!

(Глас становится неясным.)

18

(Вслушиваясь провидящею душою в неясные глаголы свыше, передает их во всеобщее услышание, по мере того как их принимает.)

Я воздвигнусь на них, и мой дух воспарит!
(Это к суетным — к ним — господь бог говорит.)
Я здесь имя твое погублю, Вавилон,
И остатки твои истребятся как сон,
И отростки падут, и всё семя сгорит!
(Это к суетным — к ним — господь бог говорит.)
Я его положу и его все труды
Во владенье нырков и болотной воды;
И преступный тот град, и надменный, и злой,
Весь я вымету сам разрушенья метлой,
И его никогда и никто не узрит!

(Это к суетным — к ним — господь бог говорит.)
И клянется с небес господь бог Саваоф:
«Я собою клянусь, что удел их таков!
Так и будет у них, как я мыслю о том,
И что мыслю теперь, то свершится потом!
Только время примчит воздаянья пору́,
На земле на моей я Ассура сотру,
И, отдав под удар неземному мечу,
На горах на моих я его растопчу!
И всё иго его, и всё бремя в тот миг
Я низвергну с рамен у избра́нных своих!»

10

(Размышляя о услышанных глаголах и рассматривая руку божию, простертую в небесах, как указательницу направления будущих событий, Наземный говорит самому себе)

Вот для цельбы наземных бед
Какой совещан уж совет!
Вот какова в быту природы
Та самодержная рука,
Какую кто-то сдалека
Простер на царства и народы!
Совет совещан богом сил —
И кто же здесь, в стране могил,
Сбытье решенного отклонит,
Чтоб изумить собой века?
А та рука — его ж рука,
И кто ту руку отстоpонит?

1838

Н. М. САТИН

В книге «Былое и думы» Герцен рассказывает о том, как в начале 30-х годов несколько студентов Московского университета составили дружеский кружок, сразу же превратившийся в очаг освободительной мысли. «Мы, — писал Герцен, имея в виду себя и Н. П. Огарева, — вошли в аудиторию с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали прозелитов и последователей. Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов... Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента...» То был Николай Сатин — юноша «с благородными стремлениями и полудетскими мечтами... это была натура Владимира Ленского, натура Веневитинова».[1]

Потомок древней дворянской фамилии,[2] Николай Михайлович Сатин родился 6 декабря 1814 года в поместье своих родителей селе Дмитровском (называвшемся также Ильинским) Тамбовской губернии. Болезненный от природы мальчик, рано лишившийся отца, находился под надзором матери, неусыпно заботившейся о здоровье и воспитании сына.

В 1828 году он поступил в Благородный пансион при Московском университете, где в это же время учился Лермонтов, а преподавателем литературы был С. Е. Раич.

В 1830 году Сатин, подобно Лермонтову и Н. И. Сазонову, оставил пансион в связи с преобразованием его в гимназию, а в 1832 году поступил в Московский университет (на математическое отделение). Здесь и свела его судьба с Герценом и Огаревым. Вскоре к этой ком-

---

[1] А. И. Герцен, Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. 10, М., 1956, с. 317.

[2] См.: Г. А. Власьев, Потомство Рюрика, т. 1, СПб., 1906, с. 429.

пании, первоначально насчитывающей пять человек (Герцен, Огарев, Сазонов, Сатин, А. Н. Савич), присоединились Н. Х. Кетчер, А. К. Лахтин, М. П. Носков, В. В. Пассек.

Летом 1834 года, вскоре после того, как Сатин и Герцен с большим успехом выдержали университетские выпускные экзамены, полиция арестовала группу молодых людей, уличенных в пении «возмутительных» песен. Одним из главных «преступников» оказался поэт Соколовский, некоторое время — с октября по декабрь 1833 года — вращавшийся в обществе Сатина, Огарева и их друзей. Следователи, ревностно вынюхивавшие следы «заговора», заинтересовались и участниками герценовского кружка, тем более что совсем недавно Огарев, Сатин и Кетчер уже обратили на себя внимание властей. С лета 1833 года они были взяты под негласный полицейский надзор за сношения с «государственным преступником» Я. И. Костенецким, приговоренным к сибирской ссылке по делу тайного общества Сунгурова (1833). Теперь же, при разборе бумаг Соколовского, полиция обнаружила в них письма Сатина. Обыск на квартире у Сатина дал новую поживу: были найдены письма Огарева и Герцена. В результате все трое были взяты под стражу и притянуты к дознанию по делу «О лицах, певших пасквильные стихи». Переписка трех друзей дала повод для обвинения их в неблагонамеренном образе мыслей. После волокитного разбирательства следственная комиссия приговорила Сатина к высылке в Симбирск, Огарев отправлялся в Пензу, Герцен — в Пермь. В июне 1835 года в сопровождении жандарма Сатин прибыл в Симбирск.

Спустя несколько лет Герцен в одном из автобиографических очерков набросал живые портреты своих товарищей и среди них портрет Сатина — молодого человека «с длинными волосами и прекрасным лицом à la Schiller и прихрамывающего à la Byron». «Ritter, — писал Герцен, — юный страдалец, принес в жизнь нежную чувствительную душу, но не принес ни твердой воли, которая защищает от грубых рук толпы, ни твердого тела. Болезненный, бледный, он похож на оранжерейное растение... Его фантазия была направлена на ложную мысль бегства от земли. Резигнация составляла его поэзию. Такое направление развивается именно в больном, слабом теле, конечно, ложное, но имеющее свою беспредельно увлекательную сторону».[1] Более чем кто бы то ни было Герцен предвидел неизбежность упорной борьбы с социальной несправедливостью, но задатков

[1] А. И. Герцен, О себе. — Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. 1, М., 1954, с. 172. Ritter или Ritter aus Tambow, т. е. рыцарь из Тамбова (немецк.) — прозвище, которым окрестили Сатина его дру-

борца в мягкой, «оранжерейной» натуре Сатина он не находил. Однако в 30-е годы вопрос о претворении в жизнь гуманных идеалов еще не мог быть поставлен на практическую почву. Сатинская же «резигнация» сливалась с тем глубоким отчуждением от официальной России, которая сплачивала членов кружка. «Бегство от земли» было в то время обычным уделом тех, кто в мире мечты и отвлеченной мысли искал спасения от раболепного общества, нравственно упавшего после поражения декабристов.

Вступая в сознательную жизнь, Герцен и его друзья испытывали настоятельную потребность в постижении обобщенной картины мира. Путь к тому, как им казалось, лежал через философию и поэзию. В середине 30-х годов главным философом кружка был, пожалуй, Огарев. Напротив, Сатин как поэт тогда опережал его. В течение 1833—1836 годов он написал больше Огарева, а главное, его стихи отличались и большей профессиональной завершенностью и программностью. Намного раньше Огарева — с 1835 года — Сатин стал выступать в печати.

В 1833 году в поле зрения участников кружка попал В. И. Соколовский. Тема его поэмы «Мироздание» (1832) и ее трактовка в духе романтического представления о мире как художественном творчестве бога не могли не вызвать живого отклика Сатина и его друзей. Но в определении задач поэзии он вскоре вступил в спор с автором «Мироздания». Сатин, видимо, не соглашался с тем, что возвышенная поэзия не отделима от религиозно-мифологических образов, как думал Соколовский. В пылу полемики он даже упрекал его в подмене поэтического вдохновения религиозным благочестием: «Неужели истинный поэт, повергшись на колена пред доской, на которой намалеван лик чудотворца Николая или Богоматери, будет молиться ему и просить отпущения грехов? Нет! не тут будет он искать божества, и не в словах изольется горячая его молитва», [1] — писал он.

В понимании Сатина художник, поэт, мыслитель — это фанатик, влюбленный в свой труд; его энтузиазм граничит с самосожжением. О подобном творческом подвиге рассказывает произведение Сатина

зья. Резигнация (франц. résignation) — отказ в чью-либо пользу, примирение; в контексте поэзии Сатина слово это означает «самоотречение».

[1] Цит. по статье: М. Лемке, Очерки жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей. — «Мир божий», 1906, № 2, с. 128. На процессе по делу «О лицах, певших пасквильные стихи», эти строки инкриминировались Сатину как богохульное высказывание.

«Умирающий художник». Герой его прощается с жизнью, не успев завершить своего изваяния — «статую Религии». Финал этот, по мысли автора, знаменует некую печальную неизбежность, ибо осуществление высокого идеала на земле вообще недостижимо. Но усилия художника не напрасны. Великая цель искусства — приблизить «небо» к «земле», передать людям хотя бы смутное предощущение божественной любви и гармонии. Кстати говоря, из контекста стихотворения явствует, что «статуя Религии» — это символ высочайшей истины, красоты и любви, а вовсе не религия в обиходном значении этого слова.

В «Умирающем художнике» заложены и другие смысловые ассоциации, сближающие его с одноименным стихотворением А. И. Одоевского (1828) и с лирикой Д. В. Веневитинова, — это незащищенность духовно развитой личности перед лицом грубой силы в эпоху правительственного террора и упадка гражданской доблести.

Иначе проблема служения великой цели поставлена в другом программном стихотворении Сатина — «Раскаянии поэта». Его герой, оскорбленный непониманием и корыстными нравами современников, ищет утешения в мирном созерцании природы, в радостях любви и наслаждении поэзией. Но такой образ жизни таит в себе немалую дозу эгоистического самоуслаждения и равнодушия к ближним. Осознавая это, герой произведения расстается с «тремя подругами» — любовью, поэзией, природой, чтобы вернуться к толпе страждущих братий и указать им путь к спасению. Таким образом, дух сурового аскетизма снова торжествует — теперь уже ради достижения общественного блага. Сатинское отречение от личного счастья сродни гражданскому аскетизму Рылеева. «Любовь никак нейдет на ум, — Увы, моя отчизна страждет» — эти стихи Рылеева — один из лейтмотивов «Раскаяния поэта».[1]

Следует отметить, что «бегство от земли» у друзей Сатина нередко сочеталось с противоположной крайностью — эпикурейскими выходками. Как известно, первым восстал в кружке против сухости теоретической и мечтательной жизни Герцен, громко провозгласивший (вслед за французскими утопическими социалистами) «реабилитацию плоти». Нет сомнения, что «Раскаяние поэта» возникло в атмосфере кружковых прений и, вероятно, имело в виду чьи-то высказывания или повадки, может быть Кетчера. Любопытно, что наибольшие возражения произведение Сатина вызвало именно у Кетчера.[2]

---

[1] О глубоком интересе к Рылееву свидетельствуют списки его «Дум», захваченные при аресте Сатина и приобщенные к «делу».

[2] См. примеч. к «Раскаянию поэта», № 258.

Как поэт Сатин увлеченно трудился и в годы ссылки. Однако его существование отравляла жестоко обострившаяся болезнь ног. После усиленных хлопот родственников III Отделение разрешило Сатину лечиться на Кавказе. Весной 1837 года он прибывает в Пятигорск и летом того же года встречается с Лермонтовым, сосланным туда за стихотворение «На смерть поэта». Одновременно Сатин знакомится с прибывшим на лечение в Пятигорск Белинским и день за днем проводит время в его обществе, а после отъезда критика вступает с ним в интересную полемическую переписку.[1] На Кавказе же — летом следующего года — Сатину довелось повидаться с Огаревым.

Доктор Майер, знаменитый прототип героя лермонтовского романа, свел друзей с декабристами: А. И. Одоевским, А. Е. Розеном, М. Л. Назимовым, М. М. Нарышкиным и В. Н. Лихоревым, переведенными на Кавказ из Сибири в качестве рядовых солдат.

Вскоре после возвращения Сатина с Кавказа в Симбирск его сестра исходатайствовала ему помилование, и в ноябре 1839 года он прибыл в Москву.

К началу 40-х годов Сатин был автором многих стихотворных произведений. В 1840 году вышел из печати осуществленный им перевод «Бури» Шекспира, а несколько его оригинальных стихотворений появилось в обновленных «Отечественных записках» 1840—1841 годов, возглавляемых Белинским.

Из напечатанных здесь стихотворений наиболее интересны «Поэту-судие»[2] и «Отрывок из подслушанного разговора». Реплики доктора в «Отрывке» (за ним, должно быть, стоит фигура Майера либо Кетчера), человека науки с трезвым и несколько утилитарным взглядом на жизнь, звучат чрезвычайно убедительно. Но Сатин оправдывает и настроения «молодого человека» с его смутными грезами и меланхолией. Столкновение двух противоположных точек зрения — мечтателя-идеалиста и практика-материалиста — эта тема вскоре зазвучит в прозе Герцена («Записки одного молодого человека», «Кто виноват?»). У Сатина же она выражала неразрешимую противоречивость его собственного сознания.

В августе 1841 года Сатин надолго уезжает за границу, надеясь поправить там свое здоровье. В Крейцнахе (1842) и Берлине

---

[1] Единственными уцелевшими документами этой полемики являются два письма Сатина к критику от 7 ноября и 27 декабря 1837 г. (см.: «Белинский и его корреспонденты», М., 1948, с. 261—269).

[2] Ответ на стихотворение Лермонтова «Последнее новоселье» (см. примеч. № 263).

(1844) он съезжается с Огаревым и некоторое время живет вместе с ним.

Годы заграничной жизни для Сатина-поэта ознаменовались отказом от «рефлексии» и попыткой переменить свое творческое лицо. На манер «Ундины» Жуковского он пишет поэму с фантастическим сюжетом «Ножка»[1] (1843), пробует свои силы в интимно-психологической лирике, переводит стихи Байрона, Гейне, Гете (отрывки из его «Торквато Тассо»). Но вместе с «рефлексией» из его поэзии уходит пытливая гражданская мысль, философское осмысление жизни. К тому же скромные творческие возможности Сатина не позволяли ему выигрышно проявить себя в тех областях поэзии, где приходилось соперничать с прославленными мастерами русского стиха.

В марте 1846 года Сатин вместе с Огаревым вернулся в Москву. В конце 40-х и в 50-х годах он по-прежнему был тесно связан с Огаревым, вплоть до отъезда последнего в 1856 году в Лондон к Герцену. В числе его близких знакомых был Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, Е. П. Корш. Он считался своим человеком в кругу «Современника», знался с Тургеневым, Григоровичем, Некрасовым, но сам он уже окончательно распростился с поэзией. Правда, в 1851 году в некрасовском «Современнике» появился его перевод шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь» (под заглавием «Сон в Иванову ночь»), но это была публикация старой работы, в основном завершенной в конце 30-х годов.

Летом 1860 года, выехав под благовидным предлогом за границу, Сатин тайно навестил в Лондоне друзей своей юности. О его отношениях с ними в эти годы ясное представление дает его письмо к Огареву от 5 ноября 1864 года. «В политических мнениях, — писал он, — я могу с вами расходиться, и вы сами знаете, что я никогда не был ни вашим агентом, ни корреспондентом. Но любить вас не запретит мне ни 3-е, ни 30-е отделение. . .»[2] В этом же письме Сатин жаловался, что «упал физически и нравственно». Действительно, образ жизни «лишнего человека» пагубно сказывался на его душевном состоянии. Внутренняя жизнь его сильно оскудела, Сатина грызла тоска. В тщетной борьбе с ипохондрией он прибегал к алкоголю и картежной игре.

Все эти годы Сатин жил то в Москве, то в селе Старое Акшино (Пензенской губернии), доставшемся ему от Огарева, который на льготных условиях продал его своему другу. Здесь же 29 апреля 1873 года Сатин скончался.

---

[1] Опубликовано в «Русских пропилеях», т. 1, М., 1915.
[2] «Литературное наследство», № 52, М., 1955, с. 754.

255. УМИРАЮЩИЙ ХУДОЖНИК

Мастерская, заставленная статуями и глыбами камней. Вечереет; погасающие лучи заходящего солнца проникают в узкое окно и озаряют бледное, истощенное лице умирающего. Он лежит на соломе; взоры его неподвижно устремлены на статую Религии, которой лице совершенно отделано, но стан представляет еще необработанную массу мрамора.

Художник

Не верю я, чтоб час преображенья
Мог надо мной так рано прозвучать!
Уже ль меня из мира вдохновенья
Готова смерть безжалостно умчать?
Нет, нет! С моей любимою мечтою
Она меня не в силах разлучить...
Мне та мечта души была душою,
И должен я ее осуществить!..

(Вскакивает, хватает резец, хочет идти к статуе, но в изнеможении снова падает в постель.)

Но, ах! теперь напрасны упованья, —
Настал конец земного бытия,
И не свершить родного мне созданья!..
О, тяжело сдавилась грудь моя!
Не оттого, что с жизнью расстаюся,
Нет! Дольний мир всегда мне тесен был.
Свободный, я в мир вечный преселюся
В один размах души могучих крыл...
А прежде я окован был землею!
Так! мне не с ней разлука тяжела,
Но с той божественной, высокою мечтою,
Которая так дивно облекла
В один восторг мое существованье.
Давно, давно в себе я ощущал
Невнятное, нагорнее призванье
Создать святой величья идеал!..
О, эта мысль, как неземная сила,
Огнь творчества в душе моей зажгла,

Она всегда мне знаменем служила
И в мир иной таинственно влекла!..

(После краткого молчания, простирая руку к статуе)

С дней юности, о дивное созданье,
Я образ твой в груди моей носил,
И с той поры искусству изваянья
Я жизнь мою с восторгом посвятил!
И я мечтал: минута наслажденья
За все труды настанет наконец,
Сойдет с небес на душу вдохновенье,
И будет мне послушен мой резец...
Бывало, я, творить нетерпеливый,
На помощь всё искусство призывал;
Но тщетен был мой труд самолюбивый,
И я в моих твореньях сознавал
Лишь только мне понятный недостаток, —
Я им не мог всю душу передать,
На них лежал земного отпечаток, —
А я хотел небесное создать!..
О, тяжело с преполненной душою
Средь робких чад земли холодной жить!
Не в силах быть могучею рукою
Всех чувств души в твореньи проявить!..
И я страдал, в страданьи к небу рвался,
Но тщетно всё, — прикованный к земле,
Трудам земным я снова предавался,
А луч надежд светлел в туманной мгле.
Однажды я, трудами утомленный,
Главу мою на ложе преклонил
И, легким сном внезапно окрыленный,
Надзвездный мир видений посетил:
Там призраки с воздушной красотою
В вид радужной свивались пелены,
Как легкий рой носились надо мною
Фантазии свободные сыны.
Но в них душа — знакомого искала...
Вдруг, от толпы воздушной отделясь,
Ты предо мной, Небесная, предстала, —
И вся душа в восторг перелилась!
Торжественно любовь и упоенье
На девственных сливалися устах,

И чистый огнь святого вдохновенья
Горел в твоих таинственных очах.
«Пора творить! — ты, Дивная, вещала. —
Уж час настал: ступай, бери резец.
Пора, пора!» — ты сладко повторяла
И подала бессмертья мне венец...
Умчалась ты в нагорние селенья,
И с вежд моих сон дивный отлетел,
Но всё я был исполнен упоенья
И образ твой в груди моей горел!
Тогда вспорхнул души могучий гений,
Сил творчества избыток ощутил:
Я пламенел от сладких впечатлений
И свой резец торжественно схватил...
Чудесное свершалось предо мною!
Я к мрамору в восторге подбежал,
И таял он под мощною рукою,
А я в него всю душу изливал!
Резец скользил, а мрамор, оживляясь,
Изящные вдруг формы восприял,
И я, святым блаженством упиваясь,
Твое лице в мной созданном узнал...
Твое, твое, небесное Виденье!
Улыбка та ж порхала на устах,
И на челе высоком вдохновенье,
И тот же огнь божественный в очах.
О, в мраморе оно осуществилось,
Все сохранив небесные черты!
В нем всё мое мечтанье проявилось,
Как идеал величья, красоты.
И я вкусил в избытке наслажденье!
Я весь пылал, резцом владеть не мог,
И, сын земли, в немом самозабвеньи
Под бременем восторгов изнемог.
Стеснилась грудь, дыханье замирало...
Но не вполне мой труд был совершен:
Одно лице лишь жизнию пылало,
А стан был мертв, еще не облечен
Величьем форм и силой неземною, —
Лишь мрамор он бездушный представлял,
Не обвит был он легкой пеленою
И красотой надзвездной не дышал.

Но, думал я, еще свершить успею
Мой сладкий труд: в лице я проявил
Давно во мне почившую идею,
А стан создать не много нужно сил.
Но ныне, в то священное мгновенье,
Когда резец я взял и был готов
Вполне свершить небесное творенье
И стан облечь в таинственный покров, —
Безжалостно в груди вдруг зародился
Какой-то огнь томительный, живой,
Кровь вспыхнула, весь ад в меня вселился
И мне шепнул: «Час близок роковой!..»

(После некоторого молчания)

Так! близок он, я весь изнемогаю,
Уж веет смерть крылами надо мной,
И мой резец напрасно я хватаю, —
Бессилен он под трепетной рукой...
Любимое, священное мечтанье!
Я на земле лишь для тебя дышал,
Прости, прости, — из стран очарованья
К ничтожеству в объятья я упал!
Я одного лишь жаждал награжденья:
Всю жизнь мечтал о том, чтобы узреть
Моих трудов конечное свершенье...
И должен я так рано умереть!

(Погружается в глубокую задумчивость.)

Нет, нет, зачем напрасные мученья!
Ужели там душа не оживет?
Безумец я!.. Смерть есть преображенье
И к вечности безгранный переход.
Туда, туда мне сладко преселяться!..
В тот край, где нет границ для дивных сил...
О, буду я там вечно наслаждаться,
А здесь уже — я главное свершил!
К моей мечте любовью пламенея,
Умру лишь я, прикованный к земле,
Но не умрет свободная идея:
Она горит на девственном челе
Любимого души моей созданья,

И истинный художник в нем прочтет
Все, все мои горячие мечтанья
И дивно их на ткани разовьет...
Прочь эгоизм! С *любовию* глубокой
Пускай другой придет свершить мой труд,
Пускай мечты души моей высокой
Из века в век торжественно пройдут...
Придет пора — творенье совершится
И на земле огонь небес зажжет:
Сама толпа *любовью* оживится
И мысль она великую поймет...
Своей мечты узрев осуществленье,
В восторге там душа моя вспорхнет
И, вечная, в избытке упоенья
Весь мир земной с любовью обоймет.
Так, так! не тот творец, рукой кто смелой
Начатый труд великий довершил,
Но тот, кто был отцом мечты созрелой
И кто ее в твореньи зародил.
О ты, мое дитя родное!
Чудесная! Я, я был твой творец.
Там ждет меня блаженство неземное
И радужный бессмертия венец...

(Быстро изнемогает и впадает в бред горячки.)

Пустите, пустите! Зачем заковали
Вы душу в оковы холодной земли?
Пустите, пустите в тот край, где порхали
Так часто высокие думы мои!
О, внятен мне голос святого призванья,
Небесная ждет там с улыбкой меня...
Смотрите!.. нисходит средь моря сиянья
Она мне навстречу в венце из огня...
Но вам ли взирать на красу Бесконечной?
Надоблачный свет вас, земных, ослепит...
Отверста пред мною дверь к жизни
предвечной...
Туда меня сладко Святая манит!..

(Умирает.)

15 ноября 1833

256. ПОЭТ

Весенний вечер. Небо усеяно звездами. Вдали море. Поэт в задумчивости сидит под деревом. Друг подходит и кладет ему руку на плечо. Поэт вздрагивает.

Друг

Объят каким-то чудным сном,
Давно на береге морском
Сидишь в мечтании глубоком, —
Где ты блуждал?

Поэт

(приходя в себя)

В краю далеком.
И мне казалось, дольний мир
Покинул я, и гений бури
Увлек меня в поля лазури.
У ног моих бежал эфир,
И свод небесный над главою
Блистал сапфирной синевою;
Толпы миров кругом меня
Горели пламенем огня;
То в купы светлые сливаясь,
То в беспредельность рассыпаясь.
И гений бури, спутник мой,
Покинул грозный лик земной,
Оделся радуги лучами,
И позлащенными крылами
Прикрыл меня, к устам припал
И вдунул в грудь мне восхищенье.
Я скоро чудного узнал,
И в сладком трепете я пал
Пред ним: то было вдохновенье!
И гений радость в сердце влил,
Мечтой пернатой окрылил
Меня — и ринул меж звездами:
Я в беспредельности летал,
Свободой гордою дышал,
Я восхищался небесами;
Мой стих гремел как божий гром
И разливался над мирами,

Как луч в пространстве голубом...
Я жил, я чувствовал!

Друг

Мечтатель!
Меж тем как ты паришь, приятель,
Пространства синего во мгле,
Давно покинутый мечтою,
Наш век железною рукою
Кует величие к земле.
Поверь, мой друг, мечты свободной
Наш не оценит век холодный:
Деспо́т, прозаик, хочет он,
Чтоб лиру бросил Аполлон.
Он хочет, чтоб любимец Феба,
Сошед с безоблачного неба,
Забыв, что огнь в груди горит,
Писал людей домашний быт
И нравы общества. Сначала
Душа поэта не внимала
Веленью грозному: вольна
Носилась в облаках она,
Но век чугунною рукою
Увлек, свободную, с собою,
И гордый, пламенный поэт,
Как раб, пошел за веком вслед
Или как конь в цепи обоза.
Кто может против века стать?
Прошла пора стихи писать:
Потребность века — проза, проза!

Поэт

Виновен я ль, что на аккорд чудесный
Самим творцом настроена душа?
Что всё поэзьей дышит в поднебесной
И что даль синяя роскошно хороша?
Виновен я ль, что шелест листьев стройный
Святой мелодией мой нежит слух,
Иль шум волны пучины беспокойной
Восторгом сладостным воспламеняет дух?
Блажен поэт, когда ему возможно
Порыв души условьям подчинить,

Иль вялой прозой чувства заменить
И времени отдать дань осторожно!
Но если огнь палящий, неземной
Волнует дух высокий человека, —
Потонет он в пучине грозной века
Иль самый век умчит он за собой.

Друг

Порыв мечты души высокой!
Но, друг, ты чувствуешь глубоко,
А род людской уже давно
Для чувства затворил окно.
Мой друг, поверь, твой стих свободный
Не тронет ум людей холодный;
И звуки лиры золотой,
Мелодья та аккордов дивных,
Умрут, как звон в дали пустой,
Как звук среди степей пустынных.
Утратит даром жар поэт!
И вдохновенье неземное
Без пользы людям унесет
Злой век в пространство голубое.

Поэт

Гомер, державный царь певцов,
Слепой, убогой странник в мире,
Бряцал на вдохновенной лире, —
Век не ценил его стихов!
В нем не почтил он вдохновенье,
Но за холодное презренье
Отмстили тридцать пять веков.
И сквозь их мглу, покрытый славой,
Протек державно, величаво
Певец героев и богов.
И Тасс, когда с небес сошедший
Восторга дух его обнял,
Посажен был как сумасшедший!..
И Камоэнс не средь похвал,
Не среди кликов и плесканий
Окончил век своих страданий.
Великий дух его иссяк
Средь нищеты, среди презренья:

Бессмертный, жертва отверженья,
В больнице умер как бедняк!
Толпе ль понять порывы духа?
Для прозаического ль уха
Аккорды дивные гремят?
Благоговея, не ценят
Коль современники поэта,
Его не заплескает Лета:
Грядущий ряд веков поймет
Бессмертной лиры песнопенья,
Потомство грозное придет,
Заплатит дань благоговенья
И светлой ризою нетленья
Его творенья облечет.

(1835)

257. A NASTASIE[1]

Из тесной кельи заключенья
Зачем ты требуешь стихов?
Там тухнут искры вдохновенья,
Где нет поэзии цветов!
А здесь их нет: больных стенанья,
Оружья стук да шум солдат
Души высокой излиянья
Хоть в ком внезапно прекратят.
Но, может быть, мечта святая
И здесь зажжет восторга пыл
И я, как феникс воскресая,
Еще исполнюсь новых сил!
Быть может... сладко упованье,
Но нет, боюсь встревожить я
На миг замолкшее призванье
К иному миру бытия...
Боюсь души здесь пробужденья, —
Как знать — могучее вспорхнет,
А где предел ее стремленья,
Как укротить ее полет?

---

[1] К Анастасии (франц.). — *Ред.*

Так замолчи, мечта святая,
В груди огня не раздувай,
Дай срок расти и, созревая,
Пока души не обнажай.
А ты, сестра, возьми терпенья
И не ищи восторга след
В моем отрывке вдохновенья:
Я узник здесь, а не поэт!

1 января 1835

258. РАСКАЯНИЕ ПОЭТА

Фантазия

Вера без дел мертва.
Посл. Иак. II, 26.

Часть первая

Роскошное сельское местоположение. Заря едва начинает заниматься на горизонте. Юноша стоит на возвышенном берегу реки.

1

Все красоты волшебная природа
Роскошной здесь рассыпала рукой;
Здесь я нашел тебя, моя свобода,
И вновь душа сроднилась с тишиной!

Среди людей с надеждой неизменной,
Восторженный, я долго, долго жил
И, чистою любовью вдохновенный,
Им о мечте высокой говорил!
Но хладный взор, с улыбкой состраданья,
Ответом был на пламенный привет,
И я теперь без сил, без упованья,
Отверженный, непонятый поэт!
Свершилось всё: исчезли ослепленья,
Святых надежд растоптаны цветы,
В душе взвился огонь разуверенья
И умертвил любимые мечты!..

Я помню дни протекшего блаженства,
Когда душа не знала суеты
И с верою в идею совершенства
Парила в мир восторга и мечты!
Я был тогда исполнен убежденья,
Что дух любви связует всех людей,
Что он хранит в них искры обновленья
И зиждет им величья мавзолей!
Я, будущность пред ними развивая,
Стремиться к ней напрасно умолял:
Внимали мне... но глас мой, умирая,
На их душе следов не оставлял!
В холодные объятья преступленья
Их эгоизм надолго заковал,
И падший дух из бездны усыпленья
Высоких чувств вновь к жизни не воззвал!

3

Теперь прости, семья родных мне братий,
Прости навек, прости, в нас нет с тобой
Единства чувств, стремлений и понятий:
Мы созданы с различною душой!..
Я истощил все средства искушенья,
Я им твердил о том, как глубока
В них дивная печать предназначенья
И как их жизнь ничтожна и жалка!
Но был для них невнятен глас призванья,
Им сладко жить под бременем судьбы,
В них нет любви и сил своих сознанья,
А имя их — ничтожные рабы!..
Так, братья, так: клянусь, я чист пред вами,
Как чистым был Христос пред палачами:
За грех других, как он, страдаю я,
И нужен мне мир лучший бытия!..

4

Он здесь, в тиши уединенья,
Тот новый мир, желанный мной,
Среди любви и вдохновенья

Я в нем воскресну вновь душой!
Узнаю снова жизни счастье,
Поверю в новые мечты
И позабуду безучастье
Детей безумной суеты!
Я им был чужд, я в них ответа
Моей душе не находил,
Их мир был гробом для поэта
И для огня душевных сил!
А здесь три верные подруги
Меня не будут покидать
И все душевные недуги
Отрадно станут врачевать!

5

Ты, прелесть, дева темноокая,
Подруга первая моя,
Твоя душа, душа высокая, —
Отрада неба для меня!
Твой поцелуй, как весть спасения,
Меня с восторгом вновь сроднил,
И я не раз в самозабвение
В твоих объятьях приходил!
Ты знаешь, дева, песнь чудесную
О дивных радостях любви,
Ты ею страсть зажгла небесную
В моей бунтующей крови.
С улыбкой тихой вдохновения
Мечты высокие храня,
Ты — роскошь божьего творения,
От искры божьего огня!

6

Порой вакханкой обольстительной
Ко мне, как дух, ты прилетишь,
Стан обовьешь рукой пленительной
И вся трепещешь, вся горишь!
К устам прильнешь в изнеможении
И мне твердишь: «Целуй, целуй!»
И льется в душу упоение,

И длится страстный поцелуй!
А кудри, верх очарования,
Упав к пылающим устам,
Прервут неистовость лобзания,
Разлив волшебный фимиам!
И я в объятья сладострастия
Тебя прижму не в первый раз,
И гений неги, гений счастия
Вновь осенит покровом нас!

7

Порой же ангелом смирения
Сидишь задумчива со мной
И тихо в горние селения
Паришь восторженной душой!
И вдруг, внезапно пробужденная,
Ко мне свой взор ты обратишь
И, силой неба вдохновенная,
Мне о бессмертьи говоришь!
Дрожит твой голос от волнения,
Но, как эдемские цветы,
Блестят лучами убеждения
Твои роскошные мечты!
Так, прелесть, дева темноокая,
Подруга первая моя,
Твоя душа, душа высокая, —
Отрада неба для меня!..

8

Природа с своей красотой беспредельной
Сроднилася также не меньше со мной:
Без правил искусства здесь всё неподдельной,
Здесь всё самобытною дышит красой!
Рука человека, рука разрушенья,
Ее не настигла в пустынной глуши,
И чистым осталось здесь божье творенье —
Природа, вторая подруга души!
О, сколько высоких ты дум порождаешь!
Но редкий разгадку тем думам нашел:
Не многих ты в тайны свои посвящаешь,

Как многим не внятен твой мощный глагол!
Меня ж избрала ты, подруга святая,
Открыв предо мною свой дивный тайник,
В него, как в блаженства безбрежные рая,
Душой я бессмертной глубоко проник!

0

Не ты ль и бессмертья мне служишь залогом,
Гармонии вечной источник храня,
Таинственной цепью с таинственным богом
Не ты ли связуешь так тесно меня?
Сын праха, но весь обновленный тобою,
Я чувствую силы, чтоб небо обнять,
Чтоб сбросить оковы и с общей душою
Единой, безвременной жизнью дышать!
В минуты печали, в минуты сомненья,
Природа, как сладко с тобой отдохнуть!
Здесь каждая дума огнем вдохновенья
Вздымает высоко кипучую грудь.
Здесь бури, и громы, и волны седые,
И звезды, и месяц в густых облаках
Поют о бессмертьи мне песни родные,
Баюкая душу в надзвездных мечтах!

10

И для тебя, поэт унылый,
Туманной Англии поэт,
Она была подругой милой,
Ты в ней нашел душе ответ!
Как ты постиг красы природы,
С каким восторгом ты любил!
Ее незыблемые своды
Не раз ты песнью огласил!
И весь любовь и весь стремленье,
Ты общей жизни с ней желал,
И гордой воли упоенье
В полетах дерзких обретал!
За место ссылки, очищенья
Считал ты дольний круг людей;

И весь горел от нетерпенья
С крыл сбросить хладный груз цепей!

Но мир с собратом, мир с тобой!
Поэт, свершились упованья,
И ты теперь своей душой
Слился с душою мирозданья!..

11

Поэзия, источник упоенья,
Как сильно ты волнуешь грудь мою,
Как часто я в немом благоговеньи
От струй твоих блаженство неба пью!
О! я тобой недаром очарован,
Мне верная подруга третья ты!
К тебе душой недаром я прикован,
Ты родила в ней лучшие мечты!
Восторженный, тебя благословляю,
Поэзия, отрада грустных дней,
Свободный я с тобою там бываю,
Где не бывал и взор земных детей!
Чудесная, над хладною толпою
Как высоко меня ты вознесла
И в знак любви, с улыбкой неземною,
Мне лучший дар, дар творчества дала!

12

О, нередко вдохновенный,
Я тебя благодарил
За залог любви священный,
За избыток дивных сил!
Я творил — и всё смирялось
Пред могучею душой,
И в гармонии являлась
Мысль, одетая тобой!
Я парил, и волны света
Ниспадали с высоты,
Силой дружнего привета
Освежить мои мечты!

Я рукою дерзновенной
Тайны неба обнажил,
И как часто, вдохновенный,
Я тебя благодарил
За залог любви священный,
За избыток дивных сил!

13

Шиллер, Шиллер необъятный,
Ты давно поведал мне
Об отчизне благодатной,
Об родимой стороне!
Ты вещал, что для поэта
С вдохновеньем на челе
Нет родного здесь привета,
Что он странник на земле,
Что пред ним земного края
Блеск обманчивый исчез
И, объятья разверзая,
В небе ждет его Зевес!
Я поэт — к чему ж страданья?
Есть отчизна, есть отец:
Там меня в лучах сиянья
Ждет обещанный венец!

14

Три неизменные, волшебные подруги,
Надолго среди вас я жизнь похоронил,
И, утолив души болезненной недуги,
Как много с ваших уст блаженства я испил!
Но ах! одна из ран во глубь души запала —
То к человечеству бессильная любовь...
Ее вся ваша власть напрасно заглушала:
Нет, часто свежая из раны каплет кровь!..

. . . .

Вдалеке слышны звуки арфы и голос девы. Юноша жадно внимает.

15

Романс

Мир эгоизма, мир страданья
Покинь без горести, поэт!
Свое высокое призванье
Тебе свершить преграды нет!
 Но в безлюдной тиши
 Для восторгов души
 Мир просторней, ясней.
 Отчужденных людей
 Из него ты скорей
 Силой воли своей
 Оживишь, как ручей
 Даль бесплодных полей!
 Ты, как фокус лучей,
 Пыл высоких страстей
 Здесь в тиши соберешь;
 Ты как гений вспорхнешь,
 Прозвучишь, пропоешь
 Песнь взаимной любви,
 И в холодной крови
 Огнь священный зажжешь!
Мир эгоизма, мир страданья
Покинь же, пламенный поэт!
Поверь: высокого призванья
Тебе свершить преграды нет!

Голос умолкает. Юноша после некоторого молчания.

16

Дева, в звуках обольстительных
Приговор ты изрекла!
Да! не там мир сил зиждительных,
Где стеснен размах крила.
Там людские заблуждения
Тяготели надо мной,
С стран надзвездного селения
Повергая в край земной.
Я страдал, и вдохновение
Разлучалось там с душой:

Здесь, подруги благодатные,
Здесь мне легче облачить
Душу в силы необъятные,
Чтоб великое свершить!

Солнце, предшествуемое туманами, начинает восходить.

Часть вторая

Дуодрама

Прибегает дева.

Дева

Ты здесь один, мой друг, столь раннею порою,
И на челе твоем лежит избыток дум...
Прочь, прочь, я их сгоню горячим поцелуем!

(Пламенно целует юношу.)

Юноша

О нет, я не один, смотри, как хороша
Природа в светлую минуту пробужденья,
И как она душе роскошно говорит!
Нет, нет, я не один: вокруг меня порхает
Рой фантастический святых, высоких дум
И душу в горнюю отчизну увлекает!

(Указывая на чело)

Да, грозная одна лежала дума здесь...
Но песнью ты своей ее преобразила
В мечтанье светлое восторженной души!..

Дева

(ласкаясь)

О, эту песнь, мой друг, я про тебя сложила:
Не правда ль, счастлив ты, согласен ты со мной,
Не правда ль, больше здесь и сил и вдохновенья?
Забудь же мир, людей и улыбнися мне!

Юноша

(едва внимая деве, указывает на восток)

Смотри, с туманами как борется там солнце
И как там грозные теснятся облака!

Вот, вот они свились могильной пеленою,
Чтоб первые лучи востока затушить!
Но нет! напрасный труд: уж час настал рассвета,
И солнце распахнет торжественно врата
И, море выплеснув отрадного сиянья,
Прогонит сумрака испуганную тень!
Еще одно, одно последнее усилье —
И в бездну грянет ночь и водворится день! . .

(В порыве восторга приподымая деву)

Смотри, смотри: плывет роскошное светило,
Туман упал, и нет обманчивых преград,
И разбегаются, как сонмы привидений,
Пред ним бессильные, бледнея, облака!

(После некоторого молчания)

Да, счастлив я! С тобой как много наслажденья
Взирать на дивную картину пробужденья! . .
Но для чего ж слеза в очах твоих блестит? . .

Дева

Оставь ее, оставь мою слезу святую,
Восторга чистого она живая дань!
Не извлекай меня из мира наслажденья,
О, продолжай, забудь меня на этот час. . .
Я так люблю твои порывы вдохновенья!

Юноша

Благодарю тебя, мой друг, ты поняла
Вполне высокий смысл божественной картины;
Благодарю тебя, вся глубь твоей души
В одной, в одной слезе, как солнце, отразилась!

(После некоторого молчания)

Смотри, на поцелуй пылающих лучей
Как улыбается торжественно природа,
Как всё привета песнь желанному поет!
Вот древо, и оно отрадней зашумело,
И плачет с радости жемчужною росой!
. . . .
. . . .
О, сколько пищи здесь для песни прорицанья,

Как си́лен я теперь, как много дум кипит
В душе, взвóлнованной приливом вдохновенья;
Как проницателен души орлиный взор,
Огнем его я сжег могильную завесу,
И мрак неведомый теперь доступен мне,
На самом дне его я будущность провидел,
И я готов ее вполне пересказать!
Внимайте мне теперь, пророку обновленья,
Весть благодатную глагол мой прозвучит,
Скорей стекайтеся на вече вдохновенья,
Пока во мне огонь всеведенья горит...
Внимайте...

(Вдруг останавливается, смотрит вокруг себя и говорит тихо, после некоторого молчания)

Горе мне, напрасны все призванья,
Я увлечен судьбой далёко от людей, —
Кто будет здесь внимать глаголу прорицанья?
В ком воскресит он здесь потухший огнь страстей?
Не вам ли мне вещать, бесчувственные волны,
Утесы хладные, таинственный гранит?
Нет, вы пророчеству останетесь безмолвны,
И в вас другую жизнь оно не возбудит!
Здесь думы светлые напрасно расцветают:
Они к стремлению людей не призовут,
И только лишь в душе кипят, перекипают
И едкой горечью на дне ее растут!
Нет, нужно мне людей: я примирился с ними,
Их души я хочу пророчеством согреть,
Хоть на мгновение назвать их вновь родными
И без возмездия, с усилья умереть!

Дева

Ты позабыл меня, меня, твою подругу,
В час дивной радости и в час немой тоски,
Ты позабыл меня, забыл любовь святую,
Где вся душа моя с твоей душой слилась!
Я всюду за тобой, как демон искушенья!
Я отыщу тебя в аду и в небесах,
И снова привлеку в объятья наслажденья
С любовью на душе, с любовью на устах!

Юноша

Я не забыл тебя, мой демон искушенья,
Мой ангел радости, мой ад и рай души.
Сильна к тебе любовь, но есть любовь иная:
Ты, дева слабая, не ведаешь ее!
Да, слишком широки души моей объятья:
Всё человечество я должен в них принять,
Чтоб утолить вполне потребность наслажденья,
Потребность пламенной, возвышенной любви.
Одна твоя любовь не укротит стремленья,
Она божественна, я знаю цену ей,
Но над главой моей пусть прогремят проклятья,
Когда забуду я отчизну и людей,
Вас, дети падшие, но мне родные братья!

Дева

Ты грустен, бедный друг, я знаю талисман:
То песнь любви моей и Шиллер вдохновенный...
Они вдвоем в тебе всю душу обновят,
Ты снова будешь мой... Послушай песнь мою!

(Поет)

Романс

Если жажда наслаждений
Расцветет в душе твоей,
Не жалей земных селений,
Брось отчизну и людей!
Что тебе до их паденья?
Пусть в их жилах стынет кровь!
Ты сын неба, вдохновенья,
Все души твоей стремленья
Пересозданы в любовь!

Но в священную обитель
Не на миг ты приходил,
Не напрасно неба житель
Нас душою обручил.
Здесь твои земные братья
Не похитят тебя вновь;
Нет, на них падут проклятья,
Ты ж падешь в мои объятья,
И сольемся мы в любовь!..

Юноша

(прерывая деву)

Умолкни! Песнь твоя звучит о преступленьи.
Она, как лезвие кинжала, холодна,
Я не хочу душой предаться искушенью
И все мечты мои во мгле похоронить...

Дева приближается к юноше и берет его руку.

Не улыбайся мне улыбкой сладострастья,
Я не могу тебе улыбкой отвечать...
Нет, нет, иным богам мы молимся с тобою:
Твой жертвы требует, мой жертвовать велит!..

Дева

Я принесу тебе любимого поэта,
Быть может, он в тебе тоску искоренит!

(Убегает.)

Юноша

(один, после некоторого молчания)

Ты сорвала густое покрывало,
Да, пра́ва ты: я обновлен душой,
И истины священное зерцало
Таинственно восстало предо мной!
Я в нем прочел с каким-то содроганьем
Моей судьбы торжественный укор:
«Расстанься ты с возлюбленным созданьем
И вновь будь там, где слава и позор!
Ты ль смел бросать свой камень обвиненья
И упрекать в падении людей?
Ты эгоист в объятьях наслажденья,
Ты жалкий раб неистовых страстей!»
Безумец я, — внезапно пробужденный,
Теперь вполне, но поздно сознаю,
Как оторвал рукой окровавленной
От сердца я родимую семью!
Чем выше я моих смиренных братий?
В них веры нет, в них нет избытка сил...
Где создался весь мир моих понятий,
Но, эгоист, я всё похоронил,

Как жадный дух, в моем уединеньи,
Всё затушил в взволнованной крови...
О, сила, — прах без воли исполненья,
О, вера, — тма без силы и любви!..
Восстану я из праха униженья,
И снова горд, и снова чист, как бог,
Отдамся им как жертва очищенья,
Спасения торжественный залог!
Не уносил никто свою идею
В холодный гроб, не передав ее...
Я верую и жаждой пламенею
Осуществить мечтание мое!
Бесплодное лишь древо погибает,
Не принеся земле родимой дань,
Оно одно без жизни отживает,
Не перейдя поставленную грань.
Но где есть плод, то древо горделиво
Снесет вихрь бурь и топора удар,
Оно в борьбе разносит торопливо
Своих семян земле священный дар.
Чем вихрь сильней, тем больше расширяет
Оно свой круг. Падет... и семена
Вдаль от себя торжественно бросает...
И вот придет их убирать весна,
Согреет их, как мать, своим дыханьем...
И новые восстанут племена,
И нет конца божественным созданьям,
В них новые созреют семена!..

Вдалеке показывается дева.

Но ты, моя божественная дева,
Своей душой разлуки не снесешь,
Родная ветвь возвышенного древа,
Ты мной жила, со мною и падешь!
Нет, нет!..

(Погружается в глубокую задумчивость. Дева подает ему книгу Шиллера.)

Дева

Прочти хотя одно творенье
Певца души, свободы и любви:

Он пробудит тебя из усыпленья,
Он воскресит потухший огнь крови!

Юноша в рассеянии бросает взоры на развернувшуюся пред ним книгу и читает с возрастающим вниманием.

«Gieb mir das Weib, so teuer deinem Herzen,
Gieb deine Laura mir!
Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen!»
Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen,
Und weinte laut, und gab sie ihr! [1]

Юноша

(подбегая к деве)

Последнее свершилось искушенье,
Последнюю ты нить оборвала:
Приемлю я судьбы определенье,
Свой приговор сама ты принесла!
Я верую: за гробом жизнь иная
Готова нас в объятия принять,
Жизнь общая, безвременно святая,
Где светлые мы будем созерцать
И мысль творца, и жизнь родной природы,
Где умертвим свое земное я
И, полные небесныя свободы,
Проникнем вдруг все тайны бытия!
Но не хочу напрасных воздаяний,
И страшен мне ничтожества конец,
Пока из мглы и скорбей и страданий
Не вырву я бессмертия венец!
Нет, снова в путь! Мое уединенье —
Не хладный гроб мечте моей родной,
Оно души больной успокоенье
И новых сил источник неземной!
Я ад пройду, за ним достигну рая
И обрету обещанный венец...
О, памятна мне мысль твоя святая,
Мой дивный Дант, мой пламенный певец,
Певец небес, чистилища и ада,

---

[1] «Отдай мне женщину, так драгоценную твоему сердцу, отдай мне твою Лауру; за гробом вознаграждены будут твои горести!» — Я оторвал ее окровавленную от моего растерзанного сердца, зарыдал громко, и отдал ⟨ей⟩!» Schiller. «Resignation». St. VIII.

И ты едва в сомненье не пришел,
Ты, гордых дум возлюбленное чадо!
Но спас тебя Вергилия глагол:
«Кто не свершит начатое стремленье,
Тому позор!» — вещал твой проводник,
Когда без сил и весь в изнеможеньи,
Чтоб отдохнуть, средь ада ты приник.
И вспрянул ты, внезапно обновленный,
И закричал: «Я силен, бодр и смел!»
И, волею поэта окриленный,
Ты адские вертепы пролетел!
О Дант, и я, как ты, без содроганья
Пройду весь ад, все степени кругов,
И насмотрюсь по силе душ страданья
На силу их пожизненных грехов!
И я, как ты, из тьмы отдохновенья
Вергилия глаголом извлечен,
Мой гордый дух вспорхнул от убежденья,
И далеко уже летает он!
Уж перед ним, заманчиво блистая,
Готовы там разверзнуться врата
Роскошного, таинственного рая:
Меня зовет горячая мечта —
Туда, туда, где море вдохновенья,
Где воли нет предела и конца
И где душа в избытке наслажденья
Потонет вся в объятиях творца!
Пора! Иду я в путь труда и славы,
Ты, дева-друг, прости любви моей,
И ты, чертог природы величавый,
Прости и ты, — я снова брат людей!
Я совершу свое предназначенье,
Я всё отдам: подругу, славу, честь,
Я принесу себя во всесожженье!
О! тяжек крест, но должно его несть!

Пламенно целует удивленную деву, потом отталкивает ее и убегает. Солнце совершенно взошло и в полном величии озаряет роскошную природу и бесчувственную деву.

⟨1835⟩

259. ДУХ СОМНЕНИЯ

Мне тяжело, я весь в огне,
В огне мучительном сомненья,
И страшно что-то шепчет мне
Могильный глас разуверенья.
О, замолчи, не умерщвляй
Моих надежд, моих мечтаний,
В моей душе не заглушай
Последний отзвук упований.

Умолкни, сжалься надо мной,
Сомненья пагубного гений!
И к дружбе пламенной, святой
Не прибавляй яд подозрений.
Как больно ты мне сердце сжал,
Оставь меня, прими моленья!
Я в жизни слишком мало знал
Минут волшебных наслажденья.

Пусть в мир мечтательный я впал,
Пусть заблужденья в нем хранятся,
Но для души родным он стал,
И с ним ей тяжко разлучаться.
Помедли ж, гений, наносить
Удар последний разрушенья,
Из чаши дружбы дай испить
Всю беспредельность упоенья!

Пусть это сладкий, дивный сон,
Отсрочь минуту пробужденья!
Тем сном я к небу вознесен...
И как страшна мне мысль паденья...
Не увлекай же, гений злой,
Меня из стран очарованья,
С моей растерзанной душой
Не снесть мне ужас испытанья.

Вторая половина 1830-х годов (?)

260. DE PROFUNDIS[1]

Что день, то в жизни похороны,
Над нами смерть — как божий гнев,
И верьте: нам приличней стоны,
Чем песен радостных напев.
Не раз под звук веселых песен
Я плакал скорбною душой!
Нет, здешний мир веселью тесен,
Здесь лучше петь «за упокой!».

Бывают чудные мгновенья:
Мысль рвется к небу, кровь кипит, —
То светлый гений откровенья
С душой поэта говорит!..
Но жизнь своим прикосновеньем
Сроднит поэта вновь с землей,
И он, расставшись с вдохновеньем,
Ему поет «за упокой!».

Когда мы юны, в нас свободно
Роятся светлые мечты,
Но скоро все поочередно
Они, как осенью листы,
Падут, умчатся вихрем жизни,
И мы, печальные, порой
С улыбкой горькой укоризны
Мечтам поем «за упокой!».

Когда мы любим, в нас блаженство,
Мы создаем волшебный мир,
И с чистой верой в совершенство
В него вселяем наш кумир!
Но жизнь на чудное виденье
Набросит занавес густой,
И мы в тоске разуверенья
Любви поем «за упокой!».

Так гибнет всё, так всё стремится
Исчезнуть в жизни, как в гробу;

---

[1] Из глубины (лат.). — *Ред.*

Чему же здесь нам веселиться,
Кто изменит свою судьбу?..
Мы все рабы единой воли,
К могиле мы одной стезей
Пройдем по жизненной юдоли,
И нам споют «за упокой!».

⟨*1840*⟩

261. ХРИСТИАНИН

Есть в мире чувство неземное:
Его божественный Христос,
Как достояние святое,
На землю с неба перенес.
Запечатлев своею кровью,
Его он миру завещал,
И мир искупленный любовью
То чувство дивное назвал.

И счастлив тот, кто, как святыню,
В душе сберег завет Христа,
Кто в прах склонил свою гордыню
Пред чудным символом креста.
Среди житейского волненья
Тот станет крепок как гранит,
Дух отрицанья, дух сомненья
Его в борьбе не сокрушит,

И не скует земное горе
Его души могучих крил, —
Неисчерпаем в ней, как море,
Источник вечно юных сил!
В дни скорби демон испытанья
Его с пути не совратит,
И, как Христос, свои страданья
Он палачам своим простит!

⟨*1841*⟩

262. ОТРЫВОК ИЗ ПОДСЛУШАННОГО РАЗГОВОРА

Ich bin zu alt, um nur zu spielen,
Zu jung, um ohne Wunsch zu sein.
Was kann die Welt mir wohl gewähren?
Entbehren sollst du! sollst entbehren! —
Das ist der ewige Gesang,
Der jedem an die Ohren klingt,
Den unser ganzes Leben lang,
Uns heiser jede Stunde singt.

«Faust» [1]

Утро. Комната молодого человека. Много книг, бумаг, картин. Во всем приметный беспорядок. Входит доктор, человек пожилых лет, друг молодого человека.

Молодой человек

А, здравствуй! Ты приходишь кстати:
Я нынче болен, ночь не спал,
Ждал дня, как божьей благодати...
Тоска!

Доктор

О чем ты тосковал?

Молодой человек

О чем?.. Вопрос, ей-ей, премилый!
В нем виден медик; вам скажи
И что, и как, с какою силой,
И место боли укажи...

Доктор

Э! Ты опять хандришь!.. Ей-богу,
Любезный друг, тебе б пора

---

[1] Я слишком стар, чтобы только предаваться игре, слишком молод, чтобы обходиться без желаний. Что может дать мне мир? Ты должен отказывать себе! Должен отказывать! Вот вечная песня, которая у каждого звенит в ушах, которую в течение всей нашей жизни хрипло поет нам каждый ее час. *«Фауст»* (немецк.). — *Ред.*

Сойти на ровную дорогу.
Скажи, к чему твоя хандра?
Анахронизм она в сем веке!
Когда вокруг тебя кипит
Жизнь в современном человеке,
Когда всё рвется, всё спешит
Обнять природу и науки,
Когда и ум, и дух, и руки —
Всё дышит гением труда,
Ты, как стоячая вода,
Заглох от грусти и от скуки!
Поверь мне, друг, жизнь хороша,
В ней ум, и тело, и душа
Найдут себе легко по доле,
Лишь было б в ней немножко воли,
А если в жизни, как средь тьмы,
Бредем дорогой мы неровной, —
Не жизнь виновна в том, а мы!

Молодой человек

Я виноват иль жизнь виновна,
Иль кто другой, — мне всё равно!
Я верно знаю лишь одно,
Что я живу, что я страдаю,
Что день, взошедший надо мной,
Я с тайным трепетом встречаю
И провожаю со слезой,
Что есть в душе моей желанья,
Есть жажда веры, есть любовь —
И вместе горькое сознанье,
Что с каждым днем я буду вновь
Желать, грустить, к чему-то рваться,
В себе и в жизни сомневаться
И никогда...

Доктор

Остановись!
Определи свои желанья,
Дай жизни цель, мечтам — названье,
Что ж невозможно, — откажись!
За тенью гнаться, верь, напрасно!

Молодой человек

Да, *откажись*!.. Всё песнь одна,
Давно знакома мне она!..
Что так роскошно, так прекрасно
В душе цвело, чем ты дышал,
К чему стремился, чем страдал, —
Всё вырви! Всё одни мечтанья!
На жертву жизни их отдай,
А там по силам размеряй,
Как на аршин, свои желанья!..
Нет, нет! Оставьте мне страданья,
В них есть блаженство...

Доктор

Может быть,
Но жизнь как с ними помирить?

Молодой человек

О, лучше с жизнию расстаться!
Без них что может жизнь мне дать?
Я слишком стар, чтоб забавляться,
И слишком юн, чтоб не желать!

21 марта 1841
Москва

263. ПОЭТУ-СУДИЕ

Когда поэт, сознав свое призванье,
Свой приговор народу возвестит,
Как мощно он стихом негодованья
Народ бичует и клеймит!
Кто б ни был тот народ, что нужды для поэта!..
Поэт в сей миг не франк, не славянин, —
Одною истиной душа его согрета:
Он человек, он мира гражданин.
Но горе, если он в сужденьи увлечется
Народною иль личною враждой, —

На грозный суд его народ лишь улыбнется,
И грозный стих над целью пронесется
Хоть звучною, но слабою струной.

8 июля 1841
Москва

264. ПАМЯТИ Е. БАРАТЫНСКОГО

В его груди любила и томилась
Прекрасная душа,
И ко всему прекрасному стремилась,
Поэзией дыша.
Святой огонь под хладной сединою
Он гордо уберег,
Не оскудел, хоть и страдал душою
Средь жизненных тревог.
На жизнь смотрел хоть грустно он, но смело,
И всё вперед спешил;
Он жаждал дел, он нас сзывал на дело
И верил в бога сил!
О, сколько раз с горячим рукожатьем,
С слезою на глазах
Он нам твердил: «Вперед, младые братья,
Пред истиной — всё прах!»
О, сколько раз он, старец вечно юный,
Наш круг одушевлял,
Дрожали в нас души живые струны,
Согласный хор звучал.
И дружно мы, напеня наши чаши,
Их осушали вновь
За всё, что есть святого в жизни нашей,
За правду, за любовь!
Он и́збрал нас, и старец, умирая,
Друзья, нам завещал,
Чтобы, по нем как тризну совершая,
В борьбе наш дух мужал.

28/16 июля 1844
Берлин

В. С. ПЕЧЕРИН

Владимир Сергеевич Печерин не был поэтом в точном значении этого слова. Он принимался за перо, когда, захваченный потоком сильных впечатлений, испытывал потребность разобраться в своих думах и настроениях. Адресат почти всех оригинальных произведений Печерина — друзья его юности. Так было в 1831—1835 и в 1864—1865 годах. Только эти два периода в биографии Печерина и ознаменованы стихами. Его вольнолюбие и дерзкие помыслы, его литературная эрудиция и дар слова, отразившиеся в этих стихах, выводят их за пределы чисто кружкового, дилетантского сочинительства.

Печерин родился 15 июня 1807 года в селе Дымерка Киевской губернии. Отец семейства — кадровый армейский офицер — по долгу службы часто менял местожительство, и детство его сына в основном прошло в скитаниях по захолустным городам Украины, Молдавии и Белоруссии. История духовного развития Печерина, по его собственному признанию, началась очень рано — «от первых лучей разума». «Зрелище неправосудия и ужасной бессовестности во всех отраслях русского быта — вот первая проповедь, которая сильно на меня подействовала». [1]

Глубокий след в сознании Печерина оставило пребывание в Липовце (Киевской губернии) в начале 20-х годов. «В то время, — вспоминал он, — все подготавливалось к взрыву. Стихии были в брожении. Полковник Пестель был нашим близким соседом. Его просто обожали. Он был идолом 2-й армии». Гувернер Кессман и его друг Сверчковский, говорит далее Печерин, «без малейшей застенчивости обсуждали передо мной планы восстания». [2]

---

[1] М. О. Гершензон, Жизнь В. С. Печерина, М., 1910, с. 192.
[2] В. С. Печерин, Замогильные записки, М., 1932, с. 23.

В 1822 году родители оставляют Печерина в одной из киевских гимназий, но он вскоре просит забрать его оттуда, так как там «преподают только начала всех наук, но ни одной не учат совершенно».[1] Юный Печерин максимально сокращает свои расходы, употребляя большую часть выданных ему денег на оплату приватных уроков у сведущих педагогов.

В 1825 году он уехал в Петербург с намерением продолжить свое образование, но поступил в университет позднее, чем рассчитывал. Лишь в 1829 году он был принят студентом на словесное отделение Петербургского университета. Своей специальностью он избрал классическую филологию и за три года обучения превосходно овладел ею под руководством видного эллиниста профессора Ф. Б. Грефе.

В феврале 1831 года Печерин блистательно заканчивает университетский курс со званием кандидата и вскоре сам погружается в педагогическую работу. В том же 1831 году он дебютировал в журнале «Сын отечества» переводом шиллеровского стихотворения «Желание лучшего мира», а спустя год — полтора напечатал два цикла переводов из греческой антологии. Вследствие этих переводов он, по собственному признанию, сделался «страшным любимцем» С. С. Уварова, мнившего себя знатоком и пропагандистом антологии. Уваров занимал пост товарища министра народного просвещения, и по его указанию Печерин был включен в число выпускников университета, отобранных для двухлетней командировки в Берлин с целью «усовершенствования в науках и приготовления к профессорскому званию».

Через месяц Печерин уже прощался со своими друзьями по университету: А. В. Никитенко, Ф. В. Чижовым, М. П. Сорокиным и другими, еще в студенческие годы составившими тесный дружеский кружок. Мечты о благородном поприще, критическое отношение к окружающей действительности, литературные и театральные интересы сплачивали участников этого кружка. Перед отъездом Печерин написал несколько десятков стихотворений — нечто вроде дневниковых записей, большей частью навеянных предстоящим отъездом и тяготеющих к лирическому циклу.

В Берлине, где Печерин слушал лекции знаменитых профессоров, он с огромным интересом следил за политической и философской мыслью Западной Европы, а за время вакаций успел объездить Швейцарию, Италию и Австрию.

---

[1] Письмо к родителям от 14 августа 1822 г. — ГБЛ, фонд Ф. В. Чижова.

В конце 1833 года Печерин послал друзьям две драматические сцены под заглавием «Вольдемар» и поэму «Pot-pourri...». Спустя много лет было высказано убедительно прозвучавшее мнение о том, что это произведение — часть трилогии, которая не сохранилась, но с которой был знаком Достоевский. [1]

На самом деле «Pot-pourri...» — совершенно самостоятельное произведение, вполне выражающее свою идею, интересное по замыслу и по исполнению. Последовательность всех его частей обоснована художественной логикой. В поэме сталкиваются два мира — мир отечественный и западноевропейский. Песни старика и старухи, выполненные в подчеркнуто фольклоризованном, народном стиле, передают жуткую атмосферу террора в родной стране. Первая песнь Эмилии дополняет мрачную картину русской жизни иным проявлением социального зла — губительной властью сословных предрассудков, вторгающейся в сферу интимной жизни. Тема эта сразу же перебрасывается в западноевропейский мир: русский юноша, чья любовь разбилась о неумолимый закон социального неравноправия, ищет смерти в бою за правое дело. Но проливает он свою кровь не за благо отчизны, а на «каталонских полях» — за свободу чужого народа, ибо все пути к прямой и честной борьбе на родине закрыты. Несправедливость и насилие, подобно чуме, свирепствуют не только в России, но и в «просвещенных» странах Европы — эту мысль подхватывает и завершает «Баллада о графине Турн». Таким образом, всесилие социального зла в поэме Печерина становится международной проблемой.

Заграничные впечатления привели Печерина к печальному признанию, что Россия является оплотом европейского деспотизма и реакции. Было ясно, что только колоссальная, почти сверхъестественная сила могла бы избавить людей от этого чудовищного «царства рабства». Мечту о грандиозном революционном катаклизме и воплотила средняя часть поэмы (театр). Здесь тема засилья зла снова возвращается в национальные рамки, чему нисколько не противоречит античный антураж — образы античной древности у Печерина шли от декабристской тираноборческой поэзии. Кстати, упоминающиеся здесь «пять померкших звезд» — это пять казненных декабристов, а Поликрат Самосский — не кто иной как отечественный тиран Николай I.

Примечательно, что сцены «Языческого Апокалипсиса» у Печерина звучат мажорно, почти весело, ибо мысль его не останавли-

---

[1] О несостоятельности этой легенды, бытующей и по сей день, см. примеч. № 279.

вается на развалинах «ветхого мира», она предсказывает рождение новой жизни, освещенной светом добра и разума.

Автор «Pot-pourri...», однако, не мог не чувствовать, насколько далеки эти «мечты, набросанные на картон», от действительности. Вот почему некоторые эпизоды в поэме даны с налетом иронии. «Языческий Апокалипсис» — вдвойне фантастическая пьеса: и по содержанию, и потому, что ее нельзя представить в театре — ни один актер не получит в ней роли, ни один зритель не увидит. Автор остается наедине со своим творением, и на этой, уже вполне правдоподобной сцене, перекликающейся с началом поэмы, и обрывается повествование.

Как ни удручен был Печерин темными сторонами буржуазной цивилизации, Россия в сравнении с европейскими странами казалась ему безысходной тюрьмой. Он с ужасом возвращался домой, мысленно представляя себя «благонамеренным профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякой мерзостью».[1]

По прибытии в июне 1835 года в Петербург Печерин был назначен экстраординарным (т. е. не защитившим диссертации) профессором греческого языка и словесности в Московский университет и уже осенью приступил к работе.

Но профессорство его длилось совсем недолго. Ссылаясь на обстоятельства сугубо личного характера, Печерин выхлопотал заграничный паспорт и в июле 1836 года выехал из страны. «Я бежал из России, — рассказывал он потом, — как бегут из зачумленного города... я был уверен, что если б я остался в России, то с моим слабым и мягким характером я бы непременно сделался подлейшим верноподданным чиновником или попал бы в Сибирь ни за что ни про что».[2]

Печерину грезилось какое-то огромное, блистательное и героическое поприще в иноземных странах, жизнь которых он в общем наблюдал недолго, поверхностно и которая представлялась ему все-таки в очень идеализированном виде. Сначала он поселился в Швейцарии (в Лугано, а потом в Цюрихе), где пытался наладить контакты с итальянскими революционерами, но из этой затеи ничего не вышло. Кошелек Печерина истощился. В 1838 году он пешком пробирается во Францию, помышляя о Париже, который в то время был главной лабораторией европейской социально-утопической мысли. В дороге Печерин был схвачен французскими властями и выслан из страны

---

[1] Письмо к графу С. Г. Строганову от 23 марта 1837 г. — «Русский архив», 1870, № 11, с. 127.

[2] В. С. Печерин, Замогильные записки, с. 115.

как подозрительный человек. В итоге он попал в бельгийский город Льеж. Оказавшись в полной нищете, он принимается за любой черный труд — пробавляется грошовыми уроками, служит камердинером у английского капитана, продает сапожную ваксу. Тем не менее за два года жизни в Льеже он освоил труды Сен-Симона, учение Бабефа, систему Фурье, Ламенне и других мыслителей. Огромное впечатление произвели на него романы Жорж Санд.

Осенью 1840 года петербургские друзья Печерина с изумлением узнали, что он удалился в один из католических монастырей ордена редемптористов. «Странный переворот», — записал в своем дневнике А. В. Никитенко. «Печерин — католический монах! Это просто непостижимо». [1]

«В его лице, — писал Г. В. Плеханов о Печерине, объясняя этот «переворот», — русская действительность создала свое собственное *отрицание*, — и притом такое *отрицание, которому была чужда всякая примесь* надежды на победу в борьбе с нею, отвратительной действительностью». [2]

Очевидно, что поступок Печерина был вызван также и разочарованием в европейском освободительном движении, и душевной усталостью, и затянувшейся неприкаянностью.

Сразу после пострижения (в сентябре 1840 года) Печерин был направлен в голландский город Виттем. Пройдя там богословскую подготовку, он был рукоположен в священники, а через два года получил назначение в г. Фальмут (Южная Англия). Здесь началась его регулярная миссионерская деятельность, продолжившаяся затем в Клэпэме (близ Лондона).

Связи Печерина с родиной надолго прервались. Лишь в 1853 году его разыскал Герцен, в то время уже ставший эмигрантом. Герцен слышал о Печерине, читал его поэму еще в бытность свою в Петербурге (1840—1841) и теперь надеялся получить ее из рук самого автора. Встрече с ним и биографии Печерина он позднее посвятил одну из интереснейших глав седьмой части «Былого и дум» («Pater V. Petcherine»).

Рукопись поэмы через некоторое время удалось нелегально переправить из России в Лондон. В предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия» (1861), где она была напечатана, Огарев писал: «Поэма, несмотря на ее отвлеченность, обли-

---

[1] А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, т. 1, М., 1955, с. 239.

[2] Рецензия на книгу М. О. Гершензона «Жизнь В. С. Печерина» — Г. В. Плеханов, Собр. соч., т. 23, М.—Л., 1926, с. 33.

чала сильный поэтический талант, который мог бы развиться. Каким образом автор ее погиб хуже всех смертей... погиб заживо, одевшись в рясу иезуита и отстаивая дело мертвое и враждебное всякой общественной свободе и здравому смыслу? Это остается тайной; тем не менее мы со скорбию смотрим на смрадную могилу, в которой он преступно похоронил себя. Воскреснет ли он в живое время русской жизни... Как знать?»[1]

Печерин в это время уже был в Лиммерике (Южная Ирландия). Вести из России о подъеме освободительного движения, вести, которые он черпал в основном из герценовского «Колокола», произвели новый переворот в его сознании. «Я выхожу из могилы и вижу рассвет русского дня», — писал Печерин Огареву, как бы в ответ на его вопрос.[2] Он возобновляет переписку с Герценом, Никитенко, Чижовым и другими соотечественниками. Он печатно заявляет о своей неостывшей вражде к самодержавию, осуждает палаческое «усмирение» Польши и т. д. В эти годы он снова пишет ряд стихотворений, представляющих собой своеобразную исповедь и обращенных к его старым друзьям.

Процесс изживания религиозных иллюзий, начавшийся у Печерина еще в конце 50-х годов, в 60-е годы приходит к своему логическому завершению. В 1861 году он решается на неслыханно скандальный поступок — выходит из ордена редемптористов. Вся дальнейшая тактика Печерина клонилась к тому, чтобы максимально ослабить свою зависимость от церкви и предельно сузить свои обязанности как духовного лица. В 1862 году он переселяется в Дублин, где до конца своих дней (он умер 17 апреля 1885 года) служит при больнице в качестве патера.

Мемуары Печерина, над которыми он работал в 1865—1867 и в 1870—1873 годах, а также поздние письма к Чижову свидетельствуют о его антиклерикальных взглядах. Он немало сокрушался о том, что принадлежит к «презренной и ненавистной касте» людей, достойных наименования «врагов рода человеческого».[3] Судя по всему, только преклонный возраст, отсутствие крова и средств к жизни помешали ему пойти на окончательный разрыв с церковью.

---

[1] Н. П. Огарев, Избр. произв., т. 2, М., 1956, с. 491—492.

[2] Письмо к Огареву от 13 марта 1863 г. — А. А. Сабуров, Из переписки В. С. Печерина с Герценом и Огаревым («Литературное наследство», № 62, М., 1955, с. 479).

[3] Письмо к Ф. В. Чижову от 13 августа 1871 г. — Там же, с. 465.

265. ЖЕЛАНИЕ ЛУЧШЕГО МИРА

(Из Шиллера)

Ах, из сей долины тесной,
Хладною покрытой мглой,
Где найду исход чудесный,
Сладкий где найду покой?
Вижу: холмы отдаленны
Зеленью цветут младой...
Дайте крылья! К вожделенной
Полечу к стране родной!

Слышу звуки райской лиры,
Чистых пение духов,
И разносят вкруг зефиры
Благовония цветов.
Вижу: там златые рдеют
Меж густых ветвей плоды,
Зимни бури там не веют
И не вянут век цветы.

Ах, как солнечный отраден
Вечный свет на тех лугах!
Усладительно прохладен
Тонкий воздух на холмах!
Но увы! Передо мною
Волны яростно шумят,
Грозною катясь волною;
Дух мой ужасом объят.

Вот челнок колышут волны...
Но гребца не вижу в нем...
Прочь боязнь! Надежды полный,
В путь лети! Уж ветерком
Паруса надулись белы...
Веруй и отважен будь!
В те чудесные пределы
Чудный лишь приводит путь.

⟨1831⟩

266—271. *ИЗ АНТОЛОГИИ*

1

К милым отчизны брегам приближаяся, «Завтра, —
сказал, —
Долгий и бурный мой путь кончится: пристань
близка!»
Но не сомкнулись уста еще, — море как ад потемнело
И сокрушило меня. Слово пустое одно
«Завтра!» с надеждой отважно вещать не дерзай:
Немезида
Всюду настигнет тебя, дерзкий накажет язык.

⟨1831⟩

2

Где красота твоя, город дорийский, Коринф лучезарный?
Где твоих башен венцы? Древни стяжанья твои?
Где велелепные храмы богов, где чертоги? Где жены
Пышноубранные? Тьма граждан на стогнах твоих?
Даже следа от тебя не осталося, город несчастный!
Лютая, всё обхватив, жадно пожрала война.
Мы лишь одни, Океана бессмертные дщери, остались,
Чтобы над прахом твоим, как алкионы, стенать.

⟨1832⟩

3

Путник, ты зришь Илион, гремевший некогда славой,
Некогда гордый венцом башен высоких своих...
Ныне ж пожрал меня пепел времен; но в песнях Гомера
Всё я стою невредим с медным оплотом ворот.
Мне не страшны, меня не разрушат губительны копья
ахивян:
У всех Греции чад вечно я буду в устах.

1831 или 1832 (?)

Труп Леонида кровавый, увидевши, Ксеркс-победитель,
Дивную доблесть почтив, сам багряницей одел.
Мертвый тогда возгласил спартанский герой
незабвенный:
«Нет, не приму никогда должной предателю мзды!
Щит — украшенье могиле моей, прочь одежды персидски!
Я спартанцем хочу в царство Айдеса прийти».

1831 или 1832 (?)

5

К ИЗВАЯНИЮ ЗЕВСА ОЛИМПИЙСКОГО, ТВОРЕНИЮ ФИДИЯ

Или бог с неба сошел показать тебе образ свой, Фидий,
Или ты сам в небеса бога узреть возлетел.

⟨1832⟩

6

К ИЗВАЯНИЮ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО, ТВОРЕНИЮ ЛИСИППА

Огненный взор Александра и весь его лик величавый
Дивным искусством Лисипп в мощной сей меди явил.
Мнится, он, очи на небо вперив, Громовержцу вещает:
«Мне подвластна земля! Ты, Зевс, Олимпом владей!»

⟨1832⟩

272—276. *ПОЭТИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ*

19 февраля

1

НЕЧТО

Напрасно буду ждать отрадной встречи
В кадриле, средь гармонии живой,
И долго не слыхать мне русской речи
Из уст пурпурных девы молодой!

И от кого привет услышу милый?
Кто спросит: «Любите ли танцы вы?»
Окончив бал, кому скажу унылый:
«Вы едете? Всё кончено, увы!»

2

БАЛ

Приехал и гляжу: дом освещен,
И в окнах легкие мелькают тени;
И слышу, в тесные вступая сени,
И шум шагов и фортепьяна звон.

И в комнатах, как в летний полдень, ясно,
И дышит всё jasmin, ambré, vanille, [1]
Как целый мир, и стройный и прекрасный,
Французский развивается кадриль.

«Здоров ли Александр Васильич? Слух идет,
Что видели «Ричарда» вы недавно
И что одни вы хлопали исправно,
А публика вся холодна, как лед?»

«От чопорной трагедии французской
Не может наша публика отстать:
В ней нет души и огненной, и русской,
Не ей Шекспира гений понимать!»

«Ах! посмотрите-ка сюда!
Как гаснут свечи здесь уныло!
Так жизни сей отрадные светила,
Блеснув, угаснут навсегда.

Что жизнь в сей атмосфере хладной?
Как друга, я б желала смерть найти!
В цветущем юности венке отрадно
В могилу свежую сойти!»

---

[1] Жасмином, амброй, ванилью (франц.). — *Ред.*

8

ПРОДОЛЖЕНИЕ БАЛА

РУССКИЕ РОМАНЫ

20 февраля

«А новые романы вы читали?
„Семейство Холмских"?» — «Нет! Не мог, ей-ей!
И шесть частей всегда меня пугали:
Прочесть печати русской шесть частей!

Романов русских, право, я не чтец,
    В них жизни мощный дух не веет!
Лежит, как пышно убранный мертвец,
А под парчой всё крошится и тлеет.

Поденщиков я этих ненавижу —
Вы старый мусор свозите, друзья;
Но зодчий где? К чему сей труд? Не вижу,
И зданий вовсе не приметил я.

Всего тут понемножку: и народность,
И выписок из хроник целый ряд,
И грубая речей простонародность,
На жизнь и в бездны сердца мрачный взгляд.

Но где ж у вас гигантские созданья
Фантазии могучей и живой?
— А нам к чему? Есть летопись, преданья,
И — с ног до головы — готов герой.

Хотите ли увидеть исполина,
    Кто мощно сдвинул край родной?
Смотрите: вот его кафтан, дубина!
Весь как в кунсткамере, весь как живой».

4

СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ

25 февраля

Итак, друзья, как видно, я решился
Излить всю душу в звуках и стихах!
О! если б весь я в звуки превратился
И так же, как они, исчезнул в небесах!

Еще я пил из чаши, полной яда!
Но, боже мой, как сладок этот яд!
За миг один, за два прекрасных взгляда
Цвет жизни и всю жизнь отдать я рад!

Воздушны пери предо мной мелькали,
Меж них царицею она была;
Мне очи голубиные сияли,
Мне речь ее жемчужная текла.

5

PROGRAMME

DES EXAMENS PUBLICS À LA COMMUNAUTÉ IMPERIAL DES DEMOISELLES NOBLES: RELIGION, HISTOIRE, CHANT D'EGLISE[1]

Как много есть поэзии глубокой
В программе этой, для иных сухой!
Как солнце в небесах, стоит высоко
Религия над жизнию земной.

А долу — разливаяся, бушует,
Кипит клокочущий поток страстей,
По воле рока буйно торжествует
Секира черни или меч царей.

---

[1] Программа публичных экзаменов в императорском институте благородных девиц: Религия, История, Церковное песнопение (франц.). — *Ред.*

Но в стройной пляске, светлою грядою
Над миром думы Вечного плывут,
Играют пестрою людей толпою
И свет в пучины вечности лиют.

И навсегда земное умолкает,
И чистых ангелов воздушный строй
Врата небес пред нами отверзает
При звуках арфы, с песнью трисвятой.

Февраль 1833

277. ⟨МОНОЛОГ ВОЛЬДЕМАРА⟩

(один; смотрит на часы)

Пробило десять. Так! Свершилось всё!
И к вековому зданью предрассудков
Я первый должен факел поднести?
Зажечь пожар неистовый, в котором
Столетье ветхое сгорит? Постой,
Безумный юноша! Что начинаешь ты?
Ты властен ли сказать огню: «Здесь твой предел!»,
Ты можешь ли из бурного хаоса
Могучим словом вызвать новый мир?

О, как страшно среди моря злого
Без руля и весел плыть!
И не знать магического слова,
Чтоб стихии усмирить!
И в борении ужасном
И бессильном волны рассекать,
К небу руки воздевать напрасно
И в слепой пучине утопать!

Так в долине погибает
В. бурю стая голубков,
На скалы орел взлетает
Выше молний и громов.

Мощный дух стихии заклинает
И выходит светлый из валов;
Повелит — и возникает
Из хаоса новый ряд миров!

Зачем не суждено мне век прожить
В приюте селянина — мирном, тесном?
И в чаще сельского родного сада
Не слышать шума площади народной?

. . . .

. . . .

Нет, нет! О дух сомненья, удались!
Сам бог с младенчества меня избрал,
Да буду я вождем его народу:
Его десница привела меня
На стогны, в жизнь кипящую столицы;
Он дум божественных открыл мне тайны,
Мне очи прояснил, да вижу я
Неправды сильных, скорбь Его народа
И переполненную меру зла —
При корне дерева лежит секира;
Созрела жатва: ангелов своих
Владыка шлет исторгнуть плевелы.

Мне ль в бездействии, тоскуя,
Как былинке прозябать?
Нет! Я бог! Миры хочу я
Разрушать и созидать!
Дайте крылья! Дайте силы!
Дайте Леты мне испить,
Чтоб и дружбу, и всех милых,
И тебя, любовь, забыть!

Ринусь в дикое веков боренье!
Лавр меня победный обовьет;
Я паду — но песню искупленья
Надо мной столетье пропоет!

1833

278. ⟨ПЕСНЬ СОФИИ⟩

Не войду я в храм, сияющий
Блеском радужных огней,
И невесту восхваляющий
Лик не встретит у дверей.

И златой венец венчальный
Мне главы не осенит,
И нас перстень обручальный,
Милый друг, не съединит.

Под венцом, склонясь главою,
В пляске важной и святой,
Не пойду я вкруг налоя
Рука об руку с тобой.

Мне не пить вина заветного
Трижды в чаше золотой;
Мне лобзания приветного
Не делить, душа, с тобой.

Церкви нашей песнопения
Надо мной не загремят;
Матери благословения
Мне главы не осенят.

Вместо платья мне венчального —
Белый саван гробовой;
Вместо пенья ликовального —
Со святыми упокой!

1833

279. POT-POURRI, ИЛИ ЧЕГО ХОЧЕШЬ, ТОГО ПРОСИШЬ

(Для февральского праздника 1834)

⟨1⟩

За синим за морем, в далекой земле,
Сошлись молодцы пировать в феврале.
Тарелки брязжат, и стаканы звенят,
И вольные речи, сверкая, кипят.
Дверь настежь — с гуслями вошел старичок,
И всем поклонился, и сел в уголок.
За ним с самопрялкой старуха вошла,
С собой для потехи кота привела.
Ерошится кот и сверкает хребтом,
10 Сердито мурлычет и машет хвостом.
Уселась старуха — прядет и поет;
Под музыку пляшет, мурлыкая, кот.

Старуха

(поет в нос)

Пряжа тонкая прядися!
Веретенышко вертися!
А веревочка плетися!
Тру-ру, тру-ру, тру-ру.

Кот

Мяу, мяу, голубок,
Не гуляй, друг, одинок!
Мяу, мяу, молодцы,
20 Прячьте в воду все концы!
Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу.

И старец пустился на гуслях играть —
С присвистом, с прищелком пошел припевать.

Старик

Ай веревочка свивается,
Ай люли! Ай люли!
В узелочек заплетается,
Ай люли! Ай люли!

Да на шейку надевается,
Ай люли! Ай люли!

Старуха

30 Пряжа тонкая прядися!
Веретенышко вертися!
А веревочка плетися!
Тру-ру, тру-ру, тру-ру.

Кот

Мяу, мяу, серый кот!
Кошечка на крыше ждет.
Мяу, мяу, чижик мой,
Сидя в клетке, смирно пой.
Мяу, мяу, мяу.

Старик

(закатисто)

Ах, головушки вы удалые,
40 По французской моде завитые!
Вам недолго почивать
На подушечках пуховых,
Вам недолго погулять
В мягких шапочках бобровых!
Ай веревочка свивается,
Ай люли! Ай люли!
В узелочек заплетается,
Ай люли! Ай люли!
Да на шейку надевается,
50 Ай люли! Ай люли!

Старуха

Пряжа тонкая прядися!
Веретенышко вертися!
А веревочка плетися!
Тру-ру, тру-ру, тру-ру.

Кот

Мяу, мяу, кот глядит:
Чижик в клетке не сидит;
Мяу, мяу, чиж запел, —

Чижика наш котик съел.
Мяу, мяу, мяу, мяу.

Старик

(закатисто)

60 Ах, вы шейки белоснежные!
Дети барские вы, нежные!
Галстучки шелко́вые,
Други, покидайте!
Галстучки пеньковые
К зиме припасайте.
Ай, веревочка свивается...

Тут барин, схватясь за бутылку, сказал:

«Перестань, старый черт, ты мне скуку нагнал!
Старуха, не пой! А ты, кот, не пляши!
70 А лучше, старик, ты нам сказку скажи!»
Старушка и котик затихнули вмиг,
И начал им сказочку баять старик.

СКАЗКА О ТРЕХ НОВЫХ ГОДАХ

В один вечерок — настает новый год —
Гурьба молодцов на попойку идет.
Вино и шипит, и звездится в кубка́х,
И младость бунтует в могучих сердцах.
Вино через край начинает уж течь,
Течет через край и широкая речь.
Свобода и доблесть у всех на устах,
80 И песня лихая на звонких струнах.
И каждый орлиным полетом летит,
И смело грядущему в очи глядит;
И к богу кричит: «Я не хуже тебя!
И мир перестрою по-своему я!»
А вот и опять настает новый год,
И кучка друзей на пирушку идет.
Да только не все собрались пировать:
Один — за бостон, а другой — почивать.
Другой говорит: «Не приду я, друзья:
90 Жена у меня и большая семья».

А третий: «Ведь я человек должностной!
И мне ль куликать с молодежью пустой?»
И вино уж не льется рекой,
И не слышно уж песни лихой,
А только, собравшись кружком,
Всяк шепчется с другом тишком.
А вот и опять настает новый год —
Да что-то никто на пирушку нейдет.
А в темной конурке горит огонек,
100 В конурке сидит молодец одинок.
Вино на дубовом столе не кипит,
На столике кружка с водицей стоит,
И заперты крепко затворы дверей,
Чтоб не было в комнате лишних гостей.
Вот полночь проходит — и глухо шумят,
И двери скрыпят, и задвижки визжат.
Со связкой ключей человечек вошел:
«Здоров, молодец! Новый год уж пришел!
Я весточку к новому году припас:
110 Тебе новоселье готово у нас.
Два столба с перекладиной — вот тебе дом!
Высок и светёл, и зефиры кругом,
И жавронок в небе, как в клетке, поет,
По зёлену полю гуляет народ.
Там будешь, дружок, припеваючи жить,
Пока ангелы станут в трубы трубить».
Теперь, слава богу! дошли до конца —
За это мне дайте стаканчик винца.
Не корите, друзья, за рассказ мой плохой:
120 Таков уж обычай на Руси святой, —
Веселую песню за здравье начнем,
А после на вечную память сведем.
А вам я желаю, без мук и забот,
Не раз, господа, повстречать новый год.

Валериан

На, вот тебе чарка! да к черту ступай,
И дьявольских сказок нам больше не бай!
Красавица-девица! Арфу настрой,
Балладу, романс или песню пропой!

Эмилия

(строит арфу)

Тра ла ла ла ла ла...
130 Я знаю балладу из новых времен,
Как с войском Дон Педро вошел в Лиссабон.

Валериан

Ты спой нам балладу, где слезы и кровь,
И смерть, и война, и девицы любовь,
Где русский дерется до смерти за честь,
Свершив над тираном священную месть.

Эмилия

Я вовсе не знаю баллады такой,
Довольно вам будет и песни простой.

ПЕСНЯ О РУССКОМ ЮНОШЕ

Как цветочек, отягченный
Утренней росой,
140 Вся в слезах, склонив головку,
Девушка идет.

Прохожий

Душенька, мне сердце рвется,
Глядя на тебя!
Раздели со мною горе!
Друг несчастным я!

Девушка

Под стенами Сантарема
Мой сердечный пал:
Он, как лев, за честь Марии
До конца стоял.
150 На широком поле битвы
Огонек горит,
На широком поле битвы
Рыцарь мой лежит.
Капуцин пришел с дарами...
«О святой отец!

Разреши мне душу! Близок,
Близок мой конец!
И последнему моленью
Воина внемли:
160 Обо мне на Русь святую
Весточку пошли!
Там сидит моя невеста,
Ждет в слезах меня.
О святой отец, скажи ей,
Как скончался я!
Ты скажи, что я до гроба
Милую любил,
Умер с верой и за вольность
Душу положил».

170 Певица в раздумьи склонилась челом,
И бросила арфу, и — слезы ручьем.

Валериан

Красавица-радость! Что сталось с тобой?
Как можно заплакать от песни пустой?

Эмилия

(вполголоса)

На широком поле битвы
Огонек горит,
На широком поле битвы
Рыцарь мой лежит...

И снова в раздумьи замолкла краса,
И белым платочком закрыла глаза.

Валериан

180 Красотка-душа! Ты не плачь, не тужи!
А лучше нам горе свое расскажи.

Эмилия

Он спит на полях, Каталонских полях,
Два камня седые да крест в головах.
Я птичкой у матушки в доме жила,
Невинна, резва и тщеславна была.

Он увидел меня — он мне сердце отдал
И — несчастный — любви за любовь ожидал!
Он бедный художник, поэт молодой,
А я родилася большой госпожой.
190 Он в раздумьи гулял под окошком моим —
Я, глядя с балкона, смеялась над ним.
Он презренья не снес — он был нежен душой,
И покинул наш город, и бросился в бой,
Где рать собиралась Испании всей,
Где «вольность!» кричали при звуке мечей.
Прощаясь, он руки ко мне простирал
И долго слезами порог обливал...
Я смеялась — стояла с другим у окна,
Равнодушна как мрамор, как лед холодна...
200 Он пал на полях, Каталонских полях,
Два камня седые да крест в головах...
Он письмо пред кончиной ко мне написал
И *слезное* мне *ожерелье* послал.

ПИСЬМО ЭДМУНДА К ЭМИЛИИ

(с посылкою стихотворений его)

«Души моей царица! Ожерелье
Вам посылает ваш певец младой.
Быть может, вам на брачное веселье
Поспеет мой подарок дорогой.
Не правда ль? Жемчугу богатое собранье?
Смотрите: крупно каждое зерно,
210 И каждое зерно — слеза, воспоминанье,
И куплено слезой кровавою оно...
Не плавал я среди морей опасных,
Не в пропастях сокровищ вам искал,
Не звонким золотом червонцев ясных
Вам ожерелье покупал:
Из сердца глубины, при светоча сияньи,
С слезами песнь моя лилась в полночный час —
Из этих песен, слез, живых воспоминаний
Я ожерелье набирал для вас.
220 Как должную вам дань, с улыбкою небрежной,
Приймите эту нить стихов и слез моих:

Так боги в небесах приемлют безмятежно
Куренье и мольбы от алтарей земных».

Красавица дальше не в силах читать,
И начала плакать и тяжко вздыхать...
Но гости не требуют вздохов пустых:
Им надобно песен, видений живых.
И нехотя арфу певица берет,
И песню об нежной графине поет:

ПЕСНЯ О ГРАФИНЕ ТУРН[1]

230 В Течене, в лесах Богемских,
Замок на скале стоит,
И под ним спокойно Эльба
Воды светлые струит.
Там графиня молодая,
И уныла, и бледна,
К небу очи подымая,
На скале стоит одна...
«Егерь, егерь мой прекрасный!
Посмотри: на небесах
240 Высоко уж месяц ясный,
Тихо в замке и в садах...
На террасу удалимся!
Там, в беседке, при луне,
Насладимся, насладимся
Мы любовью в тишине!»

Егерь

Ах, Эльвира! Вы — графиня!
Кто же я? Вассал простой!
И любовь моя погубит
Драгоценный ваш покой.
250 Недоступный над долиной
Замок графский вознесен;

[1] Содержатель гостиницы в Течене рассказывал мне историю графини Турн. Молодая, прелестная 18-летняя дочь владетельного графа Турна чахнет от безнадежной любви к прекрасному графскому егерю. Отец каждый год возит ее на теплые воды — все напрасно! Она видимо умирает. Идя пешком по живописной долине и имея в виду замок Турн, я мечтал это стихотворение. Жалею, что прекрасный материал не достался в руки более искусного художника.

Недоступною судьбиной
Я с Эльвирой разлучен.

Графиня

Пусть мой замок превышает
Башни дольных городов!
Все препоны побеждает
Всемогущая любовь!
А когда, в бореньи с миром,
Ей победа изменит,
260 Как Коломб, она из мира
Обветшалого летит
И под грозным ураганом,
Смелый пробивая след,
За могильным океаном
Новый открывает свет...

А вот одинока графиня сидит,
В раздумьи, в тоске про себя говорит:

Для графа и для егеря одно
Сияет солнце над богемскими скалами;
270 Для графа и для егеря равно
Струится Эльба меж зелеными лугами.
Святая дева! Чем виновна я,
Что краше он и телом, и душою,
Чем все бароны, графы и князья
С их титлами, с их пышностью златою?
Как пышно локоны его густые
Вьются над возвышенным челом!
И как он мил в зеленом казакине
С своим ружьем двуствольным за плечом!
280 Печальный жребий свой давно я знаю,
Забыть его вовеки не могу;
Разбить приличий цепи не дерзаю,
И смерти я с покорностию жду.
Чье сердце строгие законы света
Железной раздробят рукой,
Тот лишь в прохладной ночи гроба
Найдет целительный покой.
К чему, родитель, нежные заботы?

Уж ангел смерти надо мной парит,
290 И блекнут от холодного дыханья
Младые розы девственных ланит...

Валериан

Друзья! чтоб достойно окончить сей пир,
В театр поспешим! Там фантазии мир!
Нас опера ждет и волшебный балет:
Посмотрим, что нынче покажет поэт.

⟨2⟩ Театр

Занавес еще не поднят. Актер выходит на авансцену и говорит.

Пролог

Почтеннейшие господа!
Сегодня мы имеем честь
Представить: «Новое виденье,
Столицы древней разрушенье»,
300 Иль называемый иначе
«Языческий Апокалипсис»,
Дивертисмент полуволшебный... —
Творенье юного поэта,
Еще сокрытого для света...
Директор не жалел издержек,
Чтоб поддержать сию пиесу
И произвесть эффект, как должно:
Он много выписал машин,
И кучу новых декораций,
310 И всех богинь, за исключеньем граций.
Почтеннейшие господа!
Вы снисхожденье окажите
Поэту и актерам
И труд наш общий наградите
Рукоплесканий хором.

Увертюра. Колокольчик звенит. Занавес подымается. Театр представляет воздух и залив Ионийского моря. Вдали виден древний великолепный город. Немезида, с бичом в руках, сидит на воздушном престоле, окруженная подземными духами мщения.

Немезида

В трубы громкие трубите!
Ветры все ко мне зовите!

Духи

(трубят)

Собирайтесь, собирайтесь!
Ветры с запада, слетайтесь! *(трижды)*
320 Глас правдивой Немезиды
За столетние обиды
Вас на мщение зовет —
Ветры! ветры! все вперед!

Ветры прилетают со свистом и шелестом и, как покорные рабы, ложатся у ног Немезиды.

Немезида

(потрясая бичом)

Ветры! море обхватите,
Море к небу всколыхните,
Вздуйте волны, подымите
И, как горы, покатите
На преступный этот град,
Где оковы, кровь и смрад!

Ветры резвыми прыжками изъявляют свою радость, лижут ноги Немезиды и потом пляшут, присвистывая.

Хор ветров

330 Пойте и пляшите, други!
В резвые свивайтесь круги!
Мщенья, мщенья час настал!
Лютый враг наш, ты пропал!
Как гигант, ты стал пред нами,
Нас с презреньем оттолкнул
И железными руками
Волны в пропастях замкнул.
Часто, часто осаждали
Мы тебя с полком валов,
340 И позорно отступали
От гранитных берегов!..

Но теперь за все обиды
Бич отмщает Немезиды!
Что? И нам пришла пора!
Ха-ха-ха! ура! ура!

Музыка играет галоп, ветры улетают попарно в бурной пляске. Являются на воздухе мириады сердец, облитых кровью и пронзенных кинжалами.

Хор сердец

В грудях юношей мы бились
За свободу, правоту,
К бесконечному стремились,
Обожали красоту...

850 Порохом, кинжалом, ядом
Нас сей демон истреблял —
Да прольется ж над сим градом
Мщенья вечного фиал!

О святая Немезида!
Да отмстится нам обида! *(трижды)*

Немезида ударяет бичом. Буря начинается. Отдаленные раскаты грома; молния, ветры воют, море стонет, скалы глухо откликаются, морские птицы стаями летят к берегу, волны, вынырнув из бездны, подымают головы к небу и целуют края ризы его. Являются мириады факелов, погасших и курящихся.

Хор факелов

Бог зажег нас, чтоб сияли
Мы средь северных ночей,
И мы с радостью прияли
Огнь от божеских лучей.
860 Начинал уж день отрадный
Разгонять туман густой,
Но зверь темный, кровожадный
Задушил наш век младой.

О святая Немезида!
Да отмстится нам обида! *(трижды)*

Немезида ударяет бичом. Большой военный корабль крутится в водовороте, разбивается о скалу и исчезает в волнах. Являются пять померкших звезд.

Хор звезд

Чистой доблести светила,
Мы взошли на небеса,
И с надеждой обратило
К нам отечество глаза...

370 Но кровавою рекою
Залил неба свод тиран,
И с померкшею главою
Пали звезды южных стран.

О святая Немезида!
Да отмстится нам обида! *(трижды)*

Являются бледные тени воинов, покрытые кровью и прахом: на головах у них терновые венки, перевитые лаврами, а в руках — переломленные мечи.

Хор воинов

Крепко мы за вольность бились,
За всемирную любовь,
Но мечи переломились,
И иссякла в жилах кровь!

380 К нам народы обратили
Очи, смутные от слез,
Но — бессильные! — просили
Только мщенья у небес.

О геенна! Град разврата!
Сколько крови ты испил!
Сколько царств и сколько злата
В диком чреве поглотил!

Изрекли уж Эвмениды
Приговор свой роковой,
390 И секира Немезиды
Поднята уж над тобой!

О святая Немезида!
Да отмстится нам обида! *(трижды)*

Немезида

Подымается с престола и, одною рукою потрясая бичом, а другою указывая на город, говорит:

Час отмщенья наступает:
Море стогны покрывает
И, как пояс, обвивает
Стены крепкие дворцов,
Храмы светлые богов.

Поликрат Самосский

Выходит на плоскую кровлю Ионийского дворца.

О народ, народ, молися!
400 К небу вознеси свой глас!
За грехи карает нас
Бога вышнего десница!

Хор утопающего народа

Не за наши, за твои
Бог карает нас грехи.
О злодей! О волк несытый,
Багряницею прикрытый!
Ты проклятие небес!
Ты в трех лицах темный бес:
Ты — война, зараза, голод;
410 И кометы вековой
Хвост виется за тобой,
Навевая смертный холод,
Очи в кровь потоплены,
Как затмение луны!
Погибаем, погибаем,
И тебя мы проклинаем!
Анафема! Анафема! Анафема!

Небо

(гремя с высоты)

И ныне, и присно, и во веки веков!

Земля

(глухо откликаясь)

Аминь!

Последний прилив моря — город исчезает.

Небо и Земля

(в один голос)

Аминь!!!

Волны в торжественных колесницах скачут по развалинам древнего города; над ними в воздухе парит Немезида и, потрясая бичом, говорит:

420 Мщенье неба совершилось!
Всё волнами поглотилось!
Северные льды сошли.
Карфаген! спокойно шли
Прямо в Индью корабли!
Нет враждебныя земли!

Музыка играет торжественный марш. Являются все народы, прошедшие, настоящие и будущие, и поклоняются Немезиде.

Хор народов

Преклоняемся, смиряемся,
О богиня, пред тобой
И, как дети, поучаемся
Чтить любви закон святой!

430 Наказуется гордыня
И народов и царей,
И равно сечет богиня
Флот и лодку рыбарей!

Все народы, настоящие, прошедшие и будущие, соединяются с служебными духами Немезиды и вместе с ними составляют большой балет. Буря утихает — и над гладкою поверхностью моря с Востока подымается вечное солнце. Музыка играет тихий марш. Небо и Земля посылают взаимные приветствия. Занавес опускается. В заключение те же актеры имеют честь представить:

ТОРЖЕСТВО СМЕРТИ

(Интермедия)

Занавес подымается. Театр представляет вселенную во всей ее красоте и великолепии. Большой балет: небесные тела проходят в стройной пляске, под музыку мироздания.

Является Смерть — прекрасный юноша, на белом коне. На плечах его развевается легкая белая мантия, на темно-русых кудрях венок из подснежников.

Небо и Земля и народы Земли и прочих планет сопровождают Смерть с громкими восклицаниями: «Vive la Mort![1] Vive la Mort! Vive la Mort!»

Смерть

Обновляйся, лик природы!
Ветхий мир, пади во прах!
Вспряньте, юные народы,
В свежих вольности венках!

Юные народы теснятся около Смерти, обнимают ее колена, целуют ее серебряные шпоры и позолоченные стремена: «Vive la Mort! Vive la Mort! Vive la Mort!»

Хор юных народов поет:

Гимн Смерти

Веселитеся! Спаситель,
Царь наш, мира искупитель,
440 В светлом торжестве грядет!
Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!
Новый бог младой вселенной!
Мир, тобою обновленный,
Песнь хвалы тебе поет!
Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!

1-е полухорие

Ветхого творца с престола
Свергнув мощною рукой,
Царствуй, царствуй, бог веселый,
Резвый, ветреный, живой!
450 Бог свободы, бог движенья,
Вечного преображенья!
Бог всесокрушающий!
Бог всевоскресающий!
Бог всесозидающий!
Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!
Ветхое, ничтожное,
Слабое и ложное
Пред тобой падет!
Вольное, младое,

[1] Да здравствует Смерть! (франц.). — *Ред.*

460 Творчески-живое
Смертью расцветет!
Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!

Корифей

Не сидишь ты на престоле,
Как властитель нам чужой,
Мрачный и враждебный воле
Нашей жизни молодой.

Нет! Ты между нами ходишь,
Нашей жизнию живешь,
Хороводы наши водишь,
470 С нами песнь любви поешь.

2-е полухорие

Посмотри: скалы седые
Распахнулись пред тобой
И источники живые
Скачут сребряной струей.
Ступишь ты — и расцветают
Пышно из могил цветы,
Из цветов венки сплетают
Новобрачные четы.
Над могилою спокойной
480 Радость буйная шумит,
И, обнявшись, в пляске стройной
Дева с юношей летит.

Скрылись в рощице тенистой,
Меж отеческих гробов,
И под ивою ветвистой
Увенчалась их любовь.
Резвый бог! ты обрываешь
Розы девственных красот
И цветок преображаешь
490 В сочный и роскошный плод!
Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!

Весь хор

Нас исхитивший от тленья
Средь темницы и оков,

Глас прийми благодаренья,
Царь царей и бог богов.
А когда мы под клюкою
Духом склонимся во прах,
Боже! дивною рукою
Обнови нас в сыновьях.
500 Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия!
Vive la Mort! Vive la Mort! Vive la Mort!

Процессия удаляется. Музыка замирает в неопределенных звуках. Актеры и зрители исчезают, как тени. Поэт один, со свитком в руках, стоит на древних развалинах. Бог смерти является ему в образе черноокой В е н е ц и а н к и и... П о э т изнывает в ее объятиях; но пред кончиной он еще раз берет арфу и прерывающимся голосом поет:

ПЕСНЬ УМИРАЮЩЕГО ПОЭТА

Гори, гори, мой факел томный!
Но вспыхни пред концом живей!
На мой ты жребий грустный, темный
Сиянье тихое пролей!
Вся жизнь моя — одно желанье,
Несбывшийся надежды сон,
Или художника мечтанье,
Набросанное на картон.
510 И страждущая грудь лелеет
Видений дивную семью:
Рука дрожит, язык немеет
Осуществить мечту мою.
Созданье вечное готово
И рвется из груди поэта —
Кто скажет творческое слово?
И разольется море света.
Давно в груди поэта рдеет
России светлая заря —
520 О, выньте из груди зарю!
Пролейте на небо России!

Поэт начинает бредить

О, дайте пред кончиной
Песнь громкую пропеть!

Я с песнью лебединой
Хотел бы умереть!
Гремит на поле ратном
Победы крик в рядах,
И я, в крови, с булатным
Мечом, паду во прах...
530 И счастия России
Залог вам — кровь моя!
И все грехи России
Омоет кровь моя!
Мое вы сердце в урну
С почтеньем положите!
И русским эту урну
В день славы покажите!
Хоругвь твоя заблещет,
Потомство, предо мной!
540 Мой пепел затрепещет
Под крышкой гробовой...
Я силой благодатной
Прольюся на Россию,
И русский нож булатный
. . . .

Поэт, испугавшись цензуры, умирает, не докончив куплета. Занавес упадает с шумом. Для кого? Поэт был последний актер и последний зритель.

Конец 1833

280. ПРОБУЖДЕНИЕ

Что я слышу? Голос милый
Песнь знакомую поет,
И, как Лазарь из могилы,
Тень минувшего встает.

Прояснися, прояснися,
Сумрак ранних детских дней,
Сквозь туманы улыбнися,
Солнце юности моей!

После долгих треволнений
Вижу снова брег родной,
И толпа святых видений
Вновь мелькает предо мной.

Чудная звезда светила
Мне сквозь утренний туман,
Смело поднял я ветрило
И пустился в океан.

Солнце к западу склонялось,
Вслед за солнцем я летел:
Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.

«Запад, запад величавый!
Запад золотом горит!
Там венки вйются славы!
Доблесть, правда там блестит!

Мрак и свет, как исполины,
Там ведут кровавый бой, —
Дремлют и *твои* судьбины
В лоне битвы роковой.

В броне веры, воин смелый,
Адамантовым щитом
Отразишь ты вражьи стрелы,
Слова поразишь мечом.

Вот блестит хоругвь свободы —
И цари бегут, бегут;
И при звуке труб народы
Песнь победную поют.

Разорвался плен суровый,
Кончилась навек война!
Узами любви Христовой
Сочетались племена!

Гряньте звонкими струнами!
Где ты, гордый фараон?
Моря Чермного волнами
Конь и всадник поглощен!

Ныне правда водворится
В нашей скинии святой,
Вечным браком съединится
Небо с юною землей.

Духов тьмы исчезнет сила,
И взойдет на небеса
Трисиянное светило —
Доблесть, истина, краса!

1864

К. П. МАСАЛЬСКИЙ

В истории нашей литературы Константин Петрович Масальский числится как плодовитый, но совершенно бесцветный романист. Между тем небезынтересны его стихотворные произведения, дающие ясное представление об одной из линий в поэтическом развитии 20—30-х годов.

Масальский родился 13 сентября 1802 года в Ярославле, в семье местного чиновника (статского советника). Детство его в основном прошло в Петербурге, куда переселился его отец, человек, видимо, небогатый, но принадлежавший к старой дворянской фамилии. С 1815 года Масальский занимается в пансионе Дюбуа (при Петропавловском училище), а в 1817 году переходит в столичный Университетский благородный пансион. Соученик его (в будущем тоже литератор и поэт) Н. А. Маркевич, уже тогда склонный к вольнодумству, недолюбливал Масальского за его преклонение перед Людовиком XIV. «Масальский, — вспоминал он, — прилизанный, остроносенький круглячок, предпочитал всем русским поэтам Батюшкова, изучал языки: испанский и итальянский, и писал гладенькие, плоскенькие стихи». [1]

После окончания пансиона в 1821 году Масальский служит сначала в министерстве внутренних дел, потом — с 1828 года — в департаменте законов Государственного совета. С 1832 года он занимал должность экспедитора Государственной канцелярии, а в 1840 году был перемещен на пост правителя дел в V отделение императорской канцелярии. В марте 1841 года Масальский выходит в отставку в чине действительного статского советника.

---

[1] Н. А. Маркевич, Из записок. — Сб. «Глинка в воспоминаниях современников», М., 1955, с. 127.

Имя Масальского как молодого стихотворца еще в 1824 году было известно Рылееву и Бестужеву, поместившим в «Полярной звезде» два его перевода с древнегреческого («Мелеагр» и «Море и земля»).

1820—1831 годы — первый период литературной биографии Масальского — целиком посвящены поэзии. Он испытывает себя в лирическом роде, но выказывает лишь умение писать легкие эпигонские стихи. Тогда же он принимается за басню, а позднее — за стихотворную сказку (новеллу) и комедию. В этих «низких», согласно нормативам классицизма, жанрах Масальский с его обезличенным и приземленным сознанием чувствовал себя гораздо увереннней. Что касается басни, то с ней он не расставался почти до конца своей писательской деятельности, по крайней мере до выхода в свет его сборника «Басни» (1851), единодушно забракованного рецензентами.

Развлечение и назидание — к этим условиям басенного жанра Масальский был готов свести задачи поэтического творчества вообще. Во всех отраслях его собственной литературной деятельности эти установки просматриваются с полной отчетливостью. Такое упрощенное творчество возникло как результат приближения его к сознанию духовно косной читательской массы. Приближение это ознаменовалось, между прочим, широким введением бытописательных подробностей.

Способность схватывать внешние черты обиходной жизни, создавать бойкие теньеровские зарисовки Масальский проявил уже в баснях. В 1829 году он публикует обширное стихотворное повествование «Терпи казак — атаман будешь», к названию которого впоследствии прибавил имя главного героя — Модеста Правдина. Книга была раскуплена мгновенно. В последующие четыре года вышло еще два издания повести — успех для того времени неслыханный.

Небывало широкий разворот картин столичного быта, представленных в произведении, кое в чем предсказывал последующую практику натуральной школы. Однако бытописание Масальского во многом подчинялось рутинной художественной концепции. Повесть, писанная вольным басенным стихом, была настоящим конгломератом стихотворной новеллы и классицистической комедии. К классицизму восходит у Масальского и откровенный морализм, и однолинейность человеческих образов, и метафизическое понимание добра и зла — разделение персонажей на безусловно положительных и безусловно отрицательных, каждому из которых присваивается зна-

менательная фамилия-этикетка — своего рода формула поведения. Разумеется, это был классицизм подновленный и притом утративший цельность системы. Многочисленные герои повести — их, кроме десятка основных, свыше двадцати второстепенных и около двадцати без речей, составляющих антураж, — ведут читателя по улицам и околицам Петербурга, в апартаменты частных лиц, в кабинет министра, на праздничные сборища, в кофейню и т. д. и т. п. Пестротой красок, мельтешеньем лиц, предметов, непрестанной сменой декораций поддерживается интерес повествования. В итоге сюжетные линии получились ветвистыми и прерывистыми. Соответственно понизилась организующая функция главных персонажей. В сущности, главный герой не столько чиновник Правдин, сколько разношерстная толпа обитателей Петербурга. В создании ее суммарного образа Масальского года на два-три опередил Полежаев в своих поэмах «Сашка» и «Рассказ Кузьмы», к печати не предназначавшихся. Как и у Полежаева, толпа в трактовке Масальского — смешанное, «демократическое» общество, случайное собрание случайных лиц, т. е. людей разного чина и звания (от камергера до купца и бродяги), сведенных вместе вопреки законам социальной иерархии.

Случайность в произведении Масальского выступает и как универсальный принцип бытия. Но в отличие от Полежаева он приписывает случайности тенденцию к восстановлению порядка и справедливости. Благодаря этому все в конечном счете завершается в пользу добродетельных героев и в посрамление их врагов. Исходной посылкой автора было признание того, что человек — пешка, передвигаемая невидимым механизмом. Зримое действие этого механизма более всего обнаруживает себя в круговороте денег. Событийную канву сюжета как раз и составляют преимущественно эпизоды перехода ассигнаций от одного персонажа к другому, эпизоды приобретения и утраты капитала. Деньги — основа благополучия и счастья, главная пружина жизни.

«Идеал», который пропагандирует повесть, — это мещанский идеал «везения», успеха, основанных на благоразумии и благонамеренности — в самом казенном смысле слова.

Показательно, что «бюргерский» эпос Масальского неоднократно рекламировался булгаринской «Северной пчелой» — главным органом «торговой словесности». Столь же закономерным был уничтожающий отзыв П. А. Вяземского. Масальский, писал Вяземский, увлекся желанием разделить славу Пушкина как живописца русского быта. Предполагая написать нечто вроде «Евгения Онегина», он написал «Ивана Выжигина» в стихах. Здесь, по его словам,

«та же несвязность в происшествиях, бледность, безличность в лицах; тот же рассказ довольно плавный, но везде холодный, бездушный». [1]

«Холодность» и «бездушие», т. е. прозаический взгляд на действительность, враждебный высшим стремлениям человеческого духа, привели позднее Масальского к борьбе с романтическим идеализмом в литературе и философии (повесть «Русский Дон-Кихот», 1835 года и статья о философии Платона в «Сыне отечества», 1842, № 8). Это была критика с позиций «здравого смысла», зачеркивавшая прогрессивный смысл исканий идеалистов и романтиков 30-х годов. Но трезвость Масальского неожиданно обернулась и своей полезной стороной — неприятием беспредметной мечтательности, заоблачных грез, условного абстрактного литературного диалекта. Он снова возвращается к лирике — на этот раз в качестве пародиста. Пародии его осмеивали эпигонство в романтической лирике: штампованные фразы, истертые мотивы и образы, темноту слога. Другая особенность его пародий заключалась в их прикрепленности к драматическому тексту.

В 1830 году Масальский издает стихотворную комедию типа фарса «Классик и романтик», в которой едва ли не самым занятным местом были стихи Темнилина, пародировавшие томную элегическую лирику эпигонов романтизма. В 1842 году Масальский печатает прозаическую комедию «Луна и стихи», оснащенную целой серией удачных пародий. [2]

Общий поворот русской литературы к прозе, происшедший на рубеже 20—30-х годов, популярность исторической беллетристики, занявшей ключевые позиции на книжном рынке, окончательно определили писательскую карьеру Масальского. В 1832 году появляется его первый исторический роман «Стрельцы», а вслед за ним несколько исторических повестей: «Черный ящик» (1833), «Регентство Бирона» (1834), «Граница 1616 года» (1837), «Бородолюбие. Исторические сцены из времен Петра Великого» (1837), «Осада Углича» (1841).

---

[1] «Литературная газета», 1830, 25 июня, с. 292. «Иван Выжигин» — «нравственно-сатирический» роман Булгарина.

[2] Комедия эта («Сын отечества», 1842, № 3) помещена за пародийной подписью: «Иван Иванов, сын Деревяшкин», но авторство Масальского вряд ли вызывает сомнение. Способ создания комедийной ситуации здесь тот же, что и в «Классике и романтике» — спор плохих стихотворцев за первенство, который является одновременно и конкурсом женихов. Что касается пародий, то легко убедиться в том, что те же самые поэтические штампы Масальский высмеивает в статье о стихотворениях Ап. Майкова («Сын отечества», 1842, № 2).

В 1842 году в руки писателя переходит «Сын отечества», который он выпускает в 1842—1843 годах. На страницах журнала появились повести Масальского «Теоретическая любовь 1791 года» и «Быль 1703 года», роман «Невеста Петра Второго» и «Роман на ледяных горах», ряд критических статей и басен. Из-за недостатка сотрудников издание журнала было приостановлено на три года. Возобновленный «Сын отечества» выходил с 1847 года под редакцией Масальского до 1852 года. В 1848 году из печати вышла книга Масальского «Пять повестей и других сочинений».

Поверхностная передача исторических фактов, привязанных к авантюрному сюжету, — в этом и заключалась технология исторической прозы Масальского, малоценность которой была совершенно ясна Белинскому еще в 30-е годы. Но в эпоху освоения жанра исторического романа сочинения Масальского имели по крайней мере достоинство новизны и удовлетворяли растущую потребность читателей в отечественной беллетристике. В 50-е же годы фигура Масальского как исторического романиста выглядела просто убого. Последний роман писателя «Лейтенант и поручик», изданный в 1853 году, вызвал разгромную рецензию Чернышевского. Литературные дела Масальского приходили все в больший упадок. Он умер 9 сентября 1861 года.

281. ДВА МУДРЕЦА

Философ Гераклит, наплакавшись досыта,
Сидел под деревом и, видя Демокрита,
Который шел и хохотал,
«О боги, боги! — закричал. —
Куда ни обернешься,
Везде со слабостью иль глупостью столкнешься.
Ну можно ль, не лишась рассудка, хохотать
По пустякам, как сей прохожий?»
А Демокрит меж тем так начал рассуждать:
«Все люди на ребят похожи!
Вот, например, старик. Такой плачевной рожи
Я сроду не видал. О чем же плачет он?
Именье потерял, иль невпопад влюблен,
Иль огорчен другим подобным вздором?
А если б философским взором
На мир он посмотрел,

То верно бы, как я, смеяться захотел».
Потом друг нá друга, не говоря ни слова,
Глядели мудрецы. Один из них рыдал,
Другой же хохотал,
И каждый сожалел о глупости другого.

1821, ⟨1830⟩

282. ПЕТЕРГОФСКОЕ ГУЛЯНЬЕ

1

Скрывавшие восток густые облака
Рассеялись в час утра понемногу.
Весь Петербург сбирается в дорогу.
Через Калинкин мост стремится, как река,
Народ к воротам триумфальным.
Какие хлопоты жандармам и квартальным!
Карет, телег, колясок, дрожек ряд
И без конца и без начала
К заставе тянется. Все за город спешат, —
Как будто бы вода столицу потопляла.
Везде встречает взор
Корзинки, узелки с съестным и самовары.
Здесь песенников хор
Идет под звук рожка, бандуры иль гитары;
Там тащит римлянин шарманку на плечах;
Здесь спор у мужиков зашел о калачах
И пряниках: они огромную корзину
Рассыпали, запнувшись, на траву.
Там, небо сброся с плеч, поставил на главу
Атлант — клубнику и малину.
Но где нам дописать картину!
Жаль, что Теньер свой карандаш
Не завещал ни одному поэту,
А взял с собой и кинул в Лету.
Так сядем же скорей, читатель добрый наш,
В карету,
И мимо ряда дач прелестных и садов
Поедем прямо в Петергоф.

2

Руками сильными Самсон
Льву челюсти во гневе раздирает.
Из зева пена бьет, и грозно зверя стон
Окрестности далеко оглашает.
Здесь возвышается волшебная гора
И свой закон нарушила природа:
Везде видна воды с огнем игра!
Уступы, лестницы кипят толпой народа.
Пленяет взор и мрамор, и коралл,
И статуи, и чаши золотые,
И льющийся блистательный кристалл
Через узоры огневые.
Здесь роща темная сияет вся в звездах;
Кругом алмазами, как яхонт, пруд украшен.
Ряд огненных столпов, и пирамид, и башен
Блистает в просеке и смотрится в водах
Канала длинного. Вдали чернеет море,
В равнине зеркальной своей
Строй отражает кораблей
В сияющем уборе
И восходящую сребристую луну.
Звук музыки привлек дремавшую волну,
О берега она тихонько плещет.
Над гаванью сияет храм;
С треножника курится фимиам,
И в небесах над ним царицы вензель блещет.

3

Угаснули волшебные чертоги,
Пустеет Петергофский сад.
До городских ворот, во всю длину дороги,
Различных экипажей ряд
Тихонько движется. Все дремлют или спят.
Близ Стрельны в пень три стали клячи, —
Ни с места, хоть убей!
«Провал возьми! Какие неудачи! —
Ворчит в карете бас. — Отворь-ка, Тимофей.
Жена, ведь вылезать придется из кареты!»

— «Ах батьки-светы!
Неужто с дочерьми тащиться мне пешком?
Нельзя ли как доехать, хоть ползком?»

Барин

(с сердцем)

Доехать!.. Знаем эти песни!..
Ну что? Нейдут?

Слуга

Нейдут, сударь, хоть тресни!

Барин

Да что без шляпы ты? Куда ее девал?

Слуга

Не знаю-с. Видно, я вздремал
И обронил.

Барин

Зевака!
Чтоб завтра же была, на собственный твой счет!
Как, плут, не потерял ты фрака!
Без памяти, бездельник, пьет!

Слуга

Помилуйте-с! Во рту и капли не бывало.

Барин

Молчать!.. Нет, видно, нам пришлось пешком
идти.
На лошадей надежды мало,
Других же здесь нельзя найти.
Мы самовар вперед отправим с Тимофеем,
Вон там, за рощицей, согреем,
А после чаю отдохнем,
И к вечеру, авось, и к дому добредем.

Между 1825 и 1830, ⟨1842⟩

283. ⟨ИЗ ПОВЕСТИ «МОДЕСТ ПРАВДИН, ИЛИ ТЕРПИ КАЗАК — АТАМАН БУДЕШЬ»⟩

СОВЕТНИК

Возможет ли поэзии резец
Изобразить Елагинский дворец,
Когда он, месяца лучами освещенный,
В кристалл Невы глядяся голубой,
Любуется собой?
Решеткой легкою, как блондой, окруженный,
Вокруг дворца прелестный виден сад,
Где ветерок разносит аромат,
Над рядом цветников порхая;
Где извилась дорожка золотая
По изумрудной мураве.
Здесь лестница спускается к Неве,
Там яхта, золотом блистая,
Гордится флагом: два крыла
Чернеются на нем двуглавого орла.
Звук музыки умолк; в саду редели
Толпы гуляющих; все тянутся домой.
Вот лавочник с дородною женой,
Вот нищий в фризовой шинели
И франт в плаще; за ним мастеровой.
Мелькают дрожки и кареты,
Идет квартальный, там кадеты,
Там дальше блещут эполеты,
Там шляпки, и чепцы, и пестрота, и смесь;
Всего же более везде встречаешь спесь.
Елагин опустел; лишь на скамье сидели
Два чудака.
Два длиннополых сюртука
Их от росы холодной грели.
Вот встали со скамьи, идут;
Уж миновали пруд
И через мост прошли. Дорожкой меж акаций
Спешат они достигнуть Колтовской,
Под кров смиренный и простой,
Где с музами хозяин, как Гораций,
Спокойно век проводит свой.

Советником в Палате уголовной
Модест Правдин служил.
Не выгоды, не блеск пленял его чиновный:
Он лести не терпел, душою не кривил.
Честь, долг, любовь к царю, закон и польза
ближних
Руководили им. Он сильным не спускал
И не теснил, в угоду высшим, нижних;
В нем правый верную защиту обретал.
Уж много раз и клевета, и злоба
Искали гибели его, —
Он не страшился ничего
И чести дал обет не изменить до гроба.

ТУЗ

Подробно вам описан дом,
Наш снисходительный читатель,
Но вам хозяин не знаком.
Уж он теперь не тот мечтатель
И ветреник, что прежде был;
Давно с большим простился светом,
Науки страстно полюбил
И сделался анахоретом.
Прошло лет десять с той поры,
Как он пустился в вихорь света
С порога университета.
Бывало, знал одни обеды да пиры
И не сходил долой с паркета.
Еще в младенчестве лишился он отца
И матери; был дяде всем обязан,
И к старику всегда, как сын, он был привязан.
У Богатонова купца
Случилось Правдину однажды быть на бале.
Досыта навертевшись в зале,
Он вышел отдохнуть в диванную. Кипел
Давно там жаркий бой. В руке дрожащей мел
Разнообразные узоры
Чертил на зелени полей,
И двигались по ним холмы и горы
Червонцев и рублей.

Там на одном столе налево и направо
Листочки падали. Банкир торжествовал.
(Уж тысяч сто он наиграл.)
«Валет убит? Ну браво!
В четвертый только раз!
Но, господа, уж третий час,
Пора бы кончить. Иль, пожалуй,
Еще мечу! Я, право, добрый малый!»
Меж тем бледнее мертвецов
Вокруг стола сидел кружок купцов
И разных игроков, гражданских и военных,
С унылым видом побежденных.
Горели жадностью и злобой их глаза.
Правдин для шалости поставил на туза
Целковый. Банкомет, отдвинув прочь, прибавил:
«Я важных сумм не бью».
Уколотый Правдин пятьсот рублей поставил.
«Прошу вас карту бить мою».
«Модест! Ну что б теперь твой дядя
Сказал, на эту глупость глядя? —
Шепнула совесть Правдину. —
Лишь жалованьем жить, и ставить
Пятьсот рублей, и на одну!..
Но от дурачества тебя уж не избавить».
И вот Правдин, с волненьем тайным
На карты устремя глаза,
Нетерпеливо ждет туза.
Идут порядком обычайным
Валеты, дамы, короли
И движут по столу рубли.
Туз взял! Пятьсот рублей в кармане.
«Но лучше уголок загнуть», —
Корыстолюбие успело тут шепнуть.
В каком-то гибельном тумане
Рассудок Правдина. Как будто бы сквозь сон,
За картой карту ставит он.
Уж десять тысяч взял он пленных.
Дрожит, бледнея, банкомет.
«Ужель для выгод ты презренных
Забудешь честь твою? Нет, нет!» —
Заговорила громко совесть
В душе высокой Правдина.

Хоть в этом месте наша повесть
Не всем покажется верна,
Однако ж то известно точно
(Придет же этакой каприз!),
Что вдруг на даму весь свой приз
Правдин поставил, и нарочно,
Чтоб проиграть. Но, как ни бился,
Не мог он проиграть никак,
И до того догорячился,
Что целый банк сорвал, чудак!

КАПИТАН

Правдин выходит в зал.
Там был уж прямо пир горою!
Шампанское лилось рекою;
Хозяин казачка в восторге заплясал
С каким-то полновесным кумом.
Весь пол дрожал.
С ужасным, нестерпимым шумом
Им аплодируют. Чуть не оглох Правдин,
И спасся в отдаленный
Покой, где был один
Какой-то офицер. Он, в мысли погруженный,
Стоял, опершись о камин.

Правдин

Вы, верно, удалились
Сюда, как я же, отдохнуть?

Офицер

Да. Слишком уж развеселились!
Здесь поспокойнее. Притом ужасно грудь
Теснит.

Правдин

Конечно, простудились.
Однако ж очень вы бледны.
Совет бы мой: скорей в постелю,
Да выпить бузины.

Офицер

О, ничего! Меня не будет чрез неделю,
Мы умереть должны ж когда-нибудь.

Правдин

Помилуйте! Беда великая, что грудь
Болит! К чему так мрачно мыслить!
Одна лишь смерть на свете есть,
Болезней же не перечислить.
Позвольте мне узнать, с кем я имею честь...

Офицер

Мечинский, капитан.

Правдин

Мне было бы приятно,
Когда б доверенность мог вашу заслужить.

Офицер

Я уж сказал, что, вероятно,
Недолго мне осталось жить.

Правдин

Вы удивляете меня. Чистосердечность,
Наверно, вас не оскорбит:
Мне в том ручается ваш благородный вид.
Шагнуть охота ваша в вечность,
По чести, мне смешна.

Офицер

Конечно, я смешон. Но если б глубина
Моей души могла вам быть видна,
Меня жалеть бы стали.

Правдин

Ах, как желал бы я,
Чтоб с вами были мы давно уже друзья
И чтобы мог я вас избавить от печали.

Офицер

Со мной умрет печаль моя.
Смерть прекратит мое страданье!..
Благодарю за доброе желанье!
Но поздно... кончено!.. Прощайте!.. Мне пора.

И с чувством Правдину пожал Мечинский руку,
Как бы прощаясь с ним на вечную разлуку.
Правдин задумался. Вот слышит со двора
Стук дрожек. Сердце в нем забилось
И сострадание живое пробудилось.
Невольно он вскочил и отворил окно,
Исполненный какого-то волненья.
На улице всё тихо и темно;
Лишь несся дрожек стук из отдаленья.

СВИДАНИЕ

Пробило шесть часов на шпице крепостном,
А уж Правдин нашел тот дом,
Где жил Мечинский. В дверь стучится
И сквозь нее он с денщиком бранится.
«Какого лешего так рано принесло?
Еще не рассвело!» —
Ворчит за дверью бас. «Да отвори, проклятый!»
И с заспанным лицом встречает Правдина
Аршина в три солдат усатый.
«Что, дома капитан?» — «Вот на!
Да он, я чай, еще в постеле».
«Мне нужно говорить об очень важном деле», —
Сказал Правдин — и прямо в кабинет.
Спит, сидя у стола, Мечинский за бумагой;
На креслах близ него лежит под шпагой
С курком взведенным пистолет.
Лице уснувшего изображает муку.
И на плечо тихонько руку
Модест ему кладет. Открыл глаза он вдруг.

Правдин

Мечинский! Здравствуйте! Ваш друг
Пришел утешить вас в печали.
Я знаю всё, мне всё пересказали.

Мечинский

Всё знаете? Зачем же вы ко мне?
Когда вам всё уже известно,
То я прошу меня оставить в тишине.
Шутить теперь со мной довольно неуместно.

Правдин

Я не шутить пришел, я вам пришел помочь.

Мечинский

Уж не советами ль? Довольно надавали!
Я счастлив был! — Друзья меня ласкали.
Я гибну! — Все подальше прочь.

Правдин

Скажите мне: вы проиграли...

Мечинский

Ну, проиграл! Какое дело вам?
Ответ за то не вы, я дам.
Узнайте ж всё: именье полковое
Я также проиграл,
Оставьте же меня в покое, —
Три ночи сряду я не спал.
Ну, что ж еще? Иль упрекать хотите?

Правдин

Вот весь ваш проигрыш. Возьмите,
И не меня — творца благодарите!
Любви ко ближним он
Установил закон.

Как будто громом поражен,
Окаменев от изумленья,
Мечинский устремил глаза на Правдина.
И сильно грудь его вздымалась, стеснена
Порывом чувств и умиленья.
Вдруг слезы у него рекою полились,
И оба бросились в объятья
И крепко, крепко обнялись!
Нет, никогда и братья,

Из детства дружные, не обнимались так,
Расставшися в сраженьи
И снова свидевшись, когда бежит уж враг
И русское «ура!» несется в отдаленьи.

ОСЕНЬ

Настал сентябрь. Гулянья опустели:
То мелкий сыплет дождь, то холодно, то град!
Крестовский, Каменный и Строганова сад
С Елагиным осиротели.
Давно ли нас пленяла там
Эфирная одежда дам,
Давно ль? Не будет и недели!
Теперь... увы! По самым тем местам
Нет ходу без галош, без зонтика, шинели!
Так пусто, скучно всё, хоть плачь!
Все потянулись в город с дач;
Вдоль Карповки и Черной речки
Закрылись ставни. Блещут свечки
В окошках изредка. Туманно фонари
Лишь от дождя на лужах пузыри
Да грязь на улицах пустынных освещают.
И тишина везде! Собаки только лают.
Читатель, верно, спросит нас:
Зачем в столь поздний час
И в дождь его мы затащили
Невесть куда!
Нас леший обошел — вот в чем и вся беда!
Невольно мы с дороги своротили;
Возьмем извозчика и в город поскорей!
Торопимся туда не без причины:
Полковник Остряков звал на вечер гостей, —
Жены его, Sophie, сегодня именины.
Играет музыка. Танцуют экосез.
Подагрин, камергер, с хозяйкой в первой паре
Степенно движется. С ним тут же в ряд залез
Еще его постарей
Полковник отставной,
Тряхнуть решился стариной.
Кто ж это? Угадайте!..

Андрей Ильич Правдин!.. Вот кто-то со звездой,
Вот ротмистр Винд... Но сами досчитайте
Всех остальных.
Какое дело нам до них!
Заметим только то, что в паре предпоследней
С Надеждою Правдин, советник, танцевал.
Вдруг осторожно из передней
Вошел слуга с запиской в зал.
«Приказано отдать немедленно», — сказал
И подал Правдину. Надписано: «секретно».
Он развернул ее и быстро прочитал,
И было на лице смущение приметно.
В карман записку положив,
Он снова весел стал и жив.
Но вскоре грусть опять его преодолела.
Надежда на него внимательно смотрела;
Оттанцевав, спросила у него:
«Вы так задумчивы, — что с вами?»

Правдин

Ничего.
Так, что-то скучно...

Надежда

Грусть приходит без причины
Всегда пред радостью.

Правдин

Дай бог, чтоб было так...
Вы, верно, сердитесь, что в ваши именины
Так скучен я, вандал, чудак...

Надежда

Кто сердится на вас! Но если бы вы были
Не так задумчивы, то, верно б, и других
Вы очень тем развеселили.
Да мало нужды вам до них.

Правдин

Как, право, вы жестоки!
Я, впрочем, заслужил упреки.

Простите, виноват! Я буду веселей, —
Лишь только б котильон начался поскорей!

Оркестр усталый, полуспящий
Давно уж проклял котильон.
Вот граф Пустов, и ловкий и блестящий,
Как Бельведерский Аполлон,
Сидит с Венерой Медицейской,
И с нею провожает он
Всех вальсиру́ющих усмешкою злодейской.
Очки и черные усы
Гусар Рубакин поправляя
И с дамой светский вздор болтая,
Глядит украдкой на часы.
Барон Леже сидит подальше
И сыплет фразы генеральше.
В восторге, в восхищеньи он,
Что генерал засел в бостон.
Со всеми грасами, с торжественною миной,
Измять боясь галстух свой,
Вот камер-юнкер Штольц летит с княжной
Ириной,
Любуясь внутренно собой.
Он думает, что все ему дивятся,
Все вне себя от ловкости его,
Забыв, что ездят все на балы для того,
Чтоб исключительно собою заниматься,
Чтобы блеснуть, чтоб посмеяться,
Посплетничать, пересудить
И скучный вечер так убить.

ГОРЕСТНАЯ ВЕСТЬ

И, возвратясь домой, не думая о сне,
Правдин наедине,
Как бы в жару недуга,
Сто раз читал записку друга
И прижимал ее к устам,
Давая волю течь слезам.

«Убит судьбою я неправой!
Разрушены мои мечты!

Знай, что когда прочтешь мою записку ты,
Мечинский далеко уж будет за заставой.
Прощай, мой милый друг, прощай!
Меня везут в уездный город дальный.
Там скоро кончу век печальный...
Не упрекай,
Что долг тебе отдать я средства не имею:
Я жизнью жертвовал для этого моею, —
В том честию клянусь! Змеянову сказал
Всё, что лишь мог, на поединок звал,
Но он на всё твердил: «Безумство и нелепость!»
Я шпагу обнажил — и отвезен был в крепость.
Он рану вылечил, как слышал я потом.
Я уж сказал, к чему приговорен судом.
Здесь был я поражен еще ударом новым:
Она уже за Остряковым.
Итак, я Софьею забыт!..
Пусть небо счастием ее благословит...
Но мне напоминают,
Что уж пора пуститься в путь.
Не скрою: слезы мне писать мешают.
Уж не увидимся. Прощай! .. Не позабудь! ..»

Сел на софу Модест, и тихо зол целитель,
Сердец тревожных усмиритель, [1]
Сон сладостный его склонил,
И он записку уронил.

ВЫГОВОР

Прошло с десяток дней.
В палату барина отправя, мел Андрей
Покои, напевая:
«Молодка молодая...»
«Поздравь меня, — я под судом
И должен распрощаться с местом», —
Войдя, сказал Правдин. Андрею будто гром
Отшиб язык. Он только жестом
Свой ужас выразил и стал с открытым ртом.

---

[1] «Илиада». Перевод Гнедича.

«Поди ты к дядюшке скорее:
Ко мне его проси.
Да вот еще письмо на почту отнеси».
Правдин любил в Андрее
Простой и откровенный нрав,
И позволял слуге читать нравоученья,
Когда случалося, что барин был неправ.
Придя в себя от изумленья,
Спросил Андрей:
«Какой бессовестный злодей
Вас ввел в беду, Модест Петрович?»
— «Еще не знаю я; наверное, Ничтович,
Мой давний враг. Да, впрочем, я и сам
Доверчив был и откровенен слишком».
— «Вот то-то вы, сударь, ведь говорил я вам!
С моим дрянным умишком
Вернее вас смекнул, что в правде проку нет.
Политикой живет весь свет.
Ну, мне не верили — так немцев и французов
Спросили бы. Они умом-то запаслись
Побольше нас. А вы... вы груздем назвались,
Так, по пословице, извольте лезти в кузов!»[1]
— «Поди ж скорей! — сказал Правдин. —
Я груздь, и сознаю теперь свою ошибку».
И долго он, оставшися один,
С печального лица не мог согнать улыбку.

ДОПРОСЫ

Лишь солнце вышло на восток,
Правдин, принарядясь, батистовый платок
Опрыснувши парижскими духами,
К министру в дрожках поскакал
И твердыми вступил шагами
В приемный зал.
Там, нянча грузные портфели,
Докладчики с лицом таинственным сидели;
Но колокольчика серебряного звук
Всех поднял с кресел вдруг,

[1] Назвавшись груздем, полезай в кузов. *Русская пословица.*

И камердинер по паркету
Мелькнул чрез залу к кабинету.
Вошел на цыпочках и, появясь опять,
На Правдина взглянул с лицем приятным
И голосом чуть внятным
Проговорил: «Вас приказал позвать».
Модест вошел. «Садитесь, —
С улыбкой ласковой министр ему сказал. —
Вы, верно, удивитесь,
Что вас призвал
Я для допроса.
Что против этого мне скажете доноса?»
Тут встал министр, и, подойдя к окну,
Бумагу взял с него и подал Правдину.
Нет подписи, числа и года.
Написана французским языком;
Она была у нас в руках для перевода,
Здесь сообщим его тайком:
«Всегда быв подданным примерным,
Всегда горя
К святыне олтаря
Усердием нелицемерным,
Сиятельнейший граф, донесть решаюсь вам,
Вам, как опоре твердой трона,
Как исполнителю закона,
О том, что слышал лично сам.
Неверие приметно возрастает
В незрелых молодых умах
И гибелью всеобщей угрожает,
Всех благомыслящих давно волнует страх.
Принять немедля должно меры,
Чтобы столпов не подпилили веры
Ее враги. Из них один,
Советник отставной Правдин,
При мне осмелился над верою ругаться
И над усердьем к ней безбожно насмехаться.
Я истину моих всех слов
Присягой подтвердить готов,
Но с тем, чтоб вам одним был я известен.
В подобном деле ход законный неуместен.
Явяся завтра утром к вам,
Еще бумагу я секретную подам».

Правдин

Противу клеветы позвольте объясненье
Мне вашему сиятельству подать.

Министр

Я вас призвал за тем. Прошу вас написать,
Что можете, в опроверженье.
Садитесь здесь, к столу.

За ширмами он сел.

Камердинер

Барон Ренар, для самых важных дел.

Министр

Проси.

И член триумвирата,
Друг Богатонова, кощей,
Роль вспомнивший свою доносчика-лжесвята,
Начав поклоны от дверей,
Министра удивил своей спиною гибкой
И, не заметя Правдина,
Вручил ему донос с приятною улыбкой.

Министр

Еще на вас бумага подана.
И против этой вы, что можно, напишите.

Модест бумагу взял. Бледнее полотна
Вдруг сделался барон.

Ренар

Ви, граф, мой извините,
Мой так бумага написаль,
Штоби один особа ваша зналь.
Не так, то мне назад бумага мой дадите.

Министр

Нельзя, барон.
Наверно, вам известен тот закон,

Который повелел, чтоб обвинитель
Объявлен был тому, кого винят.
Вы знаете, что я законов исполнитель.
Еще скажу, что вас приговорят
К тому, чему другого подвергали,
Когда бы вы не доказали
Доноса вашего. Не я в том виноват.
А! Господин Правдин, да вы уж написали!
Прочтите вслух.

Ренар

Мой в этом деле праф.

Правдин

Позвольте прежде, граф,
Чтобы сюда купец был призван Богатонов.
Произведя ему допрос,
Уверитесь, как первый лжив донос.

Ренар

Мой просит государь. Мой не знаваль законов.

Министр

Великий Петр сказал, что все должны их знать.
Он исключения не сделал для баронов.

Тут Богатонова министр велел призвать,
Который, ничего не зная,
За ерофеичем спокойно заседал
И третью чарочку капустой заедал.
Как будто казни ожидая,
Вошел он в кабинет
И уронил картуз со страху на паркет,
Дрожа всем телом.

Правдин

Не правда ли, что я один лишь раз
С бароном виделся у вас?

Богатонов

Когда вы, например, пришли ко мне за делом?
Так точно. Образ снять я со стены готов!

П р а в д и н

Что вам сказал тогда я об окладе?

Б о г а т о н о в

Я точно не упомню слов.
Пусть места мне не будет в аде,
Коли солгу,
Но сколько вспомнить я могу,
Отеческий совет вы дали,
Чтоб более добра я ближнему творил.
Кажись, что вы, барон, им что-то тут сказали.

П р а в д и н

Что я еще о вере говорил?

Б о г а т о н о в

Готов я, например, сквозь землю провалиться,
Ни слова более от вас я не слыхал.
Я присягну.

Р е н а р

Не правду сказывáл.

Б о г а т о н о в

Вот на! Хоть побожиться.
Обманщиком я сроду не бывал.

П р а в д и н

Полковник Остряков дал после свадьбы бал.
Там виделся еще я раз с бароном,
Но более нигде мне не встречался он.

М и н и с т р

Что скажете, барон?

Он утвердительным ответствовал поклоном.

П р а в д и н

Барон в другом доносе прав:
У Острякова точно, граф,
О вас судил я слишком смело,

Корыстина вы защищали дело,
И я рассержен был...

Министр

И поделом.
Сначала долго заблуждался,
Но всё загладил я потом,
В делах лишь тот не ошибался,
Кто вовсе с ними не знаком.
Второй донос я у себя оставлю
В воспоминание, что ошибался я,
А первый в суд сегодня же отправлю.
Барон! Вина тут не моя.

НОВАЯ БЕДА

Так кончив дело об окладе,
Обласканный министром, к дяде
Правдин поехал на обед,
Не думая нимало,
Какое новое его там горе ждало.
У всех почти людей при виде бед,
Которых сами не боятся,
Во глубине души охота есть смеяться,
А между тем у них премрачное лицо.
Всё это испытал квартальный над собою,
Когда Андрей Ильич, простясь с детьми, с женою,
У дома своего, без чувства, на крыльцо
Упал. Вокруг него квартальный суетился,
Ругая непроворных слуг.
«Меня ведут в тюрьму, мой друг! —
Сказал Андрей Ильич, с слезами обнимая
Племянника. — Всех участь ждет такая
Бесстыдина порук.
Я при займе его однажды поручился.
Ты знаешь, как он жил. Он вовсе разорился.
Сто тысяч за него я должен заплатить!..
Недолго мне осталось жить!
Что будет с дочерьми и с бедною женою!
Поди, Модест, как можешь, утешай:
Они в отчаяньи. Поди скорей! Прощай».

С растерзанной душою
Правдин глядел вослед ему,
И в сердце положил: я за него в тюрьму!

ПОСЛЕДНИЕ СРЕДСТВА

Правдин весь день и часто ночь трудился,
Всё продал, что имел, в аренду отдал дом
И к дяде на жилой чердак переселился.
Чердак тот сходен был с известным огурцом,
Который в Риме рос. *За нужду* можно было
В него *двоим*, согнувшись, *влезть*,
И то ни стать, ни сесть. [1]
Однообразно и уныло
Шел день за днем в семье Андрея Ильича.
В тюрьме свидания несчастных утешали.
Соседки Правдина давно уж примечали,
Что в верхней комнате всю ночь горит свеча,
И в чернокнижники Модеста записали.
Но несмотря на то, что часто черный змей,
Когда светало,
Таскал к нему мешки серебряных рублей,
На выкуп старика всё суммы не ставало.
В типографических станках
Опять готовился прекрасный альманах.
Программа нового журнала
Пред новым годом вышла в свет.
Груздь был любимейший прозаик и поэт,
Посыпались на Груздь подписчики сначала,
Как на Данаю дождь. Но, к довершенью бед,
Вдруг занемог и слег в постель издатель.
Помог в такой беде приятель:
Резнов издание журнала поддержал;
И долго слух с тех пор по городу носился,
Что Груздь забыл писать, что Груздь ума лишился.
И Правдина журнал упал.
Волнуемый толпой печальных дум,
Он стал задумчив и угрюм;
Его приметно силы
Слабели с каждым днем;

---

[1] Крылов.

Он быстро шел к дверям могилы, —
Был сходен с брошенным проезжими огнем,
Который пламенел в бореньи с зимней вьюгой.
Тогда лишь услаждал он горечь бытия,
Когда летел мечтой в волшебные края,
Где жизни спутницей и нежною подругой
Он милую свою Надежду называл.
Какую в сердце жизнь вливал
Ее прелестный взор, исполненный участья!
Тогда все горести, несчастья,
Весь мир счастливец забывал.

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Настала наконец суббота роковая.
Правдин, жестокую борьбу в душе скрывая,
Измучен ею, утомлен,
На жертву тайную и тяжкую решился.
Мысль, что старик Правдин в тюрьме еще томился,
Преодолела всё. К Надежде пишет он.
Холодный пот с лица его катился.

«Решась писать к вам в первый раз,
Уверен я, что тем не оскорблю вас:
Я принужден к тому, я должен изъясниться.
Не стану тратить слов, —
Для счастья вашего я жизнь отдать готов!
И с вами должен разлучиться.
Прощаюсь навсегда с любимою мечтой!
Я жизни путь пройду не с той,
Которую мне сердце указало.
Решился я! Во что бы то ни стало
Я счастья моего ценой
Куплю для старика свободу и покой.
Казаться буду я веселым и спокойным,
И не узнает он, как жертва мне тяжка,
Пусть я умру, любви его достойным!
Уже принадлежит другой моя рука».

В глубокое унынье погружен,
Письмо уж запечатал он.
Карета к дому подъезжает;

Вот кто-то говорит с Андреем на крыльце,
И вдруг с восторгом на лице
Мечинский в комнату влетает!..
Писали много мы уж на своем веку,
Изображали мы и радость, и тоску,
Отчаянье, надежду, ожиданья,
Шум городов и тишину полей.
Всему и всем от нас достались описанья!
Но наших двух друзей нежданный миг свиданья
Не описать! Сули хоть миллион рублей!

НОВОСТЬ

Мы для того пустились рассуждать,
Чтоб досыта друзьям наговориться дать.
Мечинский наконец решась проститься с другом,
Уж подошел к дверям, как вдруг — налево крýгом.

Мечинский

Еще тебе забыл сказать, что я женат.

Правдин

Ты шутишь?

Мечинский

Право, нет.

Правдин

Позволь поздравить, брат!
Я рад сердечно.
А Софью позабыл?

Мечинский

Я всей душой ее любил.
Да что ж, не горевать же вечно.
Сначала я скучал, а после рассудил,
Что я всю жизнь хоть протоскую,
Не ворочу ее!.. Я полюбил другую.
В уездном городке,
Куда меня послали,
У городничего мы часто танцевали,

И вскоре у меня явилось на руке
Кольцо. Я действовал решительно и смело:
Как раз к венцу — и в шляпе дело!
Однако ж ночь давно, уж время ехать мне,
Пора подумать и о сне.
Смотри же, завтра ты приди ко мне пораньше,
И мы тебя представим капитанше.

УГОЩЕНИЕ

Сидя с женой за чаем, капитан
Персидский пробовал кальян,
Когда вошел Правдин и, вдруг взглянув на друга,
Подумал, что пред ним иль шах, или султан:
Ковры пленяли взор, и, в виде полукруга,
Восточный блещущий диван
Под шелковым навесом, с бахромою,
Манил и к неге и к покою.
Курильницы стояли по углам,
Наполнен воздух был азийским ароматом;
Хозяин же таким украшен был халатом,
Какого шах не носит сам.
Не прежде как в часу десятом
Мечинский друга отпустил,
И прямо уж его по-русски угостил:
За тостом тост! С полдюжины бутылок
В теченье дня он с другом осушил.
Правдин уж стал просить носилок,
И был помилован, и то с большим трудом.
Замученный шампанским и токаем,
Всю ночь он спал железным сном.
Когда же поутру, за чаем,
С домашними в гостиной он сидел,
Вдруг въехавших на двор стук дрожек загремел,
И кто ж на них? Легко воображаем
И радость, и восторг, и прыганье, и крик:
Слез с дрожек — верить ли глазам? — Правдин старик!
И на картину мы завесу опускаем:
Наш в живописи дар, ей-богу, невелик.

Весь долг за старика внес тайно до полушки

Мечинский. Возвратясь домой,
Надел халат любимый свой,
И мягче сделались диванные подушки,
Вкусней душистый чай, табачный даже дым
Ему казался ароматней.
Что сердцу может быть, он размышлял, приятней
Добра, которое мы сделали другим!
«Что так сегодня, Саша, весел?» —
Жена спросила у него.
«Так, друг мой, ничего.
Обнову я купил: три пары модных кресел».

ТОЛКИ

Раз у Бесстыдина Хитрецкий за бутылкой
Бургонского сидел и сказывал ему,
Что Правдина едва не заперли в тюрьму,
Что расплатился он бы ссылкой,
Что дело уж вошло в Совет,
Но манифест помог.
«Помилуйте! Нет, нет! —
Прервал Резнов. — Я вас уверить смею,
Что он
Оправдан был, а не прощен.
Подробно рассказать вам дела не умею,
Хотя и доставал тайком, через писцов,
Записку краткую в четыреста листов.
Но знаю верно то, что Правдину на шею
Недавно дан был крест по милости царя,
Дойдет — того смотри — до статс-секретаря!
И как в раю живет с Надеждою своею!»
— «Всё это слышал я не так», —
Хитрецкий возразил с язвительной улыбкой
И, шеей наклоняся гибкой,
Поднес Бесстыдину французский свой табак.

Дальнейших сведений мы не могли собрать
Для повести, и сплетницы-старухи
Свободно могут разглашать
О Правдине невыгодные слухи.
Он много уж терпел! Так, видно, на роду
Ему написано. Того гляди, беду
Опять он наживет. Старинным талисманом,

Терпением, от зла себя он оградит.
    Слуга Андрей недаром же твердит:
    «Терпи казак, и будешь атаманом».

1828

284. ЭЛЕГИЯ

Чья эта новая гробница?
Чей прах сокрыт навек под ней?
Промчалось счастье прежних дней!
Свершилось! Нет тебя, певица
Канарских островов! Пуста
Твоя блестящая темница,
Стоит на чердаке, снята
Навек со светлого окошка,
Где красовалась с давних пор.
В унынии глубоком взор
На небеса возводит кошка
И опускает на паркет!
Увы! Вверху уж клетки нет!..
В саду, где яблоня склонила
Густую ветвь над цветником,
Где в летний день ты петь любила,
Там спишь ты беспробудным сном!
Там одинокая гробница
Нарцизами осенена.
Прийдет прелестная весна, —
Ее не встретишь ты, певица,
Веселой песнию своей.
Не будет летнею порою
В саду на яблоне с тобою
Перекликаться соловей.
Один он запоет уныло
Над раннею твоей могилой!
Не будешь сахар ты клевать
Из рук твоей хозяйки милой!
Уж ей тебя не целовать,
Держа на плечике! Не станешь
Ты из гостиной в зал летать,
Из зала ж в клетку, как устанешь.

О, если б ты восстать могла,
Как Феникс, если б посмотрела,
Как слезы по тебе лила
Твоя хозяйка, ты бы села
По-прежнему на пальчик к ней!
Ты б облегчила сердце ей!
Она бы, верно, улыбнулась,
Ее бы горесть вмиг прошла!
Ты б от восторга встрепенулась
И с радости бы умерла.

⟨1830⟩

285. ⟨ИЗ КОМЕДИИ «КЛАССИК И РОМАНТИК»⟩

ЯВЛЕНИЕ 8

Седов

Ба! Фирс Козьмич! Нижайшее почтенье!
Какую притащил тетрадь!
Взглянуть, так страх берет, не только прочитать.

Темнилин

Не всё еще принес я сочиненье.
Здесь высший только взгляд.

(Подает Седову тетрадь, который начинает ее рассматривать.)

Линский

(про себя)

Я слово данное принужу взять назад.
Какая мысль! Скорей за исполненье!

(Садится к столу и начинает писать.)

Темнилин

А вот еще на ваше я сужденье
Элегию принес. Позвольте прочитать.

Седов

Дай прежде положить на стол твою тетрадь.

(Кладет тетрадь на стол.)

Читай, брат, сделай одолженье.
Я слушать рад всегда:
Не много в слушаньи труда.

(Линскому)

А вы? Вы пишете?

Линский

По службе донесенье.
Совсем забыл, а не послать — беда!

Темнилин

(читает)

. . . .

Весна моих промчалась дней!
Как сон златой, мелькнула младость!
Очаровательная радость,
Как тень, сокрылась вслед за ней!
Восторги гаснут сладострастья
В моей измученной груди,
И хлад мертвящего бесстрастья
Лишь ожидает впереди.
Былое, будто утро мая,
Как дева красоты и рая,
Меня манит издалека,
Окован негою и ленью,
Я предан был уединенью,
Но ревность, хладная тоска
Мне жизнь наполнили отравой!
Я не прельщаюсь шумной славой,
Я позабыл любви призыв!
И, одинок и молчалив,
Люблю внимать я моря шуму,
И в час полуночи, в тиши,
Порывы тайные души
Обычную лелеют думу.
Повсюду девы неземной
Несется призрак вслед за мной.

Я помню поцелуй прощальный!
Я помню алые уста!..
Привет любви первоначальной,
О прошлом сладкая мечта
При шуме радостном похмелья,
В часы беспечного веселья,
Отравой горькою своей
Порой мне тихо грудь волнует,
И жар ланит, и шелк кудрей,
Всю красоту протекших дней
Волшебной кистию рисует.
Но будущность грозит бедой,
Как сталь кровавая кинжала!
И прелесть жизни молодой,
Как метеор, навек пропала!
Так путник в час, когда туман
Летит со степи молчаливой,
Воспоминая кров счастливый,
Песчаный зрит лишь океан!

. . . .

. . . .

. . . .

Ну как вам кажется, Тит Павлыч?

Седов

Славно, славно!
Стихи, как масло, льются плавно,
Легки, как пух, и гладки, как стекло.
Однако, знаешь ли, покойник Буало
Говаривал, чтоб мысль, чтоб ясность...

Темнилин

Пощадите!
Без Буало меня судите.
Что этот мне напудренный парик!
В свой век и Буало был славен и велик,
Но на него давно прошла уж мода.
Теперь учитель наш — природа.

Седов

Позвольте вашу мне элегию прочесть
И против темных мест поставить nota bene.[1]

[1] Заметь хорошо (лат.). — *Ред.*

Темнилин

(подавая элегию)

Я в альманах отдам, уж какова ни есть.
Заметить вас прошу, что ночью, на колене,
При свете месяца написана она.

Седов

Что значат эти точки
В начале и в конце?

Темнилин

Пропущенные строчки!
И Байрон так писал; так пишут все.

Седов

Вот на!
Прекрасно вздумано! Задай-ка ты мне тему —
Назавтра ж точками я напишу поэму;
А если хочешь ты, прибавлю запятых,
И восклицательных, и всех возможных знаков,
Так распишусь, что вон неси святых!..
Был мне знаком судья уездный Яков
(Его фамилию забыл).
Покойник точек не любил;
А как начнет в делах он ставить запятые,
Так что элегия твоя!
Теперь прошли те годы золотые,
И пишет с точками уж ныне и судья!

Темнилин

Шутите вы! Попробуйте-ка сами
Хоть строчек шесть стихами,
Хоть даже меньше, написать,
Так и увидите, что...

Седов

(прерывая)

Хочешь ты сказать,
Что трудно. Я с тобой согласен,
Да я тебя ни в чем и не виню.
Я только речь к тому клоню,

Что труд писателя, мне кажется, напрасен,
Когда он гонится другому только вслед.
Так, впрочем, исстари ведется:
Прославится прозаик иль поэт,
И подражателей толпа за ним плетется.
Нас трогал прозою прелестной Карамзин,
И принялися все за слезы и за вздохи;
Вслед за собой увлек Державин-исполин
Тму подражателей. И все куда как плохи!
Про наши времена не стану говорить.
В пристрастьи могут укорить,
Иль прослывешь, пожалуй, за зоила...
Я замолчу. Не в этом сила.

Темнилин

(с неудовольствием)

Нет, ваша критика уж чересчур строга.
Так нет, по-вашему, теперь у нас талантов?
А Блесткин, а Грузнов, а Спорский, а Педантов?
Чем хуже прочих ваш покорнейший слуга?

Седов

Поэта не хвалить — нажить себе врага.
Ведь речь не о тебе, приятель!
Лишь подражателей одних я не люблю.
Таланты есть у нас, но я их не хвалю,
Затем что без меня их знает уж читатель,
И стар, и мал.
Не нужно им моих похвал!

Темнилин

Но я когда был подражатель?
Кому и в чем? Прошу сказать.

Седов

Свидетелей здесь нет. Теперь нас только двое.
В элегии твоей есть кое-что чужое.

Темнилин

Сказать легко. Нельзя ли доказать?

Седов

Изволь. Там шкаф стоит в прихожей.
До сотни я тебе элегий притащу,
Похожих на твою: во всех одно и то же!

Темнилин

Пойдем! Сыщите-ка!

Седов

Пойдем! Уж я сыщу!

Уходят.

⟨1830⟩

286. ОСЕЛ И КОНЬ

Осел в собрании зверей
Однажды рассуждал и приводил довóды:
Людской-де нет глупей и не было породы.
Не знаем мы, за что честил он так людей.
Хозяин, может быть, ездой его измучил
Иль слишком тяжело навьючил,
Но только он людей без милости бранил.
«В них капли нет ума,— оратор говорил,—
Я это докажу: хозяин мой недавно
(По чести, это презабавно!)
Соседу так сказал: «Конца твоих затей
Тебе, брат, не видать, как и своих ушей».
Ну можно ль говорить нелепицу такую!
Мне на уши смотреть совсем не мудрено».
— «Задачу,— молвил Конь,— тебе я
растолкую:
То глупо для Осла, что для людей умно».

⟨1842⟩

Н. В. КУКОЛЬНИК

Отец Нестора Кукольника — неимущий дворянин, словак по национальности — происходил из местечка Кокольники Мункаческого округа (в Закарпатской Украине), входившего тогда в состав Австрийской империи. Он получил образование в Венском университете, но славянское происхождение связывало ему руки. Перебравшись в польский город Замосць, он некоторое время преподает в тамошнем лицее физику, естественную историю и агрономию. Заручившись протекцией Н. Н. Новосильцева, Василий Григорьевич Кукольник с женой (полькой С. Н. Пилянкевич) и пятью детьми едет в Петербург, и тут ему наконец повезло. В 1803 году он уже в качестве профессора Педагогического института читает физику, химию и другие дисциплины.

Ко времени рождения Нестора Кукольника — он появился на свет 8 сентября 1809 года — его семья уже достаточно обрусела, но отсутствие прочных связей с русским миром сказалось на воспитании и складе личности будущего поэта.

Материальное благополучие Кукольников сильно пошатнулось после смерти (в 1821 году) В. Г. Кукольника, незадолго до кончины переселившегося из Петербурга на Украину — в г. Нежин, где он взялся было за организацию нового учебного заведения — так называемой Гимназии высших наук. Сын его Нестор был принят в Нежинский лицей лишь в 1824 году, а до этого времени находился в Житомире, где посещал уездное училище.

На своих учителей и товарищей, исключая, впрочем, одного Гоголя, Кукольник сразу же произвел впечатление феноменально одаренного юноши. Он знал несколько иностранных языков (немецкий, польский, французский, итальянский, латинский), прочел множество книг, играл на фортепьяно и гитаре, сочинял стихи, увлекался историей и в особенности театром — актерствовал, наряду с Гоголем, в любительских гимназических спектаклях.

Уверенно выдержав выпускные экзамены, Кукольник в том же 1829 году переезжает к старшему брату Павлу в Вильно и около

двух лет преподает русский язык и словесность в местной гимназии. Но, мечтая о литературной деятельности, о лаврах именитого писателя, Кукольник рвется в Петербург.

С рукописью давно начатой пьесы «Торквато Тассо» и другими сочинениями он в 1831 году появляется в столице. В следующем году пьеса выходит из печати и приносит молодому автору шумный, почти сенсационный успех.

Главный герой произведения — великий поэт, но бедный, униженный человек. Творец «Освобожденного Иерусалима» — жертва высокомерия и произвола сильных мира сего, осудивших Тассо на скитания, нищету и болезнь. Постановка этой темы расположила к Кукольнику видного критика и журналиста демократического направления Н. А. Полевого. Он поспешил превознести «Торквато Тассо», невзирая на то, что социальная природа конфликта героя с феррарским двором и герцогом Альфонсом была сильно затушевана, а вся коллизия в значительной мере сведена к мысли о влиянии на жизнь поэта неких фатальных сил. «Имя автора, кажется, не было знакомо читателям *печатно*... — писал Н. А. Полевой. — И вдруг является он в толпе истертых литературных известностей... с творением поэтическим, прекрасным по идее, прекрасным по стихам и обещающим многое в будущем».[1] Вслед за «Московским телеграфом» с крикливым панегириком пьесе Кукольника выступил в «Библиотеке для чтения» (1834, № 1) О. И. Сенковский.

К тому времени Кукольник успел сочинить еще одну стихотворную драму — «Рука всевышнего отечество спасла», сюжет которой был почерпнут из эпохи Смутного времени. Она была закончена в октябре 1832 года, а 15 января 1834 года состоялась ее премьера на сцене Александринского театра. На одном из первых представлений побывал Николай I, после чего автор пьесы был приглашен в Зимний дворец.[2] Он получил «высочайшее одобрение» из уст самого монарха, а вместе с тем и ряд указаний по улучшению пьесы. Не теряя времени, Кукольник засел за переделку некоторых сцен, и в этой обновленной редакции драма была канонизирована в качестве образцово-патриотического сочинения. Последующие спектакли «Руки всевышнего» вылились в своего рода ритуальные манифестации. Театр наполнялся придворными, высокопоставленными чиновниками

---

[1] «Московский телеграф», 1833, № 16, с. 565.

[2] Об этом эпизоде см.: ⟨В. А. Роткирх⟩, «Рука всевышнего отечество спасла». Драма Н. В. Кукольника. Из воспоминаний Теобальда. — «Русский архив», 1889, № 12, с. 509—511. О премьере пьесы см. также в воспоминаниях А. М. Каратыгиной — в кн.: П. А. Каратыгин, Записки, т. 2, Л., 1930, с. 177—178.

и военными. Восхваление пьесы считалось показателем истинного патриотизма и благонамеренности. «Аплодисментам не было конца, — вспоминает очевидец. — Много хлопал и государь. Автор выходил в директорскую ложу несколько раз, чтобы раскланиваться публике, и всякий раз его встречали оглушительными криками «браво» и неистовыми аплодисментами. В райке простой народ, которому «Рука всевышнего» пришлась по душе, так орал и бесновался, что всякую минуту можно было ожидать, что оттуда кто-нибудь вывалится». [1]

Пьеса Кукольника представляла собой ряд разрозненных сцен, показывающих постепенное водворение порядка на Руси, то есть организацию ополчения в Нижнем Новгороде, изгнание поляков, разгром мятежных отрядов и, наконец, восшествие на престол Михаила Романова. По идее произведения, вся эта цепь событий выражает фатальную неизбежность. Бог возлюбил Россию, спас ее от внутренней крамолы и внешнего врага, даровал ей нового, истинного царя, а в его лице — единство, мир, народное благоденствие. Эта жесткая провиденциальная концепция превращала персонажей пьесы в говорящих марионеток. Своих положительных героев Кукольник лишал самостоятельности, характеров, более того — доблестей и заслуг перед родиной, так как, по смыслу драмы, каждый из них был только орудием высшей силы и действовал под ее покровительством.

Кукольник писал свою пьесу в период торжества самодержавия над внутренним и внешним врагом (декабристы были разбиты, польское восстание 1830—1831 годов потоплено в крови; в конце 20-х годов Россия одну за другой выиграла две войны — с турками и персами). В обстановке головокружения от побед и родился миф о беспредельном могуществе самодержавия и о его будто бы общенародном, представительном характере. В литературную разработку этой легенды Кукольник, пожалуй, внес самый значительный вклад.

В пьесе выделяется своего рода демократическая сцена — обсуждается избрание нового царя. Но кандидатура у всех одна, и у всех в голове одно и то же решение, продиктованное свыше. Такой эфемерный, показной «демократизм» вполне устраивал Николая I. Однако он вызвал отпор со стороны того самого Н. А. Полевого, который только что горячо хвалил Кукольника. Не подозревая о том, что «Рука всевышнего» получила такое значение в высших сферах Петербурга, он напечатал в своем «Московском телеграфе» разгромную рецензию. «Новая драма г-на Кукольника, — говорилось

---

[1] М. Ф. Каменская, Воспоминания. — «Исторический вестник», 1894, № 9, с. 632.

там, — весьма печалит нас... Как можно столь мало щадить себя, столь мало думать о собственном своем достоинстве! *От великого до смешного один шаг*». [1] Через несколько дней Н. А. Полевой в сопровождении жандармского унтер-офицера был отправлен в Петербург, где его ожидал допрос в III Отделении. Бенкендорф задал Полевому вопрос: «каким побуждением руководствовался он в своем отзыве о патриотической драме Кукольника? И как мог он выразить мнение, противоположное мнению *всех*». [2] Полевому не удалось оправдаться, и его журнал как враждебный видам правительства был немедленно запрещен. Событие это подало повод к остроумной эпиграмме, которая за короткий срок приобрела широчайшую известность:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла, поэту ход дала
И Полевого задушила. [3]

Кукольник был больно задет ею, тем более, что молва приписывала ее самому Пушкину.

«Торквато Тассо» и «Рука всевышнего» положили начало двум типам пьес Кукольника. [4] В первом преобладала национально-историческая тематика, другие посвящены были биографиям людей из мира искусства — преимущественно итальянских, реже немецких, художников и поэтов. Следом за «Тассо» Кукольник пишет пьесы: «Мейстер Минд», «Джакобо Санназар», «Джулио Мости», дилогию «Доменикино» («Доменикино в Риме» и «Доменикино в Неаполе»), «Иоанн Антон Лейзевиц», «Импровизатор»; принимается, но не заканчивает пьесу «Пиэтро Аретино». Замыкают эту серию поздние пьесы — о русском поэте XVIII века «Ермил Иванович Костров» (1851) и об английском актере «Давид Гаррик» (1861). За исключением «Мейстера Минда» и «Лейзевица», текст всех остальных — стихотворный.

---

[1] «Московский телеграф», 1834, № 3, с. 498—499.

[2] Кс. Полевой, Записки, СПб., 1888, с. 338.

[3] П. А. Ефремов (в кн.: «Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях», СПб., 1903, с. 15) приписывал ее К. А. Бахтурину, а М. А. Дмитриев («Мелочи из запаса моей памяти», М., 1869, с. 111) возводил ее к каламбуру А. Д. Курбатова.

[4] От внимания современников Кукольника ускользнул тот факт, что дебютировал он не «Торквато Тассо», а небольшой пьесой «Тортини», напечатанной несколько раньше в альманахе «Альциона» (СПб., 1833). Эта «интермедия-фантазия» объединяет признаки обоих родов кукольниковской драматургии: действие происходит в Италии, но в сюжет вплетена и тема России, которую представляют русские путешественники — посланцы Петра I.

Примерно за это же время, то есть в течение 30-х — начала 40-х годов, были созданы следующие пьесы на исторические темы: «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», «Генерал-поручик Иоганн Рейнгольд Паткуль», «Иван Рябов, рыбак архангелогородский», «Статуя Кристофа в Риге, или Будет война», «Князь Даниил Дмитриевич Холмский», «Боярин Федор Васильевич Басенок» — все в стихотворной или стихотворно-прозаической форме.

Особняком среди драматических произведений Кукольника стоит «Роксолана» (1834). Эта пьеса с острым конфликтом, с нарастающим драматическим напряжением в сюжете и с кровавой развязкой не походит на прочие пьесы Кукольника.

Пьесы о художниках и писателях Кукольник обыкновенно именовал «драматическими фантазиями», подчеркивая необычность своей драматургии. Историческая драма Кукольника в принципе нисколько не отличалась от «фантазий». «Кто прочел одну драму г. Кукольника, — говорил Белинский, — тот знает все его драмы: так одинаковы их пружины и приемы».[1] Действительно, любая пьеса Кукольника является распространением нескольких мыслей и мотивов, перелитых в форму монологов, диалогов, разговоров, массовых сцен. Сквозное проведение этих идей и мотивов через текст произведения (как в лирике) производило впечатление художественной новизны и насыщенности мыслью. Поклонники Кукольника считали его поэтом мысли, а сам он не сомневался в том, что превзошел Пушкина обширностью и глубиной идей.

Каждый из двух типов пьес Кукольника имеет свой центр тяжести, вокруг которого располагаются персонажи, строятся их отношения. В исторических драмах — это личность монарха, правителя страны, выступающего как символ национального единства и народного благополучия. Царь не всегда выводится на сцене (например, Петр I в «Иване Рябове» и в «Паткуле»). Но в таких случаях он словно незримый дух направляет ход событий, завязывая и развязывая их. Положительные «исторические» герои Кукольника не имеют собственных интересов. Ими руководит одно сверхличное чувство — беспредельная преданность престолу. Это чувство поглощает у Кукольника всего человека, со всей его интимной и частной жизнью. Напротив, все отрицательные герои — эгоисты, безудержные честолюбцы. Всякое стремление к возвышению личности, к непокорству законному царю подается как измена и преступление.

В пьесах о художниках и поэтах все вертится вокруг другого

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 10, М., 1956, с. 126.

рода власти — славы, то есть преклонения толпы. Положительный герой этих пьес — человек, целиком ушедший в свое высокое призвание, но слабый и беспомощный в жизни, неспособный постоять за личное счастье, соединиться с любимой женщиной. Его донимают завистники-коллеги, он страдает от непризнанности, слава бежит от него, чтобы засиять над ним либо при дверях гроба, либо посмертно. Антипод этого героя — наглый, преуспевающий делец от искусства, бесчестный шарлатан, незаконный похититель славы. Таков коварный интриган Ланфранко (в «Доменикино»), или преступник Джулио Мости (в одноименной пьесе), или поэт-вельможа Аретино, гнусный эпикуреец, утопающий в роскоши (в незаконченной фантазии, носящей его имя). В этих произведениях — весь Кукольник с его манией величия, с его социальной ущемленностью и боязнью литературных конкурентов.

Облик человека с огромными претензиями и малыми возможностями проглядывает и в лирике Кукольника. Многие его стихотворения 30-х годов — это как бы страницы одной интимной истории, внушенные чувством к некой таинственной особе. Лирический герой Кукольника нисколько не претендует на счастливый исход и довольствуется почтительным созерцанием своей избранницы. Но банальность этого «мечтательного» романа выдается за «дерзость» героя. Дело в том, что предмет его страсти — знатная дама, существо отличное от всех по своему высокому положению, имя которой не произносимо в устах простого смертного. Не довольствуясь намеками на это обстоятельство, заключенными в самих стихах, Кукольник разжигал любопытство к ним и к своему засекреченному роману в «доверительных» беседах с приятелями.

Превосходно дополняет «лирический роман» Кукольника его незавершенная поэма «Давид Риццио», герой которой, бедный итальянский певец и поэт-импровизатор, томится от страсти к наследнице шотландского престола Марии Стюарт. Кое-кто из знакомых Кукольника догадывался, что в Риццио он изобразил самого себя, а в Марии Стюарт — «одну значительную даму» (И. И. Панаев).

Удача сопутствовала Кукольнику на протяжении всего петербургского периода его биографии (1832—1847). С 1832 года он служит — сначала в канцелярии министерства финансов, потом столоначальником во II отделении императорской канцелярии (1834—1836) и, наконец, переводчиком с польского в капитуле орденов (1837—1839). Литературные гонорары его возросли до таких размеров, что с июня 1839 года он вовсе отказался от казенной службы, на которую вновь определился лишь в апреле 1843 года (в канцелярию военного министра).

Во второй половине 30-х годов Кукольник был главным сотрудником первого в России коммерческого многотиражного журнала «Библиотека для чтения», что по тем временам было лучшим видом рекламы. Без пьес Кукольника нельзя было представить себе тогдашний театральный репертуар. С 1836 по 1838 год он издает «Художественную газету», которую наполняет собственными статьями о музыке, живописи, ваянии, архитектуре, театре, гравировальном и медальерном искусстве, резьбе по дереву и т. д.

Зимой 1837—1838 года петербургская квартира братьев Нестора и Платона Кукольников становится местом многолюдных собраний литераторов, журналистов, художников и актеров. Густая толпа гостей, посещавшая «среды» Кукольника, была пестрой и непостоянной по составу. Компанейский нрав хозяина, его талант рассказчика и стихотворца-импровизатора также способствовали его популярности. Очень выигрывал Кукольник во мнении своих бесчисленных знакомых и благодаря приятельским отношениям с М. И. Глинкой и К. П. Брюлловым. Вокруг этой тройки, которая в глазах многих современников символизировала союз трех искусств (живописи, музыки и поэзии), сгруппировался небольшой интимный кружок, именовавшийся «братией». Участники его собирались келейно и проводили время в беседах и пирах, сопровождавшихся пением, игрой на фортепьяно, шутками, стихами. До нас дошли рассказы очевидцев об «оргиях дурного тона» (А. Н. Струговщиков), в которые порой выливались эти сборища, и о неприглядной роли Кукольника как инициатора «возлияний».

При всей безыдейности кружка (он распался к середине 40-х годов), возникновение его было заметным и характерным фактом своего времени. Следует учесть, что тесные творческие контакты между представителями разных видов искусств впервые нашли здесь свое прямое выражение. Кукольник был музыкально образованный человек и понимал толк в живописи. Он печатно пропагандировал труды Глинки и Брюллова, он вникал в мельчайшие детали творческой работы композитора. Кукольник участвовал в создании либретто обеих его опер (ему, в частности, принадлежит сцена Вани в «Иване Сусанине»). В 1840 году был закончен цикл романсов Глинки под названием «Прощание с Петербургом» на стихи Кукольника, и в том же году композитор написал музыку для его драмы «Князь Холмский».

Как ни обширны были связи и знакомства Кукольника с артистическим миром, бросался в глаза тот факт, что Пушкин и писатели его круга — прежде всего Жуковский, Вяземский, Плетнев — сторонились его компании. Кукольник начал подозревать Пушкина в за-

висти и злословии на свой счет. Услышав о гибели поэта, он записал в своем дневнике: «Пушкин умер... он был злейший мой враг: сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес, и за что? Я никогда не подал ему ни малейшего повода. Я, напротив, избегал его, как избегал вообще аристократии; а он непрестанно меня преследовал. Я всегда почитал в нем высокое дарование, поэтический гений, хотя находил его ученость слишком поверхностною, *аристократическою,* но в сию минуту забываю все...» [1]

Судя по имеющимся данным, Пушкин отзывался о Кукольнике либо очень уклончиво, либо иронически. Все остальное — плод мнительности и уязвленного самолюбия Кукольника. Возможность же каких бы то ни было тесных контактов между ними исключалась ввиду диаметральной противоположности их творческих позиций и социальных устремлений. Позднее, уже после смерти Пушкина, П. А. Плетнев, основываясь на устных высказываниях Кукольника, с возмущением писал о нем: «Он ни Жуковского, ни Пушкина не признает поэтами. Разве Державин в состоянии заменить их? Какое глупое пренебрежение, обнаруживающее столько претензии и нисколько чувства и любви к искусству». [2]

Ходячее представление о Кукольнике как беззастенчивом трубадуре самодержавия, основавшем свою славу на чисто внешних эффектах и темпераментном фразерстве, нуждается в существенных коррективах. Дело в том, что монархизм Кукольника тесно переплетался со своеобразным демократизмом. И в этом, надо полагать, одна из главных причин его колоссальной популярности. Своим творчеством он откликнулся на запросы многочисленных кругов мещанской публики. Она чувствовала себя неуверенно и униженно, но мечтала о «честной службе» царю и, соответственно, о приличных чинах и окладах. Чаяния эти были не совсем неосновательны: раздавившее дворянскую оппозицию самодержавие не пренебрегало услугами людей худородных, исполненных рвения, готовых слепо выполнять любое распоряжение начальства. Но дворянство в целом все еще служило опорой самодержавию и преграждало путь к преуспеянию для представителей других сословий.

Знаменательно, что, рисуя образы властителей русской земли, особенно Петра I, Кукольник стремится показать их близость

---

[1] «Баян», 1888, № 11, с. 98. О недостоверности фактической основы этого «дневника» см.: Б. С. Штейнпресс, «Дневник» Кукольника как источник биографии Глинки. — Сб. «Глинка. Исследования и материалы», Л.—М., 1950, с. 88—118.

[2] Письмо к Я. К. Гроту от 8 августа 1844 г. — «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. 2, СПб., 1896, с. 300.

к людям простого звания. Царь доверяет им важные государственные дела, щедро одаряет за верную службу, вникает в их нужды.

Романтический культ личности в творчестве Кукольника обернулся апологией коронованного диктатора. Но следует учесть, что это восхваление относится только к персоне венценосца, а не к системе сословной иерархии, из которой и вырастал принцип самовластия. Кукольник охотно показывает расторопность, смелость и талантливость людей из народа, а главное — их верность царскому дому. Для автора «Руки всевышнего» было очень важно, что патриотизм русского человека сильнее и ярче всего проявился у мещанина Минина, сумевшего заразить своей энергией и оптимизмом князя Пожарского.

Ощущается у Кукольника и другая тенденция: он любит выставлять в неприглядном виде героев с привилегированным положением. В рассказе «Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно» (1841) Кукольник сочувственно обрисовал дворового человека и в разоблачительной манере — его жестокого, разнузданного барина. Рассказ повествует о том, как по воле обстоятельств эти герои меняются ролями: бывший раб получает власть над своим недавним господином и законным порядком творит над ним экзекуцию, расплачиваясь за старые обиды. Эта малоправдоподобная ситуация тем не менее направляла сознание читателя к весьма опасным политическим выводам. Рассказ заслужил полное одобрение Белинского и вызвал гнев Николая I, приказавшего сделать автору строгое внушение. Бенкендорф немедленно настрочил Кукольнику нотацию, которую заключил прямой угрозой: «Желание ваше беспрерывно выказывать добродетель податного состояния и пороки высшего класса людей не может иметь хороших последствий, а потому не благоугодно ли вам будет на будущее время воздержаться от печатания статей, противных духу времени и правительства, дабы тем избежать взыскания, которому вы, при меньшей как ныне снисходительности, подвергнуться можете». [1]

Как видно, в своем откровенном выражении программа кукольниковского демократизма — одинаковое рабство для всех при владычестве одного — вступала в противоречие с «духом правительства», которое не собиралось упразднять привилегии потомственного дворянства. При всем том, эта программа заключала в себе глубоко реакционный смысл, так как она отвергала идею свободы личности,

---

[1] Письмо к Кукольнику от 6 января 1842 г. — «Письма графа Бенкендорфа к Н. В. Кукольнику». Сообщение И. А. Пузыревского. — «Русская старина», 1871, № 6, с. 793.

которую отстаивали независимо настроенные и оппозиционные круги дворянской интеллигенции.

В начале 40-х годов писательская плодовитость Кукольника вырастает до невиданных размеров — главным образом за счет беллетристики, тогда как стихотворство явно идет на убыль. По наблюдению Белинского, «г. Кукольник один пишет в год больше, чем все литераторы наши, вместе взятые».[1] За семилетие с 1840 по 1846 год он написал и напечатал несколько десятков рассказов, повестей и семь пухлых романов («Эвелина де Вальероль», «Альф и Альдона», «Дурочка Луиза», «Историческая красавица», «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова», «Три периода», «Барон Фанфарон и маркиз Петиметр»). При этом Кукольник в 1841 году редактировал «Русский вестник», а в 1845 — 1846 годах — еженедельник «Иллюстрация».

С конца 1847 года по заданию военного министерства Кукольник около десятка лет проводит в разъездах по южным губерниям России (от Бессарабии до Кавказа) в качестве эксперта по снабжению армии продовольствием и фуражом. Литературная производительность его за эти годы приметно свертывается. Все же в это время Кукольник написал ряд повестей, рассказов, пьес («Ермил Иванович Костров», «Денщик», «Маркитантка», «Морской праздник в Севастополе», «Азовское сидение. Историческое сказание в лицах»), роман «Тонин, или Ревель при Петре Великом». В 1851—1853 годах он выпускает десятитомное собрание своих сочинений.

После окончания Крымской войны Кукольник возвращается в Петербург и вскоре (в декабре 1857 года) выходит в отставку в чине действительного статского советника. По причине расстроенного здоровья он переселяется на юг — в Таганрог. От былой его писательской популярности к тому времени почти ничего не осталось, и в прессе 60-х годов имя Кукольника попадается редко. Лишь в 1865 году он напомнил о себе изданием романа «Две сестры».

Умер писатель 8 декабря 1868 года в Таганроге. Он не успел или не смог опубликовать несколько законченных произведений: три повести («Мориц Саксонский», «Ольгин яр», «Крепостной художник»), роман «Иоанн III, собиратель земли русской», появившиеся в печати посмертно, и пьесу «Гоф-юнкер», запрещенную к печати в 1864 году.[2]

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 6, М., 1955, с. 666.

[2] Изображение в «Гоф-юнкере» продажности и произвола придворной клики в одном из мелких немецких государств было не чем иным, как замаскированной критикой русской придворной аристократии. Этим и объясняется запрет драмы, сохранившейся в автографе ПД.

287. ⟨ИЗ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ «ТОРКВАТО ТАССО»⟩

Акт пятый

Рим

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Место перед Пантеоном.
Тасс и Мости (спящий у входа в Пантеон).

Тасс

(ходя около храма и осматривая)

О, кто тебя из камня изваял,
Великий храм, и на земле поставил,
Божественный венец искусства? Дивно
Твой купол вознесен под купол неба
И спорит с ним красой и велелепьем;
Как вечность, тянутся столпы; как мыслям
Великого ума, им нет числа;
И как мечты поэта, стройны, мрачны,
Они глядят с презрением на мир
И в небеса бегут, землей гнушаясь.
Как в зеркало, гляжусь я в этот храм —
И он меня так странно отражает!
Я вижу в нем себя — и не себя.
Мне кажется, он рук моих созданье;
Когда же я воздвиг его, не помню.
Смотрю, не насмотрюсь; он мне знаком...
То славы храм, то Римский Пантеон!
Давно об нем певцы пропели песни,
Давно молва свое проговорила,
А он всё нов, дряхлея, молодится,
И нет конца его существованью!..

Те же и два германские путешественника.

Пер⟨вый⟩ путеш⟨ественник⟩

Теперь никто не отвлечет внимания;
Мы можем оценить архитектуру...

Теряются за колоннами.

Тасс

Кто может оценить творенье неба,
Определить то чудо вдохновенья,
Которым здесь ознаменован гений?
Самонадеянность людей! Не стыдно ль
Желать вселенную поднять на плéчах,
На человеческих ничтожных плéчах!
Не стыдно ли с уверенностью дерзкой
Небесное земным умом ценить!
Благоговейте, если в силах! Только!
Довольно с вас! И то благодарите,
Что от суда такого добрый гений
Всего изящного не отвратился,
Не предал вас холодному забвенью
И гроб ваш посещать благоволит.
Но гений, я забыл, давно оставил
Земную твердь. Он снова в океане
Небесных волн ждет новых поколений;
И правда, некому теперь принять
Его на суетной земле, все люди
Окаменели: ужасы войны,
Кровь и пожар... Пожар! Что, если пламя,
Всеразрушающий, враждебный гений,
Как тать тебя, великий храм, обымет,
Предательским и жарким лобызаньем
Всего тебя обрушит в кучи пепла?
Падут твои безмерные столпы,
Глава твоя полгорода покроет,
И не спасет тебя зиждитель-гений!
Но как я прост! Я и забыл, что ты —
Прочнее моря, воздуха, земли
И всех стихий! Из камня, из бессмертья
Воздвигнут ты, и от стихий влиянья
Собой тебя закрыл зиждитель-гений!

Те же и толпа народа (с разных сторон приходящего).

Первый голос

Куда идешь?

Второй

Иду на рынок. Надо
Мне закупить хозяйские припасы,
Но холодно, я дрогну.

Первый

И я также.
Как жарок день; как мертвая, в истоме,
Не чувствуешь, что деется кругом;
А утром холод. Ну, а мать твоя?

Втор⟨ой⟩

Мы с ней еще с тех пор не помирились. . .
Но, боже мой, кто это там? Ты видишь? . .

Перв⟨ый⟩

Ах! Убежим! Он как-то странно ходит.
Он на одном кружится месте. Боже!
Как странен он! Ой, убежим; ты знаешь,
Что город наш наполнен всякой дрянью!

Второй

И, перестань! Не вор он, не убийца.
Смотри: на нем какое одеянье,
То, верно, издалёка иностранец
Пред камнями ночует Пантеона.
У этих иностранцев всё не так,
Как вот у нас, у римлян простодушных.
Слыхала я от матери моей,
Что многие из этих сумасшедших
Приходят к камню, камень обнимают,
С ним говорят иной раз целый день
И с камнем ночь бессонную проводят.

Трет⟨ий⟩

Смотри, смотри! Как жадно в этот храм
Чудак влепил тоскующие очи!

Четвертый

Кто там, приятель?

Третий

Я не знаю; только
Прелюбопытный этот иностранец.

Многие

Он иностранец? — Кто же он? Откуда?
Что так ему понравились колонны?
— Откуда он? — Какой-нибудь лазутчик!
— Поймать бы надо. — Вот ужасно нужно;
И мало ли приходит к нам людей?
Так всех ловить! Не переловишь. — Тише,
Чудак заговорил по-итальянски...

Толпа, стихая, теснится около Тасса.

Тасс

Я был во сне, но в сладостном, прекрасном!
И снилось мне, что несколько столетий
На крыльях мимо храма пролетали;
Но об его столпы их разбивали.
А я стоял на высоте, далёко.
Народ внизу то шумно прибывал,
То убывал, стихая постепенно,
То вновь кипел нежданной полнотой,
Но никогда окрестность не пустела...

(Восходит к Мости.)

Многие голоса

Как говорит и плавно и красиво!
Да смыслу нет. — Альфонс приехал в Рим,
То секретарь Альфонса, — Константини?
— Феррарский герцог? — Да. — А это кто?

Тасс

(обращаясь к народу, но не примечая чрезвычайного стечения)

Великий Рим! Уста простолюдина
Без трепета, без страха и волненья
Твое святое имя произносят!
Но тот, кто жизнь великия столицы
С вниманьем, любопытством прочитал,

Кто чудеса твоих гражда́н-героев
Постиг, запечатлел и оценил, —
Без страха тот, без трепета, боязни
Пяти шагов по улицам твоим
Не может сделать; всё под ним горит
Торжественным каким-то, дивным светом;
Смущенный, он боится наступить
На тайную гробницу человека,
Великого оружьем иль умом.

Дж. Мости встает и с удивлением смотрит на вдохновенного Тасса.

Тасс

И это всё рукою человека
Воздвигнуто! Кто ж этот человек?
Как он велик! И эти мухи-люди
В его созданиях гнездятся... Люди!
Смотрите: это он, тот человек,
О коем я сказал: великий, мощный!

Голоса

Что там, друзья, пожар он видит, что ли?

Дж. Мости

(Тассу)

Толпа тебя не понимает. Дико,
Бесчувственно она глядит. Ей странен
И темен твой торжественный язык.

Тасс

Малютки! Жаль мне вас! Какая глупость
Написана на этих мелких лицах!
Как все черты изображают ясно
То гордость, то корысть, то униженье...

Голоса

Да он ругается! — С крыльца его!
— С крыльца! Долой! — Нам умников не надо!

Тасс

Чего ревут народа шумны волны?

Голоса

Он говорит. — Послушаем. — С крыльца! ..

Тасс

Умолкни, чернь! Когда пророк вещает,
Благоговей, невежество... Ни слова!

Голоса

Кто? — Он пророк? — С крыльца его! —
С крыльца!

Народ бросается к Пантеону.

Дж. Мости

(удерживая народ)

Куда, слепцы? Подобные вам люди
Всю жизнь его несчастьями покрыли!
Со всех сторон клеветники и зависть
Изранили его младое сердце!
А он прославил вас! Не помнил он
Обид, клевет, ругательств, оскорблений;
Он бремя нес, не заслужив его.
Весь свет его как чудо превозносит...
А вы? .. Но кто вас может обвинять?
Не знаете таинственного гостя!
Я вам скажу! Благоговейте, люди!
Великий Рим! Твой гость — великий Тасс!

Народ отхлынул и с глубоким почтением несколько раз произносит имя Тасса.

Европа, мир поэтов не умеют
Ни оценять, ни награждать достойно.
Поэзия везде слывет мечтой,
Занятьем бесполезным, даже вредным;
Но Рим один отвергнул предрассудки,
От давних лет науки и искусства
Его своей столицей именуют.
Действительно, Рим есть столица славы!
В нем тысячи свершалися торжеств,
Не раз, не два разнообразный гений
Лавровыми листами обвивался!

Для славы создан Рим; и не на то ли
В его стенах бессмертный Капитолий?
И для чего, скажите, наконец,
Хранится в нем Вергилиев венец?..

Народ

(в сильнейшем волнении)

Венчать его! Венчать Торквата Тасса!
— Венчать поэта первого на свете!
— Великий к нам пришел за торжеством!

Народ, устремившись к Пантеону, поднимает Тасса на руки и уносит посреди кликов.

Да здравствует певец Иерусалима!
— К Святейшему! — Нет! прямо в Капитолий!
— Венчать его!.. Венчать Торквата Тасса.

Все уходят.

Толпа новых граждан (пробегает в том направлении, куда понесли Тасса).

Голоса

Что там за крик? — Кого несут римля́не?
— Я стар и слаб, о дочь! веди меня;
Не помню я такого шума в Риме
И радости такой еще не помню!
— Творец! Землетрясенье в Риме, что ли?
— Огонь подземный? — Нет! пожар! — Скорее,
Мы не догоним... Врач наш, Клавдий Риги...
Как он спешит! Кто умирает в Риме?

Те же и Клавдий Риги.

К. Риги

(поспешно проходя)

Великий Тасс от радости слабеет,
К нему спешу, он в доме у меня...

(Уходит.)

Весь народ

(поспешно за ним следуя)

Беги, лети! Спасай Торквата Тасса!..

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Комната Леоноры в доме кардинала д'Эсте.

Леонора

(одна, читает)

Нет! Всё не то! В стихах я этих вижу
Одну тоску незрелого таланта.
Нет силы той, того очарованья,
Кем я живу и в Риме и в Ферраре.
О, скоро ли заснет в моей груди,
Мой Тасс, воспоминание блаженства?
Как мне скрывать, чем сердце у меня
Отравлено, оковано и сжато?
Альфонс! Альфонс! Мне скучно без тебя;
Скучнее без тебя мне, Константини!
Один — ты смел глядеть украдкой в сердце
Несчастной Леоноры, и порой
Меня ласкать участьем, снисхожденьем,
И в светлом облаке манить надеждой!
Но всё прошло! Страдает герцогиня
За то, что герцогиня! .. Боже! кто там! ..

Леонора и Константини.

Леонора

Ах, Константини! Вы давно ли в Риме? ..

Константини

И часа нет! За мною следом герцог
Поспешно едет. Он боится Тасса,
Его любви к прекрасной герцогине...

Леонора

Люблю я брата, мне приятно видеть
Его всегда. Но в этот раз — я грозно
Приму его. Обидно, Константини!
Вы знаете, как мы расстались с ним?
Как только умерла сестра, Альфонс
Решился вновь принять к двору Торквата
И мне об этом объявил. Я тотчас
У брата в Рим на время отпросилась,

Чтоб не видаться более с Торкватом,
И ночью я оставила Феррару.
А он меня еще подозревает!
Но прав Альфонс! Любовь моя безмерна.
Любовь, одна любовь меня подвигла, —
Чтобы спасти Торквата, — удалиться.
Как бескорыстна я, не правда ль? Подвиг
Я совершила исполинский; чувство
Самодовольствия во мне разлилось,
И я вполне, вполне награждена!
Но что же с ним, с моей мечтой прекрасной?
Где он?

Константини

Он здесь! Я ехал через площадь
И видел чудо, герцогиня! Шумно
Народ на раменах поэта нес
Венчать венцом Вергилья в Капитолий.
Напрасно я к нему хотел пробиться:
Народ, как бы единый человек,
Был тесен, густ и неразрывен; крики
Безмерный воздух наполняли; дети,
Старухи, старцы — все за ним бежали,
И всяк из них его благословлял,
И всяк из них хотел венчать поэта.
Тогда в глазах моих блеснули слезы, —
Я, как ребенок, зарыдал. О, сладко
Под лаврами обнять такого друга,
Тем больше, если он венца достоин!
О, торжество невинности и славы!
Благословен да будет вечно промысл!
Он справедлив. . .

Леонора

И грозен! О, зачем
Венец тот не корона!

Те же и Альфонс.

Альфонс

Леонора!

Леонора

Мой брат, Альфонс! ..

Альфонс

Последняя отрада!
В последний раз пришел тебя увидеть.
Скучаешь ты в столице света, ангел!
Одну тебя нашел я с Константини!
Но где же тот, кого я так любил
И грозно так преследовал повсюду?
Кто так упорно борется со мной! ..
Я думал: он с тобой... и кровь хладела,
Щетинился мой белый волос, очи
Слезами наливались. Леонора!
Прости меня; но кто перетерпел,
Перестрадал так много в этой жизни,
Естественно, в том скоро подозренья
Родятся, умирают и родятся.
И со стыдом я признаюсь: вот повод
Единый моего приезда в Рим.
Но где же он?

Константини

Не наш он, ваша светлость!
Бессмертие его от нас отъяло
И повело на вечность в Капитолий.

Альф⟨онс⟩

Как счастлив он! Как вместе я несчастлив!
Не потому, что торжество Торквата
Меня гневит. Напротив! Очень рад!
Я сам хотел Святейшего просить;
Но весь народ предупредил меня,
И вот что очень больно для Альфонса!

Те же и Гонзаго.

Гонзаго

Какая новость, ваша светлость, трудно
Поверить... Непонятно... Тасс уж здесь...

Альфонс

Я это знал в Ферраре.

Гонзаго

Ваша светлость
Всё знаете, но вот что новость: Рим
Весь в торжестве, и завтра в Капитолий,
Согласно с волей Папы, Тасс наш вступит
И от руки народа будет венчан!
Его святейшество опасно болен,
И потому при торжестве не будет;
Но торжества не хочет отлагать,
Чтобы нечаянно у них кончина
Не вырвала двойного торжества:
У одного венца, а у другого — чести
Быть современником венчанья Тасса
И главною тому причиной. Слава
И благодарность — вот чем Рим наполнен!
Сегодня целый город осветят
Потешными огнями; завтра утром
Великое венчанье совершится!

Альфонс

Благодарю! Ты радостную новость
Принес ко мне. Мы также завтра утром
Пойдем смотреть на праздник в Капитолий
И лаврами обвитого певца
Торжественно от всей души поздравим.
На радости и то мы позабыли,
Что в дом чужой приехали, хозяин
Больной в постели ждет друзей и брата.

Леонора

Как ожидал он вашу светлость!

Альфонс

Право?
Так он меня, как прежде, любит! Боже!
Для Тасса я забыть мог даже брата!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ

Площадь пред Капитолием; весь Рим и Капитолий освещены разноцветными огнями; во многих местах видны транспаранты с вензелем «Т. Т.» и с различными аллегорическими картинами. На левой руке дом с портиком Клавдия Риги.

Толпа народа

(теснится около портика)

Перв⟨ый⟩ голос

Когда венчать назначено Торквата?

Второй

Герольды прокричали: завтра утром!
А ты не слышал.

Третий

Завтра утром? Боже!
Что если он умрет еще сегодня?!

Второй

Всё может быть, но видишь: свет зари, —
И солнце поспешает для Торквата!

Четвертый

То блеск огней.

Второй

Нет, друг мой! Вон денница
Светлее наших транспарантов блещет!

Пятый

Что Риги говорит?

Шестой

Плоха надежда;
Он проживет еще дня три, четыре...

Пятый

Не больше?

Шестой

Да! Не больше!

Седьмой

Рим отлично
Великого Торквата принял...

Осьмой

Да!
Но мертвецу не сладок фимиам.

Седьмой

Да слава камень воскресить возможет...

Осьмой

А человека может умертвить...

Те же и Тасс, поддерживаемый Д. Мости и Клавдием Риги и сопровождаемый многими людьми, выходит в портик.

Народ

Торквато Тасс! Поэту честь и слава!

Тасс

Благодарю, друзья, благодарю!
От радости я изнемог!.. Мне дурно...
О! дайте сесть... Пусть сладкий воздух Рима
Мне возвратит слабеющие силы.

Приносят кресла. Тасс садится и погружается в мечтания. Народ пребывает в безмолвии.

Тасс

(тихим, но внятным голосом)

И это всё для нищего певца!
Для бедного певца Иерусалима!..
Как оглянусь, мне кажется, я прожил
Какую-то большую эпопею,
Трагедию огромную я прожил...
День настает! Готовится развязка,
И утром я засну вечерним сном...
Настанет время, и меня не будет,

И все мои мечты и вдохновенья
В одно воспоминанье перельются!
В Италии моей уснет искусство,
Поэзия разлюбит край Торквата
И перейдет на Запад и на Север!..
Тогда в снегах, в туманном, хладном сердце
Пробудится о мне воспоминанье...
Тот юноша, холодный и суровый,
От всех храня все мысли и все чувства,
Как друга своего, меня полюбит.
Шесть лет со мной он будет без разлуки.
Еще дитя, в училище, за книгой,
Он обо мне начнет мечтать и думать,
И жизнь мою расскажет перед светом.
Как биогра́ф, холодный и пристрастный,
Он не пойдет год о́т году искать
Всех горестей моих и всех несчастий,
Чтоб в безобразной куче их представить.
Нет! Он в душе угрюмой воскресит
Всю внутреннюю жизнь Торквата Тасса
И выставит ее в науку людям...
И эти люди прибегут смотреть,
Как жил Торкват; большая половина
Трагедию прослушает без вздоха!
Всегда, везде одни и те же люди...
Но, может быть, — кто знает? — поколенья
Изменятся... Постойте!.. Вижу я:
Весь Запад в хладный Север переходит...
О! сколько там певцов и музыкантов,
Художников и умных и искусных!
Италии моей уже не видно...
Но место то, где чудная лежала,
Покрыл высокий холм — могильный холм,
Но всё еще великий и прекрасный!
В нем есть врата, и любопытный Север
Теснится в них, то входит, то выходит...
И всякий раз из чудного холма
Какой-нибудь клад дорогой уносит...
Но снова всё туманится и тмится,
И я опять один на целом свете!

(Впадает в глубокую задумчивость.)

Дж. Мости

В горячке он? Скажи мне, Риги, правду!

К. Риги

Нет, Джулио! Он к смерти очень близок,
А я читал, что будто перед смертью
Предвидят всё чувствительные люди...

Тасс

Опять народ, опять весь свет кипит!
Вот, вижу я: в толпе кудрявых тевтов
Поднялись два гиганта, и в венцах!
Один — меня узнал и сладкой лирой
Приветствует! Благодарю, поэт!
Другой мечту прекрасную голубит!
Как пламенно свою мечту он любит!
И прав поэт! Прекрасная мечта!
Но мне дика простая красота
Без вымыслов, наряда, украшений,
И странен звук германских вдохновений!
Друзья мои! Вот истинный поэт!
Послушайте, как стих его рокочет:
То пламенно раздастся, то умрет,
То вдруг скорбит, то пляшет и хохочет.
Вокруг него мороз, свирепый хлад,

Огни гаснут, рассветает.

А всё на нем цветет венец лавровый.
Откуда он? Неведомый наряд!
Под шубой весь и в шапке соболевой!
Анакреон, Гораций, Симонид
Вокруг стоят с подъятыми очами,
И Пиндар сам почтительно глядит,
Как он гремит полночными струнами!
Что ж он поет? Его язык мне нов.
В нем гром гремит в словах далекогласных,
Тоска горюет тихо, а любовь
Купается в созвучьях сладострастных!
Как тот язык великолепен, горд;
Как рифм его лобзание роскошно!
Как гибок он — и вместе как он тверд!

Благословен язык земли полночной!
Не разберу я, к сожаленью, слов,
Он, кажется, поет про честь, про славу,
Про сладкую к отечеству любовь,
Про новую полночную державу...
Но снова всё туманится и тмится,
И я опять один на целом свете.

(Погружается в совершенное забытие.)

Дж. Мости

Ах, я боюсь, он так уснет навеки...

К. Риги

Оставьте, отойдет! Уж день настал;
Капитолийский шум его разбудит;
Проснется он для песни римских дев...

Те же и благородные римские юноши и девы. (Юноши расстилают сукно от Капитолия до дома Риги. Девы, осыпая сукно цветами, приближаются к портику.)

Хор дев

Проснись, певец, и на цветы,
На лавры и оливы
Глаза и мысли обрати,
Певец красноречивый!

Тасс выходит из усыпления и встает.

Награды нет для Тасса здесь;
Что можем, то приносим;
Награды лучшей — у небес
Тебе, великий, просим!

Тасс

О, поддержите! Я слабею!
И благородных римских дев
Благодарить я не умею.
Невинности простой напев
Меня чарует и тревожит:
Увы! Полуубитый Тасс,
Прекрасные, стихами — вас
Уже приветствовать не может!

Раздаются звуки колоколов; на крышах, балконах, в окнах показывается народ.

К. Риги

Великий Тасс! Ты слышишь, время бьет!
Пора тебе идти в твои покои;
Сейчас придут старшины городские
И в Капитолий поведут. . .

Тасс

На вечность!
О, плачьте, очи, плачьте! Эти слезы
Последнее мое вниманье к людям!
Еще я ваш! Но под венцом бессмертья
Оставлю вас навеки. . . Плачьте, люди!
Не скоро к вам придет другой Торкват. . .
Но вот они уже идут. . . Всесильный!
Друзья! не суетна земная слава;
Она залог бессмертной, вечной славы!

К. Риги

Пойдем, Торкват!

Тасс

Пойдем, пойдем!

Из портика все уходят.
Толпа народа, Герольд и старшины Рима.

Герольд

Дорогу
Старшинам Рима! Расступитесь, люди! . .

Старшины, с лавровыми и оливными ветвями, при звуках музыки, проходят площадь и вступают в дом К. Риги. Колокольный звон раздается.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Узкий коридор в доме кардинала д'Эсте.
Альфонс, Леонора, Константини и Гонзаго.

Альфонс

Она должна идти на праздник Тасса!
Собой его венчание украсить!
Я так хочу! . .

Леонора

О брат мой! Ваша светлость!
Ужасный сон! .. Спросите Константини! ..

Альфонс

Ты женщина, не гений, Леонора!
Ничтожный сон мог так тебя встревожить!
Что ж снилось?

Леонора

Снилось мне, что я венец
Из рук Торквата вырвала... О боже!
Он на меня взглянул и — умер!

Альфонс

(взяв ее за руку)

Бредни!
Ребячество! Я так хочу!

Леонора

Да будет!
Твоя святая воля, Всемогущий!

Все уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Внутренность Капитолия; на одной стороне кресла на возвышении, на другой столик с Вергилиевым венцом. Кругом места для зрителей. Множество народа.
Музыка вдали играет торжественный марш; в стороне, внутри, оркестр строит инструменты.

Голоса

Позвольте мне пройти! — И так тут тесно.
— Пустите даму! — Здравствуйте, сосед!
Вы слышали, что, может быть, венчанье
Отложат: Тасс опасно болен. — Жалко;
Однако ж есть надежда? — Небольшая.
— Но старшины уже пошли к нему.

— Итак, всё скоро разрешится? — Скоро.
— Идут! Идут! — Что, если нас разгонят?
— И то случиться может.

Герольд

(за дверьми)

Расступитесь!
Дорогу первому поэту века!

Народ расступается: музыка внутри начинает играть хор. Герольды идут пред Тассом, который медленно приближается к креслам, кланяясь на приветствия народа; его поддерживают Дж. Мости и Риги; старшины, князья, вельможи и проч. сопровождают Тасса. Старшины, указав Тассу кресла, окружают Вергилиев венец.

Хор

(прерываемый криками народа и герольдов)

Аминты сладостный певец,
Певец Иерусалима!

Герольд

Дорогу первому поэту века!

Народ

Торквату Тассу слава, долголетье!..

Хор

Вступи во храм, прими венец
От радостного Рима!

Герольд

Дорогу первому поэту века!

Народ

Благословение земли и неба!

Хор

Он твой давно! Великий Рим
От радости трепещет!

Счастливый счастием твоим,
В восторге рукоплещет!

Раздаются громкие рукоплескания.

Народ

Мир, слава, честь, богатство, долголетье!

Герольд

Дорогу первому поэту века!

Народ

Благословен да будет праздник Тасса!

Тасс садится в креслы.

Хор

Да просветлеет божий свод,
И благодать господня
Да осенит нас! Твой приход
Мы празднуем сегодня!

Тасс

Я здесь умру! Здесь — на своем я месте!
Я в пристани — и ни за что на свете
К вам, в океан и горя и несчастий,
Я не сойду... Друзья! Я здесь умру!

(Встав)

Как я силен!.. Римля́не, благодарность,
Признательность за милости и ласки!!
Я от людей уж ничего не ждал,
А вы меня даруете бессмертьем.
Но, к сожаленью, только труп поэта
Один приходит за венцом лавровым.
Давным-давно, как тот вулкан, Везувий,
Я весь сгорел! Я перетлевший пепел —
И скоро злая смерть меня развеет.
Вы для меня нарушили обряды,
Вы сократили праздник торжества,
Чтоб не замучить слабого поэта...
Благодарю, еще благодарю!
Но чем же мне вас отдарить, римляне?

Поэзии закон капитолийский —
Звучать стихом, стихами благодарность
Перед народом римским изливать;
Но не могу с обрядами согласно
Приветствовать вас сладкими стихами:
Я не могу иссохшими перстами
По струнам арфы ударять —
И звуки чистых вдохновений
Из струн покорных извлекать.
Давно меня оставил гений!
Я одинок на всей земле,
Как одинокий кедр в пустыне;
Безумье на моем челе,
И пустота в грудной святыне;

Живой я мертв, души лишен;
Моя душа — воспоминанья;
Мой голос — скорбный звук страданья;
Вся жизнь моя — тяжелый сон;
Мои деянья — сновиденья;
Мои желания — мечты;
И весь я — остов, привиденье,
Симво́л могильной пустоты!

Народ рыдает.

Голоса

О бедный Тасс! О бедный, бедный Тасс!

Тасс

Но в жизни — жизни нет конца!
Она в бессмертье переходит.
На лоне вечного отца
Успокоение находит.
Туда, туда, в страну небес
Из этого спешу я света;
Но не хочу оставить здесь
Негодованье на поэта.

В час торжества и смерти в час
Хочу со всеми примириться,
Чтоб я хотя единый раз
Мог на земле возвеселиться.

За все страдания, за срам,
За муки, клеветы, гоненье
Отнесть я поручаю вам
Альфонсу от меня — прощенье!

(Садится в кресла.)

Народ

О добрый Тасс! Великодушный Тасс!
К венцу, к венцу! — Альфонс, Феррарский герцог!

Те же, Альфонс, Леонора, Константини и Гонзаго.
Старшины несут венок.

Тасс

Он здесь! Он здесь! Что вижу? Леонора!
Вот два венца: лавровый и терновый!
Тот и другой мне сладостны равно.
Альфонс, ты здесь! Как жрец и прорицатель,
Во храме славы должен я изречь
Всё, что во мне ни возбуждает гений!

(Встав)

Да будет день венчанья моего
Молитвы днем и днем благодаренья!
Да мудрому Премудрый подарит
Всё, что ни есть прекраснейшего в мире!
Да щедрому всещедрый бог воздаст
Сторицею за все благодеянья;
А зла не помнит Он — Он милосердый. . .
Альфонс, с небес поэзии своей
Торквато Тасс тебя благословляет!
Да будет мир внутри тебя и вне!
Да божий свет красуется тобою!
Да слава имени Альфонса — шумно
Мир пролетит и в каждом, каждом месте
Оставит о тебе святую память!
Но в те часы, когда благословенье
Торквата Тасса действие окажет,
Воспомни обо мне, о бедном Тассе!
Кто более любил тебя, Альфонс,
Кто более тебя, Альфонс, прославил?
О чем теперь грущу на троне славы?

Всё о тебе, Альфонс великодушный,
Что не могу октавы сочетать
Тебе же в честь, тебе же в прославленье!
Так пусть же смерть моя в твоих объятьях
Последнею моей поэмой будет!..
А ты, краса Италии и пола,
Царица дев! Последний фимиам
Поэзии из уст моих лиется!
Ты божество! Ты небо на земли!
Ты радуга грядущего блаженства!
Будь ангелом Италии моей!
Да, зря тебя, дивится добродетель,
Смущается порок... Но, силы неба!..
Какой-то новый воздух в перси льется...
Внизу толпа... вверху толпа... сиянье...
Труба гремит... то звуки вечной славы!..
Рукоплещи, великолепный Рим!
Возрадуйтесь, друзья Торквата Тасса!
Весь мир в моих объятиях объемлю,
И два венца — одной главой приемлю!!
Из торжества вступаю в торжество!
Мир вам!.. И вы восстанете из гроба!..
Я — начал жить!.. Альфонс и Леонора!..
Друзья мои!.. Простите!.. До свиданья!..

Альфонс

Венец подайте!

Тасс, простерши руки к венцу, постепенно ослабевает; смерть на его лице оставляет неподвижную улыбку; Альфонс, вырвав из рук изумленных старшин венец, взбегает на возвышение и надевает его на голову Торквата, которую поддерживает Мости; Леонора закрывает Тассу глаза; друзья Торквата также восходят на возвышение и, окружив его, проливают слезы.

Альфонс

(на возвышении, проливая слезы)

Люди! На колена!
Кончается великий человек!

Все становятся на колена; раздаются громкие рыдания; занавес медленно опускается.

1830—1831

288—291. ⟨ИЗ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ «ДЖУЛИО МОСТИ»⟩

1

Беги, фонтан, лети, фонтан,
Алмазной пылью рассыпайся!
Блестящим солнцем осиян,
То упадай, то возвышайся!
Ты жизнь моя, ты мой портрет!

Один, в саду благой природы,
Не ведая мирских сует,
В беседе чувства и свободы,
С моей божественной мечтой,
С моею радостью прекрасной,
Слова в созвучности согласной
Мечу обильною струей.

Я счастлив, как и ты! Свободно
Я лепечу слова мои,
Как ты бросаешь своевольно
Свои зеркальные струи.
Я не желаю глупой славы
И гордых не маню очей,
Не пью людских похвал отравы
И не горю в огне страстей.

Лето 1833

2

ИМПРОВИЗАЦИЯ I

К чему? Как будто вдохновенье
Полюбит заданный предмет!
Как будто истинный поэт
Продаст свое воображенье!
Я раб, поденщик, я торгаш!
Я должен, грешник, вам за злато,
За сребреник ничтожный ваш
Платить божественною платой!

Я должен божью благодать
Пред недостойными ушами,
Как дар продажный, расточать
Богохуливыми устами!
Погибни, златодушный мир,
Высоких помыслов пустыня!
Не сребролюбия ль кумир
Твоя единая святыня?
Не мзда ли — царь в твоей земле?
Пред распаленными очами
Не гидра ль движется во мгле
Бесчисленными головами
И жаждет мзды за пенязь свой?
Смотрите, взор их златом блещет,
Грудь сребролюбием трепещет,
Уста курятся клеветой.
И вам ли слушать песнопенья? . .
Прочь, дети смрадные греха!
Для торгашей нет вдохновенья,
Нет ни единого стиха!

3

ИМПРОВИЗАЦИЯ II

Простите, люди: сердцу больно
Утратить счастье многих лет,
Нарушить жертвой добровольной
Души торжественный обет.
Я расскажу вам, — были годы,
Душа невинностью цвела,
Два дара гордо берегла —
Дар вдохновений и свободы.
Свободный стих звучал шутя,
Шутя играло вдохновенье;
Из сновиденья в сновиденье
Летало божие дитя.
Везде простор, везде приволье;
Жизнь была чудно хороша! . .
И крепла вольная душа,
Как дикий лев на дикой воле.
День счастия ничтожно мал,

Путь независимости тесен.
Я шел вперед, бледнел, страдал,
Но никогда не торговал
Богатством сладкозвучных песен.
Теперь уж всё известно вам!
Певца, страдальца, не вините;
Внимайте заказным стихам,
А слову дерзкому простите.

4

ИМПРОВИЗАЦИЯ III

Чего весь Рим на Ветряной Горе,
У врат Святого Духа ждет печально? [1]
Зачем огни горят в монастыре?
И Чинтио в одежде погребальной
Один стоит в соборном алтаре?
О ком поют так смутно в келье дальной?
Идут! .. Чей гроб и в лаврах, и цветах
На иноческих движется плечах? ..

Заприте храм! Людскому состраданью
Не дайте прах великий оскорблять!
Не люди ль Тасса предали страданью;
Теперь пришли убитого венчать!
Не верьте их пустому покаянью:
Они пришли одежды разделять!
Поверьте, зависть, клевета и злоба
Находят пищу даже в недрах гроба.

(Приметив Мости, возвышает голос.)

Заприте храм! Еще есть клеветник!
Тогда он плакал чистыми слезами,
Но грех сломал, порок его проник,

---

[1] Смотри описание Рима Феи, том III, стр. 65. «На сей части Яникула, называемой ныне Ветряною Горою (Monte Ventoso), Евгений IV повелел воздвигнуть эту церковь (Св. Онуфрия) в 1439 году» и т. д. И далее на стр. 66: «Внизу и почти насупротив (церкви) находятся Врата „Св. Духа“». Торквато Тассо скончался в монастыре, а гроб его поставлен в церкви Св. Онуфрия, в притворе того же Святого.

Соблазн обвил кровавыми руками,
И прогорел хулой его язык,
Душа растлилась гнусными страстями.
Могила величайших из людей —
Жилище смрадных гадин и червей! . .

1832 или 1833

292. ⟨ИЗ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ «ДЖАКОБО САННАЗАР»⟩

Сердце бедное не знает,
Для чего и для кого
Гимн торжественный слагает!
Ум не видит ничего.
Отуманенный любовью,
Он не может рассуждать,
Он не может разгадать,
Что играет жаркой кровью!
Для него один закон —
Мерзнуть в жизни и науке;
Он не верит страстной муке,
Ничему не верит он,
Что согрето вдохновеньем,
Что в восторг облечено,
Что облито наслажденьем,
У небес похищено. . .
Свет небесный для ума —
Неразгаданная тма!
Для рассудка всё возможно,
Всё естественно и ложно!

1833

293. ⟨ИЗ ДРАМЫ «РОКСОЛАНА»⟩

Хор невольниц

На востоке солнце блещет,
На закате месяц спит,
В синеве звезда трепещет,
Море золотом горит.

Но пред яркими очами
Чернокудрой красоты,
Солнце с ясными лучами,
Ты темнее темноты.

Пред жемчужной белизною
Нежно-пламенных ланит
За серебряной фатою
Месяц, как мертвец, глядит.

Подними покров небрежный
В пору утреннего сна, —
Что пред грудью белоснежной
Сребропенная *волна*?!

Поцелуем сон ленивый
Отжени от красоты —
И заблещет взор стыдливый
Ярче утренней *звезды*. . .

1834

294. ВСТРЕЧА ПАРОХОДОВ

31 мая 1836

Вчера кипело бурно море;
Был смертный пир в его валах
И ветр на бешеных крылах
Гулял на голубом просторе. . .

Зачем сегодня тишина?
Без волн зеркальная равнина;
Как будто ангелом, пучина
Усмирена, усыплена.
Зачем так празднично одета
Окрестность дальних берегов
И небеса без облаков
Полны невинного привета,
Струится воздух чуть дыша,
Гуляют чайки на свободе? . .

Есть и в вещественной природе
Предчувствий полная душа.
Смотри, морская колесница
Летит жемчужною стезей:
Там и она — мой рай земной,
Моя любовь, моя царица...
Как звезды, вспыхнули глаза,
Душа надеждой разыгралась...

Всё пронеслось! Одна слеза
В очах обманутых осталась!

295. ОХЛАЖДЕНИЕ

(Писано в декабре 1836)

Чужое счастье втайне видеть,
Чужою радостью страдать,
Любить и вместе ненавидеть,
То прославлять, то проклинать,
Завистливым и злобным взглядом
Искать *ее*, искать *его*,
Исполниться мертвящим ядом
В пустыне сердца своего
И, заразив кругом вниманье
Ядоточивой клеветой,
Хранить коварное молчанье
Перед смущенной красотой
И только изредка сурово
В бесстрастный, хладный разговор
Бросать двусмысленное слово
Иль подозрений полный взор;
Смеяться тайными слезами
И плакать смехом; то, дрожа
Недужно, — жаркими руками
Искать отравы иль ножа...
Вот это *ревность*.
Но, по счастью,
Мне эта страсть давно чужда,
Душа поэта предана
На жертву жадному бесстрастью.

Смотрю на прочную любовь,
Взаимную холодность вижу...
Спокойна опытная кровь:
Я — *ни люблю*, ни *ненавижу*.

296—301. *ИЗ ЗАПИСОК ВЛЮБЛЕННОГО*

1

Когда прочтете всё, прочтите это снова.

И я люблю душистые цветы,
И вольных птиц воздушные напевы,
И речь разумных жен, и лепет юной девы,
И вымысла изящные мечты!
Да! занимательны природа и искусство
Во всей обширности и полноте своей...

Но разлагать, учить — гораздо веселей
Одно, отдельное, особенное чувство.
Приятно, любопытно наблюдать,
Каким путем идет всемирный предрассудок,
Как сердце рвется мир несбыточный создать,
Как этот мир разбить старается рассудок,
Как человек страстям, и мелким и пустым,
Вид добродетели дает, себялюбивый!
Как, обаян их прелестию лживой,
Несмысленно идет за призраком немым.

Молчит видение — ни слова не ответит!
Порфирой радужной скрывая тайный вид,
Бежит видение, к могиле добежит...
И гробовым огнем свой страшный лик осветит.

Блажен, кому соблазн страстей был незнаком,
Кого не потрясли земные предрассудки,
Кто хитрым и расчетливым умом
Их чествовал, им веровал — для *шутки*!

2

Декабря 7

О боже мой, как я ее люблю!..

Ни крик врагов, ни шум разгульный пира
Не отвлекут от моего кумира
Крылатых дум! Я всё *ее* пою!

Но стих моих страданий глух, невнятен,
Он к темноте загадочной привык;
Но вече чувств — особенный язык,
И редкому он может быть понятен.

В моей любви нет людям откровенья!
Пусть я паду под тайною моей,
Пусть в жизни не увижу вдохновенья,
Но не отдам *любви* на суд людей!
Я не скажу печального признанья
Ни ей, ни вам, враги страстей святых!
От вашего до моего страданья
Нет переходов, ступеней земных.
Прочь, искренность! Скорее — легкой птице,
Когда уж должно откровенным быть!
Еще скорей — разрушенной гробнице
Решусь любовь несчастную открыть;
Но никогда Элеоноре милой
Ни страстных слов, ни взоров не пошлю,
А прошепчу сам про себя уныло:
«О боже мой, как я ее люблю! . .»

3

Января 13

Заутра я приду к заветному порогу
И имя тайное таинственно спрошу.
Мне скажут: «Здесь!» — я весь воскликну: «Слава богу!»
Мне скажут: «Нет!» —
ни слова не скажу,

Но медленно по лестнице высокой
Я потащусь в торжественный покой;
Приветом заглушу порыв тоски глубокой,
Улыбкой оживлю печальный образ мой.
Клянусь! Никто моих страданий не заметит.

Но если «здесь!»... Не поручусь! В очах
Любовь волшебным пламенем засветит,
И вспыхнет жизнь во всех моих чертах.
Как вихрь, я пролечу дрожащие ступени,
Войду...— и долу упадет мой взор,
Без мыслей потечет несвязный разговор,
И задрожат смущенные колени.

Так грешный жрец, входя в заветную святыню,
Заранее ведет беседу с божеством...
Вошел, узрел блестящую богиню —
И пал немой во прах пылающим челом.

4

Января 29

Я изнемог!.. Откройте путь другой!
В душе моей зажгите пламень новый!
Молю вас: сострадательной рукой
Сорвите с жизни тяжкие оковы!

Я упаду... Мертвящая тоска
По каплям яд в больное сердце давит.
То оживит его умышленно, слегка,
То снова едкой горечью растравит...

Мне скучен стал, противен божий свет;
Несносен музы ласковой привет;
В родных досадна искренняя нежность
И дружбы оскорбителен привет...

Я болен, а недуг мой — безнадежность.

5

Ноября 13

Скажи, за что тебя я полюбил?
Люблю и не люблю встречать твой образ милый,
Как свежий крест знакомой мне могилы
Между чужих, неведомых могил.
Да! взор мой на тебе, но не тобой пылает:
Он отдаленным сходством поражен,
Несбывшихся надежд великолепный сон
В твоих очах задумчиво читает.

Как бледный свет луны порой животворит
Немую живопись, немое изваянье,
Так воскрешает твой полупрекрасный вид
Изящное об *Ней* воспоминанье.

Гордись! Судьба тебе немало подарила!
Приятно божье солнце отражать,
Быть отблеском вполне прекрасного светила,
Сиянием небес блистать и согревать.

6

Декабря 7

Э, други, полно! Что за радость
Любить и нелюбимым быть?
Весну цветов, живую младость
Как бремя, как недуг влачить?

Люблю смотреть на след картечи,
На сабли благородный след,
Когда герою славной сечи
По крайней мере сорок лет.
Но не смотрю без укоризны
На бледность юного лица,
Когда его лишило жизни
Клеймо военного свинца.

Люблю вечернее светило,
Когда оно, свернув крыле,

Исполнив день, на влажной мгле
Кровавым шаром опочило.
Но если б утренней порой
Оно вослед младой деннице
Над изумленною землей
Всплыло в вечерней багрянице? . .

Поверьте, и печаль красна!
Легко ее земное бремя,
Когда, ожиданна, она
В законное нагрянет время.
Но преждевременно отжить! . .
Для всех блистательную младость
В немой истоме растопить! . .

Э, други, полно! Что за радость
Любить и нелюбимым быть?

(1837)

302. К Н...

В саду, в окне, в театре и карете
Ты чудно хороша, ты чудных чар полна;
Как роза пышная в своем роскошном цвете,
Ты будто прелестью своей утомлена;
Но томного певца тоскующие взоры
До сердца твоего не могут достигать...

И на тебе была господня благодать,
Как на святом челе святой Элеоноры,
Но едкий света блеск, но шум его забав,
Но лесть бездушных душ, притворство и бесстрастье
Обезобразили естественный твой нрав...
Зато — ты обрела свое *земное счастье.*

О, будь же счастлива! И счастие твое
Нашло ответный стих в восторженном поэте:
Ты вдохновение, *ты счастие мое*
В саду, в окне, в театре и карете.

4 июля 1837

303. ЭЛЕГИЯ

Я здесь опять! Я обошел весь сад!
По-прежнему фонтаны мечут воду,
По-прежнему Петровскую природу
Немые изваянья сторожат;
Сто тридцать лет по-прежнему проходят,
Душа готовит им восторженный привет;
Как волны, пó сердцу стихи толпами ходят,
И зреет песнь. . .
Но не дозреет, нет!
Солнце к соловью не ходит:
Не у солнца он живет.
Если ж солнце не восходит,
Соловей не запоет. . .

Так и певец, — без женщины любимой
Нет вдохновения, нет песен и стихов.
Но луч очей блеснет жены боготворимой —
И что небесный гром, что шум твоих валов! . .
Пусть недоступная, в вельможеском уборе,
С бесстрастьем на устах, с холодностью во взоре, —
О, чудно зазвучит песнь чудная моя!
Но без нея? . .
Вот солнце закатилось;
На кратковременный покой царя светил
Военный хор с почетом проводил;
Вот рябь морских валов луной осеребрилась;
Все разошлись. Кронштадтской пушки гул
Приплыл с последним ветром запоздалый;
Петровские деревья задремали,
На их листах последний ветр уснул.
Всё упокоилось.
Но для души безумной
Нет мира в тишине: ее грызет тоска;
Сто песен в ней гремит и пламенно и шумно,
Но в этих песнях нет ни одного стиха.

10 июля 1837
Петергоф

804. ШКОЛА

Стонет море; у Рамбова
Молодой гуляет флот;
Бот от домика Петрова
В море синее идет.

Море бурно. Что бояться?
Сам хозяин у руля;
Едет по морю кататься
Государева семья.

Словно чаек робких стадо,
Невский флот, без парусов,
Государя провожая,
Шевелится у брегов.
Раззолочен, разукрашен,
Ялик Кесаря дрожит;
Кесарь, как погода, мрачен,
Сердце ужасом болит.
Смотрит Кесарь на волненье,
Как на бунт стрельцов, и ждет,
Скоро ль с бота повеленье
Государь ему пришлет
Восвояси воротиться. . .
Но, крыле раскинув, бот,
Словно лебедь, в даль плывет.
Нет указа воротиться!

Гром и молния; под тучей
И бесстрашный и могучий
Тихо плавает Орел.
Презирая непогодой,
Он зачем туда пошел
На неравный бой с природой?

Что ему твой треск громов!
Буря сильному знакома.
Он у самых облаков
Учит молодых орлов
Не бояться бурь и грома.

11 июля 1837
Петергоф

305. ⟨ИЗ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ «ИОАНН АНТОН ЛЕЙЗЕВИЦ»⟩

Пора любви, пора стихов
Не одновременно приходят...
Зажжется стих — молчит любовь,
Придет любовь — стихи уходят.
Зачем, когда моя мечта
Любимый образ представляла,
Молчали мертвые уста
И память рифм не открывала?
Нет! Я любил ее без слов,
Я говорил об ней слезами...
Поверьте, звучными стихами
Не выражается любовь...
Как память сладкого страданья,
Стихи вослед любви идут
И, как могилы, берегут
Одни воспоминанья!

1837

306. ПРОСЬБА ПОЭТА

Дай мне любви — душа воспламенится,
Дай взоров мне приветливых, живых,
Огонь поэзии отрадно загорится,
И загремит торжественно мой стих.

Твои уста с жемчужным ожерельем,
Твое чело в каштановых власах,
Твой глаз с младенческим весельем
И сладкий звук в твоих речах —

О, для всего найду я выраженья!
Как древний жрец, наитый божества,
Исполнюсь я живого вдохновенья,
И будут чар полны ничтожные слова!

⟨*1838*⟩

807. АНГЛИЙСКИЙ РОМАНС

Уймитесь, волнения страсти!
Засни, безнадежное сердце!
    Я плачу, я стражду, —
Душа истомилась в разлуке.
    Я плачу, я стражду!
Не выплакать горя в слезах...

    Напрасно надежда
    Мне счастье гадает, —
    Не верю, не верю
    Обетам коварным:
Разлука уносит любовь...

Как сон, неотступный и грозный,
Соперник мне снится счастливый,
    И тайно и злобно
Кипящая ревность пылает...
    И тайно и злобно
Оружия ищет рука...

Минует печальное время,
Мы снова обнимем друг друга.
    И страстно и жарко
Забьется воскресшее сердце,
    И страстно и жарко
С устами сольются уста.

    Напрасно измену
    Мне ревность гадает, —
    Не верю, не верю
    Коварным наветам!
Я счастлив! Ты снова моя!

И всё улыбнулось в природе;
Как солнце, душа просияла;
    Блаженство, восторги
Воскресли в измученном сердце!
Я счастлив: ты снова моя.

Август 1838

308—311. ⟨ИЗ ПОЭМЫ «ДАВИД РИЦЦИО»⟩

1

РОМАНС РИЦЦИО

Кто она и где она —
Небесам одним известно,
Но душа увлечена
Незнакомкою чудесной.

Верю, знаю: день придет,
Сердце радостно смутится,
Деву тайную найдет,
И мечта осуществится.

Ветер знает, кто она,
Облака ее видали,
Как над ней издалека
Легкой тенью пробегали.

Соловьи поют об ней,
Звезды яркие блистают
Взорами ее очей,
Но ее не называют.

2

ИЗ ПЯТОЙ ПЕСНИ

В то же время вассал молодой у первой ступеньки,
Перьями шляпы помоста касаясь, читал поздравленье.
Много романов прочел он для этой торжественной речи,
Много ночей он слагал кудрявое слово. Франциска
Сравнивал он с царем Требизонтским, Марию —
С славной волшебницей Индии, которая в сказке
С неба земель Требизонтских и ночи и тучи изгнала. . .
«В это мгновенье, — вассал продолжал, — мне рыцарство
в тягость:
Лучше желал бы я быть трубадуром бедным и темным,
С песней в устах, с гитарой в руках, на струнах Орфея
Славу Франциска, сиянье Марии до царства Плутона

В лодке Харона я бы довез... Самой Прозерпине
Я бы об вас рассказал, светила великого царства...»
Риццио, гордо пылающим взором окинув собранье,
Не дал заученной речи окончить! Возле вассала
Он преклоняет у той же первой ступеньки колено
Благоговейно и начал звонкую строить гитару...
Все изумились: дамы привстали, меж рыцарей ропот,
Герцог де Гиз покраснел от досады, но, свадебный
праздник
Новой тревогой смутить опасаясь, сказал громогласно:
«Риццио, славный певец итальянский, желает поздравить
Юных супругов, властителей наших, свадебной песнью.
Графы, бароны и рыцари, отдых венчанным супругам
Нужен в тяжелом обряде, и мы допустили Давида
Долг свой теперь же исполнить прежде других
трубадуров!..»

Герцог поправил, хотя и неловко, дерзость Давида,
Все успокоились, ропот затих, а Риццио начал:

Рыцарь! Неправедно пышное слово, —
Холодно дышит в нем вялый расчет;
Песни вчерашней, чужой и готовой,
Рыцарь, прости! трубадур не поет.
Он поклоняется солнцу с зарею,
Вечером песнью встречает луну,
Свежею песнью, невинной, живою...
Слово и звуки подвластны ему,
Шелест дубравы, ⟨и⟩ бури, и громы,
Каждая дума, и каждый предмет
Сердцу певца от рожденья знакомы,
Он их легко и понятно поет.
Всё повинуется чудному дару,
Всё отражается в ярких стихах...
Взглянет — и строит поспешно гитару...
Рифмы кипят в воспаленных устах.

И у престола певец не смутится...
Пышность — родная богатым мечтам, —
Великолепье в стихах отразится,
Роскошь даст роскошь нарядным словам!
Но у престола...

И струны, и голос певца задрожали,
Тихо он стал продолжать, выжимая каждое слово...
Каждое слово, казалось, дорого стоит Давиду.
Много слов не мог досказать, во многих аккордах
ошибся...

Но у престола, где в царской порфире
Ангел в небесной красе восседит...
Струны порвутся на трепетной лире...
Сердце не петь, а молиться велит...

Все друг на друга взглянули, Риццио бросил гитару,
Встал, на Марию глаза устремил и в странном восторге
Будто безумный стал говорить, и слезы — ручьями...

Звуки ложны; выраженья
Слабы, вялы, неверны;
Словно крылья вдохновенья
Молнией опалены!
Сердце будто небом дышит,
Смысл потерян слов земных,
И душа цепей своих,
Вдохновенная, не слышит...

Перед ангелом — во прах!
Небо у меня в очах...
Землю я возненавидел,
Потому что небо видел!..

И с слезами на очах,
И с молитвой на устах
Я паду пред чудной девой,
Пред небесной королевой,
Перед ангелом — во прах!

Странное дело! Хвалить королеву грехом не считалось!
Каждый, кто мог сочетать две рифмы, славил Марию.
Многим герцог де Гиз платил за стихи и за речи,
Сам на свой счет их печатал в Париже, Бордо и Лионе,
В пользу вдов и сирот продавал их на рынках. Нередко

За сто стихов приглашал и в Лувр мещанина
с предместья,
Медом дворцовым потчевал кравчий; великий конюший
С царской конюшни коня присылал мещанину в подарок.
Видно, за лесть награждали тогда, а за правду казнили.
Риццио искренно пел: он ангела видел в Марии.
Хладный, без чувств он повергся к ногам королевы;
Мария
Вдруг побледнела и бросилась к герцогу; герцог сурово
Стражу призвал, указал на певца, и стража поспешно
С царских очей унесла бездушное тело Давида.

8

РАСПУТЬЕ

Песнь Риццио из поэмы «Мария Стюарт»

Есть в парке распутье, — я знаю его.
Верхом ли, в златой колеснице,
Она не минует распутья того,
Моя молодая царица.

На этом распутьи я жизнь просижу,
Ее да ее ожидая.
Поедет — привстану, глаза опущу,
Почтительно шляпу снимая.

И сердце с вопросом: взглянула ль она?
Певца увидала ль смущенье?
Сурова ль сегодня, мила ли, нежна?
Какое в лице выраженье?

«Зачем же ты быстрых не поднял очей?
Для взоров и боги доступны!»
— «Не смейтесь, молю вас, печали моей!
О други, *те взоры преступны*».

4

ИЗ АЛЬБОМА РИЦЦИО

Вчера, увенчана алмазной диадимой,
С приятной важностью высокого чела,
Ты неожиданно к окошку подошла,
И сердце облилось тоской невыразимой.

Ты встретила смущенный мой поклон
Каким-то снисходительным приветом,
И музам я опять насильно возвращен,
Против желания опять я стал поэтом.

Я снова предался мечтаньям о тебе:
Догадкам радостным, обманчивой надежде,
То бурной ревности, то ласкам и мольбе,
Всем чувствам бешеным живой любви, как прежде.

Заметив страстную души моей грозу,
Ты медленно ушла к далекому камину,
И я опомнился: невольную слезу
Снял с бедных глаз. . . Но всё глядел на диадиму.

В вечернем сумраке вечернею звездой
По-прежнему в венце брильянтовом сияла,
Как будто, гордая, на дерзкий пламень мой
Алмазной диадимой отвечала.

«Не забывай, что я, — хотела ты сказать, —
Как звезды высока, блистательна как звезды,
Там, где одни орлы свои свивают гнезды,
Приземной пташке не летать».

⟨1839⟩

312. ⟨ПОСЛАНИЕ К И. П. МЯТЛЕВУ⟩

Мы в ужасном embarras,[1] —
Раздавать давно пора
Au concert billets d'entrée,[2]
А не знаем, как и где.
Только три дня впереди —
Lundi, Mardi, Mercredi[3].
Окажите нам faveur[4] —
Будем ли иметь honneur[5]
В вашем зале faire musique?[6]
Tout à vous.[7] Н. Кукольник.

Конец 1830-х — начало 1840-х годов

313. ЛЕНОРЕ

Ленора! с страхом и слезами
Давно молюсь перед тобой
Моими тайными стихами,
Моею тайною мольбой.
Порой, соскучив шумом света,
Домой рассеянно придешь,
Возьмешь молитвенник поэта,
Читаешь, дремлешь и уснешь!

Ни легкой тени подозренья,
Кому молитвы сложены,
Кому певцом посвящены
И жизнь, и ум, и вдохновенья.
И слава богу! Может быть,
Спасительно страдать украдкой,
Действительность — надеждой сладкой,
Сомненьем — веру заменить.

⟨1840⟩

---

[1] Затруднении.
[2] Входные билеты на концерт.
[3] Понедельник, вторник, среда.
[4] Милость.
[5] Честь.
[6] Музицировать.
[7] Весь ваш (франц.). — *Ред.*

814. ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
ИЗ НЕДОКОНЧЕННОЙ ПОЭМЫ

Простите, добрые друзья!
Нас жизнь раскинет врассыпную,
Всё так, но где бы ни был я,
А вспомню вас — и затоскую!

Нигде нет вечно светлых дней,
Везде тоска, везде истома,
И жизнь для памяти моей —
Листки истертого альбома.

Разгул — с отравленным вином,
Любовь — с поддельными цветами,
Веселье — с золотым ярмом,
И лесть — с змеиными устами. . .

Прощайте, глупые мечты,
Сны без значения, прощайте!
Другую жертву суеты
Игрой коварной обольщайте.

А слава, рай когда-то мой,
Возьми назад венец лавровый!
Возьми! Из терний он! Долой
Твои почетные оковы!

Другого им слепца обвей!
Вели ему на чуждом пире,
Гостям в потеху, у дверей,
Играть на раскаленной лире!

Есть неизменная семья,
Мир лучших дум и ощущений,
Кружок ваш, добрые друзья,
Покрытый небом вдохновений.

И той семьи не разлюблю,
На детский сон не променяю,
Ей песнь последнюю пою
И струны лиры разрываю.

⟨1840⟩

815. РОМАНС

Стой, мой верный, бурный конь,
У крыльца чужого!
И земли сырой не тронь
Сребряной подковой.
Я как тень проникну в дом,
Ложе их открою,
Усыплю их вечным сном,
Смертью упокою.
Вот тогда неси меня
На утес высокий,
И с утеса и с себя
Брось в Хенил глубокий...
Чую звонкий стук копыт,
Слышу стон ревнивый,
Быстрой молнией летит
Конь его ретивый.
Сердце дрогнет, мгла в очах,
Слезы кровью льются,
Нет молитвы на устах,
Речи страхом рвутся...
Брось кинжал, он не спасет, —
Рок его притупит;
Пусть изменница умрет, —
Смерть прощенье купит.
Брось кинжал и смерти жди,
Соблазнитель милый,
Мы умрем, как рождены,
Для одной могилы!

Три кипариса над могилой
Бросают тень на три луны,
Три разноцветные чалмы
Качает ветр уныло.
Кругом равнина грустно спит;
Лишь в свежий дерн могилы новой
Конь, андалузский конь стучит
Серебряной подковой.

⟨1840⟩

316. ⟨ИЗ РОМАНА «ЭВЕЛИНА ДЕ ВАЛЬЕРОЛЬ»⟩

VIRTUS ANTIQUA[1]

Прости! Корабль взмахнул крылом,
Зовет труба моей дружины!
Иль на щите иль со щитом
Вернусь к тебе из Палестины.
Молва о подвигах моих,
Шумя, придет моим предтечей,
И лавр из нежных рук твоих
Наградой будет мне и встречей.

Клянуся сердцем и мечом:
Иль на щите, иль со щитом!

Сто битв, сто рек, сто городов
О имени твоем узнают,
На сто языках сто певцов
И запоют и заиграют!
И, вновь волнуясь и шумя,
Твоей великой славы полны,
К твоим стопам примчат меня
Могучие, седые волны. . .

Клянуся сердцем и мечом:
Иль на щите, иль со щитом!

Но если приговор судьбы
В боях пошлет мне смерть навстречу,
На грозный зов ее трубы
Я именем твоим отвечу!
Паду на щит, чтоб вензель твой
Врагам не выдать, умирая;
И, побежден одной судьбой,
Умру, тебя благословляя!

Клянуся сердцем и мечом:
Иль на щите, иль со щитом!

Июнь 1840

---

[1] Древняя доблесть (лат.). — *Ред.*

317. ⟨ПЕСНЯ ИЗ ДРАМЫ «КНЯЗЬ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ ХОЛМСКИЙ»⟩

Ходит ветер у ворот, —
У ворот красотки ждет.
Не дождешься, ветер мой,
Ты красотки молодой.
    Ай люли, ай люли,
    Ты красотки молодой!

С парнем бегает, горит,
Парню шепчет, говорит:
«Догони меня, дружок,
Нареченный муженек!»
    Ай люли, ай люли,
    Нареченный муженек!

Ой ты, парень удалой,
Не гоняйся за женой!
Ветер дунул и затих, —
Без невесты стал жених.
    Ай люли, ай люли,
    Без невесты стал жених!

Ветер дунул, и Авдей
Полюбился больше ей. . .
Стоит дунуть в третий раз —
И полюбится Тарас!
    Ай люли, ай люли,
    И полюбится Тарас!

Июнь 1840

318. ЖАВОРОНОК

Между небом и землей
    Песня раздается,
Неисходною струей
    Громче, громче льется.

Не видать певца полей!
    Где поет так громко

Над подружкою своей
      Жаворонок звонкой.

Ветер песенку несет,
      А кому — не знает.
Та, к кому она, поймет.
      От кого — узнает.

Лейся ж, песенка моя,
      Песнь надежды сладкой...
Кто-то вспомнит про меня
      И вздохнет украдкой.

11 июля 1840

319. ПОПУТНАЯ ПЕСНЯ

Дым столбом — кипит, дымится
            Пароход...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Православный веселится
            Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.

Нет, тайная дума быстрее летит,
И сердце, мгновенья считая, стучит.
Коварные думы мелькают дорогой,
И шепчешь невольно: «О боже, как долго!»

Дым столбом — кипит, дымится
            Пароход...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Православный веселится
            Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.

Не воздух, не зелень страдальца манят, —
Там ясные очи так ярко горят,

Так полны блаженства минуты свиданья,
Так сладки надеждой часы расставанья.

Дым столбом — кипит, дымится
Пароход...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.

15 июля 1840

320

Холмистые дали как волны
Над морем тумана встают,
И силы, и свежести полны,
Пришельца в объятья зовут!

За óтрогом — лес в отдаленьи,
За нивою — зеркало вод;
Овраги, потоки, каменья —
Всё мимо, всё дальше, вперед!

В трущобе, сердито беснуясь,
Холодный грохочет ручей,
Туманы ложатся, волнуясь,
А в роще гремит соловей.

Как серны, привычные кони
На черных висят крутизнах
Иль стелятся с жаром погони
По утлым тропинкам в горах.

И смотрит Юпитер приветно
На наш врассыпную поход,
И ждет нас на сон безответный,
Нас Веспер на сходку зовет.

Аврора проснулась, умылась,
Румяным потоком легла,
И Токсова даль озарилась,
И Фебом сменилася мгла.

Венчанный возница пускает
Своих лучезарных коней,
И, кудри откинув, сияет
В парадной ливрее своей.

И óбдал он златом озера,
Кустарники, долы, леса. . .
Мы Фебу воскликнули: «Фора!
Браввиссимо! vivat, ура!»

Начало 1840-х годов

821. ИМПЕРИЯ

У ног могилы Гедымина,
Теснясь, толпится шумный град;
Пред ней разбитая твердыня
Великокняжеских палат.
Пред злачным куполом могилы
Церквей восходят купола,
И громы русского орла
У той могилы опочили. . .
О Гедымин! В стране родной
Почиет мирно пепел твой!

Кругом враги когда-то были, —
Ливонцы, Новгород и Псков;
Татар, волынцев, полякóв
Сюда наезды заходили;
Кругом сто княжеств и врагов,
Сто исповеданий различных
На ста языках, и столичных
Сто многолюдных городов.
Но смолкли бури боевые:
И все и вся — теперь Россия!

Не семь холмов, а семь морей —
Подножие святой державы!
Три части света — ложе ей,
Полмира — мера русской славы!
И, будто дома, рыжий финн
Могилу роет Митридата,
С товаром тащится литвин
От Арарата до Карпата,
С Амура в Калиш наш солдат
Идет прогулкой на парад!

⟨1842⟩

322. К ДОНУ

Здорово, старый Дон, здорово, Дон унылый!
Как родина моя, ты стал мне свят и мил;
Я полюбил тебя из всей казачьей силы,
Твои печали все к душе своей привил.
Казацкая страшна была когда-то сила:
С своими лодками ты пенил Черный понт,
И кланялся тебе Азов и Трапезонт.
Но ты разбогател — и зависть страх сменила:
Уж не к тебе идут, а ты к ним на поклон!
Богат ты, старый Дон, и углем, и вином,
И рыбой всякою, и солью, и скотом.
Богат ты, старый царь Азовского поморья,
Тебе не надобно стороннего подспорья;
Богат, а сам в пыли лежишь!
Как у младенца, спит твоя простая совесть,
Бредешь ты нищенски и про себя ворчишь
Геройских дел и бед страдальческую повесть.
Я вслушался в нее, запечатлел душой,
Ношу ее в себе и донесу потомкам...
Всплесни же, старый Дон, веселою волной,
Благословенье дай казачества обломкам.
Ведь ты пред смертию — твой час последний бьет:
Под орифламмою священных преимуществ
В грудь благородную граф Киселев воткнет
Меч государственных имуществ.

1847

323. БАЛ НА ЛЬДУ

Помнишь ли, мой идол гордый,
Праздник в честь седой зимы —
На груди немой и твердой
Льдом окованной Невы?

Звезды блещут на балконах,
Солнца ночью зажжены,
И в кристальных павильонах
Разноцветные огни.

Дико, весело и шумно,
Мчатся тени на коньках...
Пламя тешится безумно
Над красавицей в цепях.

Пламя, шум и звуки рая
Не разбудят ото сна;
И русалка ледяная
Безответно холодна!

В этом мифе муки страстной
Полный смысл моей мечты:
Пламя — это я, несчастный,
Ледяная — это ты!

324

Есть имена: любовника, супруга...
Их ветхий смысл был дорог всем векам;
Но, ангел мой, простое имя друга
Я предпочту всем прочим именам.
Нет, не дари и этого названья,
И в дружбе есть корыстные мечты;
А у престола чистой красоты
Преступны и чистейшие желанья!
Нет! Бог с тобой! Любовью безыменной
Доволен я — мне нечего желать:
Есть слезы у меня, твой образ вдохновенный,
Живою памятью так верно сохраненный,
И горькое умение страдать.

А. В. ТИМОФЕЕВ

Алексей Васильевич Тимофеев родился 15 марта 1812 года в городе Курмыше Симбирской губернии. Двенадцати лет он был отправлен в Казань, где четыре года проучился в местной гимназии, а потом еще три года в Казанском университете (на нравственно-политическом отделении). Окончив его в 1830 году со званием кандидата юриспруденции, Тимофеев едет в Петербург и вскоре устраивается там на место помощника столоначальника в департамент уделов.

В 1832 году он публикует прозаическую пятиактную драму «Разочарованный» в неистово-романтическом вкусе, а в следующем году — три небольших сборника по двенадцать песен каждый. Неуспех этих изданий[1] не охладил писательского энтузиазма Тимофеева. В 1833 году он напечатал «Послание к Барону Брамбеусу» (то есть О. И. Сенковскому), в котором, между прочим, взывал: «Научите меня, ради бога, как мне сделаться известным!.. я не имею расположения ни к какой службе. Для гражданской слишком беззаботен; для военной слишком чувствителен; для ученой — слишком мало учен; я родился быть поэтом».[2] «Послание», как и некоторые художественные произведения Тимофеева, было написано в том серьезно-наивно-курьезном тоне, который отдавал мистификацией, но на самом деле был чужд подобной цели.

Заигрывание с Бароном Брамбеусом кончилось тем, что последний вдруг предоставил Тимофееву самую обширную в то время литературную трибуну в России — журнал «Библиотека для чтения». Подобно Кукольнику, Тимофеев сделался присяжным сотрудником журнала Сенковского по отделу «изящной словесности», который он в течение 1835—1839 годов из месяца в месяц наполнял своими стихами и прозой. Не довольствуясь этим, Тимофеев печатает отдельными изданиями свои «фантазии» — «Поэт» (1834) и «Елисавета Кульман» (1835), повесть «Художник», пьесы «Счастливец» (1834),

---

[1] В анонимной заметке «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду"» Тимофеев был даже высмеян (1834, 15 сентября).

[2] «Сын отечества и Северный архив», 1833, № 27, с. 7—8.

«Рим и Карфаген» (1837). В 1837 году он уже выступает с трехтомным собранием своих сочинений под заглавием «Опыты». В том же году по случаю издания немецкого перевода «Елисаветы Кульман» Сенковский печатает панегирический отзыв о Тимофееве-поэте, провозглашая его достойным преемником Пушкина («Библиотека для чтения», 1837, № 4).

Популярность Тимофеева в кругах малокультурной провинциальной публики — в основном на вкусы этих читателей и ориентировалась «Библиотека для чтения» — была своеобразно отмечена Белинским. В уста одного из персонажей своей пьесы «Пятидесятилетний дядюшка» (1838), действие которой происходит в глухой провинции, Белинский вкладывает реплику: «Ах, я больше всего люблю господина Тимофеева... А мистерии его — какие страшные — все о преставлении света...» Другой персонаж с такими же примитивными запросами поддакивает: «Да, господин Тимофеев — поэт важный — пишет с большим чувством — лучше Пушкина». [1]

Как поэт и беллетрист Тимофеев в 30-е годы выступал в личине отчаянно мрачного байронизма. Неподлинность этого байронизма в эпоху стеснения всякой протестующей мысли не казалась очевидной, особенно в начале литературной деятельности Тимофеева, поскольку отсутствие глубины и серьезности в его критике нравов могли быть отнесены за счет незрелости его таланта. В 1834 году с Тимофеевым познакомился цензуровавший его книги либерально настроенный А. В. Никитенко. По его словам, это был человек, одаренный «пламенным воображением, энергией и талантом писателя. Доказательством того служат его «Поэт» и «Художник», две пьесы, исполненные мысли и чувств. Он совершенно углублен в самого себя, дышит и живет в своем внутреннем мире страстями, которые служат для него источником мук и наслаждений... Я не мог допустить к печати его пьес без исключений и изменений: в них много новых и смелых идей. Везде прорывается благородное негодование против рабства, на которое осуждена большая часть наших бедных крестьян. Впрочем, он только поэт: у него нет никаких политических замыслов» [2] (запись в дневнике от 11 июня 1834).

Испытавший на себе ярмо крепостной неволи, Никитенко проникся симпатией к творцу повести «Художник», герой которой — крепостной интеллигент, страдающий от униженного общественного положения. Но он не сразу разглядел, что «смелость» Тимофеева не

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 3, М., 1953, с. 548.
[2] А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, т. I, М., 1955, с. 145—146.

шла дальше либеральной, подчас рискованной фразеологии, а благородное «негодование» возбуждалось не чем иным, как инерцией абстрактной отрицающей мысли.

Романтическая отрешенность от жизни и углубленность в себя во многих случаях способствовали обогащению внутреннего мира и открытию новых художественных ценностей. Но у поэтов литературной периферии такая отъединенность таила опасность разрыва внутреннего мира с живой действительностью, что неминуемо вело к опустошению замкнутого в себе сознания. Поэзия Тимофеева — яркая тому иллюстрация. Аскетическая сухость его художественного воображения, впрочем весьма подвижного, подстегиваемого неукротимой жаждой самовыражения, восставала против реальной жизни, как бы осуществляя над ней акт мести.

Поэзия Тимофеева сохраняет видимость идеалов — точку зрения абстрактного совершенства, с высоты которой люди, их интересы и поступки выглядят безмерно порочными и мелкими, а вся человеческая история — сплошной летописью преступлений. Обвинение падшего человечества во всевозможных грехах у Тимофеева вполне логично завершается идеей божественного возмездия, воплощенного в картинах конца света (мистерия «Последний день», стихотворения «Последнее разрушение мира», «Последний день Помпеи» и др.).

Единственный положительный герой Тимофеева — поэт, художник, гениальный мечтатель. Но он не живет реальной жизнью и даже не нуждается в ней. Его предназначение в том, чтобы умереть, то есть удалиться в свое истинное небесное отечество, почить в лоне бога. Такова «положительная» сущность этого образа.

Тимофеевская критика действительности, в которой иногда попадались социально острые обвинения, в целом была крайне легковесной и безобидной, ибо удары ее направлялись на отвлеченные, общечеловеческие пороки. Стремление схватиться за что-нибудь конкретное, прикоснуться к почве народной жизни у Тимофеева были, и в ряде случаев эти попытки оказывались не совсем тщетными. В частности, заслуживают внимания его песни на фольклорные и деревенские мотивы («Простодушный», «Борода», «Свадьба» и др.). Но в основном сочинения поэта сохраняют лишь исторический интерес, как яркое выражение крайностей в романтизме 30-х годов.

С 1840 года имя Тимофеева исчезло со страниц «Библиотеки для чтения», а в 1842 году Белинский говорит о нем как о совершенно забытом стихотворце,[1] хотя тот продолжал печататься в «Маяке».

---

[1] В. Г. Белинский, Рецензия на стихотворения М. Демидова. — Полн. собр. соч., т. 6, М., 1955, с. 336.

Но с 1843 года Тимофеев вовсе замолк. Он переменил службу — ушел из редакции «Журнала министерства народного просвещения», где числился с 1836 года, и поступил столоначальником в департамент министерства юстиции. Через три года Тимофеев получил назначение в Уфу и здесь в течение четырех лет прослужил в должности губернского прокурора. Затем он взял отставку и поселился в имении жены, брак с которой сделал его состоятельным человеком.

В 1856 году Тимофеев обосновался в Москве и снова вступил в службу. Четырнадцать лет подряд он занимал пост секретаря при московских генерал-губернаторах. В 1870 году Тимофеев в чине действительного статского советника удалился на покой. Все эти годы он не переставал сочинять. «У него со временем развилось странное направление, — рассказывал Никитенко: — он писал и прятал все написанное. У него полны ящики исписанной бумаги, которые он мне показывал» [1] (запись от 28 марта 1856 года). Никитенко характеризует теперь Тимофеева как писателя-машину, для которого творчество «было род какого-то животного процесса, как бы совершавшегося без его ведома и воли. Он мало учился и мало думал. Как под мельничными жерновами, у него в мозгу все превращалось в стихи» [2] (запись в дневнике от 28 марта 1856 года).

Неожиданно для всех Тимофеев снова выступил на литературной арене в 1875—1876 годах с огромным стихотворным опусом в несколько тысяч строк под заглавием «Микула Селянинович, представитель земли». Отчаянный байронист стал певцом народа-земледельца, олицетворенного в образе Микулы Селяниновича. [3] Но и теперь Тимофеев остался верен себе: былинный Микула под его пером превратился в головную схему, в абстрактное собирательное понятие, обозначающее крестьянство вообще. В результате повествование вышло далеко за пределы национальной тематики. Первоначальное название поэмы — «Воскрешение мертвых» — прямо формулировало ее главную мысль: пробуждение порабощенного народа от многовекового мертвенного оцепенения, воскрешение его изначальной, древней свободы. Однако самоотверженная борьба русского крестьянства за лучшую долю вовсе выпала из поля зрения Тимофеева. Его глубоко пассивное, схематичное сознание было не в состоянии отразить

---

[1] А. В. Никитенко, цит. изд., т. I, с. 434—435.

[2] Там же, с. 434—435. Сравнение с жерновом едва ли не навеяно рассказом Тимофеева «Живая мельница», герой которого превращается в мельницу.

[3] Ранним предвестием этой метаморфозы был пролог к поэме об Илье Муромце («Богатырские сборы Ильи Муромца»), напечатанный в «Маяке», 1843, т. 11, кн. 21, приложение.

какой бы то ни было деятельный образ жизни, а тем более героический. Вопиющее несоответствие приемов изображения с темой первостепенной жизненной важности, монументальный размах и художественная бесформенность свидетельствовали о падении творчества Тимофеева до уровня отъявленной графомании. С 1876 года его имя в печати не появлялось. Умер Тимофеев 1 июля 1883 года.

325. МИЗАНТРОП

Не удивляйся, милый мой,
Что я угрюмый и немой,
Среди забав, во цвете лет,
Смотрю так холодно на свет!

Одним приемом выпил я
Всю чашу сладкого питья,
И на холодном, мутном дне
Одна лишь желчь осталась мне.

Одним ударом я разбил
Картину счастья, и без сил,
С разочарованной душой
Упал, подавленный судьбой.

Но уж очнулся, милый мой,
С душой капризной и больной;
И ей смешны с тех пор и рок,
И добродетель, и порок.

Между 1830 и 1833

326. ПРОСТОДУШНЫЙ

Говорят, есть страна,
Где не сеют, не жнут,
Где всё песни поют.

Где мужья видят жен
В месяц раз, много — два,
Где всё песня одна...

Где живут так и сяк,
Чтоб блеснуть, да пожить,
Да поесть, да попить.

Где умен, кто силен,
Где отцы — чудаки;
Где все носят очки.

Где есть всё напрокат:
И друзья, и жена,
И парча, и родня.

Где всё лезет, ползет
Тихомолком, тайком,
Всё бочком, червячком.

Где сквозь солнце льет дождь,
Где всегда маскарад:
Пой, пляши — рад не рад.

Где ж она, та страна,
Где не сеют, не жнут,
Всё поют да ползут?

Между 1830 и 1833

827. ТОСКА ПО ОТЧИЗНЕ

Ах вы, ветры, ветры буйные,
Ветры буйные, залетные,
Принесите вы мне весточку
От родной моей сторонушки!
Там так ярко солнце красное,
Там свежи луга зеленые,
Там родная Волга-матушка,
Там звучна так песнь разгульная!..

Скучно, душно, ветры буйные,
Жить в темнице разукрашенной,

Видеть небо всё туманное,
Слышать песни всё зловещие.
Всюду светит солнце красное,
Есть повсюду люди добрые,
Но нигде нет другой родины,
Нет нигде ее радушия.

Разнесите, ветры буйные,
Грусть-тоску мою, кручинушку,
Успокойте сердце бедное, —
Всё изныло в злой неволюшке.
Так и рвется горемышное!
Скучно, горько на чужбине жить!
Посмотрел бы хоть на родину,
Хоть взглянул бы на родимый кров.

Между 1830 и 1833

828. ПЛОВЕЦ

Лети, челнок мой легкокрылый,
Куда судьба тебя влечет;
Сквозь мрак полуночи унылой,
Быть может, звездочка мелькнет.

Быть может, там — в дали туманной —
Тебя твой день желанный ждет,
И над страною безымянной
Родное солнышко взойдет.

Лети, лети, мой легкокрылый,
Куда судьба тебя влечет!
Среди полуночи унылой,
Быть может, час твой уже бьет!

Между 1830 и 1833

329. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА

(Любительницам чрезвычайно страшного)

Спи, малютка,
Спи спокойно,
Баю-баиньки-баю!

В темной роще
Есть могила;
В мрачном лесе
Есть другая.
В темной роще
Стонет голубь;
В черном лесе
Воют совы.
Пусто, тихо
В роще темной;
Мрачно, дико
В лесе черном.

Спи, малютка,
Спи спокойно,
Баю-баиньки-баю!

Жили-были
Брат с сестрою.
Демон в брата
Поселился;
Брат в сестрицу
Вдруг влюбился.
Клара с братом
Разлучилась;
Клара в келью
Заключилась.

Спи, малютка,
Спи спокойно,
Баю-баиньки-баю!

Страшно в полночь
Выла буря,

Вихрь бил в ставни,
Дождь лил ливмя;
Чудно, страшно
Каркал ворон,
Страшно, шумно
Было в поле;
Шумно, чудно
Было в келье.

Спи, малютка,
Спи спокойно,
Баю-баиньки-баю!

В темной роще
Через утро
Появились
Крест с могилой.
В мрачном лесе
Через месяц
Путник встретил
Труп холодный.
Труп был черен,
Уголь углем;
Вместо носа
Кость да яма,
Рот исклеван
Ястребами;
Лоб источен
Весь червями;
Возле трупа
Нож булатный...

Спи, малютка,
Спи спокойно,
Баю-баиньки-баю!

1832 или 1833

880. СВАДЬБА

Нас венчали не в церкви,
Не в венцах, не с свечами;
Нам не пели ни гимнов,
Ни обрядов венчальных!

Венчала нас полночь
Средь мрачного бора;
Свидетелем были
Туманное небо
Да тусклые звезды;
Венчальные песни
Пропел буйный ветер
Да ворон зловещий;
На страже стояли
Утесы да бездны,
Постель постилали
Любовь да свобода!..

Мы не звали на праздник
Ни друзей, ни знакомых;
Посетили нас гости
По своей доброй воле!

Всю ночь бушевали
Гроза и ненастье;
Всю ночь пировали
Земля с небесами;
Гостей угощали
Багровые тучи.
Леса и дубравы
Напились допьяна,
Столетние дубы
С похмелья свалились;
Гроза веселилась
До позднего утра.

Разбудил нас не свекор,
Не свекровь, не невестка,
Не неволюшка злая —
Разбудило нас утро!

Восток заалелся
Стыдливым румянцем;
Земля отдыхала
От буйного пира;
Веселое солнце
Играло с росою;
Поля разрядились
В воскресное платье;
Леса зашумели
Заздравною речью;
Природа в восторге,
Вздохнув, улыбнулась...

21 февраля 1834

331. ПОЭТ

СЦЕНА 1

Пещера на берегу моря. Вдали цепь утесов, кругом лес. Ночь. Гроза. Посреди пещеры полуразрушенная гробница. На одном из обломков сидит Поэт. Из гробницы вылетает слабый стон.

Поэт

Кто здесь?

Голос

(из гробницы)

Твой Гений!

Поэт

Мой Гений, коварный обманщик!

Голос

Он прилетел за примиреньем.

Поэт

Поздно!

Голос

Мир — отблеск бога, человек!
Мириться никогда не поздно.

Поэт

Оставь меня!

Голос

Поэт, Поэт!..
Я искуплю твои страданья,
Отдам в сто крат, чего лишил!
Ты возродишься новой жизнью,
Всё расцветет кругом тебя,
Ум озарится вдохновеньем,
В груди проснется пыл страстей,
Душа сольется с небесами,
В тебе воскреснет новый мир!..

Поэт

Умолкни, соблазнитель!

Голос

Я сотворю тебя владыкой,
Царем и неба, и земли;
Отдам все царства, и народы
Тебя почтут, как божество.
Ты станешь выше человека,
В своей душе вместишь весь свет!
Я дам тебе святую силу
С природой сердцем говорить,
В сердцах людей читать, как в книге,
И понимать добро и зло;
Я дам тебе целебный ба́льзам
От всех несчастий и невзгод,
Раскрою таинства природы,
Вручу златой, волшебный жезл —
И одичалую пустыню
Ты превратишь в небесный рай,
Огонь — в студеный ключ, чертоги —
В безвестный, мрачный, душный гроб!

Смотри, какой хаос в природе, —
Вой ветра, грохот, блеск, гроза.
Вихрь гонит вихрь и гром за громом;
Светло, как в полдень, жжет глаза!..
Всё стонет, в ужасе дрожит...
То бог с вселенной говорит!..
Как этот бог великий, грозный,
Ты станешь с миром говорить!
И твой язык, досель ничтожный,
В душе людей, как божий глас,
Кипящим звуком отзовется...

Поэт

Исчезни, злой дух!

Голос

Ты отвергаешь чашу жизни,
Святой, божественный фиал!
Дитя, напуганное громом!
Ты позабыл, что без него
И солнце летнее — зараза,
Что вы живете разрушеньем,
Что и душа, небесный цвет,
Есть только вечная могила...
Да! И в душе страсть губит страсть,
Одно желание — другое,
Надежда — горе, горе — смех;
Мысль тонет в мысли, чувство в чувстве...
От жизни к смерти — только шаг!
Жизнь без поэзии — пустыня,
Холодный остов без души,
Добыча жалкая расчетов,
Огонь без света...

Поэт

Да, ты прав!
Жизнь без поэзии — пустыня,
Изъеденный червями труп.
Но что ж поэзия, злой демон,
Твой расхваленный дар небес?
Всё тот же остов на ходулях,

Под галванизмом — тот же труп!
Оставь меня!

Голос

Неблагодарный!
Я с любовью нежной матери
Пред тобою здесь стою
И с улыбкой примирения
Чашу жизни подаю...
Пред тобою отверзается
Мир блаженства и мечты,
Мир прелестный вдохновения,
Свет небесной красоты!..
Ты ж, наскучив светом, жизнию,
Избалованный судьбой,
С ядом в сердце, хладным призраком
Встал меж счастьем и собой!
Вдохновенье — гость залетный здесь,
Улетит и не воротится,
Унесет с собой все радости,
Все мечты и наслаждения...

Поэт

Оставь, оставь меня, мой Гений!
Не чад волшебных вдохновений,
Не ты, не жизнь наскучили мне... Нет!
Я сам себе наскучил — я, весь свет.
Земля и небо!.. Жизни сладость
Не соблазнит меня. Я жил.
Жизнь давит в гроб меня! Мне душно
Под этим сводом неба. Да!
Я весь разрушился; уснули
Желанья, воля, вся душа...
Осталось только чувство жизни,
Одно слепое чувство...

Голос

Нет!
В твоей груди всё те же страсти,
Всё та же воля, та же жизнь!
Поэт — Везувий! То вдруг вспыхнет,
Вдруг заклокочет, закипит,

То вдруг охладеет, затихнет,
Замрет, как могила, и спит,
Пока не блеснет вдохновенье...
Одна лишь искра — и опять
Везувий мертвый — гром и пламя!

Поэт

Какой же искрой можешь ты
Зажечь усопшие мечты!
Каким волшебным вдохновеньем
Ты оживишь холодный труп!
Нет, нет! Оставь меня, мой Гений!
Я изнемог для вдохновений!
Я сам не чувствую себя!
В глазах темно, в душе темнее...
На сердце камень, ум заглох,
В ушах то гул колоколов,
То вдруг могильное молчанье...
Отвсюду веет пустотой,
В ногах свинец, во всем хлад смерти.
О, этот камень во сто крат
Счастливее меня... Он — камень!
А я... я чувствую, живу,
Томлюсь, дышу, смотрю, страдаю;
Хочу понять... не понимаю!
Хочу рассеяться... нет сил!
Хочу желать — и нет желаний!..
И день и ночь влачу, как груз,
Свое безжизненное тело...
Один, как бог, во всей вселенной,
И то в оковах!
Слушай, дух!

Я готов с тобою примириться, готов снова предать себя на жертву всем твоим ужасным пыткам. Одно условие! Пробуди во мне какое-нибудь желание, укажи какую-нибудь цель в этой мелочной, бездушной жизни... Какую-нибудь цель, которая заняла бы меня, хотя на несколько дней. Несколько дней деятельности — и я доволен!

Гроза усиливается.

Голос

Любовь и дружба.

П о э т

Те же бредни,
Что и поэзия!.. Одна —
Дитя холодного расчета,
Под маской чувства эгоизм;
Другая — чад, угар, горячка;
Сначала — Этна, а потом...
Потом — простая мыть — желанье!
И что любить? Кого любить?
Кого, мой Гений?

Г о л о с

Добродетель!

П о э т

Всё та же песня, тот же чад!
Скажи мне, что за добродетель
У нас на свете? Мишура
Под пышным именем святого;
Огонь, блудящий в темну ночь,
Без теплоты и без сиянья,
Смесь с суеверьем ханжества́...
Нет, нет, мой Гений! Дальше!

Г о л о с

Слава!

П о э т

Еще что, слава!.. Слава — дым
(Давно-старинное сравненье!):
Вдали — как радуга, вблизи —
Тошнит и ест глаза!..

Г о л о с

Свобода...

П о э т

Умолкни, злой, коварный дух:
Пока есть тело — нет свободы;
Одна лишь жажда, жар, тоска,
Порывы бешенства... Свобода —

Семь тощих, жалких, бедных букв,
И — необъятное значенье!
Соедини в себе весь свет,
Будь выше всякого созданья, —
Ты только бедный, грешный раб...
Один лишь бог свободен! Дальше!

Голос

Богатство, почести, чины!..

Поэт

Как! Неужели весь уж список
Твоих блестящих, громких слов!..
Любовь и дружба, добродетель,
Свобода, слава и... конец!
И ты подумал, искуситель,
Что я, отвергнувши любовь,
Свободу, славу, добродетель,
Прельщусь игрушками детей —
Холодным золотом, чинами!..
Безумец жалкий! Где твой ум,
Где прелесть хитрого соблазна?..
Богатство, почести, чины!..
Поди, поди, презренный демон,
Куй сети женщинам!

Голос

Постой,
Еще прелестное желанье,
Высокий, гордый идеал,
Цепь бесконечная стараний,
Трудов и подвигов венец!
Проснись, восстань и твердым шагом
Иди к той цели и...

Поэт

Глупец!
Желать венца... Ожить для смерти,
Для обольстительной мечты
Под власяною багряницей!
Я в свете жил, мой адский дух!..
Я с ним знаком. Я знаю, видел...

Безумье, скука, зависть, ложь,
Корысть под маской патриота,
Желанье в образе судьбы;
Повсюду случай, ум в оковах,
Слепой инстинкт и ханжество́!..

Все это уже присмотрелось мне, мой Гений, давно присмотрелось, наскучило, надоело, опротивело! Нового прошу я у тебя, нового, которое не имело бы в себе ни малейшего отпечатка человечества. Мне несносно одно уже это название, один образ этой бездушной машины. Я болен, мой Гений, болен омерзением к людям. В моем сердце нет более ни капли крови — одна желчь, один ад, одно презрение. Я ненавижу себя самого, ненавижу это тело, эти члены... Пробуди во мне желание, которое бы не имело в себе ничего общего с *здешним*, и — я снова твой!

Голос

Величие!

Поэт

Величие?.. Что такое величие? Я не понимаю тебя, мой Гений! Покажи мне что-нибудь великое — один пример, одну картину!

Голос

Не один — тысячу примеров! Я покажу тебе сожигающего свою руку Муция...

Поэт

Я покажу тебе сумасшедшего, раздробляющего свою руку молотом... И это также величие? Не правда ли?

Голос

Я покажу тебе женщину, которая обожает любовника и остается верною своему мужу!

Поэт

Я покажу тебе более. Я покажу тебе голодного школьника, сидящего сложа руки перед блюдом бифстека, до которого запрещено ему дотрогиваться! И это также величие, мой Гений?.. Между тем все это величие — простая березовая розга, которою пригрозили школьнику!

Голос

Я покажу тебе Катона, умирающего вместе с республикою!

Поэт

Я покажу тебе увядшую красавицу, заключающуюся в монастырь.

Голос

Рим, осажденный Аннибалом!

Поэт

Стадо волков, осажденное охотником!

Голос

Мать, умирающую за сына!

Поэт

Медведицу, кидающуюся на рогатину охотника, чтобы дать время своим детям скрыться в берлогу!

Голос

Поэта, смотрящего с презрением на мнение света, попирающего все преграды и препятствия и твердым шагом идущего к избранной им цели!..

Поэт

Скупого, смотрящего теми же глазами на свет, попирающего все преграды и препятствия и твердым шагом идущего к избранной им цели! Тот же раб господствующей страсти... Разница в одной цели!

А кто им избрал эту цель?..
Что ж здесь великое, мой Гений?
Скажи, пред чем благоговеть!
Где эта цель порывов духа?
Где этот гордый идеал?..
Одно лишь пышное названье,
Блестящий, светлый метеор!
Вдали — звезда, едва не солнце,
Не смеешьввериться глазам...
Вблизи — вонючий запах серы,
Едва мерцающий огонь!..

Но я извиняю тебе и эту фантасмагорию! Покажи мне картину, которая уничтожила бы меня; обмани меня, и мы друзья по-прежнему!

Голос

Смотри!

Ветер мгновенно утихает. Часть неба разверзается и открывает огненную бездну, изрыгающую миллионы молний. Тучи, земля и море освещаются береговым заревом. Наступает грозная тишина. Вдруг страшный удар грома над самою пещерой. Все небо в пламени.

Поэт

(равнодушно)

Потом?

Голос

Чего ж тебе еще?

Поэт

Я жду великого!

Голос

Но разве это?..

Поэт

Это?.. *(Презрительно улыбается.)* Заставь меня *благоговеть*, и я преклоню пред тобою колена!

Голос

Благоговеть!.. Бездушный! Я покажу тебе необозримые степи Африки и пирамиды египетские; покажу тебе славный Рим со всеми его зданиями и героями, во всей его древности и величии...

Поэт

Ты сам в сетях теперь, мой Гений!
Ты уничтожил сам себя!
Благоговеть!.. Пред чем? Пред глиной,
Перед работою детей!
Дитя — во всем дитя: в желаньях,
В страстях, в душе, в уме, в делах.

Что может вылиться из чаши,
Налитой мутною водой?
Какого золота дождешься
От самохвала кузнеца,
Весь век кующего железо?
Чего великого искать
В ничтожных замыслах пигмеев,
В делах бессмысленных детей,
Когда в их лучшем, божьем храме —
В душе, зародыше их дел, —
Нет ни величия, ни жизни!
Когда вся их душа, вся жизнь
Лишь только рабство, цепь желаний,
Лишь только мелочный расчет
С скупой судьбою!
«Пирамиды! ..»
Что в пирамидах я найду?
Кичливость гордого владыки,
Безумный труд, кровавый пот,
Бряцанье заступа и цепи!
Пред чем же тут благоговеть?
Не пред бездушными ль камнями,
Нагроможденными горой?
Иль пред искусством? В птичьих гнездах
Искусства больше, чем во всех
На этом свете пирамидах!
«Величье Рима! Славный Рим! ..»
Опять всё те же пирамиды,
Опять всё тот же новый блеск!
«Величье Рима» — притесненья,
Разбой, пожары, грабежи...
А «слава Рима» — бич вселенной,
Гроза бессмысленных врагов!
Давно ли ужас стал *великим*?
Давно ль с отчаяньем в душе,
Со злобой в сердце, с правом мщенья
Все от великого бегут!
Ты б показал твой Рим державный
Им разоренным городам! ..
Тот низкий трус, кто б в униженьи
Пред ним колена преклонил!
А что ж теперь величье Рима,

Что весь твой славный, грозный Рим?
Кладбище, царская порфира
В пыли, заплатах и дырах!

Голос

Я покажу тебе всю землю!

Поэт

И что ж увижу? Черный шар,
Покрытый дрязгом и червями.
— — — — — — — — —
Где есть один хоть человек,
Там нет великого, мой Гений!

Голос

Ты в заблуждении, Поэт!
Я знаю одного, который выше всех людей, выше самого величия, которому недостает одного могущества, чтобы сделаться ⟨богом⟩.

Поэт

Умолкни, льстец!
Не на своем ты месте!

Голос

Еще один, последний пример величия — вечность!

Поэт

Я человек, мой Гений; растолкуй мне это слово.

Голос

Закрой глаза! Что пред тобою?

Поэт

Со всех сторон седая мгла!..
Толпа нестройных привидений...
Какой-то новый, чудный мир
Без света, без границ, без звуков —
Мир беспредельной пустоты!
Я в нем и бог, и прах ничтожный;
Он часть меня, и я весь в нем...

(Постепенно воспламеняясь)

Долой, долой, земное тело!
Воспрянь, владычествуй, душа!
Ко мне, ко мне, мой мощный Гений!
Ты победил, — я снова твой.
Нас ждет великое: предвечный,
Необработанный хаос!
Мы воззовем его в пределы,
Вдохнем начало бытия,
Осветим новым светлым солнцем,
Дадим красавицу луну,
Совокупим все наслажденья
И создадим волшебный мир —
Мир, полный жизни и довольства,
И без судьбы, и без конца!
Мир идеальный совершенства,
Венец, достойнейший творца!

Гений! Я хочу быть творцом!

Со всех сторон дикий хохот. Продолжительная молния освещает пещеру. Страшный удар грома; гробница разваливается на части и открывает обвитый саваном скелет.

Землетрясение; лес загорается, море начинает выступать из берегов, утесы с треском падают. Гром, молния, свист, грохот, всеобщее разрушение... Невидимая сила увлекает Поэта на воздух.

СЦЕНА 2

Эфир. Поэт, окруженный сиянием, несется в эфире.

Поэт

Куда влечешь меня, мой Гений?..
Мы пролетели целый свет.
Земля и звезды — всё под нами,
И даже солнце... Мы одни
Под этим черным, страшным небом.
Кругом глухая пустота!..
Еще далёко ль?

Голос

(из лучей)

Мы на месте.
Смотри, чернеется вдали

Скелет разрушенной планеты —
Цель наших поисков!
Твори!

Поэт

О, ближе, ближе! .. К самой цели!
Чтоб каждый знак мой, каждый вздох
Там отзывались звучным эхом!
Чтоб между нами навсегда
Исчезло время и пространство!
Я весь горю, я весь в огне,
Душа и сердце в упоеньи...
О Гений мой! Ко мне, ко мне! ..
Я весь пылаю вдохновеньем...
Мы создадим такой мир, которому позавидует целая вселенная!
Пусть этот остов превратится
В пустой, эфирный, круглый шар,
Покрытый тучными слоями
Земли, каменьев и воды!
Пусть под землею загорится
Неугасаемый огонь
И землю держит и питает!
Пусть на поверхности земной
Зазеленеет лес прохладный
И луг с цветною бахромой;
Пусть над долиною нарядной
Шумит игривый ручеек,
И светлый, радужный поток,
Раздавшись пышною рекою,
Летит и плещется волною.
Но чтобы не было ни бездн,
Ни черных пропастей, ни гор! ..
Пусть слово «ужас» никогда
Не существует в нашем мире!

Голос

Ты в заблуждении, творец!
Твоя земля — кругом равнина;
Настанет осень, дунет вихрь,
Холодным морем разольется, —
Ничто полей не защитит:
Родятся язвы и болезни,

Зараза, голод и чума —
И буйный ветер без преграды
По всей земле их разнесет!

Поэт

Ты позабыл о пламе, Гений,
Что я зажег внутри земли!

Что все поветрия, заразы
На нашей грешнице земле?
Ее же дети! Самый воздух
Ее нахлебник! .. И его
Она и холит, и питает,
Как мать родная, и, как мать,
Своей же кровью заражает!
И даже солнце часто там
Пред ней от ужаса бледнеет!
Но здесь весь этот тонкий яд,
Все испарения, все язвы —
Огонь подземный всё сожжет,
И до поверхности достигнет
Один лишь ключ живой воды —
Источник жизни и питанья!

Да будет солнце и луна,
Но солнце яркое без зноя,
Без утомительных лучей,
Чтоб в самый светлый летний полдень
Оно горело, но не жгло;
Луна же — бледная, как пламя
В полупрозрачном хрустале!
Да будут дождь, и гром, и молнья,
Но дождь без слякоти, а гром
Без разрушительного жала!
Да будут звезды и планеты
Ярчей алмазов! Чтоб земля
Не знала тьмы; чтоб днем и ночью
На страже бдели небеса
И беззащитную хранили!

Да будут лето и весна,
Без бурной осени, без зноя,

Без разрушительной зимы!
Пусть круглый год цветет природа...

Голос

Поверь мне, вечная весна
Наскучит так же, как и осень!
Однообразие скорей
Убьет, притупит наслажденье,
Чем вся безжизненность зимы!

Поэт

Однообразье — да. Но разве
Без бурной осени, без вьюг
Не может быть разнообразья?
Как будто мертвая зима
К разнообразью создана!..
Давным-давно б все отказались
От бурь, ненастья и зимы,
Когда б не цепь — необходимость!
Нет, нет, мой Гений! Пусть всегда
Цветет роскошная весна.

Да будет лев золотогривый,
И серна, странница полей,
Но чтобы не было ни змей,
Ни пресмыкающихся гадов,
Ни хищных птиц, ни хищных рыб,
Ни ядовитых насекомых!

Чтоб и в воде, и на земле —
Везде, отныне и вовеки
Цвел неразрывный, вечный мир!

Да будет!

Является новая вселенная.

Смотри, смотри!.. Как блещет солнце,
Как улыбается земля,
Какой роскошною волною
Отвсюду льется жизнь и свет!..
Какой прелестной пеленою
Моя мечта облечена!..

О Гений, Гений! С чем сравнить
Минуту сладкую восторга
Отца и матери, когда
На свет родится им дитя!..
Когда, приняв его в объятья,
В слезах, в волненьи, чуть дыша,
Вопьются жадными глазами
В его безмолвные глаза...
Но слей восторг всех матерей,
Все наслажденья и восторги,
Ты не создашь и самой тени
Блаженства бога... моего
Неизъяснимого блаженства!

Смотри, смотри! Как всё блестит,
Как всё исполнено роскошной,
Беспечной неги, свежих сил,
Цветущей, юной, мощной жизни!..
Как беззаботная земля
Под злато-бархатным покровом,
В венке из роз и вся в лучах,
Вся в украшеньях, вся в цветах,
Подобно ангелу-младенцу,
То затрепещет, то замрет,
То улыбнется, то вздохнет
В своей воздушной колыбели!..

И это всё — мое, мое!..
Мое дитя, мое творенье!
Часть самого меня... Я сам!..

Голос

Твой мир величествен, прекрасен!
Недостает одной души,
Недостает лишь человека —
Души вселенной!..

Поэт

Да, ты прав!
Недостает лишь человека.
Итак, да будет человек!
И первый дар ему — бессмертье,

Голос

Прекрасный дар! Но берегись,
Чтоб он не сделался отравой,
Свинцовой ношей! Этот дар
Больших потребует издержек!
Чтоб поддержать его, едва ль
Всего могущества достанет!..
С какой бы радостию демон
На полчаса тяжелой смерти
Свое бессмертье променял!
И самый демон!.. Берегись же,
Чтоб вместо нектара блаженства —
Отрады горькой не поднесть!

Поэт

Не беспокойся, добрый Гений!
С бессмертьем вместе человек
Получит и другой дар — счастье!

Голос

Получит счастье!.. Да, легко,
Едва четыре слова! «Счастье...»
Земля и счастье — ад и рай,
Свобода ангела и цепи!
Каким же пламенем сольешь
Ты эти цепи и свободу
В одно бессмертное звено?
Твой мир наскучит человеку,
Наскучит так же, как и всё!
И он умрет в своем бессмертьи,
В своем раю... Живой умрет —
Потом тебя же проклянет!..

Поэт

Мой план обдуман слишком верно,
Чтоб изменить мне... Человек
Получит тело без болезней,
Без недостатков, без греха;
Всегда цветущее здоровьем
И преисполненное сил,
Свободное от всех страданий,

Венец чудесной красоты;
Пусть он владеет всей вселенной,
Пусть всё покорствует ему:
Земля, огонь, вода и воздух;
Пусть всё живущее, весь свет
Его и любит, и лелеет;
Ни зло, ни горе, ни беда
Да не сожгут его чела!

Голос

Ты подарил ему лишь силу,
Одно могущество... Потом!
Ты подаришь свободу воли?

Поэт

Свободу воли без границ;
Пусть будет он, как ты, свободен —
Свободен телом и душой!

Голос

А если он, как ты, захочет
Быть богом?..

Поэт

Нет! Я дам ему
И всеобъемлющий рассудок,
Самосознание и ум.

Голос

А если этот ум вдруг спросит:
К чему так создан этот мир,
А не иначе? Что с ним было?..
Начнутся поиски, томленье,
Придет бессонница, хандра...
И бедный ум в трудах зачахнет!

Поэт

Трудов не будет: человек
С минуты самого рожденья
Узнает всё; и с бытием
Получит дар и всепознанья;
Весь мир раскроется пред ним,

Как перечитанная книга.
О, сладко, Гений, всепознанье —
Сосуд могущества земли
И грозной власти над природой!
Какая тайная судьба,
Какой гигант — крылатый случай —
В кровавый спор войдет тогда
С его бессмертною душою,
Какая бурная река
Захлещет власть его волною
Иль черный, злой водоворот
Ладью в пучину занесет!..

Голос

Ты дашь ему желанья, страсти?

Поэт

Желанья — да; желанья — жизнь,
Душа души; но страсти — язвы,
Всепожирающий огонь
Эхидны! Нет, страстей не надо...
Сноснее смерть, безумье, ад,
Чем это гнусное отродье
Проклятья, ада и греха;
Пусть человек, родясь, встречает
Свой мир улыбкой, а не плачем,
Пусть наслажденья с колыбели
Ему сопутствуют вовеки...

Голос

Где ж наберешь ты наслаждений,
Чтоб твой бессмертный человек
Мог наслаждаться целый век!..
Подумай только лишь — бессмертье:
Оно поболее столетья.
Где ты сокровищ наберешь,
Чтобы наполнить это море
Без берегов и без границ,
Когда и самые столетья,
И самый мир с своей землей,
С своими звездами и солнцем,

Утонет в этой пустоте,
Как звук пустой в зыбях эфира...
Ты человека создаешь
Для наслаждения и хочешь,
Чтоб наслаждался он вполне
С своею бледною душою,
С бездушной льдиною — умом;
Ты дал природе гром и молнью,
Земле — огонь, и солнце — дню;
У человека ж отнимаешь
Его и солнце, и огонь,
Его последнее блаженство —
Игру волшебную страстей.
Ты опасаешься, что страсти
Вольют кипящий, жгучий яд
В его младенческую душу;
Лиши их огненного жала,
Как молнию... И в душу влей
Одно очищенное пламя.

Поэт

Знаком ли детям пыл страстей,
Порывы буйного восторга?
И кто из нас, кто из людей
С их высочайшими страстями
Не променял бы пыл страстей
На наслаждения детей!..

Голос

Поэт, Поэт! В твоей вселенной,
В твоем божественном раю,
Лишь будут дети и младенцы.
Зачем же детям хочешь дать
И всеобъемлющий рассудок,
И беспокойный, хитрый ум!
Рассудок — лишнее ребенку,
Дитя и должно быть дитя!
Иначе быть оно не может:
Оно и счастливо лишь тем,
Что без ума, что дремлет в неге
Средь обольстительных картин!

Поэт

Оставь меня!

Голос

Еще два слова!
Ты человеку отказал
В страстях высоких, благородных.
И вот смотри: твой самый план,
Затканный счастьем и цветами,
Блестящий план, златой узор
Его блаженств и наслаждений,
В себе несет зародыш зла,
Источник черного раздора!..

Поэт

Я повелел: не будет зла
В моей вселенной! Прочь!

Голос

Не будет!
Ты это думаешь, творец?
Но вот два юноши, два друга
В томленьи сладостной любви
Игрой таинственной судьбы
Одной красавицей прельстились.
Ты допускаешь им любовь,
Ты хочешь сам, чтоб это чувство
Соединяло всех! Положим,
Великодушнейший из них
Ее сопернику уступит,
Но вот — уже утрата, да!
А где утраты и лишенья,
Там счастья нет — далёко счастье!
Но вот в них закипела кровь,
Вот непокорная любовь
Им шепчет: вы свободны оба,
У обоих равны права,
Пускай же сила — судия
Решит, кому *владеть* до гроба,
И что ж тогда?

Поэт

Умолкни, Дух!

Голос

Все люди будут жить в пещерах...
Иначе им и жить нельзя!
Так создана твоя земля.
Но если вдруг одна пещера
Придет по мыслям двум семьям...
Тогда?

Поэт

Будь проклят!

Голос

Слушай!

Поэт

Прочь!
Исчезни!

Окружающее его сияние начинает меркнуть.

О!.. Мой ум! Мой ум!
Ко мне на помощь!.. Гибну!

Сияние гаснет совершенно; новосозданная вселенная исчезает. Со всех сторон мрак и пустота.

СЦЕНА 8

Большой европейский город. Площадь. Вдали видна гавань. Множество народа. Шум, говор, движение. Вечер. На углу площади великолепный дом, в котором по временам раздаются звуки музыки и веселые восклицания; несколько в стороне лежит покрытый рубищем больной, расслабленный нищий. Черты лица его искажены душевным страданием. Это Поэт.

Толпа пьяных ремесленников

(поет)

Вино нам и друг, и спасенье, и грех;
Вином запиваем и слезы, и смех.
Вино утешает, вино веселит,
В вине-то весь рай в западне и сидит!

1-й ремесленник

У меня есть жена —
И ревнива, и зла!
Целый день словно тень
Вечно бродит за мной.
Если бы не вино,
Я погиб бы давно!

2-й ремесленник

У меня так, друзья,
Ребятишек семья,
И ни хлеба, ни дров, —
Хоть бы в омут готов!..
Если бы не вино,
Я погиб бы давно!

3-й ремесленник

Я сейчас из тюрьмы;
Целый месяц сидел, —
Всё глазел да зевал,
Божья дня не видал!
Если бы не вино,
Я погиб бы давно!

4-й ремесленник

Это всё трын-трава,
Бабьи сказки, слова!..
Пропадай голова!
Было б только вино!
Если бы не оно,
Мы погибли б давно!

Голоса в толпе

Куда ж теперь? — Идем ко мне!
Моя жена нам будет рада:
Я ей несу с собой кой-что,
И ей, и ребятишкам! — Верно,
Хозяин отдал вам сполна
Всё ваше жалованье... То-то!
А наш — так черт его возьми!

Последнее готов засрочить,
Хоть с голоду умри! — Ну, ну!
Нашел, о чем теперь калякать!
Идти, ребята, так идти!
Как раз полиция нагрянет
И всех в кутузку заберет!..

Некоторые, отделившись от толпы, подходят к Поэту.

А! вот еще один из наших!
Товарищ! — Эй! товарищ! Встань!
— Оставь его: не видишь разве, —
Он пьян... Рукой не шевелит!

Несколько голосов

Ну, что ж вы там еще? — Идемте!
Идем! Идем!.. Да брось его!
Пускай лежит! Очнется к утру!
— Молчи! — Послушайте, друзья,
Давайте окна бить!.. — Пустое!
— Уж лучше вломимся в таверну
И выпустим вино из бочек!..
— С ума сошли вы, что ли?
— Вишь умница какая!.. Ну!
— Зевать тут нечего! На приступ!
— Молчите! — Что вы! — Тише! — Что?
— Эй! Все ли здесь? — Все, все!.. Готовы!..
— Ребята! Станемте кричать!
Ура! — Дружнее! — Ну! Дружнее!
— Ура! Ура! Ура! Ура!..

Шум и крик.

Давайте лучше петь! — Пожалуй!
— Ну петь, так петь — ин, начинай.

(Поют.)

У кого есть беда да жена,
Тот уж пей без просыпа вина...

(С шумом проходят в улицу.)

Поэт

Счастливцы!..

1-й прохожий

А! здорово, милый!
Куда идешь, куда бредешь?

2-й прохожий

Куда? Да вот и сам не знаю!
Куда глаза теперь глядят!
Жена уехала кататься,
Детей гулять всех отпустил,
Так что-то скучно!..

1-й прохожий

Мне так доктор
Велит поболее гулять
Да строже наблюдать диету.
Такая дурь всё в голове, —
И сам не знаю, что такое!
Чуть ночь — хоть со́ света беги!
Бессонница, тоска, удушье,
И не глядел бы ни на что!

2-й прохожий

Желудок, верно, засорился,
Пройдет! Попробуйте-ка вы
Хоть раз, ложась в постель, затылок
Водой холодной намочить.
Мой зять, дай бог ему здоровье!..

3-й прохожий

Мое почтение!

1-й и 2-й прохожие

Ба, князь!
— Какой у нас прекрасный вечер.
— Отколь? — Куда? — Здоровы ль вы?

3-й прохожий

О нет! Ужасно как расстроен!
Вот скоро целый месяц, да —
Несчастье за несчастьем! Словно
Все сговорились на меня!

Вчера издохла Итальянка...
Вы помните?.. Еще щенком
Подарена мне графом Павлом!
Недели две тому назад
Пропала женина болонка;
И наконец почти сейчас
Наш повар умер от удара.

1-й прохожий

Куда же вы?

3-й прохожий

Да вот иду
К m-me Melanie. Говорят,
Что за отъездом — так ли, нет ли? —
Все повара ее отходят...
Желаю весело гулять!

(Отхóдя)

Глупцы!..

1-й прохожий

Насилу отвязался!
Вот сумасшедший! Весь свой век
Всё ищет повара да кухни!..
Куда же нам?

2-й прохожий

Мне всё равно!

1-й прохожий

Теперь пойдемте мы хоть в гавань?

2-й прохожий

Куда угодно! Я весь ваш!

Проходят.

Фигляр

(выглядывая из балагана)

Сюда, сюда, честные господа! Здесь показываются разные удивительные штуки!

Толпа народа бежит к балагану.

Поводильщик с медведем

Ко мне, ко мне, честные господа! За два гроша вы увидите редкостные вещи.

Толпа народа кидается смотреть медведя.

Мальчик с райком за плечами

Кто больше? Кто больше? Представление начинается!

Толпа народа лезет смотреть раек.

Поэт

И вот я снова в этом свете,
И снова тот же человек, —
Без всякой цели! .. О, будь проклят
Весь этот мертвый, грязный свет,
И всё, что чувствует, все люди!
Всё, всё живущее, я сам!

И я еще желал чего-то
В своем холодном, мертвом сне...
Я мог желать... Безумец жалкий!
Чего бы не дал ты теперь,
Чтобы уснуть опять, как прежде!
Тебе тяжел был этот сон
С его бездушной пустотою;
Ты ждал бессонницы, страстей,
Кипящей лавы, — и дождался!
Теперь беснуйся, плачь, страдай,
Кляни, грызи свои оковы! ..

(Делает усилие, чтобы приподняться, и не может пошевелить ни одного члена.)

Проклятые! Ужель и вы
Против меня все в заговоре? ..
Хоть ты, мой бедный, грешный ум,
Товарищ жалкий и надменный,
Утешь меня! .. Ужель и ты
Меня оставил и умчался
Вслед за безумною мечтой?
О нет, коварный, адский Гений,
Ты не лишил меня ума;

Ты только отнял вдохновенье,
У сердца — жизнь, а у души —
Ее могущество и силу.
А этот глиняный аршин,
А этот хрупкий, ржавый циркуль
Ты мне оставил. Ты не мог
Лишить того, что все имеют,
Чем может хвастаться меж нас
Последний скромненький ребенок!
Натужься же, мой мощный ум,
Натужься и, собрав все силы,
Роди какую-нибудь цель
В великом, мерном этом свете!
Вот обезьяны и фигляры,
Вот дрессированный медведь,
Вот поводильщик, цепи, лямки,
И даже деньги... Избирай!..

Из одной улицы выходят рука в руку мужчина и женщина.

Женщина

Посмотри, мой друг, как весело,
Как прелестно всё кругом!
Посмотри, какими искрами
Солнце брызжет свет и жизнь,
Как кипит и как волнуется
Здесь на площади народ!..
Мне сегодня так приятно всё,
Так отрадно на душе, —
Так бы вся вот и рассыпалась!
Посмотри, мой милый, вверх!
Солнце с небом словно празднуют
Свой прелестный день рождения...

Мужчина

(улыбнувшись)

Земля ж на пир приглашена!
Теперь ты весела, счастли́ва,
И всё так весело вокруг;
В минуту ж скуки и веселый
Тебе наскучит, надоест,
И всё, что ныне так прелестно,

И это небо, и земля,
И эта праздная толпа,
Тогда покажется несносным!
Так всё зависит здесь от нас!

Женщина

Не от нас ли же, мой милый друг,
Здесь зависят и все радости!
Часто сами отгоняем мы
От себя и рай, и счастие!
Счастье пригреет нас,
Словно весна;
Кажется, весело
Так на душе;
Всё недовольны мы
Счастьем, судьбой!
Вспомнишь прошедшее,
Взглянешь вперед, —
Мысли за мыслями,
Вздохи да бред;
Тут и предчувствие,
Тут и тоска,
Тучи за тучами...
Хвать — и беда!

Мужчина

Ты пра́ва, да! Но часто случай,
Ничтожный случай, сущий вздор
Всё наше счастье отравляет!
Взгляни на солнце!.. Вот пример!
Где больше жизни, как не в солнце,
Где больше блеска?.. И меж тем
Одно лишь облачко, одно лишь только,
Один простой, прозрачный пар, —
И солнце яркое мертвеет!

У всех людей своя печаль;
У всех своя тоска и скука,
И радости свои; но есть,
Мой друг, еще меж нами люди,
Которым нет уж ничего
Под этим небом, у которых

В душе давно сгорело всё,
Чем мы все держимся на свете,
Что нас так с жизнию дружит,
Что нам так мило... И осталась
Одна лишь горькая осадка —
Холодный змей с свинцовым жалом!
И для них здесь нет ни радостей,
Ни надежды, ни весны!
Их весна без солнца красного,
День без света...

Женщина

Но зато
Сколько в свете, милый, встретишь ты
Вечно счастливых людей,
Вечно в дружбе с наслаждением,
Без тоски и без забот,
Полных счастья, жизни, радостей,
И довольства, и утех!..
Всё их тешит, всё им нравится,
Всё пленяет их собой!
Черный день проходит призраком
Иль в дремоте, иль во сне;
Ночь приносит им спокойствие,
Неудачи...
Ах, взгляни!
Верно, нищий и больной...
Подойдем к нему, друг мой!

Мужчина

Просто пьяный — не ходи.
Видишь — спит... Так не буди!

Женщина

Ах нет, право, он больной!
Подойдем к нему, друг мой!

Подходят к Поэту.

Мужчина

Не надобно ль тебе, мой друг,
Чего-нибудь?

П о э т

Твой друг? .. Да, правда!
Мы по ничтожеству друзья,
Гораздо больше... — братья!

М у ж ч и н а

(отстраняя от него свою подругу)

Дальше!

Ж е н щ и н а

Что говорит он, милый мой?

М у ж ч и н а

Пойдем! Ему нужнее доктор,
Чем наша помощь!

Ж е н щ и н а

Неужель
Ты хочешь так его оставить!
Мой бог! Он страшно так глядит!

М у ж ч и н а

Подай три пфеннига иль крейцер!
Скорее! .. Кинь! Теперь пойдем!

Отходят.

П о э т

(после некоторого молчания)

Нет, люди добры! .. Я напрасно
Их так безумно презирал!

Г о л о с а в т о л п е

Мое почтение! Куда это вы так спешите? — Да вот, говорят, корабль с птицами пришел, так бегу купить попугая! — Поздравляю, братец, с выгодною партией! — Благодарю покорно! Приходи завтра обедать! — Что вас так давно не видно? — Пишу программу нового балета. — Слышали вы новость? — Что такое? — Прическа переменилась! — Пойдемте есть устрицы! — Чем занимается ваша супруга? — Не знаю хорошенько; кажется, делает корпию! — Как поднялась ныне цена на пари-

ки! — Чем кончилась вчера ваша игра? — Почти ничем!.. Мы играли только, чтобы убить время! — Да, вы не можете представить себе, как я обижен по службе! — Какой прекрасный экипаж у вашего брата. — Я только и добиваюсь до полковничьего чина, а там, пожалуй, хоть трава не расти! — Новый знакомый наш получил 50 000 наследства! — Разве старик уже умер? — Слава богу! — Поедете вы завтра на бал? — Беда, если у нас будет неурожай винограда!

Поэт

Вот эти люди!.. Вот они,
С своей обычной суетою
И с жалкой низостью в душе!
Пигмеи в платье эгоизма!..
Вот все они! И где они?..
Где это мудрое созданье
Святой премудрости творца,
Порфирородный царь вселенной?..
Где этот гордый человек?
Когда утратил он стяжанье,
Ему врожденное творцом?
Когда успел разоблачиться,
Уничиженный суетой,
Из этой царской багряницы?..
Пусть тело — вечный раб земли,
Болезней, случая и смерти...
Какое б ни было оно,
Всё тело — прах, земля — и только!
Но этот чистый, мощный дух,
Часть вечно движущейся силы,
Чистейший отблеск божества,
Сам разум, сила, воля, власть...
Как он мог пасть? И... как же пасть!..

(Задумывается.)

Вот и я, гигант подоблачный,
Начинаю упадать!..
Сам собою я возвысился
До величья божества,
И потом, убитый немощью,
Уничтожил сам себя!

От всего теперь осталася
Только грусть лишь на душе, —
Чувство тихое, как вечером
Майский, тихий ветерок!
Вот и мой, знать, приближается
Вечер жизни — нищеты!..

(После некоторого молчания.)

Как прекрасно божье солнышко,
Как прекрасен божий мир!
Вот земля вся покрывается
Драгоценною фатой;
Вся природа наряжается
В летний, праздничный наряд!
И пойдут все за дарами к ней:
Земледелец с бороной,
Красна девица с корзинкою,
Жнец пойдет с своим серпом,
Семьянин — с своей заботою;
А уж я... Мой час настал!..

(На глазах его навертываются слезы.)

О, если б кто страдальца бедного
Меня на солнце перенес!
Да! умереть бы мне хотелося
На вешнем солнце!.. Умереть!..
Здесь так холодно,
Всё так пусто и мертво!

(Смотрит с беспокойством на проходящих.)

Кто снесет меня!
Все так заняты собой!..

Балкон дома, возле которого лежит Поэт, вдруг наполняется народом.

1-я женщина

Как вам нравится наш молодой поэт?

2-я женщина

О, очень! Я не видала мужчины ловчее его!

Девица

Какой прелестный мадригал написал он мне в альбом!

Пожилой мужчина

Да! этот человек много обещает! До сих пор я не слыхал о нем ни одного дурного отзыва! Особенно хвалят его характер!

Молодой человек во фраке

Читали вы его последнее сочинение?

Военный

Мельком! Прекрасно написано!

Мужчина в очках

А!.. Да!..

Старик

Наш век богат поэтами!

Молодой стихотворец выходит на балкон.

1-я женщина

А мы сейчас лишь говорили о вас!

Стихотворец

Благодарю покорно за внимание!

2-я женщина

Скажите нам какой-нибудь экспромт!

Стихотворец

Позвольте, — сюжет!

3-я женщина

Какой угодно! Скажите хоть мне что-нибудь!

Стихотворец

(грациозно улыбаясь)

Вам?

(Начинает взбивать свои волосы и потом, немного подумав, говорит)

Всегда прелестна, весела,
Капризна часто, но мила;

Как ангел, кроткая душой, —
Всегда царица красотой!..
Вот ваш портрет:
В нем лести нет!
Прелестней вы всех муз и граций!

(Раскланиваясь)

Вам преданный — Евсей Гораций!

Несколько голосов

Не правда ли, прелестно! — А как мило! — Какое чувство! — Какая откровенность! — Браво! Браво!

Рукоплескания.

Поэт

(стараясь приподнять свою голову)

Беснуются здесь, что ли?

Девица

(взглянув с балкона вниз)

Ах!

(Падает в обморок.)

Голоса на балконе

Что случилось? — Она в обмороке! — Воды! Воды!.. Спирта! — Ах, боже мой, она испугалась этого нищего! — Прикажите отогнать его! — Скорее! Скорее! — Распустите шнуровку! — Пошлите за полицейскими! Это просто какой-нибудь бродяга! — Как вы себя чувствуете? — Прикажите взять его в полицию!

Поэт

И умереть спокойно мне
Не позволяют эти люди!
Еще мгновение, друзья,
Одно мгновенье, — и потом
Ни полуслова, ни полвздоха!

В глазах его начинает темнеть. Все предметы освещаются бледным светом; шум на площади превращается в глухой ропот отдаленного водопада; небесный свод спирается и открывает бесконечную пустоту.

Благодарю тебя, мой бог!

Вдруг видит стоящего возле себя Гения. На голове его венок из белых роз; в правой руке оливковая ветвь.

А! Это ты!

Гений

Я за тобою!
Тебя уж ждут на небесах!

Поэт

Еще последнее желанье,
Последний грех! Не откажи!

Гений

Проси!

Поэт

Ничтожества, мой Гений!

Гений

Тебе ничтожество! .. О нет!
Тебе назначено бессмертье!

Поэт

Мой Гений, сжалься надо мной!
Меня убьет твое бессмертье!
Пока жива моя душа,
Мне не знавать нигде покоя!
Я превращу и самый рай
В обитель черную страданий!
Еще ли мало я страдал
На этом свете?

Гений

Успокойся!
Там уж не то, что было здесь!
Вся эта жизнь — одно горнило,
В котором золото-душа
Должна очиститься, чтоб вечной,
Небесной цепи быть звеном!
Чем больше горя и страданий
Кто в этой жизни перенес,

Тем больше вечной он достоин,
Ему тем лучше будет там!

С минуты самого рожденья
Ты мне Предвечным поручен, —
И я берег тебя, как сына,
Как драгоценнейший залог
Союза бога с человеком!
В твоей душе самим творцом
Зажжен огонь небесной жизни,
Чтоб этот мрачный, мертвый мир
Не оставался без светила,
Без утешительной звезды.
Ты был звездою в этом мире,
Святой лампадою во тьме
Греха, недугов и печали.
Теперь сгорел здесь твой елей,
Земные узы разрешились, —
И весь святой, небесный огнь
Быть должен взят в свою отчизну!..

Между тем солнце начинает закатываться, и угасающие лучи его освещают умирающего Поэта.

П о э т

Твои слова отрадны мне!..

Г е н и й

Ты показал в своих созданьях
Всю бедность сил и нищету
Порывов духа человека,
Когда он в бешенстве страстей,
В томленьи гордого рассудка,
Мечтой надменной залетит
За учрежденные пределы;
И всё величие его —
Когда, сковав себя смиреньем,
Поправ могущество страстей,
С младенческой душой, спокойно
Идет назначенным путем!
Твое последнее созданье,
Твой идеальный, чудный мир,
В котором ты хотел найти
Твой славный образ совершенства, —

Целебный ба́льзам для души
Всегда больного человека!..

Поэт

О Гений мой, поймут ли нас!
Поймут ли люди нас, мой Гений!
Свет ищет злой хулы во всем,
Одной хулы и вольнодумства!..
Великое — не для него!

Гений

Расчет твой с этим светом кончен!
И с этих пор ты будешь жить
Благословением потомства.
Умрут вельможи и цари,
Умрут республики и царства,
Умрут столетья, но пока
На свете будет это солнце,
Ты не умрешь! Твоя душа —
Душа земли; твое величье —
Величье бога и людей;
Твоя могила — вся вселенна!

Поэт

О, Гений мой!..

Гений

(указывая на солнце)

Смотри!

Солнце, коснувшись горизонта, начинает вдруг расширяться, багровеет, загорается необыкновенным огнем и, раздвинувшись во все стороны, обливает своими лучами весь город. В самой средине его вдруг образуется великолепный храм.

Гений

Пора,
Поэт!
(Указывая на лучи)
Вот путь наш к небесам!
(Указывая на солнце)
Вот наш венец... и — вот твой Храм.

В эту самую минуту толпа народа окружает Поэта. Гений берет его за руку и исчезает с ним в лучах. Среди толпы остается один труп. Солнце закатывается.

1834

332. ПИРАТЫ

Мы живем среди морей
В кораблях летучих,
Лес наш — тучи; соловей —
Плеск валов гремучих.

Не посеявши, мы жнем;
Не прося, имеем;
День проходит полуднем,
Будни — юбилеем.

Если ж праздник задаем
Перед общей сменой —
Облака горят огнем,
Море брызжет пеной.

Нам не нужны ни друзья,
Ни отцы, ни сваты;
Не роднясь, мы все родня;
Не женясь, женаты.

Корабли и острова
Дань несут без платы...
В небе царствуют грома,
На море — пираты!

17 февраля 1835

333. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Туманно солнышко взошло,
Из леса путник показался,
В глазах родимое село...
Чу! Звон к заутрене раздался.

«Конец тяжелому пути!
Привет тебе, село родное!
О, ярче, ярче ты свети
На небе, солнце золотое!

Не ждут иль ждут меня друзья?
Свиданье сладостно для друга.
Не изменился, тот же я;
Всё та же ль ты, моя подруга?

Одних давно, быть может, нет,
Другие, может быть, далёко;
Кого умчал веселый свет,
Кого закон тяжелый рока!»

И грустно, грустно посмотрел
Он на родимую дорогу;
Вздохнув, суму свою одел
И тихо помолился богу!

27 июля 1835

334. ЧЕЛНОК

Страшно на небе,
Страшно на море!

Черные тучи, взвившись горами,
Рвутся, грохочут, тонут в огне;
Бурные волны стелются, скачут;
Гром, непогода, буря, гроза.

Ветер хохочет,
Ветер свистит;
Море клокочет,
Море кипит.

Мрачен, пуст, одинок
Мчится в море челнок...
Бедный челнок!

Тихо на небе,
Тихо на море!

Море спокойно, море уснуло;
Ветры молчат; кругом тишина;

Всё опустело, солнце как пламя;
Душно, уныло, глухо, мертво.

Воздух чуть дышит,
Солнце палит,
Искрится, пышет:
Море горит.

Грустен, пуст, одинок
Мчится в море челнок. . .
Бедный челнок!

Ясно на небе,
Ясно на море!

Море дрожит от кликов победных:
«К берегу! Пристань! Пристань! Ура!»
Гордый корабль, взмахнув парусами,
Режет, бросает, топит валы.

Пристань открылась,
Берег скалой.
Всё приютилось,
Всё на покой.

Где ж челнок? — Одинок
Бесприютный челнок!
Бедный челнок!

5 сентября 1835

335. ДОМОВОЙ

Ты детей уложи
И потом нам скажи
Сказку,

Как в пустой раз избе
Домовой дал тебе
Таску.

«Да, лежу раз одна,
Ни светца, ни огня —
Глухо!..

Кто-то скрипнул... опять,
Перекстилася, глядь —
Ухо!

Весь седой, в охабне,
Нараспашку ко мне.
Кто тут?

Вся дрожу! А в избе
Пропадай хоть себе —
Омут!

А старик на меня;
Я туда, я сюда...
Тёмно!

Что ты? Что ты? Поди!
Перестань! Погоди!
Полно!

Глядь — Савелий! Не он...
А такой же, как лен, —
Савка!

Я наотмашь рукой,
Что есть силы, с мольбой —
Лавка!

Знай-ка, знай, да молчи,
Что лукавый в ночи
Строит!

Да, бывают дела!
Не напрасно молва
Ходит».

Между 1832 и 1836

336. ВЫБОР ЖЕНЫ

Русская песня

Не женись на умнице,
На лихой беде!
Не женись на вдовушке,
На чужой жене!

Женишься на вдовушке —
Старый муж придет;
Женишься на умнице —
Голову свернет.

Не женись на золоте,
Тестевом добре!
Не женись на почестях,
Жениной родне!

Женишься на золоте —
Сам продашь себя;
Женишься на почестях —
Пропадай жена!

Много певчих пташечек
В божиих лесах;
Много красных девушек
В царских городах.

Загоняй соловушку
В клеточку твою;
Выбирай из девушек
Пташечку-жену.

⟨1837⟩

337. ТОСКА

«Оседлаю коня, коня быстрого,
Полечу, понесусь легким соколом
От тоски, от змеи, в поле чистое;
Размечу по плечам кудри черные,

Разожгу, распалю очи ясные,
Ворочусь, пронесусь вихрем, вьюгою, —
Не узнает меня баба старая!

Заломлю набекрень шапку бархатну,
Загужу, забренчу в гусли звонкие;
Побегу, полечу к красным девушкам —
Прогуляю с утра до ночной звезды,
Пропирую с зари до полуночи,
Прибегу, прилечу с песней, с посвистом, —
Не узнает меня баба старая!»

«Полно, полно тебе похваляться, князь!
Мудрена я, тоска, — не схоронишься!
В темный лес оберну красных девушек,
В гробовую доску — гусли звонкие,
Снегом, льдом занесу поле чистое,
Иссушу, изорву сердце буйное;
Прежде смерти сгоню с света божьего!
Изведу я тебя, баба старая!»

Не постель постлана́ в светлом тереме —
Черный гроб там стоит с добрым молодцем;
В изголовьи сидит красна девица,
Горько плачет она, что ручей шумит,
Горько плачет она, приговаривает:
«Погубила тоска друга милого!
Извела ты его, баба старая!»

⟨*1838*⟩

338. БОРОДА

Борода ль моя, бородушка!
Борода ль моя бобровая!
Поседела ты, бородушка,
До поры своей, до времени!
Поведешь, бывало, гаркнувши,
Усом черным, молодецкиим —
Красна девица огнем горит,
Дочь боярска тает в полымя!

Прикушу тебя, косматая, —
Басурманин злой с коня летит,
Дряблый немец в норы прячется!

Занесло тебя, кудрявую,
Да не снегом, да не инеем —
Сединой лихой, кручиною!
Растрепал тебя, родимую,
Да не ветер, да не лютый враг —
Растрепал тебя мудреный зверь,
Что мудреный зверь — змея-тоска!..
Борода ль моя, бородушка!
Борода ль моя бобровая!

⟨*1843*⟩

Е. БЕРНЕТ

Выступавший в печати под псевдонимом Е. Бернет поэт Алексей Кириллович Жуковский был сыном беспоместного дворянина, закончившего свою служебную карьеру незначительной должностью секретаря губернского суда в Царицыне.

Бернет родился в Пензе 10 сентября 1810 года. Начальное образование он получил в уездном царицынском училище, затем, когда семья осела в Саратове, был определен в местную гимназию, которую посещал в течение 1822—1827 годов. Многим в своем культурном развитии Бернет был обязан матери (урожденной Е. И. Тутчек, происходившей из немецкой фамилии).

К середине 20-х годов относятся первые пробы пера Бернета. В 1827 году, незадолго до официального срока окончания гимназии, он оставляет ее в связи с необходимостью приступить к военной службе, где уже с 1825 года числился фейерверкером. В дальнейшем Бернет служил в конноартиллерийских и конноегерских частях, а еще позже — в гусарах. Участвовал он в турецкой (1828—1829) и польской (1831) кампаниях, после чего несколько лет провел в Польше.

В апреле 1836 года, будучи в чине ротмистра, Бернет выходит в отставку и отправляется в Петербург. В мае следующего года он устроился в департамент государственного казначейства на место секретаря секретной комиссии. Сослуживцем его был поэт В. Г. Бенедиктов. Через него и В. И. Карлгофа Бернет расширяет связи с литературным миром Петербурга. Известно, что он был знаком со своим прославленным однофамильцем — В. А. Жуковским.

В 1837 году Бернет дебютирует в «Современнике» (т. 5) отрывком из поэмы «Елена», озаглавленным «Одиночество». Вслед за тем выходит его сборник «Стихи» и первая часть драматической поэмы «Граф Мец», написанная еще в 1834 году.

Бернет заинтересовал Белинского, который из Москвы запрашивал о нем сведения у И. И. Панаева (в письме к нему от 10 августа

1838 года). На изданную в 1838 году поэму «Елена» критик откликнулся строгой и вместе с тем сочувственной рецензией. По его словам, «сквозь мрак фраз, вычурностей и прозаизма» в этом сочинении «чудится какой-то таинственный свет красоты эстетической». Определив поэму как «смесь чистого золота с грубой рудою»,[1] он объяснял ее недостатки незрелостью авторского дарования. Белинский призывал Бернета максимально повысить требовательность к своей работе и не обольщаться похвалами «приятелей-журналистов», намекая прежде всего на О. И. Сенковского, уже успевшего завербовать Бернета в сотрудники своего журнала и напечатать лестный отзыв о «Елене» («Библиотека для чтения», 1838, № 3).

В период с 1837 по 1846 год поэт преимущественно печатался в журнале Сенковского. Здесь были помещены поэмы: «Перля, дочь банкира Мосшиеха» (1837, № 9), «Луиза Лавалльер» (1838, № 4), «Вечный жид» (1839, № 6) — самая интересная и совершенная из них, наконец «Чужая невеста» (1843, № 8).

Нетрудно догадаться о причине, побудившей Бернета отказаться в литературе от своей настоящей фамилии. Выбор же иностранного псевдонима имеет, очевидно, связь с общим характером его художественных устремлений и складом личности. Все поэмы Бернета (кроме самой поздней из них) переносили читателя в обстановку европейского быта, а лирика его, как правило, отличается полной неопределенностью национального колорита. Скудные реалии русской жизни попадаются в ней крайне редко. Использование западноевропейского антуража отвечало целям художественного абстрагирования, хотя была и другая причина: резко обостренный индивидуализм сознания Бернета не находил достаточно широкой опоры в отечественной традиции.

Любовь в произведениях Бернета — это не то емкое чувство, которое излучает свое тепло на окружающих людей и незримым образом воссоединяет романтического поэта с родиной. Оно, напротив, отлучает его от всяких других жизненных интересов и привязанностей. Власть любви над человеком неодолима: он либо жертва ее («Перля, дочь банкира Мосшиеха»), либо губитель чужих сердец («Граф Мец», «Елена»).

В поэме «Елена» герой обрушивает всю силу своей грозовой страсти на кроткое, хрупкое существо и этим убивает его. Нравственное чувство поэта восстает против темного, антигуманистического начала этой страсти. Возникает характерная для Бернета тема

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 2, М., 1953, с. 419 и 417.

возмездия за эгоистическую любовь, отразившаяся также в «Графе Меце» — произведении, где прихотливо переплелись влияния, идущие от Байрона («Дон-Жуан», «Манфред»), Гете («Фауст»), Пушкина («Евгений Онегин») и даже Кюхельбекера («Ижорский»).

Подобная проблематика, замкнутая в своем собственном заколдованном кругу, сообщает тем не менее манере письма Бернета то «драматическое движение», на которое с сочувствием указывал Белинский. Индивидуальность поэтического голоса Бернета улавливается без особого труда. Целый ряд его стихотворений подкупает своеобразным лирическим разбегом: чувство, словно неудержимо катящаяся волна, увлекает весь поток стиховой речи, идущий как бы «на одном дыхании». В лиризме Бернета хорошо прослушивается также настойчивая, властная интонация, иногда звучащая приглушенно, а порой грубовато и резко.

Судьба Бернета была типичной для многих поэтов-романтиков второго-третьего ряда, потерявших своего читателя в середине 40-х годов. Попытку отозваться на новые веяния времени Бернет предпринял в поэме «Чужая невеста», писанной пушкинской октавой и ориентированной на бытописательную традицию. Но никаких серьезных перемен в его творчестве это произведение не обещало.

В 1845 году, в связи с публикацией последней части «Графа Меца» (в альманахе «Метеор»), Белинский разочарованно писал: «Г-н Бернет некогда подавал надежды. Но ему суждено было на всю жизнь остаться тем, чем он обнаружил себя в то время, когда подавал надежды. Теперь, кажется, уже нечего от него надеяться».[1]

С 1846 года имя Бернета как поэта исчезает со страниц прессы. В 1850 году он выступил с двумя повестями: «Черный гость» и «Не судите по наружности» («Отечественные записки», №№ 1 и 7). Все эти годы Бернет по-прежнему служил в департаменте государственного казначейства. Чиновничья карьера его продвигалась туго, и он испытывал стесненность в средствах. Только в 1861 году дела его поправились — Бернет занял пост вице-директора своего департамента.

Последняя попытка поэта возобновить свою литературную деятельность относится к 1859—1862 годам. Около десятка его стихотворений, в том числе и в обличительном духе, появилось на страницах «Искры». В конце 50-х годов были напечатаны роман Бернета «На старый лад» (1859) и несколько повестей. Скончался поэт 8 декабря 1864 года в Петербурге.

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 9, М., 1955, с. 41.

339. ⟨ИЗ ПОЭМЫ «ЕЛЕНА»⟩

НОЧЬ ДЕСЯТАЯ

ЕЩЕ СВИДАНИЕ

1

«Затворница, открой свое окно
На краткое, последнее свиданье!..
О, ежели звездам позволенó
В темницу лить зловещее блистанье,
Прими теперь мой безотрадный взгляд:
В нем все огни страстей и мук горят.

О, ежели полночным крикам птицы,
Иль реву вод, иль бури грозовой
Внимаешь ты в безлюдии темницы, —
Открой окно, послушай голос мой.
Что грустный мрак и громы небосвода?
Что бури вой и шум кипящих рек?
Нет, никогда скорбящая природа
Не плакала, как плачет человек!..

О, ежели порою с этой башни,
Благословя лилейною рукой
Несчастливых, собравшихся толпой,
Целила ты болезнь тоски всегдашней
Или, слова роняя с высоты
На их сердца, как дождь на луг иссохший,
Вновь оживляла травы и цветы
В степи без вод, покинутой, заглохшей, —
Небесная! во имя той любви,
Которая была нам общим чувством,
Несчастного теперь благослови!..
Вокруг меня и горестно и пусто!
Отвергнутый, я жизни не люблю, —
Найду тебя, отрада отнятая,
Иль грудь свою об камни раздроблю...
Открой окно, услышь меня, святая!..»

2

Оно раскрылось: при луне
Елена бледная в окне...

Когда, сломив цепей кольцо,
Окончив долгий путь разлуки,
Мы видим милое лицо,
Внимаем радостные звуки,
Когда восторги грудь стеснят, —
Уста в тот миг не говорят...
Напрасно сердце ищет речи:
Огонь очей, мгновенный крик —
Вот все приветы сладкой встречи,
Вот счастья огненный язык!
Так было с ним. Весь — исступленье,
Он руки поднял к высоте,
К печальной, дивной красоте,
К своей возлюбленной Елене!..
Он к ней хотел наверх лететь,
Сожечь горящими устами,
Схватить в объятья, умереть...
Но руки не были крылами!
Потом очнулся бурный ум,
Созрел перун во мраке дум —
И речи брызнули огнями.

3

«О, ты опять передо мной,
Моя сестра, моя царица!
Ты заблистала вновь, денница!
Ты рассветал, день голубой!
Ты разлилася, нега лета!
Ты веешь, вешний ветерок!
Цветнеешь, радуга завета!
Кипишь, живительный поток!..
И вся тепла ты, как моленье,
Тверда, как серафимов мочь,
Возвышенна, как вдохновенье,
Повита в таинства, как ночь!

Так, это ты! твой стан прекрасный,
Твое высокое чело!
О, не напрасно, не напрасно
Меня намеренье вело!

Я знал: ты оживишь мне душу,
Я жизнь опять тобой спасу;
Ты мне на сердце, как на сушу,
Прольешь небесную росу!
Я долго по страна́м скитался,
Водил безумные толпы́, —
Один лишь пепел оставался,
Где провлеклись мои стопы.
Свиреп, отвергнут, раздраженный,
Деяний жаждою томим,
Носил огонь, меч обнаженный —
И жил отчаяньем одним.
Предательство повсюду видел,
Без чувства кровь людскую лил —
И всё губил, всё ненавидел
За то, что я тебя любил!..

4

За то одно, за то, Елена,
Давно мне опостылел свет,
Давно мне общество — геенна,
Давно отечества мне нет!
Давно луг жизненный бесцветен,
Сомненья избраздили лоб,
Давно свод неба безответен,
Давно ношу я в сердце гроб!..
Мы встретились — и ты умела
Зажечь звезду в повсюдной тьме,
Любить, надеяться велела —
И веровать велела мне.
И верил я до той минуты,
До страшного разлуки дня,
Когда мой рок, гонитель лютый,
С тобой всё вырвал у меня...

Дочь кротости, молитвы, света!
Не спрашивай о тех путях,
По коим бурная комета
Текла в погибельных лучах!
Смиренный ангел сожаленья,

Дел прошлых не желай узнать,
Не приходи на разрушенье
Святые слезы проливать!..

Я каменел: мольбы и стоны
Не внятны деспоту-уму,
Когда, отвергнув все законы,
Он ринется в хаос и тьму;
Когда железные понятья
Своих страстей, своих забав
Дает он угнетенным братьям
В неизменяемый устав.
Беды́ их мог ли понимать я,
Лишенный счастья и любви?
Гром славы заглушал проклятья,
И возрастал мой лавр в крови!

Но пред безмерною долиной,
Идущей прямо в темный ад,
Остановясь на миг единый,
Задумал я идти назад.
Я вспомнил: где-то было место
Блаженства, тишины, добра —
И вновь пришел к тебе, невеста,
Подруга милая, сестра!

5

Я не могу скитаться одиноким,
В страданьях жить надеждою одной,
Дух обольщать наград венцом далеким
Я не могу!.. Увы! я весь земной!
Мне грудь нужна, мне надобны объятья,
Мне надо сердца верного ответ,
Чтоб темные расчеты, предприятья
Грел, освещал души невинной свет.
Предчувствую: мой ум и нрав кипучий,
Страстей моих и пламень и поток —
Губительны, как градовые тучи!
Я без любви ужасен и жесток!..
Прекрасная! когда мое спасенье,
Загробных дней далекая судьба

Тебе хоть мысль, хоть каплю опасенья
Вливают в грудь — не будь людей раба!
Беги со мной! Покинь немые стены,
Отринь навек торжественный обряд:
Нас бог простит, любовью умиленный,
Нас ангелы с небес благословят!
Беги со мной! Я тихий кров имею
И поселян отцов моих. . . О, будь
Им матерью — царицей будь моею!
Дай мир забыть и в счастьи утонуть!
В семействе их — примером, увещаньем
Я выкуплю прошедшие вражды,
Я заплачу страданью — состраданьем,
Я кровь отдам — за траты и беды.
Беги со мной, беги со мной, черница!
Звезда любви к спасенью потечет —
И твой восход, желанная денница,
Меня с собой до неба увлечет! . .

Но посмотри: лазурные селенья
Покрылися румянцами зари,
Я весь дрожу от нетерпенья, —
О, говори, ответствуй, говори! . .»

6

В наряде пышном и зеленом,
Под теплым, светлым небосклоном,
Ветрам противится сирень —
И каждый листик в летний день
Роняет с ропотом и стоном.
Когда же вьюга набежит
И хлад до корня обнажит
Весны любимое растенье,
Утратив жизнь, оледенев,
Безгласно тяжкий божий гнев
Несет оно, симво́л терпенья.

Подобно деревцу зимой,
В печали хладной и немой,
Душа убитая не ропщет!
Пускай беда ведет беду,

Пускай ее презренье топчет,
Молчание зовет вражду
И червь страстей догробных точит, —
Есть чувство в ней, но жалоб нет!..

Был тих затворницы ответ:
«Господь и мать моя не хочет —
Я умираю и нейду!..»

Но искра с божьего кадила,
Дым благовоний воскурив,
Зачем себя не угасила
И пала в порох? — Страшен взрыв!..

7

«Нейдешь, нейдешь?.. Внемли же мне, природа!
Я разрываю с обществом союз!
Восстань, моя ужасная свобода,
Проснись, мой дух! Нет больше в мире уз!
Безумной злобою народы закипите,
Мне все равны, все чужды, далеки;
С огнем, с мечом, с отравою бегите, —
Я поведу свирепые полки,
Я лютость дам невиданную строю!
Давно велик я общим грабежом,
Что здесь зовут неправедной войною,
Но я грабеж стократ теперь удвою,
Я жен убью, детей осирочу,
Пройду косой, заразой пролечу,
Улыбкою слезу не удостою,
В ответ на плач — как зверь захохочу...

И пусть тогда распуганное стадо
Блеянием сулит мне казни ада!
Пускай и ты, холодная душа,
На четках страсть и чувство расчисляя,
Вниманием меня увеселяя,
Убогою любовию смеша,
Вновь повторишь, что средь безумных игр

Несытый я и кровожадный тигр.
Да, тигр я, тигр! О, если б ты, гробница,
Ты, жесткая могильная плита,
Ты, мумия под знаменьем креста,
Любила так, как дикая тигрица!
Тогда бы ты умела понимать,
Как сладостно двум вместе умирать!
Тогда бы ты наш жребий не делила,
Не думала одну себя спасать —
И не нашлась бы в пылком сердце сила
Холодностью природу ужасать!..

Как ты хранишь, так я сдержу обеты:
Вот завтра же в селениях огни
Начнут ходить — сначала как кометы,
Потом наверх поднимутся они
Фонтанами гремящих извержений!
И вдруг собой полнеба охватив,
Пошлют тебе нарядный свой отлив!
И будет свод багровый — отраженье
Лица земли, затем что кровь и кровь
Польет ее! За чувство, за любовь,
За глупое доверье, униженье!..

Под градом стрел, под жатвою мечей
Проснутся эти мраморные люди!
Постыдный страх им заколышет груди,
И будет дик и мутен блеск очей!
И вот толпа, как бурная волна,
И ярости и робости полна,
Вокруг себя свирепо взоры бросит,
Рыканием и женским плачем спросит:
«Где нашего несчастия вина?»
Я приведу их к башне сей забвенной,
Я покажу им на тебя, Елена,
И праведно отвечу: «Вот она!»

А ты гляди, а ты не ужасайся,
Учи терпеть, притворствуй и спасайся,
Предсказывай о дальних лучших днях!
Они, как я, в тот час тебе поверят,

Когда увидят смерть на знаменах,
Когда могилу темную измерят!

Народ тебя узнает и поймет,
Прельщенья цвет, красивый смерти плод!
И все твои возлюбленные братья
Пошлют тебе и камни и проклятья,
И бросятся убить, но я не дам,
Не сделаю конца твоим бедам, —
Нет, существуй! Гляди и наслаждайся,
В благих трудах спасенья подвизайся
И внемли звуку неисцельных мук —
Он будет долгий, бесконечный звук!
Затем что я, подобный степи врану,
Терзать людей дотоле не устану
И воплями покой твой возмущать, —
Пока ты в силах ложью обольщать,
Пока ты видишь, разумеешь, слышишь,
Пока живешь, мечтаешь, плачешь, дышишь».

6

«Возьми ж меня!» — раздался крик —
И что-то с башни в этот миг,
Одеждой свиснув, как крылами,
Мелькнуло пред его глазами
И, как подстреленный орел,
Упало на гранитный пол. . .
Тяжелый стук! . . Но после стука
Ни вздоха, ни мольбы, ни звука! . .
По членам пробежала дрожь;
Тот страшный звук, как острый нож,
Прорезал сердце — в сердце сломан,
Ум оглушил, как божий гром! . .
Он к месту ужасом прикован,
Глядит наверх, глядит кругом —
И помутились думы, чувства. . .
На башне, у окна, — всё пусто:
Там только лампы бледный свет. . .
Елена — здесь, Елены — нет! . .

9

Да, нет ее! .. Рыдай, злодей,
Рыдай напрасными слезами!
Ты, свирепейший из людей,
Чудовище под небесами!
Ты, мрачный дух, звезду затмил
Высокую между звездами,
Сожег цвет лучший меж цветами,
Ты херувима умертвил! ..
О, никогда еще душа
Так бескорыстно не любила!
За что ж, безумием дыша,
Земная страсть ее убила?
Хотел ты, изверг, обнимать
Простого, чистого младенца;
Тебе ль ценить величье сердца,
Тебе ль святое понимать! ..

Терзайся, сетуй и зови,
Зови и воплем и мольбою
В невинно пролитой крови
Лежащую перед тобою!
Увы, твой недоступен глас
Для той, которая не дышит —
И ныне в первый, первый раз
Покорный слух тебя не слышит!
Одел чело багровый цвет —
Оно не розами обвито!
На нем ужасной смерти след,
Оно растерзано, разбито! ..
Рука хладна и тяжела,
Она тебя ласкала, лютый!
Грудь бездыханная жила
Тобой до страшной сей минуты! ..

10

Тебе здесь места нет теперь,
Окровавленный, дикий зверь!
Беги из стороны родимой,

Скитайся грустным прошлецом,
Как Каин, господом гонимый!
Не будь ни братом, ни отцом,
Не знай отрады и удачи!
Пускай тебя покинет сон,
Пускай слезы не выжмешь в плаче,
Не вынудишь из груди стон!
Пускай ни общество, ни время
Твоих забот не уведет,
Пускай всегда тебя гнетет
Невыносимой скорби бремя!
Стань жизнь твоя как ночь и мгла,
Как призраки, виденья, грезы —
И не найди себе угла,
Где лить отвергнутые слезы! ..

⟨1837⟩

340. ПРИЗРАК

Если в храм родительской деревни
Вступишь ты в любимый сердцу час —
В грустный час, когда поют вечерни,
Сумрачен златой иконостас,
Тихо так, что слышен шелест платья,
В алтаре мерцают три свечи,
Озаряют наверху распятье
Солнышка прощальные лучи,
Пуст дом божий, клиросы унылы,
С книгою раскрытою налой,
Без огней висят паникадилы,
Ладан вьется синею струей, —
Если в это время, над землею
Вознесясь, почувствуешь ты въявь,
Что нежданный кто-то есть с тобою, —
Не гони, оставь его, оставь!

Ежели ночей и дум царица
По полю лазурному идет,
Озеро в брегах не шевелится,
В доску сторож час полночный бьет,

Целый дом объемлет усыпленье, —
Ты не спишь, хотя на тихий сон
Мать дала давно благословенье;
Зал обширный тускло освещен,
На стенах угрюмые картины,
Не звучит ни арфа, ни рояль,
Бледный месяц бродит по гостиной,
Всюду мрак, священная печаль, —
Ежели ничто не возмущает
Тишину, а ты услышишь въявь:
Кто-то шепчет, стонет и летает, —
Не гони, оставь его, оставь!

Наконец, когда ты, к изголовью
Приклонясь невинной головой,
Взор сомкнешь с молитвою, любовью
И господь пошлет тебе покой,
Херувимы станут вкруг постели,
Ангел крылья зáвесой прострет,
Чтобы грезы подходить не смели,
Не коснулся б сновидений лёт,
Гиацинты уменьшат куренье,
Розы в чашках аромат сожмут,
Прекратят ручьи свое теченье,
Реки станут, ветерки умрут, —
И тогда как мир весь почитает
Девы сон, почувствуешь ты въявь:
Кто-то плачет, жжет и лобызает, —
Не гони, оставь его, оставь!

⟨*1837*⟩

341. ПОДСОЛНЕЧНИК

Цвет солнца! Над грядой печальной, обнаженной
Стоишь уныл... Ни благовонья роз,
Ни стана лилии, ни пурпура пиона
Земле ты не принес.

Блестящий гиацинт и мак с чалмой восточной,
Душистые кусты роскошной резеды,

Фиалка скромная с красою полуночной
Наполнили сады.

Тебя природа скудно наделила!
Ничтожен твой людьми забытый плод;
Ты в запустелый изгнан огород;
Изрыто и черно то место, как могила,
Где стебель твой растет.

Несчастный, лета дни переживаешь;
И средь осенних бурь, туманов и ветров,
Склонив чело к земле, один ты умираешь,
Последний из цветов.

Кто стебель твой прямой и стройный приласкает,
Что от земли бежит стрелою к небесам?
В пустыне, где цветешь напрасно, кто узнает,
Чего он ищет *там*?

В пустыне кто поймет симво́л, предназначенье?
Кто скажет, для чего высокое чело
Всегда идет вослед за солнечным теченьем,
К лучу устремлено?

Там жизнь твоя! Любовь твоя — денница,
Не в силах отвратить ты от нее лица;
Земля — как ночь грустна; мир — хладная темница;
Ты — сын здесь без отца.

К чему тебе земное украшенье!
На небесах — желания предмет.
Денницы носишь лик, ее отпечатленье,
Ее лучи и цвет.

Дни бытия — дни скорби и изгнанья;
Людьми забыт, а то отдалено,
Что крепко так и вечно в день созданья
С душой сопряжено:

Нет сил склонить к земле ни взоров, ни желаний,
Нет крыл взлететь к манящим небесам,

Нет звуков высказать палящее страданье,
Нет образа мечтам!

Цвет солнца, бедный цвет, судьба твоя — терпенье!
Неузнанный, поблек, увял один;
Земля дала тебе за муки в награжденье
Крапиву и полынь.

И будет мученик всегдашний в мире этом,
Кто небо обожал!
Кто красотой бессмертной, вечным светом
Несытый дух пленял!

⟨1837⟩

342

Как полк великанов, проходят скалы,
Леса и селенья мелькают, как сны;
В пространство рекою бежит путь далекий.

Всё ново, и чуждо, и дико очам.
Зачем же привел меня к этим местам,
О путь незнакомый, о путь одинокий!

Надежд исполненье, минувшего сон,
Как два твои края, сокрыл небосклон,
О путь мой безвестный, о путь мой печальный!

Заменит ли сердцу шум радостных встреч
Покинутых слезы, оставленных речь,
О путь, мой разлучник, о путь мой прощальный!

И скоро ли с песней назад побредем,
И скоро ль увидим родительский дом,
О путь бесконечный, о путь необъятный!

Или ты ведешь нас тропой роковой
В страну без исхода, на вечный покой,
О путь мой последний, о путь безвозвратный?

⟨1837⟩

343

Румянец розовых щек,
Глаза, как младенца, живые...
Когда б я предаться им мог,
Быть может, я был бы счастливый!

Когда б неподвластный разлив
Чувств, в груди бунтующих вечно,
И сердца тревожного взрыв
Сковать мог я жизнью беспечной;

Когда бы мечтаний миры
Бесчисленней класов над нивой,
Фантазии буйной пиры
В тебе я вместить мог единой;

Когда бы бездонность страстей,
Догробную жажду желанья
Наполнил я лаской твоей,
Насытил амврозьей лобзанья;

Когда бы в тебе, о дитя,
Слил жизнь всю: восторги и горе...
Но можно ли в каплю дождя
Вместить беспредельное море!

Но можно ли дерзостный дух,
Парящий к делам, не к покою,
Смирить и ослабить... и круг
Чертить ему волей земною!..

Подставь лучше молнии грудь,
Гонись за блудящей кометой,
Несися за бурею в путь,
Влюбляйся в труп, в саван одетый.

Меня же покинь, убеги!
В другом сыщешь чувства награду:
Мои одиноки шаги
В дороге — и к небу, и к аду.

⟨1837⟩

344. ЗИМНИЙ ПОХОД

«Потусклый месяц побледнел,
Ночное небо голубеет,
Петух в последний раз пропел,
И ветер холоднее веет.
Бог свет дает! Мороз скрыпит.
Дорога чрез село лежит.

Из хаты утренний дымок
Над кровлей низкою поднялся;
Стоит он, тонок и высок,
И с колокольней поравнялся.
Всё небо в золоте, в огне, —
Встречаем день мы на коне.

Хотя на радостный восход
И рано солнце поспешило,
Но раньше мы пошли в поход:
Оно в пути нас озарило.
Здорово, солнышко! Свет твой
Пускай утешит грустный строй.

Проснулось мирное село,
Хозяйка двери отворяет,
Глядит поселянин в окно,
Его взор радостью блистает.
Ему о чем же горевать?
Жена, и дети с ним, и мать...

В чужом краю привета нет.
Никто нас сирых не встречает;
Вздохнув, прохожий смотрит вслед, —
Быть может, обо мне вздыхает.
Меня, друг, можно пожалеть!
Ах, тяжко сиротой стареть!..

Труды нерадостно терплю
Под неродными небесами;
Подчас на камне ночью сплю,
А утром моюся слезами.
И хлеб не естся! Горек он,
Чужой рукою испечен.

Прощай, прохожий! Нам грустней,
Когда идем селом, бывает:
Огнем кровь сердце сожигает,
Как вспомнишь радость прежних дней...
Прощай! В селе нам нет родных, —
Собаки лают на чужих!»

Походом, песней грусть гоня,
Так утром воин пел печальный;
Рукой погладил он коня,
Вздохнул, взглянул на путь свой дальный,
И на замерзлые усы
Скатились разом две слезы.

(1837)

345. ПАША

Паша́ был светел; в сладкой лени
На бархатном диване он лежал,
Из янтаря душистый дым впивал,
А голову склонил к Дильбере на колени.
Гречанка то была — цветущая весна,
Зефир, ручей живой, блестящая денница,
Видение раскошнейшего сна,
Обет восторга — красоты царица.

И вдруг отбросил он чубук,
С улыбкой доброю, смеяся и жалея,
Шепнул, атлас сжимая белых рук:
«Ты в грека влюблена, морейская лилея!»

В негодовании, с слезами на глазах,
Дрожащая, искала долго слова.
«Что говоришь, душа, властитель благ!
Не повторяй наветов духа злого!
Кого любить? .. Бог видит грудь мою, —
Ты в ней один. Клянусь отца могилой,
Всем сердцем, мыслями, всем бытием люблю
Единственно тебя, мой обладатель милый!»

Беспечно поднял он веселое чело,
Не оскорбясь вопроса неудачей;
Взглянул очей в прозрачное стекло,
Поцеловал уста, коралл горячий.
«О гурия! Ты платишь не добром
За доброту мою! Не отвергай участья:
Готов я помогать кинжалом, серебром
Для вашего союза, мира, счастья.

В тайник души, друг, отвори мне дверь,
Откройся в истине, не плача, не робея,
Как матери родной, мне отвечай теперь:
Ты в грека влюблена, морейская лилея?»

«Ах, смею ли, могу ль, должна ли я любить!..
Хоть ангел бы предстал, но не сломить заклятья,
Когда мне суждено твоей навеки быть,
Когда, как цепью, ты сковал меня объятьем!
До гробовой доски послушная раба!
И, если б чувство в грудь невольницы запало, —
Преступна менее и более слаба,
Сто раз бы умерла, а тайны не сказала».

И обнял деву он. Ласкаяся, шутя,
Играл развитыми, блестящими кудрями.
«Ты правду говоришь, прекрасное дитя!
Но женщина властна ли над страстями?
Я не тиран, не зверь, не нильский крокодил,
Чтоб голубя разрознивать с голубкой.
Не будет извергом, кто так тебя любил:
За ласки не воздаст насилья вечной мукой.

Готов поддерживать кинжалом власть мою
И золотом; лишь ты признайся, не краснея, —
Я в ту ж минуту вас навек соединю, —
Ты греку отдалась, морейская лилея?»

И, вне себя, она — у ног паши!
Трепещет, не найдет речей в рыданьи горьком.
«О, ты прозрел всю внутренность души
Благим, пронзительным и милосердым оком!

Так! Я нарушила, забыла вечный долг.
Он мой! Люблю его! Не помогло боренье!
Он морем ум топил, он солнцем сердце жег,
Навеки он скрепил сердец соединенье!

Ты не разлучишь их! .. Ты добр... Тебе гарем
Невольницу увядшую заменит.
Чтоб осчастливить нас — не правда ли? — затем
Меня ты спрашивал? .. Ах, он твой дар оценит,
Он будет раб твоим желаньям и страстям,
Над драгоценными он станет бдеть годами!
О, сделайся отцом несчастным сиротам,
Будь господом оставленной судьбами!

Всё высказала я, что только ты желал,
Стыдом, надеждою и страстью пламенея...»
Как тигр вскочил паша, ей в грудь вонзил кинжал.
«И я сдержу обет, морейская лилея!»

В ладони хлопает — толпа предстала слуг.
«Возьмите прочь ее! .. И труп окровавленный
Несите в комнату, где ждет ее супруг,
Грек обезглавленный, в ночь прошлую казненный.
Я слово дал. Я слову господин!
Найду приличное сердцам влюбленным место!
Заприте их обоих в гроб один —
Да не разлучится жених с своей невестой!»

⟨*1837*⟩

346. ИЗМЕННИЦА

Ах, певец! какое горе!
Лучший цвет любви твоей,
Дева милая, не споря
С гордой матерью своей,
Отдала иному руку!
Боги, тяжкую разлуку,
Неизбежной смерти весть
Дайте силы перенесть!

Шумной свадьбы вереницу
Проводив за ворота,
Уж не я тебя в ложницу
Поведу, о красота!
Уж не мне в тревоге новой
С белоснежных юных плеч
Целомудрия покровы
Дланью жаркою совлечь,
Вняв благих богов веленьям,
Пояс девы отрешить
И стыдливые моленья
Поцелуем заглушить.
Боги смертному на долю
Мало дали счастья, друг!
Мне — беспечной жизни волю,
Струны, чашу и досуг;
Мне — разгул вечерних оргий,
Поцелуи при луне;
Но законные восторги
Предназначили не мне!

Вздох унылый, ропот томный
Тщетно лишь волнуют грудь;
Бессемейный и бездомный,
Избираю новый путь.
В край безвестный, край далекой
Чашу с лирой унесу;
Там забуду черноокой
Вероломную красу.

Я уйду — со мною вместе
Музы милые уйдут
И изменнице-невесте
Брачной песни не споют.
Скучен будет пир венчальный,
И жрецов унылых ряд
Совершит, как долг печальный,
Утомительный обряд.
Муж суровый и надменный
В пышный дом тебя введет,
Но в сокровищах вселенной
Наслажденье не живет!

Видя гордые палаты,
Скажешь, помня счастья сны:
«Золотом они богаты,
А веселием бедны!
Всюду пасмурные лица,
Тусклы взоры, как свинец;
Здесь надежд моих гробница,
Здесь любви моей конец!»

⟨1841⟩

347—351. ⟨*ИЗ ЦИКЛА «ПО СЛЕДАМ АНАКРЕОНА»*⟩

1

ПРИЗРАК

Сицилиец мореходный,
Помня дедов ремесло,
По равнине вод свободной
Движет легкое весло.

Солнце, бег кончая дневный
Догорающей красой,
На лазури Средиземной
Стелет помост золотой,

И над спящими волнами,
Низлетая с высоты,
Вечер легкими крылами
Сеет думы и мечты.

Тихи рощи и долины,
Всходят месяца рога,
Величавые картины
Взорам кажут берега:

Вот руины храма Славы,
Башни, стены, темный ров. . .
Гробы царственной державы,
Прах минувших городов!

Дар оставя нам чудесный,
Здесь, числитель и поэт,
Спят в могиле неизвестной
Феокрит и Архимед.

. . . .
. . . .
. . . .

Но когда в красе восточной
Саркофаг иных племен,
Замок Цизы непорочной
Вдруг появится из волн,

На резных колоннах ходы,
Легкий терем, звучный грот,
Шпицы, стрельчатые своды,
Арабески, водомет,

Роз душистые короны,
Кипарисные листы,
И балкон, а на балконе —
Лик небесной красоты...

Бросив верное кормило,
Юный плаватель сквозь тьму
Видит образ, сердцу милый,
Простирает длань к нему.

Тщетно! Легкий призрак белый
Улетает в глубь террас,
Манит в замок опустелый
И скрывается от глаз!..

О, зачем тебя здесь боги,
Мавританская звезда,
В сокрушенные чертоги
Заключили навсегда?

Или за мирские неги
Ты утратила эдем,
И пустынны эти бреги
Сторожат твой вечный плен,

Или, неба грустный житель,
Помня воды и цветы,
Ты в родимую обитель
Улетела с высоты! ..

2

СОРЕВНОВАТЕЛЬ

Я не грек, но доли нашей
Первенства́ не уступлю:
Так же весел я за чашей,
Так же пылко я люблю.
Что нужды, что рвать нам розы
Целый год не суждено:
Не приятнее ль в морозы
Пить янтарное вино?
Свист Борея тешит мужа,
Пусть зима идет, — ужель
Остудит мне сердце стужа,
Охладит мой дух метель?
Встретя милой девы взгляды,
Южных звезд я не прошу:
Небо светлое Эллады
В молодой груди ношу.
Друг классической державы,
Наслажденья верный сын,
Изуча былые нравы
Обитателей Афин,
По благому их примеру
Всех языческих богов:
Феба, Вакха и Венеру
Жертвой чествовать готов!
По урокам их, свободный,
Я лелею песен жар,
Звуки лиры благородной!
Аполлона чудный дар!
Хореические строки,
Словно брызги серебра,
Словно вод живых потоки,
Истекают из пера!

8

НЕВОЛЬНАЯ ИЗМЕНА

Аравийским ароматом
Умастя свои власы,
Вся блистающая златом,
Негой, чарами красы,
Мне вечор она предстала!
Как лазурный небосвод,
Из порфира и опала
Одевал нас легкий свод.
В сокровенную обитель
Проникая в первый раз,
Изумленный, робкий зритель,
Возвести не смел я глаз.
Обожал я, как святыню,
Лик волшебницы младой,
И не смертную — богиню
Думал видеть пред собой.
Слов пугаясь святотатства,
Перед ней немел язык,
Силу прелестей, богатства
Я вполне тогда постиг!
Благовонием курений
И цветов окружена,
Упивалась негой лени
Величавая жена.
Смоляных кудрей потоки,
Разбежавшиеся врозь,
Трепет, огненные щеки,
Взор, пронзающий насквозь;
Белые, нагие руки,
Жажда страсти на устах,
Выраженье сладкой муки
В томно-голубых очах;
Грудь без дымки, непорядок
Соблазнительных одежд —
Всё рождало чувств припадок
И безумие надежд.

Если б медлил я предаться
Обаянью в те часы,

Люди б стали сомневаться
В всемогуществе красы;
Если б я в мгновенье это,
Друг, тебе не изменил,
Чем бы перед строгим светом
Хлад преступный извинил?
Я б из власти женщин вышел,
Коих вечно обожал,
И прощенье б не услышал,
И пощады б не узнал!
Разнеслись бы злые речи,
Что я камень, что я лед. . . .
Дева, при подобной встрече
Изменю я и вперед.

4

МИЛЫЕ ГОСТИ

Знайте: с солнечным закатом
В гробе спящие встают,
Дышат розы ароматом,
Сладкий божий воздух пьют.
Ах, не может быть природа
Столь к детям своим люта,
Чтоб была им дверь исхода
В мир навеки заперта.

Длинной, легкой вереницей
Расстилаясь при луне,
Мчатся вдаль они, как птицы,
К незабвенной стороне,
Где любили, где вкусили
Юной жизни дар благой
И впервые оросили
Щеки сладкою слезой;

Где узнали с роком битвы,
Прелесть дружбы и родства,
Силу горя и молитвы,
Гнев и милость божества.
Край священный перед ними!

Всё опять им отдано!
Вновь составили с живыми
Нераздельное звено!

Ряд дубов, цветник у дома,
У реки зеленый луг, —
Всё им мило и знакомо,
Как старинный, верный друг.
И полет их благотворный
Слышат нежные сердца,
Разумеет ум покорный,
Видит вещий взор певца.

5

СЧАСТИЕ И ВЕЛИЧИЕ

В час, когда для жизни сердца
Я пришел в мир суеты,
Мать желанного младенца
Положила на цветы
И сказала: «Для того ты
Пеленой весны повит,
Чтоб в очах твоих заботы
Принимали счастья вид,
Чтоб улыбкой молодою
Красовалося чело,
Чтобы всё перед тобою
Жило, пело и цвело».

С той поры, хотя печали
(Наважденье адских сил!)
На пути меня встречали,
Но от них я уходил.
Друг беспечности любезной,
Чадо неги и весны,
В век холодный и железный
Золотые вижу сны.
Бледность — роскошью мне зрится,
Сводом мраморным — шалаш,
И в душе моей гнездится
Нестареющая блажь.

Резвые люблю забавы,
Скучного бегу труда,
Не желаю громкой славы,
Не боюсь людей суда.
Лишь хотел бы, лиру строя
И прядя напевов нить,
Чувство мира и покоя
В сердце братий перелить.
Пусть другой надмен и шумен,
Обожает славы лик;
Кто был счастлив — был разумен,
Кто счастливил — был велик.

⟨1845⟩

352. ВЕСЕННЯЯ КАРТИНА

Нянек и малюток
Полон снова сад,
Выпущен из буток
Белых статуй ряд.
Слышишь ли ты звуки
Юных голосов,
Как лепечут внуки,
Дедушка Крылов?
Роз, сиреней запах
В воздухе стоит,
Львы с шарами в лапах
Стерегут гранит.
К пристани теснится
Кучами народ,
Точно вся столица
Собралась в поход.
Повидаться с летом
Манят острова!
Золотистым светом
Залита Нева!
От лучей победных
Скрылся образ тьмы. . .
Лишь на лицах бледных
Вечный след зимы.

⟨1858⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

С. Е. РАИЧ

Из оригинальных стихотворных произведений Р. особым изданием была напечатана только поэма «Арета» (чч. 1—2, М., 1849). Лирические стихотворения, публиковавшиеся в журналах и альманахах, остались несобранными. Отдельными книгами вышли в переводе Р. поэмы «Георгики» Вергилия (М., 1821), «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо (чч. 1—4, М., 1828) и неполный текст (чч. 1—3) «Неистового Орланда» Л. Ариосто (М., 1832—1837).

1. СЛ, с. 428.

2. Альм. «Урания», М., 1826, с. 44 (ц. р. 26 ноября 1825). Имея в виду это и ему подобные стихотворения, содержащие старинный вакхический мотив «carpe diem» («лови день»), идущий от античных лириков, К. А. Полевой рассказывал, что Р. «любил в стихах своих выражать наслаждение жизнью — «буянил в стихах», как мы говаривали тогда» («Записки», СПб., 1888, с. 100). Ст. 10 песни Р. был использован юным Лермонтовым в посвящении к ранней редакции «Демона» (1829). *Леней* — здесь: Вакх. Ленеи — праздники у древних греков по случаю получения вина нового урожая.

3. Альм. «Урания», М., 1826, с. 83. Образ катящегося перекати-поля, в другом значении — как аллегория тернистого пути революционера, встречается в одноименном стихотворении С. С. Синегуба (начало 1870-х годов).

4. СЛ, с. 115, подпись: Р. В рецензии на СЦ 1830 г. (Гал., 1830, № 8, с. 35) Р. упомянул «Друзьям» в перечне своих оригинальных лирических произведений. Явные отзвуки этого стихотворения — в «Песни погибающего пловца» Полежаева (конец 20-х годов). «Друзьям», по утверждению Н. В. Гербеля, «облетело всю Россию и еще до сих пор поется иными под аккомпанемент гитары» («Русские поэты в биографиях и образцах», изд. 3, СПб., 1888, с. 179). Популярность этой песни засвидетельствовали также А. А. Григорьев и И. Ф. Горбунов. Она была вписана Белинским в его тетрадь «Собрание разных стихотворений» (см.: В. С. Нечаева, В. Г. Белинский.

Начало жизненного пути и литературной деятельности, М., 1949, с. 426). По некоторым данным, известности стихотворения способствовала музыка А. Е. Варламова (ее нотный текст неизвестен). Положено на музыку Н. А. Титовым, Ф. М. Толстым и С. Растроповичем. «Друзьям» упоминается в гл. 9 «Помпадуров и помпадурш» (1863—1874) Салтыкова-Щедрина и в гл. 13 романа В. В. Крестовского «Тьма египетская» (1888). *Оркова страна.* Орк (римск. миф.) — подземное царство мертвых.

5. СЦ на 1826, с. 106. Стихотворение Р. вполне оригинально, так как стихи Корнелия *Галла* (69 до н. э. — 26), римского полководца и поэта, не сохранились. *Элизий* (греч. миф.) — местопребывание душ праведников в загробном мире; здесь — рай, блаженство.

6. СЛ, с. 27, подпись: Р.

7. «Освобожденный Иерусалим» Т. Тасса. Перевод С. А⟨мфитеатрова⟩ Раича, ч. I, М., 1828, с. I (ц. р. 11 октября 1827), в качестве предисловия переводчика, без загл. В стихотворении использована та же ритмическая канва и та же двенадцатистишная строфа, что и во всем переводе поэмы Тассо. *С Феррарского Парнаса.* Город Феррара (на севере Италии) был заметным очагом итальянского Возрождения; в Феррарском герцогстве жили и творили авторы знаменитых рыцарских поэм: М. Боярдо, Т. Тассо и Л. Ариосто. *А выжду, может быть — упрек.* Перевод «Освобожденного Иерусалима» вызвал, действительно, не слишком лестные отклики в печати. На фоне сдержанно похвальных отзывов Вяземского (МТ, 1827, № 3, с. 241—242) и Н. А. Полевого (МТ, 1828, № 1, с. 132—133) особенно резко прозвучала разгромная статья — «Письмо к издателям СО и СА» — за пародийной подписью: Бенвенуто Бентиволио-Парадизаччи (СО и СА, 1829, № 46, с. 365—373 и № 47, с. 12—23).

8. МТ, 1827, № 6, с. 50. Автограф без загл. — ПД (в записной книжке Р.). *Салюццо-Роэро* Диодата (1775—1840) — итальянская писательница.

9. ТОЛРС, 1828, ч. 7, с. 166. Автограф — ПД (в записной книжке Р.). Была прочитана Ф. Ф. Кокошкиным на заседании МОЛРС 28 ноября 1827 г. (Барсуков, кн. 2, с. 165).

10. МВ, 1829, ч. 1, с. 111 (ц. р. 19 декабря 1828).

11. «Атеней», 1829, № 9, с. 273, подпись: — ичъ. В этом журнале Р. напечатал несколько других стихотворений, в том числе и за своей полной подписью.

12. Тел., 1831, № 13, с. 51. *Сальватор Роза* — см. примеч. 71.

13. УЗ на 1839, с. 310.

14. «Одесский альманах», Одесса, 1839 (ц. р. 31 декабря 1838), с. 198.

15—17. Печ. по отд. изд., ч. 1, с. 24—25, 57—58, 77—81. Ранее отрывок 1, под загл. «Бородино», с датой: 22 июля 1839 — Гал., 1839, № 30, с. 209 (публикация приурочена к предстоящему празднованию годовщины Бородинской битвы 26 августа 1839 г. по случаю открытия памятника на Бородинском поле). Отрывок 3 (только первая половина), в составе «Отрывка из сказания ***», в расширенной редакции — Москв., 1844, № 11, с. 6. Авторизованная писарская копия поэмы — ЦГАЛИ.

Публикуемые фрагменты — образцы лирических отступлений, четко обособленных от повествовательного текста. Как указывает автор в предисловии к «Арете», сюжетом своего произведения он в значительной мере обязан роману Т. Мура «Эпикуреец». Знакомство с ним, вероятно, состоялось еще в 1829 г., так как отрывок из него в переводе В. И. Мальцева был опубликован в «Русском зрителе» (№ 17—20) — журнале, в котором Р. принимал близкое участие. Позднее роман был целиком напечатан в переводе А. Савицкого (чч. 1—2, СПб., 1833). Два извлечения из своего произведения под заглавиями: «Отрывок из сказания ***» и «Добровольный изгнанник. Отрывок из сказания» Р. поместил в Москв. (1844, № 11, с. 4 и 1846, № 6, с. 22). Работа над произведением, начатая не позднее конца 30-х годов, завершена была примерно в середине 40-х годов. Рецензии на него, кроме отзыва Москв., содержали отрицательную оценку (БдЧ, 1849, № 7, с. 26—33; Москв., 1849, № 14, с. 21—22; ОЗ, 1849, № 8, с. 78—82; Совр., 1849, № 11, с. 25—30).

3. *Тогда я счастьем был богат* и т. д. Речь идет о 1820-х годах, в течение которых Р. перевел и напечатал «Георгики» Вергилия и «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо. *Бывал внимаем я друзьями* и т. д. Здесь Р. вспоминает о друзьях-поэтах, участвовавших в его кружке. *Остался лишь один, Поэзии любимый сын.* Возможно, эта и следующие строки относятся к Ф. И. Тютчеву, жившему до 1844 г. за границей и не напечатавшему с 1841 по 1849 г. ни одного стихотворения. *Еще я сердцем чту поэта* — М. А. Дмитриева. *Жрец Фемиды.* Служебная деятельность М. А. Дмитриева около двадцати лет была связана с органами юстиции. Фемида (греч. миф.) — богиня правосудия. *И ты, идиллия живая* — может быть, Д. П. Ознобишин.

М. А. ДМИТРИЕВ

При жизни поэта его стихотворные произведения издавались отдельными сборниками трижды: «Стихотворения» (чч. 1—2, М., 1830); «Московские элегии» (М., 1858); «Стихотворения» (чч. 1—2, М., 1865) (все произведения в этих изданиях датированы автором). Кроме того, отдельно были напечатаны: «Люциферов праздник. Романтическая карикатура» (М., 1828), несколько од, а также переводы: «Наука поэзии, или Послание Горация к Пизонам» (М., 1853) и «Сатиры Квинта Горация Флакка с объяснительными примечаниями» (М., 1858).

18. МВ, 1830, № 12, с. 289. Вошло в изд. 1830, ч. 1 (раздел «Элегии»). Эпиграф — из стихотворения В. Гюго «A toi» («Lyre, longtemps oisive, éveillez-vous encore. . .») из кн. 5 сб. «Оды и баллады» (1828). За публикацию в МВ этого и других стихотворений

упрекал издателя журнала М. П. Погодина в письме к нему от 21 апреля 1831 г. С. П. Шевырев: «Мне так было досадно, — сетовал Шевырев, — что ты стихи Хвостова поместил в «Смеси», а Дмитр⟨иева⟩ под вывеской «Изящ⟨ной⟩ словесн⟨ости⟩». Да Хвостов имеет бессмертную славу дурного поэта, а Дмитриев и этого не имеет» (см.: С. П. Шевырев, Стихотворения, «Б-ка поэта», Б. с., Л., 1939, с. 231). Эта и две следующие элегии Д. имеют в виду покойную жену поэта, скончавшуюся в 1821 г., через несколько месяцев после свадьбы.

19. Альм. «Памятник отечественных муз», СПб., 1827, с. 187. Вошло в изд. 1830, ч. 1 (раздел «Элегии»).

20. Изд. 1830, ч. 1, с. 48 (раздел «Элегии»).

21. Изд. 1830, ч. 1, с. 217 (раздел «Подражания Библии»).

22. ПЗ на 1824, с. 93, без загл. Печ. по изд. 1830, ч. 1, с. 81 (раздел «Смесь»).

23. «Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века», т. 1, М.—Л., 1931, с. 192, по списку из архива М. Н. Лонгинова (ПД). Эпиграмма относится к полемике Д. с П. А. Вяземским — автором предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина, вышедшему в свет в марте 1824 г. (см. биогр. справку, с. 33). *Жало на «Вестник» острил.* М. Т. Каченовский, издатель ВЕ, как отъявленный литературный старовер был осмеян Вяземским еще в 1820 г. в сатирическом «Послании к М. Т. Каченовскому».

24. Там же, с. 201, по списку из того же архива. Поводом для эпиграммы послужил водевиль Вяземского и Грибоедова «Кто брат, кто сестра, или Обман один из тысячи» (1823), первый раз поставленный 24 января 1824 г. и успеха не имевший. В рецензии Н. Д. (ВЕ, 1824, № 1, с. 150) водевиль был забракован.

25. Там же, с. 201, по списку из того же архива. Эпиграмма имеет в виду водевиль, написанный совместно Вяземским и Грибоедовым (см. предыдущее примеч.). Вместе с тем она, видимо, является отзвуком начавшейся в 1825 г. полемики вокруг «Горя от ума», застрельщиком которой стал Д., напечатавший в ВЕ (1825, № 6, с. 109—113) неодобрительный разбор грибоедовской комедии (см. биограф. справку, с. 33). *Мефистофелес-хитрец.* Имя героя драматической поэмы Гете всплыло, должно быть, в связи с тем, что в 1825 г. Грибоедов напечатал перевод отрывка из «Фауста». Кроме того, в его эпиграмме на Д. («Как распложаются журнальные побранки...») упоминаются Фауст и черт, т. е. Мефистофель.

26. Там же, с. 433. Вызвана тем, что в споре о комедии «Горе от ума» писатель В. Ф. Одоевский (1803—1869) решительно встал на сторону Грибоедова, напечатав в МТ (1825, № 10) резкую статью с выпадами против Д. и его союзника А. И. Писарева. *Он в Шеллинге открыл, что бог есть нуль.* На одном из заседаний кружка С. Е. Раича

(12 апреля 1823 г.) В. Ф. Одоевский прочел свой перевод главы из «Натурфилософии» Окена «О значении нуля» (см.: Н. Путята, Князь В. Ф. Одоевский. — РА, 1873, № 2, с. 258). Окен Л. (1779—1851) — немецкий философ и естествоиспытатель, последователь Шеллинга, применявший его идеи в конкретных областях естествознания.

27. МВ, 1829, ч. 1, с. 131, вместе со стихотворением «Соблазнитель» и общим примеч.: «Сии два стихотворения составляют, так сказать, две стороны одного предмета. Вопросы философии в них одни и те же, но в первом я хотел представить беспокойное сомнение разума испытующего; а во втором — спокойную уверенность простого сердца! Две точки для большей части людей совершенно противоположные: только в соединении их может состоять счастие мыслящего человека». Вошло (с тем же примеч.) в изд. 1830, ч. 2 (раздел «Разные стихотворения»). Эпиграф — из стихотворения Шиллера «Свет и тепло». Сходная проблематика в статье Д. «Знание и вера» (МВ, 1830, № 9, с. 31—43, за подписью: 85, 78). В этих стихотворениях Д. затронул важную сторону умственной жизни России 20-х годов — интерес к идеалистической диалектике, в свете которой пересматривались социальные и этические проблемы. Закон равновесия (равенства) сил, о котором говорится в «Двух феях», — не что иное как исходное положение философии Шеллинга (принцип единства полярных сил), рассмотренное в его труде «Философские исследования о сущности человеческой свободы» (1809). Д. предлагает два возможных толкования этого принципа применительно к сфере нравственного практического сознания. Согласно первому, равновесие добра и зла, выступающих как две полярные силы, не зависит от человека и полностью определяется волей миродержавного промысла. Человек в этом случае обречен на бездействие и пессимизм. Согласно другому (его отстаивает «вторая фея»), равновесие добра и зла лишь в конечном итоге зависит от верховной воли; человек же в пределах возможностей, отведенных ему на земле, может управлять этим колебанием сил, тем самым возвышая свой дух. Абсолютное единство полярных сил, т. е. бытие «по ту сторону добра и зла» — удел бога, а не человека — такова общая мысль стихотворения.

28—29. «Молва», 1832, 7 июня, с. 181, подпись: М. Д. В 1832 г. Д. был активным сотрудником «Молвы», где его стихотворения появлялись за полной и сокращенной подписью.

30. «Молва», 1832, 29 июля, с. 241. Вошло в изд. 1865, ч. 1 (раздел «Разные стихотворения»). Автограф — ЦГАЛИ (в тетради стихотворений).

31. Москв., 1842, № 1, с. 1. Вошло в изд. 1865, ч. 1 (раздел «Разные стихотворения»). Эпиграф — из стихотворения английского поэта С. Т. Колриджа «Fears in solitude» («Страхи в уединении»). Явным отзвуком стихотворения Д. является стихотворение А. С. Хомякова «Жаль мне вас, людей бессонных. . .».

32—34. Изд. 1865, ч. 1, с. 93, 114, 142 (раздел «Разные стихотворения»).

35. Изд. 1865, ч. 2, с. 94 (раздел «Московские элегии»). *Пел во стане певец вдохновенный.* Подразумевается В. А. Жуковский, автор стихотворения «Певец во стане русских воинов», прославлявшего подвиги героев войны 1812 г.

36. «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861, с. 238. Константин Сергеевич *Аксаков* (1817—1860) — один из вождей славянофильства, поэт, критик и публицист. Написанное им в 1845 г. стихотворение (точное название: «Петру») не могло быть напечатано по цензурным условиям, но широко разошлось в списках. Вопреки официальному и общепризнанному взгляду, стихотворение бросало мрачный свет на деятельность Петра I, в результате которой, по мысли Аксакова, было подавлено народное, национальное начало ради приобщения русской жизни к чуждым ей формам европейского общественного быта. В отличие от К. Аксакова, вину за кризисное состояние страны Д. целиком возлагал на преемников Петра I, исказивших великие замыслы царя-преобразователя. Дата написания «Ответа», видимо, близка к дате стихотворения К. Аксакова. *Долгорукой* Я. Ф. (1659—1720) — приближенный Петра I, полководец и государственный деятель; зарекомендовал себя смелым и принципиальным человеком; однажды он позволил себе опротестовать решение Сената, подписанное самим императором. Пушкин упомянул Долгорукого в «Стансах» («В надежде славы и добра...»). *Дней наших Валтасары* — здесь: люди, облеченные властью, деспоты; Валтасар — последний, по Библии, царь Вавилона; его гибель предсказали чудесные письмена на стене дворца, в котором он пировал.

37. Изд. 1865, ч. 1, с. 175 (раздел «Разные стихотворения»). Об этом стихотворении Д. пишет в неопубликованных «Главах из воспоминаний моей жизни» (ГБЛ). Подзаг. носит иронический характер. В стихотворении использована старая легенда о гибели Петербурга от наводнения. См. примеч. 279.

38. Изд. 1865, ч. 1, с. 126 (раздел «Разные стихотворения»). Имея в виду подобные стихотворения, Д. писал в «Главах из воспоминаний моей жизни» (ГБЛ): «Негодование составляет общий характер моих стихов с этого времени (т. е. с 1840-х годов). Правду сказать, что в царствование Николая Павловича и нечем было быть довольным». Комментарием к стихотворению могут служить след. строки из рукописи Д. 1859 г. «Замечания и анекдоты». В России, сказано там, «нет системы, нигде единства мысли, которому бы следовало правительство к постоянной и обдуманной цели. Нынче так показалось, завтра другим манером покажется. Нынче деспотизм, завтра наполовину либерализм, наполовину самовластие» (ЦГАЛИ). *Вавилон* — традиционное в гражданской поэзии наименование деспотического государства, обычно России. *Скрижали Сиона.* Десять заповедей, сообщенных богом Яхве Моисею для его соплеменников, были высечены на каменных досках — скрижалях; здесь в переносном значении: нравственный кодекс, гуманистическая мораль.

39. Изд. 1865, ч. 2, с. 127 (в цикле из 20-ти стихотворений «Деревенские элегии»). Автограф — ЦГАЛИ (в тетради стихотворений под

загл. «Деревенские элегии»). *О родина святая! Чье сердце не дрожит, тебя благословляя* — неточная цитата из «Певца во стане русских воинов» Жуковского.

40. Печ. впервые по датированному автографу ГИМ. Текст — в рукописной книге, озаглавленной: «Записки М. А. Дмитриева». Стихотворению предшествуют след. слова: «Вот каким я изобразил некогда наш род и важнейшие лица нашей фамилии в стихах, которые при сем прилагаю». Написано как сознательное подражание «Моей родословной» Пушкина, ставшей известной в печати в 1846 г. *Единоборец*. Древнегреческое слово «мономах» в переводе на русский означает «единоборец». *Его потомок* — смоленский князь Александр Нетша, удалившийся в немецкие земли; впоследствии он приехал в Москву и отдался под покровительство великого князя Московского Ивана Калиты; потомками Нетши княжеский титул был утрачен. *Мой пращур* — прапрадед Д., Семен Константинович; в дарованной ему грамоте отмечались его заслуги в защите юных царей Ивана, а также Петра, в 1689 г. укрывшегося в Троице-Сергиевском монастыре при известии об узурпаторских замыслах царевны Софьи. *Мой дед* — Иван Дмитриев (ум. 1818), городничий г. Сызрани Симбирской губернии. *Отец мой* — Александр Дмитриев (ум. 1798); будучи офицером Семеновского полка, отличился в Русско-шведской войне 1788—1790 гг. *Мой дядя* — Иван Иванович Дмитриев (1760—1837), поэт, министр юстиции (с 1810 по 1814 г.). *В Сенате был единоборец*. Служебная деятельность Д. была связана с судебным ведомством Московского отделения Сената.

41. РА, 1912, № 4, с. 638, в статье «Из записной книжки „Русского архива"». *Ваня* — Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886), видный деятель славянофильства, поэт, публицист и журналист. В 1866 г. женился на старшей дочери поэта Ф. И. Тютчева Анне (1829—1889), незадолго до того ставшей воспитательницей великой княжны Марии Александровны. *Сушков* Н. В. (1796—1871) — бездарный поэт, доводился родственником Тютчеву, на сестре которого был женат. *«День»* — газета, издававшаяся И. С. Аксаковым в 1861—1865 гг. и прекращенная им сразу после женитьбы.

Д. П. ОЗНОБИШИН

Стихотворения О. никогда не выходили отдельными изданиями. Лишь два небольших поэтических цикла — переводы из древнегреческой антологии под заглавием «Гинекион» (СПб., 1830) и «Шуточные реляции в стихах о франко-прусской войне 1870 и 1871 годов. Литературная импровизация» (СПб., 1875) — были напечатаны в виде брошюр. Отдельно О. опубликовал также стихотворную «восточную» легенду «Селам, или Язык цветов» (СПб., 1830), два перевода: «Аксель. Повесть в стихах» И. Тегнера (СПб., 1861), «Сизиф и Смерть. Милетская сказка» Бульвера-Литтона (СПб., 1871) и несколько стихотворений. Литературная деятельность О. труднообозрима. До сих пор его поэтическое наследие, рассеянное по многочисленным

периодическим изданиям, сборникам и альманахам, не собрано и библиографически не описано.

Богатое собрание автографов О. хранится в ПД. Наибольший интерес представляют рукописный сборник «Мечты», чч. 1—2 (1822), судя по оформлению предназначавшийся к публикации, и три альбома. Один из них содержит стихи 1821—1829 гг., второй — 1830—1832 гг., третий — 1830—1847 гг. (два стихотворения 1820-х годов). Ниже в примечаниях эти альбомы сокращенно обозначаются: Альб. I, II, III.

Большинство текстов в альбомах датировано и имеет пометки о месте публикации (только названия изданий либо фамилии издателей). Ошибок и пропусков в этих данных, как и в датировках, очень немного. Время записи в альбом весьма существенно для определения отношения рукописного текста к печатному. Во многих случаях этот вопрос решается благодаря частым отступлениям (порой очень резким) от хронологии. Так, Альб. I начат стихотворением с датой: 1 января 1828 г., а где-то ближе к середине в нем появляются даты: 1826, 1823 и даже 1821. Зная, например, что стихотворение 1826 г. напечатано в 1827 г., а в альбом попало после января 1828-го, нетрудно сделать вывод, что чему предшествует: печатный текст альбому или наоборот. Особое место занимает Альб. III. Это наиболее избранный и поздний свод стихотворного наследия О. (не исключено, что он предназначался для публикации отдельным сборником). После тринадцатого стихотворения все остальные, числом до 125, были вписаны сюда не ранее 1847 г., а скорей всего, много позже. Некоторые стихотворения, известные по журналам 30-х годов, здесь даны с позднейшими авторскими вариантами. Такие тексты печ. в наст. изд. по автографам Альб. III. Даты стихотворений устанавливаются на основании всех перечисленных рукописей.

42. Альм. «Зимцерла», М., 1829, с. 66; анонимная брошюра «Биография Дмитрия Петровича Ознобишина», СПб., 1878, с. 10, в качестве неизвестного перевода поэта. Автографы — Альб. I и на отдельном листе, под загл. «Завтрашний день» (без даты). Перевод стихотворения французского поэта Э.-Д. Парни (1758—1814) «Le lendemain. A Eleonore».

43. Альм. «Урания», М., 1826, с. 69, в цикле из трех переводных стихотворений под загл. «Из греческой антологии». Автограф — сб. «Мечты» (1822) и в переплетенной рукописи, посвященной древнегреческой эпиграмме (см. о ней примеч. 52—57).

44. Альм. «Урания», М., 1826, с. 125. Автограф — сб. «Мечты» (1822).

45. СЛ, с. 89. *Гафиц* — Хафиз (1300—1389), классик персидской поэзии. *Даль* — название одной из арабских букв. *Диван* — сборник лирических стихотворений восточных поэтов; традиционно строился в алфавитном порядке: очередной букве соответствовала особая «книга» (раздел) дивана; буква-название обозначала и опорный звук, употребление которого было обязательно во всех рифмах соответствующей книги дивана.

46. СО, 1827, № 9, с. 93, подпись: Оз. Автограф — Альб. I.

47. Альм. «Альбом северных муз», СПб., 1828, с. 251, под загл. «К***». Печ. загл. Альб. I, поскольку записано в нем после стихотворений 1829 г., когда альм. уже вышел.

48. НА на 1828, с. 199. Стихотворение было популярно в кружке Н. В. Станкевича. По просьбе Я. М. Неверова Станкевич неоднократно читал его вслух, а затем переписал в тетрадь, где были и его собственные стихи. Вследствие этого «Тайна пророка» как стихотворение Станкевича появилась в изд.: Н. В. Станкевич, Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым, М., 1857. Сам Неверов неизвестно почему считал автором стихотворения А. И. Подолинского (см. комментарий С. И. Машинского к сб.: «Поэты кружка Н. В. Станкевича», «Б-ка поэта», Б. с., М.—Л., 1964, с. 549).

49. Альм. «Альбом северных муз», СПб., 1828, с. 278, без подзаг. Печ. по Альб. I. Записано в Альб. I (после 1 января 1828) после представления текста в альм. (ц. р. 31 декабря 1827). *Мауль* — песня.

50. Гал., 1830, № 1, с. 49. Автограф — Альб. I. В основе стихотворения, видимо, какой-то литературный источник: в «Незабудочке. Московском альманахе» Сергея Глинки (М., 1826, с. 89) за его подписью напечатано стихотворение «Стрела», содержание которого то же, что и в «Подражателях».

51. Печ. по автографу Альб. I. Стихотворение — один из примеров ритмического экспериментирования О.

52—57. Отд. изд., СПб., 1830, с. 11, 15, 19, 27, 33, 35, без имени автора, в составе шестнадцати стихотворений. Текст брошюры двуязычный: на четных страницах приведены древнегреческие стихи, на нечетных — параллельные русские переводы. Цикл завершают авторские примечания, в которых, между прочим, говорится: «Гинекион — слово греческое: комната для женщин, определенное место для пребывания женского пола; из этого слова французы произвели свой gynecée. Название сие дано мною сим анфологическим безделкам, потому что каждая носит имя какой-либо женщины, по большей части взятое из самой эпиграммы; только в трех местах позволил я себе поставить имена произвольные» (с. 37). У О. было намерение представить русскому читателю целый том стихотворений из древнегреческой антологии. В его архиве сохранились прозаические переводы 214 эпиграмм и рукописная книга, содержащая 208 эпиграмм в немецких переводах (изредка на языке оригинала). Немецкие переводы выписаны из какого-то немецкого изд. на четные страницы, на нечетных (чистых) кое-где вписаны русские переводы О. (всего 13). Книга открывалась краткой заметкой О. об истории антологии. Автографы публикуемых стихотворений, кроме «Диоклеи», — Альб. I; три первые перевода — с разночтениями; «Харита» и «Лисидика» датированы мартом 1828 г. Полная рукопись «Гинекиона» — ПД, ц. р.

8 мая 1828 г. с визой С. Т. Аксакова, в составе 17 эпиграмм (последняя была снята), с зачеркнутым третьим эпиграфом — четверостишием из Горация (кн. II, ода 11) и с посвящением:

Язык любви красноречивый,
Эллады пламенный язык,
Роскошный, сладостный, игривый,
Свободно музе прихотливой
Я втайне поверять привык.
Природа мне внушила краски,
И я неопытной рукой,
Я рисовал живые ласки —
Восторги девы молодой.
И не искал, не жду награды.
Надеждой сладкой упоен,
Быть может, робко бросит взгляды
Она на мой «Гинекион».

Вольным переводам О. соответствуют следующие №№ *APV*: 4 (Филодем), 85 (Асклепиад), 13 и 124 (Филодем), 102 и 89 (Марк Аргентарий). *Банделло* Маттео (ок. 1485—1562) — итальянский писатель-новеллист и поэт. *«Аминта»* — пасторальная пьеса Т. Тассо.

Полуодобрительный отзыв о «Гинекионе» с упреком за несоблюдение «меры подлинника» был помещен в «Обозрении российской словесности за вторую половину 1829 и первую 1830 г.» О. М. Сомова (СЦ на 1831, с. 48—49). *Ахерон* — см. примеч. 243. *Лигдин* — белый мрамор.

58. Печ. впервые по Альб. I. Первоначальное загл. — «Ревнивый дух».

59. Отд. изд., СПб., 1830, с. 11. Наборная рукопись — ПД. Назначение книжки, как об этом заявляет сам О. в предисловии, — ввести в поэтический лексикон малоизвестные названия цветов, которые в русском языке «по большей части неприятны, отзываются какою-то грубостию, противною вкусу очищенному... Сей недостаток в звучных и приятных цвето-названиях... есть главная причина, почему цветы так редко употребляются в стихах у наших поэтов, между тем как у всех просвещенных народов Европы и Азии они служат прекрасным рудником пленительных сравнений» (с. 7). Для поэта, по мнению О., особенную цену имеют цветы, связанные с народными поверьями и праздничными обрядами. В этой связи он касается роли сказок и приводит публикуемое в наст. изд. стихотворение. Вслед за предисловием помещена стихотворная «восточная» легенда (без особого загл.), герои которой изъясняются «языком цветов». «Селам, — поясняет автор, — приветствие. Под сим именем на Востоке разумеется также аллегорический язык любви» (с. 21). Основную же часть книжки занимает словарь — перечень названий цветов на русском, латинском и французском языках с разъяснениями (иногда стихотворными) их значения в восточном «языке любви». Увлечение этой цветочной символикой, как видно, разделял и Раич, перу которого принадлежат стихотворения «Амела» и «Перекати-поле». Крат-

кий отзыв о «Селаме» типа сочувственной аннотации — в ЛГ, 1830, 10 июля, с. 23—24.

60. «Сиротка. Литературный альманах», М., 1831, с. 236. Автограф — Альб. II.

61. Там же, с. 196. Автографы — Альб. II и III.

62. «Молва», 1832, 5 июля, с. 213, без повторения ст. «Ей пятнадцать только лет». Печ. по Альб. III. Второй автограф — Альб. II, третий — на отдельном листе.

63. Тел., 1832, № 2, с. 196, без эпиграфа. Печ. по Альб. III. Эпиграф — из комической оперы Б.-Ж. Марсолье «Гюльнара, или Персидская невольница» (1798). Ст. 1—4 цитирует поэт-переводчик И. В. Росковшенко в письме к И. И. Срезневскому от 22 октября 1831 г. («Петербург в 1831—1832 гг.» — РС, 1900, № 2, с. 483). *Сеид* — персонаж оперы. *Моссул* — древний город на берегу реки Тигр, с мечетью Наби Юнус, святынею мусульман; крупный торговый и ремесленный центр Ближнего Востока. *Кабул* — древний город в Афганистане. *Калхалы* — колокольчики. *Скиния Солима.* Солим — Иерусалим; скиния — походный храм древних евреев, род шатра; здесь — Иерусалимский каменный храм. *Персидская мовь* — растение из семейства мальвовых; считалось, что оно имеет магическое свойство — способность умерять страсти; мовь — это и символ нежности. *Иконисса* — Иконос, город в Малой Азии, считавшийся священным у христиан. *Исса* — тюркская форма имени Иисуса Христа.

64. Тел., 1831, № 5, с. 74, без эпиграфа. Печ. по Альб. III (дата: март 1831). Другой автограф — Альб. II (дата: ноябрь 1830), имеет второй зачеркнутый эпиграф: «Ты говоришь во сне, но сон твой полон смысла» («Буря», д. II, явл. 1). Шекспир». Эпиграф — из «Серапионовых братьев Э.-Т.-А. Гофмана (новелла «Зловещий гость» из ч. 3, пятое отделение). Произведение немецкого писателя О. цитирует по современному французскому переводу — скорее всего по двухтомному парижскому изданию 1829—1830 гг. (переводчик — Ф.-А. Лёв-Веймар). *Стень* — тень человека, призрак.

65. «Молва», 1833, 27 мая, с. 249, подпись: О. Автограф — Альб. III.

66. Гал., 1839, № 5, с. 357. Печ. по Альб. III.

67. ОЗ, 1839, № 7, с. 209. Автограф — Альб. III. Вольный перевод эпизода из древнеиндийской драмы «Васантазена», написанной на санскрите будто бы царем Судраком в 100 г. до н. э. *Вазантазена* — дева любви, баядера. *Калхалы* — колокольчики.

68. МН, 1836, май, № 2, с. 171, с подзаг. «Мистерия». Печ. по Альб. III. *Фивы* — город в Древнем Египте, резиденция фараонов периода Нового царства. *Ель-Молук* — Бибан-эль-Мулук, так называемая Долина царей в Фивах, где находились гробницы фараонов.

Озирис — в древнеегипетской мифологии владыка загробного мира, судия умерших. *Фре* — в религии Древнего Египта бог, символизировавший Солнце. *Атму* — бог заходящего, умирающего Солнца, в отличие от Фре — бога восходящего Солнца и высшей части небесной сферы; иногда изображался, как и Фре, в виде человеческой фигуры с головой ястреба (ястреб считался священной птицей бога Солнца). *Элизия поля* (греч. миф.) — местопребывание теней праведников в загробном мире.

69. «Молва», 1833, 26 сентября, с. 453, с опечаткой в посвящении: «С. П. Т.» и в ст. 28 («движущий»). Автограф — Альб. III. Повод написания — возвращение С. П. Шевырева на родину из Италии, где он жил в 1829—1832 гг. *Октавы русской звук родился* — намек на экспериментальный перевод седьмой песни «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо, предпринятый Шевыревым и напечатанный им в 1831 г. *Канова* А. (1757—1822) — итальянский скульптор. *Купол Петра.* Собор св. Петра в Риме — выдающийся памятник архитектуры XV—XVII вв. Купол его в основном был создан по проекту Микеланджело, возглавлявшего в 1547—1564 гг. строительство собора. *И в Ватикане до утра пред Рафаэлем забывался.* Имеются в виду рафаэлевские росписи лоджий в Ватиканском дворце.

70. «Молва», 1833, 20 июля, с. 241, вместо подписи: **, с опечатками в ст. 8 и 15. Автор указан в след. номере «Молвы» — от 22 июля, с. 348. Автограф — Альб. III. После смерти *Аттилы* (453 г.), вождя воинственного племени гуннов, возникла легенда, согласно которой он погиб от руки своей новой жены Ильдико — девушки из народа, покоренного гуннами. *Липец* — напиток, сваренный из липового меда; здесь — кубок или чаша с этим напитком. *Божий бич* (лат.: Flagellum dei) — прозвище Аттилы, присвоенное ему в ряде стран Западной и Восточной Римской империи. *Где втайне гроб тройной зарыт.* По сведениям византийского историка Иордана, погребение Аттилы совершалось втайне; труп царя был заключен в три гроба: золотой, серебряный и — наружный — железный (Иордан, О происхождении гетов, М., 1960, с. 118).

71. «Молва», 1833, 1 июня, с. 257, подпись: О. Автограф — Альб. III. *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский живописец, поэт и музыкант. *Байя* — бухта неподалеку от Неаполя. *Сольфатар* — название вулкана в окрестностях Неаполя.

72. Н. М. Языков, Полн. собр. стихотворений, Л., 1934, с. 860, в приложении к изданию, по датированному автографу из архива Языкова (ПД). Ответ на послание Языкова «Д. П. Ознобишину», написанное им в Елани. Среди бумаг О. в ПД сохранился листок со стихотворением (начало: «Нам жизнь двойная здесь дана. . .»), судя по след. строфе, также обращенным к Языкову:

> Языков! Верь мне: не напрасно
> В сей мир является поэт!
> Кто истину полюбит страстно,
> В ком неба отразился свет,

Кто, как пророк, читает ясно
Скрижаль грядущих, темных лет, —
Того высоко назначенье:
Он ангел в звучном песнопенье.

73. «Молва», 1834, № 50 (ц. р. 14 декабря), с. 379, подпись: О. Автограф — Альб. III, с пометкой: «Троицкое». Другой автограф (без даты, неполный) — на отдельном листе. *Комета Энки.* Подразумевается комета, открытая немецким астрономом И.-Ф. Энке (1791 — 1865) и названная его именем. *Фалес* Милетский (конец VII — начало VI в. до н. э.) — древнегреческий ученый и мыслитель; был известен и как астроном, впервые предсказавший солнечное затмение.

74. МН, 1835, ноябрь, кн. 2, с. 174. Автограф — Альб. III.

75. МН, 1836, май, кн. 1, с. 46. Автограф — Альб. III. Созданное на основе народной легенды стихотворение получило широкое распространение и с середины XIX в. записывалось как фольклорный текст (см.: С. Г. Лазутин, Очерки по истории русской народной песни, Воронеж, 1964, с. 123).

76. МН, 1836, сентябрь, кн. 2, с. 239, с подзаг. «Шведская песнь». Печ. по Альб. III. Перевод баллады «Ung Hillerström» из сб. шведских народных песен Е.-Г. Гейера и А.-А. Афцелиуса «Svenska Folkvisor», ч. 2, Стокгольм, 1816. Эпиграф — первые строки этой баллады.

77. МН, 1837, сентябрь, кн. 1, с. 96. Автограф — Альб. III.

78. МН, 1835, апрель, кн. 1, с. 592. Автограф — Альб. III.

79. ОЗ, 1840, № 6, с. 281. Автограф — Альб. III, список — в альб. жены поэта (ПД).

80. ОЗ, 1841, № 4, с. 259, без указания, что это перевод стихотворения французского поэта К. Делавиня «Le gondolier». Автограф — Альб. III. О другом русском переводе этой «баркаролы», принадлежащем Ф. А. Кони, см.: Е. Бобров, Заметки по истории русской литературы, просвещения и культуры («Варшавские университетские известия», 1912, № 9, с. 48—52). *Риальто* — один из известнейших мостов в Венеции.

81. Печ. впервые по Альб. III. Помета в автографе говорит о том, что стихотворение посылалось в ОЗ. Возможно, осталось ненапечатанным по цензурным причинам (ср. примеч. 183). *Как громил клеветников.* Подразумевается стихотворение Пушкина «Клеветникам России». *То у Каспия седого Он подсматривал дары* и т. д. Эти строки и ст. 38—47 имеют в виду след. произведения Лермонтова: «Дары Терека», «Песня про купца... Калашникова», «Мцыри», «Три пальмы», «Ребенку», «Последнее новоселье», «Молитва» («Я, матерь Божия, ныне с молитвою...»). Предпоследнее стихотворение О. перевел на французский язык (автограф — ПД).

82. Печ. впервые по записной книжке поэта (ПД). Стихотворение открывает дневник путешествия О. по Европе, предпринятого им с малолетним сыном Иваном вскоре после смерти первой жены Елизаветы Александровны (урожд. Рогановской). Первая строка явно восходит к «Попутной песне» Кукольника (ср. № 319), а во всем стихотворении слышится отзвук начальных строф из первой песни «Паломничества Чайльд-Гарольда».

А. Н. МУРАВЬЕВ

При жизни М. был издан единственный сборник его стихотворений «Таврида», вышедший в Петербурге в 1827 г. (ц. р. 3 января 1827). Из 35 стихотворений 14 посвящены Крыму и составляют лирический цикл. Название «Таврида», в сущности, следует считать и заглавием цикла, однако оно отнесено ко всему сборнику и к первому стихотворению, открывающему этот цикл. Ранее опубликованное в СЛ, с. 160 стихотворение «Бакчисарай» имело подзаг. «Отрывок из описательской поэмы „Таврида“». Автор прибегнул к старому термину, так как понятия «лирический цикл» в то время не существовало. Отсюда и нечеткость типографского оформления структуры издания. Стихотворения цикла имеют сквозную нумерацию и от остальной части книги отделены пустой страницей с эпиграфом из Оссиана. К некоторым строкам текста в конце сборника имеются авторские примечания (они использованы в наст. изд. с оговоркой: «примеч. М.»). Большинство стихотворений сборника написано в 1825 г., во время и после поездки в Крым (август этого года). Кое-что, возможно, было прибавлено к ним в 1826 г. (см.: А. Н. Муравьев, Мои воспоминания. — «Северное обозрение», 1895, № 5, с. 60—63).

83. «Таврида», с. 5.

84. «Таврида», с. 49. «Гора Аю-Даг, по рассказам мореплавателей, имеет издали вид медведя, склонившегося головою к водам. Татарское название горы ознаменовало силу воображения: *Аю* значит медведь, *Даг* — гора» (примеч. М., с. 145—146). *Мание* — мановение, повелительный жест рукой или головой. *Аутка* — татарская деревушка вблизи Ялты.

85. СЛ, с. 120, с подзаг. «Песнь Баяна», др. ред. Печ. по «Тавриде», с. 85. Стихотворение М. включил в незаконченную «лирическую трагедию» «Рогнеда», отрывок из которой появился в «Атенее» (1830, № 3, с. 259). В «Рогнеде» оно подано как импровизация Баяна.

86. «Таврида», с. 99. Написано по мотивам «Оссиана» Д. Макферсона (поэма «Темора»). Эпиграф — оттуда же. Ср. перевод сходного фрагмента у Полежаева (под загл. «Морни и тень Кормала»). *Галл* (Голл) — соратник Оссиана, отважный воин. *Колгах* — предок Галла, родоначальник рода Морни. *Струмон* — название горного потока, местности и племени. *Клора* — долина, населенная одним из кельтских родов. *Родитель Галла* — Морн (Морни).

87. «Таврида», с. 101.

88. «Таврида», с. 118. Эпиграф — неточно цитированная первая строка из стихотворения Байрона «Тьма».

89. «Таврида», с. 120. Эпиграф — из первой части «Божественной комедии» Данте — «Ад»; это последний ст. пятой песни, посвященной рассказу о трагической любви Франчески и Паоло (см. примеч. 94).

90. «Таврида», с. 131. Посвящено княгине Зинаиде Александровне Волконской (1792—1862), писательнице, певице и композитору; происходила из рода князей Белозерских. М. был с ней в дальнем родстве. В середине 20-х годов она писала поэму в прозе «Сказание об Ольге». *В ней варяжская кровь моих светлых князей.* «Предметом же своей поэмы, — вспоминал М., — избрала она св. Ольгу, так как и в ее жилах текла кровь Рюриковичей и род Белозерских особенно благоговел перед сею великою просветительницею Руси» (А. Н. Муравьев, Знакомство с русскими поэтами, Киев, 1871, с. 11). *Синав* — брат Рюрика, княживший на Белоозере. *Я Коростень сожгла.* После восстания древлян, убивших в 945 г. мужа Ольги, киевского князя Игоря, она отомстила им, уничтожив в огне их главный город Коростень.

91. МТ, 1827, № 8, с. 154. В ст. 18, возможно, пропуск предлога «с». Как видно из воспоминаний М., стихотворение является фрагментом из трагедии «Падение Перуна» (другое загл. — «Владимир»). Написана во время второго приезда в Тульчин, т. е. в 1826 г. «Прибыв туда, — рассказывает автор, — нашел я М⟨ухано⟩а ⟨А. А.⟩, он первый меня понял... возбудил меня написать что-нибудь русское, и я ему в удовольствие предпринял трагедию «Владимир». Данный мною обет сильно действовал на мое воображение, и через три недели я принес ему конченную трагедию. Но я ослабел физически от сильных нравственных порывов» (А. Н. Муравьев, Мои воспоминания. — «Русское обозрение», 1895, № 5, с. 64). То же самое М. поведал в письме к В. А. Муханову от 10 апреля 1827 г. («Щукинский сборник», вып. 5, М., 1901, с. 253). В письме сообщается, что П. А. Вяземский просил М. «переправить «Хоры Перуну», которого я ему дал напечатать; отчасти я исполнил его желание; в некоторых же местах не согласен с его мнением и потому оставил по-прежнему» (там же, с. 254). В письме Вяземского к А. И. Тургеневу от 20 ноября 1826 г. говорится: «На днях слышал я тоже отрывки из рукописной же трагедии «Владимир» молодого Муравьева... писанной в формах французских, но в духе германском. Молодо, зелено, но есть живость, огонь и признаки решительного дарования» («Архив братьев Тургеневых», вып. 6, Пг., 1921, с. 48).

92. РА, 1885, № 1, с. 132, публикация П. Б⟨артенева⟩ в заметке «Стихи А. Н. Муравьева». Зимой 1827 г. в театральной зале дома Белосельских в Москве (по уверению М. Д. Бутурлина, «на передней лестнице» этого дома — см. его «Записки» в РА, 1897, т. 2, с. 178), т. е. в знаменитом салоне З. А. Волконской, М. нечаянно (а быть может, с умыслом) отколол при падении руку у огромной статуи Аполлона Бельведерского (гипсовой копии с античного оригинала). Тут же, в память о происшествии, М. написал на статуе публикуемые

стихи. Узнав об этом, Пушкин сочинил одну из лучших своих эпиграмм («Лук звенит, стрела трепещет. . .»), весь обидный смысл которой был заложен в последней строке:

Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

Опасаясь скандала, Погодин, бывший в приязни с М., уговаривал Пушкина не печатать эпиграммы (см.: «Дневник М. П. Погодина». Публикация М. А. Цявловского, запись от 16 марта. — «Пушкин и его современники», вып. 19-20, Пг., 1914, с. 85). Тем не менее она появилась в МВ, 1827, № 3, под невинным загл. «Из антологии». 20 марта 1827 г. Погодин оставил загадочную запись в дневнике: «Узнал, почему Пушкин хотел поместить эпиграмму» (там же). М., с трудом сдерживавший досаду, написал в отместку эпиграмму на Пушкина — «Ответ Хлопушкину»:

Как не злиться Митрофану?
Аполлон обидел нас:
Посадил он обезьяну
В первом месте на Парнас.

(ЖМНП, 1875, ч. 178, с. 94, в статье А. В. Никитенко «Обозрение деятельности второго отделения имп. Академии наук», без загл.; полностью приведено в статье Украинца ⟨С. И. Пономарева⟩ «Памяти Пушкина». — «Новое время», 1880, 21 мая, с. 2). М. был также осмеян в эпиграмме Е. А. Баратынского («Убог умом, но не убог задором. . .»). Ходил вряд ли основательный слух, будто М. помышлял стреляться с Пушкиным. После публикации в МВ Погодин встретил М. в доме Трубецких и, как отмечено в дневнике (запись от 29 марта 1827 г.), нашел его «очень благоразумным» (Н. П. Барсуков, кн. 2, с. 85). Обмен эпиграммами, впрочем, не отразился на позднейших приязненных отношениях М. с Пушкиным. Кличка «Бельведерский Митрофан» в 40-е годы была обыграна С. А. Соболевским в его эпиграмме на М. (см.: С. А. Соболевский, Эпиграммы и экспромты, М., 1912, с. 82).

93. «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине». Драматические сцены в пяти действиях, Киев, 1874, с. 34—36. Авторизованная писарская копия с пометами цензора — ГПБ. Список с правкой Я. К. Грота — ПД. Датируется на основании дневника М., из которого следует, что к работе над пьесой он приступил в конце 1826 — начале 1827 г., а завершил в ноябре 1827 г. (см.: А. Н. Муравьев, Мои воспоминания. — «Русское обозрение», 1895, № 5, с. 66—67). «Песня дервиша» извлечена из первого действия. Пятистишия, ее составляющие, в драме прерываются репликами других персонажей. *Аллах керим* — велик Аллах. *Кааба* — мусульманский храм в Мекке со знаменитым «черным камнем».

94. МТ, 1827, № 11, с. 106. Печ. по кн.: «Русская беседа. Собр. соч. русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина», т. 1,

СПб., 1841, без с., без подписи (в оглавлении указано: «Соч. автора „Путешествия к святым местам“»). Датируется по письму к В. А. Муханову от 24 апреля 1827 г., где М. сообщает о недавно законченной им «трагической сцене» и вкратце передает ее содержание («Щукинский сборник», вып. 5, М., 1901, с. 225). Гвидо да *Полента* (ум. 1323) — друг и покровитель Данте, поэт. Его дочь Франческа была выдана замуж за уродливого и ревнивого да Римини. В 1286 г. Италию облетела молва о том, что да Римини убил Франческу и своего брата Паоло, уличенных им во взаимной любви. Эту историю Данте увековечил в «Божественной комедии».

С. П. ШЕВЫРЕВ

Поэзия Ш. была впервые представлена вниманию советского читателя в 1937 г. Сорок шесть стихотворений совершенно забытого поэта вошли в сборник М. с. «Б-ки поэта»: Д. Веневитинов, С. Шевырев, А. Хомяков, Стихотворения (статьи, редакция и примечания М. Аронсона и И. Сергиевского). Отдельным томом избранные стихотворные произведения Ш. вышли в 1939 г. в Б. с. «Б-ки поэта» (вступительная статья, редакция и примечания М. Аронсона). В результате серьезного и кропотливого труда, предпринятого составителем, было выявлено большое количество неизвестных стихотворений Ш., оставшихся на страницах старой прессы и в архивохранилищах. Многие из них были введены в изд. 1939 г. К сожалению, М. Аронсону осталась неизвестной записная книжка Ш., хранящаяся в ЦГАЛИ и содержащая автографы 56 стихотворений. Здесь же находится и перечень 57 стихотворений, принадлежащих Ш., в том числе тех, которые не вошли в записную книжку. Использование этого материала при подготовке наст. изд. позволило устранить ряд цензурных купюр и искажений в текстах Ш., а также уточнить даты написания. Крайние даты стихотворений в записной книжке — 1825—1841 гг. Хронологический порядок довольно строго выдержан в ее средней части (начиная с «Петрограда»). Значительные хронологические перебои в прочих записях (особенно вначале) говорят о том, что Ш. делал их после публикации некоторых стихотворений. При наличии разночтений в таких текстах с печатными источниками, они приводятся в наст. изд. по записной книжке. При ссылках на рукописи Ш. ниже применяются след. сокращения: *зап. книжка, перечень зап. книжки, подборка ГПБ* — собрание 78 автографов Ш. в ГПБ; *дневник I* и *дневник II* — дневники Ш. в ГПБ: первый — с 28 февраля 1829 по 9 июля 1830 г., второй — с 13/1 июля по конец ноября 1831 г. Выдержки из дневников и писем к М. П. Погодину, которому Ш. пересылал свои стихи будучи за границей (письма эти хранятся в ПД в виде переплетенного тома) приводятся в примечаниях без каких-либо ссылок, если они уже были напечатаны М. Аронсоном в изд. 1939 г.

95. ТОЛРС, 1826, ч. 6, с. 224. 9 марта 1825 г. было прочитано на заседании МОЛРС, как явствует из протокола (там же, с. 280).

96. ВЕ, 1825, № 5, с. 3, подпись: С. Ш. Шевыревская критика элегии перекликается с обвинениями, выдвинутыми против русских

элегиков В. К. Кюхельбекером в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» («Мнемозина», ч. 2, М., 1824). *Батте* Ш. (1713—1780) — французский эстетик, в конце XVIII — начале XIX в. считался авторитетнейшим теоретиком искусства классицизма.

97. МВ, 1827, № 12, с. 314. Перевод стихотворения Шиллера «Die Grösse der Welt». Датируется по перечню зап. книжки. Высокое мастерство этого перевода отметил Белинский в статье «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (ПСС, т. 1, с. 355).

98—99. «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного», изданные Л. Тиком, М., 1826, с. 226 и 228. Авторы книги — В. Г. Ваккенродер (1773—1798) и Л. Тик (1773—1853), видные представители раннего немецкого романтизма — так называемой «иенской школы». Книга, в основном написанная Ваккенродером, была издана в 1797 г. (ее третье изд., с которого делался русский перевод, вышло в 1814 г. под загл. «Phantasien über die Kunst von einem kunstliebenden Klosterbruder») его другом Тиком, дополнившим ее текст собственными главами. Этот своеобразный эстетический трактат, в виде цикла очерков и новелл, имел большой успех среди любомудров. Почти все главы со стихотворными текстами перевел Ш., прочие части книги — его товарищи по кружку любомудров В. П. Титов и Н. А. Мельгунов (имена переводчиков обозначены в соответствующих разделах издания инициалами). В автобиографии Ш. датировал свои переводы 1825 г. («Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета», ч. 2, М., 1855, с. 605). Оба публикуемых перевода («Siehe, wie ich trostlos weine. . .», «Ach, was ist es, das mich also dränget. . .») — из новеллы «Музыкальная жизнь Иосифа Берлингера», где они приписаны ее герою, молодому человеку с задатками гениального музыканта.

1. *Цецилия* — святая католической церкви; по преданию, дала обет девственности; Цецилия считалась покровительницей церковной музыки.

2. *Рвусь, бегу из отческого дома.* Как следует из книги Ваккенродера, принуждаемый отцом взяться за ремесло лекаря, И. Берлингер помышлял о бегстве из родного дома.

100. СЦ на 1826, с. 90. Перевод стихотворения Шиллера «Der Abend». *Зри, кто из моря в волны кристальны* и т. д. В этих стихах мифологическая картина солнечного заката: морская богиня Фетида (греч. миф.) встречает спускающегося на колеснице к морю бога Солнца (Феб отождествлялся древними греками с Гелиосом — Солнцем).

101. СЛ, с. 53. Датированный автограф — зап. книжка.

102. В. Веневитинов, С. Шевырев, А. Хомяков, Стихотворения, Л., 1937, с. 124, по автографу из подборки ГПБ; датировано: 1827 (?). Датируется предположительно по содержанию: позднее Ш. не писал стихов на общеэстетические темы. В автографе возле загл. зачеркнуто: «Е. А. Н — ой».

103. МВ, 1827, № 4, с. 249, без подписи. Печ. по датированному автографу зап. книжки. *Егова* — священное имя бога в Ветхом завете.

104. МВ, 1827, № 24, с. 500, с примеч. издателя журнала М. П⟨огодина⟩: «С величайшим удовольствием помещаю я сие стихотворение. Пусть будет оно эпилогом к «Московскому вестнику» на 1827 год и прологом на 1828-й. Мне остается пожелать, чтоб мысли и чувства идеального журналиста, здесь изображенного, одушевляли меня и моих собратий». Датируется по перечню зап. книжки, где значится под загл. «Жур⟨налист⟩ и Меф⟨истофель⟩». Замысел стихотворения стоит в связи с углубленным изучением Ш. «Фауста» Гете. В том же году в печати появился перевод Ш. «Елена. Отрывок из междудействия к „Фаусту"» (МВ, 1827, № 21, с. 3—8) и его нашумевший разбор этой интермедии (там же, с. 79—93). В отместку за неодобрительную оценку литературной деятельности Ф. В. Булгарина, которую Ш. дал в «Обозрении русской словесности за 1827 год» (МВ, 1828, № 1), «Журналист и злой дух» подвергся нападкам Булгарина (СПч, 1828, 27 марта).

105. МВ, 1828, № 10, с. 119, подпись: С. Ш. Датируется по перечню зап. книжки, где значится под загл. «Разбойная песня». См. примеч. к «Свадьбе» Тимофеева, № 330. Ш. высоко оценивал поэтические достоинства волжских разбойничьих песен и убеждал в необходимости сохранить их в памяти потомства. Об этом, между прочим, писал он в рецензии на «Малороссийские песни» (М., 1827), изданные М. Максимовичем (МВ, 1827, № 23, с. 310—311).

106. МВ, 1828, № 16, с. 318, без подписи; «Эвтерпа, или Собрание новейших романсов, баллад и песен известнейших и любимых русских поэтов», М., 1831, с. 111, под ошибочным загл. «Цыганская песня», с подписью автора. Печ. по МВ, так как перепечатки в альманахах и песенниках обычно осуществлялись без участия авторов. Ш. очень интересовался бытом цыган и предлагал А. Н. Верстовскому написать либретто оперы на эту тему независимо от сюжета пушкинских «Цыган» (см. изд. 1939, с. 220). *Египтянка* — здесь и в след. стихотворении — синоним цыганки.

107. МВ, 1828, № 16, с. 319, без подписи. Перепечатано в альм. «Весенние цветы, или Собрание романсов, баллад и песен. . .», М., 1835, с. 221, с подписью автора.

108. МВ, 1828, № 8, с. 357. Печ. по датированному автографу зап. книжки. «Мысль» подверглась издевательскому разбору Булгарина (СПч, 1828, 15 мая). Пушкин в письме к Погодину от 1 июля 1828 г. заметил: «За разбор «Мысли», одного из замечательнейших стихотворений текущей словесности, уже досталось нашим северным шмелям от Крылова, осудившего их и Шевырева каждого по достоинству» (Пушкин, т. 10, с. 247—248). Пушкин имел в виду басню Крылова «Бритвы», поводом для написания которой действительно послужила выходка Булгарина. *Кедр на высотах Ливана.* Библейская реминисценция. В Библии это дерево — символ величия, долголетия

и прочности. «Мысль» Ш. перекликается со след. строками Ломоносова в его оде Елисавете Петровне 18 декабря 1757 г.:

Взирай в полки велики, сильны
И на размноженный народ
Подобно как в Ливане кедры.

109. МВ, 1828, № 15, с. 213, подпись: С. Ш. Печ. по датированному автографу зап. книжки.

110. ТОЛРС, 1828, ч. 7, с. 159, под загл. «Просвещение». Печ. по МВ, 1828, № 21-22, с. 18, подпись: С. Ш. Датированный автограф — зап. книжка. Стихотворение было прочитано на заседании МОЛРС 27 февраля 1828 г., как явствует из протокола заседания, напечатанного в ТОЛРС (с. 239).

111. Гал., 1829, № 16, с. 249. Обращено к Варваре Степановне Топорниной, двоюродной сестре Ш., в которую он был влюблен. Датируется по автографу зап. книжки. Письмо адресата к Ш. с благодарностью за стихи — от конца января или начала февраля 1829 г. ГПБ (ф. Ш). Стихотворение вызвало отрицательный отзыв И. И. Дмитриева в письмах к П. А. Вяземскому от 1 мая 1829 и 13 января 1831 г. (СиН, 1907, кн. 12, с. 331—332 и 1898, кн. 2, с. 163).

112. Альм. «Подснежник», СПб., 1829, с. 167. Написано в Петербурге, который Ш. посетил зимой 1829 г. по пути в Италию. Датируется по автографу зап. книжки. По поводу «Партизанки классицизма» О. М. Сомов, доверенное лицо А. А. Дельвига по его изданиям, писал цензору К. С. Сербиновичу: «Если в ней вам дико кажется «царственной кровью» омытый кинжал, то сочинитель поручил мне «царственную» заменить „пламенной"» (В. Э. Вацуро, К истории пушкинских изданий (Письма О. М. Сомова к К. С. Сербиновичу). — «Пушкин. Материалы и исследования», т. 6, Л., 1969, с. 291—292). Письмо Сомова дает основание отказаться от автоцензурного варианта ст. 29. Повод к написанию стихотворения, по признанию Ш. в письме к Погодину от 25 февраля 1829 г., подала дочь графа Лаваля Александра Ивановна (1811—1886), которая «говорила князю Волконс⟨кому⟩, что я теперь очень люблю петь кровь и раны в стихах моих... На это я исподтишка отвечаю ей стихами». Стихотворение вызвало порицание И. И. Дмитриева в его письме к П. А Вяземскому от 4 мая 1829 г. «И этот вдохновенный пискун, — негодовал Дмитриев, — вдруг вытараща глаза, говорит другой даме, защитнице классицизма: «Да не полюбишь никогда Моих стихов, облитых кровью». Каково? Разве из носу, от долгого сидения за бумагой» (СиН, 1907, кн. 12, с. 332). *Банко* — персонаж трагедии Шекспира «Макбет», злодейски убитый главным героем пьесы. *Омир* — Гомер. *Аттическая долина.* Аттика — страна и государство Древней Греции; здесь символ Древней Греции и ее культуры. *Кровью царственной облитый* и т. д. Цареубийство имеет место в «Ричарде III», «Гамлете» и «Макбете» Шекспира. Скорее всего, Ш. имеет в виду последнюю пьесу.

113. Гал., 1829, № 21, с. 303, под загл. «Бессмертие», очевидно редакционным; изд. 1939, с. 63, под загл. «Два духа», взятым из письма Ш. к М. П. Погодину от 21/9 июля 1829 г. (ПД). «Что вы сделали из пьесы моей («Два духа»), посланной из Берлина?» — запрашивал Ш. Погодина. Автограф без загл. и без даты — зап. книжка. В перечне зап. книжки значится под сокращенным загл. «Д. ж. и с.», т. е. «Дух жизни и смерти». Ввиду неявности авторской воли сохраняется загл. «Два духа» в качестве редакторской конъектуры. *С полудня* — с юга. *Война и деспот в два меча.* Очевидно, намек на военные действия султанской Турции против Греции в 1825—1828 годах с целью подавления освободительного движения в стране, а также на русско-турецкую войну 1828—1829 гг. *С полночи* — с севера. *Сильный Мир и многоплодная Свобода* — Россия с ее государственным устройством.

114. Гал., 1829, № 46, с. 371, с цензурными купюрами ст. 21—24 и слов «теплого кинжала» в ст. 28, обозначенных точками. Печ. по датированному автографу зап. книжки. По убедительной догадке М. Аронсона, «Ночь» была отправлена в письме к Погодину от 22 июня 1829 г. (изд. 1939, с. 222). В письме к нему же от 6 декабря/24 ноября 1829 г. Ш. советовал: «„Ночь“, если и можно напечатать, то лучше без имени, ибо некоторые выражения не годятся цензурно».

115. Тел., 1831, № 5, с. 49, под загл. «Непригожей матери». Печ. по датированному автографу зап. книжки. Второй, так же датированный автограф — ПД, в письме Ш. к Погодину от 29/17 июля 1829 г., под загл. «К дурной матери (то есть к России, дурной собою. Прим. мое)». В письме от 17 сентября 1829 г. Ш. просил Погодина: «Если мои стихи «К дурной матери» еще не напечатаны, то перемени заглавие и поставь: „К непригожей матери“» (ПД). Еще две поправки к тексту Ш. сообщил Погодину в письме от 3 января 1830/22 декабря 1829 г. (ПД). Третий автограф — дневник I. В перечне зап. книжки значится под загл. «К дурной матери». Антитеза прекрасной и могучей женщины, олицетворяющей образ матери-родины, у Ш. восходит к ломоносовскому «Разговору с Анакреоном» (ода XXVIII). *Красавицы, давно известной.* Речь идет об Италии, о ее славном прошлом (величии Древнего Рима) и унизительном настоящем — национальной раздробленности и политической слабости. *С моим любовником докучным.* Подразумевается зависимость ряда итальянских государств от Австрийской империи Габсбургов. *Твои же дщери... воспевали Ее живую красоту.* Ш. имеет в виду прежде всего З. А. Волконскую (1792—1862), с которой он выехал в Италию в качестве наставника ее сына. В репертуаре Волконской были итальянские арии и романсы. О ее пении с восторгом писал в своей «Элегии» Д. В. Веневитинов («Волшебница! Как сладко пела ты Про дивную страну очарованья. . .»). Волконской-певице посвящено стихотворение Ш. «Русский соловей в Риме» (изд. 1939, с. 144).

116. МВ, 1830, № 1, с. 3. Автограф — дневник I, где имеется запись от 9 августа 1829 г.: «Я написал „Петербург“» (в автографе загл. «Петербург» переправлено). Другой датированный автограф —

ПД, в письме к Погодину от 17 сентября 1829 г. (в изд. 1939 ошибочно указано, будто стихотворение не датировано). В письме к ст. 15—16 примеч.: «Эти два стиха, милый друг, взяты из природы». Третий датированный автограф — зап. книжка. «Петроград» Ш. отозвался во вступлении к «Медному всаднику» Пушкина (см. об этом в статье М. Аронсона «К истории „Медного всадника"» — «Временник Пушкинской комиссии», 1936, № 1, с. 221—226). *Рифей* — Урал. *Шпиц* — шпиль Петропавловского собора в Петербурге (1712—1733, архитектор Д. Трезини). *Шлет на град потоп и горе* — о петербургском наводнении 1824 г. *На коне взлетел строитель* — памятник Петру I, так называемый Медный всадник (скульпторы М.-Э. Фальконе и А.-М. Колло).

117. Тел., 1831, № 14, с. 191. Автограф — ПД, в письме к Погодину от 6 декабря/24 ноября 1829 г. с пометой: «Кастелламаре, в окрест⟨ностях⟩ Неаполя, сентября 2. День впечатления, а не день стихов». В автографе после ст. 28 восемь строк, исключенных по совету Погодина (письмо Погодина от 27 января 1830 г. — ГПБ, и ответ на него Ш. с согласием на предложение Погодина от 6 марта 1830 г. — ПД; в нем же и поправка Ш. к ст. 18). Эти же строки вычеркнуты и в автографе зап. книжки, по которой датируется стихотворение. Дату «2 сентября» М. Аронсон резонно связывал с записью в дневнике I от того же числа, где глухо говорится о каком-то столкновении Ш. в Риме с С. Г. Волконской — женой министра двора П. М. Волконского (изд. 1939, с. 223). См. след. примеч. В статье «Стихотворения Владимира Бенедиктова» Белинский процитировал «Очи» как образец искусственной картинности в поэзии (т. 1, с. 364—365). Образы хищников, вероятно, навеяны Ш. первой песнью «Ада» Данте, где лев, волк и гиена (барс) олицетворяют злые силы и порочные страсти. Кроме того, «Очи» перекликаются с ст. 35—40 из «Оды... на взятие Хотина 1739 года» Ломоносова.

118. Тел., 1831, № 19, с. 369. Автограф — ПД, в письме к Погодину от 6 декабря/24 ноября 1829 г., рядом с автографом «Очей». «Эти две пиэсы, — писал Ш., — напечатать вместе по порядку нумеров, ибо они суть одна; вторая — эпилог. Числа не выставляй. Эту загадку для тебя я хотел объяснить в письме к Киреевскому». Другой автограф — зап. книжка.

119. МВ, 1830, № 13, с. 7, под загл. «Поэт». Автограф — ПД, в письме к Погодину от 6 декабря/24 ноября 1829 г., где над текстом указано: «Тяжелый, свинцовый поэт, или как хочешь назови». Исправления к тексту Ш. сообщил Погодину в письмах от 11 января и 6 марта 1830 г. Ознакомившись с публикацией стихотворения в МВ по экземпляру, присланному Погодиным, Ш. в письме к нему от 23 ноября 1830 г. сетовал: «Как мне досадно, что ты назвал мою эпигр⟨амму⟩ «Как гусь...» — «Поэтом». Я тебе писал: «тяжелый или свинцовый поэт». Пушкин, Веневит⟨инов⟩, Хомяк⟨ов⟩ написали по поэту: всякий — себе. Что же ты меня в тяжелые прячешь. Это вовсе не мой идеал поэта, а эпиграмма». Судя по приписке в письме от 6 декабря/24 ноября, Ш. опасался, как бы П. А. Вяземский «не

принял этого на свой счет, поэтому лучше не подписывать моего имени». Печ. как и в изд. 1939, с. 73, под загл. «Тяжелый поэт», которое подтверждается и перечнем зап. книжки.

120. МВ, 1830, № 2, с. 126. Два датированных автографа — ПД, в письме к Погодину от 6 декабря/24 ноября 1829 г. и в зап. книжке. В первом против ст. 65—68 и 78—80 пометы: «Ложи Рафаэля» и «Мадонна». «Преображение» (вместе с «Петроградом») 23 декабря 1829 г. было зачитано на заседании МОЛРС, где имело большой успех. *Преображение* — чудо, явленное Христом на горе Фавор в присутствии его учеников. Согласно Евангелию, лицо Иисуса просияло как солнце, а одежды сделались белыми как снег; рядом с ним ученики увидели фигуры пророка *Илии* и патриарха *Моисея*; всех троих осенило светлое облако, и неведомый голос свыше произнес: «Сей есть сын мой возлюбленный». На этот сюжет написана знаменитая картина Рафаэля «Преображение» (1517—1519), законченная после его смерти Джулио Романо. Стихотворение пронизывает романтическая иллюзия о художнике как посланце божества, наделенном способностью воспарять к небесной отчизне человека. *Скиния* — см. примеч. 63. *Он означил, как стопами* и т. д. В этом и след. стихах перечисляются библейские сюжеты росписей лоджий (галерей) Ватиканского дворца, выполненных Рафаэлем и его учениками. *Образ девы* — о картинах Рафаэля, изображающих богоматерь — деву Марию; скорее всего подразумевается прославленная «Сикстинская мадонна» (1515—1519).

121. МВ, 1830, № 8, с. 311 с подзаг. «Песня». Печ. по датированному автографу зап. книжки. Автограф — ПД, строфы 4—5 в обратном порядке — в письме к Погодину от 6 декабря/24 ноября 1829 г., над текстом: «„Тибр" или „Песня" (как хочешь)». Письмо с двумя пометами: «пойдет во вторник 8 дек⟨абря⟩» и «письмо пойдет в субботу, дек⟨абря⟩ 12». В последующих письмах от 22 декабря 1829 г., 11 января и 11 февраля 1830 г. Ш. сообщил Погодину ряд поправок к тексту. В письме на листке с «Тибром» Ш. указал: «Песня горяченькая, вчера вылилась, и по привычке хочу скорее поделиться удовольствием творения. Дни два как писал тебе» (ПД). Это дает возможность датировать стихотворение между 6 и 10 декабря. Высокая оценка «Тибра» П. А. Вяземским дошла до Ш. через кн. З. А. Волконскую. Об этом Ш. уведомлял Погодина в письме от 13 июля 1830 г. (ЛН, № 16-18, 1934, с. 745).

122. Тел., 1831, № 2, с. 179, под загл. «Стансы Риму», с цензурным пропуском ст. 15—16. Автограф — ПД, в письме к Погодину от 22 декабря 1829 г. — сохранился не полностью, ввиду чего М. Аронсону в изд. 1939 не удалось восполнить эту купюру. Печ. по зап. книжке, где текст сопровожден пометкой Ш. о том, что «московский цензор не пропустил этих двух стихов». Ответом на стихотворение явилось послание Трилунного «Рим (К Шевыреву)» (Тел., 1834, № 16, с. 444). «К Риму» вызвало пародию Н. А. Полевого «Рим» (МТ, 1832, № 7, «Камер-обскура», с. 129), подписанную пародийным псевдонимом Ш. — «Картофелин» (см.: «Русская стихотворная пародия», «Б-ка поэта», Б. с., Л., 1960, с. 440—441 и 757—758). Позднее он был

использован Белинским в его памфлете «Педант» 1844 г., направленном против Ш. (см. Белинский, т. 6, с. 68—75).

123. МВ, 1830, № 4, с. 335. Автограф — ПД, в письме к Погодину от 22 декабря 1829 г. — почти не сохранился (край письма оторван). Автограф без даты — зап. книжка. *Виссон* — род особо ценной ткани, упоминаемой в Библии; употреблялась для парадного одеяния царей, жрецов и вельмож.

124. МВ, 1830, № 11, с. 193, с искажениями. Печ. по изд. 1939, с. 78, где текст уточнен по автографу ПД, в письме к Погодину от 22 декабря 1829 г. В письме текст сопровожден пояснением, которое Погодин по просьбе Ш. использовал в примеч. Другой автограф без даты — зап. книжка. Поправку к тексту Ш. сообщил Погодину в письме от 6 марта 1830 г. Тут же его ответ на упрек Погодина в неясности выражения «Праздные лета». «Лета праздные, — объяснял Ш., — потому что им делать нечего, так они и рушат стены. Стены праздные, потому что в них уже не служат богам древним и они не вторят гимнов в честь им» (ПД). Храм Нептуна в *Пестуме*, находящийся в окрестностях Салерно, Ш. посетил 30 августа 1829 г., о чем имеется запись в дневнике I (см. изд. 1939, с. 225). *Десна* — десница, правая рука. *Жезл* — трезубец, атрибут морского бога, с которым он всегда изображался.

125. «Молодик на 1843 год. Украинский литературный сборник, изданный И. Бецким», ч. 1, Харьков, 1843, с. 268. В изд. 1939 датировано «1830» на том основании, что под «торжеством» Ш. мог иметь в виду карнавал в Риме, состоявшийся зимой 1830 г. М. Аронсон высказал также догадку о том, что стихотворение предназначалось для альбома З. А. Волконской. Оба предположения неверны. В автографе зап. книжки — загл.: «Кн. Гагар⟨иной⟩ в альбом»; в перечне же стихотворение помечено 1829 г.

126. «Венера, или Собрание стихотворений разных авторов», ч. 2, М., 1831, с. 34 (ц. р. 18 сентября 1830 г.).

127. «Сиротка. Литературный альманах», М., 1831, с. 85, под загл. «Педантам-изыскателям» (явно редакционным). Автограф без загл. — ПД, в письме к Погодину от 11 февраля 1830 г. Печ. по зап. книжке. Из письма видно, что «Стансы» написаны Ш. днем раньше.

128. Альм. «Денница», М., 1831, с. 107, с цензурным пропуском половины ст. 49 («Когда ж вспомяну»), ст. 50—54 и последнего ст., с датой: «Рим, 1830». Печ. по автографу зап. книжки. Вкратце история стихотворения такова. В июне 1830 г. Ш. получил письмо от Погодина с припиской Пушкина. «Возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную литературу», — писал в конце своего приветствия Пушкин (т. 10, с. 284). 20 июня 1830 г. Ш. сообщал Погодину: «Прошу тебя дать следующий ответ Пушкину: его строки были электрическими в Риме; читать письмо от Пушкина — что-то неизъяснимо сладко, душевозбудительно; он мне прислал спирту русского против неги полуденной, ослабляющей нервы (еще до письма ⟨он⟩ дал

искру; я в Риме лучше понял назначение России и Пушкина; скоро осмелюсь говорить ему об этом и об языке русском: это в скобках держи про себя)» (ПД). В дневнике II Ш. записал под датой «17 июля (1830)»: «Я кончил послание к Пушкину», а в письме к Погодину от 24/12 июля заметил: «Послания к Пушкину не посылаю еще: пусть полежит... Вот тебе на ушко 4 стиха» (ПД, далее следуют ст. 65—68). Очевидно, Ш. через некоторое время хотел еще раз вернуться к тексту. В письме его к Погодину от 16—17 декабря 1830 г. было сказано: «Посылаю на зубок «Московскому вестнику» мой гостинец, еще с августа береженый. Но прошу тебя не печатать, не показавши прежде Пушкину и не испросив его позволения от моего имени. Скажи ему, что я ему отдаю на цензурование и без его воли не хочет обнародовать его послания» (ПД). Так как издание МВ в конце 1830 г. прекратилось, Погодин предложил напечатать «Послание» в Тел., журнале Н. И. Надеждина. В письме от 11 января 1831/31 декабря 1830 г. Ш. заметил: «Не думаю, чтоб прилично было Надеждину напечатать «Послание» в своем журнале; ты не забудешь во всяком случае прежде показать его Пушкину» (ПД). 25 января 1831 г. Погодин сообщил Ш.: «Послание Пушкину отдал; очень, очень благодарен и хотел отвечать тебе стихами же, разве только свадьба теперь помешает: на днях женится» («Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву». Публ. Н. П. Барсукова. — РА, 1882, № 6, с. 180). В «Послании» (ст. 88—97) использованы ст. 3—10 из стихотворения Ш. «Русская история» (автограф — подборка ГПБ). Мысль о том, что поэзия — пророчество, «невнятное для других», была высмеяна в пародии Н. А. Полевого «Рим» (см. примеч. 122). *Анжело* — Микеланджело Буонаротти. *И на обломках начат новый пир,* т. е. наступила эпоха Возрождения. *Уменьем рыбаря*, т. е. Ломоносова; имеются в виду его заслуги перед русской литературой. *Льдистых Альп певцом* и т. д. Ш. говорит о Державине, намекая далее на его стихотворения «Водопад», «На победы в Италии», «Желание зимы» и др. *Карамзина устами нам исповедь народную прочел* и т. д. Имеется в виду капитальный труд Н. М. Карамзина «История государства Российского» (тт. 1—11, 1818—1824). *«История не русского народа»* — «История русского народа», сочинение Н. А. Полевого (тт. 1—6, 1829—1833), полемически направленное против исторических взглядов Карамзина и вызвавшее бурю негодования в лагере дворянских литераторов и у всех консерваторов. *С Жуковским... он вещал за Русь* — о стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812). *Галльскою диетою замучен*, т. е. попал в рабскую зависимость от языка французской литературы. *Иль сибарит, на ложе почивавший* и т. д. Имеется в виду древнегреч. притча о сибарите (жителе колонии Сибарис), который был до того изнежен, что ступни его ног чувствовали лепестки цветов, когда он наступал на них. *Ленивый мурза* — из оды Державина «К Фелице». *Заезжий иностранец* и т. д. Подразумевается Ф. В. Булгарин, поляк по национальности. В это время он предпринял в СПч ряд враждебных выступлений против Пушкина и ЛГ, что было известно Ш., имевшему с ним свои счеты (см. примеч. 104 и 108). *Писатель-самозванец* — намек на псевдоисторический роман Булгарина «Дмитрий Самозванец» (1830). *Зазубренный спондеем гекзамéтр.* Ш. метил в А. Ф. Воейкова, поэта и журналиста, в гекзаметрах которого (как и вообще в рус-

ском гекзаметре) встречались пропуски безударных слогов и получались спондеи — стопы с двумя ударными слогами. *Под хладным русским Фебом* — под холодным солнцем России. *Да призови в сотрудники поэта*, т. е. Н. М. Языкова. *Ираклов*ы — Геракловы. *Из меди лит рифейской.* Рифей — Урал.

129. СЦ на 1831, с. 7. Автограф — зап. книжка, где помещено среди стихотворений 1829—1830 гг. Судя по письму к Погодину от 24/12 июля 1830 г., Ш. читал Данте в оригинале с помощью учителя-итальянца. Позднée стихотворение подало Белинскому повод для обвинения Ш. в пристрастии к натянутым, изысканным сравнениям (статья «⟨Стихотворения Полежаева⟩», т. 6, с. 125).

130. КБ, с. 215. Отрывок из трагедии «Ромул» (д. 2, явл. 8), напечатанный Ш. в качестве самостоятельного стихотворения. Текст двух действий пьесы, оставшейся незавершенной, опубликован М. Аронсоном в изд. 1939, с. 91—144 по рукописи ГПБ. Из всех своих литературных начинаний, предпринятых в Италии, Ш. придавал «Ромулу» первостепенное значение. Он работал над ним с августа 1829 по ноябрь 1830 г. Второе действие писалось с августа по 7 ноября 1830 г., как о том свидетельствует дневник II и письма к Погодину за этот период (ПД). Более подробно о трагедии и ее источниках см. в изд. 1939, с. 228—229. Произведение это отражает раздумья Ш. о природе и начале государственной власти, о сочетании свободы личности с интересами общества. «Ромул есть тип древнего римлянина: в нем видишь вместе и Брута (в смерти Рема) и Цезаря, и свободу и тиранию» (дневник II, запись от 20 августа 1830 г.). «Три молнии» — отрывок из монолога старца Фаустула, воспитателя братьев Ромула и Рема, из которых первый стал основателем Рима. Наставляя Ромула блюсти общее благо и править в согласии с мнением народного совета («Мира»), Фаустул подкрепляет свои доводы ссылкой на небесный правопорядок, которому послушны все боги и даже их владыка Зевс. Далее в тексте драмы след. строки:

> Так действуй ты, царю громов подобясь:
> Суди лишь Миром, Миром зло казни.
> Се Мир перед тобой — совет избранный,
> Старейшины — сограждане твои!

131. «Молодик», ч. 1, Харьков, 1843, с. 104, под загл. «Римский форум», с цензурными вариантами ст. 2, 10, 12, 16; изд. 1939, с. 84, где опубликовано по автографу из подборки ГПБ. На том же листе рукописи стихотворение 1830 г. «Русская история» (см. примеч. 128), чем и определяется датировка. Печ. по зап. книжке, где более острые в цензурном отношении варианты ст. 12 и 16 (было: «Псы гуляют да попы» и «Недостойные потомки»). Помещено среди стихотворений 1830 г. *Форум* — площадь, центр общественной жизни Древнего Рима, место, где при участии народа обсуждались и решались важнейшие государственные дела; Форум — символ античной республики и демократии. *Хитон* — одежда древних греков, род рубахи без рукавов.

132. ЛГ, 1830, 3 октября, с. 161, под загл. «Сравнение», перед «Письмом к издателю „Литературной газеты“», принадлежащим Ш.,

с датой: «14 сентября 1830. Рим.»; изд. 1939, с. 90, под загл. «Пушкину», по автографу ПД, при «Письме к И⟨здателю⟩ „Л⟨итературной⟩ г⟨азеты⟩“» от 14/2 сентября 1830 г. М. Аронсон сообщал: «Рукопись этой эпиграммы... показывает, однако, что заглавие это придумано Дельвигом. В рукописи первоначальное заглавие зачеркнуто, а рядом написано: «Вам предоставляю окрестить». Зачеркнутое же первоначальное заглавие с большой уверенностью читается как „Пушкину“» (изд. 1939, с. XXXI). Вычерк загл. М. Аронсон объяснял тем, что Ш., по-видимому, «считал неудобным помещать эпиграмму на Пушкина в период ожесточенных нападок на него со стороны Булгарина и Полевого и, кроме того, поместить эту эпиграмму в органе самого Пушкина» (там же, с. 228). Эту маловероятную гипотезу опровергает автограф зап. книжки, по которому и печ. «Критику» в наст. изд. Стихотворение скорее всего имеет в виду критика и поэта О. М. Сомова (см. о нем т. 1, с. 212—213), который в своем «Обзоре российской словесности за 1828 год» (СЦ на 1829, с. 14—16) забраковал шевыревский перевод «Валленштейнова лагеря» Шиллера (отрывки из него появились в МВ, 1828, № 2, с. 137—148 и № 12, с. 341—355). Сомов обрушился на площадной язык перевода, густо усеянный «выражениями, употребительными в казармах». В письме к Погодину от 13 июля 1830 г., сообщая о намерении выступить в ЛГ, Ш. предупреждал его: «Хитрую штуку выкину! Не расскажу, а сам прочтешь» (ПД). «Хитрость», надо полагать, заключалась в намерении напечатать эпиграмму на Сомова в газете, выходившей при его постоянном участии (Сомов был правой рукой Дельвига в редактировании ЛГ). Стремлением замаскировать адресат, видимо, и объясняется тщательный вычерк загл. «Критику». *Бывал ли ты хоть на реке Десне.* Возможно, скрытый намек на то, что родиной Сомова была Украина.

133. СЦ на 1831, с. 49. Автографы — ПД, при «Письме к И⟨здателю⟩ „Л⟨итературной⟩ г⟨азеты⟩“» от 14/2 сентября 1830 г., и в подборке ГПБ (без даты). Загл. стихотворения — намеренная мистификация: к Горацию эта «ода» не имеет никакого отношения. Об этом предупреждал Дельвига в своем письме к нему Ш.: «Если скажут, что в соч⟨инениях⟩ Гор⟨ация⟩ нет такой оды, можете объявить в мою защиту, что я поднял папирус в Помпее; если обвинят в дерзости, что я осмелился к одам Гор⟨ация⟩ прибавить свою, то прошу вас извинить меня эпитетом „последняя“» («Литературные портфели», вып. 1, Пб., 1923, с. 88). Третий автограф — зап. книжка. *Авзония* — поэтическое наименование Италии.

134. Тел., 1831, № 12, с. 491 (строфы 1—22), под загл. «Несколько строф из седьмой песни «Освобожденного Иерусалима» (переведенные октавами или осьмистишиями)», и № 24, с. 461 (строфы 23—123), под загл. «Окончание седьмой песни «Освобожденного Иерусалима» (в октавах или осьмистишиях)», подпись: С. Ш. Вопреки настоятельным просьбам Ш. в письмах к Погодину (ПД) о том, чтобы перевод октав Тассо выглядел в печати как прямое продолжение его теоретической статьи — «Рассуждения о возможности ввести италианскую октаву в русское стихосложение», Н. И. Надеждин, издатель Тел., опубликовал труд Ш. тремя частями (статья появи-

лась в №№ 11 и 12 за 1831 г.). В 1835 г. Ш. перепечатал свой перевод в МН, июль, кн.1, с. 11 (строфы 1—49) и кн. 2, с. 193 (строфы 50—123), предпослав ему краткое программное вступление. Эту публикацию, целиком воспроизведенную в изд. 1939, с. 148—179, в МН завершала «Эпиграмма-октава» Ш. (см. ее во вступ. статье к наст. изд., т. 1, с. 45). Два автографа перевода — дневник II (кусками, под разными датами, начиная с 22 сентября 1830 и кончая 8 марта 1831 г.) и ПД, в письме к Погодину от 15 марта — 6 апреля 1831 г. (там же и автограф «Рассуждения...»). Автограф «Эпиграммы-октавы» — в письме к Погодину от 2 августа 1831 г. (ПД). В автографе перевода (ПД) Ш. специально для Погодина подчеркнул те стихи, которые отступали от общепринятых правил русской просодии, в частности ст. 1, 2, 4, 9, 27, 29, 34, 49, 56 публикуемого отрывка (строфы 117—123). Отрицательно отнеслись к шевыревской реформе Н. В. Станкевич (см. его письмо к Я. М. Неверову от 13 октября 1835 г. — «Переписка Н. В. Станкевича», М., 1914, с. 333), а вслед за ним и Белинский, откликнувшийся на нее иронической заметкой «Просодическая реформа» и в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"» (т. 1, с. 328 и т. 2, с. 144—148). Прочие отзывы современников (Пушкина, Погодина, С. А. Соболевского, П. А. Вяземского, И. И. Дмитриева, А. В. Веневитинова) собраны в изд. 1939, с. XXX—XXXI.

135. Тел., 1831, № 7, с. 382, подпись: S. Автографы — ПД, в письме к Погодину от 15 марта 1831 г.; в дневнике II, где помещено под датой: 26 февраля 1831, и в зап. книжке. Ш. серьезно помышлял об издании рифмаря, о чем писал Погодину 21 января 1831 г. (ПД). Стихотворение вызвало полемический выпад Н. А. Полевого (МТ, 1832, № 7, «Камер-обскура», с. 140—141). Желание Ш. сбылось: в 1834—1836 гг. в Москве вышло анонимное «Собрание рифм по алфавиту», чч. 1—2.

136. Альм. «Альциона», СПб., 1832, с. 45, подпись: С. Ш. Автографы — дневник II, под датой: 21 апреля 1831 и зап. книжка (без даты).

137. Москв., 1842, № 1, с. 16, с датой: «Рим. 30/18 января 1839», подпись: С. Ш. Автограф — подборка ГПБ, без загл. и даты. В день рождения Гоголя «27 декабря 1838 года, празднуя его вместе со многими русскими на вилле Волконской, Шевырев прочел ему следующие стихи», — рассказывал М. П. Погодин («Воспоминание о С. П. Шевыреве», СПб., 1869, с. 22). В письме к Ш. от 21 сентября 1839 г. Гоголь, одобряя намерение его перевести на русский язык весь «Ад» Данте, писал: «но что самое главное и чего меньше было у тебя прежде, это внутренняя, глубокая, текущая из сердца поэзия: ноты, взятые с верностью удивительною и таким скрипачом, у которого в скрипке сидит душа. Все это я заключил из тех памятных мне стихов в день моего рождения, которые ты написал в Риме. Доныне я их читаю и мне кажется, что я слышу Пушкина» (ПСС, т. 11, Л., 1952, с. 247). Дата в Москв. — очевидно, дата переписки стихотворения. *Гольдони* К. (1707—1793) — итальянский драматург, создатель национальной комедии.

138. ОЗ, 1840, № 9, с. 227. Датируется по автографу ЦГАЛИ.

139. «Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, изд. в пользу А. Ф. Смирдина», т. 2, СПб., 1841, под загл. «На смерть поэта». Печ. по зап. книжке. Другой автограф без загл. — подборка ГПБ. Неодобрительный отзыв о стихотворении, вероятно принадлежащий Н. А. Полевому, поместил «Русский вестник» (1841, № 1, с. 66). С уничтожающим разбором стихотворения в «Журнальных и литературных заметках» выступил Белинский (т. 6, с. 237—239). На справедливый упрек П. А. Вяземского в том, что Ш. недооценил самобытность дарования покойного поэта (письмо от 22 сентября 1841 г. — РА, 1885, кн. 2, с. 307), Ш. оправдывался: «Лермонтова ценить я умел: выразил я это и в своих разборах и в моем стихотворении» («Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к князю П. А. Вяземскому», СПб., 1901, с. 139).

140. РС, 1866, № 2, с. 423, без загл., с неуверенной датировкой публикатора (П. В. Шейна): «кажется, в 1857 г.» Печ. по изд. 1939, с. 195, где опубликовано по идентичным автографам подборки ГПБ: один с пометой: «В заседании 26 апреля 1859», другой с пометой: «апреля 26». Отклик на начало Итальянской революции 1859—1860 гг., приведшей к освобождению от иноземного гнета и созданию единого национального государства. *Два раза дать народам просвещенье.* Подразумеваются культура Древнего Рима и культура итальянского Возрождения.

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

В обширной библиографии сочинений В., выпущенных отдельными изданиями, стихотворным произведениям принадлежит скромное место. Это поэмы: «Беглец» (М., 1831; второе изд. — М., 1836, с приложением пяти стихотворений) и «Муромские леса» (М., 1831); драма «Ратибор Холмоградский» (М., 1841); сказка «Троян и Ангелица» (М., 1846); либретто оперы «Аммалат-бек» (музыка Н. Афанасьева, СПб., 1870). Большая же часть стихотворного наследия писателя дошла до нас в журнальных и альманашных публикациях, а также в виде стихотворных вставок в романах и повестях. Особенно важна в этом отношении повесть «Странник» (чч. 1—3, М., 1831—1832; второе изд. — М., 1840; третье изд., ч. 1 — М., 1840), являющаяся своеобразным сводом ранних стихотворений В., из которых многие прежде были напечатаны в повременных изданиях.

141. МТ, 1827, № 17, с. 37. Печ. по кн. «Беглец», 1836, с. 67.

142. Там же, с. 37. Печ. по кн. «Беглец», 1836, с. 68. *Арбел* — древний город на территории нынешнего северного Ирака; в 331 г. до н. э. Александр Македонский (356—323 до н. э.) разбил под Арбелом огромную армию персидского царя Дария III. *Гемос* — древнее

название Балканских гор. *Пелла* — резиденция македонских царей. *Пустыни Гетские* — местность между Балканами и Дунаем, где некогда обитали воинственные племена гетов.

143 — 152. Текст публикуемых фрагментов во всех изданиях повести отличается лишь незначительными деталями. Отрывки 1—8 печ. по третьему изд. ч. 1 (ц. р. 12 августа 1838), отрывки 9—10 — по второму изд. ч. 3 (ц. р. 25 октября 1835). Черновые наброски повести — ГБЛ. Первоначально «Странник» назывался: «Путешествие по генеральным картам», о чем свидетельствует публикация отрывка произведения в МТ, 1830, № 20, с. 509—530. У В. было намерение написать четвертую часть повести — «Путешествие по царству женщин» (план — в ГБЛ). О пародийном отражении в «Страннике» жанра сентиментального путешествия см.: Т. Роболи, Литература путешествий, а также: Б. Бухштаб, Первые романы Вельтмана (обе статьи в сб. «Русская проза», Л., 1926). В каждой из трех частей повести 15 глав, имепуемых «днями»; во многих случаях «дни» подразделяются на главки, имеющие особую — сквозную — нумерацию. За отдельными исключениями (они оговариваются), публикуемые извлечения представляют собой целые главки. Об интимном подтексте «Странника», выросшем отчасти из переписки В. с неизвестной Е. П. П. (или Kitty), см.: З. С. Ефимова, Начальный период литературной деятельности А. Ф. Вельтмана. — Сб. «Русский романтизм», Л., 1927, с. 67—72.

1. Помещено на титульном листе ч. 1 в качестве эпиграфа. Под эпиграфом ссылка на источник: «Странник», ч. 2. В ч. 2, с. 3 этот текст напечатан с вариантами ст. 9—12.

2. Ч. 1, с. 12 («День 1», гл. 14). Впервые в качестве отдельного стихотворения под загл. «Ожидание» — СО, 1828, № 1, с. 86. В сб. «Русская стихотворная пародия» («Б-ка поэта», Б. с., Л., 1960, с. 456) этот текст приведен по альм. «Северная звезда», СПб., 1829 в качестве пародии на стихотворение Н. М. Языкова «Дева ночи»; однако публикация в СО, предваряющая публикацию «Девы ночи» (впервые — НА на 1829), исключает этот пародийный адрес.

3. Ч. 1, с. 27 («День 4», гл. 31). Прозаическое окончание гл. 31 опущено. *Халдейские предания.* Халдейцы — обитатели древнего Вавилона. *Элаим* — Елогим, имя бога в Библии. *Каркура* — халдейское название Араратских гор; по Библии, здесь пристал *ковчег* Ноя, на котором он с сыновьями спасся во время всемирного потопа.

4—5. Ч. 1, с. 92 («День 12», гл. 74 — проза, гл. 75 — стихи). *Тирас* — древнегреческая колония в устье Днестра. *Паланка* — укрепленное селение возле устья Днестра. *Переселенка с острова Мило* — Венера Милосская, выдающийся памятник древнегреческой скульптуры.

6—7. Ч. 1, с. 95 («День 12», гл. 83 и «День 13», гл. 84). Эти отрывки первоначально предназначались для «поэмы-буффы» «Янко чабан», которую В. писал в 1823—1824 гг. в Кишиневе во время пребывания там Пушкина (Л. Майков. Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным. — Л. Майков, Историко-литературные очерки, СПб., 1895, с. 125). *Аквилон* (римск.) — северный ветер. *Фаэтон* (греч. миф.) — сын бога солнца Гелиоса, рискнувший взяться за управление солнечной колесницей; Фаэтон не справился с ней и стал падать на землю; чтобы спасти землю от

солнечного огня, Зевс поразил молнией Фаэтона. Здесь слово «фаэтон» в нарицательном значении (экипаж) снова возвращено в миф. *Эта история продолжается с лишком 7 тысяч лет* — 7000 лет по библейскому летосчислению от «сотворения мира».

8. Ч. 1, с. 101 («День 13», гл. 85). Черновой автограф «Эскандера» с подзаг. «Мысль» и пометой: «Лагерь при Шумле 10 июня 1828» — ГБЛ. В автографе зачеркнутый эпиграф: «Дела мои отразятся в памяти людей, как лучи солнца на щите моем». Впервые в качестве отдельного произведения — МТ, 1831, № 2, с. 195, с примеч. издателя к загл.: «Читатели припомнят, что в мифах Востока под именем истории Эскандера повествуется история Александра Македонского». В оглавлении повести «Странник» «Эскандер» имеет подзаг. «Поэма». В гл. 85 В. указывал: «Здесь заблаговременно должно заметить, что все нижеследующее можно найти только в первоначальном манускрипте «Бахаристана» как вещь не совершенно достоверную». «Бахаристан» — произведение классика персидской поэзии Джами (1411—1492). Однако ничего похожего на поэму В. в «Бахаристане» нет. Ссылка на Джами, видимо, восходит к какому-то сомнительному источнику. В романе «Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский» (М., 1836) В. дополняет легенду о последней любви Александра рядом подробностей. При занятии Вавилона македонскими войсками наибольшее сопротивление завоевателям оказал первосвященник Хаарун, затворившийся с приверженцами в храме Сераписа. Взятый в плен Хаарун был приговорен к смерти. Перед казнью ему разрешили свидание с дочерью Зендой, которой он завещал свою месть: «Вот тебе зерно смерти, — говорил он ей, — а это мое... для тебя и Александра довольно одного... Красота твоя приведет тебя к ложу его... приведет! но ты раствори слюнами это зерно и лобзай Александра, дочь моя! лобзай!.. тебе не обречено умереть девой!..» (ч. 2, с. 157). *Но чей он потомок — преданья не молвят.* Имеются в виду различные противоречивые версии о происхождении Александра, которые содержатся в многочисленных легендах о нем. Краткий их обзор В. привел в гл. 27 «Дня 3». В действительности отец Александра — царь Филипп Македонский (ок. 383—336 до н. э.). *Владелец Олимпа* — Зевс. *Эритрейские волны.* Эритрея — древнее название Красного моря. *Аммона я видел.* Речь идет о посещении в Египте Александром главного святилища Аммона; жрец храма объявил его «сыном Аммона», т. е. сыном бога Солнца. *В устах чудотворного Нила мой памятник вечный.* Имеется в виду основание Александром г. Александрии в 332—331 гг. до н. э. *Священные Гангеса волны.* Войска Александра покорили западную Индию вплоть до берегов Ганга. *Бел* — верховный ассиро-вавилонский бог. *Зульмат* — в мифических поверьях мусульманского Востока непроницаемые для солнца лесные дебри, где таится источник «живой воды» *Аб-Хэид* (Аб-и хайяб). *Таи* — Альтаир, звезда первой величины в созвездии Орла. *Азад* — созвездие Льва, а также входящая в него звезда первой величины (Регулюс). *Храм Хаабаха* — Кааба, храм в Мекке с черным камнем, святыня мусульман. *Серапис* — египетский бог подземного царства, отождествлявшийся греками с Плутоном. *В объятиях Леды божественный лебедь* — намек на миф о любви Зевса к дочери царя Этолии Леде; бог явился ей в образе лебедя, когда она купалась в реке. *Истакар* — древняя столица пер-

сидского государства Персеполь, выстроенная в VI—V вв. до н. э.; в 330 г. до н. э. город был взят и разрушен войсками Александра. Отделанный со сказочной роскошью дворец персидских царей погиб в пламени пожара. *Лектония* — Лектон, мыс в Малой Азии, омываемый Эгейским морем.

9. Ч. 3, с. 27 («День 33»). Стихотворением завершается гл. 248. *Веста* (римск. миф.) — богиня огня и домашнего очага; в Риме был храм Весты, где поддерживался вечный огонь.

10. Ч. 3, с. 74 («День 33», гл. 285). *Дарий* III Кодоман — персидский царь (336—330 до н. э.), армия которого была разгромлена в 331 г. до н. э. войсками Александра Македонского. *На поле славы дуб горел.* Сжигание дубов — праздничный ритуал в честь победы над врагом, распространенный у древних северных народов, в особенности у кельтов.

153. Печ. впервые по автографу ГБЛ (в тетради стихотворений В.). Очевидно, обращено к Е. П. П. (см. начало примеч. к №№ 144—152). *Геба* (греч. миф.) — богиня юности.

154. МТ, 1829, № 5, с. 45, под загл. «Мегеммед» и с вариантами. Печ. по кн. «Беглец», 1836, с. 70. *Мухаммед* (ок. 570—632) — религиозный проповедник, основатель мусульманского вероучения. *Абраем* — тюркская форма имени библейского патриарха Авраама. *Куран* — Коран.

155. МТ, 1830, № 2, с. 177. *Зороастр* (Заратуштра) — легендарный персидский пророк, живший во второй половине VI в. до н. э. Он принадлежал к жреческой касте *магов* или огнепоклонников. Согласно вероучению Зороастра, ход жизни предопределен непрерывной борьбой двух верховных богов — Ахурамазды и Анхра-Майнью (или *Аримана*), олицетворявших соответственно доброе и злое начала. Гонимый на родине, Зороастр стал проповедовать в Восточном Иране — *Бактре.* Он осуждал кровавые жертвоприношения и призывал соплеменников к оседлости.

156. «Беглец», 1831, с. VII, перед текстом поэмы в качестве второго посвящения. Вошло во второе изд. «Беглеца». Эпиграф — из оды французского поэта и драматурга А.-У. де Ламота (1672—1731), ее точное загл.: «La poésie française, ode à messieurs de l'Académie» («Французская поэзия, ода к господам академикам»).

157. «Муромские леса», с. 22. Включенная в поэму песня сразу же приобрела широчайшую популярность, что отметил в «Литературных мечтаниях» Белинский (т. 1, с. 95). Ср.: М. Лихонин, Вельтман и его сочинения. — МН, 1836, май, кн. 1, с. 107—108. Почти тогда же песня проникла в фольклор (фольклорный ее вариант см.: Н. Е. Ончуков, Северные народные драмы, СПб., 1911, с. 76). Положена на музыку И. Иогелем, А. Е. Варламовым, А. Н. Алябьевым, Д. Н. Кашиным, В. Осиповым, П. Тихменевым, В. Ф. Алоизом. В рецензии МТ на поэму (1831, № 7, с. 388) был отмечен анахронизм, вкравшийся в песню: г. *Касимов* (в Рязанской губ. на Оке) не существовал во времена, описанные в поэме. Запоздалая пародия на песню

В. под загл. «Русская песня», с подписью: А. К. Злов, появилась в «Развлечении», 1860, № 16, с. 194.

158. А. Вельтман, Кощей Бессмертный. Былина старого времени, ч. 3, М., 1833, с. 144 (ц. р. 3 декабря 1832).

159. Гал., 1839, № 4, с. 273. *На первого земли и сына и царя* — на Адама. *Венец создания природы* — Ева.

160—161. Москв., 1841, № 1, с. 143 и 181. В повести стихотворные тексты приведены как примеры эпигонства в лирике. «Автор» их — провинциальный стихоман Ордынин, принятый в ряде московских фешенебельных домов вследствие шумной рекламы, которую создал ему другой герой повести — Василий Григорьевич, преследовавший этой мистификацией сугубо личные цели. Как полагает Л. Я. Гинзбург, история «производства» Ордынина в гении подсказана В. феерическим началом литературной карьеры Бенедиктова (см. ее вступ. статью к сб.: В. Г. Бенедиктов, Стихотворения, «Б-ка поэта», Б. с., Л., 1939, с. VIII—IX). Стихотворение о Наполеоне отчасти пародирует бенедиктовское «Ватерлоо». Другие вероятные объекты пародии — «Наполеон» М. А. Дмитриева и одноименное стихотворение А. В. Тимофеева.

1. *Ореады* (греч. миф.) — нимфы гор.

2. Чтение Ордыниным «Наполеона» вызвало реплику одного из гостей: «Любопытное состязание с Ламартином и Пушкиным». На другом вечере с Ордыниным завел разговор некий «неотвязный старик»: «Прекрасные стихи! Я восхищен! .. Кажется, ведь вы пародию читали?

— Нет-с! — сказал поэт, усмехнувшись, — пародия значит...

— Знаю, знаю, что она значит; она значит: переделанные чужие стихи... теперь это в ходу, и много гениев взошло на этой опаре... Например, ваш «Кастальский ключ» выкроен из простого державинского «Ключа», да и «Наполеон»-то, кажется... стихи знакомые: «Атлас новый, на рамена поднявший свет...»

— Извините, может быть, эти стихи похожи, но все прочие нисколько! — отвечал поэт, вспыхнув и потом побледнев» (А. Вельтман, Повести, ⟨т. 1⟩, СПб., 1843, с. 112—113). *Барбье* А.-О. (1805—1882) — французский поэт, автор нашумевшего сборника стихотворений «Ямбы» (1831).

162. Москв., 1849, № 17, с. 76, подпись: В. В сводном оглавлении журнала за 1849 г. два стихотворения — «Русалки» и «Песнь баядерок» — значатся под литерами: А. В. Поскольку второе стихотворение бесспорно принадлежит В. — свидетельство тому в письме М. А. Дмитриева к М. П. Погодину от 16 декабря 1849 г. (Барсуков, кн. 10, с. 301), — то атрибуция ему «Русалок» не вызывает сомнений. Текст этот, очевидно, относится к проекту «окончания» пушкинской «Русалки», который возник у В., видимо, вскоре после смерти Пушкина и публикации его драмы в 1837 г. См.: С. Долгов, А. Ф. Вельтман и его план окончания «Русалки» Пушкина, М., 1897.

ТРИЛУННЫЙ

(Д. Ю. Струйский)

Лишь малая часть обширного стихотворного наследия Т. представлена отдельными изданиями. Это поэма «Аннибал на развалинах Карфагена» (СПб., 1827) и «Стихотворения Трилунного. Альманах на 1830 год» (чч. 1—2, СПб., 1830). Как видно из статьи В. В. Стасова «Цензура в царствование императора Николая I» (РС, 1901, № 9, с. 647—649), «альманах» Т. был представлен в цензуру в начале 1830 г. под названием «Незабудка». Многие материалы его (стихотворения «Мелкошерстные мыши», «Хамство», «Старый друг лучше новых двух», «Предрассудки и просвещение», а также «статьи»: «о свободе», «о крестьянах», «о настоящем положении вещей в России», «о статуях в Летнем саду», «о раболепстве перед знатными», «о музе Байрона в сравнении с демоном Апокалипсиса», «о Сибири наряду с адом») вызвали цензурные осложнения. В результате состав альманаха потерпел серьезный урон. Множество стихотворений Т., в том числе отрывки из поэм, дошли до нас в журнальных и альманашных публикациях конца 20—40-х годов. Как правило, все они подписаны псевдонимом: «Трилунный». Подпись: «Д. Струйский» встречается редко. Эти единичные случаи оговариваются в примечаниях.

163. «Стихотворения Трилунного», ч. 1, с. 27. В своей объяснительной записке, поданной в цензурное ведомство, Т. писал: «В разговоре шута с поэтом замечено цензурой несколько стихов, именно там, где поэт негодует на тех молодых дворян, которые пользуются заслугами своих предков, не хотят служить своему отечеству и, нередко утопая в роскоши — следствие праздности, — смеются над полезными трудами поселян, считая их дикарями». Защищая эти стихи от цензурного вето, Т. ссылался на указ Петра I, по которому молодые люди из дворян обязывались нести службу на пользу отечества (РС, 1901, № 9, с. 649). Эпиграфы — из стихотворения Д. В. Веневитинова «Утешение», впервые опубликованного в 1829 г., и из «Горя от ума». *Грановитая палата* — дворцовое здание в Кремле, возведенное в 1487—1491 гг., выдающийся памятник древнерусской архитектуры. *Владимира корона* — «Шапка Мономаха», принадлежавшая киевскому князю Владимиру Мономаху (1053—1125); после его смерти получила значение коронационного венца. *Столбец полночного Солона.* Столбец — здесь: так называемое «зерцало», эмблема законности, введенная Петром I; имела форму треугольной призмы, на плоскостях которой были наклеены указы царя. Солон (ок. 638 — ок. 559 до н. э.) — законодатель древнего Афинского государства.

164. Там же, ч. 1, с. 71. Петербургский цензурный комитет нашел в этом произведении «сатиру на гордость министра и недоступность к оному» (⟨В. В. Стасов⟩, Цензура в царствование императора Николая I. — РС, 1901, № 9, с. 648). По поводу этого и других запретов Т. написал длинное объяснение в цензурное ведомство, доказывая идеологическую лояльность своих произведений. Было разрешено к печати после разбирательства в Главном управлении цензуры. *Аренда* — здесь: распространенный при Александре I и

Николае I способ вознаграждения за государственные заслуги — отдача казенных деревень и угодий во временное пользование частных лиц либо ежегодное денежное пособие в течение ряда лет. *Ключика златого камергера.* Необходимой принадлежностью камергерского мундира (камергер — придворное звание) был ключ, который прикреплялся к пуговице заднего кармана. *Губернский секретарь* — мелкий чиновник 12 класса из 14-ти существовавших. *Козны* — игра в бабки (альчики).

165—166. РС, 1901, № 9, с. 647. Были запрещены к печати Главным управлением цензуры. «При тогдашних понятиях об аристократии и высших чинах администрации, первые две пьесы явно с сатирическим намеком на известные современные личности и отношения не могли быть допущены даже либеральным и доброжелательным князем Ливеном», — пишет публикатор этих текстов В. В. Стасов, поднявший цензурное дело по «альманаху» Т. (РС, 1901, № 9, с. 648). К. А. Ливен — министр просвещения (1828—1833), ему подчинялись органы цензуры. №№ 165—166 печ. по копиям ЦГИА. *Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.) — древнегреческий политический деятель и оратор.

167. «Стихотворения Трилунного», ч. 2, с. 35. Было разрешено к печати после рассмотрения в Главном управлении цензуры (см.: РС, 1901, № 9, с. 468).

168—172. Там же, ч. 2, с. 5, 11, 27, 37, 85.

173. СЦ на 1831, с. 103. Вероятно, имеется в виду участь поэта И. И. Козлова (1779—1840), потерявшего зрение в 1821 г. Козлов в этом же альманахе был представлен «Романсом Десдемоны».

174. Альм. «Альциона», СПб., 1831, с. 46. В переработанном виде, без ст. 32—43 вошло в гл. 1 поэмы Т. «Байронова урна» (Тел., 1832, № 8, с. 461). В результате текст получил совсем иное звучание. Написано по мотивам строф 179—183 четвертой песни «Паломничества Чайльд-Гарольда».

175. ЛГ, 1831, 11 апреля, с. 169.

176. «Молва», 1832, 23 февраля, с. 61, без подписи. Автор указан в оглавлении к ч. 3 «Молвы».

177. Совр., 1837, т. 7, с. 180.

178. СО, 1837, № 17, с. 6, подпись: Д. Струйский. Печ. с восстановлением цензурного пропуска в ст. 25, обозначенного точками. Контекст и рифма подсказывают почти бесспорную конъектуру: «судьбой». *Как беззаконная комета* — цитата из стихотворения Пушкина «Портрет» (1828).

179. Д. Струйский, Русские романсы, ⟨СПб., 1837⟩. Полный комплект этого изд. неизвестен. Печ. по экз. ГПБ. Судя по анонсам в периодике (Совр., 1837, т. 5, с. 339 и СПч, 1837, 17 апреля, с. 340),

сборник состоял из шести пьес. Т. выступил здесь в качестве композитора и поэта одновременно. Только два романса («Сколько слез я пролил. . .» и «Упивайтесь ею. . .») были написаны на стихи Вяземского и Пушкина.

180. ЛПРИ, 1838, 1 октября, с. 785, подпись: Д. Струйский.

181. Москв., 1845, № 5-6, с. 89, в числе пяти стихотворений за общей подписью: Д. Струйский.

182. Там же, с. 88, перед стихотворением «Дант на границе своей родины», с авторским примеч. к первому: «Эти два стихотворения взяты из моей поэмы «Дант». Д. С.».

183. Там же, с. 89. По-видимому, отклик на смерть Пушкина. Поздняя публикация и нейтральное загл. обусловлены цензурными условиями: прославление Пушкина в печати и какие-либо сетования по поводу его трагической кончины категорически воспрещались властями, особенно в первое время после смерти поэта.

Л. А. ЯКУБОВИЧ

Единственный сборник «Стихотворений» поэта был издан в 1837 г. в Петербурге. Все вошедшие в него произведения имеют авторские даты, указанные в оглавлении. По свидетельству И. П. Сахарова, «все свои стихи он ⟨поэт⟩ писал в книгу in 4⁰», т. е. в четвертую долю листа (РА, 1873, № 6, с. 954). Разыскать эту рукопись не удалось.

184. «Атеней», 1829, № 19, с. 86. Вошло в изд. 1837. *Алкид* — Геракл (греч. миф.); будучи младенцем, задушил в колыбели двух змей.

185. Изд. 1837, с. 73.

186. «Молва», 1832, 29 апреля, с. 136. Вошло в изд. 1837. Не исключено, что послание обращено к другу автора — А. И. Полежаеву и является откликом на его лирику конца 20-х годов, проникнутую мрачными настроениями. Это предположение подтверждается отчасти ст. «Терпи у жизненного моря»: в полежаевской «Песни погибающего пловца» образ моря символизирует враждебную поэту действительность и господство жестоких, коварных сил над его жизнью. Подобно Полежаеву, Я. рифмует слова: «горе» и «море».

187. Тел., 1832, № 16, с. 442. Печ. по изд. 1837, с. 20. *Там, при слияньи дивных рек* — Тигра и Евфрата; по Библии, эти реки орошали земной рай.

188. Изд. 1837, с. 63. *Лев Ислама.* Лев с саблей в лапе — центральная фигура герба Персии.

189. Изд. 1837, с. 24.

190. «Молва», 1832, 11 ноября, с. 361, под загл. «К N.N.» и с вариантом ст. 19, подпись: Л. Я. Печ. по изд. 1837, с. 71. Возможно, обращено к Д. Ю. Струйскому, переводчику Байрона, автору поэмы «Байронова урна».

191. Альм. «Альциона», СПб., 1833, с. 67. Вошло в изд. 1837.

192. Изд. 1837, с. 167. *Очаков* — турецкая крепость на северо-западном берегу Черного моря; в XVIII в. неоднократно осаждалась русскими войсками; последний кровопролитный штурм Очакова был в 1788 г.

193. Изд. 1837, с. 182.

194. Изд. 1837, с. 134.

195. БдЧ, 1835, № 1, с. 21. Вошло в изд. 1837.

196. БдЧ, 1834, № 8, с. 110. Вошло в изд. 1837.

197. МН, 1835, сентябрь, кн. 1, с. 509. Вошло в изд. 1837. *Пиэриды* (греч. миф.) — музы.

198. БдЧ, 1835, № 4, с. 124. Вошло в изд. 1837. Речь идет о древней крепости на берегу *Наровы* (Нарвы). За владение ею Россия долгое время соперничала со Швецией. Была присоединена к России в ходе победоносной Северной войны (1700—1721), после чего потеряла свое стратегическое значение.

199. Изд. 1837, с. 132. *Персть* — прах.

200. Изд. 1837, с. 159. *Жалей в нем мужа и отца.* Брак Байрона с Аннабелой Милбэнк был расторгнут по ее требованию; после скандальной истории с разводом поэт навсегда покинул отечество; его дочь Ада воспитывалась вдали от отца; вторая же дочь Байрона Аллегра (от Клэр Клермонт) умерла в детском возрасте.

201. МН, 1836, июль, кн. 2, с. 194. Вошло в изд. 1837. *Гроба Ливонии* — намек на стихотворения Языкова, посвященные ливонской истории: «Ливония» и «Меченосец Аран».

202. МН, 1836, август, кн. 2, с. 473. Вошло в изд. 1837.

203. Совр., 1836, т. 4, с. 290. Вошло в изд. 1837.

204. ЛПРИ, 1837, 9 января, с. 16. Вошло в изд. 1837. *Илия* — ветхозаветный пророк; на огненной колеснице он был взят на небо богом.

205. СО, 1837, № 2, с. 152. Вошло в изд. 1837. *Айдес* (греч. миф.) — Аид. *Ловитва* — охота.

206. Изд. 1837, с. 130.

207. Изд. 1837, с. 142.

208. «Сборник на 1838 год», СПб., 1838, с. 54.

209. ЛПРИ, 1838, 12 марта, с. 209.

210. Альм. «Метеор», СПб., 1845, с. 19. Адресат — по-видимому, Николай Федорович Туровский, воспитанник Благородного пансиона при Московском университете, автор воспоминаний о Лермонтове; в молодости служил в Петербурге, затем поселился в Липецке. Должно быть, к нему обращено и другое стихотворение Я. — «К липецкому знакомцу» (ЛПРИ, 1833, 15 июня, с. 447). Туровский, вероятно, был автором сочувственной рецензии на сб. 1837 г. (СПч, 1837, 29 и 30 апреля, с. 369—375, подпись: Т.). Дата написания не установлена.

А. И. ПОДОЛИНСКИЙ

При жизни поэта стихотворные произведения его дважды выходили двухтомными собраниями: Повести и мелкие стихотворения (чч. 1—2, СПб., 1837, ц. р. 28 марта 1836); Сочинения (чч. 1—2, СПб., 1860, ц. р. 27 августа 1859). Произведения, вошедшие во вторую часть этого издания, датированы в оглавлении. Целое собрание неопубликованных стихотворений П. появилось в РС, 1885, № 1, с. 73 и след. Кроме того, отдельными изданиями выходили поэмы «Див и Пери» (СПб., 1827), «Борский» (СПб., 1829), «Нищий» (СПб., 1830) и «Смерть Пери» (СПб., 1837). В советское время двадцать одно стихотворение поэта вместе с поэмой «Див и Пери» и отрывком из поэмы «Борский» вошли в издание: И. Козлов, А. Подолинский, Стихотворения (статьи, редакция и примечания Ц. Вольпе и Е. Купреяновой), «Б-ка поэта», М. с., Л., 1936. Довольно большое собрание автографов поэта хранится в ГБЛ.

211. «Альбом северных муз», СПб., 1828, с. 116 (ц. р. 31 декабря 1827), под загл. «Жребий поэта», др. ред. Печ. по изд. 1837, ч. 2, с. 137. Вошло в изд. 1860, ч. 1.

212. НА на 1829, с. 310; изд. 1837, ч. 2. Печ. по изд. 1860, ч. 1, с. 175. Стихотворение связано с популярной в 20—30-е годы исторической легендой о Вадиме Храбром, восставшем в Новгороде в 863 г. против самовластия Рюрика. П. свидетельствовал, что А. Мицкевичу, который «относился к моим стихам очень сочувственно», «в особенности понравилось мое «Предвещание». Он сам увлекался чудесным, что доказывают его «Дзяды» и „Пан Твардовский“» (рукопись автобиографической заметки ПД, частично опубликованной в РС, 1885, № 1).

213. Альм. «Подснежник», СПб., 1829, с. 237. Вошло в изд. 1837, ч. 2, и изд. 1860, ч. 1. Посвящено Анне Петровне Керн (1800—1879) и вписано в ее альбом. П. познакомился с ней в доме А. А. Дельвига. Осенью 1828 г. Пушкин записал в тот же альбом пародию на стихи П.:

Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: «В день Ильи-пророка
Она была разведена!»

П. запомнил этот случай: «У Дельвига же Пушкин стал шутя сочинять пародию на мое стихотворение» («Воспоминания» А. И. Подолинского. — РА, 1872, вып. 3-4, стлб. 859). А. П. Керн датирует пушкинскую запись 19 октября 1828 г. (см. ее «Воспоминания», Л., 1929, с. 277—279).

214. Там же, с. 148. Печ. по изд. 1860, ч. 1, с. 228. Вошло в изд. 1837, ч. 2. А. П. Керн сообщает, что последние шесть строк этого стихотворения «особенно нравились» Пушкину (см. ее «Воспоминания», Л., 1929, с. 277—279). В ее мемуарах текст окончания соответствует публикации «Подснежника», где предпоследний ст. читался: «Звезды златой, звезды прекрасной». Как и предыдущее стихотворение, вероятно, посвящено Керн. Датируется временем знакомства с ней и датой первой публикации.

215. Там же, с. 122. Печ. по изд. 1837, ч. 2, с. 114. Вошло в изд. 1860, ч. 1.

216. Там же, с. 114, под загл. «Волшебница», др. ред. Печ. по изд. 1860, ч. 1, с. 283. Вошло в изд. 1837, ч. 2.

217. «Северный Меркурий», 1830, 28 февраля, с. 104. Печ. по изд. 1837, ч. 2, с. 131. Вошло в изд. 1860, ч. 1. В письме к В. П. Боткину от 16—21 апреля 1840 г. Белинский цитирует ст. 17—20 «Безнадежности», передавая ими свое состояние духа (т. 11, с. 512).

218. РС, 1885, № 1, с. 116. Эпиграмма, написанная по поводу разрыва П. с А. А. Дельвигом, редактором-издателем ЛГ. Причиной обиды на Дельвига был уничтожающий разбор поэмы «Нищий», появившийся в ЛГ. Вспоминая об этой истории, П., между прочим, писал в своем мемуарном очерке: «Дружеская услуга такого рода не могла мне быть приятною; но главное дело не в ней, а единственно в том, что рецензия печаталась в дельвиговской «Литературной газете» в тот самый вечер, который, по обыкновению, я проводил у барона и в который он был со мною, по обыкновению же, дружелюбен, не упомянув, однако же, ни слова о приготовленной на меня грозе» (РА, 1872, вып. 3-4, стлб. 865). И далее: «Вот что собственно охладило меня к барону, рассеяв и мое заблуждение о приязни его ко мне. Но я не сказал ему ни слова; на рецензию, по моему обыкновению, не возражал, а только перестал у него бывать. Впоследствии Дельвиг сказал, что он был не прав, потому что, спустя несколько месяцев, встретив меня на улице, первый подал мне руку» (там же). *Не для большого ты числа* и т. д. В заметке Пушкина для ЛГ (от 11 января 1830) было сказано, что ЛГ «у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских и московских журналов» (Пушкин, т. 11, с. 89). Это заяв-

ление подало повод к насмешкам Ф. В. Булгарина в СО и СА (1830, № 16, с. 244—246).

219. «Одесский альманах», Одесса, 1831, с. 239, с подзаг. «Ю. И. Познанскому, в ответ на его перевод сонета Мицкевича „К Лауре“», изд. 1837, ч. 2, с цензурным пропуском имени Мицкевича. Печ. по изд. 1860, ч. 1, с. 268. Ю. И. *Познанский* (1801—1878) — знакомый П., поэт, переводчик Мицкевича. Имеющийся в виду его перевод сонета Мицкевича «Do Laury» был напечатан в ЛПРИ, 1832, 17 февраля, с. 110. П. встречался с Мицкевичем на вечерах у Дельвига (см.: РА, 1872, вып. 3-4, стлб. 859—860).

220. Альм. «Альциона», СПб., 1832, с. 18 (ц. р. 20 ноября 1831). Вошло в изд. 1837, ч. 2, и изд. 1860, ч. 1.

221. БдЧ, 1836, № 9, с. 5. Печ. по изд. 1860, ч. 1, с. 161, с исправлением ст. 162 по журнальной публикации. Вошло в изд. 1837, ч. 2. *Жизнь верна и за могилой* — вариация ст. из «Певца во стане русских воинов» Жуковского («Твоя и за могилой»).

222. Изд. 1837, ч. 2, с. 87. Печ. по изд. 1860, ч. 1, с. 209.

223. БдЧ, 1837, № 3, с. 1, с вариантами, без авторских примечаний; «Смерть Пери». Сочинение А. Подолинского, СПб., 1837, с другими вариантами. Печ. по изд. 1860, ч. 2, с. 1. В первой публикации некоторые разночтения следует отнести за счет постороннего вмешательства. Так, например, героиня поэмы была переименована в Джемилу; в ст. 98 вместо «с ближней пирамиды» было с «Джизской пирамиды»; в ст. 673 вместо «окрестных диких скал» — «Ливийских диких скал» и т. д. Подобные поправки, преследовавшие цель сгустить восточный колорит, по-видимому принадлежали редактору БдЧ О. И. Сенковскому. Редакторский произвол Сенковского не был секретом для современников. Об этом писал Гоголь в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах» (см.: ПСС, т. 8, М., 1952, с. 162). В краткой рецензии на отд. изд. «Смерти Пери» Сенковский как бы оправдывался перед автором: «Новое издание весьма исправно: в тексте, напечатанном в Б. для Ч., вкралось, к сожалению нашему, несколько важных ошибок от недосмотра корректоров, и мы советуем любителям поэзии г. Подолинского читать его «Смерть Пери» в этой красивой книжечке» (БдЧ, 1837, № 5, с. 41). Автограф — ГБЛ, с пометой на заглавном листе: «Киев. 10 апреля 1834 — 21 марта 1836. Одесса». Редакционное вмешательство в текст поэмы доказывается этим автографом. «Мысль к этой поэме подала «Смерть ангела» Жан-Поль Рихтера, — писал П. — Содержание же у меня совсем другое, и хотя Пери могла быть заменена ангелом, но благодаря цензуре, я вынужден был обратиться к восточным поверьям и перенесть действие на Восток, всегда, впрочем, увлекавший мое воображение» (РС, 1885, № 1, с. 82). Использованию христианской мифологии в поэме более всего препятствовала ее мысль о том, что подлинное сострадание к человеку, подкрепленное добродетелью, может не совпадать с волей миродержавного промысла. «Смерть ангела» — фантастическая новелла немец-

кого романтика И.-П. Рихтера (1763—1825), выступавшего под псевдонимом Жан-Поль. Сжатый пересказ ее был опубликован в Тел., 1835, ч. 29 (ц. р. 1 мая 1836), с. 352—359. В примеч. 8 к поэме П. имеет в виду миф о гибели Геракла; на тему этого мифа написано стихотворение А. Шенье, переведенное Пушкиным («Покров, упитанный язвительною кровью. . .»).

Гл. 5. *Мемнон* — название двух гигантских статуй Древнего Египта, носящих имя мифического героя; одна из них славилась тем, что издавала звуки при первых лучах утреннего солнца. *Мерид* — озеро в Древнем Египте, считалось одним из чудес света.

224. РС, 1885, № 1, с. 116. Эпиграмма на О. И. Сенковского, напечатавшего поэму «Смерть Пери» с поправками (см. предыдущее примеч.). Этот же инцидент вызвал вторую эпиграмму П. на Сенковского («Под указкой школьных правил. . .») (см. ее там же). *С его дороги своротил.* Поэт действительно прекратил печататься в БдЧ.

225. Изд. 1860, ч. 2, с. 172.

226. «Одесский альманах», Одесса, 1839, с. 99, под загл. «Мелодия» и с вариантами. Печ. по изд. 1860, ч. 2, с. 116.

227. УЗ на 1840, с. 225, под загл. «Памятник Петра Великого в Санкт-Петербурге». Печ. по изд. 1860, ч. 2, с. 141.

228. Изд. 1860, ч. 2, с. 188.

229. Альм. «Киевлянин», Киев, 1841, с. 325. Вошло в изд. 1860, ч. 2. Перенесение праха Наполеона с острова Св. Елены в Париж в ноябре 1840 г., получившее широкий резонанс в Европе, вызвало целый поток стихов и в русской печати. В ряду этих откликов (наиболее известны «Последнее новоселье» Лермонтова; «На перенесение Наполеонова праха», «7 ноября» и «Еще об нем» А. С. Хомякова) находится и «Звезда» П.

230. Изд. 1860, ч. 2, с. 242. Этим стихотворением заканчивалось изд. 1860.

231. РС, 1886, № 2, с. 515, в статье Д. Ф. Миллера «Памяти А. И. Подолинского». Приведено, вероятно, с пропуском строфы, обозначенной строкой точек.

К. А. БАХТУРИН

Единственный сборник стихотворных произведений, который удалось издать Б., вышел в Петербурге в 1837 г. (ц. р. 12 сентября 1836). На титуле его значится: «Часть 1». Часть 2-я в печать не поступала. Кроме того, отдельным изданием вышли: «Вступление на престол князя Александра Тверского. Историческая повесть

в стихах» (М., 1833), «Козьма Рощин, рязанский разбойник». Драма в трех действиях, в стихах (‹СПб., 1839›) и «Санктпетербургская мелочная лавка». Картина из народного быта в одном действии, с куплетами (СПб., 1841).

232. Изд. 1837, с. 5, в качестве предисловия к книге.

233. Там же, с. 19. *Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.) — римский политический деятель, один из вождей республиканцев, вступивших в заговор против диктатуры Кая Юлия Цезаря (100—44 до н. э.). *Камилл* Марк Фурий (ок. 447—365 до н. э.) — полководец и государственный деятель Древнего Рима; за военные и гражданские заслуги ему был присвоен почетный титул «Второго основателя Рима». *Гордый человек шагнул за Рубикон.* Рубикон — река, некогда служившая границей между Италией и Цизальпинской Галлией — римской провинцией. Переход этой реки армией Цезаря в 49 г. до н. э. знаменовал начало гражданской войны, закончившейся падением республики и установлением единовластия Цезаря. *Властолюбец пал.* В 44 г. до н. э. Цезарь был убит заговорщиками с Брутом и Кассием во главе. Это ненадолго восстановило республиканские порядки в Риме. *Ромул* — легендарный основатель Рима. Марк *Антоний* (ок. 83—30 до н. э.) и *Лепид* Марк Эмилий (ок. 83—13 до н. э.) — римские полководцы и политические деятели, цезарианцы. В 43 г. до н. э. вместе с Октавианом составили триумвират, направленный против Брута и Кассия. В 42 г. до н. э. в сражении при Филиппах *(Филиппополь)* армия триумвиров нанесла поражение войскам Брута и Кассия.

234—235. Там же, с. 39, 114.

236. Там же, с. 133. Стихотворение стало популярным «мещанским романсом».

237. Там же, с. 155.

238. «Козьма Рощин», с. 19. Издание представляет собой приложение к журналу «Репертуар русского театра» за 1839 г. На титуле пьесы обозначено: «Сюжет заимствован из известного прозаического рассказа М. Н. Загоскина. Первый раз представлена в Александринском театре в 1836 г.» Повесть Загоскина была напечатана в 1836 г. в БдЧ.

239. М. Глинка, Ария с хором для драмы «Золото и кинжал», Л.—М., 1947. Рукопись пьесы — в библиотеке театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Ленинград). С. Л. Гинзбург, разыскавший музыкальный текст Глинки к драме Б. и опубликовавший его вместе со стихами поэта, сообщает, что партитура композитора датирована 11 марта 1836 г. Премьера пьесы состоялась 8 апреля 1836 г. на сцене Александринского театра. Через шесть дней она была повторена, но без музыкального сопровождения. Восьмистишия пелись в сольном исполнении Анны Воробьевой, четверостишия — в хоровом.

240. Н. П. Макаров, Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь, ч. 1, СПб., 1881, с. 155. Свое знакомство с Бахтуриным автор мемуаров относит к 1836 г. Вскоре, вероятно, и было написано приведенное Макаровым стихотворение. О происхождении его мемуарист рассказывает следующее: «Возвращаюсь раз с учения в лагерь. Бахтурин спит на диване. На столе штоф водки, опорожненный на две трети. При входе моем в палатку поэт зашевелился, открыл пьяные глаза... — Макаров! Давай мне перо и бумагу. — На что? — Напишу тебе. — Спи лучше; где тебе писать? Не только рукой, но и языком-то ты насилу ворочаешь. — Давай, говорят тебе, давай: напишу. — Нечего делать: подаю требуемое. Уселся Бахтурин на диване, схватил перо и, едва успевая сохранять равновесие, моргая заспанными глазами, написал твердым и правильным почерком, без малейшего надумывания, словно писал выученное на память; написал прелестную импровизацию» (там же, с. 155—156).

241. «Хрестоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образцах». Сост. Н. В. Гербель, СПб., 1873, с. 630, с подзаг. «Пародия на балладу Жуковского „Смальгольмский барон“», с рядом разночтений (фамилия Тимофеева обозначена буквами: Т......в). В публикации Гербеля ощутимы следы литературного приглаживания текста. Печ. по списку ПД, принадлежавшему Ф. А. Кони — писателю, хорошо знавшему Б. и, очевидно, получившему копию из первых рук. Другой список ПД — из архива PC. «Барон Брамбеус» — сатира на О. И. Сенковского, пародийно использующая балладу Жуковского «Замок Смальгольм». *Барон Брамбеус* — псевдоним Осипа Ивановича Сенковского (1800—1858), ориентолога, писателя-беллетриста, в течение 1834—1856 гг. редактора первого в России коммерческого журнала БдЧ. Сенковский упорно высмеивал употребление в литературе архаических слов «сей» и «оный», считая их принадлежностью «приказного стиля»; вместо них он широко использовал слова разговорного языка «тот» и «этот». В 1839 г. в Петербурге был анонимно издан одноактный водевиль «Сей и оный», в котором также был выведен Сенковский. Существует мнение, что автор его — Б. Между тем ему принадлежали, видимо, только отдельные куплеты. В СПч (1839, 11 июля, с. 607) в рецензии Ф. ⟨Ко⟩ни на водевиль было указано, что он сочинен «целою компаниею». «Лучшие куплеты принадлежат драматическому писателю, который, кроме того, известен по весьма удачной пародии на „Смальгольмского барона“». Это указание, а также намеки на конкретные литературные факты позволяют довольно точно датировать сатиру Б. Возможно, поводом к ее написанию послужила разгромная рецензия Сенковского на сборник Б. 1837 г. (БдЧ, 1837, № 9). В ГПБ хранится письмо О. И. Сенковского к жене, в котором говорится об этом водевиле. *Прац* Э. — владелец типографии в Петербурге. *Греч* Н. И. (1787—1867) — журналист, писатель, филолог, соредактор Ф. В. Булгарина по «Северной пчеле» и «Сыну отечества», с середины 20-х годов один из столпов казенно-охранительного направления. *Фантастический бес.* Черт был излюбленным персонажем повестей и фельетонов Сенковского, любившего разного рода мистификации; шумную известность стяжала его повесть «Большой выход у Сатаны» (альм. «Новоселье», СПб.,

1833). В рецензии на сб. «Сто русских литераторов» Сенковский, развивая созданную им легенду о Брамбеусе, писал: «Многие думают... что Брамбеус — черт» (БдЧ, 1839, № 4, с. 41). *Тимофеев* — см. с. 589. *Смирдин* А. Ф. (1795—1857) — книготорговец и издатель, владелец знаменитой книжной лавки в Петербурге на Невском проспекте. Успешно развернул свою деятельность в начале 30-х годов, затем стал терпеть большие убытки и в конце концов разорился. *Полевой* Н. А. (1796—1846) — журналист, критик и беллетрист, издатель МТ (1825—1834); в 1838 г. по соглашению с А. Ф. Смирдиным взял на себя редакцию СО, но вскоре отказался от нее. *И вникал в их преступную речь.* Вражда между Сенковским, с одной стороны, и Гречем, Полевым — с другой, вспыхнула после того, как Смирдин стал, наряду с БдЧ, с 1838 г. финансировать СО, перешедший в руки Полевого и Греча. Большой гонорар, выплачиваемый Смирдиным Сенковскому (15 000 рублей в год), вызвал зависть в среде литераторов «торгового направления». *Багадур* — Пюблик Султан Богодур, персонаж «Литературной летописи» библиографического отдела БдЧ, придуманный Сенковским в 1838 г. (БдЧ, № 2, с. 35—98) для оживления этого отдела. *Больница «Скорбящих»* — дом для умалишенных в предместье Петербурга. *Громобой* — герой одноименной баллады Жуковского (первой части поэмы «Двенадцать спящих дев»), грешник, продавший душу Асмодею (бесу) за земные блага.

242. «Санктпетербургская мелочная лавка», с. 22 (ц. р. 8 октября 1840). Печ. по «Пантеону русского и всех европейских театров», 1840, № 10, с. 37 (ц. р. 10 октября 1840), где опубликовано в качестве самостоятельного стихотворения. Сочувственный отзыв об этой пьесе Б. поместили ОЗ (1841, № 3, с. 13). Песня положена на музыку А. А. Гурилевым, Н. А. Титовым, Н. И. Бахметьевым, А. Стрелинским.

243. ИВ, 1889, № 6, с. 691, в очерке К. А. Бороздина «Из воспоминаний»; В. Г. Бенедиктов, Соч., т. 1, СПб., 1902, с. VII, в статье Я. П. Полонского «Биография В. Г. Бенедиктова»; «Русские пропилеи», т. 1, М., 1915, в очерке Н. М. Сатина «Из литературных воспоминаний». Печ. по ИВ, где текст наиболее исправный. Кто-то из приятелей Б., сообщает Бороздин, однажды завел в его присутствии разговор о том, что пьянство сулит большие неудобства в загробной жизни. «Б. во время всего длинного монолога приятеля молчал и сидел, понуря голову; но при заключительных словах вдруг как бы очнулся; физиономия его просветлела, показалась на ней улыбка, глаза заблистали. «Нет! голубчик, — скороговоркой ответил он приятелю, — на счет этого не беспокойся. Там-то будет мне отлично. Там вот что будет» (ИВ, 1889, № 6, с. 691). Далее Бороздин приводит автоэпиграмму Б. Дату этого и следующего стихотворения установить не удалось. *Ахерон* (греч. миф.) — река подземного царства. *Харон* (греч. миф.) — перевозчик теней умерших, переправлявший их через Ахерон на челноке.

244. ЛГ, 1845, 5 июля, с. 426.

Из стихотворных произведений С. только «Мироздание» и «Хеверь» были напечатаны отдельными изданиями (подробнее о них см. ниже в соответствующих примеч.). Особое место в литературном наследии поэта занимает книга «Рассказы сибиряка» (М., 1833, ц. р. 15 декабря 1832), текст которой наполовину стихотворный, наполовину прозаический.

245. А. И. Герцен, Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера, Лондон, 1854, с. 72, др. ред. (ст. 2: «В вечность отошел», ст. 4: «Брюхо распорол», ст. 8: «Константин-урод»); М. Лемке, Очерки жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей («Мир божий», 1906, № 2, с. 121), с цензурными пропусками букв в словах: «брюхо» («б. . .о») и «урод» («у. . .ъ»), с вариантом ст. 16: «Всевышний отец». Полностью — А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. 12, Пг., 1919, с. 324 (в составе комментариев М. Лемке), где ст. 16 приведен в сноске. Публикации Лемке восходят к копиям, приложенным к донесению жандармского полковника Н. П. Шубинского А. Х. Бенкендорфу от 11 июля 1834 г. (ЦГАОР, ф. III Отделения, дело «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи»). В копиях текст приведен дважды: первый раз в качестве продолжения песни «За трапезой царской. . .» (напечатана Лемке), с подстрочным примеч. к ст. 16 («Всевышний отец»): «а пели „Сукин сын подлец“»; второй раз — отдельно. Печ. по второй копии с учетом более острого варианта ст. 16 в первой копии. В июне 1834 г. камер-юнкер Н. А. Кашинцев узнал от «вольного механика» П. П. Скаретко о том, что несколько молодых людей поют в своем кругу песни, представляющие интерес для тайной полиции. Кашинцев донес о том полковнику Шубинскому. По заданию московского обер-полицмейстера Л. М. Цынского братья П. П. и И. П. Скаретко устроили на казенный счет 8 июля вечеринку с участием тех лиц, кто знал эти песни. Провокация вполне удалась, и несколько человек было арестовано на месте преступления (подробный рассказ об этом с некоторыми неточностями — в «Былом и думах» Герцена, ч. 2). Песня «Русский император. . .» была в тот же вечер, по требованию Цынского, записана певшим ее на вечеринке Л. К. Ибаевым. На следствии С. признался в следующем: «Я пел несколько строчек одной глупой песни, давно мною позабытой, вольного против правительства содержания. . . песню я узнал тотчас по выходе из корпуса в 1825 году, и как с того времени прошло почти десять лет, то я решительно не помню, кто мне ее передал» (ЦГА г. Москвы, ф. канцелярии московского обер-полицмейстера, дело «О лицах, состоящих под секретным надзором полиции», 1834—1837). Другой арестованный, Н. И. Уткин, утверждал, что «от бывшего университетского студента Полежаева, отданного в военную службу, слышал он и затвердил подобную песню» (ЦГАОР, ф. III Отделения). Отправляясь от этого показания, В. И. Безъязычный и В. П. Гурьянов в статье «Кто был автором песни «Русский император»?» («Вестник Московского университета», историко-филологическая серия, 1957, № 1, с. 179—184) приписали песню А. И. Полежаеву, указывая одновременно на то, что ни ее характер, ни стиль не находят никаких соответствий в стихотворном наследии С. Однако показания всех других арестованных сводятся к тому, что с песней

их познакомил С., которого они считали ее автором. В этом были уверены и Герцен, опубликовавший ее в 1854 г., и Огарев. Отказ С. признать себя автором криминальных стихов в его положении легко объясним. Наконец, стихотворное наследие поэта далеко не исчерпывается опытами библейской поэзии. «Русский император. . .» органически сочетается с другой — фривольной и нецензурной — отраслью его стихотворства (см. об этом биогр. справку, с. 366). Пример подобного сочинительства, с легким налетом религиозного кощунства, привел Н. М. Сатин («Из литературных воспоминаний». — «Русские пропилеи», т. 1, М., 1915, с. 198):

Сгрустнешь в тяжелой думочке,
Помолишься творцу, —
И снова лезешь к рюмочке,
И снова к огурцу.

При всем том вопрос об авторе песни не может считаться окончательно решенным. Не исключено, что она — плод коллективного творчества ряда лиц, в том числе С. Из материалов следствия видно, что С. чаще всего пел песню с Н. Киндяковым и Ибаевым. По признанию цирюльника П. Беляева, С. и Ибаев побуждали его выучить песню наизусть, при этом Ибаев подыгрывал на гитаре и подплясывал вместе с С. «Русский император. . .» — прямой отклик на период междуцарствия, что дает основания датировать песню 1825 г. *Ему оператор Брюхо начинил.* Ходили слухи о том, что труп Александра I преждевременно разложился из-за неудачного бальзамирования, которое было осуществлено в Таганроге. *Благословенный* — почетное наименование Александра I. *Грамотку вручил.* 16 августа 1823 г. Александр I составил секретный документ о престолонаследии, согласно которому его преемником на троне должен был стать Николай, а не старший по возрасту из братьев Константин, отказавшийся от своих прав на царствование. *Дал нам Николая.* Николай I был провозглашен императором 12 декабря 1825 г.

246. ЛПРИ, 1831, 23 сентября, с. 599.

247—248. Отд. изд., с. 16—19 и 125. Ход повествования в книге, состоящей из пяти рассказов и послесловия, направляется по двум тематическим руслам: легкая, шутливая болтовня автора с воображаемой возлюбленной по имени Катенька перемежается изложением начал буддийского вероучения Шакьямуни, местами довольно серьезным, местами сбивающимся на тон водевильного куплета. Н. А. Полевой, в сочувственной рецензии на «Рассказы сибиряка» подчеркнувший наличие в них сатирических мотивов, отметил, что форма книги не нова: «Еще во льдах классической поэзии Демутье и Эме-Мартен воспевали шутливым слогом предметы важные, серьезные: первый — мифологию, второй — физику... г. Соколовский также шутя описывает предмет чрезвычайно важный, веру Шиге-Муни; он так же обращается к даме, как и Демутье и Эме-Мартен, и сыплет мадригалы в стихах и прозе» (МТ, 1833, № 16, с. 434).

249—251. «Мироздание. Опыт духовного стихотворения», М., 1832, с. 10—19, 79—81, 115—124. Отрывки печ. по кн.: «Мироздание.

Стихотворение», СПб., 1837 (изд. 2), с. 8—18, 82—84, 121—131 (пространные эпиграфы к отдельным главам поэмы, почерпнутые из Ветхого завета, Евангелия и др. источников, не воспроизводятся). В этом издании имеются небольшие текстовые изменения (преимущественно в названиях глав) и отсутствует стихотворное посвящение под загл. «Ему». В 3-м, посмертном издании (СПб., 1867) в виде приложения были напечатаны стихотворения «Кто ты, господи?» и «Исповедь» (отрывки из поэмы «Альма»); эпилог поэмы был напечатан с пропуском ст. 29—37, вероятно цензурного происхождения; в некоторых местах текста появились разночтения, характер которых не нарушает норм авторского стиля. Не исключено, что в основу 3-го изд. был положен экземпляр поэмы с поправками С. Сочувственные рецензии на «Мироздание» появились в Тел., 1832, № 13, с. 108—115 (автор, видимо, Л. А. Якубович) и СПч, 1833, 10 марта, с. 217—219 (подпись: Б. Ф. — может быть, Б. Федоров). Скептически прозвучал отзыв Н. А. Полевого в МТ, 1832, № 23, с. 397. Второе изд. поэмы было встречено похвалами Ф. А. Кони в СПч, 1837, 19 июня, с. 557—560. Главы 2—8 «Мироздания» и эпилог представляют собой свободное переложение в стихи первой книги Ветхого завета «Бытие».

Из гл. 1. «Довременность». *Егова* — см. примеч. 103. Из гл. 7. «День шестый». *Саваоф* — имя бога в Библии.

252. Отд. изд., СПб., 1837, с. 214—244. Комендант Шлиссельбургской крепости А. Н. Заборинский в донесении А. Х. Бенкендорфу от 22 апреля 1835 г. сообщал, что вновь прибывший арестант С. попросил дозволения привести в порядок бумаги с текстом поэмы «Эсфирь». Разрешение было получено, и поэт продолжил работу над произведением. Сетуя на придирки цензуры, С. 25 марта 1839 г. писал чиновнику III Отделения Г. С. Попову: «В бытность мою в Петербурге ⟨т. е. в 1837 г.⟩, я подал в светскую цензуру поэму «Эсфирь». Комитет этой цензуры препроводил рукопись в цензуру духовную... Последняя продержала ее несколько месяцев и запретила... Я назвал «Эсфирь» «Хеверью», и цензура светская, зная, что новое название не соблазнит мнительности духовных, пропустила книгу в три дня». Вообще же цензура, по признанию поэта, «старается видеть во всех моих произведениях двусмысленности и намеки, как у человека, находящегося под присмотром полиции» (ЦГАОР, ф. III Отделения, дело «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи»). В поэме С. немало существенных отступлений от библейской «Книги Эсфирь», что вынудило автора переименовать всех персонажей произведения и тем самым снять повод для представления его в духовную цензуру. На обороте шмуцтитула «Хевери» след. перечень персонажей под загл. «Действующие»:

«Ахшверус — царь персов и мидян.

Хеверь — молодая еврейка, дочь Аминабада, невеста царя и потом его супруга.

Дедан — царский друг и верховный сатрап.

Асадай — родственник и воспитатель Хевери, происходящий с нею из одного колена, известный под именем ее отца.

Рафим — молодой сатрап.

Г о ф а м — хранитель жен.
Д е л ь ф о н — старший евнух царицы.
Действие происходит в столице Персии.
Содержание поэмы изобретено подражательно».

Этим именам соответствуют следующие имена в Библии: Артаксеркс, Эсфирь, Аман, Мардохей, Рафим (Гофам и Дельфон — имена, не имеющие прямых аналогий). История Эсфири в сценическом воплощении — одна из первых пьес русского театра; она ставилась еще при царе Алексее под загл. «Артаксерксово действо». «Книга Эсфирь» в свое время послужила источником для драмы Расина «Эсфирь» (1689). Содержание предшествующих сцен «Хевери» вкратце таково. Царь Ахшверус избирает в супруги еврейку Хеверь, к которой незадолго до того воспылал страстью временщик Дедан. Взбешенный до ярости Дедан замышляет истребить всех соплеменников благочестивой Хевери. Указ от имени царя о поголовной казни евреев подготовлен, но Хеверь, вовремя извещенная о том через Рафима и Асадая, на свадебном пиршестве разоблачает злодея. Критик СПч (подпись под рецензией: Р. М. — по-видимому, псевдоним Ф. В. Булгарина) поставил С. в вину, что он «исказил готовый сюжет прибавлениями, длинными монологами, в которых развиваются разные мысли, не знакомые древним евреям и пущенные в ход в прошлом столетии» (СПч, 1837, 29 декабря, с. 1177—1178). В защиту С. выступил анонимный рецензент ЛПРИ (1838, 1 января, с. 7).

Я в л. 8. *Иаг* — Иегова, одно из имен бога в Ветхом завете. *Иуда* — здесь: еврейский народ. Я в л. 9. *Адон* — Адонаи, то есть господь. *И оный сон, которым наш Иаг...* Асадай говорит о вещем сне, который предсказал ему победу над лютым врагом (рассказ об этом сне — во 2-й части «Хевери»). *Симбол* — символ. *Сион* — здесь: царство иудеев, символ их родины.

253. «Одесский альманах на 1839 год», Одесса (ц. р. 31 декабря 1838), с. 523. Обращено к В. Д. Макшеевой, дочери вологодского помещика; в его имении поэт часто гостил. С. был безнадежно влюблен в Макшееву; он ревностно хлопотал о публикации ее стихов, которые, по его просьбе, печатались рядом с его собственными (в ЛПРИ 1837—1838 гг.). В «Одесском альманахе» стихотворение Макшеевой «Поэту», явно адресованное С., помещено вслед за его «Одой стремления (Из духовной поэмы «Алчба и жажда»)». Датируется по письмам С. к А. А. Краевскому 1837—1838 гг. (ГПБ), в которых речь идет о В. Д. Макшеевой. Вероятно, попало в «Одесский альманах» через Н. И. Надеждина, с которым С. встретился в январе 1838 г. в Вологде.

254. УЗ на 1839, с. 93. В письме от 14 июня 1838 г. С. просил А. А. Краевского передать свою поэму издателю УЗ В. А. Владиславлеву. В письме от 10 октября 1838 г. к тому же корреспонденту С. спрашивал: «Да скажи как другу, а не как знакомому литератору: истинно ли хороша и сочна ли ода на разрушение Вавилона» (ГПБ). В основе произведения — библейский текст: гл. 50—51 «Книги пророка Иеремии» и гл. 13—14 «Книги пророка Исайи». Поэма С. находится в одном ряду с теми произведениями русской гражданской

поэзии, в которых библейское предание о гибели Вавилона выражало мысль о неизбежном крахе деспотического государства (ср. «Оду на разрушение Вавилона» А. Ф. Мерзлякова, «Валтасар» А. И. Полежаева, «Падение Вавилона» В. Н. Григорьева — т. 1 наст. изд., с. 372). 1. *Персов и мидян князья.* Вавилон был захвачен в 538 г. до н. э. войсками персидского царя Кира; мидяне — ираноязычный народ, чье государство (Мидия) было завоевано персами в 550 г. до н. э. и в качестве сатрапии включено в их державу. 2. *Йегова* — см. примеч. 103. 4. *Чадородшая* — женщина, разрешающаяся от бремени. *Орион* — название созвездия. 5. *Офирский металл.* Офир — полулегендарная страна, упоминаемая в Библии; славилась добычей золота. 6. *Саваоф* — см. примеч. 249—251. 8. *Сжег Гоморру и Содом.* По Библии, города Содом и Гоморра были испепелены богом за то, что обитатели их погрязли в разврате. *Град халдеев* — Вавилон. 10. *Тогда господь Израилево бремя Низвергнет в прах,* т. е. бог освободит евреев от ига вавилонян. *И станет он Иакова беречь, И в милости помилует Иуду.* Иаков (Израиль) и Иуда — мифические родоначальники евреев. Их имена употреблялись для обозначения всего еврейского народа. 12. *Кедр Ливана* — см. примеч. 108. 14. *Взойду на небо, выше я.* Подразумевается так называемая Вавилонская башня, строители которой тщились достичь до небесных чертогов и сравняться с богом; бог покарал гордецов, смешал их языки и разрушил башню.

Н. М. САТИН

Кроме перевода шекспировской «Бури» (М., 1840), стихотворные произведения С. отдельными изданиями не выходили.

255. БдЧ, 1836, № 4, с. 230, подпись: С***. Датированный автограф — ПД. На допросе по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи», Герцен показал, что текст стихотворения был ему вручен автором (Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 21, М., 1961, с. 415). Т. А. Астракова свидетельствует, что в кругу знакомых С. его стихотворения, в особенности «Умирающий художник», «в то время читались с восторгом» (см.: Т. П. Пассек, Из дальних лет, т. 1, М., 1963, с. 272). До сих пор бытует ошибочное представление о том, что впервые «Умирающий художник» был напечатан в 1913 г. (см.: Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 21, с. 586).

256. БдЧ, 1835, № 9, с. 7, подпись: С***. За этой подписью в БдЧ 1835—1836 были опубликованы еще два стихотворения С. «Пери» и «Умирающий художник». Сопоставление «Поэта» с более поздним «Отрывком из подслушанного разговора» (см. № 262) не оставляет никаких сомнений в авторстве С. *Камоэнс* Л. (1524—1580) — португальский поэт, автор знаменитой в свое время поэмы «Лузиады».

257. РС, 1876, № 11, с. 560, в составе воспоминаний Т. П. Пассек. Автор мемуаров (отд. изд. — под загл. «Из дальних лет. Воспоминания», тт. 1—3, СПб., 1878—1879; новейшее издание: тт. 1—2,

М., 1963) — близкий друг Герцена и Огарева — приводит стихотворение С. среди извлечений из воспоминаний Т. А. Астраковой, посвященных аресту Герцена, Огарева и С. в 1834 г. Астракова узнала об этом чрез своего будущего мужа Н. И. Астракова — преподавателя математики, который давал уроки С. и горячо сочувствовал направлению герценовского кружка. В журнальной публикации мемуаров Пассек стихотворение помещено в гл. 27 («Дом Ивана Алексеевича Яковлева»), а в отд. изд. — в гл. 30 («Реклама»). Текст предваряется след. строками воспоминаний Астраковой: «Однажды Николай ⟨муж⟩ принес мне стихи С., написанные им к сестре, вот они. . .» (Т. П. Пассек, Из дальних лет, т. 2, с. 79). Стихотворение написано в заключении и обращено к сестре автора Анастасии Михайловне, по мужу Стравинской (ум. 1879).

258. Тел., 1836, ч. 34, с. 159, подпись: С. «Раскаяние поэта», как и опубликованные за той же подписью в Тел. 1836 г. (ч. 33) стихотворения «Жаворонок» и «Два мгновения», были ошибочно приписаны П. В. Анненковым Н. В. Станкевичу (см. его очерк о Станкевиче в РВ, 1857, т. 7, с. 442—443). Позднее они были даже включены в изд.: Н. В. Станкевич, Стихотворения. Трагедия. Проза, М., 1890. Авторство С. бесспорно устанавливается на основании его писем, обнаруженных В. С. Нечаевой в ГБЛ (см. ее книгу: В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1836—1841, М., 1961, с. 356). Из воспоминаний Т. А. Астраковой, приведенных частично в мемуарах Т. П. Пассек, следует, что наряду с «Умирающим художником» в кругу знакомых С. и его друзей с восторгом было принято также стихотворение «Три подруги». См.: Т. П. Пассек, Из дальних лет. Воспоминания, т. 2, СПб., 1879, с. 317. В последнем изд. этой книги редакторы его, по-видимому, заподозрили ошибку в загл. «Три подруги», исправив его на «Три поры» (у. С. есть стихотворение и с таким загл.). Между тем Астракова под этим названием бесспорно имеет в виду «Раскаяние поэта» (см. начало фрагмента 14 из его первой части), которое ходило по рукам и обсуждалось друзьями автора по кружку. С. очень интересовался их мнением. 27 декабря 1835 г. Огарев писал Н. Х. Кетчеру в Москву: «Недавно также получил письмо от Сатина и стихи на преданность (résignation ***) довольно хорошие, но я думаю, ты их имеешь. . .» (Н. П. Огарев, Избр. социально-политические и философские произведения, т. 2, М., 1956, с. 274). Résignation — первоначальное, условное загл. произведения. О мнении Огарева узнаем также из письма С. к Кетчеру от 28 января 1836 г., которое приводится там на французском языке (ГБЛ): «Спасибо, спасибо за твою «Резиньяцию», я в ней вижу твою душу, как вижу в ней и свою; это нечто очень мне близкое. Вот пьеса, которую будут читать». В этом же письме С. цитирует и отзыв Н. М. Языкова: «Помните ли, что я говорил вам, что стихи ваши не довольно звучны и полны, что вы не стараетесь забрать в руки владение русским языком. Последняя ваша пьеса заставляет меня раскаяться в моем упреке, — она выше всех ваших произведений. Стихи ее полны и звуков и мыслей». Письмо к Кетчеру является ответом на его придирчивый отзыв, сообщенный им С. письменно в Симбирск. Оспаривая ряд упреков своего корреспондента, С. писал ему 28 января 1836 г.: «Перечти, пожалуйста, со вниманием эту пиесу, ей-ей, она

имеет достоинства, которые ты, может быть, в своем порыве не хотел или не успел заметить. Верь мне, что я гляжу глазами всевозможного беспристрастия на мое произведение, хорошо вижу его недостатки, но замечаю и его достоинства. Вот мое мнение: заглавие никуда не годится, но как перевести слово «résignation»? Конец 1-ой части очень, очень слаб — чувствую, но не могу переменить, оттого, что я не к у ю стихов, как ты говоришь, а пишу их под диктовку д у ш и. В доказательство посмотри мою черновую тетрадь, — она почти так же чиста, как и переписанная. Набора эпитетов по той же причине нет; есть, может быть, неверность и многоречие, но этого, сознаюсь, я сам не могу заметить, а желал бы, чтобы кто-нибудь указал мне на них. И верь: я первый буду моим обвинителем. Лучшие места в 1-ой части — это «Дева» и «Природа». 2-я ч. выдержана от начала до конца, и выдержана, как кажется, довольно сильно, есть счастливые мысли — это в о с т о к и плодовитое дерево, есть счастливые выражения — это слезы жалости дерева и проч. и проч. Замечание твое насчет Девы несправедливо потому только, что я смотрел с другой точки зрения, хотя я вполне понимаю и разделяю мысль твою. Юноша обвиняет людей в эгоизме; это чувство оттолкнуло его от общества, и он ограничил мир свой тремя подругами: в минуту самосозерцания он видит, что он сам эгоист, и чтобы отстранить от себя этого упрека, который ужасает его больше всего, он разрушает волшебный мир свой, отталкивает деву как причину своего эгоизма и идет возложить на рамена свои тяжесть креста. Он пока действует почти безотчетно, по одному влечению благородной, возвышенной души; смотри, как сначала колеблется он, видя, что страсти и чувства бушуют в груди его. Но вспыхнула мысль, и она летит, как ядро, вытолкнутое силою пороха из жерла пушки. Это — олицетворение самоотвержения. Но готов ли юноша, но юноша — поэт, а не философ; когда бы я хотел представить философа, я бы не упустил мысли, которую изложил ты в письме своем. Деву я не ограничиваю стороной физическою. Я хотел олицетворить в ней л ю б о в ь. Не это ли мир женщины, а разве тесен он до того времени, пока существует с е м е й с т в о? Юноша мой снова сойдется с женщиною, он пойдет с ней рука об руку, но не теперь, а когда поэзия его пересоздастся в философию, а теперь не обвиняй его: не он, а ливень эгоизма оттолкнуло деву». В след. письме к Кетчеру под загл. «Антикритика» (дата не указана) С. отвечает ему на второй «подробный разбор» произведения, который, подобно первому, до нас не дошел. «Большая часть твоих замечаний, — пишет С., — совершенно справедлива, но есть и ошибочные, а именно: в 1-ой строфе ты нашел противоречие, которого не существует... Первые 4 стиха выражают н а с т о я щ е е положение юноши: в уединении нашел он роскошную природу, и снова душа его породнилась с тишиной, спокойствием и счастием. Надолго ли это? Неизвестно, но мысль кончена в этих 4-х стихах, она полна! И ⟨знак⟩„—“ отделяет ее от следующего. Не мешай же отделенного в следующих 4-х стихах: «Среди людей с надеждой неизменной» и проч. Он говорит о своем п р о ш е д ш е м как будто бы для того, чтоб оправдать свое н а с т о я щ е е. 9-й и 10-й стихи: «Но хладный...» и проч. служат связью между этими 4-мя стихами и остальными 6-ю, переходом от п р о ш е д ш е г о к настоящему». Далее, ответив на мел-

кие привязки, С. продолжает: «С чего ты взял упрекать меня в самохвальстве? С чего ты взял, что мой юноша — я? Разве герой сочинения должен быть непременно сам сочинитель? Поверь, что я хорошо знаю свои недостатки, свои слабости и никак не ставлю себя... так высоко, как я хотел поставить моего юношу. Коли хочешь, этот юноша — я, но я идеальный, очищенный от всех недостатков, облеченный новыми достоинствами, след⟨овательно⟩, это «я» — совершенно новое, самобытное лицо — нисколько не смешается со мною настоящим. Зачем же обвинять меня в самохвальстве, когда я во всей пьесе о себе ни гу-гу. Конрад Байрона (в его «Морском разбойнике») есть сам Байрон, но Байрон — не Конрад! Все герои байроновских поэм — Байроны, однако Дон-Жуан — не Чайльд-Гарольд — не Конрад... и так далее. Байрон ясно указывает читателю, чтоб он не смешивал его настоящего с ним идеальным, и даже строфы, в которых он говорит о себе собственно, как бы отъял их от остальной части поэмы...»

Часть первая. *Туманной Англии поэт* — Байрон. Часть вторая. *Gieb mir das Weib so teuer deinem Herzen* и т. д. — цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Resignation» («Отречение»), очень популярного среди русских романтиков. *Но спас тебя Вергилия глагол.* «Божественная комедия» Данте начинается с того, что герой поэмы попадает в дремучий лес, где его подстерегают кровожадные звери. Вергилий (вернее, тень давным-давно умершего римского поэта) помогает ему избежать рокового конца и становится проводником спасенного по аду и чистилищу.

259. Печ. впервые по автографу ГБЛ.

260. ОЗ, 1840, № 6, с. 100. *De profundis* — католический заупокойный гимн.

261. ОЗ, 1841, № 5, с. 94.

262. ОЗ, 1841, № 6, с. 150. Эпиграф — из первой части «Фауста» Гете.

263. ОЗ, 1841, № 8, с. 189, с цензурной купюрой ст. 6. Печ. с восстановлением ст. 6 по изд.: «Почин. Сборник Общества любителей российской словесности на 1895 г.», М., 1895, с. 236, где опубликовано по рукописи, как не бывшее в печати, под загл. «Лермонтову». И. Н. Розанов в статье «Стихотворения русских поэтов о Лермонтове» (ЛН, № 45-46, М., 1948, с. 787) первой публикацией считал перепечатку текста ОЗ в кн.: «После Пушкина. Сборник стихотворений русских поэтов», М., 1890, с. 385. Ответ на стихотворение Лермонтова «Последнее новоселье», написанное по случаю торжественного перенесения праха Наполеона I с о. Святой Елены в Париж в ноябре 1840 г. На событие это откликнулось множество поэтов (см., например, «Звезду» Подолинского, № 229). Негодующие тирады Лермонтова, обращенные к французской нации («Ты жалкий и пустой народ» и проч.), вызвали недоумение у тех его почитателей, кто видел во Франции страну революционных традиций и родину социально-утопической мысли. В их числе был Белинский, в письме

которого к В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г. сказано: «Кстати: какую гадость написал Лермонтов о французах и Наполеоне — то ли дело Пушкина „Наполеон"» (Белинский, т. 12, с. 54). В письме к А. А. Краевскому из Москвы от 18—19 июля 1841 г., препровождая стихотворение С., критик заметил: «непременно поместите — иначе он может оскорбиться» (там же, с. 59). Написанное в тоне мягкого упрека, стихотворение С. взывало к сдержанности чувства и точности лирических высказываний — необходимого, с его точки зрения, условия гражданской поэзии.

264. «Русская мысль», 1890, № 10, с. 12, в публикации под загл. «Из переписки недавних деятелей (Материалы для истории русского общества)». Стихотворение было отослано при письме Огарева и С. к Герцену от 22 августа н. с. 1844 г. из Берлина. С. писал: «Посылаю вам стихи на смерть Е. Баратынского. Он умер в Неаполе в первых числах июля, и смерть его была нам чувствительна. В Париже мы сблизились с ним и полюбили всею душой: он имел много планов и умер, завещая нам привести их в исполнение. Если понравятся стихи, перешлите их Барону» (там же, с. 12). Барон — дружеская кличка Н. Х. Кетчера. При аресте С. в 1849 г. стихотворение было извлечено из его бумаг и приобщено к делу. На допросе чиновники III Отделения интересовались, кому посвящены стихи.

В. С. ПЕЧЕРИН

При жизни П. немногие его стихотворения были опубликованы в журналах и альманахах 1831—1838 гг. За период эмиграции в легальной русской печати появилось только одно стихотворение («Не погиб я средь крушенья...» в газете «День», 1865, 2 сентября). Наиболее интересное произведение — поэма «Pot-pourri...» — стала достоянием читателей благодаря предприимчивости Герцена и Огарева, раздобывших рукопись и дважды напечатавших ее в 1861 г. в изданиях Вольной русской типографии. Первым опытом обобщения стихотворного наследия П. явилась работа Е. Боброва «Литературная деятельность В. С. Печерина» (в его кн.: «Литература и просвещение в России в XIX в. Материалы, исследования и заметки», т. 4, Казань, 1902) и «Материалы для биографии В. С. Печерина» (в той же книге, т. 1, Казань, 1901). Более полно стихотворные тексты поэта представлены в монографии М. О. Гершензона «Жизнь В. С. Печерина» (М., 1910), построенной на обширном фактическом материале. Следует отметить, что два стихотворения, вошедшие в эту книгу, — «Черные очи» и «Прочь, о демон лучезарный...» — П. не принадлежат. Автор первого — В. Г. Бенедиктов; второе с неверной атрибуцией было напечатано еще в 1875 г. в РС (№ 7, с. 454). Опровержение этой атрибуции — в письме П. к. Ф. В. Чижову от 4 сентября 1875 г. (см. ЛН, № 62, М., 1965, с. 466). Из стихотворений П., сохранившихся в автографах ГБЛ (наиболее богатое собрание в архиве Ф. В. Чижова) и ЦГАЛИ, в настоящее время опубликовано около половины.

265. СО и СА, 1831, № 7, с. 423, с пропуском строфы 3 и перестановкой ст. 9—12, набранных после ст. 13—19. Печ. по СО и СА,

1831, № 13, с. 378. Вторая публикация в том же журнале, несомненно, была вызвана дефектностью первой. Автограф — ГБЛ, в письме к С. Ф. Пояркову. Перевод стихотворения Шиллера «Sehnsucht» («Томление»). 6 апреля 1831 г. переводчик писал своей кузине В. Ф. Печериной (Трегубовой): «„Желание лучшего мира", хотя это только перевод стихотворения Шиллера, вылилось у меня из глубины души» (РС, 1891, № 12, с. 617). Описывая позднее свою жизнь в Петербурге середины 20-х годов, П. вспоминал: «Одним моим утешением был географический атлас... Вот Франция, Бельгия, Швейцария, Англия!.. Сердце на крылах пламенного желания летело в эти блаженные страны, и Шиллерово «Sehnsucht» переливалось в русские стихи: „Ах, из сей долины тесной, Хладною покрытой мглой, Где найду исход чудесный, Сладкий где найду покой?"» (В. С. Печерин, Замогильные записки, М., 1932, с. 33).

266—271. Как переводчик древнегреческой антологии П. выступил в печати трижды: в НА на 1832 (шесть переводов под загл. «Из греческой анфологии»), в КБ (пятнадцать переводов под загл. «Из греческой антологии») и в Совр., 1838, т. 12, в статье «О греческой эпиграмме» (восемь переводов), опубликованной без подписи. Автор этой статьи — бесспорно П., так как в ней приведены его переводы предыдущих публикаций, большей частью в исправленном виде. Несколько оставшихся в рукописи переводов П. напечатал в своей книге М. О. Гершензон.

Точным переводам П. соответствуют след. древнегреческие оригиналы в *АР*: VII, 630 (Антифил Византийский); IX, 151 (Антипатр Сидонский); IX, 62 (Евен Аскалонский); IX, 294 (Антифил Византийский); XVI, 81 (Филипп Фессалоникский); XVI, 120 (Асклепиад).

1. НА на 1832, с. 257. Печ. по Совр., 1838, т. 12, с. 79. Переводу предшествуют след. строки: «Надгробные надписи весьма разнообразны по содержанию и по форме. Они или вообще дышат чувством глубокой скорби, или прославляют доблести умершего, выставляя их как образец для подражания живым, или, большею частию, заключают в себе важные, высокие поучения, которые делаются еще разительнее, когда влагаются в уста умершего: тогда они вещают к нам как таинственный голос из-за пределов гроба. Такова эпиграмма... на могиле мореходца, погибшего вблизи родной земли жертвою строгой Немезиды» (Совр., 1838, т. 12, с. 79).

2. КБ, с. 255, под загл. «Эпиграмма Антипатра» и с пояснением (вместо подзаг.): «Нереиды оплакивают разрушение Коринфа», с вариантами. Печ. по Совр., 1838, т. 12, с. 79. Переводу предшествуют след. строки: «Иногда эпиграмматический поэт в резких очерках изображает настоящий блеск какого-нибудь славного греческого города или сетует на развалинах минувшего величия. Так Нереиды оплакивают разрушение Коринфа в следующей эпиграмме Антипатра» (Совр., 1838, т. 12, с. 78—79). *Коринф* — древнегреческий полис, основанный приблизительно в IX в. до н. э. дорянами; славился своей архитектурой. В 146 г. был разрушен римлянами. *Океана бессмертные дщери* — нереиды (греч. миф.). *Алкиона* (греч. миф.) — супруга Кеикса; узнав о том, что он утонул, бросилась со скалы в море и превратилась в птицу.

3. Гершензон, с. 23. *Песни Гомера* — «Илиада». *Ахивяне* — ахейцы, т. е. греки вообще.

4. Совр., 1838, т. 12, с. 78. Перевод предваряется след. строками статьи П.: «Исторические воспоминания, имена героев и поэтов, особенно же отечественные предания о великих мужах, плод народного самолюбия, одушевляют часто эпиграмматического поэта. Таково предание о Ксерксе, почтившем драгоценною багряницею тело падшего за отечество Леонида» (Совр., 1838, т. 12, с. 78). По рукописи напечатано в книге М. О. Гершензона, с. 24. *Леонид* — царь Спарты (488—480 до н. э.) — отважный полководец; пал в битве при обороне Фермопильского ущелья, где немногочисленный отряд греков, предводительствуемый Леонидом, в 480 г. до н. э. сдержал натиск целой армии персидского царя *Ксеркса* (486—465 до н. э.). *Айдес* (греч. миф.) — Аид.

5. КБ, с. 258, под загл. «На статую Зевса Олимпийского». Печ. по Совр., 1838, т. 12, с. 77. Этому и следующим двум переводам в статье П. предшествует такое рассуждение: «Греция преисполнена была памятниками искусств всякого рода. На каждом почти шагу встречались великолепные храмы, изваяния богов и доблестных мужей отечества. Таково же обилие и надписей к изящным произведениям: поэты спорили с художниками... Иногда несколько надписей относится к одному и тому же славному произведению. Каждая из них имеет свою особенную точку зрения. Все же они вообще или заключают в себе тонкую похвалу искусству художника, или большею частию удачно схватывают тот момент, какой художник хотел выразить в своем произведении. Такова, например, следующая надпись» (Совр., 1838, т. 12, с. 76—77). Колоссальная статуя Зевса в его храме в Олимпии — знаменитое произведение *Фидия* (ум. 432 или 431 до н. э.); считалась одним из «семи чудес света».

6. КБ, с. 257, под загл. «Статуя Александра Великого», с вариантами. Печ. по Совр., 1838, т. 12, с. 77. См. предыдущее примеч. По рукописи напечатано в книге М. О. Гершензона, с. 24. *Лисипп* — древнегреческий скульптор (вторая пол. IV в. до н. э.), родом из Сикона; был придворным ваятелем Александра Македонского; им создано несколько скульптурных портретов царя.

272—276. Загл. «фантазии» часто встречается в автографах П. — применительно к стихотворениям, написанным в феврале — марте 1833 г. и связанным темой предстоящей заграничной командировки, состоявшейся в том же году. Кроме того, слово «фантазия», как об этом свидетельствуют автографы, — обозначение особого лирического жанра. Это стихотворение, внушенное реальным впечатлением или фактом, выполняющее роль свежей дневниковой записи и отнюдь не предназначавшееся для широкого оглашения. В бумагах П. эти своеобразные маргиналии, тяготеющие к циклическому строению, представлены в трех вариантах. Первый — наиболее пространный (ГБЛ, архив Ф. В. Чижова) — занимает почти всю довольно объемистую тетрадь стихотворений, где границы цикла обозначены не вполне отчетливо (крайние даты тетради: 9 февраля, Петербург — 8 апреля, Берлин). Два других варианта — сокращенные. Один из них под загл. «Фантазии» (ГБЛ) состоит из десяти стихотворений. В наст. изд. печ. самый краткий вариант цикла (ЦГАЛИ), известный по книге М. О. Гершензона, с. 34—36. Балы, о которых речь идет в первых трех стихотворениях, — «маленькие балики у чинов-

ников-немцев» (К. Ф. Германа и Ф. И. Буссэ), которые, по словам П., он «усердно посещал» вместе с друзьями по кружку А. В. Никитенко («Замогильные записки», М., 1932, с. 41). Во втором и третьем стихотворениях — обрывки беседы с воспитанницей Смольного института, которой П. был увлечен. В стихах он обычно воспевает ее под именем Софии (см. «Песнь Софии», № 278) или Эмилии («Письма к Эмилии», автограф — ГБЛ).

1. Два автографа — ГБЛ, без загл.

2. Два автографа — ГБЛ; в пространном варианте цикла — с разбивкой на два стихотворения: «Бал» (строфы 1—2) и «Разговор на бале» (строфы 3—5). Последняя строфа в измененном виде использована в отрывках из трагедии «Вольдемар» (см.: Гершензон, с. 68). *Александр Васильич* — Никитенко (1804—1877), друг П., впоследствии критик, профессор словесности. *Слух идет, что видели «Ричарда».* Трагедия Шекспира «Ричард III» была представлена на сцене петербургского Большого театра 29 января 1833 г. По свидетельству Никитенко, «наперечет восемь или девять человек во всем театре (который был полон) изъявляли восторг; все прочее многолюдие или безлюдие было глухо, немо, без рук: ни восклицания, ни рукоплескания! Зато наш Печерин возвратился домой с опухшими руками: он не жалел их для великого Шекспира» (А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, т. 1, М., 1955, с. 126—127).

3. Автограф — ГБЛ (краткий вариант цикла). *«Семейство Холмских»* — бытописательный исторический роман Д. Н. Бегичева (1786—1855), изданный в шести частях в 1832 г. *Хотите ли увидеть исполина* — Петра I.

4. Два автографа — ГБЛ. Речь идет об Институте благородных девиц.

5. Автограф — ГБЛ (пространный вариант цикла). Речь идет о программе, составленной для торжественного экзамена воспитанниц Смольного института.

277. Гершензон, с. 64, под загл. «Две сцены из трагедии «Вольдемар» (Действие происходит в Италии в XV столетии)», по датированному автографу ЦГАЛИ. Монолог Вольдемара и «Песнь Софии» (см. № 278) — фрагменты из этих сцен. Считать их принадлежностью более обширного драматического замысла нет оснований: содержание сцен противится такому предположению. Автограф «Вольдемара» был, как предполагает Гершензон, отправлен вместе с «Pot-pourri...» (№ 279) при письме от 9/21 декабря 1833 г. петербургским друзьям — членам кружка А. В. Никитенко. Монологом открывается первая сцена. Затем следует диалог героя и Sophie (Софи), написанный в прозе. Вольдемар сообщает ей о своем решении принести себя в жертву неслыханно дерзкому предприятию, цель которого — взорвать «ветхий мир». Перед разлукой Вольдемар и София обручаются друг с другом «союзом смерти».

278. Гершензон, с. 69. Из второй сцены «Вольдемара» (см. предыдущее примеч.). Поводом к созданию песни явились слова воспитанницы Смольного института о том, что она хотела бы умереть молодой. П. услышал их на балу 19 февраля 1833 г. Вскоре после

этого песня была написана П. и лишь позднее включена в «Вольдемара» (Гершензон, с. 37). *София* — см. примеч. к стих. «Бал» (№ 272).

279. «Полярная звезда», кн. 6, Лондон, 1861, с. 172; «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861, с. 308, тот же текст, но под загл. «Торжество смерти». Печ. по «Полярной звезде», с уточнением ст. 255 по МН (см. ниже). К фамилии автора, указанной под загл. в «Полярной звезде», сноска: «О Печерине — ниже в отрывках из „Былое и думы"». К слову «все» в ст. 421 второй части поэмы («Театр») в обоих изданиях примеч. публикатора — Герцена или Огарева: «В некоторых рукописях здесь поставлено собственное имя, но оно так мудрено, что мы не решились принять это чтение в свой текст». «Песнь умирающего поэта» и «Под стенами Сантарема...» дважды печатались как отдельные стихотворения в зарубежном сб. «Лютня» (Лейпциг, изд. 1869 и 1873). Часть «Песни о графине Турн» (ст. 230—265 поэмы) под загл. «Богемская баллада» была напечатана самим П. в его очерке «Отрывки из путешествий доктора Фуссгэнгера» (см. МН, 1835, декабрь, кн. 2, с. 356, подпись: П...). Конец «Песни» опущен, несомненно, по цензурным причинам. В своем очерке П. рассказывает, при каких обстоятельствах довелось ему познакомиться с легендой о графине Турн. Во время пребывания в бернской гостинице, сообщает он, однажды «отворилась дверь и вошла слепая старушка с арфою; ее вела за руку девушка лет восьми... Хозяин рассказал, что эта старушка — какая-то богемка, которая, бог знает какими судьбами, попала в Берн и живет несколько лет подаянием благодетельных граждан... Старушка приютилась в уголку, настроила кое-как свою арфу, заиграла жалобную мелодию и сипловатым голосом запела какую-то старую богемскую балладу, которая, говорят, основана на истинном происшествии. Содержание этой песни врезалось в моей памяти, и я постараюсь рассказать вам его в стихах». Приведя текст баллады, П. замечает: «Чем кончилась любовь графини и егеря, не помню» (с. 357). Вопреки этому рассказу, в авторском примеч. к «Балладе о графине Турн» (см. текст поэмы) утверждается, что историю графини Турн П. поведал «содержатель гостиницы в Течене». Это явное недоразумение — либо результат описки, либо постороннего вмешательства (Богемии П. не посещал). «Февральский праздник» (в подзаг. поэмы) — годовщина окончания университета, торжественно отмечавшаяся друзьями П. по кружку Никитенко 11 февраля. Эти праздники сопровождались чтением стихов членов кружка (М. П. Сорокина и П. в особенности). Подзаг. дает основание датировать поэму концом 1833 г., так как произведение пересылалось из-за границы с определенным запасом времени, чтобы поспеть к 11 февраля. «Я давным-давно послал вам пакетец со всяким стихотворным вздором — это не прямо для февральского праздника, а только относится к оному; это, как уже однажды сказано, не литературное произведение, а бюллетень о состоянии моего здоровья», — писал П. 12 марта 1834 г. в Петербург членам «святой пятницы», т. е. Никитенко и его друзьям (Гершензон, с. 95). По резонному предположению Гершензона, сцены из «Вольдемара» и поэму П. отправил ранее — при письме от 9/21 декабря 1833 г. (Гершензон, с. 64). В предисловии к «Русской потаенной литературе...» Огарев неизвестно почему утверждал, будто бы «поэма П. относится к 1837

или 38 году» (Избр. произв., т. 2, М., 1956, с. 491). Более поздняя датировка этого произведения позволила Е. Боброву (см. его кн.: «Литература и просвещение в России в XIX веке», т. 4, Казань, 1902, с. 37) заявить о том, что в «Pot-pourri. . .» П. подражал эсхатологической поэме А. В. Тимофеева «Последний день», впервые опубликованной лишь в октябре 1834 г. (БдЧ, № 10). Скорее всего, дело обстояло прямо противоположным образом: с «Pot-pourri» Тимофеева мог ознакомить тот же Никитенко, с которым он сблизился летом 1834 г. Этим можно объяснить некоторое сходство двух произведений, хотя, очевидно, у обоих был один общий источник — пушкинский «Пир во время чумы». В поэме П. имеются злободневные отклики на события гражданской войны в Португалии (см. об этом ниже), что вполне согласуется с датировкой концом 1833 г. Следует отметить, что Гершензон в своей более ранней работе — этюде о П. (вошел в его кн.: «История молодой России», М., 1908, с. 104) — поддержал точку зрения Е. Боброва, а в монографии о П. отказался от нее. Широкого хождения по рукам поэма не получила: «Рукопись, — писал Огарев, — не вышла из пределов тесного кружка друзей и не отозвалась в публике» (там же, с. 491). Вероятно, поэтому ни одной рукописи ее до нас не дошло. «Песню о русском юноше» под загл. «Сцена в Португалии под стенами Сантарема» сам автор процитировал в письме к старому товарищу по кружку Никитенко Ф. В. Чижову от 24 февраля 1873 г., а «Монолог умирающего поэта» — в письме к нему же от 16 февраля 1866 г. (оба письма — ГБЛ). В письме к Чижову от 26 сентября 1871 г. П. писал: «Так называемое «Торжество смерти» напечатано в «Полярной звезде» на 1861 с несколькими письмами между мной и Герценом. Она же напечатана и в «Русской потаенной литературе». Ее настоящий титул «Pot-pourri, или Чего хочешь, того просишь». Это было написано, если помнишь, для нашего февральского праздника в 1834 г.» (ГБЛ, ф. Ф. В. Чижова). 14 августа 1875 г. П. снова писал Чижову: «В 1861 Герцен напечатал «За синим за морем, в далекой земле» под заглавием «Торжество смерти» совсем без моего ведома, так что я узнал об этом только два года после. Когда при свидании со мною в 53 г. Герцен упомянул об этой пьесе, то я до такой степени об ней позабыл, что даже не мог понять, о чем он говорил. Да, кроме того, мне никогда и в голову не приходило, чтобы она когда-либо удостоилась печати» (ГБЛ, ф. Чижова). В очерке «Pater V. Petcherine», опубликованном в той же кн. 6 «Полярной звезды» и вошедшем в часть 7 «Былого и дум», Герцен рассказал о встрече с П., состоявшейся близ Лондона в 1853 г. Желая заполучить рукопись поэмы, Герцен обратился к автору: «У меня были в руках в Петербурге несколько ваших стихотворений; в числе их есть трилогия «Поликрат Самосский», «Торжество смерти» и еще что-то; нет ли у вас их, или не можете ли вы мне их дать? — Как это вы вспомнили такой вздор? Это незрелые, ребяческие произведения иного времени и иного настроения. — Может, — заметил я, улыбаясь, — поэтому-то они мне и нравятся. — Да есть они у вас или нет? — Нет, где же! . . — И продиктовать не можете? — Нет, нет, совсем нет. — А если я их найду где-нибудь в России, печатать позволите? — Я, право, на эти ничтожные произведения смотрю, точно будто другой писал; мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления» (А. И. Герцен, Собр. соч.

в 30-ти томах, т. 11, М., 1957, с. 395). В августе 1855 г. в обращении к читателям «Пол. звезды» Герцен просил своих корреспондентов доставить ему списки нелегальных произведений, в том числе «Торжество смерти» и «Поликрата Самосского» (указ. изд., т. 12, с. 270). Е. Бобров указал, что в романе «Бесы» Достоевский дает довольно подробный пересказ ряда эпизодов поэмы П. (см.: Е. Бобров, указ. изд., с. 56). Время написания и обстоятельства ее появления в печати, о которых Достоевский, по всей видимости, узнал от Герцена при свидании с ним за границей в 1862 г., переданы в романе с большой достоверностью. Пересказ поэмы включен в «биографию» героя романа С. Т. Верховенского, в юности сочинившего либеральную фантасмагорию в стихах. Но в «поэме» Верховенского несколько эпизодов и деталей не имеют никакого соответствия с поэмой П. Учитывая это обстоятельство, а также слова Герцена: «трилогия «Поликрат Самосский», «Торжество смерти» и еще что-то», Гершензон построил эффектную гипотезу о том, что известный текст поэмы — часть не дошедшей до нас трилогии, с которой был знаком Достоевский. В «Бесах» содержание «поэмы» Верховенского передано следующим образом: «Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то неопределенном, большею частию о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения... Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее, наконец, достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей» (ч. 1, гл. 1). Как удалось установить, весь эпизод с «хором неживших душ» взят из стихотворения Е. П. Ростопчиной «Нежившая душа. Фантастическая оратория», датированного декабрем 1835 г. и вошедшего в т. 1 «Стихотворений» поэтессы (изд. 2, СПб., 1857, с. 153—161). «Хоры» всевозможных духов и говорящих стихий в изобилии представлены в мистериях А. В. Тимофеева «Последний день» (1834), «Жизнь и смерть» (1834) и «Елисавета Кульман» (1835). В последней подают голоса бабочка и песчинка (у Достоевского — «насекомое» и «минерал»). Эти мистерии вошли в т. 1 «Опытов» Тимофеева (СПб., 1837, с. 309—347, 111—143 и 169—255). В «поэме» Верховенского — бесспорно, сплавились мотивы и образы, почерпнутые из различных литературных источников. Что касается Герцена, то его ввели в заблуждение сложная фрагментарная композиция и рубрикация произведения, особен-

но невнятно выглядевшие, как это легко представить, в рукописи. В произведении действительно можно выделить три части: сцена праздника, театральное представление («Языческий Апокалипсис») и монолог автора, но это не «трилогия», а одно произведение. Первая и вторая часть, в свою очередь, состоят из песен и сцен. Так, вторая часть — «Театр» — содержит пролог, собственно спектакль, где Поликрат Самосский — имя персонажа, а не загл. (в рукописи заголовки и имена персонажей вряд ли четко дифференцировались), и интермедию «Торжество смерти». «Еще что-то», как выразился Герцен, — либо первая часть (пир друзей), либо же — «Песнь умирающего поэта». В поэме использовано распространенное поверье о том, что Петербург погибнет от наводнения. Ср. стихотворение М. А. Дмитриева «Подводный город» (№ 37). На эту же тему — анонимное стихотворение «И день настал, и истощилось...», приписывавшееся без достаточных оснований Лермонтову и А. И. Одоевскому. О теме наводнения в русской литературе см.: Е. А. Бобров, Мелочи из истории русской литературы... (РФВ, 1908, № 1—2, с. 282); Н. П. Анциферов, Душа Петербурга, Пг., 1922, с. 87—96. *Пряжа тонкая прядися* и т. д. По-видимому, этот текст восходит к народной песне, которую П., по его собственному признанию, слышал в десятилетнем возрасте от дворовых девушек в одном из глухих мест Черниговской губернии («Замогильные записки», М., 1932, с. 122). Под именем *Эмилии* (или Софии) П. в других стихотворениях (см. №№ 272—276 и 278) воспевал свою знакомую, воспитанницу Смольного института, к которой был неравнодушен (ей посвящены неопубликованные стихотворения «Письма к Эмилии» — ГБЛ). *Как с войском Дон Педро вошел в Лиссабон* и т. д. Отклик на гражданскую войну в Португалии, разгоревшуюся в 1832—1834 гг. В Лиссабон войска конституционалистов, предводительствуемые Доном Педру (1798—1834), вступили в июле 1833 г. Осада древней резиденции португальских королей г. *Сантарема*, где укрылись сторонники абсолютистской монархии во главе с узурпатором престола Мигелем Брагансским, длилась с ноября 1833 по 14 мая 1834 г. *Мария* да Глория (1819—1853) — королева Португалии; свергнутая малолетней с престола Мигелем Брагансским, была восстановлена в своих правах после окончания гражданской войны — в 1834 г. *Немезида* (греч. миф.) — богиня возмездия. *От гранитных берегов* — намек на гранитные берега Невы в Петербурге. *Пять померкших звезд* — пять казненных декабристов. *Звезды южных стран* — вероятно, декабристы Южного общества. *Эвмениды* (греч. миф.) — богини мщения, обитательницы Аида. *Поликрат Самосский* — тиран, правивший на о. Самос в VI в. до н. э. В поэзии его имя известно в связи с легендой о Поликратовом перстне, которой воспользовался Шиллер, а вслед за ним — Жуковский. *Багряница* — царская мантия. *Вся жизнь моя — одно желанье* и т. д. По поводу этих строк в 1869 г. П. в письме к Никитенко сказал: «Как хорошо я угадал. Заметьте: «набросанное на картон». Значит, не хватало духу или гения, чтоб окончить картину: так и остался бедный эскиз» (Гершензон, с. 209). Пропуск последнего стиха поэмы, обозначенный строкой точек, — прием, рассчитанный на догадливого читателя. Контекст и рифма подсказывают следующие слова: «Пронзит (или проткнет) тирана выю».

280. Гершензон, с. 189 и 133, в виде двух цитат, под загл. «Мечта юноши» (12 строф), по автографу ЦГАЛИ, с датой: «10 октября. Дублин», неточно. Печ. по кн.: В. С. Печерин, Замогильные записки, М., 1932, с. 19, где опубликовано по автографу ГБЛ (в письме к С. Ф. Пояркову от 13 октября 1865 г., дата: август 1864). Третий автограф — ЦГАЛИ (в письме к П. В. Долгорукову от 25 ноября 1864 г.); четвертый — ЦГАЛИ, под загл. «В Дублине» (пять строф, одна — новый текст), с датой: 1864. Первая строфа «Пробуждения» была сообщена автором Ф. В. Чижову в письме к нему еще 26 июня 1840 г. (см. Гершензон, с. 149). Эту строфу Чижов процитировал в письме к Никитенко от 18 ноября 1864 г. («Из архива А. В. Никитенко». — РС, 1904, № 10, с. 686). Комментируя «Пробуждение» в письме к Пояркову, П. заметил: «В этих стихах — целая программа. Все мечты и планы, с которыми я оставил Россию» («Замогильные записки», с. 19). *Лазарь* — персонаж евангельской легенды; мертвец, воскрешенный Иисусом. *Чудная звезда светила.* Этими словами П. выражал свое непреодолимое влечение к высокой миссии. 23 марта 1837 г. в ответ на письмо попечителя Московского учебного округа гр. С. Г. Строганова, обеспокоенного неявкой молодого профессора, П. писал: «Всякий вечер звезда, гораздо более блестящая, чем все прочие, останавливалась перед моим окном, насупротив моей кровати, и лучи ее ласкали мое лицо. Я вскоре догадался, что это та самая звезда, под которой я родился. Она была прекрасна, эта звезда! Ее блеск манил меня, призывал меня ей подчиниться» (Гершензон, с. 128). *Адамантовый* — алмазный. *Море Чермное* — Красное море. *Скиния* — см. примеч. 63.

К. П. МАСАЛЬСКИЙ

Стихотворные произведения М. представлены в печати следующими изданиями: «Сочинения, переводы и подражания в стихах» (СПб., 1831; ц. р. 4 ноября 1830; каждый из двух разделов этого сборника — «Сочинения» и «Переводы и подражания» — состоял из 16-ти стихотворений); «Басни» (СПб., 1851; два раздела — «Книга первая» и «Книга вторая», насчитывающие по 25 басен). Избранные произведения М.-поэта составили том 5 его «Сочинений» (СПб., 1844; ц. р. 5 мая 1842). Об отдельных изданиях повести «Модест Правдин, или Терпи казак — атаман будешь» и комедии «Классик и романтик» см. ниже в примечаниях.

281. Благ., 1823, № 19, с. 17, под загл. «Гераклит и Демокрит», вместе с баснями «Два колоса» и «Гора» за общей подписью: М. Загорский; НЛ, 1825, кн. 11, март, с. 153, под загл. «Демокрит и Гераклит», другая и более пространная редакция (27 строк) с примеч.: «Басня сия с некоторыми другими напечатана была в одном из журналов ошибкою под чужим именем и в необработанном виде. Соч.», с датой: 1821. Печ. по «Сочинениям, переводам и подражаниям в стихах», с. 26. Вошло в Соч., т. 5. *Гераклит* Эфесский (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист; античная традиция интерпретировала Гераклита как «вечно плачущего» философа, скептически взирающего на окружающий его быт и нравы людей. *Демо-*

крит (ок. 460—370 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист; оптимизм его воззрений создал ему еще в античные времена репутацию «смеющегося философа».

282. Гл. 2, под загл. «Картина Петергофа», с вариантами — СО и СА, 1829, № 48, с. 119, с датой: 1825. Гл. 2 и 3 — «Сочинения, переводы и подражания в стихах», с. 45, в составе «Отрывка из поэмы „Мщение ветерка"», в качестве 3—4 главок этого произведения, под заглавиями: «22 июля» и «Остановка в пути», с вариантами. Печ. по Соч., т. 5, с. 32.

1. *Калинкин мост* — мост через реку Фонтанку. *К воротам триумфальным* — к Нарвским воротам, воздвигнутым на окраине города в 1814 г. в честь победоносного окончания войны 1812 г. *Римлянин* — итальянец-шарманщик. *Теньер* — Д. Тенирс (1610—1690), популярный в Европе фламандский живописец, автор многочисленных картин, преимущественно на бытовые темы; имя Тенирса в России неправильно произносилось на французский манер.

2. *Самсон* — фонтан в Петергофе, украшен фигурой легендарного библейского героя, разрывающего пасть льва. *Царицы вензель* — очевидно, буквы: М. Ф., инициалы императрицы Марии Федоровны (1759—1828), супруги Павла I и матери Николая I. В предыдущих изданиях этот ст. читался: «И в небесах Марии вензель блещет» (22 июля — день именин Марии).

3. *Стрельна* — селение на пути из Петербурга в Петергоф.

283. Отд. изд., СПб., 1829, анонимно, с предисловием «От издателя» и с эпиграфом из Буало: «J'ai beau vous arrêter, ma remontrance est vaine, Allez, parter mes vers» («Сколько бы я ни останавливал вас, мое предостереженье тщетно, Идите, ступайте мои стихи»); изд. 2, исправленное, СПб., 1830; изд. 3, исправленное, с посвящением генерал-адъютанту Илариону Васильевичу Васильчикову, с другой ред. гл. 21 («Альманах»). Все три издания — под загл. «Терпи казак — атаман будешь» и с подзаг. «Стихотворная повесть». Печ. по Соч., ч. 5, с. 103—216. Повесть состоит из 52 главок; каждой из них присвоено особое наименование и порядковый номер. В наст. изд. публикуется 14 главок, представляющих некоторую сюжетную общность. Предисловие «От издателя» в первом изд. гласило: «Сочинитель сей повести желает остаться неизвестным. Издатель оной долгом поставляет поручиться честию перед почтеннейшими читателями, что в сем сочинении нет ни одной строки, заключающей в себе какую-нибудь личность. Места повести, означенные звездочками, содержат в себе выражения или мысли некоторых из отличнейших писателей наших. Впрочем, все сии немногие места, как увидят читатели, нельзя назвать подражанием, ибо они писаны с тем намерением, чтобы напомнить о произведениях, составляющих славу русской словесности. Места сии, вероятно, будут приятны для всякого любителя отечественной литературы. Издатель более ничего не хочет и не смеет сказать о повести, ибо право литературного суда принадлежит просвещенной публике». Первое изд. повести вызвало двусмысленный отзыв О. М. Сомова в его «Обозрении российской словесности за первую половину 1829 года». «Повесть сия, — писал он, — служит новым доказательством, как трудно *поэтически* изображать происшествия и

подробности жизни *прозаической*. Этот род стихотворных романов требует дарования необыкновенного и разнообразного: иначе роман будет холоден, а описанные в нем подробности житейского быта незанимательны и даже скучны, хотя бы они были рассказаны в самых гладких стихах и самым естественным, разговорным слогом. За сочинителя повести «Терпи казак» говорит по крайней мере то, что он не подражал никому из современных поэтов и пытался создать новый, оригинальный род стихотворного романа; такая попытка, конечно, заслуживает похвалу» (СЦ на 1830, с. 73—74). Рекламный апологетический характер носила краткая рецензия СПч (1830, 27 февраля, с. 1, подпись: N. N.). На второе изд. повести последовал резко отрицательный отзыв П. А. Вяземского в ЛГ (1830, 25 июня, с. 292—293). Авторство Вяземского доказывается его пометкой в «Записной книжке» от 22 июня 1830 (см.: П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 9, СПб., 1884, с. 122). Вяземский начал свой разбор с упрека М. в том, что тот соблазнился «мнимой легкостью, с которою написан «Евгений Онегин», и захотел попользоваться славою, которая достается шутя... Хорошо близоруким критикам «Северной пчелы» полагать, что песни «Евгения Онегина» безделка, потому что... в них описываются простые события ежедневной жизни; но автору разбираемой нами повести... грешно было поверить критикам этим на слово и взяться не за свое дело». В результате из-под пера М. вышло «не что иное, как «Иван Выжигин» в стихах». В «Письме к издателям» СО и СА (1830, № 28, с. 104—105) М. пытался разбить логику суждений Вяземского ссылками на хронологию фактов. Статья СПч, которую имел в виду Вяземский, появилась в №№ 35 и 39 газеты за 1830 г., тогда как повесть вышла из печати в первой половине 1829 г., а писалась она, по уверению М., в 1828 г., т. е. до публикации булгаринского романа «Иван Выжигин». Однако суть дела заключалась не в хронологических выкладках, а в литературной ориентации М. Уязвленный отзывом Вяземского, М. задел его в третьем издании своей повести в гл. «Альманах»:

Я помню именно: какой-то журналист
(Таких, по счастию, немного!)
Бранил писателей за приторность их слога;
В нем пятна он считал за настоящий клад,
И прямо говорил, что был бы очень рад
Хоть пятнышко в их слоге встретить,
Чтоб в них стрелу свою журнальную наметить.
Он, беспристрастие душою всей любя,
Хвалил приятелей и одного себя.

Своеобразными ссылками на популярные комедии являются фамилии персонажей М., например: Правдин («Недоросль» Фонвизина и «Неслыханное диво, или Честный секретарь» Н. Р. Судовщикова); Вральман («Недоросль»); Прямиков («Ябеда» В. В. Капниста, «Воспитание, или Вот приданое» Ф. Ф. Кокошкина и назв. пьеса Судовщикова); Мошнин («Господин Богатонов, или Провинциал в столице» М. Н. Загоскина и его же «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»). «Купец Мошнин» — название стихотворной новеллы А. Е. Измайлова. Использование в загл. повести пословицы — одна из типичных особенностей русского комедийного репертуара.

Советник. *Елагинский дворец* — выдающийся памятник архитектуры, сооруженный в 1818—1822 гг. по проекту К. И. Росси в окрестностях старого Петербурга, на живописном Елагином острове. *Блонда* — кружево. *Фризовая шинель* — шинель из грубой ворсистой ткани. *Кадеты* — воспитанники Петербургского кадетского корпуса, старейшего военно-учебного заведения. *Два чудака* — Правдин и, как следует из гл. 19 («Опасность критики»), его приятель, журналист Резнов. *Спешат они достигнуть Колтовской.* Согласно гл. 2 («Дача»), дом Правдина был «на Невском берегу близ Ждановки смиренной». Путь к этому месту от Елагина острова шел через Колтовскую набережную. *Советником в Палате уголовной.* Советником уголовного суда обычно состоял чиновник 6-го класса, т. е. коллежский советник. Туз. *Анахорет* — отшельник. *Уголок загнуть* — назначить ставку, равную четверти предыдущей; при объявлении ее загибался угол карты. Свидание. *Пробило шесть часов на шпице крепостном.* Имеются в виду куранты на шпиле собора Петропавловской крепости. *Я знаю всё, мне всё пересказали.* В предыдущей гл. 5 («Кофейный дом») рассказывалось о том, как Правдин, завернувший в кофейню, случайно узнал из разговора двух гусар об отчаянном положении Мечинского, проигравшего все состояние. Осень. *Крестовский, Каменный, Елагин* — острова, территория которых в первой половине XIX в. являлась дачным районом Петербурга; *Строганова сад* — парк на правом берегу Большой Невки против Каменного острова. *Карповка* и *Черная речка* — мелкие речки, соединяющиеся с рукавами устья Невы. *Жены его, Sophie* и т. д. Софья — недавняя возлюбленная Мечинского, отдавшая свою руку Острякову. *Экосез* — шотландский танец, популярный в начале XIX в. *Андрей Ильич Правдин* — дядя Модеста Правдина, заменивший ему отца. *Котильон* — бальный танец, состоявший из нескольких самостоятельных танцев (вальса, мазурки, польки и пр.). *Со всеми грасами* — с изящными манерами. Горестная весть. *Змеянову сказал* и т. д. Чтобы вернуть долг Правдину, Мечинский решился просить денег у богатого дядюшки Змеянова, некогда присвоившего себе его наследство. Выговор. *Поздравь меня, — я под судом.* Правдин был отставлен от службы вследствие поступивших на него клеветнических доносов. Наиболее опасным был донос Бесстыдина, чиновника, отданного под суд за темные махинации. Донос получил ход вследствие происков Хитрецкого, соперника Правдина, домогавшегося руки Надежды и проигравшего ему большую сумму денег на вечере у Богатонова. Допросы. *Что против этого мне скажете доноса?* Второй донос, как явствует из гл. 27 («Ходатайство»), состряпал барон-самозванец Ренар, поссорившийся с Правдиным в доме Богатонова. *И член триумвирата.* Под «триумвиратом» подразумеваются Правдин, Богатонов и Ренар, между которыми произошел неприятный разговор, описанный в гл. 27. *Что вам сказал тогда я об окладе?* В гл. 27 Богатонов сообщает Правдину, что им заказан дорогой оклад (серебряная или золотая риза для иконы); на это Правдин в присутствии Ренара заметил, что истинная вера проявляется в добрых делах. Реплика эта и подала повод к доносу. Новая беда. *Квартальный* — квартальный надзиратель, полицейский чиновник, обычно возглавлявший низшую полицейскую инстанцию в городах — квартал. Последние

с р е д с т в а. *Сходен был с известным огурцом, Который в Риме рос.* Намек на басню Крылова «Лжец». *Груздь был любимейший прозаик и поэт.* Речь идет о литературных предприятиях Правдина, начатых им в пору служебных неурядиц совместно с журналистом Резновым, приятелем героя по университету; Груздь — псевдоним Правдина. *Как на Данаю дождь.* Даная (греч. миф.) — девушка, заточенная в подземелье, к которой проник Зевс в виде золотого дождя и от которого она родила сына. У г о щ е н и е. *Персидский пробовал кальян.* Пристрастие к восточной утвари в доме Мечинского объясняется тем, что он был участником русско-персидской войны 1826—1827 гг., в которой отличился как храбрый офицер.

284. СО и СА, 1830, № 3, с. 184. Печ. по «Сочинениям, переводам и подражаниям в стихах», с. 29. Вошло в Соч., т. 5.

285. Отд. изд., под загл. «Классик и романтик, или Не в том сила. Комедия в одном действии в стихах. Сочинение Константина Масальского», СПб., 1830, публикуемый отрывок — на с. 15—22. Печ. по Соч., т. 5, с. 69—75. В первом изд. — посвящение С. С. Уварову. Вскоре после издания комедии разнесся слух, будто в ней выведен А. А. Дельвиг. В «Письме к издателям» (СО и СА, 1830, № 28, с. 108), являющемся полемическим ответом на рецензию П. А. Вяземского (см. о ней примеч. № 283), М. поспешил опровергнуть этот слух, заявив, что в его комедии «все лица вымышленные». Комедия вызвала неодобрительную рецензию МТ (1830, № 13, с. 81—84) и уничтожающий отзыв Дельвига в ЛГ (1830, 30 июля, с. 138—139). «Г-н Масальский, — утверждал Дельвиг, — не захотел воспользоваться тем, что ему само ложилось под перо. Происшествие комедии его ни на что не похоже: не наблюдение и опытность помогли ему созидать характеры, нет! Он сам объявляет в № 28 «Сына отечества», что в комедии его все лица вымышленные, и тем еще хвалится. Вот почему герои его более созданы для жительства в желтом доме, чем для какой-либо сцены» (А. А. Дельвиг, Соч., СПб., 1893, с. 138—139). Сюжет комедии вкратце таков. К молодой девушке Ольге сватается офицер Линский, которого она предпочитает двум другим женихам — писателям Кремневу (классику) и Темнилину (романтику). Но ее дядюшка и воспитатель Седов навязывает ей в мужья Кремнева, симпатизируя ему как литературному единомышленнику. Влюбленные прибегают к хитрости. Ольга притворно соглашается выйти за Кремнева с условием, «чтоб вы романтиком тотчас же стали, чтоб лорда Байрона всей силой защищали». В то время как Кремнев преображается в романтика, Линский под угрозой дуэли вынуждает Темнилина перекреститься в классика. Убедившись в беспринципности писателей-женихов, Седов соглашается на брак племянницы с Линским. Стихи Темнилина — пародия на излюбленные мотивы и образы эпигонской лирики 20-х годов.

286. Соч., т. 5, с. 9, под загл. «Осел и Слон» и вариантом последнего ст. Печ. по «Басням», с. 141.

Н. В. КУКОЛЬНИК

Из стихотворных произведений К. только драмы выходили отдельными изданиями. В 1851—1853 гг. почти все написанные к тому времени исторические пьесы и драматические фантазии были собраны и включены в состав десятитомного собрания «Сочинений» К. В пределах его были выделены три жанровые серии: «Сочинения драматические» (тт. 1—3, СПб., 1851—1853, пятнадцать пьес), «Повести и рассказы» (тт. 1—3, СПб., 1851—1853) и «Романы» (тт. 1—4, СПб., 1851—1852). Не вошли в это издание трагедия «Роксолана» (СПб., 1835) и несколько небольших стихотворных драм: «Тортини». Интермедия-фантазия в трех частях (альм. «Альциона», СПб., 1833); «Северное сияние. Картина» (СО и СА, 1834, № 6); «Петр Великий под Фридрихштатом. Драматическое стихотворение» (БдЧ, 1834, № 6); «28 января 1725 года. Драматическая картина в двух явлениях, в стихах» (БдЧ, 1837, № 5 и отд. изд.: СПб., 1837); «Импровизатор. Драматическое стихотворение» (БдЧ, 1844, № 11); первая сцена из незаконченной драматической фантазии «Аврора и Рикардо» («Маяк», 1840, ч. 1); «Монолог из драматической фантазии „Эрнест Миннезингер, или Желания“» (БдЧ, 1840, № 1); пролог из драматической фантазии «Пиэтро Аретино» («Дагерротип. Издание литературно-дагерротипных произведений. . .», тетр. 8, СПб., 1842) и наполовину стихотворная, наполовину прозаическая пьеса «Монумент. Исторический анекдот из времен царствования Екатерины II» (БдЧ, 1843, № 11). Из рукописей К. (основное собрание в ПД и ЦГАЛИ) заслуживает упоминания тетрадь под загл. «Петергоф» (ЛГК), включающая в себя несколько дневниковых записей, текст нового явления для оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» (сцена Вани) и автографы семи стихотворений.

287. Фрагмент 5-го акта — явл. 3 (от ст. «Когда венчать назначено Торквато?» до ст. «Проснется он для песни римских дев»), под загл. «Отрывок из драматической фантазии „Торквато Тассо“», с вариантами, — КБ, с. 282. Полностью — в составе отд. изд.: «Торквато Тассо. Большая романтическая фантазия в стихах. Сочинение Н. К. (Писана в 1830 и 1831 годах)», СПб., 1833, с. 144—174. Печ. по Соч., т. 1, с. 117—140. В библиографии К. не учтена публикация «Второго явления из трагедии „Тасс“» (акт 1) в МВ, 1830, № 14-16, с. 97, подпись: Н. Ш. Это, по всей видимости, первое выступление поэта в печати. Следует учесть, что в Соч. текст «фантазии» набран очень небрежно. К числу явных погрешностей следует отнести исчезновение в ст. «Твоя святая воля, Всемогущий» (акт 5, явл. 4) последнего слова, а также пропуск ст. «Ты божество! Ты — небо на земли!» (в том же явл.). Прочие расхождения касаются чисто внешнего оформления: снято разделение на так называемые «выходы» — термин, изобретенный К., синоним термина «явление». Для обозначения перемены места действия или полной смены персонажей К. употреблял термин «сцена», от которого также отказался в Соч. За исключением 5-го акта, текст остальных — от первой до последней публикации — претерпел ряд существенных изменений. Во втором издании «Торквато Тассо» (СПб., 1836) был дополнен интермедией (сцена встречи героя с разбойниками). «Не знаю почему, — писал К. в предисловии, — в первом издании не поместил я интермедии, которую

найдет читатель между четвертым и пятым актами. Теперь уже не припомню причины, — едва ли не желание видеть моего «Тасса» на театре. Представление от фантазии требовало не только сокращений, но действительных перемен и перестановок в тексте. Но я не мог всего этого обозначить в настоящем издании и предоставляю его благосклонным читателям в прежнем виде, с исправлением только некоторых погрешностей против языка и опечаток» (с. V) После этого введения во втором издании пьесы шло «примечание сочинителя» о характере и замысле произведения, перепечатанное без перемен из первого издания (в третьем издании Соч. оно приведено в виде обширной сноски к загл.). В последней публикации был опущен эпиграф из Шиллера. В литературе о К. встречается указание о постановке его пьесы. На самом деле в театре тогда шла одноименная пьеса А. В. Киреева, анонимно изданная в том же 1833 г. А. Вольф в своей «Хронике петербургских театров» (ч. 1 СПб., 1877, с. 33), перечисляя персонажей драмы Киреева, ошибочно называет ее автором К. По собственному признанию К., он «для «Тасса» не ездил в Италию; почерпнул предмет из старой русской книги «Корифей», а впоследствии дополнил и исправил его из польского предисловия к сочинениям Тасса; по-итальянски порядочно стал понимать, приготовляя уже «Тасса» к изданию, а сочинения моего героя читал в русских и немецких переводах» («Замечания автора „Роксоланы“ на рецензию в „Библиотеке для чтения“». — СПч., 1835, 19 июля, с. 635). К. имел в виду книгу «Корифей, или Ключ литературы». Биография Тассо находится в т. 10 этого изд. (⟨СПб. 1803⟩, с. 84—232). Замысел произведения, особенно его финал — пятый акт, по всей видимости, был подсказан К. «Умирающим Тассом» К. Н. Батюшкова (1817). По свидетельству В. И. Любича-Романовича, у К. не было средств на издание «Торквато Тассо». На помощь пришли третьестепенный стихотворец В. И. Карлгоф и художник-карикатурист М. Л. Невахович, которые, сложившись по 250 рублей, выпустили пьесу на свой счет (М. Л. Шевляков, Рассказы о Гоголе и Кукольнике. — ИВ, 1892, № 12, с. 698). Первое издание «драматической фантазии» вызвало оживленные отклики современников. Как явствует из «Записок» В. А. Инсарского, петербургская публика была объята «самым неистовым восторгом от «Торквато Тассо». Все наперерыв читали звучные стихи этого произведения. . .» (РС, 1894, № 2, с. 13). С большой похвалой отозвался о нем декабрист М. Ф. Орлов в письме к П. А. Вяземскому от 18 апреля 1834 г. (см. «Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. 17, М., 1955, с. 233). С интересом была встречена пьеса и Н. В. Станкевичем. В письме к Я. М. Неверову от 1 декабря 1833 г. он заметил: «Как мне досадно было узнать, что ты поносишь Кукольника за «Тасса». Несмотря на детскую обработку, он показывает и талант и любовь к искусству» («Переписка Николая Владимировича Станкевича», М., 1914, с. 279). Впрочем, Станкевич вскоре разочаровался в таланте К., ознакомившись с пьесой «Рука всевышнего отечество спасла». В 1833 г. П. А. Катенин написал едкую «Эпиграмму» («Охота спорить белый свет. . .»), в которой дифференцировал пьесы К. и А. В. Киреева по цвету обложек: «И серый «Тасс», в котором смысла нет, На много ль желтого, однако ж, превосходит?» Эпитет «серый» имеет и значение «посредственный», «бездарный», а «желтый» намекает на сумасшествие ге-

роя в драме К. В печати лестно для К. прозвучали отзыв Н. И. Греча в «Обозрении русской литературы в 1833 году» (Соч., ч. 5, СПб., 1838, с. 200) и рецензия СПч (1833, 12 и 14 августа, с. 721—727). Особенно большую рекламу для автора «Торквато Тассо» создал О. И. Сенковский (БдЧ, 1834, № 1, с. 12—37). Впрочем, статья Сенковского содержала ряд существенных оговорок и упреков, на фоне которых его восторженные похвалы, вплоть до производства К. в гении, выглядели странно, если не подозрительно. В «Литературных мечтаниях» Белинский мимоходом высмеял крикливые сближения К. с Байроном, Шиллером и Гете, на которые расщедрился Сенковский (см.: Белинский, т. 1, с. 21), а в рецензии 1835 г. на «Арабески» и «Миргород» Гоголя заметил: «„Торквато Тасс“ г. Кукольника порадовал было любителей изящного, как приятная, хотя и детская греза. Прекрасные стихи, несколько поэтических мест в сем произведении заставили было публику поздравить себя с новым поэтом, подававшим блестящие надежды...» (там же, с. 173). Содержание первых четырех актов пьесы вкратце таково. Т. Тассо, придворный поэт герцога Феррары *Альфонса*, был платонически влюблен в обеих его сестер — младшую, незамужнюю *Леонору* и старшую, *Лукрецию*, герцогиню Урбино, разошедшуюся с мужем. Леонора, обожавшая талант поэта, была неравнодушна к нему, Лукреция же пылала к нему тайной страстью, и, негодуя на сдержанность Тассо и его привязанность к Леоноре, скомпрометировала его. Сплетня о дерзости бедного, незнатного человека, будто бы домогавшегося любви сестер герцога, облетела феррарский двор. По приказанию Альфонса Тассо был дважды изгнан. Во второй раз поэт, в чьем поведении обнаружились признаки помешательства, был заключен в больницу Св. Анны и здесь нашел себе горячего приверженца в лице пятнадцатилетнего Джулио *Мости*, сына смотрителя больницы. Альфонс смягчился и освободил Тассо от затворничества лишь спустя несколько лет — после того как на смертном одре Лукреция призналась в клевете на певца «Освобожденного Иерусалима». Больной, чуть живой Тассо, повинуясь чудесному видению, в сопровождении Джулио Мости держит путь в Рим, где Папа решился пышно отметить его заслуги как автора монументальной христианской эпопеи.

Явл. 1. *Пантеон* — римский Пантеон, памятник древнеримского зодчества, сооруженный в 25—27 гг. до н. э.; в 1607 г. был превращен в церковь Богоматери. *Константини* — доверенное лицо Альфонса, доброжелатель Т. Тассо. *Капитолий* — цитадель Древнего Рима, располагавшаяся на Капитолийском холме; в новом Риме Капитолий — мемориально-административный центр, ансамбли которого были возведены по проекту Микеланджело. Явл. 2. *Гонзаго* Сципион — приближенный Альфонса. Явл. 3. *Поэзия разлюбит край Торквата И перейдет на Запад и на Север!* По мысли К., гений поэзии с кончиной Т. Тассо ушел из итальянской литературы, чтобы оплодотворить поэзию других европейских народов, в том числе русского. *Тогда в снегах, в туманном, хладном сердце* и т. д. Пророчество Т. Тассо о его будущем почитателе и наследнике в поэзии К. применял к себе. В статье «Тасс и его век» Н. А. Полевой, имея в виду этот эпизод, писал: «Как странно, например, слышать, что Тасс перед смертию пророчествует о Гете, о Державине; даже о самом г-не Кукольнике (и довольно нескромно пророчествует)!» (МТ, 1834, № 4, с. 645).

Сенковский, напротив, считал подобное самохвальство простительным в устах гениального таланта: «Это простое следствие ощущения в душе своей присутствия гения, и против подобного чувства никакая ложная скромность устоять не может» (БдЧ, 1834, № 1, с. 32—33). *Еще дитя, в училище, за книгой.* По свидетельству очевидцев, К. начал писать пьесу о Тассо еще в Нежинской гимназии (см. об этом: Н. Лавровский, Гимназия высших наук князя Безбородко. — Сб. «Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко», изд. 2, СПб., 1881, с. 96). *В толпе кудрявых тевтов Поднялись два гиганта* — Гете и Шиллер; тевты — тевтоны, древнегерманские племена. *Один — меня узнал и сладкой лирой Приветствует.* Подразумевается стихотворная драма Гете «Торквато Тассо» (1780—1789) *Вот истинный поэт* — Г. Р. Державин. *Симонид* Кеосский (556—469 до н. э.) и *Пиндар* (518 или 522 — ок. 442 до н. э.) — лирические поэты Древней Греции. Явл. 5. *Аминты сладостный певец.* Имеется в виду пасторальная драма Тассо «Аминта» (1573).

288—291. Н. К., Джулио Мости. Драматическая фантазия в четырех частях, с интермедией, в стихах, СПб., 1836, с. 52, 233—234, 234—235, 236—237. Датируется по Соч., т. 1. В пьесе автор стихов — поэт-импровизатор Веррино, чей благородный облик и чье бескорыстное служение искусству противостоят алчному честолюбию и жадности Джулио Мости — художника, добивающегося успеха посредством происков, лести и низкопоклонства перед знатью. Публикуемые импровизации извлечены из последней части пьесы («Импровизатор», явл. 8), где Веррино разоблачает своего врага Мости как клеветника и убийцу Розины. *Пенязь* — деньги. Маркиз *Чинтио* — персонаж драмы, покровитель Мости; его супругу Мости сначала соблазнил, а потом отравил. *Тогда он плакал чистыми слезами.* Речь идет о молодости Мости, когда он был страстным поклонником и учеником Т. Тассо, которого жалел и которому помогал (в пьесе «Торквато Тассо» Мости — пятнадцатилетний юноша). Впоследствии, охладев к поэзии, Мости занялся живописью, решившись любой ценой добиться успеха и видного положения.

292. В составе отрывка «„Джакобо Санназар". Акт 2. Явление 2» — СО и СА, 1834. № 32, с. 344. Отд. изд. — Н. К., Джакобо Санназар. Драматическая фантазия в четырех актах, в стихах, СПб., 1834. Печ. по Соч., т. 2, с. 33. Джакобо *Санназар* (1458—1530) — итальянский поэт. В примеч. к пьесе К. писал: «в жизни его период детства и нежной юности наиболее поразил мое воображение. Восемнадцати лет Санназар был уже членом Неаполитанской академии... Десяти лет он писал уже латинские и греческие стихи, свободно изъяснялся на сих языках и преждевременно развившимся умом удивлял своих наставников. Но удивительнее всего, что столь замечательный во всех отношениях характер развился уже в восемь лет. Когда сверстники его еще играли в куклы, восьмилетний ребенок был уже влюблен не как ребенок, нет: он горел постоянною, сознанною любовию; от восьми до семидесяти двух лет Санназар любил деву, которою судьба не хотела его осчастливить, и умер, не изменив первой любви!»(Соч., т. 2. с. 76—77). В пьесе автор публикуемого стихотворения — влюбленный в Кармозину Санназар; герою в этом акте — девять лет.

293. «Роксолана». Драма в пяти актах, в стихах. Сочинение Н. К., СПб., 1835, с. 7—8, датирована: «Лето 1835 г.» На самом деле в январе — феврале 1835 г. драма уже была поставлена в Петербурге. Ошибка (опечатка в дате) была указана О. И. Сенковским в «Литературной летописи» БдЧ, 1835, № 3, с. 2. «Хором невольниц» открывается драма, действие которой происходит в Османской Турции. За неверное изображение восточных нравов и искажение исторических фактов пьесу К. критиковал Сенковский, находивший тем не менее ее сюжет увлекательным безотносительно к Востоку (см. его статью о драме в БдЧ, 1835, № 4, с. 47—76). К. в «Замечаниях автора «Роксоланы» на рецензию в „Библиотеке для чтения"» оправдывался в допущенных им вольностях (СПч, 1835, 19, 20 и 22 июля, с. 634—644). В статье было сказано, что замысел драмы относится к 1831 г., а его реализация — к 1834 г.

294. БдЧ, 1838, № 3, с. 5.

295. «Сборник на 1838 год. . .», СПб., 1838, с. 239.

296—301. БдЧ, 1837, № 12, с. 57—62. По поводу этих стихотворений К. уведомлял О. И. Сенковского, что с придуманным им загл. цикла он «совершенно согласен. Очень рад, что эти штучки вам понравились, потому что они нравились мне» (набросок письма без даты — ЛГК).

302. ЛПРИ, 1837, 24 июля, с. 289. Адресат не установлен. Датированный автограф — тетрадь ЛГК, с пометой: «После театра».

303. «Одесский альманах», Одесса, 1839, с. 111, датировано. Датированный автограф — тетрадь ЛГК, под загл. «Петергоф».

304. «Альманах на 1838 год», изданный В. Владиславлевым, СПб., 1838, с. 3. Автограф — тетрадь ЛГК, под загл. «Девице Гамильтон». В рецензии на это издание Белинский выделил «Школу» в числе лучших стихотворений альманаха и процитировал ее начало (Белинский, т. 2, с. 360). *Рамбов* — простонародное название Ораниенбаума. *Бот от домика Петрова.* Ботик Петра I — судно, на котором, по преданию, плавал царь в первые годы строительства Петербурга и которое стало музейной реликвией. *Кесарь* — Ф. Ю. Ромодановский (ум. 1717) — приближенный Петра I, титуловался «князем-кесарем»; во время заграничного путешествия Петра, когда Ромодановский был оставлен «заместителем» царя, произошло восстание стрельцов (в 1698 г.). «Орлиная» смелость Петра, его устремленность вперед противопоставлены в стихотворении робости вельможи.

305. «Сто русских литераторов», т. 1, СПб., 1839, с. 693, под загл. «Иоанн Антон Лейзевиц. Драматическая фантазия в пяти актах, с эпилогом, в прозе», без посвящения Л. А. Гейденрейху. Датируется по Соч., ч. 2. И.-А. *Лейзевиц* (1752—1810) — немецкий писатель, герой драмы К., ему в пьесе и приписано публикуемое стихотворение.

306. БдЧ, 1838, № 4, с. 168.

307. «Собрание музыкальных пьес», тетр. 8, СПб., 1838, под загл. «Сомнение», др. ред., с музыкальным текстом М. И. Глинки. Печ. по альм. «Молодик», ч. 1, Харьков, 1843, с. 297, датировано.

308—311. В печати известны лишь небольшие извлечения из этой объемной поэмы, которая не была закончена К. Автограф двенадцати песен «Давида Риццио» — ГПБ. Каждая песнь здесь открывается конспективным пересказом ее содержания.

1. «Прощание с Петербургом», слова Н. В. Кукольника, музыка М. И. Глинки, СПб., ⟨1840⟩. В рукописи ГПБ текст романса в другой редакции и относится к первой песни поэмы.

2. Отрывок публикуется впервые по автографу ГПБ.

3. УЗ на 1839, с. 162. В автографе ГПБ это и следующее стихотворение отсутствуют. Возможно, К. предназначал их для последующих, ненаписанных глав.

4. БдЧ, 1840, № 1, с. 10.

Кроме того, в печати известны еще четыре отрывка из поэмы: «Exordium» (УЗ на 1839, с. 367), песнь VIII «Прогулка Марии Стюарт в Сен-Жерменском парке» («Новогодник...», СПб., 1839, с. 43); «Песнь III из поэмы „Риццио"» («Русский вестник», 1844, № 11, с. 1); «Романс Давида Риццио» («Печальная песня; ту песню слезами...») («Молодик», ч. 1, Харьков, 1843, с. 110). По всей видимости, начало работы над поэмой относится к 1836 или 1837 г. Дата в автографе — «1839» — явно означает время переписки набело 12-ти глав, ибо один отрывок из поэмы уже в 1838 г. был разрешен к печати цензурой. В рецензии на цикл М. И. Глинки «Прощание с Петербургом», рассказывая о создании этих романсов, К. писал: «Первым произведением был романс Давида Риццио из многостиховной моей поэмы, которую я так крепко люблю, что не могу окончить... Глинка украсил его такою наивною, очаровательною музыкой, что романс Риццио стал для меня еще дороже. Простота мелодии поразительна» (ХГ, 1840, 1 сентября, с. 10). Содержание 12-ти песен поэмы вкратце таково. Давид Риццио, уроженец Сицилии, бедный поэт-музыкант, в поисках счастья направляется во Францию. Он прибывает в Париж в то самое время, когда там подготавливалось бракосочетание наследницы шотландской короны, юной Марии Стюарт, с французским принцем — будущим королем Франциском II. В Париже он быстро находит покровителей в лице графа Дарнлея и Анны де Марн, наперсницы Марии Стюарт. Вместе с другими трубадурами Риццио попадает на торжество в Луврский дворец. Этому эпизоду посвящена пятая песнь, содержание которой в рукописи передано так: «Описание залы. Риццио видит Марию в первый раз. Легкий обморок. Поздравления. Вассалы. Вдохновенное признание Риццио». В следующих песнях рассказывается о любовных грезах героя, о том, как он оказался замешан в политической интриге и попал под арест. Анна де Марн, посвященная в тайну его страсти, ходатайствует за него перед Марией Стюарт. На этом, по существу, и обрывается сюжет в 12-й песне. Герои поэмы — исторические лица. Давид *Риццио* (1540—1566) — секретарь *Марии* Стюарт (1542—1587), ее доверенное лицо. Воспитывавшаяся при королевском дворе в Париже (Сен-Жермен), Мария Стюарт в 1558 г. была обвенчана с Франциском, занявшим в следующем году французский престол. Фактическим правителем стра-

ны в это время был всесильный герцог лотарингский Франсуа *де Гиз* (1519—1563). После смерти Франциска II в 1560 г. Мария Стюарт воцарилась в Шотландии, где вышла замуж за графа Дарнлея. 9 марта 1566 г. по приказу Дарнлея Риццио был убит на глазах королевы в Эдинбурге. Основной текст поэмы написан гекзаметром. В рецензии на сб. «Новогодник» Белинский пародировал гекзаметры VIII песни (см.: Белинский, т. 3, с. 137). О том, что обращение к этому сюжету внушено было какой-то таинственной сердечной историей, рассказывает И. И. Панаев. По его словам, К. «был проникнут любовью — конечно, идеальною — к одной значительной даме (об этом он намекал) и писал свою поэму «Марию Стюарт». Вероятно, в Марии Стюарт он изображал ее, а в Риццио самого себя, хотя он вовсе не походил на Риццио: он значительно постарел, обрюзг, и лицо его приняло неприятный отек. Он рассказывал офицерам о своем идеале.

— Она ходит по Летнему саду, — говорил он восторженным тоном ,— вдоль и поперек, и я хожу вдоль и поперек. Что ни взгляд — то стихотворение. Двенадцать стихотворений в одно утро вынес» («Литературные воспоминания», М., 1950, с. 106). Тот же Панаев сочинил пародию под загл. «К***» на отрывок «Из альбома Риццио» и на стихотворение «К П. . .» (Совр., 1847, № 1, с. 447):

Почтительно любуюся тобою
Издалека. . . Ты яркой красотою,
Как пышный цвет, торжественно полна,
Ты царственно, ты дивно создана!

Промчишься ли в блистающей карете —
Тобою бескорыстно вдохновлен,
Творю тебе обычный мой поклон,
Нимало не заботясь об ответе.

Окружена поклонников толпой,
Сидишь ли ты в великолепной ложе,
Я думаю: «Как хороша, о боже!»,
Едва восторг удерживая мой.

Души моей высокое стремленье,
Мой драгоценный, задушевный вклад!
Брось на меня хоть ненароком взгляд, —
Твой каждый взгляд родит стихотворенье!

312. РА, 1891, № 8, с. 500, в анонимной заметке «Шуточное послание Н. В. Кукольника И. П. Мятлеву». В заметке говорится: «Известный писатель и приятель и собутыльник Глинки и других художников Н. В. Кукольник устроивал концерт и просил Ивана Петровича Мятлева (автора «Сенсаций г-жи Курдюковой») уступить ему для этого концерта залу в его доме на Исаакиевской площади (том самом, что в конце прошлого и начале нынешнего столетий принадлежал Нарышкиным и искусствам издавна был приют)». И. П. *Мятлев* (1796—1844) — поэт, большинство произведений которого написано

макароническими стихами — лексика их пересыпана французскими и другими иноязычными словами.

313. БдЧ, 1840, № 1, с. 13. Под именем *Леноры* в этом и других стихотворениях, обращенных к ней, К. воспевал Е. Т. Лазареву (указано самим К. на собственноручной копии его письма к Лазаревой от 24 ноября 1835 г. — ЛГК).

314. БдЧ, 1840, № 9, с. 5. Печ. по автографу ПД, имеющему помету: «Выписано 1841 года, 2 января, четверг, утро». В рецензии на цикл Глинки «Прощание с Петербургом» К. писал: «Последний нумер собрания — «Прощальная песня барда» издавна начатой мною и давно оставленной поэмы исполнена высокого поэтического чувства (говорим о музыке), но для исполнения едва ли не представляет наиболее трудностей: хор с небольшим каноном переложен на фортепияны и не затруднит исполнителя; но самый ход мелодии, ударение музыкальное, размеры усиления и ослабления и другие оттенки — все это невольно займет каждого дилетанта» (ХГ, 1840, 1 сентября, с. 13).

315. БдЧ, 1840, № 5, с. 5. В рецензии на цикл Глинки «Прощание с Петербургом» К. писал об этом произведении: «Большая фантазия, сделанная из «Мавританского романса», напечатанного в «Библ. для чтения», занимательна по соединению трех родов пения: драматического, лирического и эпического, и обогащена превосходно придуманными гармониями» (ХГ, 1840, 1 сентября, с. 11). Переработки романса потребовал музыкальный замысел композитора (см.: П. Рыбакова, Глинка и Кукольник. — «Советская музыка», 1957, № 2, с. 63—64). В такой редакции романс под загл. «Фантазия» вошел в глинковский цикл «Прощание с Петербургом» СПб., ⟨1840⟩. *Хенил* — река в Испании, левый приток Гвадалквивира.

316. «Прощание с Петербургом», слова Н. В. Кукольника, музыка М. И. Глинки, СПб., ⟨1840⟩. В составе романа — БдЧ, 1841, № 3, с. 97. В «Эвелине де Вальероль» романс для маркиза Сен-Марса поет Филипп Депорт. «Его, — говорит он, — сочинил лионский рыцарь Бекфроа в 1340 году или около этого времени в Лионе. Поется по преданию; называется „Virtus antiqua“» (там же, с. 97). В рецензии на цикл Глинки «Прощание с Петербургом» К. между прочим писал: «„Рыцарский романс“ (из большого романа моего «Эвелина де Вальероль», который в сем году, а не далее в начале следующего, я буду иметь счастие представить на суд публики) принадлежит к первоклассным произведениям в своем роде. Это уже действительно virtus antiqua для нас, которые знаем из истории о рыцарских добродетелях благорожденной касты средних веков. Молодечество (bravura), соединенное с почтительностью и своей даже щеголеватостью в героизме, — вот достоинства древних рыцарей и нового рыцарского романса» (ХГ, 1840, 1 сентября, с. 12—13). В одном из дневников К. (ГПБ) «Virtus antiqua» датирован июнем 1840 г.

317. БдЧ, 1840, № 12, с. 110 и отд. изд.: Н. К., Князь Даниил Дмитриевич Холмский. Драма в пяти актах, в стихах, СПб., 1840,

с. 43. Вошла в Соч., ч. 2. В примеч. к пьесе К. писал: «Для представления на сцене драмы «Кн. Холмский» М. И. Глинка написал увертюру, антракты и два нумера для пения, из коих один на слова «Ходит ветер у ворот» приобрел общую известность. Драма «Князь Д. Д. Холмский» была написана в 1840 году и первый раз представлена в Александринском театре 30 сентября 1841 года» (Соч., т. 2, с. 512). «Второй нумер», упомянутый К., — «Еврейская песня» («С горних стран. . .»), которую в пьесе исполняет Рахиль. Обе песни написаны в июне 1840 г. (дневник ГПБ). В рецензии на цикл Глинки «Прощание с Петербургом» К. писал: «Издатели не включили в собрание песни Ильинишны, и поделом. Простонародная песенка, положенная Глинкою на музыку, со всею простодушною веселостию нашего народа, не могла войти в состав этого истинно изящного собрания. . .». Вторая песня, по словам К., отражает «мистическое пророчество народа, жаждущего родины» (ХГ, 1840, 1 сентября, с. 14). Песню Рахили в «Дневнике писателя» за март 1877 г. (гл. 2. «Еврейский вопрос») подробно прокомментировал Достоевский.

318. БдЧ, 1840, № 9, с. 7. В рецензии на цикл Глинки «Прощание с Петербургом» К. писал: «„Жаворонок" имеет сходство с первым романсом Д. Риццио, но соединяет какую-то особенную тоску, задумчивость, то, что немцы называют Sehnsucht ⟨томление⟩, еще более усиленную звукоподражательностью ритурнелей и аккомпаньементом, в которых слышится поющий жаворонок» (ХГ, 1840, 1 сентября, с. 12). Положено также на музыку А. Е. Варламовым, Н. А. Тивольским, В. Т. Соколовым, П. Броуном, В. И. Ребиковым, В. П. Адамовым.

319. «Прощание с Петербургом», слова Н. В. Кукольника, музыка М. И. Глинки, СПб., ⟨1840⟩. Датируется по дневнику ГПБ. В рецензии на этот цикл романсов К. писал, что в «Попутной песне» изображен «наш царскосельский пароход с его ежедневными ощущениями» (ХГ, 1840, 1 сентября, с. 14). Текст песни был сочинен для уже готовой музыки. *Пароход* — старое название паровоза на первой в России железнодорожной ветке от Петербурга до Царского Села.

320. РС, 1874, № 4, с. 704, в тексте «Воспоминаний А. Н. Струговщикова». Стихотворению предшествуют следующие строки: «Из импровизации Кукольника приведу одну, вылившуюся в веселые минуты после вечерней прогулки в Токсове. Приехав туда часам к семи вечера, мы без провожатых рассыпались во все стороны, по мере как приводились сонные чухонские лошадки. Было только условлено собраться в беседке, знакомой всем посетителям Токсова. Не знаю, передаю ли стихи Кукольника буквально, потому что мои и Рамазанова варианты, тут же высказанные, назойливо набиваются памяти» (там же). А. Н. Рамазанов (1815—1868) — скульптор, участник кружка К. *Юпитер, Веспер* — названия планет; Веспер (Геспер) — Венера. *Токсово* — дачная местность под Петербургом. *Венчанный возница* — бог солнца Аполлон (греч. миф.), мчащийся на колеснице с огненными конями.

321. БдЧ, 1842, № 3, с. 5. *Гедымин* — Гедиминас, великий князь литовский (1316—1341). *Шумный град* — Вильнюс, основателем ко-

торого считался Гедиминас; похоронен он был, однако, не здесь, а под Велоной. *Великокняжеских палат* — т. е. в замке Гедиминаса в Вильнюсе. *Не семь холмов, а семь морей* и т. д. Здесь противопоставление могущества Древнего Рима (город Рим располагался на семи холмах) величию Российской империи. *Митридат* VI Евпатор (132—63 до н. э.) — царь Понтийского государства, объединившего все причерноморские страны; одна из гор в Крыму носит имя Митридата; холм же, образующий ее главную вершину, назывался гробницей Митридата. *Калиш* — старинный польский город.

322. РС, 1879, № 5, с. 180, без двух последних строк, с разночтениями, в анонимной статье «Дон и донцы» (в ред. примеч. сказано, что рукопись статьи сообщена А. П. Чеботаревым). Печ. по РА, 1894, № 8, с. 590, где опубликовано по более исправному источнику, в статье А. Карасева «Н. В. Кукольник на Дону» (рукопись этой публикации Карасева — ПД). История стихотворения такова. В 1847 г. К. был командирован в Новочеркасск. А. П. Чеботарев, приятель поэта, рассказывал Ф. В. Чижову, что «в то время на Дону ходили слухи, что донских казаков хотят преобразовать в регулярное войско, и это немало их тревожило и волновало. Кукольник, всегда любивший выпить, пошел вечером в клуб, порядочно там хлебнул и пьяный прочел свое обращение к Дону... В клубе было много народа, все, выслушав, всполошились: слышали они это от чиновника Военного министерства, и, как всегда бывает в провинции, придали словам, т. е. стихам Кукольника, значение нескромного сообщения им государственной тайны». На другой день наказной атаман Власов вызвал к себе К. и, удостоверившись в том, что стихи его были не чем иным как фантазией, потребовал от автора их публичного покаяния в том же самом месте, в присутствии тех же самых лиц. Перетрусивший К. вынужден был согласиться на это. (Подробное описание этой истории — в дневнике Ф. В. Чижова за март — август 1874 г. — ГБЛ; тот же инцидент изложен в упомянутой выше статье «Дон и донцы», автором которой, видимо, был тот же Чеботарев; в статье, однако, сообщается, что стихотворение было оглашено К. не в клубе, а «в доме одного из жителей Новочеркасска», с. 181). «К Дону» вызвало стихотворный «Ответ» донского уроженца полковника Турчанинова, текст которого приводит Карасев в рукописи своей корреспонденции для РС. Он не мог появиться в печати по цензурным условиям. Восхваляя Донскую землю как страну свободы, не знавшую ни иноземного ига, ни гнета соплеменников, Турчанинов предсказывает гибель самодержавной России.

> Поверь мне: час пробьет — и в тысячу обломков
> Рассыпется как прах могучий великан,
> И эхо повторит проклятие потомков
> Над гробом у того, кто глуп был и тиран!

Черный понт — Черное море. *Трапезонт* — небольшое греческое государство, Трапезунтская империя, существовавшее в XIII—XV вв. на юго-восточном побережье Черного моря. *Орифламма* — знамя французских королевских войск в средние века. *Граф Киселев* П. Д. (1788—1872) — видный государственный деятель либерального на-

правления; с 1837 по 1856 г. — возглавлял министерство государственных имуществ. *Меч государственных имуществ.* К. намекает на то, что население казачьих станиц будет приравнено к государственным крестьянам, находившимся в ведении министерства государственных имуществ.

323. «Баян», 1888, № 14, с. 128. Автограф — ГБЛ. Дата написания этого и след. стихотворения не установлена.

324. «Баян», 1888, № 10, с. 95.

А. В. ТИМОФЕЕВ

Т. принадлежат следующие издания стихотворных произведений: «XII песен» (СПб., 1833); «XII песен», отделение второе (СПб., 1833); «XII песен», отделение третье, (СПб., 1834); «Поэт». Фантазия в 3-х сценах (СПб., 1834); «Елисавета Кульман». Фантазия (СПб., 1835); «Песни», издание второе, пополненное, чч. 1—2 (СПб., 1835); «Рим и Карфаген». Драматическая поэма в 5-ти действиях (СПб., 1837); «Опыты», ч. 1 (Стихотворения), СПб., 1837; «Воскресение мертвых». Поэма в 12-ти песнях (кн. 1—2, СПб., 1875) — часть тиража под другим загл.: «Микула Селянинович, представитель земли» (СПб., 1876). Кроме последнего издания, все предыдущие выходили за подписью: Т-м-ф-в-а (т. е. Тимофеева).

325. «XII песен», с. 8. Вошло в «Песни», ч. 1 и «Опыты», ч. 1, раздел «Песни (1830—1836)».

326. «XII песен», с. 17, с посвящением: «И. И. Вер. . . .су». Печ. по «Опытам», ч. 1, с. 268, где включено в раздел «Песни (1830—1836)». Вошло в «Песни», ч. 1. Положено на музыку А. С. Даргомыжским, Н. И. Бахметьевым, Б. Б. Бароном.

327. «XII песен», отделение второе, с. 7, с посвящением: «Моей мат⟨ери⟩ А. Н. Т⟨имофее⟩вой». Печ. по «Опытам», ч. 1, с. 270, где включено в раздел «Песни (1830—1836)». Вошло в «Песни», ч. 1.

328. «XII песен», отделение второе, с. 3. Печ. по «Опытам», ч. 1, с. 272, где включено в раздел «Песни (1830—1836)». Вошло в «Песни», ч. 1.

329. «XII песен», с. 21. Печ. по «Песням», ч. 1, с. 22. Вошло в «Опыты», раздел «Баллады (1832—1836)». В «Послании Барону Брамбеусу» (СО и СА, 1833, № 27, с. 7) Т., отвечая на издевку рецензента Ивана Жгуткова (СПч, 1833, 22 июня, с. 548), осмеявшего эти стихи, заметил, что его «Колыбельная песенка» — пародия.

330. СО и СА, 1834, № 16, с. 553, датировано; «XII песен», отделение третье, с. 3, с посвящением: *** Печ. по «Песням»,ч. 1, с. 55. Вошло в «Опыты», ч. 1 (раздел «Баллады»). Во второй половине XIX в. «Свадьба» была одной из популярнейших песен в кругах демокра-

тического студенчества. Ее успеху более всего способствовала музыка А. С. Даргомыжского (1835). По свидетельству Д. И. Ульянова, эту песню композитора любил В. И. Ленин (см.: «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1, М., 1968, с. 116). «Свадьба» Т., как и «Русская разбойничья песня» Шевырева, — обработки одной и той же народной песни, выполненные в разном стилистическом ключе. Текст Т. положен также на музыку П. И. Бларамбергом.

331. Отд. издание, СПб., 1834, с эпиграфом на шмуцтитуле: «Ради бога, не мучьте меня вашею существенностию! Переселитесь хоть на минуту в какой-нибудь новый мир!», с пропуском отдельных строк, обозначенных рядом дефисов, вероятно цензурного происхождения. Печ. по «Опытам», ч. 1, с. 3, текст в которых подвергся некоторому сокращению (наиболее значительное сокращение — 17 строк после ст. «Как звук пустой в зыбях эфира» в сцене 2). В «Опытах» строки, прежде заменявшиеся дефисами, в большинстве случаев либо восполнены, либо вовсе отсутствуют, а в сцене 2 после ст. «Как перечитанная книга» добавлено 11 строк. В реплике Мужчины (сцена 3) вместо: «Подай три пфеннига иль крейцер» было: «Подай ему копеек десять». Эта почти единственная реалия, привязывающая «фантазию» к русской жизни, была уничтожена, видимо, также по настоянию цензуры. Слово «бог» в строке 30 от конца сцены 1, обозначенное в «Опытах» тремя дефисами (цензурный пропуск), восстанавливается в наст. изд. по смыслу. «Поэт» вызвал анонимный апологетический отзыв СПч (1834, 5 июня, с. 497—499).

Сцена 1. *Мыть* — пошлина; здесь: расплата. Гай *Муций* Сцевола (VI в. до н. э.) — герой римской истории; в 507 г. до н. э. поразил своим мужеством воевавшего с Римом этрусского царя — продержал свою правую руку на огне до тех пор, пока она не сгорела. Устрашенный силой самообладания римлянина, царь отступил от города. *Катон* Старший Марк Порций (234—149 до н. э.) — римский государственный деятель, оратор и писатель, суровый блюститель нравов в своем отечестве, прославившийся неколебимой стойкостью взглядов. *Аннибал* — Ганнибал (ок. 247—183 до н. э.) — карфагенский полководец, воевавший с Римом. Сцена 2. *Эхидна* (греч. миф.) — чудовище, полуженщина-полузмея, обитающая в Аиде. Сцена 3. *Пфенниг* — германская монета, равная одной сотой марки. *Крейцер* — мелкая немецкая монета, ходившая в Германии и Австро-Венгрии.

332. «Песни», ч. 2, с. 140, с посвящением: «Н. П. У⟨мо⟩ву», с датой и пометой: «Венеция». Печ. по «Опытам», ч. 1, с. 296. «Пираты» — подражание популярной «Цыганской песне» («Мы живем среди полей. . .») из оперы А. Н. Верстовского «Пан Твардовский» на либретто М. Н. Загоскина (текст песни с нотами был издан отдельно в 1828 г. и неоднократно перепечатывался в альманахах и песенниках).

333. «Песни», ч. 2, с. 177, с датой и пометой: «Любек». Печ. по «Опытам», ч. 1, с. 302.

334. «Песни», ч. 2, с. 90, с посвящением: «Никому», датой и пометой: «Амстердам». Печ. по «Опытам», ч. 1, с. 287.

335. «Опыты», ч. 1, с. 163, раздел «Баллады». В «Литературных заметках» А. Кораблинского (псевдоним А. Ф. Воейкова) было сказано по поводу этого стихотворения: «Таковы ли ненапечатанные куплеты простодушного Дельвига, которому песня Тимофеева есть бледное подражание, — „Где же те острова, Где растет трин-трава, Братцы!"» (ЛПРИ, 1835, 30 октября, с. 693). Стихотворение, начинающееся этими словами, по традиции приписывается А. Бестужеву и К. Рылееву и причисляется к циклу агитационных декабристских песен.

336. БдЧ, 1837, № 11, с. 12. Положено на музыку Н. П. Де-Витте, Н. А. Тивольским, Г. Я. Ломакиным, А. Катениным, П. С. Макаровым, Н. И. Бахметьевым, П. Броуном, К. Г. Михайловым.

337. БдЧ, 1838, № 2, с. 98.

338. «Маяк», 1843, кн. 15, с. 8. Обработка одного или нескольких вариантов народной песни («Седина ль моя, сединушка...», «Сторона ль моя, сторонушка») и т. п.

Е. БЕРНЕТ

Стихотворные произведения Е. Бернета имели следующие издания: «Граф Мец», ч. 1 (СПб., 1837); «Стихи» (СПб., 1837; ц. р. 22 февраля 1837); «Елена». Поэма (СПб., 1838; ц. р. 11 августа 1837). Обширное собрание автографов Б. хранится в ГБЛ.

339. Отд. изд., с. 97—116, с эпиграфом из Гете «Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte» («Это не тени, созданные мечтой»). Поэма состоит из десяти глав, именуемых «ночами», вступления и заключения. Тексту ее предшествует след. примеч.: «Считаю нужным заметить, что описанное в предлагаемой поэме происшествие относится к временам феодализма в Северной Германии. Ночи, служащие периодами рассказа, не следуют одна за другою посуточно, а разделены неопределенным временем» (с. V). В строгой, но доброжелательной рецензии Белинский между прочим писал: «Содержание поэмы было бы очень просто, если бы местами не искажалось изысканными подробностями... Девушка, обреченная матерью на монастырскую жизнь, любит рыцаря и, украдкою от настоятельницы, видится с ним. Игуменья, чтобы заставить ее признаться в преступлении монастырского устава, показывает ей череп ее матери, и череп говорит Елене, от лица ее матери, что она возмутила его покой во гробе и своим преступлением губит и его и свое блаженство в будущей жизни. Несмотря на изысканность этой выходки, Елена поверила черепу и решилась принести свою любовь в жертву долгу: она уже не являлась на тайные свидания. Вдруг до ее слуха доходит весть о буйном разврате и неистовом ожесточении ее любезного рыцаря. Он приходит

видеть ее в последний раз» (Белинский, т. 2, с. 413). Этим пересказом сюжета критик предваряет подробный анализ «Ночи десятой» — лучшей, по его мнению, главы поэмы.

340. ЛПРИ, 1837, 31 июля, с. 299. Высокую оценку стихотворение получило в рецензии Белинского на поэму «Елена» (т. 2, с. 412). *Клирос* — место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам от алтаря. *Налой* (аналой) — род столика с покатым верхом для книг и икон; перед аналоем совершался обряд венчания. *Паникадило* — церковная люстра.

341. «Стихи», с. 18, тот же текст одновременно — БдЧ, 1837, № 3, с. 35, в составе цикла «Четыре стихотворения».

342—343. «Стихи», с. 45 и 59. *Амврозия* (греч. миф.) — пища богов.

344. «Стихи», с. 82 и одновременно — БдЧ, 1837, № 3, с. 38, с вариантами, в составе цикла «Четыре стихотворения». Печ. по «Стихам».

345. «Стихи», с. 131 и одновременно — БдЧ, 1837, № 3, с. 40, с вариантами, в составе цикла «Четыре стихотворения». Печ. по «Стихам». *Морейская.* Морея — название полуострова Пелопоннес, распространенное в средние века.

346. «Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина», т. 1, СПб., 1841, с. 1. Автограф — ГБЛ.

347—351. Альм. «Метеор», СПб., 1845, с. 141, 144, 148, 150, 152. Всего в цикле 14 стихотворений. Автографы всех текстов — ГБЛ. Три строки отточий в «Призраке» означают либо пропуск трех строф, либо неточное обозначение пропуска одной строфы (в последнем случае нужна была бы еще строка точек). 1. *Феокрит* (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт, считался уроженцем Сиракуз — древнего города в Сицилии. *Архимед* (ок. 287—212 до н. э.) — древнегреческий математик, родом из Сиракуз. *Замок Цизы* — замок близ Палермо (на северном побережье Сицилии), памятник древней арабской архитектуры XII в., относится к периоду арабского завоевания Сицилии. *Мавританская звезда* — здесь: арабская.

352. «Правда в стихах и прозе», издал Г. Н. Н⟨адхин⟩, СПб., 1858, с. 6. Об истории этого изд. — брошюры с заметками и стихами Б., скрывшего свое имя, см.: Г. Надхин, Е. Бернет. Материалы для его биографии («Древняя и новая Россия», 1877, № 6, с. 143—151). *Дедушка Крылов* — памятник И. А. Крылову, изваянный П. К. Клодтом; в 1855 г. был установлен в петербургском Летнем саду.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1—2. *Между с. 96 и 97.*

С. Е. Раич. Фототипия с портрета неустановленного художника. 1840-е или 1850-е годы. Музей Института русской литературы АН СССР.

На обороте.

М. А. Дмитриев. Фотография. 1850-е или начало 1860-х годов. ЦГАЛИ.

3—4. *Между с. 128 и 129.*

С. П. Шевырев. Литография с фотографии 1850-х годов. Музей Института русской литературы АН СССР.

На обороте.

А. И. Подолинский. Гравюра И. И. Матюшина. Воспроизведено по «Русской старине», 1885, № 1, приложение.

5—11. *Между с. 320 и 321.*

К. П. Масальский. Гравюра начала 1840-х годов. Воспроизведено по сб. «Сто русских литераторов», т. 2, СПб., 1841.

А. В. Тимофеев. Гравюра 1830-х годов. Воспроизведено с фронтисписа книги Тимофеева «Опыты», ч. 1, СПб., 1837.

Н. М. Сатин. Фотография середины 1850-х годов. Музей Института русской литературы АН СССР.

В. И. Соколовский. Гравюра 1830-х годов. Воспроизведено со второго издания поэмы «Мироздание», СПб., 1838.

На обороте.

Е. Бернет. Фотография. 1850-е или 1860-е годы. Музей Института русской литературы АН СССР.

В. С. Печерин. Фотография. 1860-е или 1870-е годы. ГБЛ.

А. Н. Муравьев. Рисунок неустановленного художника. 1851. Музей Института русской литературы АН СССР.

12—13. *Между с. 352 и 353.*

Н. В. Кукольник. Портрет маслом работы А. Н. Мокрицкого. 1835. Музей Института русской литературы АН СССР.

На обороте.

А. Ф. Вельтман. Гравюра начала 1840-х годов. Воспроизведено по сб. «Сто русских литераторов», т. 2, СПб., 1841.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Е. РАИЧ

М. А. ДМИТРИЕВ

Д. П. ОЗНОБИШИН

А. Н. МУРАВЬЕВ

С. П. ШЕВЫРЕВ

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

ТРИЛУННЫЙ

(Д. Ю. Струйский)

Л. А. ЯКУБОВИЧ

А. И. ПОДОЛИНСКИЙ

К. А. БАХТУРИН

В. И. СОКОЛОВСКИЙ

Н. М. САТИН

В. С. ПЕЧЕРИН

К. П. МАСАЛЬСКИЙ

Н. В. КУКОЛЬНИК

А. В. ТИМОФЕЕВ

Е. БЕРНЕТ

ПОЭТЫ 1820—1830-х ГОДОВ

Том 2

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1972 г.
768 стр. План выпуска 1972 г. № 317.
Редактор *Л. С. Гейро*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *И. Г. Клейнер*

Сдано в набор 23/X 1972 г. Подписано в печать 12/XII 1972 г. М 58125. Бумага 84×108 1/32 № 1. Печ. л. 24,0+4 вкл. (40,74). Уч.-изд. л. 39,68. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1407. Цена 1 р. 68 к.

Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград. Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 «Союзполиграфпрома» при Государственном Комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Том	*Стр.*	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
I	29	13 сн.	солдатскоой	солдатской
I	652	22 св.	testifecatione	testificatione
I	744	19 сн.	сосредоточенный	сосредоточенных
II	137	8 св.	«Послание А. С. Пушкину»	«Послание к А. С. Пушкину»,
II	284	20 сн.	освещалась	освещалось
II	337	17 св.	И, — страшно	13. И, — страшно